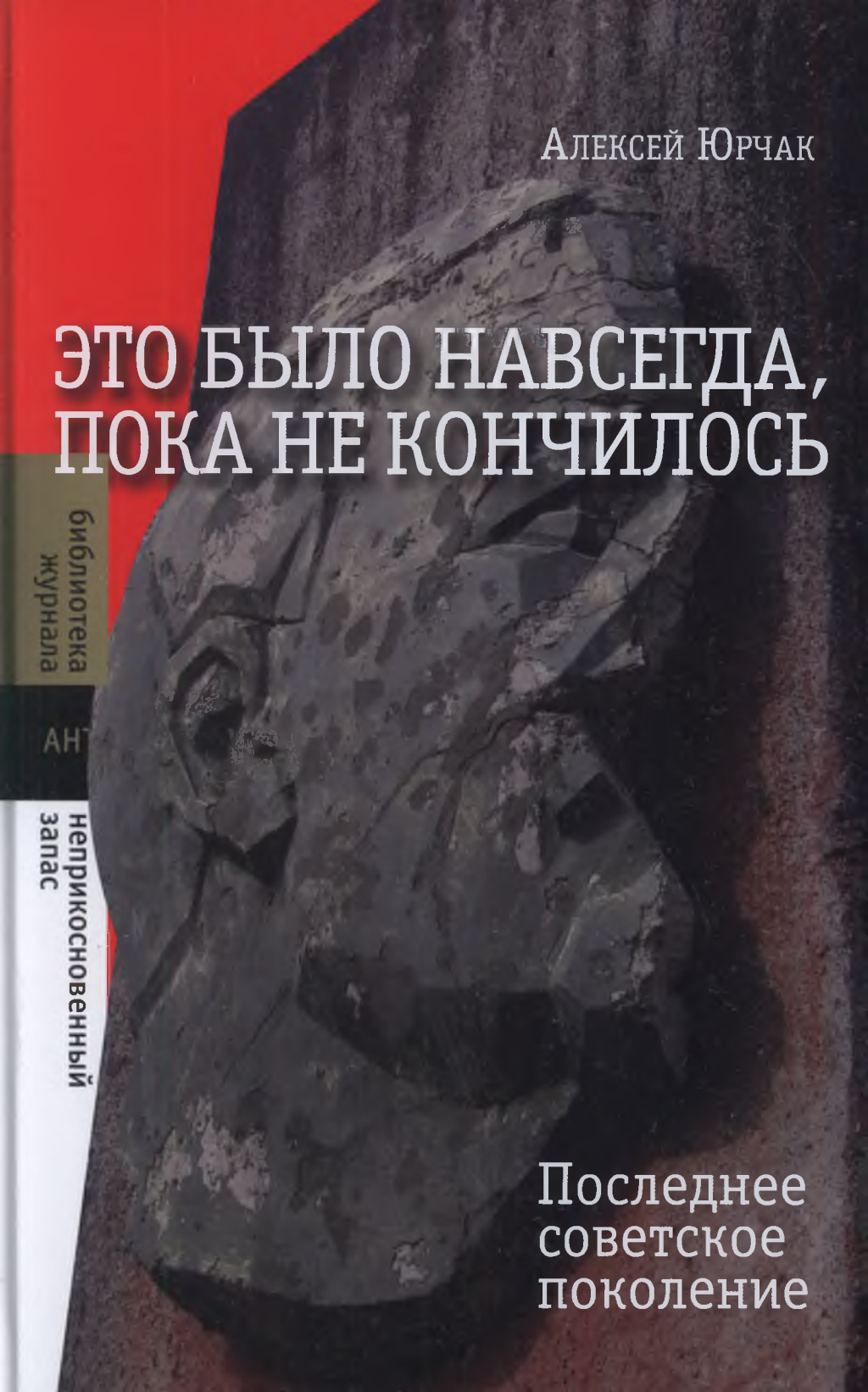
Алексей Юрчак

ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ



библиотека журнала АНТ

неприкосновенный запас

Последнее советское поколение

ООО "Комплект-Подписные издания"
ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА,
ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ
1053809 551.00р.
9 785444 801901

Книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» сразу заворожила меня своим названием с его глубоко философской идеей о том, что бесконечность является категорией исторической, что вещи могут быть бесконечными на протяжении некоторого времени. Этот же дух парадокса пронизывает всю книгу, которая великолепно и в деталях передает постепенное обрушение советской системы изнутри ее собственного идеологического и культурного пространства, высвечивая все противоречия и муки этого процесса. Я считаю книгу Юрчака безусловно лучшей работой о позднем периоде Советского Союза. Это не просто историческое исследование, но и книга, которую читаешь с удовольствием, как настоящее литературное произведение.

Славой Жижек

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

ISBN 978-5-444-80190-1
9 785444 801901

Новое
Литературное
Обозрение

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Новое
Литературное
Обозрение

Алексей Юрчак

ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ

Последнее советское поколение

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2014

УДК 321.74(47+57)"195/198"
ББК 63.3(2)63-3
Ю83

Редактор серии *И. Калинин*

Юрчак, А.
Ю83 Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. —664 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0190-1
ISSN 1815-7912

Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс: несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.

УДК 321.74(47+57)"195/198"
ББК 63.3(2)63-3

© Copyright © 2005 by Princeton University Press. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014

Александр Беляев

Предисловие
Взгляд антрополога на книгу Алексея Юрчака

Аналитический подход современной антропологии

С момента публикации английского варианта книги Алексея Юрчака *Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation* (Princeton University Press, 2006) она приобрела значительный авторитет в международных академических кругах. В 2007 году книга удостоилась премии лучшей книги года, присуждаемой одним из ведущих научных сообществ Северной Америки — Американской ассоциацией евразийских, восточноевропейских и славянских исследований (ASEEES). Книга повлияла на многочисленные исследования антропологов, историков, социологов и славистов и сегодня продолжает оставаться в центре дискуссий на конференциях, семинарах и страницах научных журналов.

Автор этой книги представляет дисциплину социально-культурной антропологии, точнее, подраздел исторической антропологии, но книга выходит за дисциплинарные рамки традиционных антропологических и исторических исследований. В ней предлагается новый, оригинальный и крайне важный подход для исследования того, как в целом развиваются, изменяются и переживают кризис политические системы. Хотя тематически эта книга является исследованием советской системы «позднего социализма», исследовательский подход, который в ней предлагается, актуален для анализа многих других исторических и культурных контекстов, включая либеральные общества Запада, государства постколониального мира и государства постсоветского пространства. А в более широком философском и методологическом смысле книга представляет

собой попытку критически переосмыслить многие эпистемологические парадигмы, которые сегодня доминируют в социальных науках. Поэтому она является хорошей иллюстрацией уникального вклада, который социально-культурная антропология способна внести в социальные, политические и культурологические исследования, — а именно возможность критически переосмысливать общепринятые аналитические модели, понятия и категории.

Вспомним известное высказывание Клиффорда Гирца о том, что «не стоит совершать кругосветное путешествие, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре»[1]. То есть *не имеет смысла* заниматься исследованием нового, неисследованного контекста (условного Занзибара) ради того, чтобы загонять явления, с которыми сталкиваешься в этом контексте, в рамки заранее известных понятий и явлений (кошек), или ради того, чтобы интерпретировать эти явления в рамках знакомых моделей (заниматься подсчетом этих кошек). Исследованием нового материала имеет смысл заниматься только тогда, когда можно поставить под вопрос знакомые понятия и аналитические модели. В антропологическом подходе новый эмпирический контекст рассматривается не только как исследование заранее известных явлений и объектов, но и как *онтологически незнакомое поле* — то есть поле, в рамках которого выявляются новые, незнакомые явления и объекты, заставляющие исследователя критически переосмысливать известные теории и модели.

Несмотря на то что большинство исследователей, видимо, согласится с этим высказыванием Гирца, на практике многие продолжают действовать иначе. Это особенно заметно в исследованиях советской системы. Например, анализируя те или иные социальные группы или тех или иных субъектов советского общества, исследователи подчас некритически пользуются аналитическими понятиями, сформированными при анализе совсем иных политических и социальных контекстов. В результате, например, при описании деятельности «комсомольских работников» автоматически используются такие понятия, как «приспособленчество» и «конформизм», а при описании деятельности

[1] *Гирц К.* Насыщенное описание: В поисках интерпретативной теории культуры // Гирц К. Интерпретация культур. М.: Роспэн, 2004. С. 23.

неформальных «рок-музыкантов», напротив, используются такие понятия, как «нонконформизм» и «сопротивление». Некритичное использование подобных нормативных понятий, привнесенных в исследуемое поле извне, часто упрощает или искажает реальную картину сложного советского общества.

В отличие от этих подходов автор данной книги не сводит изучение позднего социализма к «подсчету кошек» и повторению общих мест и не стремится загнать реальные социально-исторические явления в заведомо известные аналитические рамки. Вместо этого он описывает новую, ранее не описанную историю — например, о том, как в позднесоветский период в идеологическом языке партии протекали процессы «гипернормализации» и «перформативного сдвига» (главы 1 и 2), или о том, как в советском обществе сформировались особые социальные пространства — сообщества и «публики своих» (глава 3), как в нем возникло необычное явление «воображаемого Запада» (глава 5) и появился особый вид взаимоотношения субъекта и государства — «политика вненаходимости» (главы 4, 6, 7) и так далее. Эти явления и объекты не вписываются в традиционные понятия, которые доминируют в социально-политических исследованиях социализма. Например, «политика вненаходимости» не вписывается в понимание политического действия как действия, построенного по бинарному принципу *подавление — сопротивление* или *конформизм-нонконформизм*, «сообщества своих» не вписываются в разделение общественного пространства на *частную* и *публичную сферы*, а понятие «нормального человека» не вписывается в разделение субъекта на *советского* и *антисоветского*. Для выявления и анализа этих особых явлений советского контекста требуется критическое переосмысление знакомых нам аналитических моделей и понятий.

Ниже я остановлюсь подробнее на нескольких элементах исследовательского метода, предложенного автором, и рассмотрю ряд его аналитических иноваций. Кроме того, я постараюсь ответить на некоторые критические замечания, прозвучавшие в адрес этой книги, разобрав те неточности и эпистемологические допущения, на которых эти замечания строятся.

* * *

Как уже говорилось, в основе исследовательского подхода, предложенного в этой книге, лежит ряд теоретических понятий, которые интерпретируются в ней иначе, чем это принято в традиционных исследованиях социализма и других типов обществ. Рассмотрим подробно три примера таких понятий, примененных в книге, — *симптом* исторических изменений, концептуальное разделение между категориями *нормальности* и *усредненности* и критическое переосмысление понятий *свободы* и *политики*.

«Симптом» исторических изменений

Книга начинается с двух базовых вопросов: *почему обвал советской системы был неожиданным* и *какие выводы об устройстве и функционировании советской системы в последние десятилетия ее существования следуют из того факта, что ее обвал был неожиданным?* Попытка ответить на эти два вопроса повлияла на выбор объектов и эмпирического материала, которые анализируются в книге, и на подход, который можно назвать изучением «симптомов» внутренних изменений системы. Как пишет автор в главе 1, «в нашу задачу входило не описать усредненный "советский опыт" или среднего "советского субъекта", а нащупать некоторые направления, по которым в позднесоветской системе происходили внутренние и до поры до времени невидимые *сдвиги* и *изменения*...». Для того чтобы понять, почему Юрчак отказывается от анализа усредненного советского опыта и нормального советского субъекта, необходимо рассмотреть его исследование в более широком контексте антропологических и исторических исследований советского социализма, со многими из которых эта книга полемизирует.

Начнем с антропологических исследований. Социально-культурная антропология начала формироваться на заре нового времени. Контекстом, в котором развивалась молодая дисциплина, была эпоха географических открытий и колониальная экспансия европейских держав. Но главным философским импульсом для развития дисциплины стала

усталость претерпевавшего изменения западного общества от вещей старых и порядком надоевших, от слов, некогда казавшихся мудрыми, но теперь превратившихся в избитые фразы, от мыслей, когда-то оригинальных и свежих, но теперь звучавших банально. Не случайно первой исследовательской парадигмой молодой дисциплины стало *коллекционирование*. Казалось, что исследовательская задача состоит в собирании всего нового и необычного, в коллекционировании экзотических курьезов и удивительных странностей со всех уголков Земли. Такой подход к накоплению знаний об окружающем мире не ограничивался лишь антропологией — в той или иной форме он присутствовал во всех социальных дисциплинах того времени. Например, в истории — дисциплине, с которой у антропологии всегда были родственные, хотя и непростые отношения, — он выражался в особом внимании к изучению «исключительных» личностей: глав государств, полководцев, великих злодеев, больших ученых, знаменитых художников, диссидентов и прочих героев и антигероев различных культурных эпох и исторических периодов.

Просуществовав довольно долго, фетиш коллекционирования в конце концов подвергся критике, и ему на смену пришла новая исследовательская парадигма, в которой отвергалась важность изучения необычного просто ради его необычности. Эта смена парадигм тоже не ограничивалась рамками антропологии, а была частью более широкого процесса демократизации знания вообще, который повлиял на все академические дисциплины. Например, в истории эта смена парадигм проявилась в постепенном переходе от исследования исключительных личностей сначала к исследованию широких социальных страт, а позже — к исследованию технологий формирования «субъектности» в различные исторические периоды[2]. В антропологии смена парадигм, произошедшая раньше, чем в других социальных науках, проявилась в растущем интересе к исследованию «обычных» людей и «повседнев-

[2] Среди многих работ, описывающих эти изменения, выделяются работы Питера Берка (*Burke P.* (ed.) New Perspectives on Historical Writing. Penn State University Press). На русском языке см.: *Берк П.* Историческая Антропология и Новая Культурная История // Новое литературное обозрение. 2005. № 75.

ных» контекстов. А что касается социальных наук в более широком смысле, то именно тогда основным принципом легитимации исследовательского подхода в них стала идея «репрезентативности» объекта исследования. Сегодня принцип «репрезентативности», понятый определенным образом, продолжает доминировать в большинстве социально-исторических исследований (см. ниже).

Историко-антропологическое исследование, представленное в данной книге, отличается от перечисленных выше подходов. Ее героев трудно отнести как к категории «среднего субъекта», репрезентативно отражающего советское общество, так и к категории «исключительных» людей. Подобные понятия при анализе советской истории и культуры ставятся в книге под сомнение. Вместо них книга предлагает взглянуть на поздний социализм с новой, малознакомой перспективы, акцентируя внимание на вопросах, которые ранее не только оставались за пределами большинства исследований, но подчас просто не могли быть сформулированы в эпистемологических рамках, которыми эти исследования пользовались.

В задачу данного исследования входит не описание среднего советского опыта, а анализ нарастающих внутренних сдвигов и изменений советской системы, которые долгое время оставались незаметными и для обычных советских граждан, и для политических руководителей, но благодаря которым внутри системы постепенно зрели *условия* для ее неожиданного обвала — не *причины* (якобы приведшие к обвалу), а именно *условия* (сделавшие обвал возможным, хотя и не неизбежным). Для того чтобы иметь возможность проанализировать этот нарастающий, но малозаметный процесс внутренних изменений и сдвигов системы, требуется выбирать исследовательский материал не просто по принципу его «репрезентативности» — по крайней мере, не исходя из критерия репрезентативности, понятого традиционным образом. Как отмечает автор, исследовательский «материал, заведомо подбирающийся по принципу *репрезентативности*, ориентирован на анализ уже известных норм и состояний», в то время как материал, выявляющий, «как нормы искажаются, нарушаются или доводятся до предела, и при этом система продолжает функционировать, дает возможность узнать нечто новое и о норме, и об ее изменениях...». Иными словами, выбранный

объект исследования может являться *нерепрезентативным* с точки зрения существующей на данный момент статистической нормы, которая характерна для данного общественно-исторического контекста. Поэтому такой материал может казаться нетипичным и не имеющим отношения к жизни большинства людей или к большинству возможных контекстов. Однако именно такой материал способен дать нам возможность «увидеть систему в динамике и заметить назревающие в ней сдвиги и трансформации». Этот материал выступает не как репрезентативное проявление нормы, а как *симптом* скрытых изменений системы (возможных и нарастающих отступлений от нормы).

Подобный подход к изучению симптомов внутренних изменений системы применяется в целом ряде разделов этой книги — например, при анализе действий «некрореалистов» и других художественных групп конца 1970-х — начала 1980-х годов (глава 7). Явления и группы, подобные им, были далеки от статистической и политической нормы советского поведения, то есть не были репрезентативны с точки зрения этой нормы, и поэтому реже всего попадают в поле зрения традиционных политологических и социологических исследований. Однако сам факт того, что подобные явления появились и стали развиваться в определенный период советской истории, указывает на важные внутренние изменения советской системы. Не будучи нормой советской жизни, они были симптомом ее внутренних и до поры до времени незаметных изменений.

Хотя многие явления рассматриваются в этой книге именно как симптомы внутренних изменений системы, это не единственный аналитический метод, которым пользуется автор.

«Нормальные» люди

Чтобы продолжить описание некоторых элементов предложенного в этой книге подхода, разберем нескольких критических замечаний, прозвучавших в ее адрес. Большинство этих замечаний относятся к одной из двух интеллектуальных парадигм. Первую, довольно широко представленную в сегодняшней России, иногда называют «новой ан-

тропологией». Эта интеллектуальная парадигма неоднородна — в ней заметны как минимум три точки зрения на то, каким должен быть объект антропологического исследования. Согласно первой точке зрения, задача антропологии заключается в анализе того, как простой человек конструирует свое будущее путем достижения «личной автономии», а также в критике того, как технологии власти препятствуют созданию этой автономии. Согласно второй точке зрения, антропология должна заниматься анализом культурного разнообразия и критикой государственных попыток уменьшить это разнообразие, посредством сведения его к единой национальной культуре. Согласно третьей точке зрения, задача антропологии заключается в изучении «субъектности» — того, как современный субъект формируется в процессе взаимоотношения с общественными институтами и с некой материальной субстанцией, именуемой в этом подходе «культурой»[3]. Кроме того, согласно всем этим трем точкам зрения в задачу антропологии должна также входить критика некой «доминирующей идеологии», которой является, по мнению одних авторов, *либерализм*, по мнению других авторов — *позитивизм*, и по мнению третьих — *постмодернизм*. Итак, эти взгляды характерны для российской «новой антропологии».

Вторая интеллектуальная парадигма, с позиции которой прозвучало несколько критических замечаний (и которая, тем не менее, несколько ближе к данной книге, чем парадигма «новой антропологии»), отно-

[3] Несколько упрощая, можно сказать, что первая точка зрения на антропологию представлена в статье Ирины Прохоровой (*Прохорова И.* Новая антропология культуры // Новое литературное обозрение. 2009. № 100); вторая — в статье Кевина Платта и Бенджамина Натанса (*Платт К., Натанс Б.* Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака *Все было навечно, пока не кончилось* // Новое литературное обозрение. 2010. № 101); а третья — в статье Николая Поселягина (*Поселягин Н.* Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2012. № 112). Вообще понятие антропологии стало сегодня одним из ключевых терминов российского интеллектуального дискурса, хотя генеалогия и смысл этого понятия в российском дискурсе несколько иные, чем в западной дисциплине социально-культурной антропологии, прежде всего англо-американской и французской (откуда этот термин заимствован в большей степени, чем из традиционной российской антропологии).

сится к «антитоталитарной» модели советской истории[4]. У истоков этой парадигмы лежали дебаты 1960—1980-х годов между западными политологами и историками, изучавшими социалистические страны. В более ранний период многие из этих исследователей занимались анализом государства, фокусируясь на изучении технологий *государственного насилия* и особых субъектов — *политических элит*, опиравшихся на это насилие. Позже историки, под влиянием социологического, а затем и культурологического «поворотов» в истории начали изучать более сложные *технологии власти*, не сводящиеся к насилию, а также более сложные объекты приложения власти, включающие *обычных людей*. Эти исследования сближали историков с антропологами — в работах и тех и других критиковалась более ранняя, упрощенная модель советской политической системы, согласно которой она сводилась к узкому понятию *тоталитаризма*. В результате этой критики категория «политического» (политического высказывания, политического действия, политического сознания) в советском контексте тоже претерпела изменения. Политические явления перестали рассматриваться как нечто исключительное, существующее лишь в виде особых проявлений или в особых местах (например, в партийном аппарате или в кругу диссидентов), а приобрели черты обыденности; политическое стали находить в контексте обычного существования обычных граждан[5].

[4] В англо-американском контексте ее иногда называют «ревизионистским» подходом к анализу советской истории — ревизионистским по отношению к более ранней тоталитарной модели истории. Это понимание термина «ревизионистская» история в контексте западной историографии не следует путать с тем, что в сегодняшней России называют «ревизионистским» переписыванием советской истории, исходящим из государственного заказа.

[5] Антропологи начали участвовать в этих дискуссиях довольно поздно, поскольку серьезно заняться изучением социализма они смогли только после распада СССР. Причиной такого «запаздывания» антропологического исследования социализма является отнюдь не объект исследования антропологов, который многие ошибочно сводят к «устной» или «примитивной неписьменной культуре» (см. характерный пример такого неверного понимания в статье: Эткинд А. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2010. № 106). Причина в ином — она заключается в исследовательском методе антропологов: работе в архивах они обычно предпочитают

Как уже говорилось, среди критических замечаний по поводу той или иной концепции в этой книге большинство относится к одной из этих двух парадигм — новой антропологии или антитоталитарной истории. Согласно одному типу критики, субъекты или явления, исследованные в данной книге, не относятся к «репрезентативной выборке», то есть в ней анализируется слишком узкий или слишком «ненормальный» срез населения. Согласно другим замечаниям, автор книги в своем анализе некритично пользуется категориями, заимствованными у самих информантов (сюда относятся, например, категории «нормальный человек», «нормальные люди», «свои» и так далее), то есть подменяет аналитические категории исследователя этнографическими высказываниями информантов. С точки зрения этих критиков, исследователь должен исправлять, а не повторять то, с чем он сталкивается «в поле», — то есть высказывания тех, кого он изучает, заведомо рассматриваются лишь как идеологические заблуждения, а не как, например, возможность критически переосмыслить некоторые аналитические модели самого исследователя.

Приведем примеры подобных критических замечаний и рассмотрим, в чем заключаются проблемы этой критики. В одной из своих статей

включенное наблюдение. Однако заниматься включенным наблюдением в странах социализма было крайне сложно, так как свободное перемещение иностранных исследователей было ограничено или вообще запрещено. Правда, следует заметить, что были и исключения; пожалуй, наиболее ярким из них является классическое антропологическое исследование советского совхоза имени Карла Маркса, проведенное английским антропологом Кэролайн Хамфри в середине 1970-х годов (см. интервью Галины Комаровой с Хамфри: «Профессия антрополога необыкновенно расширяет кругозор» // Антропологический Форум Online. № 19. С. 329—359. http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/019online/komarova.pdf). Другая причина «запаздывания» антропологии в исследованиях социализма кроется в «геополитическом воображаемом», которое сформировалось в период холодной войны и согласно которому территория капитализма представлялась «первым миром», территория социалистических стран Варшавского договора — «вторым миром», а территория так называемых развивающихся и неприсоединившихся стран — «третьим миром». Это геополитическое воображаемое было спроецировано и на социальные дисциплины, создав их «территориальное» разделение, согласно которому первым миром должны были заниматься история и социология, вторым — политология, а третьим — антропология (см.: Pletsch C. The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, Circa 1950—1975 // Comparative Studies in Society and History. 1981. Vol. 23. № 4. P. 565—590).

Кэролайн Хамфри анализирует личный дневник бюрократа среднего звена ЦК КПСС, относящийся к 1960-м годам, и делает вывод, что этот человек отличался от категории «нормальных» советских людей, которые рассматриваются в данной книге. Она отмечает, что, будучи партийным работником и настоящим коммунистом, этот бюрократ, тем не менее, экспериментировал с *буквальными* («констатирующими», по терминологии данной книги) смыслами идеологических высказываний, вместо того чтобы уделять внимание лишь их «перформативному» смыслу (то есть лишь повторению ритуальной формы этих высказываний), как это делало большинство «нормальных людей» согласно книге Юрчака. Исходя их этих наблюдений, Хамфри призывает уделять большее внимание именно таким бюрократам-реформаторам при анализе причин внутренних изменений советской системы.

Несколько иная критика понятия «нормальные люди» прозвучала в статье Кевина Платта и Бенджамина Натанса[6]. Они утверждают, что те советские субъекты, которые не индентифицировали себя с буквальным смыслом официальных идеологических высказываний партии, были не «нормальными», а «исключительными», редкими субъектами, поскольку такой акт *не*идентификации с идеологией, по мнению этих исследователей, требовал ненормальных индивидуальных усилий и был возможен только в рамках ограниченного, частного пространства жизни, которое они называют «воображаемой частной сферой».

Несмотря на различие этих двух критических комментариев, в их основе лежит одинаковое понимание категории «нормального человека», существенно отличающееся от того, как эта категория понимается в книге Юрчака. Эти критики понимают под категорией «нормального человека» некоего «среднего» или «усредненного» советского субъекта — то есть обывателя, не имеющего доступа к власти и воспринимающего идеологические высказывания власти напрямую. В основе такого понимания нормального субъекта лежит упрощенная бинарная модель целого ряда явлений — политики, языка, субъекта. Согласно такой бинарной модели любое политическое высказывание субъекта может интерпретироваться только буквально — либо как выражение *правды*,

[6] *Платт К., Натанс Б.* Указ. соч. С. 167—184.

либо как выражение *лжи* или *притворства*, — а любое политическое действие субъекта может иметь только два смысла — это либо *поддержка системы*, либо *сопротивление ей*.

То, что эти критики используют бинарную модель субъекта и политической системы, удивительно не только потому, что эта модель является значительным упрощением реальной картины социалистического общества, но и потому, что она подвергнута детальной и последовательной критике в этой книге. Как показывает ее автор, понятие «нормальный человек» не является чистым аналитическим термином, имеющим отношение к некой «норме» поведения, выявленной при анализе. Этот термин восходит к дискурсу самих советских людей того периода (информантов) и не подразумевает абстрактно-усредненного советского субъекта. «Нормальность» человека, согласно этому этнографическому понятию, заключается в ином — субъект является «нормальным», если он не воспринимает идеологические высказывания системы ни с позиции полного принятия, ни с позиции полного отторжения. «Нормальность» его отношения к системе заключается именно в том, что это отношение нельзя свести к бинарной логике *поддержки* системы или *оппозиции* ей. Такой субъект не интепретирует политические высказывания системы буквально, не рассматривает их как выражение либо *правды*, либо *лжи*. Его интерпретация иная, небинарная — она заключается в создании новых смыслов путем воспроизводства формы идеологических высказываний системы, но изменения смысла этих высказываний.

«Нормальный» советский человек не является ни активистом, ни диссидентом. Он участвует в формировании и воспроизводстве официального идеологического дискурса — но делает это в основном на уровне *формы* высказываний, одновременно наделяя их новыми, неожиданными *смыслами*. В результате такого отношения к высказываниям и ритуалам советской системы «нормальный человек» создает новые пространства свободного действия, которые официальный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, поскольку они не совпадают с ее дискурсом, но и не находятся в оппозиции к нему. Как показано в книге, эти особые пространства свободы — автор называет их пространствами *вненаходимости* — могут появляться в самых разных контекстах — в кочегарке и кабинете комитета комсомола, в квартире друзей и лаборатории ученых-физиков (главы 3—7).

Бюрократ-реформист из ЦК партии, о котором пишет Хамфри, несмотря на его возраст и пост совсем не являлся противоположностью «нормальных» субъектов из данной книги. Он во многом похож, например, на молодого комсомольца из Якутска, описанного в главе 6 этой книги, — «нормального» субъекта, который, будучи вполне искренне увлечен идеалами коммунизма, тем не менее не был согласен с тем, как партийные лидеры трактовали эти идеалы на практике. Позицию этого молодого человека было бы сложно свести лишь к поддержке системы или лишь к сопротивлению ей. Не являлась она и цинизмом или приспособленчеством. Эта позиция сложнее — она заключалась в изменении смыслов и сдвиге парадигм. Кроме того, важно, что в случае этого необычного молодого человека, как и в случае бюрократа-реформатора, о котором пишет Хамфри, такая критическая позиция включала в себя нежелание отказаться от моральных идеалов социализма.

Когда Платт и Наттанс в своей критике концепции Юрчака утверждают, что быть «нормальным» субъектом в советском контексте было трудно, поскольку это состояние, по их мнению, требовало особых индивидуальных усилий, они подразумевают, что такой субъект был якобы вынужден прятать свое «истинное» лицо от взора государства. Таким образом они воспроизводят бинарную модель субъекта, согласно которой «свобода» субъекта понимается как состояние, которое достигается в некоем неприкосновенном, личном, скрытом от внешнего взора пространстве — в том, что они называют «воображаемой частной сферой». Однако, как показано в данной книге, неверно сводить понятие свободы к неприкосновенности некой изолированной, атомизированной личности. Пространство свободы в обществе позднего социализма выглядело иначе и строилось по иному принципу. Как именно — рассмотрим в следующей части.

«Свобода» и «политика»

В основе подобных критических замечаний лежит узкое понимание не только категорий «субъекта» и «политики», но и «свободы». В некотором смысле это понимание напоминает интепретацию понятия

свободы, которое предложил в середине XX века английский философ Исайя Берлин[7]. Берлин различал два понимания свободы — свобода *негативная* и свобода *позитивная*. Негативная свобода — это «свобода от», то есть свобода от внешнего вмешательства, в особенности вмешательства государственного аппарата. Это понимание свободы характерно для либерального общества. Основной угрозой свободе, с этой точки зрения, является насилие. Соответственно, понимание «политики» здесь сводится к попыткам наладить «мирный порядок», уладить вражду между индивидуумами, группами, институтами, уравновесить отношения войны и мира. Второе понимание свободы — свобода *позитивная* — это «свобода для», то есть свобода для саморазвития и самовыражения. Для такой свободы необходимо наличие власти (государственной или иной), гарантирующей процесс формирования личности и задающей параметры этого процесса. Этот вид свободы, по мнению Берлина, характерен для социалистического общества (хотя корнями он уходит в античное понимание связи между «свободной волей» — одной из основ человеческого общества — и «непредсказуемой дикостью» окружающей среды). «Политика», с этой точки зрения, заключается не в стремлении к «личной независимости» или «мирной жизни», а в стремлении развивать качества, необходимые для существования в реально существующем человеческом обществе.

Понятия негативной и позитивной свободы соответствуют двум парадигмам социально-исторических исследований, о которых я писал выше, — «новой антропологии» и «антитоталитарной» школы советской истории, — к которым данная книга, как я уже отмечал, осознанно не относится. Для исследователя, работающего в парадигме антитоталитарной истории, характерно *позитивное* понимание свободы. Занимаясь изучением советского проекта построения нового мира, такой исследователь обычно акцентирует внимание на волевых действиях или политических программах — то есть на использовании власти ради достижения будущей свободы. Согласно этому подходу, например, на-

[7] См.: *Берлин И.* Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19—43. Берлин, в отличие от большинства своих современников, не считал, что советскую «тоталитарную» систему можно свести просто к аппарату подавления свободы.

силие над человеком в советской истории нельзя анализировать в отрыве от цели будущего освобождения человека[8]. А если исследователь, работающий в этой парадигме, изучает постсоветский контекст, его работы обычно акцентируют внимание на проблемах, возникших в результате исчезновения мира советского человека. Например, в них подчеркивается, что обвал советской системы нельзя сводить лишь к приобретению свободы от Советского государства, поскольку этому процессу также сопутствовало появление новых видов несвобод[9].

А для исследователя, работающего в парадигме новой антропологии, характерно, напротив, *негативное* понимание свободы. Анализируя советский период, такой исследователь обычно акцентирует внимание на советском аппарате насилия, на государственном терроре, на подавлении личности. А при анализе постсоветского контекста пишут о трагических последствиях советского террора, которые продолжают чувствоваться и сегодня, о том, что до сих пор не состоялось общественного обличения советской системы насилия, и о том, что без такого обличения нельзя строить будущее[10].

Исторический анализ, предложенный в книге Алексея Юрчака, отличается от обеих этих парадигм. Благодаря тому, что акцент в предложенном здесь аналитическом подходе делается на *симптомах* исторических изменений, этот подход преодолевает бинарность в понимании свободы и политики, характерную для этих двух концепций. В этой книге читатель не встретит романтизации «нонконформистов» или иных «исключительных» людей, ведь согласно предлагаемому анализу советский субъект не мог существовать в изоляции от советского политического пространства. У этой книги иные герои — «нормальные люди», у которых, в отличие от воображаемых конформистов и нонконформистов, был иной тип свободы, который формировался в новых формах общения (сообществах и «публиках своих») и новых видах

[8] См., например: *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Harvard University Press, 2009.

[9] См., например: *Oushakine S.* The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Cornell University Press, 2009.

[10] См., например: *Etkind A.* Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford University Press, 2013.

общественного пространства (пространствах «вненаходимости»), возникавших, когда человек участвовал в воспроизводстве официальных идеологических форм и ритуалов, при этом наделяя их новыми, неожиданными смыслами. Именно такие принципы существования *нормальных людей* — принципы, которыми в той или иной форме руководствовалось подавляющее большинство советских людей, — привели к постепенным и поначалу незаметным изменениям советской системы, подготовившим условия для ее неожиданного обвала.

* * *

В заключение отмечу, что многие исследования социальных, культурных и политических процессов в постсоветской России тоже строятся по модели одной из двух вышеупомянутых парадигм — антитоталитарной истории или новой антропологии. Однако при чтении книги Юрчака невольно возникает вопрос — не является ли подход, предложенный в ней, тем что необходимо для понимания не только советского прошлого, но и постсоветского настоящего?

Беркли—Торонто, 2013—2014

Моим родителям,
Владимиру и Наталье

Вступление к русскому изданию

Эта книга была сначала написана по-английски, а потом заново переписана по-русски. Поначалу я планировал просто перевести книгу с английского, причем сделать это с помощью профессионального переводчика, чтобы не тратить много времени. Но довольно быстро стало понятно, что над русским текстом лучше работать самому автору. Слишком много было в тексте языковых особенностей, аналитических нюансов и теоретических рассуждений, которые надо было не просто переводить, а заново излагать по-русски, пользуясь другим, подчас новым аналитическим языком.

Решив переписать книгу по-русски, я наивно полагал, что на это уйдет не слишком много времени. Но процесс переписывания затянулся, оказавшись намного сложнее, болезненнее и интереснее, чем я ожидал. В этом были и свои плюсы. Чем дольше я им занимался, тем больше в возникающем русскоязычном варианте книги появлялось добавлений и изменений. Этот вариант книги стал несколько больше по объему, чем английская версия. В нем более пристально рассмотрены некоторые феномены позднего социализма (а другие, наоборот, изложены менее подробно), более развернуто обсуждаются некоторые исследовательские и аналитические подходы, несколько больше обобщающих теоретических отступлений, больше иллюстраций, в нескольких местах несколько изменен порядок изложения.

Причин этих изменений несколько. Первая причина очевидна — английский и русский варианты обращаются к разным аудиториям, которые отличаются не только языком, но и знанием или личным опытом описываемого периода, равно как и точкой зрения на него. Российский читатель лучше зарубежного знаком с фактами позднесоветской реальности, однако ему, возможно, сложнее посмотреть на эту реальность со стороны. Кроме того, он порой меньше знаком с некоторыми аналитическими подходами и дисциплинарными методами современных социальных и гуманитарных исследований.

Вторая причина переписать книгу заново заключалась в том, что с момента выхода английского издания прошло уже несколько лет, в течение которых появилось множество новых работ о советской истории и культуре (включая отклики на эту книгу). Появились и новые исследования, посвященные процессам трансформации, имевшим место в иных политических системах и исторических контекстах. Некоторые из этих работ хотелось использовать, с другими хотелось полемизировать, хотя я и старался делать это по возможности не часто, чтобы не отвлекаться от главных аргументов книги. Кроме того, со времени выхода английского издания в России и во всем мире многое изменилось. Сегодня, например, кажется, что ко многим чертам политической системы России последнего десятилетия применимы некоторые категории, которые использованы в книге. Примерами могут служить такие понятия, как *сообщества «своих»*, *перформативный сдвиг*, *политика вненаходимости* (и *свобода вненаходимости*) и так далее.

Сегодня повседневная российская реальность может вызывать противоречивые ощущения. С одной стороны, российское общество кажется довольно сильно атомизированным, разъединенным, не слишком связанным общими политическими, гражданскими, этическими нормами, а с другой стороны, оно выглядит, наоборот, сплоченным и мобилизованным. Этот парадокс, видимо, объясняется тем, что в российском общественном пространстве сегодня формируется большое количество социальных, политических, экономических, творческих сред и иных сообществ, внутри которых люди воспринимают друг друга как «своих», но за пределами которых это ощущение быстро пропадает. В среде «своих» (среди друзей, коллег по работе, соседей по дачному участку,

людей, увлеченных общими идеями, и так далее) довольно легко устанавливаются общие нормы этического поведения, взаимного уважительного отношения, политических взглядов. Но по отношению к общественному пространству, находящемуся за пределами среды «своих», этика отношений может довольно резко меняться, заботливое отношение — пропадать, гражданский долг — не ощущаться как что-то общее и важное для всех. Среды «своих» парадоксальны — в них можно разглядеть, с одной стороны, элементы формирующегося «гражданского общества», а с другой — атомизацию социального пространства. В какой-то степени эта парадоксальная динамика напоминает период позднего социализма, в котором в советском общественном пространстве повсюду возникали сообщества «своих», о которых и говорится в этой книге.

Другим примером является понятие *перформативного сдвига*. В контексте позднего социализма доминировало воспроизводство нормы идеологического высказывания, ритуала или символа в первую очередь на уровне их *формы*, при этом их смысл смещался, становясь отличным от буквально «заявленного» смысла. Этот принцип описан в книге как «перформативный сдвиг». Сегодня кажется, что этот принцип вновь стал широко практиковаться в функционировании государственных институтов, дискурсов и СМИ и во взаимоотношении государства и граждан. Сегодня все чаще кажется, что крайне важной является необходимость воспроизводства именно *формы* закона, высказывания, ритуала, официальной практики, при этом их *смысл* в конкретном контексте меняется до неузнаваемости. Например, как показывает множество судебных процессов последних лет, особенно процессов с политической подоплекой, российскому суду сегодня намного важнее воспроизводить именно *форму* закона (на уровне точности официальных формулировок, процедурной стороны делопроизводства, ритуальных действий в зале суда), но не буквальный смысл, который в законе вроде бы должен присутствовать. В результате процесс расследования и судебный вердикт может строго следовать форме закона, но иметь мало отношения к его буквальному смыслу. Можно предположить, что этот принцип четкого воспроизводства формы официальных норм и высказываний, с одновременным изменением их духа, уходит корнями в позднесоветский период.

Третьим примером является понятие «политики вненаходимости» (и сопутствующее ему понятие «свободы вненаходимости»). Сегодня все шире практикуются способы устройства своей жизни одновременно «внутри и за пределами» государственной системы. Это может проявляться в разных формах — в дистанцировании субъекта и целых социальных сред как от политического дискурса государства, так и от политической активности оппозиции, в нежелании смотреть государственные телевизионные каналы, в отправке детей на обучение за рубеж, причем независимо от «политической» ориентации каждого конкретного человека (это практикуется и государственными чиновниками, и людьми, воспринимающими себя как часть «оппозиции», и теми, кто ни к первой, ни ко второй группе себя не относит).

Можно было бы привести и другие примеры, но вряд ли это важно. Ведь в этой книге анализируется все же вполне конкретный исторический период — *поздний социализм*. Насколько описанные здесь культурные феномены, социальные отношения, политические формы и языковые жанры важны для понимания сегодняшнего времени — решать читателю. Строить исторические параллели важно и полезно, но делать это надо осторожно, не забывая о своеобразии каждой эпохи.

А.Ю., май 2014, Беркли — Санкт-Петербург

Благодарности

Я хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, без которых эта книга не была бы написана или была бы совершенно другой. Это в первую очередь мои учителя, коллеги, студенты и друзья из разных стран, городов и университетов. *В университетах Беркли* и *Стэнфорд:* Eduardo Kohn, Alex Beliaev, Victoria Bonnell, George Breslauer, Юрий Слезкин, Григорий Фрейдин, Ирина Паперно, Stephen Collier, Zeynep Gursel, Donald Moore, Stefania Pandolfo, Charles Hirschkind, Cori Hayden, Hélène Mialet, Michael Wintroub, Gil Eyal, Dace Dzenovska, Larisa Kurtovic, Ivan Arenas, Saleem Al-Bahloly, Diana Blank, Maria Stoilkova, Nina Aron, Monika Eppinger, David Marcus, Pete Skafish, Олеся Шайдук-Иммерман, Lisa Sangmi Min, Thomas Matza, Jenna Rice, Tobias Reeves; в *Дюкском университете:* Claudia Strauss, Ann Allison, Charles Piot, Naomi Quinn, William O'Barr, Thomas Lahusen, Barbara Hernstein-Smith, Frederic Jameson, Michael Hardt, George Faraday, Borislav Knezevic, Katharine Wallerstein; *в Кембриджском университете:* Caroline Humphrey, Hildergard Diemberger, Николай Ссорин-Чайков, Madeleine Reeves, Polly McMichael, Dawn Nafus, James Laidlaw; *в Чикагском университете:* Michael Siverstein, Sue Gal, Lisa Wedeen, William Mazzarella, Jessica Greenberg, Andrew Graan; *в Европейском университете в Санкт-Петербурге:* Олег Хархордин, Елена Здравомыслова, Анна Темкина, Александр Эткинд, Артемий Магун, Борис Колоницкий, Татьяна Воронина, Илья Утехин; *в других университетах и городах:* Katherine Verdery, Nancy

Ries, Gail Kligman, Tim Mitchell, Elizabeth Dunn, Slavoj Zizek, Ronald Suny, Alan Feldman, Arvind Rajagopal, Annelise Riles, Hiro Miyazaki, Andrew Willford, Renata Salecl, Светлана Бойм, Юлия Лернер, Igal Halfin, Inna Leykin, Alaina Lemon, Стас Савицкий, Сергей Ушакин, Kim Scheppele, Евгений Добренко, Марк Липовецкий, David Brandenberger, Dominic Boyer, Hugh Raffles, Mary Murrell, Margaret Paxson, Markku Lonkila, Thomas Campbell, Jessica Gorter, John Bailyn, Hanna Ruutu, Sanna Turoma, Tony DeLeon, Darin Stephanov, Виктор Мазин, Олеся Туркина, Светлана Козлова, Дмитрий Виленский, Владимир Фещенко. Большое спасибо внимательному и остроумному редактору «НЗ» Илье Калинину и главному редактору «НЛО» Ирине Прохоровой за их веру в этот проект и долгое терпение. Огромная благодарность моим родителям, Владимиру и Наталье за теплоту и поддержку. Ну а самой большой благодарности заслужили Мелани, Оливер и Настюша за любовь и веселую жизнь на двух языках и континентах.

Глава 1

ПОЗДНИЙ СОЦИАЛИЗМ.
Советский субъект и неожиданность обвала системы

Понятие мимикрия не подходит для описания феноменов абсолютно иной природы, поскольку в основе этого понятия лежит бинарная логика. Крокодил не притворяется стволом дерева, а хамелеон не делает вид, что он цвета окружающей среды. Розовая пантера тоже никем не притворяется и никого не имитирует. Она лишь раскрашивает мир в свой цвет, розовым по розовому, сама становясь этим миром...[1]

Жиль Делез и Феликс Гваттари.
Тысяча плато: капитализм и шизофрения[2]

Вечное государство

«...Никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что-то может измениться. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что так мы будем жить вечно». Так говорил

[1] Иными словами, пантера не имитирует окружающую среду, а становится ее частью, сливается с ней. В этом процессе изменяются как пантера, так и окружающая среда, они становятся частью друг друга. В основе этого процесса лежит не логика бинарной оппозиции (пантера / окружающая среда), а логика *симбиоза*, совместной эволюции.

[2] Дается авторский перевод, поскольку в существующих русских переводах этого абзаца несколько изменена терминология, которая важна для нашей главы. Перевод дан по английскому изданию: Deleuze, Guattari 2002: 11.

известный музыкант и поэт Андрей Макаревич в телевизионном интервью 1994 года[3]. Позже, в своих мемуарах Макаревич писал, что в советские годы ему, как и миллионам советских граждан, казалось, что он живет в вечном государстве (Макаревич 2002: 14). Лишь где-то году в 1987-м, когда реформы перестройки уже шли некоторое время, у него зародилось первое сомнение в вечности «советской системы»[4]. В первые постсоветские годы многие бывшие советские граждане вспоминали свое недавнее ощущение доперестроечной жизни схожим образом. Тогда советская система казалась им вечной и неизменной, а быстрый ее обвал оказался для большинства неожиданностью. Вместе с тем многие вспоминали и другое примечательное ощущение тех лет: несмотря на полную неожиданность обвала системы, они, странным образом, оказались к этому событию готовы. В смешанных ощущениях тех лет проявился удивительный парадокс советской системы: хотя в советский период ее скорый конец представить было практически невозможно, когда это событие все же произошло, оно довольно быстро стало восприниматься как нечто вполне естественное и даже неизбежное.

Поначалу мало кто ожидал, что политика *гласности*, провозглашенная в начале 1986 года[5], приведет к каким-то радикальным переменам. Кампания за повышение гласности поначалу воспринималась так же, как бесчисленное множество предыдущих инициатив государства[6] — кампаний, которые мало что меняли, приходили и уходили, пока жизнь продолжала течь своим обычным чередом. Однако довольно скоро, в течение года, у многих советских людей начало появляться ощущение того, что в стране происходит нечто беспрецедентное и ранее невообразимое.

[3] Макаревич А. Телепрограмма «Взгляд. С Александром Любимовым» на 1 канале Останкино, 22.06.1994 (http://www.youtube.com/watch?v=DF5Utrscl68).

[4] Мы будем пользоваться понятием «системы» в определенном смысле, который подробно обсуждается чуть ниже в данной главе.

[5] Впервые термин «гласность» в смысле реформаторской программы прозвучал из уст Горбачева на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 года.

[6] Примером служат такие программы, как «ускорение», «госприемка», провозглашенные Юрием Андроповым в 1982 году, которые не воспринимались никем как нечто новое и важное. Поначалу термины «гласность» и «перестройка» употреблялись партийным руководством вместе с термином «ускорение», — как элементы этой программы.

Вспоминая те годы, многие говорят о «переломе сознания» и «сильнейшем шоке», который они в какой-то момент испытали, об ощущениях воодушевления и даже восторга, которые пришли на смену этому шоку, и о ранее необычном желании принимать участие в происходящем.

Тоня М., школьная учительница из Ленинграда, 1966 года рождения, запомнила тот момент, когда в 1987 году она вдруг окончательно осознала, что вокруг происходит «что-то нереальное, чего раньше было себе не представить». Она описывет этот момент так: «Я ехала в метро, как обычно читала журнал "Юность" и вдруг испытала сильнейший шок. Я прекрасно помню этот момент... Я читала только что опубликованный роман Льва Разгона "Непридуманное"[7]. Раньше было просто не представить, что когда-нибудь напечатают что-то даже отдаленно напоминающее этот роман. После этой публикации поток прорвало»[8]. Студентка Ленинградского университета Инна, 1958 года рождения, тоже хорошо запомнила момент, который она называет «первым откровением». Он произошел на рубеже 1986—1987 годов: «Для меня перестройка началась с публикации в "Огоньке" стихов Гумилева»[9]. Инна, в отличие от большинства советских читателей, читала стихи Гумилева и раньше, в рукописных копиях. Однако она никогда не могла представить, что эти стихи появятся в официальных изданиях. Для нее откровением стали не сами стихи, а факт их публикации в советской печати и положительное обсуждение поэзии Гумилева вообще.

[7] В своих воспоминаниях Разгон рассказывает о семнадцати годах, проведенных в сталинских лагерях, с 1938-го по 1955-й. Отрывки из книги «Непридуманное» были впервые опубликованы в 1987 году в журналах «Огонек» и «Юность». Вскоре была опубликована и вся книга.

[8] Здесь и далее интервью автора, взятые им в Ленинграде в 1994—1997 годах. Иные случаи указаны отдельно.

[9] Стихи Николая Гумилева, репрессированного поэта-акмеиста и первого мужа Анны Ахматовой, были опубликованы большой подборкой впервые с 1923 года в «Огоньке» № 17, 19 апреля 1986 года. Публикация была приурочена к столетию Гумилева и сопровождалась статьей о поэте. Стоит отметить, что несколько стихов Гумилева печаталось в антологиях поэзии в советское время и после 1920-х годов, но это были считаные публикации, не сопровождавшиеся какой-либо информацией о поэте. Примером была хрестоматия для студентов пединститутов: (Русская литература XX века 1962).

После этого поток новых, прежде немыслимых публикаций стал нарастать в геометрической прогресии. Возникла и приобрела популярность новая практика чтения всего подряд. Многие начали обсуждать прочитанное с друзьями и знакомыми. Чтение новых публикаций и публикаций того, что раньше не могло быть опубликовано, превратилось во всенародную одержимость. Между 1986 и 1990 годам итиражи большинства газет и журналов постоянно росли с рекордной скоростью. Первыми выросли тиражи ежедневных газет, особенно во время XIX партийной конференции 1986 года. Самым крупным и быстро растущим был тираж еженедельника «Аргументы и факты» — он вырос с 1 млн экземпляров в 1986 году до 33,4 млн в 1990-м[10]. Но и другие издания отставали ненамного. Тираж еженедельника «Огонек» вырос с 1,5 млн в 1985 году до 3,5 млн в 1988-м. Выросли и тиражи «толстых» ежемесячных журналов: тираж «Дружбы народов» вырос с 119 тыс. в 1985 году до более 1 млн в 1990-м, тираж «Нового мира» вырос с 425 тыс. в 1985 году до 1,5 млн в начале 1989 года и вновь подскочил до 2,5 млн к концу лета 1989 года (когда журнал начал печатать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, ранее недоступный широкому советскому читателю)[11]. В киосках пресса раскупалась с такой быстротой, что, несмотря на растущие тиражи, многие издания купить стало практически невозможно. В письмах в редакцию «Огонька» читатели жаловались, что им приходится занимать очередь в киоски «Союзпечати» с 5 часов утра — за два часа до их открытия, — чтобы иметь возможность преобрести свежий номер журнала.

Как и большинство людей вокруг, Тоня М. старалась читать как можно больше новых публикаций. Она договорилась с подругой Катей, что каждая из них будет подписываться на разные толстые журналы, «чтобы можно было ими обмениваться и больше читать. Тогда многие так делали. Я целый год провела за непрерывным чтением новых публикаций». Стремительные перемены опьяняли. Тоня, всегда ощущавшая себя советским человеком и не отождествлявшая себя с диссидентами,

[10] Этот тираж был даже зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса как самый большой в мире (Luk'jančenko 1990: 607—613).

[11] См.: Ферретти 2002: 40—54.

неожиданно для себя поддалась новому критическому настрою, испытывая восторг оттого, что столько людей вокруг чувствало то же самое. «Все это было так внезапно и неожиданно», — вспоминает она, «и полностью меня захватило». Она читала «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург[12], «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана[13], отрывки из книг Солженицына, книги Владимира Войновича. У Гроссмана, вспоминает Тоня, «я впервые наткнулась на мысль о том, что коммунизм может являться формой фашизма. Мне такое никогда в голову не приходило. Он не говорил об этом открыто, а просто сравнивал пытки, применявшиеся в обеих системах. Я помню, как я читала эту книгу, лежа на диване в своей комнате и остро ощущая, что вокруг меня происходит революция. Это было потрясающе. У меня произошел полный перелом сознания[14]. Я делилась своими впечатлениями с дядей Славой. Его больше всего радовало то, что стало можно критиковать коммунистов».

В результате чтения журналов, просмотра телепередач и постоянного обсуждения прочитанного и увиденного, чем занимались, казалось, все вокруг, в общественном языке появились новые темы, сравнения, метафоры и идеи, приведшие в конце концов к глубокому изменению доминирующего дискурса и сознания. В результате к концу 1980-х — началу

[12] В книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности» рассказывается о восемнадцати годах, проведенных автором в сталинских лагерях. Книга, части которой были написаны в конце 1960-х (первая часть) и в 1970-х (вторая часть), до перестройки существовала в самиздате. Официально она была издана в 1988 году, спустя одиннадцать лет после смерти Гинзбург. Именно эту публикацию упоминает Инна.

[13] Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» о Великой Отечественной войне и сталинских лагерях создавался в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Поскольку изображение войны в романе серьезно расходилось с официальной версией, он был конфискован органами госбезопасности. Копия рукописи была тайно переправлена на Запад и опубликована в 1980 году. В Советском Союзе роман был впервые напечатан в 1988 году, спустя почти двадцать пять лет после смерти писателя.

[14] Понятие «перелом сознания» в период перестройки, которое всплывет еще несколько раз в этой книге (см. более подробный разбор в Заключении), является эквивалентом того, что Мишель Фуко назвал древнегреческим термином *метанойя* (metanoia), — то есть радикальной трансформации или обращения субъекта. В Новое время, после Французской революции, согласно Фуко, опыт обращения оказывается напрямую связан с формированием революционной политической субъективности (Фуко 2007: 215).

1990-х годов возникло ощущение того, что Советское государство, так долго казавшееся вечным, может быть не так уж и вечно. Итальянский социолог Витторио Страда, подолгу живший в Советском Союзе до начала перестройки и во время ее, вспоминает, что в те годы у советских людей возникло ощущение ускорившейся истории. По его словам, «никто, или почти никто, не мог себе представить, что крах советского режима будет таким близким и скорым, как это произошло. Только с перестройкой... пришло понимание, что это начало конца. Однако сроки этого конца и то, как он наступил, оказались ошеломляющими» (Страда 1998: 12—13).

Многочисленные воспоминания о перестроечных годах указывают на уже упомянутый парадоксальный факт. Большинство советских людей до начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но и не могло его себе представить. Но уже к концу перестройки — то есть за довольно короткий срок — кризис системы стал восприниматься многими людьми как нечто закономерное и даже неизбежное. Вдруг оказалось, что, как это ни парадоксально, советские люди были в принципе всегда готовы к распаду советской системы, но долгое время не отдавали себе в этом отчета. Советская система вдруг предстала в парадоксальном свете — она была одновременно могучей и хрупкой, полной надежд и безрадостной, вечной и готовой вот-вот обвалиться.

Ощущение этой внутренней парадоксальности советской системы, возникшее в последние годы перестройки, заставляет нас поставить ряд вопросов. Насколько эта кажущаяся парадоксальность советской системы была неотъемлемой частью ее природы? В чем заключались корни этой парадоксальности? Каким образом функционировала система знаний в советском контексте? Как знания и информация производились, кодировались, распространялись, интерпретировались? Можно ли выявить какие-то несоответствия, сдвиги, разрывы внутри системы — на уровне ее дискурса, идеологии, смыслов, практик, социальных отношений, структуры времени и пространства, организации повседневности и так далее, — которые привели к возникновению этого парадокса, к ощущению системы как вечной, при ее одновременной внутренней хрупкости? Ответы на эти вопросы, возможно, помогут нам решить главную задачу этого исследования, заключающуюся не в том, чтобы

определить причины развала советской системы, а в том, чтобы найти внутренние парадоксы и несоответствия на уровне функционирования системы, благодаря которым она, с одной стороны, была действительно мощной и, вполне естественно, могла восприниматься как вечная, а с другой — была хрупкой и могла вдруг сложиться как карточный домик. Иными словами, объектом нашего исследования являются *не причины*, по которым советская система обвалилась, а те принципы ее функционирования, которые сделали ее обвал одновременно *возможным* и *неожиданным*.

Существует множество исследований «причин» обвала СССР. Они говорят об экономическом кризисе, демографической катастрофе, политических репрессиях, диссидентском движении, многонациональном характере страны, харизматических личностях Горбачева или Рейгана и так далее. Нам кажется, в большинстве из этих исследований допускается одна общая неточность — в них происходит подмена понятий, в результате которой факторы, сделавшие обвал советской системы лишь *возможным*, интерпретируются как его *причины*. Однако, для того чтобы разобраться в этом глобальном событии, нельзя забывать, что оно было *неожиданым*. Ощущение вечности советской системы и неожиданности ее конца неверно рассматривать как заблуждение обделенных информацией или задавленных идеологией людей. Ведь и те, кто начал реформы, и те, кто им противостоял, и те, кто был равнодушен и к первым и ко вторым, одинаково не ожидали такого быстрого конца системы. Напротив, ощущение вечности и неожиданности было реальной и неотъемлемой частью самой системы, элементом ее внутренней парадоксальной логики.

Обвал советской системы *не был неизбежен* — по крайней мере, неизбежным не было ни то, как он произошел, ни то, когда он произошел. Лишь при определенном «случайном» стечении обстоятельств — то есть стечении обстоятельств, которое участниками этих событий не воспринималось как определяющее, — это событие *смогло* произойти. Но оно могло и не произойти или могло произойти намного позже и совсем иначе. Для того, чтобы понять это событие, важно понять не столько его причину, сколько именно эту *случайность*. Никлас Луман дал

важное определение случайности: «Случайным является все то, что не является неизбежным и не является невозможным»[15].

Обвал советской системы высветил ее с такой стороны, с которой она никогда и никому не была видна ранее. Поэтому это событие может служить своеобразной «линзой», сквозь которую можно разглядеть скрытую ранее природу советской системы. В данной книге предлагается именно такой анализ — обвал СССР служит здесь отправной точкой для ретроспективного, генеалогического анализа системы. Главный период, на котором мы сфокусируемся, — это примерно тридцать лет советской истории с конца сталинского периода до начала перестройки (начало 1950-х — середина 1980-х), когда советская система воспринималась большинством советских граждан и большинством зарубежных наблюдателей как система мощная и незыблемая. Мы назвали этот период *поздним социализмом*.

Используя подробный этнографический и исторический материал, мы уделим особое внимание тому, как советские люди взаимодействовали с идеологическими дискурсами и ритуалами, как осуществлялось на практике их членство во всевозможных организациях и сообществах, что себой представляли языки (идеологические, официальные, неидеологические, повседневные, частные), на которых они общались и при помощи которых высказывались в различных контекстах, какими смыслами они наделяли и как интерпретировали эти языки, высказывания и формы общения и, наконец, какие типы взаимоотношений, практик, интересов, сообществ, этических норм и способов существования — подчас никем не запланированных — возникали в этих контекстах.

Перед тем как продолжить, надо сделать оговорку по поводу того, что мы будем понимать под термином «советская система» или просто «система». Этот термин, как и любой термин, имеет некоторые проблемы, и мы будем его использовать определенным образом и лишь время от времени, ради простоты и ясности изложения. Под «системой» мы понимаем конфигурацию социально-культурных, политических, экономических, юридических, идеологических, официальных, неофициальных, публичных, личных и других видов отношений, институтов,

[15] Luhmann 1998: 45.

идентификаций и смыслов, из которых слагается пространство жизни граждан[16]. В таком понимании «система» не эквивалентна «государству», поскольку она включает в себя элементы, институты, отношения и смыслы, которые выходят за рамки государства и подчас ему не видны, не понятны и не подконтрольны. Не эквивалентна она и понятиям «общество» или «культура», как они традиционно используются в социальных науках и обыденной речи, поскольку к «системе» относятся способы существования и виды занятий, которые выходят за пределы этих понятий. *Система* используется здесь как раз для того, чтобы уйти от понятий «культура», «общество» или «менталитет» как неких естественных данностей, которые якобы всегда существуют и относительно изолированы от истории и политических отношений. Используется термин «система» и для того, чтобы уйти от таких традиционных противопоставлений, как «государство—общество», которые часто встречаются в социальных и политических науках и широко распространены при анализе советского прошлого. *Система* также имеет здесь иной смысл, чем тот, которым он наделялся, например, в диссидентском дискурсе, где понятие «Система» являлось эквивалентом подавляющего аппарата государства. В нашем случае *система* — это *не* нечто закрытое, логично организованное или неизменное. Напротив, «советская система» постоянно менялась и испытывала внутренние сдвиги; она включала в себя не только строгие принципы, нормы и правила и не только заявленные идеологические установки и ценности, но и множество внутренних противоречий этим нормам, правилам, установкам и ценностям. Она была полна внутренних парадоксов, непредсказуемостей и неожиданных возможностей, включая потенциальную возможность довольно быстро разрушиться при введении определенных условий (что и произошло в конце перестройки). В период своего существования советская система не была видна полностью, как некое совокупное целое, ни из одной точки наблюдения — не извне, ни изнутри системы. Эту систему стало возможно увидеть и проанализировать как нечто единое только позже, ретроспективно, после того как она исчезла.

[16] См. генеалогию понятия «система» в современной социальной теории в книге Boyer, Dominic 2005, особенно главе 5.

Бинарный социализм

Одним из мотивов написания этой книги стало желание оспорить некоторые проблематичные постулаты о природе советского социализма, которые часто воспроизводятся в академических и журналистских текстах как на Западе, так и в России. Эти постулаты сводятся к следующему: идея социализма была якобы не только ошибочна, но и безнравственна; именно так (как ошибочную и безнравственную) якобы воспринимало советскую систему до начала перестройки большинство советских людей; крушение советской системы было якобы предопределено именно этим отрицательным отношением к ней советских людей. Эти проблематичные постулаты не обязательно формулируются в явном виде. Чаще они присутствуют подспудно — например, в языке и терминологии, которые используются для описания разных аспектов советской жизни. Примером служит широко распространенное словосочетание «советский режим», которое, хотя и используется в качестве синонима таких терминов, как советское государство, советская история или социализм, часто несет гораздо более отрицательный оттенок, чем эти термины, подспудно сводя советскую реальность к проявлению государственного насилия[17]. Другим распространенным примером является постоянное использование бинарных оппозиций для описания советской действительности, таких как *подавление — сопротивление*, *свобода — несвобода*, *правда — ложь*, *официальная культура — контркультура*, *официальная экономика — вторая экономика*, *тоталитарный язык — контр-язык*, *публичная субъектность — частная субъектность*[18], *конформизм — нонконформизм*, *реальное поведение — притворство*, *истинное лицо — маска* и так далее. Эта терминология всегда использовалась и продолжает использоваться сегодня при описании советского существования и советского субъекта в западной историографии, политических и социальных науках, прессе и массовой культуре. С начала 1990-х годов

[17] Вместо термина «советский режим» в этой книге говорится о «Советском государстве», «советской системе» (в том смысле, который объяснен выше), «позднем социалиме» и так далее.

[18] *Public self — private self.*

эта терминология активно использовалась в России и других странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы для ретроспективного описания социализма.

В крайних примерах такого описания советский субъект, часто с пренебрежением именуемый *Homo Sovieticus*, предстает человеком, у которого отсутствует личная воля. Участие этого субъекта в советской системе преподносится как доказательство того, что он либо поддался на угрозы или соблазны карьерного благополучия, либо потерял способность критически мыслить. Например, в конце 1980-х годов французский социолингвист Франсуаз Том утверждала, что в контексте всепроникающего советского идеологического языка лингвистические «символы перестают действовать должным образом», а значит, мир советского субъекта — это «мир без смысла, без событий и без человечности» (Thom 1989: 156). Десятью годами позже, в конце 1990-х, Франк Эллис повторил эту идею еще надменнее:

> Если разум, здравый смысл и порядочность слишком часто подвергаются надругательству, человеческая личность калечится, а человеческий разум распадается или искажается. Граница между правдой и ложью фактически стирается. ...Воспитываясь в подобной атмосфере, испытывая страх и будучи лишенным какой-либо интеллектуальной инициативы, Homo Sovieticus попросту не мог быть ничем иным, чем рупором партийных идей и лозунгов. Это был не столько человек, сколько контейнер, который опорожнялся или заполнялся в зависимости от требований партийной политики (Ellis 1998: 208).

Даже если в подобных описаниях и допускается, что у советского субъекта могла иметься собственная воля, голос этого субъекта все равно во внимание не принимается, поскольку из-за притеснений и страха этот голос якобы не может считаться истинным. По мнению политолога Джона Янга, единственным советским субъектом, способным иметь собственный голос, являлся нонконформист-диссидент, который занимался тем, что «противопоставлял реальные факты официальной фальши», делая это в общении «за закрытыми дверьми с такими же разочарованными друзьями, пользуясь языком знаков, придуманным из опасений, что

квартиру прослушивают спецслужбы, и передавая из рук в руки неразрешенные рукописи или кассетные звукозаписи» (Young 1991: 226).

Приведенные примеры можно рассматривать как крайность. Однако в них отражается общая тенденция того, как описываются советский субъект и советская реальность. В основе этого подхода лежит невероятно упрощенная, *бинарная* модель власти, согласно которой власть может функционировать только двумя способами — либо *убеждением*, либо *принуждением*[19]. Эта упрощенная модель власти доминирует и в исследованиях социализма, появившихся в бывшем Советском Союзе после его развала. В них почти всегда советская культура делится по принципу бинарных оппозиций на официальную и неофициальную, «конформистскую» и «нонконформистскую», «официоз» и «андеграунд»[20]. Корни такого разделения, как отмечают социологи Уварова и Рогов, уходят в особую идеологию диссидентских кругов 1970-х, согласно которой «в советском журнале в принципе не может быть напечатано ничего хорошего, настоящий текст может быть только в сам- или тамиздате...»[21]. Критикуя это бинарное разделение, Уварова и Рогов предлагают вместо него говорить о «подцензурной» и «неподцензурной» культуре, тем самым подчеркивая амбивалентность советского культурного процесса, в котором разделение шло не по признаку принадлежности или непринадлежности государству, а по признаку контролируемости или неконтролируемости — например, среди неподцензурных явлений культуры были и официальные, и неофициальные, и то же самое могло быть в сфере подцензурного.

Однако, как нам кажется, предложенные ими термины не решают самой проблемы бинарных оппозиций — вводя новый вид разделения советской действительности, они не учитывают того факта, что множество ее явлений включало в себя элементы, *одновременно* стоящие по обе стороны этого разделения. Одни и те же явления культуры могли быть и «подцензурными», и «неподцензурными» — в зависимости

[19] См. критику этого взгляда на власть в работе Mitchell 1990: 545.

[20] Термины, заключенные в кавычки, сегодня широко употребляются, но в советское время распространены не были. Этот факт немаловажен при анализе советской системы; мы обсудим его чуть ниже.

[21] Уварова, Рогов 1998: 30.

от конкретного контекста, периода, случая или от того, как конкретный бюрократ понимал их. Деление на подцензурные и неподцензурные элементы подразумевает, что идеологические задачи социалистического государства были четко определены, статичны и предсказуемы. Однако в действительности многие из этих задач были настолько противоречивы и непоследовательны, что их невозможно свести к четко сформулированной бинарной черно-белой идеологии. Смысл многих культурных явлений советской жизни, включая те, которые были официально разрешены и которые власть могла даже сама пропагандировать, подчас сильно отличался от буквального смысла партийных выступлений и программ, а порой им противоречил. Советская реальность была намного амбивалентнее и парадоксальнее, чем она предстает в сегодняшних бинарных описаниях.

Живучесть моделей, которые описывают советскую реальность в терминах бинарных оппозиций, частично объясняется особым *расположением*[22] исследователя по отношению к советской системе как объекту анализа. По вполне очевидным политическим причинам большинство критических исследований советской системы велось за пределами ее пространственно-временных рамок — либо из-за рубежа Советского государства, либо уже после того, как это государство прекратило существование. Такое *внешнее* расположение исследователя по отношению к социализму способствует тому, что большинство исследователей отталкивается в своем анализе от философских постулатов западного либерализма, подчас не отдавая себе в этом отчета. Это отражается, например, в том, как интерпретируются такие аналитические понятия, как «субъект», «власть», «сопротивление», «свобода» и так далее.

[22] Термин «расположение» (*situatedness*) был предложен Донной Харавэй (Haraway 1991), для того чтобы учесть в процессе анализа некоего феномена перспективу того, кто осуществляет анализ. Харавэй напоминает об известной, но часто игнорируемой истине: любое наблюдение частично сформировано конкретным *расположением* наблюдателя по отношению к наблюдаемому объекту; не существует некой абстрактной метафизической «божественной перспективы» (*God's eye*), которая полностью абстрагирована от расположения наблюдателя по отношению к объекту. Отношение позитивистской науки к своим наблюдениям как «объективным» (то есть не связанным с субъективной перспективой наблюдателя) является именно *метафизическим* заблуждением.

Исследования советской реальности осуществляются и распространяются в контекстах, где политический, нравственный и культурный смысл понятия «советский субъект» преобретает заведомо негативный оттенок, а понятие «сопротивление», наоборот, заведомо романтизируется. То, что многие исторические исследования в постсоветский период проводятся именно под этим углом, безусловно сказывается и на их выводах.

Однако этот угол зрения существовал не всегда. Как показал Рогов, между дневниками, которые велись советскими людьми в 1970-х годах, и воспоминаниями о советской жизни, которые были написаны ими же, но позже (либо в перестройку, либо после развала СССР), существует колоссальная разница. Она заключается не просто в авторской манере или языке, а в первую очередь в оценке окружающей действительности, которая проявляется как в явных высказываниях, так и в общих, несформулированных посылках. Так, мемуары, в отличие от дневников, описывают советскую систему и авторское отношение к ней в терминах, которые появились уже в период распада системы и после ее конца и тяготеют к более критической ее оценке (Рогов 1998: 8)[23]. Швейцарский социолингвист Патрик Серио также показал на примере множества текстов, что, когда авторы воспоминаний и комментариев о советском прошлом оказались в политическом контексте конца перестройки, их отношение к прошлому неожиданно поменялось. Теперь они начали отстаивать идею, появившуюся уже во время перестройки, о том, что в доперестроечный период их собственный язык якобы никак не смешивался с «языком власти», а, напротив, представлял собой «пространство свободы, которое они отстаивали в борьбе». Однако, пишет Серио, если сравнить мемуары, которые эти люди писали в период перестройки, с их же материалами доперестроечных советских лет, оказывается, что ощущение того, что советский язык будто бы делится на «их язык» (язык власти, тоталитарный язык) и «наш язык» (язык простых людей, свободный язык), в советский период отсутствовало, а распространилось именно в перестройку или постперестроечные

[23] В качестве примера воспоминаний о советской жизни, опубликованных после ее окончания, см.: Paperno 2009, а также: Паперно 2004: 102—128.

годы[24]. Более того, даже термин «период застоя», давно ставший знакомым ярлыком брежневского периода, тоже возник и распространился лишь во время горбачевских реформ, то есть через несколько лет после окончания брежневской эпохи[25]. По сути, даже само осознание периода с середины 1960-х до начала 1980-х годов, когда Брежнев занимал пост генерального секретаря, как некоего целостного периода с конкретными историческими чертами, тоже возникло лишь постфактум, в период перестройки. Согласно Рогову, «"человек семидесятых годов", по-видимому, имел гораздо менее четкое представление об исторических координатах своей эпохи, чем это стало казаться ему в конце 1980—1990-х»[26]. Дискурс перестройки и гласности вскрыл множество неизвестных фактов и критически окрасил множество явлений советского прошлого, которые до этого не могли быть публично обсуждены и, тем более, проанализированы. Однако этот дискурс также способствовал и созданию новых мифов о советском прошлом, пронизанных романтическими идеями и политическими задачами конца 1980-х, а затем и 1990-х. Многие из бинарных оппозиций, которые используются сегодня для описания исчезнувшей советской системы, подчас упрощая ее и представляя более предсказуемой и черно-белой, чем она была, приобрели важность именно в новом революционном контексте конца перестройки, а затем неолиберальном контексте раннего постсоветского периода.

В то же время некоторые корни этих бинарных оппозиций берут начало гораздо глубже — в истории и идеологии холодной войны, когда понятие «советский блок» было сформулировано в противоположность понятию «Запад» и в отличие от понятия «третий мир». Поэтому изолированная критика бинарных оппозиций, без критического анализа их глубоких исторических корней, способна привести не к отказу от упрощенных категорий, а лишь к подмене старых упрощенных категорий новыми, основанными на не менее проблематичных стереотипах. Примером тому служит анализ Сьюзан Гал и Гейл Клигман

[24] Seriot 1992: 205—206.

[25] Термин *застой* был создан для обозначения брежневского периода по аналогии с терминами *оттепель* и *перестройка*, вошедшими в общественный дискурс значительно раньше его: первый — в 1950-х годах, второй — в середине 1980-х (Рогов 1998: 7).

[26] Там же: 8.

(Gal, Kligman 2000). С одной стороны, они справедливо критикуют распространенную аналитическую модель системы государственного социализма, в основе которой лежат упрощенные противопоставления: *люди — государство, мы — они, публичное пространство — приватное пространство* и так далее. Как отмечают авторы, эти категории существовали не в оппозиции друг другу, а в «повсеместном переплетении и взаимопроникновении»[27]. Однако, с другой стороны, развивая эту мысль они пишут, что каждый гражданин социалистического общества «был в некоторой степени соучастником системы покровительства, лжи, воровства, подкупа и двуличия, благодаря которым система функционировала» и что в результате в этой системе даже «близкие, родственники и друзья доносили друг на друга» (Ibid: 51). Делая упор на категориях всеобщего двуличия, лжи, подкупа, доносительства и аморальности как базовых принципах в отношениях советских людей с системой и друг с другом, авторы воспроизводят знакомую упрощенную бинарную модель социализма со всеми ее аналитическими проблемами и моральными стереотипами, которую вначале сами же критиковали. Они лишь конструируют новую бинарную модель, в которой ложь и аморальность «социалистического субъекта» противопоставляется неподкупности и честности некоего другого, неназванного, «нормального» субъекта (очевидно, субъекта либерального).

Повседневность

Безответственно было бы отрицать, что советская система причинила массу страданий миллионам людей, что она подавляла личность и ограничивала свободы. Это хорошо известный факт. Однако, если мы сведем анализ реально существующего социализма к анализу подавляющей стороны государства, нам не удастся разобраться в вопросах, сформулированных в начале книги. Проблема в том, что в моделях социализма, основанных на бинарных оппозициях и делающих упор на подавляющей стороне

[27] См. также анализ критики бинарных оппозиций при описании социализма в книге: Lampland 1995: 273—275, 304.

системы, теряется один крайне важный и, казалось бы, парадоксальный факт: *значительное число советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, дружбу, круг знакомых, относительную неважность материальной стороны жизни, заботу о будущем и других людях, бескорыстие, равенство) как важные и реальные ценности советской жизни, несмотря на то что в повседневной жизни они подчас нарушали, видоизменяли или попросту игнорировали многие нормы и правила, установленные социалистическим государством и коммунистической партией.* Простые советские граждане активно наполняли свое существование новыми, творческими, позитивными, неожиданными и не продиктованными сверху смыслами — иногда делая это в полном соответствии с провозглашенными задачами государства, иногда вопреки им, а иногда в форме, которая не укладывается в бинарную схему *за-против*. Эти положительные, творческие, этические стороны жизни были такой же органичной частью социалистической реальности, как и ощущение отчуждения и бессмысленности. Одной из составляющих сегодняшнего феномена «постсоветской ностальгии»[28] является тоска не по государственной системе или идеологическим ритуалам, а именно по этим важным смыслам человеческого существования. Показательны ощущения, которые возникли у многих по поводу советской истории в середине 1990-х годов — то есть в те годы, когда конец этой истории еще оставался событием недавним, хотя и отошедшим уже в невозвратное прошлое. Так, по признанию одного философа, сделанному в 1995 году: лишь спустя несколько лет после крушения советской системы он осознал, что серость и подавленность той действительности были неразрывно связаны с «определенной и ничем, и никакой критикой ложной идеологии не перечеркиваемой *реальностью человеческого счастья*... уюта и благополучия той жизни, в которой наряду со страхом были радушие, успехи и порядок, обустройство общего пространства жизни»[29]. Вторя ему, другой ленинградский художник и фотограф заметил, что через несколько

[28] Обстоятельный разбор феномена «ностальгии» в постсоциалистический период, а также того, насколько оправданно использование этого обобщающего термина, см.: Nadkarni, Shevchenko 2004: 487—519. См. также: Boym 2001.

[29] Савчук 1995: 5.

лет после «краха коммунизма», который он воспринял с восторгом, он неожиданно ощутил, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло и что-то иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «пафоса искренности и непосредственности»[30]. Без критического анализа подобных ощущений, которые присутствуют и сегодня, хотя, возможно, в иной форме, чем в середине 1990-х, невозможно разобраться в том, чем же действительно был социализм для советских людей, как он в действительности функционировал на уровне ежедневного существования, а главное, почему его внезапный обвал сначала оказался таким неожиданным, а чуть позже стал восприниматься как неизбежная закономерность.

Для анализа парадоксальной смеси положительных и отрицательных черт, любви и отторжения, искренности и лжи, чистоты и цинизма, вовлеченности и отчуждения, одинаково присущих советской действительности, необходим *новый аналитический язык* — язык, который не сводил бы эту действительность не к бинарным оппозициям официального—неофициального, подавления—сопротивления, не к моралистическим оценкам, основанным на упрощенных стереотипах холодной войны, не к критическим интерпретациям, в основе которых лежат философские постулаты либерализма, выдаваемые за универсальные внеисторические истины. С подобной задачей несколько раньше столкнулись постколониальные исследования, и некоторые выводы, к которым они пришли, имеют прямое отношение к нашему исследованию позднего социализма и его распада[31]. Так, например, историк Дипеш Чакрабарти (Chakrabarty 2000) подверг критике постколониальную историографию за то, что в нее почти всегда подспудно протаскивается «европейская

[30] Виленский 1995: 3.

[31] Хотя мы считаем, что постколониальная критика важна для исследований социализма, мы не предлагаем проводить параллель между социализмом и колониализмом (что сегодня модно делать). Такие параллели следует проводить крайне осторожно, чтобы не потерять из виду глубокие политические, этические и эстетические различия между этими двумя историческими системами. Как отмечает Тимоти Бреннан, эти проекты отличались не только *технически* (методами раздела имперских завоеваний или организации «управления, иерархии и суверенитета территорий»), но, что важнее, *идеологически* (то есть в их основе лежали абсолютно разные нравственные устремления, социальные ценности и эстетические взгляды) (Brennan 2001: 39).

перспектива» взгляда на исторический процесс, независимо от того, кто является автором анализа — европеец или неевропеец, и от того, что является объектом этой истории — Великобритания или Индия. По мнению Чакрабарти, такое протаскивание европейской перспективы взгляда на процесс истории объясняется тем, что в языке постколониальных исследований «Европа» почти всегда присутствует, «как *суверенный, теоретический субъект* всех других историй, включая те, которые мы называем историей Индии, Китая, Кении и так далее (курсив мой. — *А.Ю.*)» (Chakrabarty 2000: 27). Иными словами, история любого региона постколониального мира волей-неволей оказывается описана как составная часть более важной исторической траектории Европы. Происходит это не обязательно напрямую (Европа может в исследовании даже не упоминаться), а благодаря господствующему аналитическому языку и идеологическим допущениям, на которых этот язык основан. Чакрабарти призывает постколониальную историографию к созданию иного аналитического языка, который бы «провинциализировал» господствующий «большой нарратив» европейской истории, сделав его лишь одним из множества равноценных языков исторического описания. Его призыв применим и к историографии социализма. Однако в нашем случае объектом «провинциализации» должен стать не столько аналитический язык истории Европы, сколько язык либеральной историографии и историографии холодной войны — язык, который давно занимает место господствующего нарратива в исторических исследываниях социализма.

Данная книга, кроме прочего, является попыткой предложить такой альтернативный язык для анализа социализма: это попытка выделить социальные, политические и культурные категории, не обязательно вписывающиеся в традиционные бинарные модели насилия—сопротивления, а также попытка предложить термины для описания и анализа этих категорий[32]. Для решения этой задачи необходимо, по возможности,

[32] Отказ от традиционных бинарных оппозиций при анализе социализма может также обогатить наш критический аппарат, необходимый и для анализа капиталистической системы, в которой эти бинарные оппозиции сформулированы, — например, для анализа процессов, сопровождающих сегодня глобальное распространение системы *неолиберализма*, которые Венди Браун (Brown 2003) называет превращением «*homo oeconomicus* в норму

отказаться от аналитического языка, при использовании которого социализм заведомо предстает в упрощенно негативных тонах, не впадая при этом в обратную крайность его романтизации. Именно поэтому одна из задач данной книги состоит в попытке по-новому взглянуть на некоторые парадоксы реально существовавшего социализма. Другой, смежной задачей данной книги является стремление «регуманизировать» простого советского субъекта — то есть попытка не сводить описание этого субъекта ни к карикатурно-негативному образу «гомо советикуса», или «совка», ни к героически-романтическому образу «нонконформиста» или «диссидента».

Парадокс Лефора

Как подчеркивал Мишель Фуко, «патологические формы» современной государственной власти, такие как сталинизм и фашизм, «несмотря на всю свою историческую уникальность... не вполне оригинальны. Они применили и развили те механизмы, которые уже существовали в большинстве других [современных] обществ... и эксплуатировали в основном те идеи и методы, которые присущи нашей собственной [либерально-демократической] политической рациональности» (Foucault 1983: 209). Иными словами, государственный социализм советского толка, как и западная демократия, был типом *современного государства*, и, следовательно, ему были присущи все ключевые противоречия такого государства.

Одно из таких противоречий проявлялось на уровне государственной идеологии. В идеологической структуре социалистического государства содержался внутренний парадокс, который французский политический философ Клод Лефор назвал общим парадоксом идеологии современного государства, а мы будем впредь называть *парадоксом Лефора*. Этот парадокс заключается в том, что между идеологическими высказываниями современного государства и его идеологической практикой существует

человеческой субъектности» и изменениями в «структуре экономики, общества, государства и (а)моральности», сопровождающими эту норму.

неизбежный разрыв. Для того чтобы представлять систему государственного правления как *легитимную*, идеологический дискурс современного государства вынужден постоянно апеллировать к некой «объективной», не поддающейся сомнению истине[33]. Эта истина существует *вне* идеологического дискурса, за его пределами. Это означает, что идеологический дискурс государства не может поставить эту истину под вопрос, но при этом и не имеет достаточных средств для того, чтобы доказать ее верность. Возникает противоречие между использованием некой объективной истины в качестве основы легитимности государственного правления и невозможностью доказать средствами государственной идеологии, почему эта истина действительно верна.

Этот парадокс в структуре любой современной государственной идеологии, говорит Лефор, делает ее заведомо неустойчивой. В какой-то момент он может привезти к кризису идеологии, а значит, и кризису легитимности государственного правления, которое на этой идеологии базируется. Однако до поры до времени этот парадокс скрыт господствующей фигурой (*master*), — встроенной в идеологический дискурс, — правящего субъекта, который отличается тем, что он предстает как обладатель уникального знания этой внешней объективной истины. Иными словами, пока существует субъект, который якобы обладает личным знанием объективной истины и лично уверен в том, что эта истина действительно верна, противоречие между существованием этой истины и невозможностью ее доказать остается скрытым. Такой субъект занимает уникальное положение в системе государственной власти — он находится как бы «за пределами» идеологического дискурса и из этой «внешней» позиции способен осуществлять оценку любых идеологических высказываний и формулировок на предмет их соответствия или несоответствия объективной истине (Lefort 1986: 211—112)[34]. Однако, если эта *господствующая фигура* идеологического дискурса исчезнет,

[33] Которая в любом современном государстве является неким выражением идеалов эпохи просвещения (например, идея о всеобщем равенстве, о правах человека или о возможности построения общества всеобщей свободы и счастья — демократического, коммунистического или иного).

[34] См. также описание этого парадокса у: Bhabha 1990: 298 и Žižek 1991a: 145—147.

парадокс Лефора, упомянутый выше, более не будет скрыт его фигурой и начнет возникать во всех проявлениях и высказываниях государственной идеологии, что постепенно может привести к сильным внутренним изменениям идеологии и, в конце концов, к кризису легитимности власти вообще.

Парадокс Лефора присутствовал в идеологическом дискурсе Советского государства, как и любого другого современного государства. В советской системе объективная истина, на которой базировалась легитимность идеологии и власти, была сформулирована в виде постулата о *возможности и неизбежности* построения коммунизма[35]. Это означало, что в рамках советского идеологического дискурса можно было сформулировать только те высказывания, в которых этот постулат подразумевался, как неоспоримая и не требующая доказательств истина. При этом средствами советского идеологического дискурса было невозможно ни поставить эту истину под сомнение, ни доказать ее верность. Эта истина была отправной точкой для дискурса советской идеологии — он вытекал из нее и был вторичен по отношению к ней. Парадокс Лефора здесь заключался в том, что в основе советской идеологии, претендовавшей на всеобъемлющее и научное описание реальности, лежала истина, которую эта идеология доказать не могла.

Как мы увидим ниже, в период позднего социализма парадокс Лефора проявился особенно ярко в необычной *форме*, которую приобрели язык идеологических высказываний и структура идеологических ритуалов. Но влияние парадокса Лефора чувствовалось и в иных видах дискурса, типах знаний и видах практик, которые создавались и циркулировали в советском обществе: научных, художественных,

[35] В Соединенных Штатах подобная «самоочевидная» истина, лежащая в основе идеологии государства, выражена словами декларации независимости (*Declaration of Independence*): «Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью» («We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness»). См. официальный перевод этой декларации на русский язык: http://www.infousa.ru/government/declar_r.pdf

повседневных и так далее. На ранних этапах советской истории, как будет показано в последующих главах, этот парадокс был скрыт господствующей фигурой, которая руководила идеологическим дискурсом. Сначала роль этой фигуры играл революционный политический и художественный авангард, который, располагаясь *за пределами* идеологического дискурса, постоянно комментировал и оценивал его из этой внешней позиции, внося в него свои коррективы. Однако революционные годы экспериментаторства постепено сменились введением централизованного партийного контроля за идеологическим производством и репрезентацией. Авангард был подавлен[36]. С этого момента (вторая половина 1920-х годов) уникальная роль *господствующей фигуры* советского идеологического дискурса перешла к Сталину — теперь только он имел доступ к внешнему канону идеологической истины, лично оценивая различные идеологические и иные публичные высказывания на предмет их соответствия этому канону и лично делая в них соответствующие редакторские замечания и исправления[37]. Его оценки и разъяснения часто публиковались в печати, циркулируя по стране в виде метадискурса, дававшего возможность всем лично прикоснуться к канону объективной истины.

Роль Сталина как господствующей фигуры (*master*) идеологического дискурса, имеющей уникальный доступ к внешней объективной истине, способствовала появлению тех феноменов, которые стали визитной карточкой его режима, включая огромную политическую власть, сосредоточенную в одних руках, культ личности, персональную вовлеченность Сталина в редактирование всевозможных высказываний и текстов — не только текстов и выступлений политического руководства страны, но и научных статей, художественной литературы, кинофильмов, музыкальных сочинений, а также бесконечных кампаний чисток в рядах партии и, наконец, Большого террора, приведшего к гибели миллионов людей.

[36] Борис Гройс относит начало «сталинского этапа» в советской истории к 23 апреля 1932 года, когда Центральный комитет партии утвердил декрет, который «упразднял все художественные группы и провозглашал, что все советские "творческие работники" будут организованы в соответствии с профессией в унитарные "творческие союзы" художников, архитекторов и так далее» (Groys 1992: 33).

[37] См. главу 2.

Однако в результате перемен, начавшихся еще в последние годы сталинского правления и продолжившихся после его смерти в 1953 году (которые включали в себя осуждение культа личности Сталина, но не ограничивались им), позиция *господствующей фигуры* советского идеологического дискурса, способной рассматривать и комментировать этот дискурс *извне*, была уничтожена. То есть исчез не просто конкретный субъект, занимавший внешнюю позицию по отношению к идеологическому дискурсу, но и вообще сама *возможность* занимать такую позицию по отношению к идеологическому дискурсу. Внешней, внеидеологичной позиции не стало как таковой. С исчезновением господствующей фигуры, стоящей вне идеологического дискурса, исчез и метадискурс, который ранее осуществлял публичную оценку идеологических высказываний и репрезентаций на предмет их соответствия или несоответствия объективной истине. Новым, поразительным фактом было то, что, хотя внешняя *объективная истина* (неоспоримость коммунизма и марксизма-ленинизма) продолжала существовать и идеологический дискурс продолжал к ней апеллировать, больше не существовало такого *субъекта*, который бы обладал уникальным и не поддающимся сомнению знанием этой истины. Наиболее важным результатом этих изменений стало не столько развенчание конкретного вождя или конкретных преступлений, сколько масштабная реорганизация всего *дискурсивного режима социализма* — реорганизация, которая имела огромные, хотя до поры невидимые последствия для советской системы. В результате этой реорганизации постепенно становилось важнее воспроизводить точную структурную *форму* идеологических высказываний и ритуалов, чем слишком подробно вдаваться в их буквальный смысл[38].

Когда позиция господствующей фигуры идеологического дискурса исчезла, *парадокс Лефора* в структуре идеологии, который ранее был скрыт этой фигурой, вышел на поверхность и начал влиять на структуру всех идеологических высказываний. Это повлекло за собой полную трансформацию структуры советского идеологического дискурса — как на уровне языка, так и в других видах репрезентации, включая

[38] Подробный исторический и дискурсивный анализ этого процесса приведен в главе 2.

структуру идеологических ритуалов, визуальной пропаганды и так далее. В результате с конца 1950-х годов и до начала перестройки (середина 1980-х) советский идеологический дискурс претерпел значительные изменения именно на уровне *формы*. Это проявилось, с одной стороны, в возрастающей нормализации и стандартизации формы идеологических высказываний, а с другой — в ее одновременном усложнении. Как мы увидим на большом количестве примеров, приведенных в последующих главах, форма идеологических высказываний становилась более застывшей, предсказуемой, переносимой из одного контекста в другой почти без изменений; но при этом постепенно нарастала громоздкость и неуклюжесть этой формы. Результатом этих изменений было то, что теперь, для успешного функционирования различных идеологических высказываний их не обязательно было понимать на уровне буквального смысла (во всяком случае, в большинстве контекстов).

Рассмотрим подробнее, почему и как произошли эти изменения. Как уже говорилось, при Сталине функционирование идеологического дискурса включало в себя метадискурс, который давал постоянные публичные комментарии и оценки того, насколько верны с точки зрения марксистско-ленинского канона (то есть с точки зрения внешней объективной истины) те или иные идеологические высказывания (а также научные тексты, художественные произведения, кинофильмы и так далее). Однако теперь такие комментарии и оценки начали полностью исчезать из советской повседневности. В новых условиях идеологический дискурс перестал функционировать как *идеология*, по крайней мере в наиболее распространенном понимании этого понятия — как некоего описания реальности, которое можно оценить как верное или неверное. Вместо этого идеологический дискурс превратился в то, что Михаил Бахтин называл «авторитетным словом»[39]. Согласно Бахтину,

[39] В работе «Слово в романе» Бахтин использует два термина — «авторитетный язык» и «авторитарный язык». Эти термины используются почти как синонимы, хотя термин *авторитарный* используется в работе чаще. В настоящей книге мы будем пользоваться лишь термином «авторитетный» язык (и дискурс), не употребляя термин «авторитарный» язык для того, чтобы избежать нежелательных ассоциаций последнего с такими понятиями, как авторитарная власть, авторитаризм и так далее. Понятие «авторитаризм», как и «тоталитаризм», сегодня довольно часто применяется при анализе

авторитетное слово — или авторитетный дискурс — занимает особое положение в дискурсивном режиме той или иной эпохи. Такой дискурс организован вокруг некой внешней, не поддающейся сомнению идеи-абсолюта или догмы (религиозной, политической, научной) и поэтому обладает особыми свойствами. Он кодируется в специфической форме (особым языком или шрифтом) и поэтому резко отличается по форме от всех других видов дискурса, которые с ним сосуществуют. Все другие виды дискурса являются вторичными по отношению к нему — они могут существовать только при условии, что имеется этот авторитетный дискурс. Они должны постоянно ссылаться на него, цитировать его, использовать его и так далее, но при этом не могут критиковать его, вмешиваться в него или ставить его под сомнение. Независимо от того, насколько убедительным авторитетный дискурс кажется его аудитории, он воспринимается этой аудиторией как неизменный и не поддающийся оспариванию (Бахтин 1975: 150)[40]. Поэтому власть авторитетного дискурса над аудиторией заключается не в том, что она с ним обязательно соглашается, а в том, что она воспринимает его как единственно возможный.

Практики и ритуалы

Итак, в период позднего социализма идеологический дискурс Советского государства испытал на уровне формы нормализацию и застывание,

советской (и постсоветской российской) реальности, но является, с нашей точки зрения, слишком неточным, идеологизированным, отдающим стереотипами холодной войны. Для того чтобы не сводить понимание советской власти к *авторитаризму*, мы будем пользоваться термином *авторитетный дискурс*.

[40] Майкл Холквист трактует понятие авторитетного слова (authoritative discourse) как некий «привилегированный язык, который обращается к нам извне. Он дистанцирован, табуирован и не позволяет никакой игры с контекстом, в котором он сформирован (например, со Священным Писанием). Мы являемся лишь его получателями. Он имеет над нами огромную власть, но только до тех пор, пока сам находится во власти. Как только он оказывается свергнут, он моментально становится безжизненным реликтом» (послесловие Холквиста к изданию: Bakhtin 1994: 424).

а на уровне смысла перестал интерпретироваться буквально, по крайней мере в большинстве случаев. Функция этого дискурса была теперь не столько в том, чтобы репрезентировать реальность более-менее точно, сколько в том, чтобы создавать ощущение, что именно эта репрезентация является единственно возможной, повсеместной и неизбежной. Потеряв функцию идеологии (как описания действительности, которое может быть верным или неверным), этот дискурс приобрел функцию бахтинского «авторитетного дискурса». Итак, чтобы подчеркнуть эту трансформацию в контексте позднего социализма, мы будем впредь называть дискурс советской идеологии *авторитетным дискурсом*.

Описанные изменения на уровне формы идеологических высказываний в этот период отразились и на том, как советские граждане воспринимали эти высказывания и как они принимали участие в их производстве, повторении и распространении. Приведем несколько примеров (более подробно анализ проведен в следующих главах). Хорошо известно, что большинство советских граждан регулярно принимало участие в демонстрациях по поводу 1 Мая (День международной солидарности трудящихся) или 7 Ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции). В больших городах эти демонстрации, в которых участвовало до нескольких миллионов человек, занимали практически целый день. Их апофеозом было прохождение колонн граждан (трудящихся предприятий, студентов вузов, учащихся школ, просто жителей города) по центральной площади перед трибунами, с которых их приветствовало местное партийное и государственное руководство. Огромная человеческая масса демонстрантов отзывалась многоголосыми криками *ура* на приветственные призывы, доносившиеся из громкоговорителей. Единый порыв многотысячной толпы создавал полное впечатление всеобщей поддержки советскими гражданами линии партии и правительства. Именно так описывались демонстрации в советской печати. В 1981 году «Правда» в очередной раз известила трудящихся о том, что многомиллионная первомайская демонстрация в Москве «убедительно продемонстрировала нерушимый союз партии и народа...»[41]. Однако на практике большинство участников

[41] Правда. 1981. 2 мая. С. 1.

демонстрации не особенно вникали в буквальный смысл лозунгов и призывов. Не знали они и имен большинства членов и кандидатов в члены политбюро (не считая нескольких первых руководителей), портреты которых были изображены на огромных стендах, плывших над колоннами демонстрантов. Буквальный смысл всех этих высказываний авторитетного дискурса был теперь не столь важен (что, однако, не означает, что эти высказывания превратились в пустые и бессмысленные символы, — просто их смысл поменялся).

Советские граждане регулярно принимали участие и в других политических ритуалах государства — например, в различных выборах в местные и центральные органы власти. На выборах всегда был лишь один (официальный) кандидат, который всегда получал почти стопроцентную поддержку избирателей. Всеобщее участие в выборах и полная поддержка кандидатов могли бы считаться проявлением полного согласия населения с политикой партии и правительства. И в каком-то смысле так оно и было. Однако нельзя забывать крайне важную деталь — большинству советских граждан, принимавших участие в выборах, было не столь важно, за кого именно они голосуют. Многим имя кандидата было вообще незнакомо, и они впервые сталкивались с ним в непосредственный в момент голосования. Сергей, 1962 года рождения, житель Калининградской области, вспоминает:

> Когда я начал ходить на выборы [в 1980 году], я обычно довольно слабо представлял себе, что это были за выборы и за кого я должен голосовать. Я шел в избирательный участок, брал бюллетень с именем кандидата и бросал его в избирательную урну. В этом для меня заключалась вся процедура голосования. Через несколько минут после этого имя кандидата обычно забывалось. Честно говоря, для меня было безразлично, являются ли такие выборы настоящими или нет. И над тем, почему мне это безразлично, я тоже не задумывался.

Аналогичную картину можно было встретить и на многих собраниях. Большинство советской молодежи в возрасте от 14 до 28 лет являлось членами ВЛКСМ, просто по возрастному принципу, и регулярно посещало всевозможные малые и большие комсомольские собрания — в школах,

институтах, на предприятиях и так далее. На многих собраниях, особенно больших, было вполне в порядке вещей голосовать утвердительно за какие-то предложения или резолюции, не задумываясь об их буквальном смысле, а подчас попросту не слушая, в чем они заключаются. Хотя так себя вели не все и не всегда, все же это поведение было широко распространено. Подчас комсорги первичных комсомольских организаций отчитывались о проведении обязательных комсомольских собраний, вообще не проводя их в реальности. Анна, студентка одного из ленинградских вузов, 1961 года рождения, вспоминает собрания, которые регулярно проводились в ее студенческой группе в начале 1980-х годов: «Время от времени наш комсорг говорил: "Ребята, послушайте. Предлагаю записать в протоколе, что мы обсудили то-то и то-то и приняли такое-то решение. Не проводя обсуждения. Я же прекрасно понимаю, что всем пора домой"».

В чем заключался смысл этих идеологических ритуалов? Как расценивать массовое одобрение кандидатов и резолюций, если участники этих ритуалов одобрения не обращали внимания на имена кандидатов и буквальный смысл резолюций? Можно ли свести эти действия к проявлению вынужденного *притворства* в условиях строгого государственного надзора и взаимной слежки? Можно ли считать, что эти действия не имеют ничего общего с тем, что их участники думают *в действительности*? Являются ли эти действия лишь *маской*, которую субъект надевает на публике и за которой спрятано его *истинное лицо*? Подобная интерпретация языка, ритуалов и практик общения в советский период широко распространена. Существует масса исследований, основанных именно на ней. Однако мы с такой интерпретацией не согласны. В этой книге мы постараемся показать, почему она ошибочна, и предложить иное, альтернативное объяснение.

Главная проблема вышеупомянутого способа интерпретировать подобные действия заключается в том, что в нем анализ ограничивается лишь *буквальным смыслом* идеологических символов, высказываний и практик. Однако сводить смысл символов, высказываний и практик лишь к буквальному смыслу ошибочно в принципе. А что касается позднего социализма в частности, то в этот период буквальный смысл политических ритуалов, актов и высказываний был далеко не самым

важным смыслом, который в них вкладывался. Эти ритуалы и высказывания просто нельзя интерпретировать буквально, напрямую. Для того чтобы разобраться, в чем же заключался их смысл, необходимо рассматривать эти ритуалы и высказывания не только изолированно и даже не только в контексте политического ритуала (или политического текста), частью которого они являлись, но и в гораздо более широком и динамичном контексте социальных отношений, которые выходили *далеко за пределы* этого ритуала. Необходимо проанализировать, как эти акты и высказывания были связаны с другими практиками, высказываниями и формами дискурса, которые существовали *вне* идеологических ритуалов, но в которых участники этих ритуалов также принимали непосредственное участие.

«Гомо советикус», «раздвоенное сознание» и «притворщики в масках»

Среди исследований «авторитарных» систем власти распространена модель, согласно которой участники политических высказываний, актов и ритуалов в таких системах якобы вынуждены притворяться на публике так, будто они поддерживают официальные лозунги и высказывания власти, на деле относясь к ним отрицательно. Субъект авторитарного государства, согласно этой модели, на публике говорит одно, а про себя думает другое. Поддержка власти — это маска, под которой якобы прячется настоящий субъект.

В основе этой модели лежат различные теории *мимикрии (mimicry), притворства (dissimulation)* и *раздвоенного сознания (divided consciousness)*. К недавним примерам этого подхода в более широком, неавторитарном контексте относится известная книга Петера Слотердайка «Критика цинического разума». Слотердайк утверждает, что в современном демократическом и постмодернистском мире идеология более не работает согласно классической формуле Маркса о *ложном сознании* («они не понимают того, что делают»), а работает согласно новой фомуле, которую Слотердайк называет *просвещенным ложным сознанием* («они прекрасно

понимают то, что делают, и тем не менее продолжают это делать»). Согласно этой модели, современный западный субъект является постмодернистским притворщиком, настаивающим на необходимости носить маску ложного признания (*misrecognition*) идеологии — маску человека, который якобы верит в идеологию потребительского общества, несмотря на то что он прекрасно понимает, насколько неверно она описывает социальную реальность. Делает он это потому, что он прекрасно осознает невозможность избежать или изменить эту идеологию (Sloterdijk 1993; см. также: Žižek 1991a: 29).

Подобная модель субъекта, как уже сказано, распространена и в анализах идеологии «авторитарных» систем власти. Популярный, хотя и более простой, чем у Слотердайка, пример этой модели содержится в книге известного политолога Джеймса Скотта «Domination and the Arts of Resistance» (Scott 1990). Согласно Скотту, в колониальном контексте подавленный властью субъект выражает свои мысли на двух различных языках — «официальном» (*official transcript*) и «скрытом» (*hidden transcript*). Первый язык отражает маску притворства, а второй — «истинное» мнение субъекта, якобы скрытое под этой маской. Такую же модель притворяющегося субъекта находим в книге политолога Лизы Уидин (Lisa Wedeen), анализирующей «авторитарное» правление президента Асада в Сирии. Отталкиваясь от Слотердайка и вторя Скотту, Уидин утверждает, что простые сирийские граждане на публике делают вид, будто они поддерживают государственные идеологические установки, на самом деле относясь к ним отрицательно. Они якобы «скрывают свои *истинные* мысли» под маской публичного притворства (Wedeen 1999: 82).

Модель публичного притворства крайне распространена и в анализах восточноевропейских социалистических систем. Ее вариант содержится, например, в известной книге Славоя Жижека «Возвышенный объект идеологии»[42], где эта модель использована для анализа того, как работает коммунистическая идеология социалистического государства. Еще раньше, в 1978 году, похожую модель для описания субъекта социалистического государства использовал чешский писатель-диссидент

[42] Жижек 1999. Особенно см. главу «Как Маркс изобрел симптом» (Там же: 10—29). Жижек развивает модель притворяющегося субъекта, предложенную Слотердайком.

Вацлав Гавел в известной статье «Власть безвластных»[43] (*Power of the Powerless*). Согласно Гавелу, большинство граждан социалистической Чехословакии жило «во лжи»: на публике они вели себя так, будто считают официальные идеологические лозунги и высказывания партии выражением истины, в которую они верят, при этом в личной жизни, *про себя*, считая их ложью. Притворное поведение, писал Гавел, давало возможность гражданам ЧССР оградить свою личную жизнь от вмешательства режима и избежать проблем, связанных с этим вмешательством. Гавел осуждал это публичное притворство, считая его проявлением аморального конформизма с властью (Havel 1986: 49—51). Схожую модель притворяющегося субъекта использовал в своей книге «Обличать и лицемерить» Олег Хархордин (Kharkhordin 1999, см. также русскую версию этой книги: Хархордин 2002). Взяв за основу вышеупомянутую теорию двух языков, предложенную Джеймсом Скоттом, Хархордин пишет, что советский субъект по своей природе был притворщиком (*dissimulating animal*) и субъектом с «раздвоенным сознанием». Этот субъект якобы вел себя по-разному в двух различных сферах своего существования — «официальной», в которой субъект носил маску притворства, скрывающую его истиное лицо, и «личной», в которой его истинное лицо иногда становилось доступно «взгляду самых близких друзей или членов семьи, подчас оставаясь закрытым даже для них» (Kharkhordin 1999: 357). Истинное лицо могло проявиться только на момент, когда субъект вдруг «ослаблял жесткий самоконтроль и опускал завесу абсолютной секретности» (Ibid: 275).

Во всех этих примерах субъект по сути разделяется надвое — на публичную маску притворства и приватное истинное «я». У этого подхода есть некоторое преимущество по сравнению с ранее существующими теориями идеологии, поскольку в нем показано, что для успешного функционирования идеологии не обязательно, чтобы субъект воспринимал идеологическую репрезентацию как непреложную истину, то есть *верил* в нее. Если идеология заставляет субъекта притворяться, как будто он верит, она тоже вполне успешна. И все же этот подход проблематичен,

[43] Гавел 1990: 105—111.

поскольку он основан на крайне узком понимании природы субъекта, языка, интерпретации и смысла.

Подходя к субъекту в терминах бинарных оппозиций (*истинное лицо* против *маски* или *реальное поведение* против *притворства*), эта модель рассматривает его действия и высказывания исключительно на уровне *буквального* смысла. Например, голосование «за» на выборах согласно этой модели может интерпретироваться лишь буквально — то есть лишь как «выражение одобрения», которое, соответственно, является либо выражением *истиного* одобрения, либо выражением *притворного* одобрения. То есть в этой модели подразумевается, что у языка (и коммуникативных практик в целом) якобы имеется только одна, *репрезентативная*, функция — язык призван лишь *отражать* реальность, которая якобы вся без исключения существует до него и независимо от него[44]. Соответственно, *смысл* высказывания, согласно этой модели языка, полностью сформирован *до момента* высказывания — высказывание лишь сообщает его, не принимая участия в его создании. Под *смыслом* высказывания в этой модели понимается некое внутреннее, психологическое состояние субъекта, которое возникает в его сознании *до того, как он начал говорить*. *Субъект* согласно этой модели является единым, аутентичным *я*[45], полностью сформированным *до начала* своих речевых высказываний и действий, заранее знающим всего себя изнутри и способным полностью предсказать все свои будущие действия, представления и высказывания. Действия субъекта согласно этой модели являются либо проявлением этого заранее существующего, автономного, полностью сознающего себя *я*, либо сокрытием этого *я* под маской притворства[46]. То есть, согласно этой модели, *субъектность* полностью

[44] Поэтому в этой модели язык с легкостью делится на независимые друг от друга «коды» — *официальный* и *неофициальный* или *публичный* и *скрытый*. См. подробную критику этой языковой модели (на примере работ Джеймса Скотта — Scott 1990) в прекрасной статье лингвистического антрополога Сьюзан Гал (Gal 1995).

[45] См. критику подобного субъекта в Mitchell 1990: 545.

[46] Даже когда в этой модели говорится о «расщепленном» субъекте, в действительности подразумевается все та же суверенная, неделимая личность, заранее полностью сформированная до начала речи и иных действий, заранее полностью известная самой себе изнутри. Например, хотя в книге «Обличать и лицемерить» Олега Хархордина

формируется в некоем доязыковом, доречевом состоянии; эта субъектность полностью сама себе видна, понятна и известна до начала любых действий и высказываний.

Как будет показано, такое понимание природы языка, высказывания, смысла и субъекта не выдерживает критики. Проблемы этой модели проявляются на разных уровнях, причем не только теоретическом, но и этическом: любое любое кажущееся несоответствие высказываний и действий субъекта интерпретируется в этой модели как проявление *двуличия* или *ложь*.

Перформативность

Чтобы разобраться в том, что же в действительности представлял себой поздний социализм со всеми его парадоксами, нам необходима более тонкая и динамичная модель языка и субъекта. Языковое высказывание не является чем-то статичным и автономным. Это не некий пассивный код, передающий смысл, полностью сформированный до начала самого высказывания; смысл высказывания не сводится лишь к описанию фактов и не делится лишь на истиный и ложный. Высказывания — это динамичные процессы, смысл которых активно создается и реинтерпретируется *в процессе* речи, практики и ритуалов[47]. Высказывания не только сообщают информацию, но и принимают активное участие в ее формировании и изменении и поэтому не могут быть полностью заранее определены[48].

говорится о «расщепленном» субъекте, под этим расщеплением в действительности подразумевается разделение на практику притворства и практику раскрытия. Выбор этих практик осуществляет все тот же единый, истинный нерасщепленный субъект — некое истинное «скрытое я» (hidden self), — и этот истиный неделимый субъект, согласно книге, укрывается от публичного взгляда и раскрывается лишь в интимном кругу.

[47] См.: Haraway 1991: 190—191; Fabian 2001: 24.

[48] См. первое описание этой модели идеологии, языка и субъекта позднего социализма в моей статье «Цинический разум позднего социализма: власть, притворство и анекдот» (Yurchak 1997). В данной книге эта ранняя модель значительно расширена и доработана.

Существует целый ряд подходов к исследованию социальной жизни языка, рассматривающих его как активный процесс, не просто репрезентирующий реальность, но и участвующий в ее формировании[49]. Примером служат хорошо известные работы Михаила Бахтина и Валентина Волошинова. Бахтин критически относился к распространенным моделям языка, согласно которым последний является лишь способом передачи уже существующей информации, поскольку такие модели способны описать событие лишь как уже законченный, свершившийся факт, игнорируя активные процессы возникновения, формирования, разворачивания события. В таком подходе, писал Бахтин, «теряются те действительные творческие силы, которые создавали событие в момент его свершения (когда оно еще было открытым), теряются его живые и принципиально неслиянные участники»[50]. Бахтин и его круг[51] создали продуктивную модель языка, в которой язык является активным участником разворачивающегося события, а не только его внешним описателем. Кроме того, голос говорящего субъекта, согласно Бахтину, не автономен и не статичен, а *диалогичен* — поскольку процесс говорения подразумевает существование субъекта сразу во множестве голосов, которые «не замкнуты и не глухи» друг для друга, а постоянно «отражаются друг в друге... слышат друг друга и... отвечают друг другу»[52].

В другой хорошо известной модели — теории *речевых актов* Джона Остина — также подчеркивается процессуальная и продуктивная природа языка. Согласно Остину, помимо «констатирующих» (*constative*) высказываний, которые утверждают, описывают или *констатируют* уже существующие факты (например, «здесь холодно» или «меня зовут Алексей»)[53], язык включает в себя также и категорию высказываний, которые не констатируют уже существующие факты, а создают

[49] Волошинов 1929. См. также: Hanks 2000: 143; Duranti 1997; 1993; Gal 1994.

[50] Бахтин 1979а: 78.

[51] В особенности В.В. Волошинов и П.Н. Медведев.

[52] Бахтин 1979б: 88. См. также: Todorov 1998; Clark, Holquist 1984; Holquist 1990: 175.

[53] Констатирующие высказывания иначе называют *референциальными*.

новые — то есть не отражают существующую социальную реальность, а что-то в ней изменяют[54]. Эту категорию высказываний Остин назвал «перформативными» (*performative*) высказываниями[55], подчеркнув этим термином их участие в совершении новой работы.

Остин приводит следующие примеры таких высказываний — фраза «Виновен!» (произнесенная судьей в зале суда), «Нарекаю этот корабль *Королева Елизавета*» (на официальной церемонии спуска корабля на воду), «Спорим на шесть пенсов, что завтра будет дождь» (в разговоре друзей). В непосредственный момент произнесения судьей фразы «Виновен!» социальный статус человека меняется из обвиняемого в виновного, с многочисленными вполне реальными последствиями, вытекающими из этого изменения. Констатирующие высказывания, которые описывают уже существующие факты, могут быть либо *истинными*, либо *ложными*. В отличие от них перформативные высказывания,

[54] Остин 1999. Хочется отметить забавный факт: Джон Остин разрабатывал свою теорию перформативности языка в конце 1940-х — начале 1950-х годов (первые лекции на эту тему были прочитаны в Оксфорде в 1951 году), то есть в то же время, когда Сталин разрабатывал свою теорию языка как явления, не имеющего отношение ни к марксистскому базису, ни к надстройке (см. подробно в главе 2). Поворот к *гипернормализации* советского идеологического дискурса, который последовал за этим «теоретическим» нововведением Сталина, привел к возрастанию именно *перформативной* роли этого языка и вытеснению его констатирующей роли. Нововведение Сталина оказалось прекрасной иллюстрацией теории Остина. Можно сказать, что оба «теоретика» работали над одной темой одновременно — Остин на уровне анализа языка, Сталин на уровне практического (и незапланированного) конструирования языка.

[55] От английского *to perform* — производить действие, действовать. На русский язык *performative utterance* принято переводить термином «перформативное» высказывание. Этот термин вошел в советскую лингвистику с середины 1980-х годов, когда были переведены на русский работы Остина (см.: Остин 1986). Позже, с появлением переводов работ Джудит Батлер в русский язык социальных наук вошел производный термин «перформативность» (*performativity*). В отношении русской терминологии в переводах Батлер и других теоретиков перформативности существуют разногласия. Хотя большинство предпочитает пользоваться термином «перформативность», порой его заменяют на более «аутентичные» термины с русскими корнями. В этой книге мы будем пользоваться терминами «перформативный» и «перформативность», более-менее устоявшимися в русскоязычной лингвистике и социальных науках.

которые не описывают существующих фактов, а создают новые, могут быть не истинными или ложными, а *успешными* или *неуспешными*[56].

Как подчеркивал Остин, высказывание является перформативным независимо от внутреннего *намерения* говорящего, а благодаря принятым социальным конвенциям, в контексте которых оно произносится. Для успешности перформативного высказывания «должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенные конвенциональные результаты, включающая употребление определенных слов определенными лицами при определенных обстоятельствах» (Остин 1999: 35). Если конвенциональная процедура не выполнена (слова произносятся не тем человеком, который требуется согласно принятой процедуре, или не в том контексте, который принят, — например, судья произносит «виновен» не в суде, а за ужином) перформативное высказывание будет *неуспешным* — то есть не выполнит надлежащего действия, даже если в намерение говорящего входило это действие выполнить. И, наоборот, если все конвенциональные процедуры выполнены, перформативное высказывание будет успешно выполнено, даже если в намерение говорящего это не входит.

Понятие *намерения* говорящего здесь крайне важно — оно является центральным в нашей критике ранее упомянутых бинарных моделей субъекта и языка, в которых единственной функцией языка считается передача уже существующих фактов. Рассмотрим, например, акт принятия клятвы — один из наиболее характерных примеров *перформативных* актов. Для того чтобы клятва была успешно принята, совсем не обязательно, чтобы в момент ее произнесения субъект искренне *намеревался* ее сдержать — то есть находился в психологическом состоянии искреннего намерения. Если субъект произнесет клятву неискренне, но в требуемых конвенциональных условиях, акт принятия клятвы все равно будет успешен. Например, если в суде субъект клянется говорить правду, и только правду, при этом внутренне намереваясь часть правды скрыть, это никак не умаляет реальности произнесенной им клятвы и не избавляет его от юридических последствий в том случае, если его

[56] У Остина соответственно: *true* — *false* (истинный—ложный) и *felicitous* — *infelicitous* (успешный—неуспешный).

ложь будет раскрыта. Этот пример хорошо иллюстрирует то факт, что успешность или неуспешность перформативного высказывания определяется не внутренним намерением говорящего, не тем, насколько он внутренне искренен или неискренен в момент говорения, а тем, насколько точно соблюдены конвенции, в которых это высказывание произносится.

Отталкиваясь от этой идеи, Жак Деррида развил теорию перформативных высказываний Остина. Согласно Деррида, конвенциональность высказывания подразумевает, что оно должно быть построено в соответствии с принятой, повторяющейся (*iterable*) формой — то есть оно должно функционировать как *цитата* из предыдущих, ранее произнесенных высказываний и в свою очередь может быть процитировано в бесчисленном количестве новых высказываний в будущем[57]. Но, подчеркивает Деррида, иметь исчерпывающее знание о любом контексте невозможно в принципе: во-первых, потому, что конкретный контекст всегда открыт для бесконечно широкого описания, и, во-вторых, потому, что потенциально существует бессконечное количество новых контекстов, в которых одно и то же высказывание может быть произнесено[58]. Благодаря этим двум чертам конвенционального высказывания — его цитируемости и частичной неопределенности контекста, в котором оно может быть произнесено, — *смысл* такого высказывания никогда не может быть заранее полностью определен. Говоря словами Деррида, конвенциональное высказывание способно «вырваться» из контекста непредсказуемым образом, приобретая неожиданный смысл, который говорящим заранее *не подразумевался*. Эта способность конвенционального высказывания приобретать новый, непредсказуемый смысл, по мнению Деррида, является важной составляющей его «перформативной силы» — то есть его способности создавать новые факты и изменять реальность[59]. В своем критическом комментарии Деррида подчеркнул *внутреннюю* (семиотическую) составляющую перформативной силы конвеционального

[57] Derrida 1977: 191—192.

[58] Ibid: 185—186.

[59] Эта идея подробно изложена в статье: Culler 1981: 24—25. См. также работы: Cavell 1995; Searle 1977; 1983, которые посвящены критике теории Остина с позиций Деррида.

высказывания. Пьер Бурдье, в свою очередь, рассмотрел *внешнюю* (социологическую) составляющую этой перформативной силы. Согласно Бурдье, элементом «перформативной силы» ковенциональных высказываний является та *власть*, которая делегируется социальным институтом его официальному представителю, произносящему это высказывание, — например, власть, которую институт государства делегирует судье[60].

Оба этих дополнения крайне важны: Деррида расширил наше понимание внутренней, семиотической составляющей перформативной силы конвенциональных высказываний, а Бурдье, в свою очередь, расширил понимание внешней, социологической составляющей этой силы. Если эти дополнения объединить, последует важный вывод: поскольку семиотическая и социологическая составляющие перформативной силы высказывания действуют одновременно, значит, конвенциональные высказывания могут приобретать непредвиденные смыслы и приводить к непредвиденным последствиям даже в контекстах стабильных государственных институтов и властных отношений — то есть даже там, где нормы и конвенции предсказуемы и строго контролируются государством. Как отмечает Джудит Батлер, эта способность конвенциональных высказываний приобретать непредсказуемый смысл в контексте предсказуемых и контролируемых институтов наделяет их особым «политическим потенциалом»[61] — способностью подрывать существующие нормы, не участвуя в прямом сопротивлении им. Для нас этот вывод будет крайне важен при последующем анализе структуры советских идеологических высказываний, текстов и ритуалов, а также смыслов, которыми эти высказывания, тексты и ритуалы наделялись.

Речевые акты и ритуальные практики

Книга Остина и последовавшие за ней работы других исследователей повлияли на изучение не только конвенциональных речевых актов, но и конвенциональных практик и ритуалов в более широком смысле.

[60] См. статью «The Rites of Institutions» в книге: Bourdieu 1991: 107—111.

[61] Butler 1997b: 161.

Батлер, например, рассмотрела то, как посредством конвенциональных, ежедневно повторяющихся материальных практик субъекта воспроизводятся *телесно воплощенные (embodied)* социальные нормы. Например, телесный образ субъекта частично формируется посредством повторения гендерных норм. Такие постоянно «цитируемые» в разных контекстах конвенциональные акты, как женственная походка, мужественное выражение лица, кокетливый взгляд, романтичный голос и так далее, согласно Батлер, не являются лишь *отражением* физического тела с заранее заданными гендерными чертами (женственностью, мужественностью, кокетливостью), а принимают участие в *формировании* этого тела (Butler 1990, 1993). Отталкиваясь от работ Остина, Деррида и Бурдье, упомянутых выше, а также анализа субъектности Мишелем Фуко, Батлер критикует традиционные теории субъекта, согласно которым субъект сначала полностью *задан* и лишь потом совершает акты и высказывания. Напротив, подчеркивает Батлер, само существование субъекта возможно лишь посредством повторения нормативных актов и высказываний. Причем это не означает, что посредством такого повторения субъект задается *полностью*. Поскольку необходимым условием существования субъекта является именно повторение этих актов, субъект никогда не оказывается заданным раз и навсегда, оставаясь всегда отчасти незавершенным, открытым для развития и изменений. Выражение некоего *я* — это «не единичный акт или событие, а именно ритуализированное воспроизводство, повторение, идущее *внутри* ограничивающих [субъекта] рамок и одновременно *посредством* этих рамок, *под давлением* запрещающей и табуирующей силы и одновременно *посредством* этой силы. Это воспроизводство идет в условиях постоянной угрозы остракизма и даже смерти, которая навязывает [субъекту] определенную форму, но которая при этом — и это следует особо подчеркнуть — не способна навязать [субъекту] эту форму до конца»[62].

[62] Butler 1993. См. также работы Кэтрин Белл и Эми Холливуд о роли повторяющихся *религиозных* актов в формировании субъекта: Bell 1992: 221; Hollywood 2002: 113 — и Ричарда Шехнера о «трансформации» (*transformation*) и «транспортации»

Перформативная теория субъекта не нова. Главная идея, лежащая в ее основе, берет начало от Аристотеля и встречается в различных вариантах в современной философии. Философ Альдо Тасси объясняет эту идею так: не существует некоего *истинного* субъекта, который прячется под маской публичного поведения и которого можно под ней отыскать, так же как «не существует и некой истинной, базовой роли, которую мы исполняем и которая предшествует всем прочим нашим ролям и определяет нашу *истинную* сущность» (Tassi 1993: 207)[63]. Конвенциональные действия и высказывания следует рассматривать не только как выражение сущности субъекта, но и как процессы, принимающие участие в его формировании. Такие акты и высказывания невозможно заранее однозначно разделить на «истинные» или «ложные», на выражения подлинного лица или маски притворства. Очевидно, что такое понимание субъектности сильно отличается от тех теорий, упомянутых выше, в которых субъект рассматривается как нечто заранее заданное, сформированное до начала действий и высказываний, а сами эти действия и высказывания рассматриваются лишь как истинные или ложные, как отражения истиного лица субъекта или как маска притворства, под которой истинное лицо прячется.

Констатирующая и перформативная составляющие смысла

В конце своей книги Остин говорит о том, что любое четкое разделение высказываний на констатирующие или перформативные является абстракцией и что «каждый реальный речевой акт» содержит в себе как элементы констатации, так и перформативности (Austin 1999: 147). В зависимости от контекста в высказываниях может сильнее проявляться либо констатирующая (референциальная), либо перформативная составляющие. Опираясь на эту идею, мы будем впредь говорить

(*transportation*) — вживании театрального актера в роль как системе повторяющихся актов, в ходе которых актер частично меняется на время, а частично изменяется навсегда (Schechner 1985; 1993; 2003).

[63] Эта интерпретация личности берет свое начало от Аристотеля.

о *констатирующей* и *перформативной составляющих* конвенциональных высказываний и ритуализованных актов — или, точнее, о констатирующей и перформативной составляющих их *смысла*.

В качестве иллюстрации рассмотрим подробнее акт голосования на выборах. Смысл этого конвенционального акта состоит из двух элементов: во-первых, этот акт выражает мнение голосующего (*констатирующая составляющая*) и, во-вторых, он маркирует мнение голосующего как легитимный, признанный «голос» (*перформативная составляющая*). Именно одновременное сосуществование констатирующей и перформативной составляющих смысла делает акт голосования тем, чем оно является, — выражением *мнения* в виде законодательно признанного *голоса*, который принимает участие в конкретном политическом решении. Констатирующая и перформативная составляющие смысла не образуют новой бинарной оппозиции, поскольку они не являются взаимоисключающими — они всегда сосуществуют в конвенциональных высказываниях, хотя пропорции их относительной важности могут меняться в зависимости от контекста. Например, какое мнение субъект высказывает путем голосования, может зависеть от того, имеет ли это голосование законную силу с вытекающими из этого последствиями или нет. Официально регистрируемое секретное голосование преподавателей при избрании нового заведующего кафедрой и открытое, неформальное голосование на аналогичную тему в кругу друзей на вечеринке — это два различных действия, имеющие разные последствия (разные *перформативные составляющие* смысла), и эта разница может повлиять на то, какое мнение субъект выражает при голосовании (то есть на *констатирующую составляющую* смысла).

Какова пропорция констатирующей и перформативной составляющих в том или ином конвенциональном высказывании или акте, невозможно определить заранее. Относительная пропорция этих составляющих в одном и том же высказывании может со временем меняться, что означает, что смысл высказывания может «дрейфовать» в историческом процессе. Одно и то же высказывание в одной ситуации может пониматься буквально — то есть на уровне констатирующей составляющей смысла (как буквальная констатация мнения субъекта), а в другой — нет. Представим ситуацию, в которой участникам ритуала голосования важно не столько *выразить свое мнение* о кандидате, сколько *принять участие*

в акте голосования. Такое возможно в разных условиях — например, если участники голосования знают, что на выборах всегда заявляется лишь один кандидат, который всегда выигрывает, но одновременно с этим осознают, что, участвуя в ритуале голосования, они воспроизводят важные социальные и институциональные условия своего существования (свой статус студента, инженера, ученого, гражданина и так далее), со всеми вытекающими из этого статуса правами, обязанностями, свободами и несвободами. В таком случае субъекту может быть крайне важно участвовать в *самом акте* голосования, но не так важно, *за кого* он голосует. То есть ему нет особой нужды вникать в буквальный смысл голосования (разбираться в том, что это за выборы, что предлагается в резолюции, кто является кандидатом и прочее), но крайне важно участвовать в этом ритуале (ходить на выборы и собрания, опускать бюллетень в ящик, поднимать руку в ответ на вопрос *Кто за?* и так далее). С точки зрения перформативной составляющей смысла такое голосование совсем не является бессмысленным актом, или простым притворством, или проявлением конформизма, поскольку посредством этого голосования воспроизводятся не только структуры власти, но также права, возможности и свободы субъекта, включая также свободу действовать вопреки власти.

Перформативный сдвиг

Как уже говорилось, в различных исторических и культурных контекстах относительная важность перформативной и констатирующей составляющих смысла ритуализованных высказываний и актов может меняться. Рассмотрим для начала пример из современной практики, имеющей место в Соединенных Штатах. Сегодня некоторые частные университеты и колледжи во многих штатах требуют от преподавателей принятия «клятвы на лояльность» (*loyalty oath*), гарантирующей, что те не «придерживаются и не поощряют нежелательных политических убеждений...»[64]. При этом, как отмечают американские юристы,

[64] В послевоенные годы холодной войны подобные клятвы на лояльность были широко распространены. Сегодня колледжей и университетов, требующих такой клятвы

«несмотря на различие уставов [в этих университетах и колледжах], обычно они отказывают в праве преподавать тем, кто не может или не хочет принять клятву на лояльность» (Chin, Rao 2003: 431—432). Недавно один социолог конституционного права поступала на работу в должности профессора в один из частных колледжей на Среднем Западе США, требующих принятия клятвы на лояльность. На практике она должна была подписать документ с соответствующим текстом клятвы. По своим политическим убеждениям и профессиональным взглядам этот социолог была не согласна с практикой принятия подобных клятв[65] и позже, уже в роли профессора социологии данного колледжа, стала высказывать политические взгляды, противоречащие тем, что заявлялись в клятве на лояльность. Она даже стала одним из инициаторов университетской кампании за полную отмену этой клятвы. Однако, для того чтобы иметь возможность участвовать в этой университетской кампании, она *сначала* должна была принять клятву на лояльность — в противном случае ее бы не приняли на работу, а значит, она бы не имела права участвовать в университетской политике и публично оспаривать законость тех или иных решений руководства университета, включая законность этой клятвы.

В чем же заключался смысл акта принятия клятвы в данном случае? Можно ли интерпретировать эту клятву лишь как обещание следовать буквальному смыслу ее текста — обещание, которое может быть либо *истинным* (искреннее обещание), либо *ложным* (притворное обещание). Конечно нет. Ведь, подписываясь под клятвой, этот социолог (как и многие ее коллеги) не соглашалась с ее буквальным смыслом. Клятва не выражала ее внутреннего убеждения и намерения. Констатирующая (референциальная) составляющая акта принятия клятвы потеряла для нее важность. Однако при этом перформативная составляющая этого

от своих преподавателей, гораздо меньше, чем тех, которые отказались от нее. Государственные учебные заведения не имеют юридического права требовать от своих сотрудников подобного обещания.

[65] Вопрос о законности таких клятв не так прост, как может показаться: хотя многие в США утверждают, что эта практика нарушает конституцию и свободу слова, с чисто юридической точки зрения частные университеты вправе вводить подобные процедуры.

акта осталась крайне важной — участие в этом акте по-прежнему имело реальные последствия и предоставляло реальные возможности, включая даже возможность позже оспорить правомерность самого этого акта[66]. Хотя ритуал клятвы не отражал убеждений конкретного субъекта, он играл важную роль в воспроизводстве важных институциональных статусов, включая статус субъекта, имеющего право оспаривать институциональные нормы.

Этот пример иллюстрирует, почему анализ таких актов, как клятва, только на уровне буквального смысла крайне узок. Кроме того, он иллюстрирует более общий принцип того, как две составляющие смысла конвенциональных высказываний и актов — перформативная и констатирующая составляющие — могут сдвигаться в различные исторические периоды. Подобный сдвиг произошел и в советском *авторитетном дискурсе*. В последние десятилетия советской истории перформативная составляющая смысла этого дискурса в большинстве контекстов становилась все важнее, а констатирующая составляющая, напротив, постепенно уменьшалась или становилась неопределенной, открываясь для все новых, ранее непредсказуемых интерпретаций.

Комсомольцы 1970—1980-х годов, ходившие в те годы на комсомольские собрания, хорошо помнят, что среди рядовых комсомольцев, сидящих в аудитории, многие не особенно вникали в суть происходящего, а иногда попросту занимались своими делами, например чтением книг (особенно если собрание было большим, что давало возможность затеряться среди присутствующих и быть относительно незаметным для президиума). Однако, как вспоминает один из участников этих мероприятий, «как только дело доходило до голосования, все просыпались. Когда ты слышал вопрос "*кто за?*", у тебя в голове срабатывал какой-то датчик, и ты автоматически поднимал руку»[67]. Как уже понятно, неверно было бы интерпретировать подобные акты голосования

[66] Выражаясь словами самой преподавательницы, эти две стороны смысла можно описать так: «Клятва мало что значила, если вы ее принимали, но она значила очень много, если вы отказывались» (The oath did not mean much if you took it, but it meant a lot if you didn't) — профессор K.S., интервью с А.Ю., Беркли, 2003 год.

[67] Игорь, 1960 года рождения, житель Калининграда. Авторское интервью. См. более подробный анализ комсомольских практик в главе 3.

лишь на уровне буквального смысла — то есть лишь как *мнение* голосующего, которое высказывается либо *искренне* (истинная поддержка), либо *притворно* (ложная поддержка). Смысл этих актов был не только в констатации фактов или высказывании мнений (констатирующий смысл), но и в выполнении действий, которые дают новые возможности или ограничивают несвободы (перформативный смысл). Посредством таких актов участники воспроизводили себя как «нормальных» советских субъектов, вписанных в существующую систему норм, отношений и позиций, со всеми ограничениями и возможностями, следующими из этого — включая, например, возможность после собраний и голосований заниматься вещами и иметь интересы, смысл которых не обязательно совпадал с буквальным смыслом того, за что субъект голосовал, а подчас и *противоречил* ему. Подобные акты неверно сводить к поддержке или притворству и неверно называть бессмысленными. Их смысл изменился и расширился.

В поздний период советской истории подобную трансформацию пережило большинство конвенциональных высказываний и ритуалов авторитетного дискурса. Многие из тех, кто в эти годы занимал руководящие посты в местных комсомольских или партийных организациях, рассказывают, что, подготавливая идеологические отчеты, организуя политические аттестации или проводя политические собрания, они прекрасно понимали, что *буквальный* смысл этих ритуалов и текстов был не так важен, как четкое воспроизводство их формы — стандартного языка, процедуры, отчетности и так далее (см. об этом подробнее в главах 2—3).

Подведем промежуточный итог. В ранние периоды советской истории буквальный смысл высказываний на *авторитетном дискурсе* подвергался постоянной публичной оценке со стороны господствующей (master) фигуры этого дискурса (роль которой с конца 1920-х годов отводилась лично Сталину) на предмет их соответствия внешнему, «объективному» канону марксистско-ленинской истины. Однако в середине 1950-х годов позиция внешней господствующей фигуры авторитетного дискурса исчезла. В результате этого изменения *парадокс Лефора* в структуре советской идеологии был более ничем не скрыт и стал влиять на все виды идеологической репрезентации, в первую

очередь на авторитетный язык. Это привело к значительным изменениям в структуре авторитетного языка.

Поскольку неоспоримое знание канона объективной истины было доступно только *господствующей фигуре* авторитетного дискурса, с исчезновением этой фигуры исчезло и четкое представление о том, что собой представляет этот канон. То есть исчезла объективная, независимая, внешняя модель языка, на которую можно было равняться при написании текстов. Это привело к растущей неуверенности — среди тех, кто вынужден был постоянно писать или отчитываться в жанрах авторитетного языка, — в том, насколько форма их собственных текстов и высказываний соответствует верной идеологической модели. Единственной надежной стратегией, дающей этим людям уверенность, что их тексты не выделяются стилистической неточностью, была стратегия постоянного цитирования и копирования текстов и высказываний, которые были произведены до них другими авторами.

В результате фразы, выражения, целые отрывки, написанные на авторитетном языке, все чаще копировались из старых текстов в новые и из одного контекста в другой почти без изменений. Это привело к нарастающей нормализации, стандартизации и цитируемости форм авторитетного языка. Все это стало особенно заметно в 1960—1970-х годах, когда советский авторитетный язык превратился в то, что на жаргоне стали называть «дубовым языком» — то есть в язык, который представлял собой застывшую, постоянно повторяющуюся и неуклюже сложную лингвистическую форму (см. подробный анализ формальных принципов этого языка в главе 2). Кроме того, процесс нарастающей стандартизации и нормализации на уровне формы шел не только в авторитетном языке, но и в других жанрах авторитетного дискурса — в визуальных образах (плакатах, наглядной агитации, кинопродукции, памятниках, архитектурных формах), в структуре ритуалов (собраний, выборов, аттестаций, торжеств), в формальных структурах повседневной жизни[68] (организации городского времени и пространства, школьной программе) и так далее.

[68] См.: de Certeau 1988: xv.

В конце концов повсеместное копирование и цитирование фиксированных стандартных форм авторитетного дискурса превратилось в самоцель, приведя к дальнейшему увеличению в этом дискурсе доли *перформативной* составляющей смысла и открытию его *констатирующей* составляющей для все новых непредсказуемых интерпретаций. В советском авторитетном дискурсе произошел мощный сдвиг, который мы будем впредь называть *перформативным сдвигом*. Именно наличие перформативного сдвига является наиболее важной отличительной чертой периода позднего социализма. Повторимся, что в результате стандартизации и копирования формы идеологического языка *общий смысл* советской жизни отнюдь не сужался (как может показаться с первого взгляда и о чем ошибочно пишут многие исследователи), а, напротив, расширялся. Перформативный сдвиг авторитетного дискурса открыл возможность для возникновения в советской повседневности огромного числа новых, неожиданных смыслов, способов существования, видов субъектности, форм социальности и типов отношений. При этом сам перформативный сдвиг никем конкретно не планировался и не проводился в жизнь, оставаясь относительно невидимым и для Советского государства, и для простых граждан на протяжении всего периода позднего социализма, вплоть до начала реформ перестройки[69].

В следующей главе мы рассмотрим, как именно начался и проходил процесс перформативного сдвига советской идеологии и какое влияние он оказал на *форму* авторитетных текстов, высказываний, актов

[69] *Перформативный сдвиг* был организующим принципом и в практиках советской экономики, где авторитетный дискурс принимал вид дискурса о *выполнении плана*. Организация бесперебойного производства в этом контексте часто зависела от способности руководителя предприятия избежать проблем снабжения, которыми страдала социалистическая экономика. Для этого они были вынуждены, кроме прочего, придумывать альтернативные экономические отношения — раздувание бюджета, приписки, накопление избыточного сырья, бартер с другими предприятиями и так далее. В результате этих методов план выполнялся на уровне формы, но его буквальный смысл (удовлетворение конкретной общественной потребности) подчас искажался до неузнаваемости. Иными словами, план как главный символ социалистической экономики подвергался *перформативному сдвигу* (см. также: Lampland 1995 о принципе «фетиша плана» в социалистической экономике; а также Kornai 1980 и Verdery 1996 о принципе «экономики дефицита» — *economy of shortage*).

и ритуалов. В последующих главах мы покажем, что в результате перформативного сдвига в советской жизни постепенно возникло огромное число новых смыслов и форм существования, появления которых государство не предвидело и увидеть или осознать которые до конца не могло.

Производство новых смыслов

Очевидно, что одним из главных условий функционирования авторитетного дискурса была монопольная власть государства на все виды публичной репрезентации. Авторитетный дискурс распространялся повсюду, а другие виды репрезентации были сильно ограничены. Однако стандартные формы авторитетного дискурса все больше копировались и повторялись без изменений не только из-за монопольного контроля государства, но и потому, что такое повторение формы открывало перед субъектом новые возможности и виды свободы. Если человек четко повторял формы авторитетных высказываний и ритуалов, не слишком задумываясь об их буквальном смысле, он получал относительную свободу выстраивать свою жизнь более-менее по-своему, подходить к ней творчески, в меньшей степени зависеть от государственного диктата. Повторение застывших авторитетных форм вело не к закрепощению человеческого существования, а, напротив, — к его относительному освобождению. Более того, чем сильнее форма авторитетного дискурса застывала (а процесс этот шел по нарастающей), тем больше внеидеологических свобод и возможностей появлялось в повседневной жизни и тем в большей степени проявлялась «агентность» (*agency*) простого человека в формировании этой жизни.

Процесс этот не следует интерпретировать как сопротивление официально насаждаемым нормам и смыслам. Агентность субъекта (его способность к действию) вообще неверно сводить к проявлению сопротивления[70] — первое понятие намного шире второго. Напомним тезис

[70] В большинстве постструктуралистских исследований (включая работы Джудит Батлер) под агентностью понимается именно способность сопротивляться официальным

Фуко о том, что возможность сопротивления нормам определяется не сознанием некоего автономного, героического субъекта, а структурой самой власти. К этому следует добавить другую, не менее важную деталь: «Если способность вызывать изменения в мире и в себе самом имеет историческую и культурную специфику (и с точки зрения того, что считается *изменением*, и с точки зрения того, чем оно может быть вызвано), тогда ни смысл этой способности, ни форма, которую она принимает, не могут быть заранее определены... Агентная способность присуща не только тем актам, которые приводят к (прогрессивным) изменениям, но и тем, которые направлены на поддержание преемственности, статики и стабильности» (Mahmood 2001: 212).

Добавим к этому, что агентность субъекта может проявляться еще и в чем-то третьем — не в создании перемен и не в поддержании стабильности, а в актах, которые ведут к внутренним смысловым сдвигам авторитетного дискурсивного режима государства и создании внутри него новых, альтернативных зон и пространств, которые не находятся в оппозиции к государству, но и не являются его частью. Подобные акты могут до поры до времени казаться неважными большинству участников процесса и оставаться невидимыми для большинства сторонних наблюдателей, включая государство. Их нельзя свести ни к сопротивлению политическим параметрам системы, ни к воспроизводству этих параметров. Однако они ведут к постепенному перерождению системы изнутри. Подобные акты могут способствовать сохранению и воспроизводству некоторых положительных черт системы, отвергая при этом ее негативные стороны. В период позднего социализма, в результате перформативного сдвига, который испытал авторитетный дискурс системы, советские люди получили возможность формировать сложное и дифференцированное отношение к различным идеологическим тезисам, нормам и ценностям системы. В зависимости от контекста они могли отвергать одни тезисы, нормы и ценности, равнодушно относиться к другим, активно поддерживать третьи, творчески переосмысливать

нормам. Связано это с тем, что в этих исследованиях за модель субъекта обычно и неосознанно принимается либеральный субъект (см. прекрасную критику этого подхода в: Mahmood 2001).

четвертые и так далее. Отношение человека к различным высказываниям и провозглашенным ценностям системы не делилось по бинарному принципу: либо *за систему* — либо *против нее*. Это отношение не было определенным раз и навсегда и статичным. Оно было разноплановым, парадоксальным и постоянно развивающимся.

Благодаря повсеместному участию большинства советских людей в воспроизводстве ритуализованных актов и высказываний авторитетного дискурса вырабатывалось ощущение того, что система монолитна, неизменна, вечна. Из-за этого ощущения представить себе, что Советский Союз может вдруг обвалиться, было практически невозможно. Однако именно это всеобщее участие в воспроизводстве точной формы языка и ритуалов способствовало появлению внутри советской системы огромного числа новых, неожиданных идей, смыслов, видов существования, которые постепенно сдвигали весь дискурсивный режим системы изнутри. Советская система постепенно становилась *отличной* от того, какой она сама себе казалась. Она становилась потенциально нестабильной, способной при определенных условиях неожиданно обрушиться. Однако эта внутренняя хрупкость системы оставалась невидимой для большинства, поскольку не существовало общего для всех дискурса, способного описать и проанализировать ее (пока он не появился в начале перестройки).

Итак, система казалась все более монолитной и стабильной, становясь при этом все более хрупкой и шаткой. Как это ни парадоксально, эти два процесса шли бок о бок и, более того, формировали друг друга. Те черты советской системы, которые вели к предсказуемости, скованности и подконтрольности существования, и те, которые способствовали возникновению в советской жизни все новых, непредсказуемых, неподконтрольных государству элементов, были частью одного *взаимообразующего* процесса. Мы рассмотрим этот тезис гораздо подробнее в следующих главах, иллюстрируя его большим количеством конкретных примеров и фактов.

Материалы и методы

Как отмечалось в начале главы, в новом общественном дискурсе, возникшем в перестройку и получившем развитие в постсоветские годы, советская система стала оцениваться с совершенно новых позиций. С одной стороны, советское прошлое подвергалось довольно суженному переосмыслению; воспоминания о нем окрашивались в заведомо критические тона. С другой — с позиции постсоветского периода стало возможно посмотреть в прошлое сквозь аналитические линзы, которых раньше не было. Появилось множество материалов о прошлом и из прошлого, которые в самом этом прошлом были недоступны. По всем этим причинам, для того чтобы сегодня осмыслить и проанализировать период позднего социализма, крайне важно использовать как минимум два типа материалов, отличающихся временем своего происхождения и политической ангажированностью авторов. Это, во-первых, *материалы-современники* — материалы, возникшие в течение периода позднего социализма, то есть до 1985 года, до начала перестройки; и, во-вторых, *ретроспективные материалы* — материалы, появившиеся после 1985 года, в период перестройки и постсоветское время.

В данной книге мы используем следующие *материалы-современники*: официальные советские публикации (тексты комсомольских и коммунистических речей, отчетов, выступлений, грамот, партийных документов; газетные публикации; плакаты, фотографии из прессы, фильмы, карикатуры из газет, почетные грамоты, учебники, книги); материалы из личных домашних архивов (личные дневниковые записи, переписка, короткие записки и заметки, черновые наброски комсомольских и партийных отчетов с личными комментариями, личные фотографии и рисунки, музыкальные звукозаписи, любительские фильмы); материалы городского фольклора и полухудожественных жанров (анекдоты, шутки, стихи, афоризмы, жаргонные выражения, шуточные зарисовки, шаржи, записки) и так далее. К *ретроспективным материалам*, использованным в книге, относятся: интервью, проведенные автором уже после распада СССР (между серединой 1990-х и началом 2000-х годов) с теми, кто в позднесоветское время были партийными и комсомольскими руководителями, референтами

ЦК, секретарями райкомов партии и комсомола, комсоргами, рядовыми комсомольцами, художниками-пропагандистами, районными художниками, обычными студентами, рабочими, инженерами, учеными, рок-музыкантами, членами всевозможных субкультурных сообществ (всего более ста интервью и бесед), а также десятки воспоминаний, мемуаров, интервью, очерков, книг и научных исследований, опубликованных в период перестройки и после распада СССР.

Материалы были собраны в течение нескольких лет полевого исследования, разбитого на длинные промежутки — сначала полтора года в 1994—1995 годах, а затем несколько более коротких периодов, по два-три месяца, между 1997 и 2001 годами. Хотя сбор материалов происходил в основном в Санкт-Петербурге и Москве, сами материалы касаются гораздо более широкой географии — например, множество дневников и писем, которые автор собрал, происходят из других городов СССР. Многие из тех людей, которые рассказывали о своей жизни, тоже жили в советское время в других городах. Города, из которых был получен основной материал, включали, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, Якутск, Новосибирск, Смоленск, Калининград, Советск, Ялту, Ригу, Сочи, Пензу и Киев, Владимир, Савелово. Также использованы материалы из жизни Баку, Вильнюса, Запорожья, Киева, Одессы, Владивостока, Самарканда, Сочи, Таллина, Тарту, Тарусы, Ташкента, Ферганы, Чернобыля[71]. Полевое исследование было начато с того, что в течение 1994—1995 годов автор давал регулярные объявления в нескольких еженедельных газетах Санкт-Петербурга, в попытке найти как можно больше личных документов, дневников и переписки периода позднего социализма, между серединой 1950-х и серединой 1980-х годов. Текст этого объявления гласил:

> Насколько хорошо мы помним сегодня нашу жизнь до 1985 года, до начала перестройки? То, как мы жили в советское время, отражено в личных записях, дневниках и переписке, которые сохранились

[71] Как правило, информанты называются по имени, без упоминания фамилий. В особых случаях, если информация несет потенциальный вред для информантов, их имена изменены. Подлинные имена и фамилии нескольких широко известных информантов оставлены с их согласия.

> у многих из нас с того времени. Эти материалы являются важными историческими документами, и нельзя допустить, чтобы они безвозвратно исчезли. Я провожу историко-социологическое исследование позднего советского периода, примерно с начала 1960-х годов и до начала перестройки, и ищу личные дневники, письма и любые другие материалы, в которых запечатлены различные стороны повседневной жизни тех лет.

Текст объявления был подписан именем автора и сопровождался контактным телефоном. Объявление периодически перепечатывалось в петербургских газетах в течение года. Реакция на него превзошла все ожидания. Практически ежедневно, на протяжении нескольких месяцев раздавались звонки. Часто на автоответчике не хватало места, чтобы вместить все сообщения, и пришлось купить новый автоответчик с особо длинным временем записи. Люди разных возрастов и занятий звонили поделиться личными материалами. Некоторые звонили просто, чтобы вспомнить советское время и порассуждать о причинах его конца. Среди материалов, которые предлагались автору, большая часть была дневниками или личной перепиской людей, которые в позднесоветское время были молоды и которым на момент, когда проводилось наше исследование (середина 1990-х), было от тридцати до сорока. Почему именно люди этого возраста откликнулись с особым энтузиазмом? Возможно, они просто чаще других читали газетные объявления или отзывались на них. Возможно, в советское время именно молодежь чаще других вела дневники и тесную переписку с друзьями. Возможно, они чаще, чем более взрослые люди, хранили свои письма и дневники. А возможно, они просто более других были готовы делиться личными записями с незнакомым человеком. Все это возможно.

Однако из разговоров с большим количеством разных людей в течение нескольких лет нашего исследования постепенно выявилась и другая, не менее важная тенденция. Хотя обвал советской системы стал неожиданным для представителей разных поколений, именно для молодого поколения, окончившего школу в 1970-х — начале 1980-х годов, этот обвал был чем-то особым — частью активного становления их собственной зрелой, но все еще молодой жизни. С точки зрения только

возраста эти люди успели побыть взрослыми советскими гражданами еще до начала неожиданных перемен, но и после обвала Советского государства они, все еще оставаясь молодыми, продолжали активную жизнь уже в постсоветском контексте. Несмотря на неожиданность и скорость перемен, они, подчас к своему удивлению, оказались к этим переменам психологически готовы лучше других. Для многих из них обвал государства стал событием одновременно неожиданным и вполне естественным. Связано это было, видимо, с тем, что эти люди выросли именно в период позднего социализма, когда ежедневное существование было особенно полно парадоксов и несоответствий и когда строгий государственный контроль сочетался с многочисленными свободами от него. Живя в социалистическом государстве, которое казалось нерушимым и вечным, и оставаясь нормальными советскими людьми, они с детства привыкли наделять свою жизнь новыми смыслами, которые государство не могло полностью распознать, понять или проконтролировать. Они научились общению с государственной идеологией, институтами и нормами посредством принципа, который мы назвали выше *перформативным сдвигом*, — принципа, в результате которого форма идеологических высказываний и практик воспроизводилась, а их смысл постоянно сдвигался, открывая новые, неподконтрольные пространства свободы. Такой принцип существования позволял некоторым из этих людей даже сохранять приверженность идеалам и ценностям реального социализма, подчас интерпретируя их иначе, чем это делалось в идеологическом дискурсе партии. Мы увидим массу конкретных примеров этого парадоксального принципа существования в следующих главах. Именно он сделал этих людей единым поколением. Обвал Советского государства стал тем событием, которое, с одной стороны, стало для них неожиданным, а с другой — вполне укладывалось в их опыт. По этим двум причинам внутренние парадоксы их советского существования вдруг стали для них заметны и понятны. Поэтому этим людям, возможно больше, чем другим, было вполне понятно и близко желание разобраться в своей прошлой жизни и найти в ней как причины ощущения вечности государства, так и истоки его неожиданного конца.

Поздний социализм и последнее советское поколение

Понятие *поколение* не является естественным, объективно существующим и заранее заданным понятием. Далеко не всегда и не везде формируются явно выраженные поколенческие группы. Когда они все же формируются, то происходит это по разным причинам и критериям, среди которых схожесть возраста — лишь один из возможных, но не обязательных критериев. Часто люди начинают осознавать себя частью одного поколения не спонтанно, а под влиянием публичного дискурса, который описывает их как единую поколенческую группу, называет их общим именем («шестидесятники», «*generation X*», «поколение беби-бумеров»), предлагает или навязывает им общие культурные ориентиры, схожесть жизненного опыта и так далее. В классическом определении Карла Маннгейма поколение отличается общим «местоположением в историческом измерении социального процесса», что дает разным людям схожий взгляд на этот процесс[72]. Это определение, однако, далеко не совершенно. В определенных культурно-исторических условиях возраст может действительно способствовать схожести поколенческого «местоположения» в историческом процессе. Но в других условиях определяющей чертой может быть совсем не возраст. Более того, как понимается «общность» возраста — зависит от контекста, а иногда такого понимания попросту нет. Иными словами, правомерно ли пользоваться понятием поколения, имеет ли смысл им пользоваться и как следует его определять — все это зависит от конкретного культурно-исторического контекста.

[72] Существует много подходов к изучению поколений. Среди них назовем лишь два, имеющие отношение к нашему исследованию: изучение поколения как *возрастной группы (cohort)* и изучение поколения как категории *рода (lineage)* (DeMartini 1985). В первом подходе проводится синхронный анализ: здесь подразумевается, что ровесники имеют множество черт, объединяющих их друг с другом и отличающих их от других возрастных групп. Во втором подходе проводится диахронный анализ: здесь подчеркивается не отличие между возрастными группами, а преемственность между ними, принадлежность их к единому поступательному процессу социально-исторических изменений.

В этой книге, однако, мы будем пользоваться понятием «последнее советское поколение». Объясним поэтому, как его следует понимать. С одной стороны, *последнее советское поколение* — это чисто аналитическая категория, поскольку сами его представители частью одного поколения себя не осознавали и термином «последнее советское поколение» не пользовались. Имеет ли смысл рассматривать их именно как единое поколение? Ведь то, как люди воспринимали социализм, безусловно, зависело не только от возраста, но и множества других параметров — социального положения, уровня образования, национальности, пола, профессии, места проживания, языка и так далее. Тем не менее нам кажется, что неожиданный кризис и обвал советской системы практически в одночасье превратил людей, о которых в первую очередь пойдет речь, именно в одно поколение. Это событие дало им возможность осознать схожесть и уникальность своего опыта советской жизни. Таким образом, это поколение советских людей сформировалось *ретроспективно* — именно неожиданность обвала системы, вместе с чувством удивления, ощущением нереальности происходящего и, возможно, чувством эйфории или, напротив, трагедии, которые ему сопутствовали, стала главным принципом формирования этого поколения.

К этому поколению в нашем определении относятся все те, кто был достаточно зрел, чтобы полностью сформироваться еще в советский период, но и достаточно молод, чтобы в период реформ, а затем в начале 1990-х годов довольно быстро превратиться во все еще молодых «постсоветских людей». Согласно такому определению, *последнее советское поколение* включает в себя людей с относительно широким разбросом возрастов, родившихся между серединой 1950-х и началом 1970-х годов, которые в годы перестройки были в возрасте от выпускников школ до тридцатилетних[73]. Такое определение последнего советского поколения не включает, например, людей, которые были детьми на момент распада СССР, — тех, кого некоторые исследователи называют последним

[73] Об этом поколении см. также: Boym 1994; Лурье 1997; 1998. Марина Князева (Князева 1990) тоже пишет об этом поколении, называя его «детьми застоя» — термином, который, с нашей точки зрения, неоправданно узок и некритичен, поскольку включает в себя заведомую оценку этого периода советской истории.

поколением советских людей, имея в виду, что они *успели родиться еще* в Советском Союзе. Мы предпочитаем наше определение, согласно которому последними *истинно советскими* людьми являются те, кто не просто успел родиться в той стране, а успел в ней повзрослеть и сформироваться как раз до начала ее неожиданного конца.

Как уже говорилось выше, постсталинский период советской истории приобрел особые черты в результате перформативного сдвига, который произошел в советском авторитетном дискурсе. Именно этот особый период — последние 30 лет до перестройки — мы называем *поздним социализмом*[74]. В литературе эти 30 лет зачастую делятся на два более коротких отрезка времени: *оттепель* (период хрущевских реформ) и *застой* (брежневский период). Символической границей между двумя этими периодами многие считают ввод советских войск в Чехословакию летом 1968 года[75]. Эти два периода приблизительно соотносятся с двумя поколениями — старшее поколение *шестидесятников* и младшее, совпадающее с нашим *последним советским*. Насколько многочисленным было последнее советское поколение? В 1989 году 90 миллионов советских граждан было в возрасте от 15 до 34 лет при общем населении страны в 281 миллион[76] — то есть на тот момент последнее советское поколение составляло почти треть населения страны.

Несколько слов о репрезентативности материала, использованного в этой книге. В нашу задачу входило не описать усредненный «советский опыт» или среднего «советского субъекта», а нащупать некоторые направления, по которым в позднесоветской системе происходили внутренние и какое-то время невидимые *сдвиги* и *изменения* на уровне формы идеологических ритуалов и высказываний, а также смыслов, которыми они наделялись. Поэтому часть материала выбиралась для исследования не норм и правил, а отклонений от них. Материал, заведомо подбирающийся по принципу «репрезентативности», ориентирован на анализ уже известных норм и состояний. Непредвиденные изменения и сдвиги системы в таком методе распознать сложно — они становятся

[74] См.: Yurchak 1997.

[75] См., например: Страда 1998: 11.

[76] Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. М.: Госкомстат СССР, 1992.

заметны лишь после того, как произошли. Напротив, материал, подобранный для анализа того, как нормы искажаются, нарушаются или доводятся до предела, и при этом система продолжает функционировать, дает возможность узнать нечто новое и о норме, и о ее изменениях. Такой анализ позволяет увидеть систему в динамике и заметить назревающие в ней сдвиги и трансформации. Исключения и отклонения служат индикатором того, какие степени свободы существуют внутри рамок системы, какие микросдвиги в ней происходят и накапливаются и как в ней могут зреть будущие изменения, включая те, которые в самой системе до поры до времени остаются не замечены.

Как писал Карл Шмитт, «исключение интереснее, чем нормальный случай, поскольку оно не только показывает границы применения нормы и правила, но и более широкие условия, внутри которых эти норма и правило сформулированы»[77]. Цитируя Кьеркегора, Шмитт добавлял: «Исключение объясняет и общее правило, и само себя. Если вы хотите верно изучить правило, надо постараться найти настоящее исключение из него. В нем система проявляется лучше, чем в правиле»[78]. Кроме того, если мы хотим понять норму в динамике, увидев ее потенциальные изменения, мутации и сломы, которые язык самой нормы описать не в состоянии, нам необходимо понять исключения из нее. Ведь именно «в исключении сила реальной жизни прорывается сквозь корку механизма, который затвердел от постоянных повторений»[79].

Метод, рассматривающий отклонения и исключения, подходит для данного исследования еще и потому, что оно проводилось *ретроспективно*. Мы начинаем это исследование с несколько привилегированной позиции — с момента неожиданного обвала советской системы, который для нас уже неожиданным не является, — и далее двигаемся назад, в обратном направлении, в периоды, предшествовавшие этому обвалу, когда это событие еще практически никем не ожидалось. Именно знание того, что обвал в конце концов произошел, а также того, как он произошел, дает нам возможность искать определенные внутренние

[77] Schmitt 1985: 15.

[78] *Кьеркегор С.* Повторение // Schmitt 1985: 15.

[79] Ibid.

сдвиги, изменения и напряжения внутри системы в предшествующий обвалу период. Поэтому наше внимание будет часто (хотя и не всегда) направлено на внутреннюю динамику системы, на ее потенциальные сдвиги, изменения, исключения, несоответствия и парадоксы, хотя будем мы уделять внимание и анализу того, как формировались статичные состояния и «репрезентативные нормы» системы и что эти состояния и нормы собой представляли.

Последнее замечание касается положения, которое *автор* занимает по отношению к тексту и анализу в этой книге. Отойдя от более-менее распространенной антропологической практики, автор не говорит в книге от первого лица и не часто рассуждает о своей роли в описываемых событиях, наблюдениях и интервью. Это сознательный выбор. Безусловно, саморефлексия по поводу положения наблюдателя по отношению к предмету наблюдения является базовым элементом любого анализа, а в социальной антропологии эта традиция имеет глубокие корни. Это, однако, не всегда означает, что писать надо от себя или о себе. Описывать свое место в полевом исследовании особенно важно, если методом исследования является включенное наблюдение и этнография, где присутствие исследователя напрямую влияет на собранный материал. Методы исследования в этой книге несколько иные — это в первую очередь сбор подходящего исторического «архива» и проведение интервью. Хотя роль автора здесь, конечно, остается важной, она не влияет на динамику отношений с материалом настолько прямым образом, как в случае включенного наблюдения.

Но есть и другая, более глубокая причина. Эксплицитное включение исследовательского *я* в анализ материала не является самоочевидным плюсом. Иногда оно может привести к обратному результату — к конструированию некоего автономного, монологичного авторского голоса, который на самом деле таковым не является. В принципе, голос автора всегда несколько децентрализован и диалогичен, о чем не раз писалось и что особенно ярко показал Михаил Бахтин. Но в некоторых случаях этот голос особенно полифоничен и парадоксален. Так, данная книга не могла бы появиться на свет без целого ряда пространственных, временных и субъектных смещений, которые постоянно претерпевал и претерпевает голос ее автора. Она написана и от лица того, кто вырос

и жил в Советском Союзе в течение всего периода позднего социализма и был свидетелем перестройки и распада СССР; и от лица того, кто начал исследовать социализм лишь *ретроспективно*, уже после его распада; и от лица того, кто провел постсоветские годы в Соединенных Штатах, сначала обучаясь в американской докторантуре, а затем работая профессором в американском университете; и от лица того, кто все эти годы постоянно перемещался между Америкой и Россией, проводя в России по несколько месяцев в году и переключаясь между англо-американской и российской дискурсивными, медийными и академическими средами, с их различными политическими традициями, языками и углами зрения; и так далее. Именно осознание того, что этот текст стал возможен благодаря этим многочисленным смещениям, расщеплениям и полифониям авторского голоса, заставило нас отойти от традиции излагать текст от лица некоего целостного и статичного *я*.

Глава 2

ГЕГЕМОНИЯ ФОРМЫ
Неожиданная смена парадигм

> Поиски собственного слова на самом деле есть поиски именно не собственного, а слова, которое больше меня самого; это стремление уйти от своих слов, с помощью которых ничего существенного сказать нельзя. Сам я могу быть только персонажем, но не первичным автором.
>
> *Михаил Бахтин*[1]

Авторитетный дискурс

Тому, кто вырос в Советском Союзе, нет необходимости объяснять, в чем состоит юмор популярной советской кинокомедии 1975 года «Ирония судьбы, или С легким паром». Главный герой фильма, Женя Лукашин, накануне Нового года напивается с приятелями в московской бане и по ошибке улетает в Ленинград. Проснувшись в Ленинграде, ничего не подозревающий Женя называет таксисту свой московский адрес: Вторая улица Строителей. Улица с таким названием есть и в Ленинграде. Как и в Москве, она расположена в новом районе, построенном в 1970-х годах. Однотипные блочные дома, универсамы, автобусные остановки как две капли воды похожи на московский район, в котором живет герой. И лестница в доме такая же, и дверь квартиры, и даже ключи. Внутри та же стандартная планировка, мебель, домашние вещи. Ничто не вызывает у выпившего героя подозрений. Уверенный, что он у себя дома, Женя валится на диван и засыпает. После множества

[1] Бахтин 1979а: 354.

забавных эпизодов и романтических песен герой влюбляется в женщину, которая является истинной владелицей ленинградской квартиры.

В картине вечный сюжет романтической комедии ошибок встроен в сугубо советский контекст 1970-х, отличавшийся особой предсказуемостью форм — названия улиц и магазинов, планировка микрорайонов, архитектурные стили, дверные замки, домашняя утварь и другие материальные и символические формы повседневности достигли в тот период беспрецедентного уровня стандартизации и предсказуемости, повторяясь из контекста в контекст почти без изменений. Эта одинаковость городского пространства была частью более широкого процесса нарастающей стандартизации и предсказуемости «идеологических» форм репрезентации, которые включали в себя также формы официального языка, типы идеологического видеоряда, структуру идеологических ритуалов и так далее. В этот период можно было встретить одинаковые символы наглядной агитации (лозунги, плакаты, портреты, стенды) на любом фасаде, на каждой улице, в любом городе страны. Повторяющиеся символы превратились в повсеместный и предсказуемый фон городского пространства, в то, что Вацлав Гавел удачно назвал «огромным задником повседневности» (Havel 1986), на котором внимание обычно не фокусируется, как не фокусируется оно у пешехода на столбах или деревьях, стоящих вдоль улиц.

В главе 1, упомянув этот поворот идеологического дискурса в сторону возрастающей стандартизации и повторяемости, мы предложили впредь называть его «авторитетным дискурсом». Этот термин Михаила Бахтина использован для того, чтобы подчеркнуть, что стандартизация *формы* идеологического дискурса сопровождалась его глубоким *смысловым сдвигом*, в результате которого этот дискурс потерял задачу более-менее верного описания реальности, то есть классическую задачу идеологии, преобретя вместо нее иную задачу — создавать впечатление, что возможен только такой, и никакой другой вид репрезентации, даже если он и не воспринимается как верный. Иными словами, основным эффектом этой символической системы было не создание как можно более точного описания реальности, а создание ощущения того, что публично описывать реальность можно было только в таких символических формах.

Авторитетный дискурс включал в себя визуальную, практическую, пространственную и другие составляющие, но самой важной его частью был язык — авторитетный язык речей, документов, призывов, лозунгов, планов, отчетов, газетных передовиц и так далее. Стандартизация формы коснулась всех структурных уровней этого языка — от синтаксиса, морфологии и семантики до стилистики, риторики и нарративной организации. Целые куски текстов, написанных этим языком, с легкостью переносились в новые тексты практически без изменений. При этом нарастающая стандартизация формы этого языка сопровождалась не просто ее застыванием, но и постепенным ее усложнением. Связано это было с тем, что при постоянной необходимости копировать форму авторитетного языка срабатывал эффект снежного кома — желание оставаться в рамках тщательного воспроизводства языковых оборотов, фразеологизмов и стилистических ходов этого языка подразумевало не просто детальное копирование их формы, но копирование этой формы с перехлестом, заведомо более подчеркнутое, более подробное, более расширенное, чем в предыдущих текстах. В результате форма авторитетного языка все больше разбухала, становилась все более громоздкой. Многие читатели, безусловно, хорошо помнят этот особый, неуклюжий идеологический язык, который в брежневский период многие стали иронично называть «дубовым» языком.

Однако, вопреки довольно распространенному мнению[2], это нарастание стандартизации и повторямости форм авторитетного языка вело не к сужению смысла, который циркулировал в пространстве политической коммуникации, а, напротив, к его расширению и освобождению.

[2] Его разделял, например, Джордж Оруэлл — в романе «1984» он пытался показать, что строгий контроль за формой языковой репрезентации якобы неизбежно ведет к сужению смыслов, которые могут циркулировать в повседневной жизни. Эта модель контроля за языком и смыслом крайне распространена, но и настолько же ошибочна — например, ее разделяет Михаил Эпштейн в своем анализе советского идеологического языка (см.: Epstein 2000 и ниже в этой главе). В ней подразумевается, что между формой и смыслом символа существует жесткая и предсказуемая связь, не зависящая от контекста и неспособная меняться, что, конечно, не так. В последующих главах мы покажем, к каким ошибочным выводам приводит эта упрощенная модель языка и смысла.

Авторитетный дискурс пережил *перформативный сдвиг* (см. главу 1), главной чертой которого было следующее: чем более стандартной и повторяющейся становилась форма авторитетных высказываний и символов, тем *менее* стандартным и предсказуемым был смысл, который мог соответствовать этой форме в различных контекстах.

Благодаря повсеместному повторению одних и тех же форм авторитетного языка (и авторитетного дискурса вообще, включая ритуальные и визуальные элементы идеологии) советская система выглядела монолитной, единой и неизменной. Однако из-за непредсказуемости смысла, который возникал благодаря повторению этих стандартных форм в разных контекстах, смысл советской жизни все больше освобождался от смыслового диктата идеологии, становясь все более разнообразным и все менее предсказуемым. Сложилась парадоксальная ситуация: советская система казалась монолитной и мощной, но — благодаря появлению разнообразных форм реальности, не имеющих отношения к идеологии, — становилась все более разнообразной, непредсказуемой, а потому потенциально неустойчивой, готовой при определенных условиях развалиться. Ощущение вечности и неизменности системы и ее внутренняя непредсказуемость и неустойчивость были результатами одного и того же процесса, который мы назвали выше *перформативным сдвигом*.

Революционный язык

Первые годы после Октябрьской революции 1917 года (как и первые годы после Французской революции) были отмечены активными языковыми экспериментами[3]. В этих экспериментах участвовали и представители большевистского государства, и авангардные художественные объединения, имеющие непосредственно к государству мало отношения. Возникли новые стили языка, например «телеграфный» язык, основанный на сокращениях и аббревиатурах, придуманных для обозначения новых культурных реалий и политических понятий, — *наркомпрос*,

[3] О революционных экспериментах с языком во Франции см.: Guilhaumou 1989, de Certeau, Julia, Revel 1975, Frey 1925.

пролеткульт, *агитпроп* и так далее. Появилось множество неологизмов и иностранных заимствований. Эти новые языковые формы рассматривались как инструмент революционного изменения сознания. Большинство из них заведомо выбиралось из-за непривычности звучания и написания, вызывающих у неопытного человека неудобство и заставляющих его изменять свои языковые привычки. По замечанию лингвиста, который в те годы следил за языковыми экспериментами, новые формы языка нелегко «адаптировались к звучанию и формальной системе русского языка» и с трудом «принимались людьми, не привыкшими к иностранной фонетике»[4].

Атмосфера революционного эксперимента и эйфории овладела и наукой, включая языкознание. В те годы советский лингвист, археолог и этнограф Николай Марр разработал «новое учение о языке», в основе которого было разделяемое многими авангардными художниками и политиками убеждение, что задачей языкознания, как и других наук, является не только развивать новые научные подходы, но и менять сознание ученых. В 1920-х годах Марр писал: новое учение о языке требует

> ...особенно и прежде всего нового лингвистического мышления. Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку и к его явлениям, надо научиться по-новому думать, а кто имел несчастье раньше быть специалистом и работать на путях старого учения об языках, надо перейти к иному «думанию» <...> Новое учение о языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления[5].

Согласно «новому учению» язык следовало рассматривать как сугубо социальное явление, которое следует изучать с позиции марксистской теории. Поскольку язык меняется таким же образом, как и общество, писал Марр, он тоже стремится от классового состояния к бесклассовому. Поэтому все языки мира развиваются в сторону объединения путем

[4] Селищев 1928: 166. О непонимании нового языка газетной аудиторией см. также в работах: Gorham 2000: 138—139; Ryazanova-Clarke, Wade 1999: 15—18.

[5] Цитируется по книге: Алпатов 1991: 67.

революционных взрывов и смешений. В коммунистическом обществе языки в конце концов сольются в единый коммунистический язык[6]. Идею о едином языке будущего разделяли и многие группы авангардных поэтов и художников. *Обериуты* писали в своем манифесте о необходимости создать «новый поэтический язык» для «нового ощущения жизни»[7]. Футуристы занимались разработкой специального «заумного языка», выдумывая слова, неологизмы и грамматические структуры, нарушающие условности стандартной русской грамматики и фонетики[8]. Велимир Хлебников писал, что главной целью футуристов было «создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире»[9]. Как объяснял Роман Якобсон, близкий в те годы к футуристам, смысл поэзии на заумном языке состоит не в поэзии как таковой, а в той формальной реорганизации языка, которую она производит[10].

Сталин как редактор идеологического языка

Как известно, в конце 1920-х годов разнообразие авангардных экспериментов и подходов к языку, политике, науке и искусству стало проблемой для большевистского руководства. Его главной задачей теперь было государственное строительство, а для этого требовался рациональный централизованный контроль в сфере социально-культурной жизни и языка[11]. Поэтому языковая политика государства в этот период начинает меняться. Эксперименты пресекаются, сфера языка попадает под партийный контроль. В этом изменении языковой политики

[6] Марр 1977: 31.

[7] Григорьев 1986: 243.

[8] Подробнее см.: Clark: 1995: 40; Rudy 1997: xii; Jameson 1972; Lemon, Reis: 1965. См. также: Крученых 2000: 193—195. Схожий лингвистический эксперимент проходил в среде итальянских футуристов, об этом см.: Apollonio 1973: 95—106.

[9] Хлебников 1986: 619.

[10] Rudy 1997: xiii.

[11] См.: Gorham 2000: 140, 142; Smith 1998.

проявился парадокс, лежавший в основе всей советской идеологии: для *полного освобождения* социальной, культурной и личной жизни субъекта (цель, которая должна быть достигнута при коммунизме) эту жизнь было необходимо поставить под *полный контроль* партии. Этот парадокс был заложен изначально в самой идее о возможности построения коммунистического общества под руководством партии. Играя направляющую роль в обществе — то есть будучи носителем уникального знания об истине, — партия находилась как бы *за пределами* общества, осуществляя руководство из этой внешней по отношению к социуму сферы.

Этот парадокс не был уникален для советской системы. Как показал Клод Лефор, легитимность любой (современной) политической системы строится на основании некой «очевидной» истины, которая занимает по отношению к идеологии *внешнее* положение (см. главу 1). То есть идеологический дискурс системы всегда ссылается на эту «истину», не будучи при этом в состоянии ее обосновать и доказать. В этом заключается внутреннее противоречие идеологии современного государства вообще. Идеологическое высказывание, которое претендует на полное и верное описание реальности, не способно объяснить, почему «истина», на которую оно ссылается, действительно является истиной. Эта «истина» должна быть сначала принята на веру. Например, в Советском Союзе постулат о том, что коммунизм — это неизбежное будущее человеческой истории, находился за пределами идеологии КПСС. Этот постулат не мог быть ни доказан, ни поставлен под вопрос в рамках идеологического дискурса партии. Напротив, любое идеологическое высказывание, произведенное внутри советской системы, было возможно лишь при условии, что этот постулат *заведомо* принимался за истину[12]. Когда же этот постулат был наконец поставлен под вопрос в партийном дискурсе периода перестройки, советская политическая система быстро развалилась[13].

Когда в 1920-х годах партийное руководство начало устанавливать более жесткий и централизованный контроль над всеми формами общественной и культурной жизни, партия продолжала воспринимать

[12] Lefort 1986: ch. 6; Yurchak 2006: 10—14, 46—47.

[13] Yurchak 2006: 282—295; Idem 2007.

себя как отряд революционного авангарда, проводящий работу по освобождению этой жизни. Поэтому в новых условиях культура и язык продолжали, как и раньше, рассматриваться в качестве инструментов по созданию нового коммунистического сознания. В отношении языка такая модель подразумевала, что существует некая позиция *за пределами* языка, из которой можно оценивать, насколько адекватно язык отражает реальность и каким образом необходимо его корректировать, чтобы он отражал реальность еще лучше[14]. Практические справочники по языку утверждали: поскольку язык является инструментом, его, «как любой инструмент, надо совершенствовать, полировать и бережно охранять от любой порчи и малейшего повреждения»[15]. Неудивительно, что ключевой тезис «нового учения» Марра, согласно которому язык, как явление сугубо классовое, будет развиваться и совершенствоваться, пока не превратится в коммунистический язык будущего, продолжал занимать важное место в советском языкознании. Ту идею, которую раньше утверждали авангардные художники, теперь утверждало само партийное руководство — большевистский язык совершеннее буржуазного языка по определению, поскольку, с чисто научной точки зрения, он не скован нормами прошлого и открыт к созданию будущего. Задачей партийной прессы, соответственно, было прививать читателям конкретную лексику, фразеологию и грамматику этого нового, более совершенного языка[16].

Как уже отмечалось в главе 1, парадокс Лефора может некоторое время оставаться скрытым за господствующей фигурой идеологического дискурса, которая занимает внешнее положение по отношению к этому дискурсу и обладает уникальным знанием внешней *объективной истины*, к которой этот дискурс апеллирует[17].

Пользуясь своим уникальным положением вне идеологического дискурса (и над ним), эта господствующая фигура способна публично осуществлять оценку всех идеологических текстов и высказываний на

[14] См. подробнее в: Seriot 1985.

[15] Язык газеты: 14.

[16] Там же: 117, 123.

[17] См.: Lefort 1986: 212—214, а также: Bhabha 1990: 298.

предмет их соответствия или несоответствия «объективной истине». В годы революции позицию внешней господствующей фигуры идеологического дискурса, имеющей уникальный доступ к объективной истине, занимал политический и художественный авангард. К началу 1930-х годов эта фигура сузилась до размеров одной личности — Сталина. Если этот сдвиг и не был неизбежен, он был вполне логичен: почва для него была подготовлена самой идеей революционного авангарда, как движения, занимающего особое, *внешнее* по отношению к идеологии положение[18]. Теперь эту внешнюю позицию занял сам Сталин. Лишь он был способен оценивать публичные высказывания *извне* на предмет их соответствия внешнему канону объективной «марксистско-ленинской» истины. Не случайно его оценке, как хорошо известно, подвергались самые различные высказывания — политические документы, литературные тексты, музыкальные произведения, научные труды и так далее. Примеров этого процесса огромное множество; приведем лишь несколько.

Когда готовилась многотомная «История гражданской войны» под редакцией Максима Горького[19], Сталин досконально прочитал весь ее

[18] Борис Гройс отмечает: «Мечта авангарда поместить все искусство под прямой контроль партии, чтобы реализовать ее программу жизнестроительства (то есть "социализма в отдельно взятой стране", как подлинного и совершенного произведения коллективного искусства), наконец-то сбылась. Однако автором этой программы был не Родченко с Маяковским, а Сталин, политическая власть которого превращала его в наследника их художественного проекта» — Groys 1992: 34. Началом «сталинской фазы» советской истории Гройс считает 23 апреля 1932 года, когда Центральный комитет партии принял декрет, «распустивший все художественные группы и объявивший, что все советские "творческие работники" будут объединены по профессиям в "творческие объединения" художников, архитекторов и так далее» — Ibid: 33. Хотя кажется, в анализе Гройса художественный авангард рассматривается как более важный, чем авангард политический, что, по-моему, не является бесспорным, этот анализ все же довольно точно описывает общий дискурсивный сдвиг того времени и его приблизительную дату. Кроме того, неверно было бы считать, что сталинизм стал закономерным продуктом русской революции, как это подчас делает Гройс. Скорее, — то, как парадокс Лефора проявился в советской современности, сделало феномен сталинизма возможным, но не неизбежным.

[19] Подготовка «Истории гражданской войны» велась редколлегией во главе с Максимом Горьким. На самом деле был опубликован всего лишь первый том запланированного многотомника (История гражданской войны. 1935).

текст и внес в него огромное количество исправлений[20]. Он изменял не столько факты, сколько язык, которым они описывались. Исправления Сталина, а также его комментарии к ним печатались в центральных газетах и перепечатывались в брошюрах и справочниках[21], становясь достоянием широкой общественности. Советский читатель узнавал со слов Сталина, в чем именно заключалась ошибочность той или иной формулировки и как ее следовало исправить. Например, в редактируемом тексте «Истории гражданской войны» бывший глава Временного правительства Александр Керенский упоминался как «соглашатель» и «примиритель» буржуазии и трудящихся. К этому определению Сталин добавил фразу — «в интересах буржуазии», сопроводив поправку комментарием о том, что новая формулировка должна помочь читателям понять подлинную роль этого соглашателя[22]. В другом месте текст «Истории» пояснял, что «ленинский лозунг "Вся власть советам!" призывал к разгрому буржуазного аппарата и созданию нового, советского аппарата власти». Сталин исправил эту формулировку со следующим комментарием: Маркс говорил не о полном «разгроме», а лишь о «сломе» буржуазной машины; следовательно, ленинский лозунг надо трактовать не как полный разгром, а лишь как частичный слом старой системы, что позволит в последующем использовать ее для строительства новой системы[23]. Подобные разъяснения исправлений были адресованы не столько авторам «Истории», сколько широкому советскому читателю.

Приведем другой пример. В ходе подготовки новой советской конституции в середине 1930-х годов советская пресса подробно освещала «всенародное обсуждение» ее проекта. В газетах печатались различные формулировки, которые читатели предлагали вставить в текст конституции, а затем давались комментарии Сталина по поводу этих формулировок. Решающим критерием сталинской оценки предложенных

[20] Всего в первый том «Истории» редколлегия внесла около 700 исправлений.

[21] Примером служит брошюра «Язык газеты» под редакцией Кондакова, изданная в 1941 году тиражом 25 тысяч экземпляров для газетных работников и широкой общественности.

[22] Язык газеты: 122.

[23] Там же: 122—123.

формулировок вновь было то, насколько в своем описании реальности они соответствуют канону марксистско-ленинской истины, подлиным знанием которой обладал лишь Сталин. Независимо от того, были ли эти предложения читателей подлинными или вымышленными, важен сам факт того, что они печатались в центральных газетах с комментариями Сталина. Таким образом, сталинский *метадискурс* по поводу идеологического языка — метадискурс, который производился *из-за пределов* идеологического языка и был адресован советским гражданам, — был неотъемлемой частью дискурсивной системы сталинского периода.

Приведем несколько примеров этого метадискурса. В читательских письмах в «Правду» отмечалось, что к тому времени (середина 1930-х годов) советское общество значительно изменилось по сравнению с обществом более раннего, революционного периода: крестьяне превратились в советских колхозников, возник новый класс советской интеллигенции и так далее. В связи с этим читатели якобы предлагали заменить старую формулировку, в которой Советский Союз именовался «социалистическим государством рабочих и крестьян», на новую — «государство трудящихся». В ответ на это предложение Сталин в одном из своих выступлений, текст которого был опубликован в газетах и отдельных брошюрах, объяснил, что предложенная формулировка не соответствует канону марксистско-ленинского определения классов: «Советское общество состоит, как известно, из двух классов, из рабочих и крестьян. 1-я статья проекта Конституции об этом именно и говорит. Стало быть, 1-я статья проекта Конституции правильно отображает классовый состав нашего общества. Могут спросить: а трудовая интеллигенция? Интеллигенция никогда не была и не может быть классом, — она была и остается прослойкой, рекрутирующей своих членов среди всех классов общества»[24]. Ответ Сталина, с типичными фразами «как известно», «никогда не была и не может быть» и так далее, был не теоретическим объяснением новой ситуации, а лишь отсылкой к якобы существующей объективной и неизменной «истине»,

[24] Выступление Сталина на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов (25 ноября 1936 года), перепечатанное в газетах и процитированное в нескольких справочниках. Цитируется по: Язык газеты 1941: 26.

которая находится за пределами конкретных условий сегодняшнего дня и от них не зависит.

Подобные публичные комментарии и исправления со стороны Сталина касались не только политических документов, но и важных художественных произведений и научных теорий. Например, несколькими годами позже, в 1943 году, Сталин внес исправления в новый текст советского государственного гимна, написанного Сергеем Михалковым[25], снабдив их соответствующими разъяснениями. Исправления касались мельчайших нюансов смысла, который эти фразы могли потенциально нести. Так, Сталин перечеркнул фразу «союз благородный», которая функционировала в роли определения к понятию «Советский Союз», объяснив это тем, что слово «благородный» обозначает не только «моральный», но и «аристократический», принадлежащий к «благородному классу». В итоговом тексте гимна «благородный» заменили на «нерушимый». Другая формулировка, гласившая, что Советский Союз был создан «волей народной», по мнению Сталина, тоже была неудачна, поскольку она могла вызывать ассоциации с «Народной волей» — террористической революционной организацией последней трети XIX века. «Волей народной» заменили на «волей народов»[26].

Подобная критика языка с объяснениями того, как и почему его следует исправлять, повторялась на страницах не только центральных, но и местных газет. По аналогии с ней местные газеты проводили свою собственную критику политического языка. Например, в одном из номеров газеты «Ударник Кузбасса», органе горкома партии и горсовета города Прокопьевска Кемеровской области, были раскритикованы фразы, грамматические обороты и лексика, которые встречались в статьях многотиражной газеты «В бой за уголь», издававшейся партбюро одной из местных угольных шахт. «Борьба за чистоту, ясность языка газетных заметок и статей», отметил «Ударник Кузбасса», — это «не самоцель, а средство усиления политического влияния на массы». Приведя примеры неверных выражений и формулировок из

[25] Текст был выбран из более чем шестидесяти участвовавших в конкурсе вариантов. Музыку гимна написал композитор Александр Александров.

[26] Интервью с Сергеем Михалковым на телеканале НТВ, 30 июня 1998 года.

шахтерской многотиражки, «Ударник Кузбасса» напомнил: для полной уверенности, что ты используешь верные политические формулировки, необходимо сравнивать их с языком Сталина, ведь «долг всех работников печати», включая мелкие издания, состоит в том, чтобы «учиться скупости, ясности и кристальной чистоте языка у товарища Сталина»[27].

Как видно из этих примеров, главной задачей публичного метадискурса об идеологическом языке было разбирать и оценивать буквальный смысл конкретных идеологических формулировок; причем этот метадискурс производился лично от имени Сталина. То есть Сталин занимал позицию *внешней фигуры* по отношению ко всем идеологическим высказываниям[28]. Этот факт постоянно подчеркивался в печати. В 1935 году председатель ЦИК СССР Михаил Калинин в одном из выступлений заявил: «Вот если бы спросили меня, кто лучше всех знает русский язык, я бы ответил — Сталин. У него надо учиться скупости, ясности и кристальной чистоте языка». Выступление Калинина часто цитировалось в газетах и брошюрах (включая, как мы только что видели, и статью в газете «Ударник Кузбасса»)[29]. Максим Горький в личном письме к вождю сделал аналогичное замечание: поскольку язык Сталина представляет собой «образец правильного письма», он просит вождя написать текст для журнала «Литературная учеба», который Горький редактировал[30].

[27] О языке... 1949: 3.

[28] Сталин занимал аналогичное положение внешней фигуры и по отношению к другим жанрам советского авторитетного языка — от языка сельского хозяйства, генетики, физики и химии до языка литературы, музыки и кино. Например, Сталин сделал массу замечаний по поводу второй серии кинокартины Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», предложив конкретные изменения с тем, чтобы точнее отобразить русскую историю. Эйзенштейн впоследствии рассказал о замечаниях Сталина в своем дневнике (см.: Bergan 1997).

[29] См.: Берегите и изучайте великий русский язык 1946: 1. См. также: Калинин 1935; Блинов 1948: 15.

[30] Gorham 2000: 149.

Неожиданная смена парадигм

В 1950 году именно из этой *внешней* по отношению к идеологическому языку позиции Сталин неожиданно начал процесс кардинального изменения модели языка вообще и идеологического языка в частности. Как ни парадоксально, но в результате этих изменений исчезла возможность занимать эту внешнюю по отношению к идеологическому дискурсу позицию. В результате исчез и публичный метадискурс, способный извне давать оценку идеологическим высказываниям и формулировкам.

Изменения начались с рассуждений Сталина о природе языка как такового, известных сегодня как сталинская критика языкознания. В июне 1950 года газета «Правда» опубликовала статью Сталина, в которой он критиковал «Новое учение о языке» Николая Марра[31] за идеализм и вульгарный марксизм. Сталин писал: «Н.Я. Марр внес в языкознание неправильную, немарксистскую формулу насчет языка как надстройки и запутал себя, запутал языкознание. Невозможно на базе неправильной формулы развивать советское языкознание»[32]. Сталин выступил и против других вульгарно-марксистских моделей языка, в которых язык трактовался как чисто социальное явление — либо как надстройка, либо как средство производства. Вслед за первой статьей в «Правде» Сталин расширил и углубил свою критику в ряде последующих публикаций[33]. Отвечая на письма читателей газеты «Правда», Сталин пояснил, почему, согласно марксизму-ленинизму, язык не может являться ни надстройкой, ни базисом. Несмотря на изменения надстройки в советском обществе за годы, прошедшие со времени революции, писал Сталин, грамматика русского языка мало изменилась по сравнению с грамматикой дореволюционного языка: «На протяжении последних 30 лет в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый,

[31] Это учение продолжало играть важную роль в советском языкознании, несмотря на то что Марр умер в 1934 году.

[32] Сталин 1950a. См. также: Медведев 1997; Gray 1993: 27; Gorham 2000: 140, 142; Slezkine 1996: 842; Clark 1995: 201—223.

[33] Спустя несколько месяцев все эти тексты были изданы в виде отдельной книги: Сталин 1950d.

социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми, социалистическими. Но, несмотря на это, русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота»[34]. Поэтому, согласно Сталину, язык не является общественной надстройкой. Но он не может являться и базисом — например, «орудием производства». Сталин разъяснил это так: «Между языком и орудиями производства существует коренная разница. Разница эта состоит в том, что орудия производства производят материальные блага, а язык ничего не производит или "производит" всего лишь слова. ...Нетрудно понять, что если бы язык мог производить материальные блага, болтуны были бы самыми богатыми людьми в мире»[35].

В ответ на эти разъяснения Сталина «Правда» опубликовала очередной читательский вопрос: «В Вашей статье убедительно показано, что язык не есть ни базис, ни надстройка. Правомерно ли было бы считать, что язык есть явление, свойственное и базису и надстройке, или же правильнее было бы считать язык явлением промежуточным?» Сталин вновь ответил на страницах «Правды»: хотя язык в некоторой степени — это действительно «общественное явление», то есть язык имеет отношение и к базису, и к надстройке, язык — это одновременно и нечто совершенно иное, не имеющее отношения к общественной реальности. Именно поэтому, пояснил Сталин, язык «нельзя причислить ни к разряду базиса, ни к разряду надстроек. Его нельзя также причислить к разряду "промежуточных" явлений между базисом и надстройкой, так как таких "промежуточных" явлений не существует»[36]. Язык, согласно Сталину, обладает уникальными «особенностями», несводимыми к диалектике базиса и надстройки, и именно благодаря этим особенностям он «обслуживает общество как средство общения» и «как средство обмена мыслями», функционируя в самых разных

[34] Сталин 1950b.

[35] Там же.

[36] Там же.

«сферах человеческой деятельности — как в области производства, так и в области экономических отношений, как в области политики, так и в области культуры, как в общественной жизни, так и в быту»[37]. Наличие у языка этих уникальных «особенностей», продолжал Сталин, делает его не только общественным, но и природным явлением в более широком смысле. Например, грамматика языка не меняется с каждой сменой базиса и надстройки; она возникла давно и развивалась медленно, как «результат длительной абстрагирующей работы человеческого мышления»[38]. Благодаря этой объективной «природной материи» языка его следует изучать теми же научными методами, что и биологию или геометрию. Именно это дает право языкознанию быть независимой наукой, а не частью обществоведения[39].

Из сталинской критики теории Марра и других «вульгарно-марксистских» моделей языка следовало два неожиданных вывода. С одной стороны, поскольку язык не является частью надстройки, он не может автоматически меняться революционными скачками, как обещал Марр. С другой стороны, поскольку язык не является средством производства (базисом), манипулирование языком в политических целях не способно напрямую привести к возникновению коммунистического сознания, как надеялись футуристы и поэтический авангард. Вместо этих разом устаревших идей Сталин предложил новую: советское языкознание должно приступить к изучению «объективных научных законов», которые действуют на уровне глубинной природы языка, — законов, по которым происходит эволюция языка, его взаимодействие с сознанием, психологией, биологией и так далее.

Это заявление Салина было частью масштабной кампании по искоренению «вульгарно материалистического» и «идеалистического» подходов в науке и эстетике, унаследованных от революционного авангарда, и их замене материализмом объективных научных законов. Изменилось понимание того, что собой представляет «научность» академических исследований в целом. Если в 1930-х годах *научность* теории была тесно

[37] Там же.

[38] Сталин 1950a.

[39] Сталин 1950c.

связана с ее *партийностью* (с тем, насколько партийным было мировоззрение ученого), то теперь уровень научности определялся некими «объективными научными законами», которые не были известны заранее и к партийности прямого отношения не имели.

Аналогичное изменение в понятии *научности* произошло во всех научных сферах, что привело, по меткому выражению Катерины Кларк, к освобождению этих сфер от «чрезмерного экономического детерминизма»[40]. Просматривая в 1948 году черновик выступления Лысенко, в котором он говорил о *классовой основе* всей науки вообще, включая генетику, Сталин, прежде и сам делавший подобные заявления и поддерживавший теории Лысенко, вдруг написал на полях с насмешкой: «Ха-ха-ха!!! А как же математика? А как же дарвинизм?»[41] Такой же сдвиг произошел и в искусстве, истинность которого теперь тоже должна была определяться посредством *объективных природных законов*. Когда в 1948 году Жданов[42], по личному указанию Сталина, резко раскритиковал советских композиторов Прокофьева и Шостаковича, он заявил, что их музыка «дисгармонична», поскольку она является «нарушением основ не только нормального функционирования музыкального звука, но и основ физиологии нормального человеческого слуха». Эта музыка, писал Жданов, искажает «правильную психофизиологическую деятельность человека»[43].

В 1952 году первый номер нового журнала «Вопросы языкознания», созданного как реакция на сталинскую критику, опубликовал призыв к полному «обновлению» и «перестройке» советского языкознания. Языкознание должно было расширить призму, через которую оно рассматривало язык, с тем чтобы изучать его не только как классовое явление. Необходимо было понять «объективные» законы и принципы языка, которые невозможно свести к общественной истории, — принципы функционирования мозга, сознания, мышления, их связь с законами физиологии, математики, логики и так далее. «Советские лингвисты», писала редакция журнала, «еще не подошли вплотную к некоторым

[40] Clark 1995: 221. См. подробнее об этом сдвиге в книге: Pollock 2008.

[41] Rossianov 1993: 443. См. также: Joravsky 1970.

[42] Занимавший тогда пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР и являвшийся членом ВЦИК и ЦИК СССР.

[43] Жданов 1950: 74.

очень существенным проблемам теории языка», еще не создали теорий о «связи языка и мышления... грамматики и логики... взаимосвязи между развитием мышления и совершенствованием грамматического строя языка, об образном и понятийном мышлении...»[44]

Самым важным изменением, которое последовало за сталинской критикой языкознания и науки вообще, стала смена парадигм в модели советского *идеологического дискурса*, которую мы рассмотрели выше. В этой модели изменилось понимание того, что такое «объективная истина» — которая должна была отражаться в идеологическом описании — и какое место эта истина занимает по отношению к конкретным идеологическим высказываниям и формулировкам. Вспомним, что согласно модели советского идеологического дискурса, которая существовала до этого момента, этот дискурс должен был апеллировать к заранее заданному, фиксированному, внешнему *канону* объективной истины, известному лишь *внешней господствующей фигуре* (Сталину), находящейся за пределами самого идеологического дискурса и способной осуществлять оценку публичных высказываний, путем сравнения их с этим каноном. Теперь же, согласно новой модели языка, фиксированного и заранее заданного канона истины больше не было. Следовательно, он не мог быть известен какому-то конкретному, особому субъекту, находящемуся за пределами идеологического дискурса. Верность любого идеологического высказывания теперь определялась не мнением внешней фигуры, а некими «объективными законами» — законами, которые заранее не были известны и которые еще только предстояло открыть. Это означало, что *внешняя* по отношению к идеологическому языку позиция вообще перестала существовать — стало невозможно проводить «объективную» оценку текстов, высказываний и других видов политической репрезентации на предмет их соответствия неизменному канону. В результате исчез публичный метадискурс, который ранее осуществлял подобную оценку идеологических текстов и делал к ним комментарии.

Повторимся, что, как это ни парадоксально, сталинская критика языкознания и других областей науки привела к уничтожению той

[44] Задачи советского языкознания в свете трудов И.В. Сталина: 1952: 4.

господствующей позиции, внешней по отношению к политическому языку, из которой Сталин мог начать эту критику. Видимо, не осознавая того, что он делает, Сталин дал толчок глобальному сдвигу парадигм внутри советского дискурсивного режима. В 1956 году, через три года после смерти Сталина, Хрущев, в роли нового генерального секретаря партии, завершил этот сдвиг парадигм, сделав его необратимым. После публичного осуждения культа личности, сделанного Хрущевым на XX съезде партии, исчезла всякая возможность занимать *внешнюю* по отношению к идеологическому дискурсу позицию. Фигуры, стоящей за пределами идеологического дискурса и имеющей уникальное и неоспоримое знание *канона* марксистско-ленинской истины, больше быть не могло. В результате этого сдвига парадокс Лефора в структуре советской идеологии оказался более ничем не скрыт. Выйдя наружу, он начал проявляться во всех идеологических высказываниях и постепенно привел к кардинальному изменению всей структуры советской идеологии. Именно с этой смены парадигм в советском дискурсивном режиме и началась эпоха *позднего социализма*.

Нормализация языка

Исчезновение метадискурса, способного давать публичные комментарии по поводу идеологии, отразилось на всех формах политической коммуникации и культурного производства. Процессы сочинения, редактирования и обсуждения партийных документов и текстов становились все менее и менее публичными, все более скрываясь от взгляда общественности за стенами ЦК. С этого момента «специалисты по идеологическому языкознанию», напишет позже социолог Игорь Клямкин, перестали публично комментировать политические высказывания друг друга и начали «обсуждать свои профессиональные проблемы за закрытыми дверями»[45]. Единственной публично видимой позицией теперь была позиция не автора идеологического языка, а его

[45] Цитируется по: Хан-Пира 1991: 21.

ретранслятора — то есть позиция человека, который лишь повторяет предыдущие авторитетные высказывания, не создавая новых.

Именно эту позицию в 1960—1970-х годах занимали не только партийные референты и другие работники идеологической сферы, но и партийные секретари всех уровней, включая партийное руководство и даже генерального секретаря ЦК партии. В своих речах и текстах все они пытались как можно точнее воспроизвести некую «норму» идеологического языка, которая теперь была сугубо абстрактна и никому конкретно не известна, поскольку больше не существовало внешнего эксперта, который играл бы роль последней и неоспоримой инстанции при оценке текстов и высказываний по отношению к этой норме. В этих условиях неизвестной абстрактной нормы каждый новый текст, написанный идеологическим языком, мог быть потенциально интерпретирован как отклонение от нормы. Единственным способом остаться в рамках такой «нормы» теперь было как можно точнее копировать тексты и высказывания, которые уже были написаны или произнесены ранее другими руководителями. Надо было научиться подгонять свой стиль под стиль тех, кто говорил и писал до тебя. С конца 1950-х годов благодаря всеобщей имитации текстов, последовавшей за этими изменениями, в советском идеологическом дискурсе начала стихийно формироваться новая норма языка — теперь различные тексты, написанные на этом языке, все больше походили на цитаты из неких предыдущих текстов, а значит, все больше походили друг на друга.

Речи и документы партийных функционеров, писавшиеся в эти годы в ЦК, стали подвергаться новому, необычному редактированию, единственной целью которого было создать тексты, по своей стилистике и языковой структуре похожие на идеологические тексты, написанные ранее другими авторами. Этот процесс шел за закрытыми дверьми кабинетов. Процесс идеологического редактирования, который раньше обсуждался публично, исчез из публичного пространства. Из текстов изгонялась всякая оригинальность и всякие особенности индивидуального авторского голоса. Повсеместное копирование фраз, формулировок, оборотов речи, грамматических конструкций и даже целых абзацев из предыдущих текстов делало идеологический язык все более повторяющимся и предсказуемым, а следовательно, и анонимным. Эти

изменения коснулись языка, которым пользовались партийные руководители и партсекретари, редакторы газет и журналисты, секретари комсомола и миллионы рядовых комсомольцев — то есть все те, кто хотя бы время от времени участвовал в написании передовиц, выступлений, планов, отчетов, политинформаций или школьных сочинений на идеологическую тему.

Именно в этих условиях точность языковой *формы* становилась важнее, чем смысл, который мог в нее вкладываться в том или ином контексте. В сталинские времена, как мы видели выше, было крайне важно редактировать идеологические высказывания с точки зрения их буквального смысла — то есть так, чтобы они как можно точнее формулировали смысл некой, пусть и недоказанной *истины*, существующей независимо от них. Теперь же стало намного важнее воспроизводить точную *форму* идеологических высказываний и текстов, не разбираясь особенно в том, какой смысл они передавали. Подразумевалось, что если языковая форма скопирована в точности, то и смысл, который она передает, будет верным.

В основе такого подхода лежит так называемая *семантическая модель* языка, согласно которой буквальный смысл любого высказывания заключен непосредственно внутри его лингвистической формы и не зависит от внешнего контекста. Существует множество институциональных контекстов, в которых язык рассматривается именно с этой позиции, как автономный носитель смысла. Например, эта модель языка используется при обучении детей грамоте (умению читать и писать) в начальных школах большинства стран мира. Под грамотой в этом контексте понимают некий технический навык, который позволяет человеку вскрывать «буквальный смысл», якобы заложенный внутри предложения, путем анализа лишь его лингвистической формы. Контекст при этом не учитывается. Этот навык интерпретации, не зависящий от контекста, легко поддается количественной оценке во время экзамена[46].

В 1960-х годах именно *семантическая модель* стала центральной в функционировании советского авторитетного языка. Умение писать верные тексты на этом языке все больше превращалось в чисто технический навык — в умение четко воспроизводить уже существующую

[46] См.: Mertz 1996: 232.

форму (синтаксические конструкции, словосочетания, обороты и логические построения), не уделяя при этом слишком большого внимания *смыслу* этих конструкций. Федор Бурлацкий, работавший в конце 1950-х — начале 1960-х годов референтом ЦК, вспоминает: «Для молодых секретарей ЦК — Андропова, Пономарева и других — в те годы было крайне важно не совершить политическую ошибку, написав что-то нестандартное, что-то выпадающее из принятой модели». Они писали тексты так, чтобы не было «никакого отступления от нормы», чтобы «нельзя было усомниться ни в одной фразе»[47]. Повторение языковых форм и оборотов, встречавшихся в предыдущих текстах этого жанра, стало необходимостью. На протяжении 1960-х годов тенденция к цитированию и имитации предыдущих текстов постепенно нарастала. Бурлацкий вспоминает:

> Хрущев во время выступлений всегда читал по бумажке. Лишь иногда он мог вдруг сказать: «А теперь позвольте мне отойти от текста» — и начинал говорить языком простых рабочих, который он выучил во время партийных дискуссий в начале 30-х годов. [...] Тем не менее, он прекрасно понимал, что это отклонение от нормы, и старался им не злоупотреблять. [...] А что касается Брежнева, то он вообще никогда не отступал [от написанного текста]. Он боялся выйти за рамки общепринятой нормы и нарушить четкость партийного языка[48].

В результате всеобщей имитации и копирования из советского авторитетного языка постепенно вытеснялся авторский голос. Авторитетный язык стал анонимным языком. Никто, включая руководство ЦК КПСС, больше не мог занять позицию *внешней господствующей фигуры* по отношению к этому языку. Любой говорящий, как мы отметили выше, теперь занимал позицию *ретранслятора* уже существующего идеологического высказывания, а не *производителя* нового. Популярный анекдот тех лет отразил это изменение в природе авторитетного высказывания:

[47] Авторское интервью с Бурлацким, Москва, 1999 год.

[48] Там же.

> Генеральный секретарь Л.И. Брежнев осматривает выставку современного искусства. На выходе из музея члены ЦК обступают Леонида Ильича, желая услышать, что он думает об экспозиции. Помолчав минуту, Брежнев говорит: «Ну что ж, очень интересно. Но давайте послушаем, что об этом думают наверху».

Никакого «наверху», конечно, не было. Позицию *автора* идеологического дискурса никто, включая Брежнева, более занять не мог. В новых условиях большинство текстов ЦК теперь писалось коллективно. Тексты редактировались и полировались бесчисленное количество раз, пока не начинали напоминать другие тексты, написанные тем же языком. Одним из самых дотошных редакторов програмных статей и выступлений в аппарате ЦК был секретарь по вопросам идеологии М.А. Суслов. Пытаясь избавиться от любой потенциальной двусмысленности, он по многу раз разбирал каждую фразу текста, без конца подыскивая более подходящую формулировку. Когда в готовящемся тексте одного выступления Суслов встретил фразу «марксизм-ленинизм и пролетарский интернационализм», он заменил в ней союз *и* на *тире*, объяснив своим референтам, что «марксизм-ленинизм» и «пролетарский интернационализм» являются синонимами, а значит, разделять их на различные понятия посредством союза «и» неверно[49]. Словосочетание с тире, «марксизм-ленинизм — пролетарский интернационализм», закрепилось в общественном дискурсе, превратившись в хорошо известный штамп, который повторялся в бесчисленном количестве текстов.

Сталин, как мы видели, тоже был дотошным редактором отдельных текстов и формулировок. Однако разница между ним и редакторами идеологических текстов в более поздние периоды заключалась в том, что Сталин, в роли единственного носителя «истиного» политического языка, редактировал тексты публично и от своего имени. Исправления же, которые делались секретарями ЦК в хрущевское и брежневское время, были скрыты от глаз публики, не обсуждались на страницах газет и не делались от лица конкретного автора. Несмотря на свою детальность и дотошность, эти исправления теперь были непубличными и анонимными.

[49] Бурлацкий 1988: 188.

Не менее дотошная, анонимная и скрытая от общественности работа над текстами проходила в редакциях партийных изданий. В попытке избежать любого отклонения от нормы авторитетного языка, передовые статьи в партийной печати стали подвергаться особой шлифовке. В журнале «Коммунист», главном идеологическом органе ЦК КПСС, специалистом по этому процессу был ответственный секретарь журнала Иван Помелов. Федор Бурлацкий, часто писавший статьи для «Коммуниста», вспоминает: «Помелов мог за час из любой статьи сделать гладкое бревно. Так мы называли тексты, в которых нельзя было подкопаться ни к одной фразе»[50]. Такое редактирование включало в себя множество специальных приемов. Например, «короткие фразы не приветствовались. В основном фразы были длинными, с минимальным количеством глаголов»[51]. Когда Помелов редактировал машинописный черновик статьи,

> ...он рисовал от какого-нибудь слова в тексте длинную линию на поля и писал там от руки свой измененный вариант. Эти линии назывались *вожжами*. Обычно текст статьи, который он возвращал, был насквозь пересечен вожжами; их было не меньше десяти на страницу. Помелов заменял необычные слова на обычные, вычищал все, что он называл *литературщиной*[52], и загонял несколько фраз в одно длинное предложение, размером с целый абзац, ставя кучу запятых и убирая глаголы[53].

Ниже мы покажем, каким образом в авторитетном дискурсе спонтанно возникла именно такая языковая форма — форма, в которой количество глаголов было минимально, короткие фразы объединялись в длинные, необычные выражения заменялись на привычные и так далее.

[50] Авторское интервью с Бурлацким.

[51] Там же.

[52] К литературщине относились не только поэтичные метафоры и литературные выражения, но, в первую очередь, стилистические особенности, маркирующие авторский голос как особенный.

[53] Там же.

Ю.В. Андропов, бывший в те годы заведующим отделом, а затем секретарем ЦК[54], заставлял своих помощников переписывать бесконечное число раз тексты выступлений, которые готовились для партийного руководства. На заключительной стадии редактирования

> ...он сам усаживался во главе стола, за которым сидели его референты. Обычно нас было от четырех до шести человек — ему нравилось работать с несколькими помощниками одновременно. Мы начинали редактировать окончательный вариант текста сообща. Андропов зачитывал вслух какую-нибудь фразу и говорил: «Здесь что-то не так. Надо найти более подходящую формулировку». Кто-нибудь предлагал другую фразу. Он ее записывал. Потом кто-то предлагал еще одну фразу, потом третью и так далее. Мы вместе переписывали речь заново. Затем текст возвращался машинистке. После этого Андропов зачитывал его нам еще раз, потом еще. Мы продолжали менять формулировки до тех пор, пока они не начинали звучать как надо[55].

Фразы звучали «как надо», если они походили на знакомые формулы. Процесс редактирования включал в себя вполне осознанную имитацию *предыдущих* текстов. В результате этой коллективной имитационной работы индивидуальные стили письма сглаживались, а особенности авторского голоса сводились на нет. Присутствие автора в тексте уменьшалось, а значит, уменьшалась и личная ответственность за написанное. На уровне языковой структуры различные образцы авторитетного языка становились все более похожи. В разговорах друг с другом референты ЦК пользовались жаргонным выражением для обозначения этого имитационного стиля, называя его «блочным письмом»[56], поскольку стандартные блоки, состоявшие из однотипных фраз и даже абзацев, повторялись из текста в текст с минимальными изменениями. Логическая структура этих текстов становилась все более закрытой, построенной по

[54] С 1957 года Андропов был заведующий отделом социалистических стран ЦК КПСС, а с 1962-го по 1967-й — секретарем ЦК.

[55] Авторское интервью с Бурлацким.

[56] Там же.

принципу замкнутого круга. В результате многие части этих выступлений и документов, по словам Бурлацкого, «можно было читать сверху вниз и снизу вверх с одинаковым результатом»[57].

Попытки руководства избежать формальной стилистической оригинальности в своих текстах приводили к тому, что все уровни языковой структуры (синтаксис, морфология, лексика, форма нарратива) все более тяготели к новой, спонтанно возникшей норме языка. Это в свою очередь повышало цитируемость авторитетного языка; каждый новый текст, написанный в этом жанре, все больше походил на цитату из некоего абстрактного «предыдущего» текста. Любой авторитетный дискурс — политический, религиозный, легалистский, научный — всегда содержит множество шаблонных структур, клише, стандартных оборотов, элементов ритуальности и так далее, что делает его дискурсом с высокой степенью цитатности. Высказывания в авторитетном жанре часто не воспринимаются аудиторией на уровне констатирующего (референциального) смысла[58] (как некое описание окружающей реальности), функционируя скорее как языковой ритуал, главной ролью которого является постоянное повторение знакомой формы.

В принципе подобные изменения в сторону застывания формы происходят в разных типах языка, если стандартные фразы языка приобретают роль ритуальных практик — например, в древних или «мертвых» языках (латинском, старославянском и других) или в языках, которые ограничены строгими профессиональными рамками (религиозными, академическими, легалистскими и так далее)[59]. Однако советский авторитетный дискурс в период позднего социализма отличался от большинства этих авторитетных дискурсов. Форма советского авторитетного дискурса не просто прошла процесс нормализации, приобретая множество стандартных, повторяющихся структур, лексических элементов и стилистических особенностей и став высокопредсказуемой

[57] Там же.

[58] См. главу 1.

[59] Подобные фразы на латинском языке, имеющие важную ритуальную функцию, но непонятные на уровне буквального смысла большинству присутствующих, звучат, например, когда открывается заседание английского парламента или начинается торжественный обед в университете Кембриджа или Оксфорда (high table dinner) и так далее.

и ритуальной, — кроме этого, она претерпела процесс постепенного «распухания», становясь все более неповоротливой, многоступенчатой и неуклюжей. Стандартные лексические сочетания и грамматические обороты этого языка собирались во все более длинные и неуклюжие конструкции, в которых одни и те же мысли могли повторяться множество раз разными способами. Предложения становились длиннее, количество глаголов в них сокращалось, количество существительных возрастало. Эти существительные все чаще выстраивались в цепочки, образуя длинные *номинативные фразы*, в которых было много определений, особенно определений в сравнительной и превосходной степени (см. ниже).

Высказывания, сформулированные таким образом, было все сложнее понять на уровне обычного буквального смысла; форма в них все более преобладала над смыслом. Поэтому в данном случае уместно говорить о процессе не просто нормализации, а *гипернормализации* языка. Под гипернормализацией мы понимаем процесс, в результате которого в языке не просто возникает большое количество стандартных фраз и оборотов, но и происходит постепенное усложнение этих стандартных фраз и оборотов. Констатирующая составляющая смысла подобных высказываний крайне неопределенна. Таким образом, процесс гипернормализации советского идеологического языка освободил смысл, который передавался высказываниями, сделанными на этом языке[60]. Язык советской идеологии открылся для самых разных, порой непредсказуемых интерпретаций. Это изменение в структуре идеологических высказываний стало самым значительным фактором, определившим дальнейшее развитие позднего социализма.

[60] Как мы писали выше, этот вывод значительно отличается от распространенного, но ошибочного мнения о том, что, контролируя форму высказывания, якобы можно однозначным образом контролировать смысл, который этим высказыванием передается. В действительности, если строгий контроль за языком обращен исключительно на *форму* высказывания, связь этой формы с контекстом становится непредсказуемой, что ведет к непредсказуемым изменениям смысла, который с этой формой ассоциируется.

Моносемичный (однозначный) язык

Советские лингвисты пытались научно обосновать превосходство этой модели политического языка. В 1982 году журнал «Вопросы языкознания» провел сравнение «лексического смысла» (буквального смысла слов и выражений) политических высказываний, сделанных по-русски, с высказываниями, сделанными на «буржуазных» языках, таких как английский, французский и немецкий. В полном соответствии с *семантической моделью* языка, описанной выше, автор статьи утверждает, что в период развитого социализма «в сознании носителей русского языка» политические термины утратили свою многозначность, превратившись в уникально *моносемичные* термины[61]. Каждый такой термин способен нести в себе лишь один, единственно возможный смысл, который «идеологически связан» с советской действительностью — то есть этот смысл не меняется с изменением контекста, как это происходило в предыдущие исторические эпохи, всегда оставаясь неизменным и всем хорошо понятным. Вызвано это, согласно автору статьи, было тем, что советская действительность в этот период стала абсолютно понятной, логичной и предсказуемой и ее можно было описать исчерпывающим образом с помощью советского политического языка марксизма-ленинизма. Именно точность, недвусмысленность и полнота описания действительности, продолжает автор статьи, отличает советский политический язык от политического языка буржуазного общества, где повседневная реальность пронизана антагонистическими интересами и соперничающими интерпретациями. Язык буржуазной идеологии не способен описать реальность полностью и логически, поскольку этот язык *полисемичен* — он способен отражать позицию лишь части буржуазного общества, находящейся в антагонизме с другими его частями[62]. В результате этого различия между смыслами слов в советском и буржуазных политических языках, замечает автор, перед советскими переводчиками встает «двойная задача»: они должны не просто переводить буржуазные термины, но и передавать их двусмысленность[63].

[61] Крючкова 1982.
[62] Там же: 30—31.
[63] Там же: 32.

Для этого автор рекомендует переводчикам пользоваться специальными маркерами — например, кавычками или оборотом «так называемый», которые способны указать советским читателям на то, что иностранные выражения не отражают реальность точно такой, какова она есть на самом деле, в отличие от аналогичных терминов, «принятых в нашей литературе»[64].

Тезис о том, что советский идеологический язык моносемичен, можно найти и в более ранних публикациях периода позднего социализма. Например, «Краткий словарь политических, экономических и технических терминов»[65], выпущенный тиражом 150 тысяч экземпляров в 1962 году и предназначавшийся «молодому читателю, комсомольскому пропагандисту, агитатору, журналисту и всем, кто занимается политическим самообразованием», предлагал список из 500 самых важных слов и словосочетаний советского политического языка, давая сугубо моносемичные определения этих терминов. В отличие от большинства словарей, которые перечисляют различные смыслы того или иного слова или словосочетания, предлагая примеры их использования, этот словарь приписывает каждому термину и выражению лишь один, уникальный, не зависящий от контекста смысл, который якобы известен заранее, полностью и до мельчайших подробностей. Для примера приведем несколько терминов и выражений на букву «А», которые, согласно словарю, в современном русском языке несут узкий, конкретный, «идеологически связанный» смысл:

понятие *абсентеизм* определяется в словаре как «массовое уклонение избирателей буржуазных стран от участия в парламентских и иных выборах, одна из форм проявления недоверия трудящихся антинародному буржуазному государству и его органам власти»;

агрессия определяется как «нападение одного или нескольких империалистических государств на другую страну или страны для захвата их территории, политического или экономического подчинения и порабощения их народов. Для империализма, отмечает Программа

[64] Крючкова 1982: 32.

[65] 500 слов... 1962.

КПСС, агрессивные войны — обычный метод разрешения международных споров»;

анархизм определяется как «реакционное, враждебное марксизму-ленинизму мелкобуржуазное политическое течение, сложившееся в 40—60-х годах прошлого века в Европе»;

и, наконец, *антикоммунизм* определяется как «главное идейно-политическое оружие империализма в современную эпоху, отражающее крайнюю степень деградации буржуазной идеологии».

Тот факт, что смысл этих стандартных терминов советского политического языка был, согласно словарю, полностью известен и неизменен, означал также, что даже длинные словосочетания и выражения теперь могли вести себя как короткие моносемичные термины. Потому список моносемических терминов в словаре включает и множество довольно сложных фраз, таких как «*абсолютное обнищание пролетариата*»[66].

Научные работы и справочники этого периода, подобные тем, что мы описали, вносили свой вклад в процесс нормализации авторитетного дискурса. Постепенно распространилось понимание того, что при точном воспроизводстве формы этого дискурса точность передаваемого идеологического смысла будет обеспечена, а значит, на смысл идеологических текстов можно было обращать меньше внимания, чем на их форму. Как и прежде, в бесчисленных брошюрах для партийных агитаторов, редакторов газет и простых граждан говорилось, что язык политических текстов и речей должен быть точен[67]. Однако если при Сталине общественное внимание было сфокусировано на нюансах *смысла* тех или иных формулировок, высказываний и текстов, то теперь предметом внимания стала их *форма*.

[66] 500 слов... 1962. Аналогичные инструкции по поводу моносемичности политического языка были распространены в коммунистическом Китае. В начале 1990-х годов, несмотря на активные экономические реформы, центральный отдел пропаганды компартии КНР издавал еженедельный бюллетень под красноречивым названием «Язык пропаганды должен быть точен», а центральное информационное агентство «Синьхуа» издавало специальные многотиражные брошюры для партийных пропагандистов под названием «Указания по терминологии» — см.: Schoenhals 1992: 8—9.

[67] Лукашанец 1988: 171.

Прагматическая модель языка

Другой справочник по языку, который был издан в 1969 году и назывался «Справочник секретаря первичной партийной организации», критиковал тех секретарей и пропагандистов, которые все еще позволяли себе рассуждать на идеологические темы не языком партийных штампов, а *своими собственными словами*, что, согласно справочнику, неминуемо приводило их к поверхностному «псевдонаучному» подходу[68]. В аналогичной брошюре, изданной десятью годами позже, в 1979 году, для региональных политинформаторов, подчеркивалось, что точность языка, на котором они общаются с аудиторией, может быть гарантирована только в том случае, если они воспроизводят на уровне формы «подлинное слово партии», повторяя партийные формулировки и высказывания, а не создавая новые[69]. Другое пособие, изданное в 1975 году, призывало политинформаторов подходить к своим выступлениям перед публикой творчески. При этом пособие подчеркивало, что творческий подход не должен касаться формы языка — форму политинформатор должен повторять без изменений, а творчески он может подходить лишь к средствам, которыми он эту форму передает: громкости голоса, установлению зрительного контакта с аудиторией, использованию жестов и легкого юмора и так далее[70].

В упоминавшейся выше книге Кондакова «Язык газеты», изданной большим тиражом в начале 1941 года (до трансформации авторитетного языка, которую мы описываем), приводилась масса примеров «неверных» языковых формулировок, встречавшихся в речах и документах местных партийных комитетов, и подробно разъяснялось, в чем именно заключались ошибки этих формулировок и как эти ошибки следует обсуждать с читателем. Однако спустя двадцать шесть лет, в 1967 году (после трансформации авторитетного языка), в аналогичной книге Гребнева, «Как делается газета», не только отсутствовали всякие оценки языка местного партийного руководства, но несколько раз подчеркивалось, что

[68] Кравченко 1969: 55.

[69] Эрастов 1979.

[70] Леонтьев 1975.

газеты обязаны избегать публичного обсуждения неточностей, заключающихся в политических формулировках. Книга приводила пример районной газеты «За новый Север», выходящей в Сыктывкаре, в которой была опубликована полемика газеты с областным комитетом партии по поводу высказываний руководства обкома. Опубликовав эту полемику, разъясняла книга, редактор газеты допустил грубую ошибку — она заключалась не в том, что редактор не согласился с высказываниями обкома, а в том, что он сделал полемику по поводу этих высказываний достоянием читателей. Редактор, естественно, может не соглашаться с точкой зрения парткома, подчеркивала книга, но в таком случае он обязан выступить с критикой на «заседании партийного комитета и, в случае необходимости, обратиться к вышестоящему партийному руководству, вплоть до Центрального Комитета КПСС». При этом он должен постоянно помнить, что подобные обсуждения являются внутренним делом партии и их нельзя выносить на публичное обозрение[71].

То, что теперь было важнее воспроизводить точные, стандартные и неизменные формы авторитетного языка, означало, что роль *перформативной составляющей* этого дискурса повысилась. Подчеркнем еще раз, что первичность формы совсем не означает, что смысл, который авторитетные высказывания могли приобретать в различных контекстах, теперь стал попросту неважен, — напротив, этот смысл теперь оказался открыт для новых, даже непредсказуемых интерпретаций. Авторитетный язык подвергся процессу, который мы назвали *перформативным сдвигом* (см. главу 1). Если ранее высказывания на авторитетном языке воспринимались согласно «семантической модели» языка, в которой считалось, что смысл каждого высказывания заключен непосредственно «внутри» него (то есть смысл ограничен лингвистической структурой фразы и не зависит от контекста, в котором она употреблена), то теперь высказывания на авторитетном языке рассматривались через призму «прагматической модели» языка, согласно которой считается, что одно и то же высказывание может иметь самые разные, даже противоположные смыслы в зависимости от контекста, в котором оно употреблено, или от того, кто его интерпретирует.

[71] Гребнев 1967: 29.

«Прагматическая модель» языка широко используется, например, в юридической практике, когда в контексте судебных слушаний защита и обвинение подчас отстаивают две противоположные интерпретации одного и того же высказывания или документа, связывая их с разными свидетельскими показаниями, уликами, юридическими прецедентами и так далее. То есть защита и обвинение пытаются создать разные контексты, а значит и разные смыслы, для одного и того же высказывания[72]. В советском случае прагматическая модель авторитетного языка приобрела несколько уникальных черт, поскольку здесь языковая форма авторитетного дискурса подверглась процессу гипернормализации не в каких-то отдельных контекстах, а на уровне всего авторитетного языка.

Итак, при возрастающей нормализации и стандартизации авторитетного языка наиболее важным было сохранить неизменную лингвистическую *форму* языковых высказываний, уделяя меньше внимания смыслу, который мог в эту форму «вкладываться». Поскольку смысл того или иного партийного высказывания, голосования или речи стал относительно непредсказуем, одни и те же стандартные формулировки теперь могли использоваться для выражения различных политических тезисов. Характерный пример этого приводит Федор Бурлацкий. Член Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов, отвечавший в политбюро за идеологию, пользовался одними и теми же цитатами из работ Ленина для того, чтобы обосновать различные, подчас даже противоположные идеологические решения. Для этого в личном кабинете Суслова располагалась огромная картотека с короткими цитатами из ленинских работ и выступлений на все случаи жизни. Как-то Бурлацкий показывал Суслову текст очередного программного выступления, и в одном месте Суслов заметил:

> «Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку. <...> Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил один из ящичков, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными

[72] См., например: Mertz 1996: 234—235.

> худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит — нет, не та. Другую начнет читать про себя — опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится»[73].

Таким образом, используя подходящие цитаты из Ленина, вырванные из контекста, Суслов мог представить любые, даже крутые изменения политического курса как примеры поступательности и неизменности линии партии.

Другой пример приводит советский лингвист Эрик Хан-Пира. На протяжении многих лет средства массовой информации СССР, сообщая о похоронах важных политических деятелей партии и правительства, использовали стандартную формулировку: «похоронен на Красной площади у Кремлевской стены». Это клише повторялось часто и было хорошо знакомо советским людям. Однако в 1960-х годах, из-за нехватки места для захоронений *возле* Кремлевской стены, позади Мавзолея, останки высокопоставленных лиц стали все чаще кремировать, а урны с прахом устанавливать в нишу, вырубленную непосредственно *внутри* Кремлевской стены. К этому времени ритуал похорон на Красной площади начали показывать по телевидению, и миллионы советских зрителей могли заметить несоответствие между употребляемой языковой формулировкой, «похоронен на Красной площади *у Кремлевской стены*», и буквальным смыслом ритуала установления урны *в Кремлевскую стену*. Обратив внимание на это несоответствие, группа из пятнадцати специалистов Института русского языка Академии наук СССР отправила письмо в ЦК КПСС с предложением заменить устаревшую формулировку на новую, более соответствующую новому ритуалу: «Урна с прахом была установлена в Кремлевской стене». Через несколько недель Институт русского языка получил официальный ответ. Обсудив предложение специалистов по языкознанию, руководство ЦК решило оставить старую формулировку без изменений. Разъяснений этого решения дано не было[74]. Очевидно, что с точки зрения ЦК было

[73] Бурлацкий 1990: 182.

[74] Хан-Пира 1991: 21.

куда важнее оставить *форму* авторитетной репрезентации знакомой и неизменной, чем изменить ее для того, чтобы более точно описывать изменившуюся реальность.

В новых условиях для большинства советских людей, которым приходилось писать идеологические тексты (выступления на собраниях, личные отчеты, политинформации и так далее), также стало важнее повторять стандартные идеологические формулировки и отрывки прежних текстов без изменений, добавляя в них как можно меньше своего. Порой доходило до комичных ситуаций, когда абсолютное повторение формы было важнее, чем исправление явно абсурдного смысла. Художники Ленинградского комбината живописно-оформительского искусства (КЖОИ), выпускавшего продукцию наглядной агитации и пропаганды для оформления городских пространств и учреждений, вспоминают, что в начале 1980-х годов комбинат получил партийную разнарядку по случаю празднования 7 Ноября: для фасада одного из зданий в центре города было необходимо изготовить длинное полотнище с текстом лозунга, присланного из горкома партии. На этот раз в текст лозунга закралась ошибка: в нем отсутствовало какое-то слово, что делало текст бессмысленным. Художники, заметившие ошибку, не решились сами ее исправить без санкции вышестоящей партийной организации. Главный художник КЖОИ обратился к инструктору по идеологии горкома с просьбой сделать необходимое исправление. Однако, хотя инструктор согласился с тем, что в текст скорее всего закралась ошибка, исправлять ее он тоже отказался — формулировка была прислана сверху, из Москвы, и добавлять в нее что-то личное инструктор не хотел. В этом эпизоде вновь виден важный принцип функционирования авторитетного дискурса — на местном уровне партийной иерархии было важнее воспроизводить точные языковые формулы этого дискурса, нежели следовать соображениям буквального смысла, который в них якобы содержался[75].

[75] Интервью автора с бывшими художниками КЖОИ.

Дискурс наглядной агитации и политических ритуалов

Застывание и нормализация формы происходила и в неязыковых регистрах авторитетного дискурса — в визуальных образах наглядной агитации, в структуре политических ритуалов (собраний, торжеств, демонстраций, школьных линеек), в пространственной организации новых городских микрорайонов и так далее. Визуальный язык наглядной агитации включал в себя изображения, скульптуры и памятники (Ленину, героям и так далее) на улицах города, портреты членов Политбюро ЦК КПСС, стенды с коммунистической символикой, Доски почета, уличные растяжки с лозунгами, плакаты и тому подобное. В первые годы после революции структура наглядной агитации, как и структура языка вообще, была объектом активных экспериментов, в которых принимали участие художественные объединения и политические организации нового государства[76]. Но начиная с середины 1920-х годов наглядная агитация, как и политический язык, попала под жесткий партийный контроль. Возник широкий публичный метадискурс на тему наглядной агитации, на котором обсуждались и оценивались работы художников, скульпторов, архитекторов, режиссеров и так далее. В поздний период, особенно в 1960—1970-х годах, как и в случае политического языка, наглядная агитация претерпела процесс нормализации и стандартизации. Возникли стандартные визуальные «блоки» агитационных материалов, которые цитировались из одной композиции в другую. Примером этого процесса служит изменение образа Ленина. В конце 1960-х годов, в период подготовки к празднованию столетия со дня рождения Ленина, художников-пропагандистов ознакомили с закрытым распоряжением ЦК КПСС. Как вспоминают художники ленинградского КЖОИ, в распоряжении говорилось, что, поскольку сегодня осталось мало людей, видевших живого Ленина, образ вождя на агитационных материалах должен был стать более абстрактным, являясь «в меньшей степени изображением

[76] См. выше, а также: Stites 1989; Bonnell 1997.

обычного человека» и «в большей степени изображением героического символа»[77].

Изобразительные формы, используемые в образе Ленина на плакатах, в агитационных материалах, в публикациях и скульптурах, стали более стандартными, схематичными, повторяющимися. Ленин стал выглядеть выше, мощнее, приобрел выпуклую мускулатуру. Сократился набор техник рисования и ваяния и набор материалов, цветов и текстур, которые использовались для создания ленинского образа. Общее число стандартных образов Ленина тоже сократилось; они стали более похожими. Количество поз, в которых Ленин изображался, уменьшилось, как и количество контекстов, которые его окружали. Одни и те же элементы визуального ряда все больше кочевали из одного изображения Ленина в другое. Среди профессионалов наглядной агитации набор стандартных образов Ленина имел специальные названия: «наш Ильич» (задумчивый Ленин в образе простого человека), «Ленин с прищуром» (образ вождя с доброй лукавинкой в глазах), «Ленин и дети» (простой и добрый Ленин в окружении детей и близких), «Ленин — вождь» (стремительный, мускулистый Ленин-сверхчеловек), «Ленин в подполье» (Ленин, готовящий революцию) и так далее. Каждый стандартный образ имел номер. Было два стандартных образа пишущего Ленина: «Ленин в своем кабинете» — номер шесть, или, на языке художников-оформителей, «шестерка», и «Ленин в зеленом кабинете» (в шалаше в Разливе) — номер семь, или «семерка». В «шестерке» Ленин сидел на стуле, в «семерке» — на пеньке[78]. В разговорах художников можно было услышать: «Только что пятерочку закончил».

Большинство художников-оформителей, работающих в этой области пропаганды, старалось собрать у себя в студиях стандартные ленинские изображения, для того чтобы иметь источники для «цитирования». Такой подход обеспечивал точное воспроизводство стандартной формы и сводил до минимума влияние индивидуального стиля художника на агитационные материалы. Кроме того, он значительно ускорял процесс рисования, что позволяло выполнять более крупные

[77] Авторские интервью с художниками КЖОИ.

[78] Авторское интервью с художником КЖОИ Михаилом.

Рис. 1. Копия с посмертного слепка головы Ленина (оригинал был сделан С.Д. Меркуровым)

заказы и получать за это бо́льшую плату. Многие художники-пропагандисты начали использовать в работе технологию изготовления изображений, которую можно назвать «блочным рисованием» по аналогии с блочным письмом, которое практиковалось в среде референтов ЦК (см. выше). Блочное рисование сводилось к точному повторению одних и тех же визуальных элементов, форм, цветов, стилистики, текстуры и так далее в различных изображениях. Особым спросом у художников пользовались базовые, или «исходные», образы Ленина — его посмертная маска и посмертный слепок головы, выполненные скульптором Сергеем Меркуловым через несколько часов после смерти Ленина[79]. Художник-оформитель Михаил вспоминает: «Каждый уважающий себя художник, имевший отношение к идеологии, старался через знакомых достать эти слепки на скульптурном комбинате. Потом их без конца копировали»[80]. Это были не просто изображения вождя, а аутентичные «индексальные следы» (*indexical trace*), оставленные настоящим, реально существующим физическим телом Ленина на поверхности советской

[79] Меркуров вспоминал: «Маска — исторический документ чрезвычайной важности. Я должен сохранить и передать векам черты Ильича на смертном одре. Я стараюсь захватить в форму всю голову, что мне почти удается. Остается незаснятым только кусок затылка, прилегающий к подушке» (Меркуров 2012: 132).

[80] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

символической системы. Таким образом, они напрямую связывали любое изображение с господствующим означающим «Ленин», ключевым организующим символом идеологического пространства[81].

Процесс создания изображений наглядной агитации, как и процесс написания идеологических текстов, становился все более стандартизованным и, одновременно, все более анонимным и коллективным, часто принимая черты конвейерного метода. Игорь Жарков, художник-оформитель одного из районов Ленинграда, а затем главный художник города Пушкина, рассказывает:

> Существовал огромный спрос на портреты Ленина для всевозможных институтов, заводов, школ и так далее. Поэтому для художников было обычным делом рисовать по пять-шесть портретов Ленина одновременно. Сначала на несколько рам натягивались холсты и на них карандашом наносились одни и те же эскизы. На следующий день на каждом холсте делалась общая прописка. Еще через день на всех холстах начиналась работа над ленинскими лицами, затем костюмами, галстуками и так далее[82].

Этот поточный коллективный метод привел к дальнейшему сужению специализации среди художников-пропагандистов — художники становились специалистами по рисованию не просто стандартных образов Ленина, но даже отдельных стандартных деталей. Один художник специализировался по нанесению общего контура ленинского лица, другой был мастером по детальной прописке носа, ушей и глаз, третий вырисовывал костюм и галстук и так далее. Михаил рассказывает, что бригада художников, работающих в студии главного художника города Ласточкина, «состояла из настоящих профессионалов, которые могли с закрытыми глазами нарисовать или слепить любой образ Ленина. Иногда они развлекались тем, что на спор рисовали по памяти тот или иной вариант ленинской головы или изображение его носа или, скажем, левого уха в любом ракурсе».

[81] Насколько важны были эти прямые следы, станет понятнее в следующих главах. См.: С. 155—156, 185—187

[82] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

Конвейерный метод использовался и при создании больших портретов членов политбюро, которые вывешивались на улицах города к праздникам. Стандартный стиль и техника рисования этих портретов оставались практически неизменными многие годы. Если небольшие изменения и происходили, они были скорее количественными, а не качественными — например, добавлялись ордена на костюме Брежнева или делалось едва заметное старение его лица. Марта Потифорова, занимавшая в конце 1970-х годов пост инструктора по идеологии одного из ленинградских райкомов партии[83], рассказывает: «Когда Брежнев награждался новым орденом, я отдавала распоряжение моим районным художникам за ночь дорисовать этот орден на всех портретах Брежнева, висящих в нашем районе»[84]. Было важно, чтобы случайные прохожие не заметили процесс изменения портретов. Портреты снимались ночью и в течение несколько часов аккуратно дорабатывались в художественных мастерских. А потом портреты снова вывешивались на улицах до появления утренних прохожих. Таким образом, несмотря на то что сам факт награждения Брежнева новым орденом был широко известен, изображался он так, чтобы не нарушить неизменности видеоряда — то есть не нарушить восприятие формы авторитетного дискурса как стандартной, неизменной и предсказуемой.

Результатом этого процесса была нормализация визуального дискурса, которая проявилась в изображении всех политических фигур Советского государства. То же происходило и с изображениями стандартного набора «простых советских людей» на пропагандистских материалах — рабочих, колхозников, ученых, космонавтов, матерей и так далее. Их внешний облик, выражение лиц, позы становились все более схематичными и стандартизованными. Сузилась цветовая палитра, упростилось изображение деталей и теней, зафиксировались ракурсы, позы и выражения лиц. Отдельные элементы изображения можно было со все большей легкостью цитировать в разных материалах. Они

[83] Марта Петровна Потифорова — в позднесоветский период инструктор по идеологии одного из райкомов КПСС в Ленинграде, а в 1990-х годах — директор Государственного музея политической истории России (бывшего Музея революции) в Санкт-Петербурге.

[84] Интервью автора, Музей политической истории, Санкт-Петербург, 1994 год.

Рис. 2. Портрет Брежнева на улице Красноярска, весна 1982 г. (четвертую медаль Героя Советского Союза Брежнев получил в 1981 г.)

кочевали из плаката в плакат, из брошюры в учебник, с уличного стенда на обложку книги.

На практике разные типы авторитетного дискурса играли несколько отличные друг от друга роли, но, опять-таки, скорее в *количественном*, а не в *качественном* смысле. Например, лозунги, написанные авторитетным языком, делились на три категории в зависимости от того, в каком пространственно-временном контексте они располагались. Несмотря на отличие каждой категории лозунгов, все они были связаны друг с другом на уровне повторяющейся языковой структуры и тематики, различаясь лишь масштабом референции. Первую категорию составляли лозунги самого общего типа, не зависящие от непосредственного пространственно-временного контекста, в котором они фигурировали, — например: «Народ и партия — едины!», «Слава КПСС!», «Вперед к победе коммунизма!». Ко второй категории относились лозунги, в большей степени привязанные к конкретному времени или пространству, — например: «Претворим решения XXVII съезда КПСС в жизнь!», «Да здравствует Первомай!» или «Отметим столетний юбилей В.И. Ленина новыми трудовыми победами!». Третья категория включала лозунги, степень локальной контекстуализации которых была еще выше. В них могли делаться отсылки к конкретным местам, возле которых они висели, — определенному району города, заводу, стадиону, школе и так далее. Например: «Трудящиеся Кировского завода, крепите дружбу между народами!» или «Спортсмены Ленинграда, выше знамя советского спорта!».

Лозунги первой категории висели на фасадах зданий или на растяжках, пересекающих городские улицы. Это были наиболее публичные

Рис. 3. Агитационный плакат с лозунгом «Народ и партия едины!» на фасаде жилого дома. Москва, 1984 г.

лозунги, которые обращались ко всем гражданам. Их количество в том или ином месте города определялось «коэффициентом идеологической плотности», назначенным конкретному месту (то есть количеством лозунгов, портретов или агитационных стендов на единицу пространства). В центре крупных городов коэффициент идеологической плотности достигал максимальной величины — 1.0. В других районах он был меньше, а в центре Москвы, вокруг Красной площади, он был даже выше единицы. В Ленинграде пространством с самым высоким коэффициентом идеологической плотности была Дворцовая площадь, особенно в периоды первомайских и ноябрьских праздников. Местами повышенного идеологического значения в городах кроме центральных площадей и улиц были так называемые «магистрали» и «правительственные трассы» — проспекты и шоссе, по которым двигались автомобили партийного руководства и кортежи правительственных делегаций[85].

[85] В Ленинграде к таким трассам относились Невский проспект, Кировский проспект, Московский проспект и Московское шоссе.

Какие именно портреты, лозунги и агитационные щиты размещались в том или ином пространстве города, определялось решением идеологического отдела при горкоме партии. Из ЦК КПСС в местные горкомы поступали списки с одобренными лозунгами и изображениями, среди которых выбирались необходимые. Большую часть района, вокруг особых идеологических пространств типа магистралей, художники-пропагандисты оформляли самостоятельно, руководствуясь районной картой наглядной агитации и перечнем одобренных лозунгов ЦК. По словам Марты Потифоровой, она и инструкторы других райкомов должны были следовать этому перечню, но при этом согласовывать друг с другом, какие лозунги висели в соседних районах. Это делалось для того, чтобы избежать прямых повторений текста в местах, где районы граничили друг с другом, и не нарушать общей поступательности идеологических высказываний. Если на границе одного района висел лозунг «Слава Советской науке!», вспоминает Потифорова, районный художник соседнего района выбирал для приграничного места другой лозунг из перечня, например «Слава труду!»[86].

Итак, визуальные и текстовые формы авторитетного дискурса в этот период претерпели процесс нарастающей нормализации и стандартизации. Этот процесс проявился и в других видах визуальной составляющей авторитетного дискурса — особенно в кино- и фотопропаганде. Примером пропаганды была «кинохроника событий» в стране и регионе, которую подготавливали местные киностудии документальных фильмов и которая показывалась по телевидению или в кинотеатрах, перед показом основного фильма. С середины 1960-х годов стилистика этих кинохроник начала меняться в сторону возрастающей стандартизации и упрощения визуальных форм. При редактировании визуальные образы, которые казались необычными и выпадающими из предсказуемого видеоряда, вырезались или заменялись на более стандартные. Подчас небольшие эпизоды из киноматериалов, отснятых ранее в других контекстах, использовались в новых сюжетах. В языке кинохроник появились легко цитируемые «киноблоки», состоящие из стандартных сцен, снятых со стандартной перспективы, — аплодирующие слушатели,

[86] Интервью автора, Музей политической истории, Санкт-Петербург, 1994 год.

сидящие в актовом зале, толпы счастливых людей во время демонстрации, сельскохозяйственная техника, рядами двигающаяся по колхозному полю, и так далее. Режиссер Юрий Занин, работавший в те годы на Ленинградской киностудии документальных фильмов, рассказывает, что в течение всего десятилетия 1970-х в ленинградских зимних кинохрониках использовались одни и те же кадры новогоднего города, отснятые в декабре 1970 года[87].

Стандартизации и нормализации подверглись не только визуальный и языковой регистры авторитетного дискурса, но и общественные мероприятия и ритуалы. Как справедливо отмечает Кристал Лейн, до конца 1950-х годов советские общественные ритуалы, устраиваемые по самым разным поводам, не являлись частью единой централизованной системы, и поэтому организационная структура и сценарии этих событий не были связаны между собой[88]. Однако в 1960-х годах Советское государство начало кампанию по стандартизации, упорядочению и упрощению общественных и политических ритуалов по всей стране. Причем эта кампания затрагивала не только явно политические мероприятия и ритуалы (партийные и комсомольские собрания, коммунистические субботники, приемы в партию, комсомол или пионеры, ленинские зачеты и так далее), но и огромное количество чисто гражданских ритуалов (свадеб во дворцах бракосочетания, юбилеев на предприятиях, празднований исторических и культурных дат). Эти мероприятия, которые ранее подготавливались и проводились местными общественными, культурными или образовательными учреждениями по различным сценариям, теперь были объединены в централизованную систему ритуалов, сценарии которых следовали общей форме, методическим разработкам ЦК партии. Ритуалы и мероприятия, проводившиеся по самым разным поводам, начали следовать общей форме. Сформировались повторяющиеся «блоки» ритуальных практик, которые воспроизводились в различных контекстах и по различным поводам, часто никак между собой не связанным[89].

[87] Авторское интервью, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, лето 2000 года.

[88] Lane 1981.: 3

[89] Ibid: 46—47. См. также: Алиев 1968: 5; Глебкин 1998: 130, 137.

Рис. 4. Головные колонны демонстрантов разных районов Ленинграда вступают на Дворцовую площадь (конец 1970-х гг.)

Стандартизация ритуалов затронула и такие крупные мероприятия, как демонстрации по случаю 1 Мая и 7 Ноября. В городах подготовка к этим демонстрациям, которая всегда была долгой и тщательной, теперь включала разработку детального плана по стандартной схеме. Этот план проходил несколько проверок со стороны местных партийных органов, утверждался в горкоме, а затем на высшем уровне в ЦК. Главный художник одного из районов Ленинграда, который принимал участие в подготовке праздничных демонстраций, рассказывает, что с особой тщательностью, до мельчайших деталей разрабатывалось оформление центральной части города и организация прохода по ним толп демонстрантов. Для каждой майской и ноябрьской демонстрации готовился подробный макет Дворцовой площади, включавший миниатюрные модели шагающих колонн трудящихся и двигающихся платформ и грузовиков, с флагами, транспарантами и агитационными щитами. Проводилось аккустическое макетирование звукового оформления площади, с расположением на ней громкоговорителей, усилительной аппаратуры, электропитания и так далее. «Все это готовилось тщательно и принималось комиссией Ленинградского горкома партии задолго до демонстрации. Затем весь макет утверждался идеологическим отделом ЦК в Москве»[90].

[90] Авторское интервью с Игорем Анатольевичем Жарковым, бывшим главным художником города Пушкина, Санкт-Петербург, 1995 год.

Более стандартной и однотипной стала и организационная структура партийных, комсомольских и иных собраний, особенно отчетно-перевыборных собраний в крупных коллективах и собраний, приуроченных к различным государственным годовщинам. Такие собрания планировались детально и задолго до их проведения, что сводило к минимуму вероятность незапланированного и стихийного развития событий. Заранее обговаривались порядок выступавших на собраниях, текст их выступлений, «спонтанные» реплики и предложения из зала. Четкое следование стандартной и предсказуемой форме было важнее, чем буквальный смысл обсуждений.

Устранение «авторского голоса»

Как уже говорилось, в результате стандартизации и нормализации формы авторитетного дискурса повысилась роль его перформативной составляющей. В большинстве случаев стало важнее принимать участие в точном воспроизведении стандартной формы текстов и ритуалов, чем заботиться о том, *что* они «должны» означать согласно данному ритуалу. То есть важнее стало то, *как* авторитетный дискурс описывает реальность, а не то, *что* именно он описывает. Повторимся, что причин тому было две. С одной стороны, участие в подобных собраниях и выступлениях для большинства граждан было неизбежной необходимостью (если кто-то часто избегал подобных мероприятий, это почти всегда могло повлечь за собой проблемы на работе, в университете и так далее). С другой стороны, в большинстве случаев было вполне достаточно участвовать в этих мероприятиях на *формальном* уровне, не особенно вникая в их смысл.

Из этого не следует, что подобные мероприятия вообще потеряли всякий смысл или что повседневная жизнь советского субъекта превратилась в череду бессмысленных автоматических действий или повсеместное притворство (именно такое, ошибочное толкование советской жизни приходится слышать довольно часто). Напротив, в результате того, что наиболее важной стороной авторитетного дискурса стало перформативное повторение его стандартных *форм*, смысл, который

приобретало то или иное высказывание (констатирующая составляющая смысла), все меньше был связан напрямую с конкретным контекстом, открывшись для новых неожиданных интерпретаций и толкований.

Это способствовало возникновению в советской повседневности огромного числа новых смыслов, новых способов существования, новых интересов, отношений и практик, которые не обязательно соответствовали буквальному смыслу авторитетных текстов и ритуалов, хотя и не обязательно противостояли им напрямую. Эти новые смыслы, практики и способы существования мы рассмотрим подробно в следующих главах. Но сначала нам необходимо понять, что собой представляла застывшая гипернормализованная *форма* авторитетного языка и каковы были ее структурные особенности.

Большинство этих структурных особенностей новой *формы* авторитетного языка можно свести к двум базовым принципам. Во-первых, в модели авторитетного языка, появившейся в позднесоветский период, коренному изменению подверглась позиция *автора* — в большинстве текстов, написанных на этом языке, автор выступал не *производителем* нового знания, а лишь *ретранслятором*[91] уже существующего знания. Во-вторых, в этом языке произошел общий сдвиг *темпоральности* в сторону прошлого — то есть любая новая информация кодировалась на этом языке как информация, уже известная из прошлых высказываний. Очевидно, что эти два принципа были тесно связаны друг с другом и действовали сообща для достижения одного результата, который заключался в следующем: любые новые идеи, факты и тезисы представлялись на этом языке как уже известные и не требующие доказательств, что отличало этот язык от идеологической риторики сталинского периода. Рассмотрим, каким образом эти принципы кодировались в структуре авторитетного языка и к каким изменениям языковой формы они привели.

Тот факт, что субъективный голос автора в новой модели авторитетного языка был спрятан намного глубже, чем раньше, означал на практике, что каждый говорящий на этом языке выступал в роли ретранслятора уже произведенных кем-то ранее высказываний и потому был в меньшей

[91] То есть он выступал субъектом, не производящим высказывание, а лишь воспроизводящим его.

степени уязвим для критики[92]. Это повышало уровень *анонимности* авторитетного языка, а вместе с ней повышало легкость распространения и дальнейшей нормализации этого языка. Антрополог Грег Урбан, исследовавший проблему распространения дискурса как такового (его исследования не имеют отношения к советскому случаю), пишет: «Чем более безличным является дискурс, когда субъект не *создает*, а лишь *передает* его, и чем менее он связан с текущим контекстом и обстоятельствами, тем вероятнее, что люди, которые его воспроизводят, передадут его дословно, не внося в него своих изменений. Такой дискурс распространяется с гораздо большей легкостью»[93]. Этот принцип функционирования дискурса с особой силой проявляется именно в *авторитетном* языке — как писал Михаил Бахтин, каждое высказывание, сделанное на таком языке, является версией иного высказывания, которое уже было сделано ранее, в некотором предыдущем тексте[94].

Изменения советского авторитетного языка позднего периода в сторону возрастающей *анонимности*, *цитируемости* и *ориентированной в прошлое темпоральности* нашли свое отражение на всех структурных уровнях языка, включая синтаксис, морфологию, семантику, нарративную и логическую структуры, интертекстуальность, интердискурсивность и так далее. Кроме того, повторимся, что особенностью этого языка была не только возрастающая предсказуемость и цитируемость формы, но и то, что эта форма постепенно становилась все более громоздкой, как бы «распухая». Именно такой процесс мы назвали *гипернормализацией* формы.

Большинство представителей последнего советского поколения, выросших в эти годы, прекрасно усвоило принципы этого жанра и не только с легкостью его распознавало, но, когда требовалось, могло воспроизвести его довольно точно. Напомним, что высказывания в этом

[92] См. также Pocheptsov: 1997: 53—54 об отсутствии голоса очевидца в советском политическом языке.

[93] Urban 1996: 40.

[94] «Авторитетное слово» (или «авторитарное слово» — см.: сноска 39, с. 53), пишет Бахтин, «органически связано с иерархическим прошлым... Оно уже признано в прошлом. Оно — "преднаходимое слово", оно "не изображается, — оно только передается"» — Бахтин 1975: 155—156.

жанре функционировали в основном как *перформативные* высказывания, главной задачей которых было именно их повторение. Поскольку от аудитории обычно не требовалось интерпретировать этот язык дословно, на констатирующем уровне, она научилась реагировать на него особым способом. Любой человек, который посещал собрания и участвовал в голосовании или других актах одобрения, получал возможность в большинстве случаев не только игнорировать буквальный смысл этих высказываний и актов, но также в практике своей ежедневной жизни выходить за рамки того идеологического описания реальности, которое эти высказывания и акты предлагали.

Для того чтобы понять, какой именно *смысл* вкладывался в подобные авторитетные высказывания советскими людьми — всеми теми, кто производил эти тексты, слушал их и реагировал на них в аудитории или встречал их в газетах или на стендах, — нам необходимо проанализировать контексты, в которых эти высказывания производились, циркулировали, воспринимались, интерпретировались и взаимодействовали с другими текстами и практиками, а также сравнить их с контекстами, в которых авторитетный дискурс отсутствовал. Только после такого многопланового анализа дискурсивного пространства советской жизни мы сможем попытаться понять действительный смысл, который могли нести идеологические высказывания. Как мы уже сказали, этому исследованию смысла посвящены все последующие главы. А начнем мы его, в данной главе, с подробного анализа формы авторитетного языка позднесоветского периода.

Передовица

Среди наиболее ярких примеров авторитетного дискурса были тексты, которые печатались на первой полосе центральных газет. Тон здесь задавала, безусловно, «Правда». Поскольку «Правда» была органом ЦК КПСС, ее редактор присутствовал на еженедельных совещаниях секретариата ЦК и даже на некоторых заседаниях политбюро[95]. На первой

[95] Roxburgh 1987: 60.

полосе «Правды» печатались решения ЦК, обзоры партийных и государственных новостей, партийные комментарии. Особую роль среди этих материалов занимала ежедневная передовая статья, или *передовица*. Она писалась и редактировалась коллективно, обычно сотрудниками ЦК[96]. Язык передовицы был максимально деперсонифицирован, никем не подписывался и не был напрямую связан с текущими событиями, выступая скорее как абстрактное высказывание на общеидеологическую тему, чем комментарий на тему дня. Типичные заголовки передовиц, печатавшихся в «Правде» в 1970-х годах, отражают эту абстрактность: «Под знаменем первомая», «Солидарность людей труда», «Идейность советского человека». Темы передовиц «Правды» утверждались на заседаниях ЦК заранее, по крайней мере за две недели до появления текста в газете, причем утверждалось обычно сразу несколько будущих тем; все это гарантировало относительную несвязанность передовиц с конкретными событиями[97]. В этих необычных условиях написания передовых статей отразилась и необычная роль этих текстов: перед ними не только *не* ставилось задачи верно описывать окружающую действительность, но и делалось все возможное, чтобы отгородить их от подобной репрезентативной функции. Эти тексты должны были служить в первую очередь не описанием реальности, а примерами чистого авторитетного дискурса как такового — дискурса, который день за днем напоминал читателям, что самым важным его элементом является стандартная и неизменная *форма*, не зависящая от случайных событий и мимолетных перемен. Именно повторение авторитетной языковой формы было главной задачей передовиц, в то время как констатирующий смысл этих высказываний был не только неважен, но подчас вообще с трудом поддавался осмыслению.

Передовица в «Правде» от 1 июля 1977 года вышла под заголовком «Идейность советского человека». В этой статье говорилось об одобрении советской общественностью проекта новой конституции СССР.

[96] Выше мы описали, как редактировались статьи в журнале «Коммунист» — этот процесс включал в себя массу чисто структурных нюансов — таких, как замена коротких фраз на длинные, замена глаголов существительными, упразднение из текста «литературщины» и так далее.

[97] Roxburgh 1987: 80.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунистическая партия Советского Союза

ПРАВДА

Газета основана 5 мая 1912 года В. И. ЛЕНИНЫМ

Орган Центрального Комитета КПСС

№ 182 (21217) • Понедельник, 1 июля 1977 года • Цена 2 коп.

ИДЕЙНОСТЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Вступая во второе полугодие 1977-го

Выполнили досрочно

ПОЛНЫЕ ОБОР

СЫРЬЕ ДЛЯ ДОМЕН

Животноводство — ударный фронт

ЖДУТ ЛУГА КОСОВИЦЫ

КАХОВСКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ

Беседа в Кремле

Рис. 5. Первая полоса «Правды» от 1 июля 1977 г.
Слева расположена передовица «Идейность советского человека»

Факт одобрения, однако, упоминался здесь в чисто абстрактном смысле, без каких-либо подтверждений и примеров, что разительно отличало этот текст от того, как в середине 1930-х годов газеты освещали «реакцию советских людей» на текст предыдущей «сталинской» конституции. В 1930-х годах процесс обсуждения конституции, как мы видели выше, включал конкретные предложения читателей (настоящие

или вымышленные) по изменению текста конституции, которые печатались в газетах с подробными ответами Сталина на них. То есть в газетах тогда был представлен детальный метадискурс на тему идеологического языка. А в 1970-х годах «обсуждение» конституции выглядело иначе. Упор здесь делался на абстрактную поддержку конституции, а не на конкретные «предложения читателей» или ответы главного «эксперта» страны по авторитетному дискурсу. Такого эксперта больше не было. Метадискурс, публично оценивающий и комментирующий идеологический дискурс, исчез. Это отличие между типами газетного дискурса в 1930-х и 1970-х годах отражает разницу между двумя моделями авторитетного языка — моделью раннего советского периода, когда этот язык находился под контролем *внешней фигуры* или *внешнего редактора*, находившегося за его пределами, и моделью позднего социализма, когда позиция *внешнего редактора* авторитетного языка исчезла. Это изменение в функционировании авторитетного языка повлияло на его внутреннюю лингвистическую *форму*. Для анализа особой формы авторитетного языка, которая возникла в период позднего социализма, рассмотрим несколько отрывков из передовицы 1977 года.

Подчеркнутая интертекстуальность

Одним из центральных принципов авторитетного языка в этот период была «подчеркнутая интертекстуальность»[98], заключающаяся в прямом или почти прямом повторении целых «блоков» текста от одной статьи к другой. Можно привести бесчисленное множество примеров такого заимствования. Например, сравним отрывки из двух текстов, написанных разными людьми и в разные годы, но в одном жанре

[98] Термин «подчеркнутая интертекстуальность» (*manifest intertextuality*) был введен лингвистом Норманом Фейрклавом для описания текстов, в которых интертекстуальность выражена особенно ярко, — как, например, в сегодняшних цифровых СМИ, в которых журналистские тексты должны писаться быстрее и чаще, чем раньше в печатных СМИ, что требует постоянного заимствования целых кусков текста из других СМИ. См.: Fairclough 1992, а также Boyer, Yurchak 2010.

авторитетного языка и на схожую тему — об «антагонизме социализма и капитализма». В первом тексте из книги, напечатанной в 1980 году, находим следующие формулировки:

> В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. Империалистическая пропаганда становится более изощренной. [...] Главной задачей комсомола [...] является воспитание советской молодежи в духе коммунистической идеологии, советского патриотизма, интернационализма [...] активная пропаганда достижений и преимуществ советской системы[99].

Во втором тексте — в анализируемой передовице «Правды» от 1 июля 1977 года — читаем:

> В борьбе двух мировозрений не может быть места нейтрализму и компромиссам, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л.И. Брежнев на XXV съезде партии. [*параграф 8*]
>
> [...] идейное противоборство двух систем становится более активным, империалистическая пропаганда — более изощренной. Это ко многому обязывает советских людей. [*параграф 7*]
>
> Главное, на что должны быть нацелены усилия партийных организаций, — дальнейший рост внутренней зрелости, идейности трудящихся, [...] пропаганда советского образа жизни, превосходства социалистической системы над капиталистической. [*параграф 10*]

Очевидно, что целые куски текста в этих двух изданиях крайне близки. Вряд ли один текст является прямой копией другого, но оба они, безусловно, создавались путем повторения одинаковых стандартных формулировок и применения одинаковых языковых принципов. Подобным образом были связаны не только одни тексты авторитетного дискурса с другими, но и тексты с нетекстовыми регистрами — визуальными

[99] Andreyev 1980: 100.

формами, блоками ритуальных практик и так далее, — то есть на уровне всего авторитетного дискурса можно говорить не просто о принципе подчеркнутой интертекстуальности, имеющей отношение к текстам, но о принципе *подчеркнутой интердискурсивности*, имеющей отношение ко всем видам репрезентации.

Сложные определения и создание «пресуппозиций»

Другим принципом авторитетного языка было использование ограниченного числа однотипных определений для характеристики конкретных понятий. Кэролайн Хамфри показала на примере небольшой сибирской газеты позднесоветского периода, что в языке ее политических статей почти всегда использовались одни и те же устойчивые связки существительных и прилагательных, их определяющих. Например, «успех» и «труд» в этих статьях обычно были «творческими», «помощь» была «братской», «участие» было «активным» и так далее[100]. К справедливому наблюдению Хамфри следует добавить, что подобные словосочетания не просто имели стандартную, застывшую форму, но эта стандартная форма постепенно становилась все сложнее. Например, в подобных словосочетаниях вместо одного определения стало использоваться несколько определений, причем многие определения использовались не в простой, а в превосходной степени. Почему возникли эти сложные определения и какую роль они играли в авторитетном языке? Для ответа на этот вопрос рассмотрим параграф 1 из текста нашей передовицы «Правды»[101]:

> Высокий уровень **общественного сознания** трудящихся нашей страны, их богатейший **коллективный опыт** и **политический разум**

[100] Humphrey 1989: 159.

[101] Данный анализ слегка упрощен; в действительности можно было бы его развить на нескольких уровнях; но для полноты нашего аргумента и упрощенного анализа достаточно.

с исключительной полнотой проявляются в дни всенародного обсуждения проекта конституции СССР.

В этом длинном предложении есть три стандартных словосочетания существительных с определяющими их прилагательными — «общественное сознание», «коллективный опыт» и «политический разум». Заметим, однако, что существительные *сознание, опыт* и *разум* здесь определяются не только прилагательными, но и другими определительными конструкциями. Так, «сознание» здесь не только является «общественным», но и имеет *высокий уровень*, а «опыт» является не просто «коллективным», но и *богатейшим*. Кроме того, понятия *сознание*, *опыт* и *разум* не просто «проявляются», а проявляются *с исключительной полнотой*, что тоже является сложным определением этих понятий.

В чем заключается роль всех этих сложных определений? Почему *опыт* не просто имеется, а является «коллективным» и «богатейшим» и не просто проявляется, а проявляется «с исключительной полнотой»? С помощью подобных конструкций в тексте могут создаваться так называемые *пресуппозиции* — то есть идеи, которые представляются текстом как само собой разумеющиеся факты, но в действительности таковыми не являются[102]. Как функционирует пресуппозиция, вообще можно проиллюстрировать путем сравнения двух следующих фраз: «глубоководное морское погружение» и «в этом месте море имеет большую глубину». В первой фразе идея о том, что море имеет большую глубину, представлена как данность, как не поддающийся сомнению *факт*. Во второй фразе эта идея представлена как новая информация, которую можно оспорить — например, поставив к этой фразе простой вопрос: «Действительно ли в этом месте море имеет большую глубину?» К первой фразе подобного простого вопроса не поставить.

В отрывке из передовицы «Правды», который мы только что привели, тоже конструируется ряд пресуппозиций. Например, тезис о том, что советские трудящиеся обладают неким общим *коллективным опытом*,

[102] Подробнее о пресуппозициях см.: Levinson 1983; Fairclough 1992: 120; Idem 1989: 152—154; Austin 1999: 48.

проводится подспудно и потому не требует доказательств, — поскольку «коллективный опыт» может быть «богатым», значит, он должен существовать в принципе; и поскольку коллективный опыт может иметь превосходную степень (являться *богатейшим*), значит, он вновь должен существовать в принципе.

Аналогичным образом функционирует и вторая подчеркнутая фраза в вышеприведенном отрывке: наличие у советских людей некоего единого *общественного сознания* предстает здесь очевидным и как бы не поддающимся сомнению фактом. Делается это вновь двумя способами: чтобы общественное сознание было «высоким», оно должно существовать в принципе; аналогично, чтобы общественное сознание имело высокий уровень, а значит, могло в принципе иметь и другие уровни, оно сначала должно существовать.

Сложные определения такого типа были широко распространены в советском авторитетном языке и имели тенденцию повторяться из текста в текст в виде стандартных фиксированных словосочетаний. В текстах, написанных в этом жанре, создавалось огромное количество пресуппозиций — тезисов и заявлений, которые передавались подспудно, как общеизвестные объективные факты, не требующие доказательств. Не следует думать, что этот лингвистический прием заключался в прямом манипулировании смыслом высказывания и сознанием аудитории — ведь адресат этого языка, как уже говорилось, чаще всего не интерпретировал его на уровне буквального смысла. Главный результат этого лингвистического приема, а также главная причина, по которой он распространился, были иными: формулируя субъективное мнение в виде объективного и давно известного факта, этот прием делал менее заметным роль авторов подобных текстов, уменьшая таким образом их ответственность за конкретные высказывания.

Номинализация и создание «пресуппозиций»

Выше мы упомянули, что при редактировании текстов, написанных в авторитетном жанре, короткие предложения часто объединялись

в одно длинное путем удаления глаголов. В действительности глаголы не просто удалялись, а заменялись на существительные особого типа, которые были произведены из этих глаголов путем их *номинализации* (то есть превращения глагола в существительное). В результате в авторитетном языке появилось множество необычно длинных и довольно неуклюжих номинативных фраз, которые звучали крайне непоэтично. Патрик Серио показал, что в советском политическом языке позднего периода *номинативные фразы* в принципе употреблялись гораздо чаще, чем в текстах любого другого жанра, существовавшего в русском языке[103]. Распространились эти фразы по тем же причинам, что и сложные определения, которые мы только что рассмотрели. Они позволяли создавать множество пресуппозиций, тем самым скрывая голос автора текстов и уменьшая его ответственность за высказывания. Рассмотрим параграф 2 из нашей передовицы «Правды», состоящий из одного длинного предложения:

> И в чеканных строках выдающегося документа современности, и в живой действительности, в повседневных буднях коммунистического строительства раскрывается перед миром <u>во всем величии и красоте духовный образ борца и созидателя, гражданина развитого социалистического общества</u>.

В длинной *номинативной фразе*, которая стоит в конце предложения (мы ее подчеркнули), содержится семь существительных и ни одного глагола. Эта фраза буквально напичкана скрытыми пресуппозициями. Для того чтобы их вскрыть, необходимо разбить наше предложение на более короткие номинативные фразы и затем перефразировать каждую из них в виде глагольной фразы (то есть вернуться к «изначальным» глагольным фразам). Мы получим следующие фразы (глаголы выделены курсивом)[104]:

[103] Seriot 1986: 34.

[104] См. методику такой перефразировки номинативных фраз в глагольные в: Seriot 1986.

1) гражданин развитого социалистического общества *является* борцом и созидателем;
2) борец и созидатель *имеет* духовный образ;
3) духовный образ *является* величественным и красивым
и так далее.

В каждой из этих глагольных фраз сформулирован определенный тезис, который представляет собой *новую информацию* и который можно оспорить, поставив к глаголу прямой вопрос, например: «*Является ли* гражданин развитого социалистического общества борцом и созидателем?», «*Имеется ли* у борца и созидателя духовный образ?», «*Является ли* духовный образ величественным и красивым?». Однако, если глаголы в этих фразах преобразовать в существительные (то есть *номинализировать* глагольные фразы, как это сделано в тексте передовицы), эти тезисы преобразуются в пресуппозиции — начнут звучать не как новая информация, а как давно известные и не требующие доказательства факты[105].

Этот эффект можно объяснить иначе: номинативная фраза обычно представляет информацию в виде фактов, которые известны *до момента произнесения фразы*; а глагольная фраза представляет информацию в виде новых утверждений, которые делаются *в процессе произнесения фразы*[106]. Иными словами, *номинативные фразы* и соответствующие им *глагольные фразы* описывают одни и те же факты действительности, но с разными темпоральностями — факты, которые описываются номинативными фразами, как бы отодвинуты в прошлое и предстают заведомо известными и неоспоримыми, в то время как факты, которые описываются глагольными фразами, предстают как новые представления, которые можно оспорить. Патрик Серио называет эту разницу между глаголь-

[105] Вспомним еще раз наше сравнение двух фраз — «глубоководное морское погружение» и «в этом месте море *имеет* большую глубину». В первой фразе глаголов нет (это *номинативная фраза*), и в ней наличие *глубины* упоминается мимоходом, как очевидный и не поддающийся сомнению факт. Во второй фразе имеется глагол (это *глагольная фраза*), и факт глубины здесь представлен как новая информация, которую можно поставить под сомнение прямым вопросом.

[106] В работах Серио (особенно: Seriot 1986) эта идея подробно разобрана.

ными и номинативными фразами — «зазором утверждения» (*assertion lag*)[107]: утверждения, которые делаются в номинативных фразах, звучат как более очевидные и неоспоримые, чем утверждения, которые делаются в глагольных фразах.

Интересно, что в таких длинных номинативных фразах происходил не просто сдвиг темпоральности в некое единое абстрактное прошлое, а серия пошаговых сдвигов, как бы на разные уровни прошлого. Такие пошаговые сдвиги темпоральности тоже способствовали созданию в тексте многочисленных пресуппозиций — в результате пресуппозиции как бы «нагромождались» друг на друга, образуя сложную многоступенчатую конструкцию. Для примера рассмотрим вновь подчеркнутую номинативную фразу из параграфа 2 нашей передовицы:

> ...во всем величии и красоте духовный образ борца и созидателя, гражданина развитого социалистического общества.

В этой фразе три пресуппозиции, которые мы рассмотрели чуть выше, функционируют не одновременно, а как бы «по очереди». Тезис о том, что «*духовный образ* является величественным и красивым» (пресуппозиция 3), может быть воспринят как неоспоримый факт, только при условии, что *сначала* таким образом был воспринят предыдущий тезис — «борец и созидатель имеет *духовный образ*» (пресуппозиция 2). А этот тезис, в свою очередь, может быть воспринят как факт только при условии, что еще раньше был таким образом воспринят тезис о том, что «гражданин развитого социалистического общества является *борцом и созидателем*» (пресуппозиция 1). Таким образом, здесь конструируется *трехступенчатая* конструкция из пресуппозиций, в которой идеологические утверждения, находящиеся ближе к концу фразы, зависят от успешности утверждений, которые находятся ближе к ее началу. Чем «дальше» находятся утверждения в таких сложных фразах, тем более «в прошлое» они отодвинуты и тем более очевидными и не поддающимися сомнению они кажутся.

[107] То есть номинативы могут казаться более настойчивыми, поскольку они представляют случайные заявления как хорошо известные факты. См.: Seriot 1986: 46.

С помощью подобной трансформации можно преобразовать любое высказывание из представления новой информации в повторение уже якобы известных фактов. Главный эффект такого преобразования вновь заключался не столько в прямом манипуляции смыслом или сознанием, сколько в сокрытии субъективного *голоса автора* текста.

Сдвиг роли автора

В авторитетном языке существовало и множество других приемов аналогичного преобразования авторского голоса. Рассмотрим предложение из параграфа 5 нашей передовицы (единственный глагол выделен курсивом):

> Интересы коммунистического строительства и формирования нового человека *требуют* дальнейшего совершенствования идеологической деятельности.

Поскольку в этом предложении сформулирован тезис о том, что предстоит сделать в будущем (*продолжать совершенствование*), может показаться, что, в отличие от предыдущих примеров, здесь не просто описываются уже известные факты, но также предлагается новая информация. Так ли это на самом деле? При подробном рассмотрении оказывается, что, хотя у этого тезиса есть субъект, этот субъект не является автором тезиса. Как строится несовпадение субъекта и автора и к чему оно приводит? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, из каких логических элементов состоит эта фраза. Для простоты и наглядности анализа несколько упростим наше предложение, опустив фразу «и формирования нового человека» (это упрощение не повлияет на анализ). Теперь сравним нашу фразу (фраза 1) с двумя ее перефразировками (фразы 2 и 3):

> Фраза 1. *Интересы коммунистического строительства* требуют дальнейшего совершенствования идеологической деятельности.

Фраза 2. *Коммунистическое строительство* требует дальнейшего совершенствования идеологической деятельности.

Фраза 3. *Субъект* требует дальнейшего совершенствования идеологической деятельности.

Во фразе 3 *субъект*, который требует, является непосредственным автором высказанного здесь тезиса — им может быть, например, генеральный секретарь, ЦК партии и так далее. Во фразе 2 субъектом, который требует, является «коммунистическое строительство» — этот субъект автором тезиса более не является, однако автора все еще можно вскрыть, поставив к фразе простой вопрос: «*Чье* коммунистическое строительство?», ответом на который будет имя или название автора. Во фразе 1 (которая использована в передовице «Правды») субъектом, который требует, являются «*интересы* коммунистического строительства». Этот субъект еще в меньшей степени имеет отношение к автору высказанного здесь тезиса. Теперь простой вопрос, «Чьи интересы?», не в состоянии выявить автора тезиса, поскольку ответом на этот вопрос может быть только фраза «интересы коммунистического строительства» — автор, высказавший этот тезис, в ней по-прежнему скрыт.

Вместо имени субъекта здесь фигурирует номинативная цепочка «*интересы коммунистического строительства*». Чем длинее такая номинативная цепочка[108], тем дальше или глубже скрыт непосредственный автор этого высказывания. В результате высказанный тезис о необходимости «дальнейшего совершенствования идеологической деятельности» функционирует здесь не как субъективное мнение автора и новая информация, которые могут быть оспорены, а как не имеющий автора, объективный, общеизвестный и неоспоримый факт. Этот вывод можно сформулировать в других терминах, которые упоминались выше: автор подобных заявлений предстает в роли *ретранслятора* известной информации, а не *производителя* новой.

[108] А в этом языке нередко встречались и более длинные цепочки — например: «Критическое понимание интересов коммунистического строительства требует...»

В подобном сокрытии фигуры автора участвуют и другие механизмы авторитетного языка, включая механизмы макроуровня — такие, как организация логической и нарративной структур дискурса.

Замкнутая логическая структура

Как показал Майкл Урбан, логическая структура речей генеральных секретарей ЦК КПСС в 1970-х — начале 1980-х годов была организована вокруг идеи *недостатка*. В этих речах сначала назывался конкретный недостаток — например, недостаток производительности труда, продовольственных ресурсов, трудовой дисциплины, партийного контроля и так далее[109], а затем предлагались методы его разрешения. Однако парадокс заключался в том, что ранее в этих же речах предложенные методы уже определялись как не подходящие для разрешения данной проблемы. Таким образом, логическая структура этих текстов строилась по принципу замкнутого круга — предлагались методы разрешения конкретной проблемы, но при этом утверждалось, что эти методы ее решить не могут.

Например, в выступлении перед ЦК партии 10 апреля 1984 года генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко сделал заявление о том, что необходимо сильнее «стимулировать творческую инициативу» местных советов и заниматься привлечением «все более широких масс к заинтересованному участию в управлении производством, государством, обществом». Однако ранее в этой же речи Черненко заявил о вреде чрезмерной «творческой инициативы», поскольку она может привести к выходу деятельности из-под контроля партии[110]. Таким образом, инициативу нужно было, с одной стороны, *стимулировать*, а с другой стороны, *ограничивать*. В этой же речи Черненко призвал советских граждан еще сильнее «организовывать» и «контролировать» промышленное производство; однако ранее в этой речи он заявил, что в прошлом меры по организации и контролю не привели к требуемым

[109] Urban 1986: 140.

[110] Ibid: 141.

результатам. Урбан приводит много других примеров из речей Черненко и заключает: в выступлениях генерального секретаря одни и те же действия определялись одновременно и как способ преодоления недостатков, и как их причина[111]. Главным выводом этих речей была идея о том, что советские люди должны выработать новые методы и подходы путем использования старых методов и подходов, а также что они должны в дальнейшем участвовать в действиях, которые ранее не принесли результатов[112].

Такая замкнутая логическая структура авторитетного дискурса была прямым результатом парадокса Лефора — точнее, того, как он спроецировался на структуру советской идеологии (см. главу 1). Появилась эта замкнутая структура не в результате сознательного манипулирования идеологическим языком сверху, а в результате его спонтанной гипернормализации. Иными словами, как и другие элементы языковой формы, замкнутая логическая структура возникла в результате попыток большого количества людей, участвующих в производстве текстов на этом языке, сделать свой собственный субъективный авторский голос как можно менее заметным. Эта задача стала важна, как мы видели, из-за исчезновения внешней господствующей фигуры авторитетного дискурса, способной публично комментировать и оценивать авторитетные высказывания.

Наш вывод отличается от того вывода, который сделан в работе Урбана, — он считает, что логическая замкнутость партийных текстов была результатом сознательной манипуляции языком со стороны партийного руководства, которое таким образом воспроизводило себя как единственного автора и огранизатора политического языка, а значит, и воспроизводило свою власть. В отличие от Урбана мы считаем, что эта структура стала результатом незапланированной мутации идеологического дискурса, описанной выше. Более того, рассмотренные принципы авторитетного языка не только не были результатом чьего-то исчерпывающего анализа — они даже не были до конца понятны партийному руководству, по крайней мере до начала перестройки, когда авторитетный язык неожиданно попал в сферу публичного обсуждения и анализа.

[111] Urban 1986: 141.

[112] Ibid: 140.

В рассматриваемой передовице «Правды» есть множество других примеров логически замкнутой риторики. Например, предложение в 10-м параграфе звучит так:

> Главное, на что должны быть нацелены усилия партийных организаций, — дальнейший рост внутренней зрелости, идейности трудящихся, развитие и укрепление у них качеств политических борцов.

«Внутренняя зрелость» и «идейность» представлены здесь как *недостаточно* развитые и пока не достигшие требуемой высоты. Задача партии заключается в преодолении этого недостатка и стимулировании дальнейшего роста этих параметров. Однако ранее, в параграфе 3 этой же статьи, советские трудящиеся были охарактеризованы как люди, чей «идейно-политический и нравственный облик и характер» состоит из «беззаветной преданности идеям коммунизма и уверенности в торжестве этих идей». Согласно этой фразе, внутреннюю зрелость и идейность советских людей нельзя интерпретировать как недостаточно высокие. Таким образом, текст передовицы формулирует важную задачу на будущее (параграф 10), предварительно заявив, что эта задача уже решена (параграф 3).

Как уже говорилось, в более ранний, сталинский период советской истории — до того как идеологический язык пережил процесс гипернормиализации — логическая структура его текстов не была замкнутой. Эту разницу в логических структурах идеологического языка сталинского периода и периода позднего социализма можно проиллюстрировать, сравнив нашу передовицу от 1 июля 1977 года с передовицей в той же газете «Правда» от 21 сентября 1935 года. Темы и заголовки обоих текстов похожи: «Качества советского гражданина» (1935 год) и «Идейность советского человека» (1977 год). В передовице 1935 года (как и в передовице 1977 года) дается характеристика советского человека. Например:

> ...высокая сознательность революционного рабочего класса, его неутолимая воля к победе, его непримиримость и решительность,

> нашедшие свое лучшее выражение в партии большевиков, *должны стать* главной чертой каждого трудящегося страны советов.

Даже на примере этого небольшого отрывка видно, что логическая структура аргументации в этом виде политического дискурса, в отличие от авторитетного дискурса позднего социализма, не является замкнутой. Здесь сначала перечисляются характеристики рабочего класса, а затем вводится новая информация — о том, что эти характеристики должны стать чертой каждого советского трудящегося, включая тех, кто не является представителем рабочего класса. Разница логических структур в текстах 1935 и 1977 годов отражает разницу дискурсивных режимов этих двух эпох советской истории. В сталинский период наличие внешней фигуры идеологического языка позволяло этому языку оставаться логически *открытым*, поскольку ее голос претендовал на уникальную способность выражать некий якобы объективный, независимый, внешний канон истины. Таким образом, создавалось пространство публичного метадискурса, в котором проводилась оценка и корректировка идеологического языка по отношению к этому внешнему канону. Но когда в позднесоветский период позиция внешней фигуры исчезла, логическая структура идеологического языка замкнулась. Теперь то, что представлялось как *новая* информация, было ограничено рамками *уже существующей* информации, которая уже упоминалась где-то раньше, в каких-то предыдущих текстах и высказываниях.

Замкнутая нарративная структура

Важным принципом любого идеологического дискурса является использование в нем ограниченного числа *господствующих означающих (master-signifer)*, позволяющих связывать разноплановый символический материал (различные не связанные друг с другом высказывания, тексты, тезисы, лозунги, изображения и так далее) в единую идеологическую систему. Подобные означающие выполняют особую роль в пространстве символического, являясь тем, что Лакан называл «точками сшивки»

(*points de capiton*) разрозненного символического материала в однородную символическую ткань[113].

Например, как пишет Славой Жижек, в контексте современных экономических отношений господствующим означающим дискурса о цене являются *деньги*. В контексте докапиталистического обмена (бартера), когда товары обменивались напрямую, они функционировали как означающие друг друга: то есть любой товар мог выражать (означать) цену любого другого товара. Но когда одно означающее (*деньги*) стало выражать цену всех других означающих (*товаров*), эти последние выстроились в новую цепочку отношений — потеряв неопосредованные отношения друг с другом, они приобрели одинаковые отношения с означающим *деньги*. Символическая система экономических отношений преобразовалась из системы «каждый представляет каждого» в систему «один представляет всех». Деньги приобрели в ней роль единого означающего цены любого товара, то есть стали *господствующим означающим* системы экономических отношений. В капиталистической экономике это преобразование символической системы остается «невидимым», поскольку роль денег здесь нормализовалась — деньги приобрели качество *естественного* носителя цены. Цена товара получила денежное выражение, абстрагированное от социально-экономических отношений; эта цена стала восприниматься как естественная и неотъемлемая черта товара, как элемент его внутренней природы. Именно это явление Маркс назвал «товарным фетишизмом»[114].

Советский авторитетный дискурс тоже был «сшит» в единую символическую ткань одним господствующим означающим, который можно назвать тремя именами — *Ленин-партия-коммунизм*[115]. Эти три имени

[113] «Точки сшивки» (points de capiton) — это стежки, сшивающие в нескольких местах две стороны матраса, для того чтобы набивочный материал не смещался из стороны в сторону, а распределялся единым и равномерным образом. С помощью этой метафоры Лакан описывает *господствующие означающие*, которые «сшивают» различные высказывания и символы в единое символическое поле (Lacan 1988: 267). См. также: Žižek 1991b.

[114] См.: Žižek 1991a: 16—26.

[115] Каждое из этих господствующих означающих маркировало широкое пространство смысла. Это очевидно из того факта, что название каждого означающего могло быть заменено целым набором синонимов: «коммунизм» также назывался *развитым*

и понятия было невозможно отделить друг от друга; каждый из них был синонимом двух других. «Ленин» (а также «ленинизм» и «марксизм-ленинизм») был научным *методом* описания и совершенствования социальной реальности; «партия» была *агентом*, который пользовался этим методом для описания и совершенствования реальности; а «коммунизм» был *целью*, к которой агент стремился в этой работе. Таким образом, эти три понятия складывались в единое и неделимое означающее — *ленин-партия-коммунизм.*

Именно это господствующее означающее сшивало советский авторитетный дискурс в единое символическое полотно. То есть любое упоминание *Ленина, партии* или *коммунизма* (или их синонимов) было упоминанием «объективной научной истины», которая находилась за пределами авторитетного дискурса и не могла быть поставлена под сомнение средствами этого дискурса. В любом высказывании на авторитетном языке должна была проводиться прямая связь с этой *внешней неоспоримой истиной* (таким образом происходило «вшивание» этого высказывания в единое символическое полотно авторитетного дискурса). На практике это означало, что любой партийный сектретарь, рядовой комсомолец или политинформатор должны были связать свой текст (свое выступление, характеристику, отчет, политинформацию) с понятием внешней неоспоримой истины, выраженной символами *партия, Ленин* или *коммунизм.* Для этого можно было процитировать Ленина, вставив цитату из его работ в свой текст (вспомним, как Суслов использовал короткие ленинские цитаты для подтверждения самых разных, даже противоречащих друг другу идей) или включив его портрет в агитационные материалы (вспомним, что художники использовали «посмертные маски» Ленина — то есть прямые «цитаты» ленинского облика). Можно было также сослаться на решения недавнего пленума партии или на речь генерального секретаря или процитировать программу партии. Можно было упомянуть коммунизм, коммунистическое

социализмом, светлым будущим, прогрессом, бесклассовым обществом; «Ленин» мог быть заменен на *марксизм-ленинизм, научный коммунизм, передовое учение;* «партия» могла быть заменена на *направляющую силу советского общества, передовой отряд* или даже комсомол и так далее. (Seriot 1985: 96, 120). См. также: Lefort 1986: 297; Stump 1998: 12, 92.

строительство, коммунистическое воспитание, марксистско-ленинское сознание и так далее. В следующих главах мы увидим множество примеров того, каким образом это господствующее означающее вводилось в авторитетные тексты, документы или изображения, создававшиеся рядовыми советскими гражданами.

А сейчас важно подчеркнуть, что господствующим означающим советской идеологической системы был именно символ *Ленин-партия-коммунизм*, а не такие символы, как, скажем, *Сталин* или *Брежнев*. Это значит, во-первых, что любой советский руководитель, включая даже Сталина, мог получить легитимность только путем установления прямой связи между собой и Лениным — либо как его *соратник*, либо как *продолжатель его дела*, либо как *верный марксист-ленинист*. Во-вторых, любой руководитель, включая Сталина, мог в одночасье потерять легитимность, если партией было показано, что прямая связь между ним и Лениным отсутствовала или была искажена — то есть что он был либо врагом Ленина, либо исказителем ленинских идей. Действительно, Сталин всегда представлял себя человеком, которого Ленин лично выбрал продолжателем своего дела. Для этого Сталину потребовалось избавиться от целого ряда документов, в которых Ленин его критиковал[116]. Последовавшее после смерти Сталина осуждение культа личности и массовых репрессий было именно осуждением Сталина, а не критикой партии как таковой. Это стало возможно благодаря партийной риторике «восстановления» прямой связи с Лениным. Сталин теперь был показан исказителем ленинских идей, и его связь с Лениным была разорвана, а вместо нее партия теперь восстанавливала «истинную» связь со своим вождем. Сталин на практике был обвинен в извращении идей Ленина, его тело было вынесено из ленинского мавзолея, его образ исчез с изображений, на которых он соседствовал с Лениным (в книгах, кинофильмах, стихах, песнях)[117]. Эта критика

[116] Включая знаменитое сегодня ленинское «письмо к съезду», в котором Ленин, незадолго до своей смерти, предупреждал делегатов XIII съезда об опасности избрания Сталина на пост генерального секретаря партии.

[117] Например, в фильмах Михаила Ромма «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», снятых в сталинский период (в 1937 и 1939 годах), были вырезаны и пересняты сцены, в которых Ленин появляется в обществе Сталина (см.: Булгакова 1994).

была представлена как возвращение партии на истинно ленинский курс. Центральной идеей «секретной речи» Хрущева на XX съезде КПСС в феврале 1956 года было то, что Сталин исказил факты и что в действительности он не был выбран Лениным на роль своего преемника. Ленин и ленинизм упоминаются в речи Хрущева более ста раз и всегда в противоставлении Сталину. Вот лишь несколько примеров из этой речи: «Разрешите, прежде всего, напомнить вам, как сурово осуждали классики марксизма-ленинизма всякое проявление культа личности»; «Как показали последующие события, тревога Ленина не была напрасной: Сталин первое время после кончины Ленина еще считался с его указаниями, а затем стал пренебрегать серьезными предупреждениями Владимира Ильича»; «Сталину были совершенно чужды ленинские черты — проводить терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их» и так далее.

Таким образом, культ личности Сталина и его огромная личная власть не базировались и не могли базироваться исключительно на одном лишь насилии или угрозе[118] — они стали возможны благодаря тому, что Сталин смог показать легитимность своей роли как продолжателя ленинского учения, как человека, которого Ленин сам выбрал на эту роль, как вождя, имеющего универсальное знание и понимание ленинских идей. Но как только роль Сталина как продолжателя ленинского учения была публично поставлена партией под сомнение, а Сталин был публично представлен как исказитель ленинских идей, его образ быстро (посмертно) потерял легитимность. Таким образом, в советском политическом дисурсе, даже в годы культа личности, означающее «Сталин» не было господствующим означающим — оно определялось через господствующее означающее *Ленин-партия-коммунизм*, а не наоборот. Именно поэтому критика Сталина в середине 1950-х не привела к кризису господствующего означающего советской идеологии — то есть не повлекла за собой падения всего символического порядка (что произошло во время перестройки), коммунистической партии или подрыва ее руководящей позиции в советском обществе. Партия теперь могла

[118] Как порой доказывает Александр Эткинд (см.: Etkind 2013: 30—31.).

представить критику Сталина как *возврат к истинному Ленину*[119]. Однако, как мы видели выше, критика Сталина привела к исчезновению позиции «внешнего редактора» авторитетного дискурса, что толкнуло этот дискурс в сторону гипернормализации. Лишь когда в последние годы перестройки впервые прозвучала публичная критика *Ленина* и *ленинизма*, что привело к кризису именно *господствующего означающего* советского авторитетного дискурса, советская система начала быстро разваливаться[120].

Перформативность идеологии и советская реальность

Мы перечислили лишь несколько принципов авторитетного языка. С первого взгляда может показаться, что они были призваны выполнять классическую функцию идеологии — манипулировать сознанием аудитории, заставляя ее воспринимать некое случайное описание реальности как истиное и не поддающееся сомнению. Принято считать, что идеологический язык всегда выполняет эту функцию[121]. Однако это мнение ошибочно. Как мы уже говорили, невозможно разобраться в том, как слушатели интерпретируют то или иное идеологическое высказывание и какую роль идеологический язык играет в том или ином контексте, если ограничить анализ лишь самим высказыванием. В случае с советским

[119] Это можно описать как «харизматический имперсонализм» (*charismatic impersonalism*) — один из центральных принципов власти в КПСС, согласно которому роль некой *деперсонифицированной* «партии» была намного важнее роли ее любого конкретного лидера (см. подробнее об этом принципе в: Jowitt 1993: 3—10). То, какую позицию занимал генсек ЦК КПСС по отношению к идеологической системе, отличало Советский Союз от нацистской Германии. В нацистской Германии идеология строилась на так называемом «принципе фюрера» (*Führerprinzip*), согласно которому фюрер (Гитлер) играл роль господствующего означающего в нацистском идеологическом дискурсе. Это делало нацистскую систему потенциально более уязвимой и менее долговечной, чем советская система, где господствующим означающим мог быть не конкретный действующий руководитель партии, а лишь абстрактный «Ленин» и деперсонифицированная «партия». См. также: Žižek 1982 и Nyomarkey 1965: 45.

[120] См.: Юрчак 2007, а также более развернутый вариант этого аргумента в: Yurchak 2007.

[121] См., например: Seriot 1986; Fairclough 1995; Hodge, Kress 1988; Fowler 1991.

авторитетным языком этот вывод особенно очевиден. Наличие в текстах, написанных этим языком, таких инструментов, как пресуппозиция, само по себе совсем не обязательно заставляло аудиторию интерпретировать эти тексты определенным образом. Пресуппозиция действительно может влиять на то, как слушатель или читатель интерпретирует текст, но это влияние не имеет гарантии на успех.

Огромное количество однотипных пресуппозиций в авторитетном языке позднесоветского периода не означало, что советский читатель обязательно оказывался одурманен или терял возможность сомневаться в описании реальности, которое делалось в авторитетных текстах[122]. Идеологический эффект этих пресуппозиций заключался не в прямом навязывании аудитории некой конкретной интерпретации, а в более косвенном влиянии на аудиторию. С одной стороны, как мы видели, пресуппозиция способствовала деперсонализации языка, в результате которой субъективный голос каждого конкретного автора оказывался скрыт. Тот, кто писал или говорил на этом языке, превращался из производителя новых высказываний в ретранслятора существующих высказываний, что уменьшало личную ответственность автора за сказанное. С другой стороны, постоянное повторение форм этого описания реальности создавало у говорящих и у аудитории впечатление *неизменности и неизбежности* именно такого способа описания реальности, независимо от того, верили они ему или нет.

Таким образом, языковые формы, которые, возможно, сформировались в советском идеологическом языке как способы создания пресуппозиций, начали выполнять несколько иную задачу. Как мы видели, в ранние периоды советской истории идеологический язык использовался в первую очередь для контроля над *констатирующей* составляющей смысла (буквальным смыслом), заключенной непосредственно «внутри» самих высказываний (именно поэтому Сталин с такой тщательностью

[122] Как уже говорилось выше, такой взгляд повторяет ошибочные подходы к анализу языка, в которых считается, что смысл языковых высказываний можно понять прямо из их лингвистической структуры, не принимая во внимание сложных контекстов, в которых эти высказывания существуют. Именно эта ошибочная точка зрения на функционирование языка проповедуется многими лингвистами, анализирующими советский язык или любой идеологический язык вообще (см.: Thom 1989; Epstein 2000).

редактировал книги по истории, научные статьи, художественные тексты и так далее). Однако позже, в период позднего социализма, когда авторитетный дискурс пережил перформативный сдвиг, эта изначальная цель была потеряна. Теперь констатирующий смысл высказываний на авторитетном языке стал относительно неважен и у них появилась новая функция, заключавшаяся не в представлении спорных фактов в виде неоспоримой истины, а в создании ощущения того, что именно такое описание реальности, и никакое иное, является единственно возможным и неизменным, хотя и не обязательно верным.

Этот вывод важен не только для анализа советского политического языка, но и в более широком смысле для анализа любого дискурса. Проблема в том, что анализ таких дискурсивных инструментов, как пресуппозиция, часто сводится к анализу лишь констатирующей составляющей дискурса, а перформативная составляющая при этом игнорируется. Однако в результате определенных изменений (например, «перформативного сдвига», как в случае советского политического языка) смысл пресуппозиций может меняться непредсказуемым образом, оказываясь открытым для новых, незапланированных интерпретаций. Очевидно, что не учитывать перформативную составляющую смысла нельзя.

Мы начали эту главу с анализа исторических условий, в которых возник авторитетный язык позднего социализма. Повторим некоторые выводы. В конце 1950-х годов, с исчезновением голоса «внешнего редактора» идеологического языка, который публично комментировал и оценивал идеологические высказывания, структура этого языка изменилась. На уровне формы он претерпел процесс *гипернормализации*: его форма застыла, став повторяющейся, легко цитируемой и одновременно по-особому громоздкой. Это изменение авторитетного языка не было кем-то специально запланировано. Оно произошло спонтанно, в результате изменения некоторых исторических условий: во-первых, с исчезновением внешнего редактора идеологических высказываний исчезла и четкая *норма* этих высказываний; во-вторых, огромное количество людей, участвовавших в воспроизводстве авторитетных высказываний, теперь пыталось сделать свой авторский голос в таких текстах менее заметным и выраженным. Все авторы авторитетных текстов, включая даже руководство партии, теперь

выступали в роли ретрансляторов известной информации, а не производителей новой. Авторитетный язык потерял функцию буквального описания реальности, преобретя новую *перформативную* функцию. Для большинства советских граждан теперь было куда важнее участвовать в повторении точных лингвистических *форм* этого языка, чем воспринимать их как буквальную репрезентацию реальности.

В «бинарных» моделях социализма, о которых мы критически писали в главе 1, советский авторитетный язык этого периода ошибочно рассматривается как *ложная репрезентация* действительности. А перформативная составляющая этого языка полностью игнорируется. Поэтому в них делается вывод о том, что советская действительность якобы трансформировалась либо в пространство всеобщей лжи, либо в некий постмодернистский мир, в котором реальность вообще перестала существовать, превратившись в симулякр. Примером последнего служит следующий вывод Михаила Эпштейна о советском языке. Эпштейн пишет:

> Никто не знает точно... были ли в действительности собраны урожаи, о которых сообщалось в сталинский или брежневский период советской истории. Но сам факт того, что количество распаханных гектаров и намолоченных тонн зерна всегда сообщалось с точностью до десятой доли процента, придавал этим симулякрам характер гиперреальности. ...*Реальность, отличающаяся от идеологии, попросту перестала существовать* — ее заменила гиперреальность, которая была более осязаемой и надежной, чем что-либо другое. На советской территории «сказка стала былью», как и в американском образчике гиперреальности, Диснейленде, где сама реальность превратилась в «мир грез»[123].

Какой бы привлекательной ни казалась эта идея о постмодернистском симулякре, мы не можем согласиться с нарисованной здесь картиной советской действительности. В ее основе лежит ошибочная модель

[123] Epstein 2000: 5—6. Подобные аргументы встречаются и в ряде других работ; см.: Epstein 1991; Epstein 1995.

языка и дискурса. Функция языка, согласно этой модели, состоит лишь в репрезентации (констатации) фактов, существующих независимо от языка. А поскольку советский авторитетный язык действительно не являлся «верной» репрезентацией реальности и при этом занимал доминирующее положение в пространстве публичного дискурса, Эпштейн заключает, что в Советском Союзе разница между *истинной реальностью* и ее *псевдорепрезентацией* попросту исчезла. Однако такое заключение ошибочно, поскольку в действительности функции советского авторитетного языка не ограничивались репрезентацией фактов реальности, а в период позднего социализма функция репрезентации в этом языке вообще свелась к минимуму. Именно поэтому в этот период для большинства советских людей было относительно не важно, насколько «верно» или «неверно» авторитетные высказывания отражают реальные факты. Вместо этого авторитетный язык приобрел важную *перформативную* функцию, которую Эпштейн в своем анализе игнорирует.

Вспомним пример из главы 1 — акт голосования на партийном собрании. Такой акт выполняет две функции. Во-первых, он является выражением *мнения* голосующего по поводу резолюции; в этом состоит его репрезентативный (констатирующий) смысл. Во-вторых, он является конвенциональным ритуалом, который маркирует это мнение голосующего, как легитимный, признанный *голос*; в этом состоит его перформативный смысл. Одновременное сосуществование констатирующей и перформативной составляющих делает акт голосования тем, чем оно является, — не просто репрезентацией личного *мнения*, а выражением мнения, которое легитимно признано как *голос*. Заметим еще раз, что, хотя констативный смысл акта голосования заключается в описании существующих фактов (поскольку мнение чаще формируется до момента поднятия руки или опускания бюллетеня), перформативный смысл акта голосования заключается не в описании существующих фактов, а в создании новых (создания определенного *пространства легитимности* посредством самого поднятия руки, в результате которого бывший кандидат вступает в должность, а голосующий субъект воспроизводит свой статус субъекта данного социального пространства, то есть получает легитимный доступ к определенному положению, статусу, роли гражданина, способности действовать в разных контекстах разными способами,

включая способность за пределами этого ритуала голосования быть несогласным с его результатами, или не интересоваться ими, или даже быть не в курсе того, за что именно он проголосовал).

Все вышесказанное служит лишь повторением нашего тезиса: воспроизводство стандартных форм авторитетного языка не обязательно должно восприниматься аудиторией как описание реальности (истиное, ложное, непонятное и так далее), а может восприниматься, напротив, как лишь перформативный ритуал, который напрямую способствует существованию за его пределами вполне нормальной, сложной, многоплановой реальности, не имеющей прямого отношения к самому идеологическому описанию. Именно повторение авторитетных формул позволяло советским людям создавать огромное количество новых, неожиданных форм и смыслов существования внутри советского пространства — форм и смыслов реальности, которые были вполне конкретными и осязаемыми, хотя и не описывались советским идеологическим языком. В отличие от утверждения Эпштейна «реальность, отличающаяся от идеологии» не только *не* перестала существовать и *не* превратилась в симулякр, а, напротив, бурно расцвела внутри советского пространства огромным количеством новых, неожиданных форм. Именно к анализу этих новых форм советской реальности мы переходим в следующих главах.

Глава 3

ИДЕОЛОГИЯ НАИЗНАНКУ

Этика и поэтика

Любое искусство подвержено политическим манипуляциям,
Кроме того, которое само говорит на языке этих манипуляций.

Laibach[1]

Идеологическая поэтика

В книге Виктора Пелевина «Generation "П"» (1999), действие которой происходит в России 1990-х годов, смешались ностальгия и ирония в отношении двух эпох — закончившегося социализма и наступающего капитализма. Название книги отсылает к последнему советскому поколению, к которому принадлежит и сам Пелевин, родившийся в 1962 году. В одном эпизоде главный герой Татарский, тоже представитель этого поколения, выпивает со своим прежним партийным боссом и рассказывает ему, как в советское время его поражало умение последнего сочинять идеологические тексты с впечатляющей риторической структурой и ускользающим смыслом:

[1] Глава третья «Десяти глав Завета» (Laibach 1983). Laibach — словенская театрализованная рок-группа, экспериментирующая с идеологическим и художественным дискурсом на протяжении 20 лет. О Laibach подробнее см. главу 7, а также Žižek 1993б и Monroe 2005.

Такую речь толкнули, — продолжал Татарский. — Я тогда уже в Литинститут готовился — так даже расстроился. Позавидовал. Потому что понял — никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть понимаешь не то, что человек сказать хочет, потому он ничего сказать на самом деле и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания актива и проводились. Я в тот вечер сел сонет писать, а вместо этого напился.

— А о чем говорил-то, помнишь? — спросил Ханин. Видно было, что воспоминание ему приятно.

— Да чего-то о двадцать седьмом съезде и его значимости.

Ханин прокашлялся.

— Я думаю, что вам, комсомольским активистам, — сказал он громким и хорошо поставленным голосом, — не надо объяснять, почему решения двадцать седьмого съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные. Тем не менее, методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы — это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее...

Сильно икнув, он потерял нить.

— Во-во, — сказал Татарский, — теперь точно узнал. Самое потрясающее, что вы действительно целый час объясняли методологическое различие между значимостью и этапностью, и я отлично понял каждое отдельное предложение. Но когда пытаешься понять два любых предложения вместе, уже словно стена какая-то... Невозможно. И своими словами пересказать тоже невозможно[2].

В этом ироничном описании хорошо передан результат *перформативного сдвига* (см. главы 1 и 2), произошедшего в советском авторитетном дискурсе в период позднего социализма. Значительная часть эффективности этого языка — то, что производило наибольшее впечатление на

[2] Пелевин 1999: 140—141.

слушателей, — формировалась на уровне фразеологической структуры и синтаксической формы высказывания, а не на уровне буквального смысла. Такой эффект часто производит незнакомая иностранная речь. Авторитетный язык был способен повлиять на слушателей даже тогда, когда его не понимали. Выражаясь терминами Романа Якобсона, этот язык воздействовал на аудиторию в первую очередь на уровне своей «поэтической функции», на уровне того, *как* высказывание звучит, а не *что* в нем говорится. Эту функцию языка Якобсон иллюстрировал на следующем примере:

> — Почему ты всегда говоришь *Джоан и Марджори*, а не *Марджори и Джоан*? Ты что, больше любишь Джоан?
>
> — Вовсе нет, просто так звучит лучше.
>
> Если два собственных имени связаны сочинительной связью, то адресант, хотя и бессознательно, ставит более короткое имя первым (разумеется, если не вмешиваются соображения иерархии): это обеспечивает сообщению лучшую форму[3].

Поэтическая функция языка отличается от его референциальной (или констатирующей) функции. Хотя фразы «Джоан и Марджори» и «Марджори и Джоан» можно рассматривать как референциально идентичные (отсылающие к идентичным референтам), они поэтически различны. В поэтической функции главную роль играет означающее лингвистического знака — звуковая форма, ритмический рисунок, ударение, синтаксическая структура, границы слов и фраз, паузы и так далее. На этом уровне единицы языка могут быть или не быть эквивалентны. Подбирая конкретные эквиваленты, можно сочинить стихотворение, каламбур, политический лозунг, рекламный слоган. Иллюстрацией этого механизма, говорит Якобсон, служит рекламная фраза «I like Ike» (*ай лайк айк* — «я люблю Айка») из предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты США начала 1950-х годов Дуайта Эйзенхауэра. Имя Айк было ласкательным прозвищем Эйзенхауэра. Звуковые эквиваленты во фразе *ай лайк айк* — симметричность трех

[3] Якобсон 1975: 203.

односложных слов, трех дифтонгов *ай*, согласных *л*, *к*, *к*, рифмы *айк/лайк* — являются приемами поэтической функции языка. С их помощью создается эмоциональный «образ влюбленного, растворившегося в объекте обожания». Таким образом, «вторичная поэтическая функция этого лозунга, используемого в предвыборной кампании, усиливает его выразительность и эффективность»[4]. Это происходит независимо от референциальной (констатирующей) функции — такое высказывание способно подействовать на аудиторию, даже если она никогда не слышала об Айке или читает лозунг в ином контексте, например спустя много лет после тех выборов.

В некоторых контекстах поэтическая функция публичного языка может выходить на первый план, превалируя над его прочими функциями. Именно так обычно действует язык рекламы, что очевидно на примере известного слогана компании Nike «Just do it!» — *Возьми и сделай!* Здесь не ясно, *что именно* надо сделать, но это и не важно; смыслом становится абстрактная идея *возьми и сделай что-то, что угодно*. Этот смысл заключается не в упоминании конкретного дела, а в передаче абстрактного состояния *делания*, *активности*. То есть эта фраза не описывает факты, а передает настроение или субъективное состояние, функционируя не на референциональном уровне, а на поэтическом. Другим примером служит экспериментальный русский язык революционных 1920-х годов, речь о котором шла в предыдущей главе. В период позднего социализма важность поэтической функции авторитетного языка вновь резко возросла по сравнению с его референциальной функцией. Однако если во время революционных перемен начала XX века роль поэтической функции языка была повышена осознанно — она была призвана разрушить ранее существовавшие языковые нормы и конвенции, то в период позднего социализма возросшая важность этой функции языка произошла незапланированно. Она была вызвана не желанием перемен, а, напротив, тенденцией к фиксации советского языка на уровне формы. Тексты, написанные этим языком, напоминали аудитории о том, что основной смысл идеологического высказывания все больше заключается именно в неизменности его *формы*, независимо

[4] Якобсон 1975: 203.

от того, насколько понятен или важен буквальный смысл этих высказываний. Как мы видели выше, аналогичное перераспределение смысловых функций в сторону воспроизводства формы произошло и в других видах политической сигнификации позднего советского периода — в структуре политических и общественных ритуалов, наглядной агитации, идеологических кино- и фотоматериалов, пространственного дизайна и архитектуры.

Напомним, что перформативный сдвиг заключался в том, что важность перформативной составляющей смысла идеологических высказываний постепенно нарастала, а констатирующей составляющей уменьшалась. Всем важнее было, *как* ты говоришь, а не *что* ты говоришь. Однако следует еще раз подчеркнуть, что такой сдвиг на смысловом уровне не обязательно означает, что высказывания на авторитетном языке стали просто «бессмысленным» повторением формы. Напротив, поскольку точное повторение формы высказывания стало важнее его констатирующего смысла, это высказывание могло теперь ассоциироваться с самыми разными, непредсказуемыми смыслами, связанными с тем или иным контекстом. Авторитетный язык открылся для новых неожиданных интерпретаций. Для простого советского человека стало важно воспроизводить точную форму авторитетных высказываний не только потому, что такое воспроизводство формы воспринималось как неизбежность, но и потому, что благодаря ему человек получал возможность наделять свою жизнь новыми, неожиданными смыслами, которые не обязательно совпадали с дословным смыслом идеологических заявлений и выходили за рамки государственного контроля.

В главе 2 были рассмотрены исторические предпосылки и последствия процесса, который мы назвали *гипернормализацией* идеологической формы. В данной главе мы рассмотрим, как воспроизводство и повторение этой новой идеологической формы в разных контекстах советской жизни способствовало возникновению новых, незапланированных смыслов, отношений, видов субъектности и форм социальности. Мы рассмотрим, как советские люди, особенно молодое поколение, участвуя в воспроизводстве застывших форм авторитетного дискурса, одновременно занимались их переосмыслением. Материалы этой главы включают дневники, документы и другие материалы, написанные

в советское время, а также воспоминания о тех событиях и интервью с их участниками, взятые в постсоветские 1990-е. С особым вниманием мы рассмотрим деятельность первичных комсомольских организаций, составлявших самую многочисленную группу советских людей, объединенных в единый идеологический институт.

Воспроизводство идеологии в контексте комсомола

В 1970-х — начале 1980-х годов советская молодежь особенно интенсивно сталкивалась с авторитетным дискурсом через комсомольские организации в средних школах, вузах, на производстве, в государственных учреждениях и так далее. Как известно, в задачи комсомола входила частичная организация ежедневной жизни молодого поколения, начиная от организации ее идеологической стороны (чтение партийных текстов, конспектирование «классиков марксизма-ленинизма», подготовка политинформаций, участие в собраниях, демонстрациях, выборах, комсомольских прожекторах, стройотрядах и так далее) и заканчивая организацией культурной, общественной, спортивной и других сфер жизни. Большинство молодых людей становились членами комсомола в школе, по достижении четырнадцатилетнего возраста[5]. Хотя членство в комсомоле не было обязательным, оно подразумевалось и поощрялось, а в некоторых случаях (например, при поступлении в университет) негласно рассматривалось как обязательное. В начале 1980-х годов около 90% всех выпускников средних школ Советского Союза были членами комсомола, а общее число комсомольцев в стране превысило 40 миллионов человек[6].

На примере деятельности комсоргов, комсомольских секретарей и комсомольских комитетов — представителей огромной армии руководителей нижнего уровня ВЛКСМ, в задачи которых входило вовлечение рядовых членов организации в «комсомольскую работу», — мы

[5] Членство в комсомоле было ограничено возрастными рамками — от 14 до 28 лет.

[6] Soviet Youth Culture 1989: 22.

рассмотрим, как эта работа осуществлялась на практике и что собой представляли процессы производства, распространения и интерпретации идеологических текстов, материалов и практик. Также мы рассмотрим, как в контексте первичных комсомольских организаций идеологические задания формулировались, распределялись и проверялись, как происходило обучение и самообучение идеологическому языку и навыкам составления идеологических речей и документов, какие методы, технологии или уловки применялись комсоргами и секретарями для ведения комсомольской работы и мобилизации рядовых членов организации на выполнение заданий, как велась отчетность и проводились проверки. Кроме того, мы исследуем, как в контексте комсомольской работы идеологические высказывания и практики оказывались наделены новыми непредсказуемыми смыслами. В последующих главах мы подробнее проанализируем многообразие этих новых смыслов и то, как они повлияли на внутренние изменения советской системы в период позднего социализма.

Люди, которых мы встретим в этой главе, не были частью некоего собирательного образа советской молодежи или комсомольцев того времени. Существовало множество других типов молодых людей, отличных от персонажей этой главы. С некоторыми из них мы столкнемся в последующих главах. Однако, как говорилось в начале книги, наша цель состоит не в составлении некоего «репрезентативного среза» советской субъектности или усредненного «советского опыта» периода позднего социализма, что в любом случае вряд ли является выполнимой задачей. Наша цель в другом: в попытке нащупать некоторые внутренние парадоксы и несоответствия советской системы, которые были неотъемлемой ее частью и способствовали ее постепенным и до поры до времени незаметным внутренним изменениям на уровне формы идеологических ритуалов и высказываний, и смыслов, которыми они наделялись. Поэтому, как отмечалось в главе 1, часть материала здесь выбиралась для исследования не норм и правил как таковых, а парадоксов и сдвигов, которые обычно остаются в тени норм и правил. Иными словами, хотя опыт представленных здесь комсоргов, секретарей и рядовых членов комсомола нельзя рассматривать как обобщающий советский опыт, он, тем не менее, высвечивает многие парадоксальные принципы и процессы

смещения, согласно которым советская система функционировала на практике и постепенно изменялась.

Для ясности изложения приведем упрощенную схему иерархии комсомольской организации. Каждая рамка на этой схеме представляет комсомольскую структуру определенного уровня иерархии, которая управляет нижестоящей структурой (рамкой, расположенной ступенькой ниже на схеме) и отчитывается перед вышестоящей (рамкой, расположенной ступенькой выше)[7].

Структура комсомольской организации

Центральный комитет ВЛКСМ (ЦК)
Глава: первый секретарь

Центральные комитеты республик и краев
Глава: первый секретарь

Обком (областной комитет)
Глава: первый секретарь

Горком (городской комитет)
Глава: первый секретарь

Райком (районный комитет)
Глава: первый секретарь

Комсомольский комитет первичной комсомольской организации (на предприятиях, в институтах, университетах, средних школах и так далее)
Глава: секретарь комитета
Состав: пять — десять членов комитета

[7] См. также: Hough 1979; Soviet Youth Culture 1989; Solnick 1998; Brovkin 1998.

Комсомольская группа (первичной организации) Глава: комсорг (комсомольский организатор) Состав: рядовые члены ВЛКСМ

Деятельность большинства рядовых членов комсомола ограничивалась комсомольскими группами и первичными организациями и заключалась в участии в различных мероприятиях и ритуалах, а также выполнении различных «комсомольских поручений». Поручения формулировались, выдавались и проверялись централизованно, по иерархической цепочке: вышестоящие комсомольские органы выдавали поручения нижестоящим и контролировали их выполнение. Поручения могли заключаться в организации политинформаций, идеологических проверок, ленинских зачетов, выступлений на комсомольских собраниях, летней студенческой работы в стройотрядах или колхозах, шествия на демонстрациях, помощи ветеранам войны, членства в различных комиссиях по контролю деятельности других комсомольских групп или профессиональных коллективов и так далее. Комсомольская литература подчеркивала, что комсомольские поручения отличаются четкой организацией, их смысл понятен каждому рядовому комсомольцу, а их выполнение гарантируется высоким сознанием комсомольцев, а также системой поощрений и наград. Все это, согласно официальным публикациям, якобы наглядно демонстрировало активное отношение рядовых комсомольцев к работе в комсомольской организации[8]. Такое описание комсомола, однако, расходилось с реальностью комсомольских будней — со сложными и подчас неожиданными отношениями, которые возникали между комсомольским руководством и рядовыми членами, с теми методами по реализации комсомольских поручений, которые придумывались на местах, и, в конечном счете, со сложной, многообразной и незапланированной системой знаний и смыслов, которые возникали в процессе этой деятельности[9].

[8] Andreyev 1980: 46, 48.

[9] О некоторых приемах переосмысления комсомольской деятельности на раннем советском этапе (в 1920-х годах) и «циничных» формах, в которые выливалась комсомольская работа в те годы, см.: Brovkin 1998.

Освобожденный секретарь

На разных уровнях иерархической лестницы комсомольские руководители были более или менее профессионально подготовлены для ведения комсомольской работы. Чем выше должность руководителя, тем серьезнее была его подготовка (то же относилось и к руководителям разных уровней в иерархии коммунистической партии). Различие в уровне обучения означало, например, что большая часть тех, кто занимал низшие ступени в структуре ВЛКСМ, не получала четких инструкций о том, как следует писать идеологические тексты и составлять документы[10]. Руководители более высокого ранга, напротив, получали специальное идеологическое образование, включавшее, среди прочего, знания о том, что собой представляет идеологический язык, и как им пользоваться, и как следует организовывать и проводить идеологические мероприятия.

Рассмотрим, как велось это комсомольское обучение на примере секретаря комсомола, Александра П. Александр родился в начале 1950-х годов в Ленинграде. После окончания технического вуза в середине 1970-х годов он начал работать инженером-химиком в одном из ленинградских НИИ. Через несколько лет Александр занял пост секретаря комитета ВЛКСМ этого института, продолжая работать инженером-химиком. В 1981 году Александра, который зарекомендовал себя как отличный секретарь комитета комсомола, пригласили на постоянную идеологическую работу в местный райком ВЛКСМ, который курировал комсомольскую организацию его НИИ (а также других предприятий этого района Ленинграда). Александр согласился, уволился с должности инженера-химика и перешел в райком на должность инструктора, сменив профессиональную карьеру инженера на стезю «освобожденного» комсомольского работника. Теперь ему не надо было совмещать идеологическую работу с профессиональной деятельностью[11]. Почти сразу после перехода Александра в райком его

[10] См. главу 2 об исчезновении метадискурса идеологии.

[11] На более крупных предприятиях «освобожденные» секретари могли возглавлять комитеты комсомола и партии самих преприятий.

направили на годовое обучение в северо-западный филиал Высшей партийной школы (ВПШ), расположенный в Ленинграде, — партийное учебное заведение для подготовки профессиональных специалистов по идеологической работе, уже имеющих высшее образование в какой-то иной области. В ВПШ вместе с Александром обучались работники райкомов комсомола из различных областей Северо-Запада РСФСР. Одним из курсов, которые изучал Александр, были «Основы марксистско-ленинской риторики». Здесь студентов обучали навыкам идеологического письма и речи. Александр вспоминает, что на занятиях им давали список ключевых слов. Надо было их использовать в комментарии на заданную тему — например, связать какой-то недавний фильм или общественное мероприятие с политическими событиями в стране: «Нам давалось минут двадцать на обдумывание, и потом преподаватель спрашивал, кто хочет попробовать»[12]. Преподавателем была филолог из университета, которая была членом партбюро университета и давно преподавала по совместительству в ВПШ. «Она отмечала ошибки, советовала, как усилить аргументы, как улучшить структуру выступления, как использовать ключевые слова и тому подобное». Кроме специальных ключевых слов студентам требовалось использовать другие стандартные выражения — «более-менее избитые фразы, которые у всех были на слуху и легко приходили на ум»[13]. Студенты учились составлять правильные с идеологической точки зрения аргументы и фразы, а также изучали структуры типичных речей в авторитетном жанре — например, речи секретаря райкома на отчетно-перевыборном собрании в крупной комсомольской организации и так далее. Подобные речи, вспоминает Александр, должны были начинаться с «политической части», в которой использовались цитаты, тезисы и цифры из недавних речей руководства партии или выступлений на последнем пленуме ЦК, опубликованных в печати. Кроме того, в ней должны были упоминаться успехи и достижения советского народа, для чего использовались стандартные фразы и обороты. Александр рассказывает:

[12] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

[13] Там же.

> Предположим, Брежнев упомянул в своей речи, что производительность труда за последний период увеличилась на полпроцента, а что-то еще увеличилось на один процент. Мы должны были использовать эти цифры в своих текстах. О чем бы ты ни писал, сначала надо было сослаться на эти цифры и цитаты. Обычно мы их брали из газет и вставляли в свой текст почти без изменений[14].

Одной из важных черт обучения в ВПШ было то, что детальный разбор и обсуждение структуры и формы идеологических текстов допускались только в стенах школы. Слушателям запрещалось выносить из помещения школы спецлитературу и методические пособия, по которым они занимались. Таким образом, занятия в ВПШ были примером идеологического *метадискурса* (дискурса по поводу идеологии) позднего социализма, который, в отличие от метадискурса более ранних периодов советской истории, был полностью скрыт от большинства советских граждан и исчез со страниц прессы и массовых изданий[15].

По окончании курсов ВПШ Александр приступил к работе в качестве инструктора райкома. Теперь он вновь получал распечатки с цифрами, фактами, цитатами и ключевыми терминами, которые ему и другим идеологическим работникам необходимо было использовать в своих текстах, выступлениях и отчетах. Большая часть этих материалов приходила из горкома, а некоторые — напрямую из ЦК ВЛКСМ. По словам Александра, «в этих выражениях и цитатах говорилось об общей деятельности СССР под руководством партии... Как правило, они были написаны так искусно, что их можно было вставлять в свой текст целиком, даже если речь в нем шла о местных событиях и фактах»[16].

[14] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

[15] См. подробный анализ этого изменения в структуре метадискурса идеологии в главе 2.

[16] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

Неосвобожденный секретарь

Руководителями первичных организаций ВЛКСМ, то есть самого нижнего уровня комсомольской иерархии, были сотни тысяч «неосвобожденных» секретарей и комсоргов — обычных школьников, студентов, рабочих, служащих, которые совмещали свои занятия в институте или работу на предприятии с выборной должностью в комсомоле. В отличие от «освобожденных» сектретарей райкомов или крупных производств руководители этого нижнего уровня не получали зарплаты за свою идеологическую деятельность и не имели специального идеологического образования. Навыки по написанию идеологических текстов и организации идеологических мероприятий они приобретали в основном в процессе самой комсомольской деятельности и иногда из небольших семинаров и конференций при райкомах. Обычно эти люди довольно быстро усваивали, что при точном воспроизводстве формальной стороны авторитетного дискурса и идеологических ритуалов у них появлялась возможность, по словам одного секретаря комитета комсомола[17], заниматься не только «чисто идеологическими мероприятиями», но и «осмысленной деятельностью». Осмысленная деятельность отличалась от бессмысленной и бесполезной тем, что ее смысл не обязательно соответствовал официально заявленной интерпретации комсомольских задач. Именно благодаря деятельности этих комсомольских руководителей — через посредство текстов, которые они составляли, и мероприятий, которыми они руководили, — миллионы молодых людей, рядовых комсомольцев и некомсомольцев, вовлекались в реально существующую практику советской идеологии.

Рассмотрим несколько примеров деятельности руководителей этого нижнего звена ВЛКСМ. Андрей К., 1954 года рождения, работал инженером в том же ленинградском НИИ, что и Александр, о котором мы только что писали. В течение нескольких лет Андрей занимал пост комсорга одного из научных отделов института, а затем стал членом институтского комитета комсомола, который в то время возглавлял Александр. В 1981 году, как мы видели выше, Александр перешел на

[17] Которого звали Андреем — см. ниже.

профессиональную работу в райком комсомола, а на освободившееся с его уходом место секретаря комитета был избран Андрей. Когда Александр начал работать инструктором райкома (после его учебы в ВПШ), в его обязанности входило курирование комитетов комсомола нескольких местных предприятий, включая комитет его бывшего НИИ. До ухода в райком Александр проработал с членами этого комитета несколько лет и со многими сохранил дружеские отношения. Иногда он приходил в свой бывший НИИ пообщаться с ними или дать совет. А порой малоопытный Андрей, ставший новым секретарем комитета, сам звонил Александру и просил его совета по организации какого-то мероприятия или написанию какого-то выступления. Андрей вспоминает:

> Когда я обращался к Саше за помощью в составлении какого-нибудь идеологического текста, он сначала долго отшучивался и тянул. Но потом садился, откашливался, говорил четким голосом: «Ну ладно, приступим» и начинал диктовать целые параграфы гладких фраз. Это, конечно, был не Лев Толстой или что-то в этом роде. Это был обычный комсомольско-партийный язык, которым Саша владел в совершенстве[18].

В ноябре 1982 года, по истечении года работы на посту сектретаря комитета, Андрей должен был сделать свое первое серьезное выступление на большом ежегодном отчетно-перевыборном собрании комсомольской организации института. Аудитория таких собраний превышала 400 человек, рядовых комсомольцев института. Обычно на отчетно-перевыборном собрании присутствовали представители райкома ВЛКСМ, а также партийного комитета института. Выступление секретаря комитета комсомола должно было быть длинным и обстоятельным, и Андрей, естественно, волновался. Из редких семинаров при райкоме Андрей в принципе знал общую структуру таких выступлений. Он знал, что в общей части выступления необходимо было коснуться стандартных тем — о ценностях социализма, о роли партии, об обязанностях членов ВЛКСМ, об идеологическом воспитании молодежи, о противостоянии

[18] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

коммунистической и буржуазных идеологий и так далее. Затем он должен был упомянуть текущие решения партии и правительства, связать их с текущей работой их НИИ, остановиться на достижениях и недостатках в работе комсомольской организации института, отметить работу конкретных комсоргов и комсомольских групп некоторых отделов, изложить планы комитета на будущий год и так далее[19]. Написать все это было непросто, тем более что писать надо было в жанре авторитетного языка, с использованием стандартных фраз, выражений и грамматических конструкций. Не имея опыта подобного сочинительства, Андрей обратился за помощью к Александру, позвонив ему в райком. Александр ответил ему по телефону: «Слушай, не ломай голову. Найди мой старый текст в архиве комитета и возьми его за основу. Что-то можешь оттуда скопировать. Остальное напишешь сам. Будут проблемы, я помогу»[20]. Андрей так и поступил, взяв за основу своего первого выступления (1982 года) речь Александра, произнесенную им в 1978 году. По словам Андрея, «с тех пор я писал все свои тексты именно так. И все, кто писал после меня, делали то же самое».

Слушатели Андрея не могли заметить, что часть его выступления является почти полным повторением конкретного выступления, прозвучавшего на аналогичном собрании несколькими годами раньше. Ведь одной из главных черт авторитетного дискурса была его ярко выраженная цитируемость и интертекстуальность вообще, а значит, похожесть фраз, выражений и целых кусков текста и так всеми ожидалась. Конечно, Андрей не мог просто скопировать весь текст Александра, ведь от него требовалось упомянуть новый пленум ЦК, недавние партийные инициативы, текущие события в деятельности института и так далее. Текст должен был звучать согласно фиксированному стандарту авторитетного дискурса, но при этом быть связан с текущим моментом и контекстом. Необходимо было балансировать между стандартной формой и конкретными фактами. Как же Андрей подошел к решению этой задачи?

Для ответа на этот вопрос сравним несколько фрагментов из выступлений Андрея и Александра, а также сравним их с другими

[19] Там же.

[20] Там же.

авторитетными текстами того периода, которые широко циркулировали в советской печати. В следующих отрывках совпадающие места подчеркнуты[21]:

> *Из выступления Александра, 1978 год:*
> Одна из главных задач комсомола — идейно-политическое воспитание молодежи. Основным средством ее решения является всесоюзный ленинский зачет и система комсомольского политпросвещения.

> *Из выступления Андрея, 1982 год:*
> Одним из важнейших направлений работы комсомола является идейно-политическое воспитание молодежи. Формирование марксистско-ленинского мировоззрения, непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали, воспитание юношей и девушек в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма — вот первейшие задачи, стоящие перед идеологическим активом нашей комсомольской организации. Основными средствами решения задач идейно-политического воспитания молодежи являются всесоюзный Ленинский зачет и система комсомольского политического просвещения.

В этом параграфе, как и во всей речи, объясняет Андрей, он сначала скопировал у Александра общую структуру и некоторые выражения, после чего отдельные фразы он слегка изменил и добавил несколько новых фраз, «чтобы не чувствовать себя попугаем»[22]. В приведенном отрывке Андрей заменил слово «задач» на слово «направлений» и заменил именительный падеж творительным. В итоге «одна из задач» стала «одним из направлений». Фраза осталась в рамках стандарта, а дословный смысл ее не изменился. Далее, составное существительное «политпросвещения» он заменил на его развернутую форму «политического просвещения». Поскольку между двумя предложениями

[21] Оба текста взяты из домашнего архива Андрея К. и использованы с его разрешения. Андрей прокомментировал их во время авторского интервью с ним.

[22] Там же.

в отрывке Александра Андрей вставил новое предложение (начинающееся словом «формирование»), ему пришлось изменить третью фразу в своем отрывке, добавив к ней «задач идейно-политического воспитания молодежи», что позволило вновь связать текст с «задачами» («направлениями»), упомянутыми выше.

Новых предложений (типа предложения, начинающегося со слова «формирование») Андрей вставил в свой текст немало, напоминая самому себе, что он сделал часть работы сам. Насколько оригинальными были эти добавления? Легко показать, что абсолютно каждое из добавленных предложений в очень близкой форме встречается в многочисленных текстах авторитетного жанра того времени, и Андрей мог без труда найти их в газетах и партийных бюллетенях. Например, в новом предложении Андрея в вышеприведенном отрывке содержится фраза «непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали». Эта фраза является очевидным штампом авторитетного дискурса тех лет, который повторяется в различных, близких по форме вариантах в многочисленных газетных статьях. Случайным примером может служить передовица «Правды» за 1977 год, которую мы разбирали в главе 2. Фраза из параграфа 9 того текста гласит: «непримиримое отношение к любым проявлениям буржуазной идеологии, политического неблагоразумия и самодовольства». Другая фраза, которую Андрей добавил сам, — «образование юношей и девушек в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма» — тоже имеет массу аналогов в публикациях тех лет. Например, в книге о комсомоле, упомянутой в главе 2, эта фраза звучит так: «образование молодежи в духе коммунистической идеологии, советского патриотизма, интернационализма»[23].

Очевидно, что в процессе подготовки своей речи Андрей старался максимально воспроизвести распространенные формы авторитетного языка. Для этого он копировал целые куски из речи Александра, добавлял к ним стандартную фразеологию из партийных публикаций и печати и составлял свои собственные новые фразы, руководствуясь стандартными лингвистическими приемами этого языка. Андрей прекрасно понимал, что он должен следовать стандартной и неизменной форме на

[23] Andreyev 1980.

всех уровнях текста, от общей нарративной структуры до грамматики и фразеологии отдельных предложений. Оставаясь личным текстом Андрея, это выступление должно было как можно меньше походить на уникальный продукт индивидуального творчества.

Школьные комсорги и секретари комитетов

Низшую ступень в иерархии комсомольского руководства занимали комсорги и секретари комитетов малых организаций района — например, средних школ. Кто и как становился комсоргом? Такой человек совсем не обязательно проявлял какую-то выдающуюся идеологическую активность или «благонадежность» в глазах руководства. Часто им становился хороший ученик, или просто человек, который любил заниматься организацией всевозможных мероприятий, или человек, которого учителя и товарищи по классу воспринимали как безотказного. Большинство учащихся пыталось избежать должности комсорга. Хотя эта должность давала определенные преимущества (комсорг мог пользоваться особым расположением учителей и уважением учеников, хотя и не гарантированно), она предполагала и массу неприятных обязанностей и последствий — повышенную ответственность, подчас за действия других, однообразную рутинную работу и так далее. Неудивительно поэтому, что обычно один и тот же человек переизбирался на пост комсорга из года в год.

Марина, 1968 года рождения (Ленинград), начала свою политическую карьеру в начальных классах школы, сначала в качестве звеньевой *октябрятской звездочки*, а позже — председателя пионерского отряда класса[24]. В возрасте 12 лет, когда Марину и большинство ее одноклассников приняли в комсомол, один из преподавателей, одновременно являвшийся *классным руководителем* класса, в котором училась Марина, предложил ее на должность комсорга, и ученики ее единогласно выбрали. Этот выбор был очевиден для всех: Марина уже давно была вовлечена

[24] В организацию октябрят входили дети от 7 до 10 лет; в пионерскую организацию — дети от 10 до 14 лет. Членами ВЛКСМ могли быть люди от 14 до 28 лет.

в подобную работу, неплохо с ней справлялась и явно ее любила, а других желающих стать комсоргом не было. Сама Марина считает, что подходящим кандидатом на этот пост она оказалась благодаря некоторым особенностям своего характера: «Я существо общественное и не люблю оставаться одна», — говорит она, и: «Мне кажется, что я всегда производила впечатление человека, который подходит для такой работы, человека надежного и имеющего склонность заниматься общественной жизнью»[25].

Люба была на десять лет старше Марины. Она родилась в 1958 году и окончила ленинградскую школу в середине 1970-х. В школе Люба занимала пост комсорга в девятом и десятом классах, и это повлияло на ее избрание комсоргом группы на первом курсе вуза, в который она поступила после школы. По словам Любы, «если ты когда-то работал комсоргом, то на тебе было клеймо человека, который воспитан определенным образом, вхож во все дела и, так сказать, понимает, что к чему». Когда Люба поступила в институт, руководитель ее студенческой группы (один из преподавателей), узнав о ее школьном опыте комсорга из ее личного дела, «сразу сказал мне, что он рассчитывает на мое участие в комсомольской жизни группы. На первом собрании группы он предложил меня на пост комсорга, и, разумеется, меня тут же выбрали»[26].

Подобный опыт комсомольской работы и ее преемственности, естественно, не ограничивался Ленинградом, а повторялся по всей стране. Маша родилась в 1970 году в Калининграде, где и окончила школу. В восьмом классе школы ее выбрали комсоргом класса, а уже в девятом классе она заняла более высокий пост, войдя в комсомольский комитет школы. Маша, как и Андрей, упоминавшийся выше, быстро поняла из практики комсомольской работы, насколько важным в этой работе является точное воспроизводство формы авторитетного дискурса. Первый урок этого она получила довольно рано, еще в возрасте 10 лет, когда весь ее класс готовился к церемонии вступления в пионерскую организацию. Ученикам дали задание оформить личную «пионерскую книжку» — ученический альбом, в который надо было скопировать

[25] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

[26] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

Рис. 6. Комсомольское собрание группы в вузе.
© РИА «Новости»/МИА «Россия сегодня»

текст пионерской клятвы и который надо было по своему усмотрению оформить рисунками и изображениями советской символики (красными флагами, звездами, серпами и молотами и так далее). Мать одного из одноклассников Маши, профессиональная художница, нарисовала в пионерской книжке своего сына красивый портрет Ленина в круглой золотой рамке, окруженный пшеничными колосьями и красными знаменами. Маша вспоминает:

> Мне так понравился этот рисунок, что я попросила у этого мальчика разрешения его перерисовать. Я взяла его тетрадь домой и рисовала целый день. Самым трудным было нарисовать лицо Ленина. Я рисовала, стирала, опять рисовала, и так много раз... Наконец я закончила и раскрасила свой рисунок. Мне казалось, что он получился очень красивым. На следующий день была торжественная церемония [принятия в пионеры], и все ребята принесли в школу свои книжки. Когда учительница посмотрела на мой рисунок, она вдруг сказала при всех: «Маша, если ты не уверена, что умеешь рисовать портреты, то лучше не трогай Ленина. Можешь пробовать нарисовать кого-то другого, но Ленина не надо». Мне было очень стыдно[27].

Люба, о которой говорилось выше, была старше Маши на 12 лет и жила в другом городе. Но урок, который она однажды получила от своего учителя рисования, был удивительно похож:

> Я неплохо рисовала в школе и всегда получала хорошие отметки по рисованию. Однажды для выставки, посвященной юбилею пионерской организации, я нарисовала портрет Ленина в красном пионерском галстуке. Мне хотелось, чтобы мою работу повесили на выставку, но учитель рисования, к моему удивлению, сказал: «Я поставлю тебе отлично, но на выставку давать твой рисунок мы не будем. И не показывай его никому. Только настоящие художники могут рисовать Ленина. Его надо рисовать очень хорошо»[28].

[27] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1996 год.

[28] Авторское интервью, 1994 год.

Для Маши и Любы слова учителей стали неожиданностью, и они их запомнили надолго. Они думали, что, нарисовав портреты Ленина, они проявили уважение и верность его заветам. Но учителей волновало другое — они не хотели, чтобы ленинские изображения, нарисованные детьми с неизбежными искажениями, были выставлены на всеобщее обозрение. Из учительских комментариев видно, что проблема была не в том, что дети не умели профессионально рисовать портреты вообще, а в том, что это неумение проявилось именно в портрете Ленина. Возможно, учителя боялись, что подобные рисунки, выполненные их учениками, могли быть поняты как проявление идеологической невнимательности, а может и неблагонадежности, самих учителей. Но этими опасениями реакция учителей не исчерпывалась. Было еще и ощущение того, что изображения Ленина — это нечто особенное, нечто выпадающее из ряда других идеологических символов советской системы. Ленина, в отличие от других символов, нельзя было искажать, поскольку в этом проявлялись не просто невнимательность или неумение, а некое особенное кощунство, нарушающее общий порядок вещей.

Что касается учеников, то они впервые столкнулись в этих случаях с важнейшим принципом советской идеологической системы, согласно которому «Ленин» функционировал в этой системе не просто как один из идеологических символов, а как ее основной, организующий *символ*, стоящий над всеми другими символами и высказываниями. Этот «господствующий символ» (*master signifier*) не мог быть поставлен под сомнение в рамках советского авторитетного дискурса. Напротив, любое высказывание на этом дискурсе могло рассматриваться как легитимное только при условии, что оно строилось на основе ленинского учения или функционировало как цитата из его высказываний. То есть любое авторитетное высказывание в советском идеологическом пространстве было, по определению, *вторично* по отношению к символической фигуре «Ленин». Поэтому образы Ленина, как и цитаты из его текстов и выступлений, не могли быть представлены как *личная интерпретация* художника или писателя. Их нельзя было изображать в форме, которая *случайным образом* отличается от зафиксированного стандарта. Напротив, образы «Ленина» должны были функционировать как непосредственные, прямые *отпечатки* с оригинала. Именно поэтому только

официально санкционированные художники могли работать над изображениями Ленина, используя для этой работы его посмертную маску или слепок головы — прямые материальные продолжения его реального, физически воплощенного «я»[29].

Вернемся к комсоргу Маше из Калининграда. В девятом классе Маша стала членом комсомольского комитета школы, возглавив в нем работу по учету успеваемости. К ее новым обязанностям добавилась необходимость выступать на общих комсомольских собраниях школы. Составляя тексты для этих выступлений, Маша впервые близко столкнулась со структурными особенностями авторитетного дискурса и усвоила, насколько важно было четко воспроизводить его форму. Маша рассказывает о том, как она готовила тексты на этом языке: «Закончив писать свой текст, я бы не могла его пересказать своими словами. Но я чувствовала, как и все, что он звучит правильно. Вообще звучание этого языка меня впечатляло с детства; он звучал серьезно и непонятно»[30].

Инцидент с портретом Ленина, вызвавший ощущение стыда перед другими, а затем и опыт работы комсоргом класса все больше уверяли Машу в том, что для написания текстов в авторитетном жанре, по ее словам, «нельзя заниматься сочинительством». Вместо этого надо уметь воспроизводить стандартные термины и формулировки, большинство из которых нетрудно найти в печати. Работая над своими выступлениями, объясняет Маша, она «сначала копировала несколько предложений из какой-нибудь газетной статьи на подходящую тему... переписывала ключевые фразы, которые могли мне пригодиться. А затем на их основе выстраивала свой текст»[31]. Приобретя опыт такого письма, Маша могла воспроизводить множество примеров особой терминологии, фразеологии и конструкций этого языка по памяти, не обращаясь к печатной продукции. Она даже выработала для себя довольно подробные грамматические приемы, позволяющие создавать новые фразы на этом языке. Хотя Маша рассматривала их как свои личные хитрости, эти приемы

[29] Подробнее о роли «Ленина» как господствующего означающего авторитетного дискурса см. в главе 2.

[30] Авторское интервью, 1996 год.

[31] Там же.

были удивительно похожи на общие принципы авторитетного дискурса, рассмотренные в главе 2, — они позволяли Маше скрывать свой авторский голос, кодировать новую информацию через устойчивые формы, менять темпоральность высказываний на прошедшую и так далее.

По словам Маши, в своих текстах она предпочитала заменять обычные выражения повседневной речи на «особые конструкции». Например, вместо конструкций «революция, которую *совершили*...» или «совершенная революция» она предпочитала фразу «*свершившаяся* революция», объясняя, что «так лучше звучало». Это благозвучие, однако, было вызвано тем, что во фразе *свершившаяся* революция революция описывается как событие, произошедшее само собой, по объективным законам истории, а не задуманное и совершенное какими-то конкретными людьми. Люди, делавшие революцию, предстают здесь, в лучшем случае, как посредники исторической необходимости, а не создатели исторической случайности. Важно, однако, что подобные языковые формы превращают голос пишущего из голоса автора, который формулирует собственные субъективные тезисы, создавая новую информацию, в голос ретранслятора, который повторяет некие «объективные» факты, общеизвестные еще до момента высказывания (см. главу 2).

Такое преобразование авторского голоса Маши в голос ретранслятора происходило и благодаря применению других принципов — например, замены простых определений на сложные или использования сравнительной или превосходной степени[32]. Маша вспоминает примеры *особых* фраз, которые она научилась использовать вместо *обычных* фраз: например, «*глубинный* смысл» вместо «глубокий смысл» или «*непреходящее* значение» вместо «большое значение». В первой фразе определение «глубинный», в отличие от «глубокий», подчеркивает не только факт глубины, но и ее особую степень (*глубинный* относится к наиболее глубоким частям глубокого). Определение «непреходящее», в отличие от «большого», не просто утверждает *важность* значения, но говорит об этой важности как о чем-то давно и неизменно существующем (*непреходящее* относится к чему-то постоянному, бесконечному, а значит, существующему до момента высказывания). Использование

[32] См. подробный анализ этого принципа в главе 2.

подобных специальных определений способствует созданию пресуппозиций — идей о том, что «глубина» и «значимость» события являются общеизвестными, априори существующими фактами, а не чьим-то личным мнением (подробнее см. главу 2).

Маша применяла и другие приемы, дающие аналогичные результаты. Например, она образовывала существительные из глаголов, заменяя обычные глагольные фразы на необычные номинативные. Кроме того, она выстраивала эти номинативы в длинные цепочки. Эти приемы, как мы видели в главе 2, также способствовали представлению новой информации в виде ранее известных фактов и изменению роли автора из создателя новой в ретранслятора известной информации. Маша приводит примеры фраз, которые она придумывала таким образом:

> Непреходящее значение победы рабочего класса в Великой Октябрьской социалистической революции невозможно переоценить.

Часть предложения перед словом «невозможно» представляет собой цепочку номинативных фраз, каждой из которых соответствует следующая базовая глагольная фраза, в которой содержится изначальный тезис: *рабочий класс одержал победу*; *победа имеет значение*; *это значение является непреходящим*; и так далее. Как было показано в главе 2, такой перевод глагольных фраз в номинативные приводит к созданию пресуппозиций. Если в глагольной фразе «*рабочий класс одержал победу*» факт победы заявляется как новый, субъективный и потому оспариваемый тезис, то в номинативной фразе «*победа рабочего класса*» факт победы представлен как объективный, всем известный и не поддающийся оспариванию факт.

Когда такие пресуппозиции выстраиваются в длинную цепочку — то есть ставятся в зависимость друг от друга, — это ведет к тому, что вся система темпоральности авторитетного дискурса не просто сдвигается в сторону прошедшего времени, а сдвигается одновременно на несколько различных ступеней прошлого. А такой многоступенчатый сдвиг в прошлое значительно увеличивает способность этого дискурса представлять любые, даже самые неожиданные, заявления как общеизвестные факты (см. анализ в главе 2).

Маша усвоила и множество других приемов авторитетного языка. Например, выступления на общешкольных собраниях по случаю какого-нибудь государственного праздника, по ее словам, желательно было начинать с длинного перечня успехов и достижений, которыми страна встречала этот праздник. И лучше было не использовать союз «и» перед последним элементом этого перечня, поскольку, объясняет Маша, «тогда возникало ощущение бесконечности списка достижений, что увеличивало его важность». Маша приводит пример:

> Советские люди в едином трудовом порыве встречают годовщину Великого Октября новыми достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, в науке, культуре, образовании.

Эти примеры показывают, что Маша довольно успешно воспроизводила форму авторитетного дискурса на всех уровнях языковой структуры — в лексике, фразеологии и грамматических конструкциях, в организации темпоральности и репрезентации авторского голоса. Как уже говорилось, настолько четкое следование форме авторитетного дискурса не было лишено смысла: оно давало говорящему доступ к тому, что Пьер Бурдье назвал «делегированной властью», которую некий институт делегирует официальному представителю, говорящему от его имени[33]. Чем в большей степени язык текстов и докладов Маши соответствовал форме авторитетного дискурса, тем в большей степени она оказывалась в позиции уполномоченного представителя государственного института, *комсомола* и тем большей делегированной властью этого интститута она наделялась. Это не только давало Маше определенные преимущества в системе государственных властных отношений, например, потенциально повышая шанс ее поступления после школы в вуз, но, что немаловажно, также повышало ее относительную независимость от контроля учителей. Делегированная власть идеологических институтов государства (таких, как комсомол или партия) могла в некоторой степени освобождать человека от контроля со стороны других, неидеологических государственных институтов (мы увидим примеры этой динамики

[33] Bourdieu 1991: 107.

властных отношений ниже). Как вспоминает Маша, «я старалась использовать как можно больше избитых идеологических фраз. Тогда учителя меня реже критиковали за недочеты в моей деятельности» (на посту секретаря по успеваемости)[34].

Маша достигла высокого мастерства в воспроизводстве стандартной, *гипернормализованной* формы авторитетного языка. Фиксированность форм этого языка позволяла им вырываться из исходного контекста, открывая тем самым пространство для создания новых непредсказуемых смыслов[35], а значит, для личного творчества и воображения. Благодаря этой черте авторитетного дискурса Маша имела возможность наделять свою комсомольскую деятельность идеями, которые отличались от официально заявленных в комсомольских высказываниях и правилах. Хотя эти новые смыслы комсомольской деятельности обычно не противоречили коммунистическим ценностям и идеалам вообще, они, тем не менее, могли не совпадать со стандартной интерпретацией этих ценностей и идеалов.

Например, в обязанность Маши как члена комсомольского комитета входила организация системы шефства, в рамках которой те ученики, которые лучше других успевали по какому-то предмету, помогали отстающим. Для начала Маша по собственной инициативе решила организовать общешкольную систему сбора информации об успеваемости учеников разных классов по разным предметам. Получив доступ к классным журналам учителей, она построила сводную школьную таблицу успеваемости по всем предметам за несколько прошедших четвертей, что дало ей возможность проводить сравнительный анализ между классами, предметами и учителями и выявлять скрытые тенденции. Поначалу эта деятельность выглядела скучной формальностью, нужной только для отчетности и ни на что конкретное не влияющей. Но вскоре оказалась, что сводный анализ, проводимый Машей, имел неожиданно полезные результаты, поскольку благодаря ему удалось запустить более-менее работающую систему шефства между учениками школы и тем самым повысить общую успеваемость. Маша воспринимала эту работу как «важную

[34] Авторское интервью, 1996 год.

[35] См. главы 1, 2.

и осмысленную» по крайней мере по двум причинам: во-первых, она действительно имела вполне осязаемый положительный результат и, во-вторых, благодаря ей Маша получила определенную степень независимости от учителей и уважение в их глазах. Она вспоминает:

> В конце каждой четверти я садилась с классными журналами, выводила средний балл по оценкам, подсчитывала процентное соотношение, а затем писала общий отчет с анализом успеваемости учащихся по школе в целом. Мне это делать нравилось, и в школе мою работу начали признавать и уважать. Копию моего отчета отдавали директору школы... У меня сложились хорошие отношения с учителями. Иногда они просили меня посмотреть какой-нибудь результат в моем архиве... Вообще, эта работа пошла на пользу образовательному процессу.

«Чистая проформа» и «работа со смыслом»

Андрей, секретарь комитета комсомола одного из ленинградских НИИ, о котором речь шла выше, постепенно усвоил из опыта своей комсомольской деятельности, что множество «бессмысленных» бюрократических процедур, которые он терпеть не мог, но в которых был вынужден участвовать, в действительности несло и некий положительный смысл — в контексте этой бесконечной рутины, и даже благодаря ей, могло быть организовано и множество положительных и важных, с точки зрения Андрея, сторон советской жизни. В качестве примера он называет «особую этику» отношений, существовавшую в среде его молодых коллег, для которых важными ценностями были социальное обеспечение, бесплатное образование, поддержка молодежи в ее профессиональной деятельности и «вообще, вполне реальная забота о будущем». Андрей научился разделять комсомольскую деятельность, которую ему приходилось организовывать, на два типа. Первый тип деятельности можно было выполнять, не вдаваясь слишком подробно в ее буквальный смысл. Ее Андрей называл «чистой проформой» или

«идеологической шелухой» и занимался ею формально, для отчетности. Второй тип деятельности был прямой противоположностью первого. Андрей называл его «работой со смыслом», считал по-настоящему важным и общественно полезным, проявлял повышенное внимание именно к его *буквальному* смыслу и занимался им с удовольствием и вполне творчески. Временами эта «работа со смыслом» совпадала с буквальным смыслом провозглашенных идеологических задач комсомольской организации, а временами нет.

«Чистая проформа» включала в себя рутинные задания, «спущенные» из райкома, формальные выступления на собраниях, проведение *ленинских зачетов*, всевозможные проверки, составление отчетов об этой деятельности и так далее. Эта работа ни у кого не вызывала особого энтузиазма и в принципе сводилась к воспроизводству формы авторитетного дискурса в отчетах и выступлениях, без особого внимания к *констатирующему смыслу* этих документов и практик. Однако неверно было бы рассматривать эту формальную деятельность как бессмыслицу. Скорее, она приобрела в повседневном существовании новое важное значение, заключавшееся в создании необходимого контекста, внутри которого могла формироваться иная, «нормальная» жизнь — то есть жизнь относительно свободная от идеологии и государственного контроля, которая при этом совсем не обязательно воспринималась как противопоставление социализму или государству.

На практике, *чистая проформа* и *работа со смыслом* создавали условия друг для друга, и подчас их было непросто разделить. Андрей, как и комсорг Маша из предыдущей части, прекрасно понимал, что заниматься работой со смыслом можно только при условии, что выполняется чистая проформа, то есть произносятся стандартные речи, распределяется полуфиктивная общественная нагрузка, составляются отчеты о непроведенных политинформациях, на собраниях звучат заранее подготовленные «спонтанные» реплики из зала, принимаются заранее подготовленные решения и тому подобное[36]. Андрей научился сводить

[36] Система, согласно которой решения собраний заготавливались заранее, повторялась и на других уровнях комсомольской иерархии, включая пленумы ЦК (см., например: Solnick 1998: 85).

чисто формальную деятельность до возможного минимума, так чтобы она продолжала создавать необходимые условия для занятий работой со смыслом, не отнимая при этом слишком много времени и сил.

Из вышесказанного следует двоякий вывод. С одной стороны, понимание Андреем задач и ценностей комсомольской организации подчас сильно отличалось от того смысла, который официально в них вкладывался. С другой стороны, то, что идеологическая деятельность Андрея приобретала новый неожиданный смысл, совсем не означало, что он саботировал коммунистические идеалы как таковые или отрицательно относился к Советскому государству. Напротив, как парадоксально это ни звучало бы сегодня, для Андрея «идеологическая шелуха» и «работа со смыслом» были двумя сторонами одной медали — вещами не просто неразделимыми, но взаимообразующими. Именно в совокупности чисто формального отношения к одному виду деятельности и увлеченного занятия другим и состоял, по мнению Андрея, непростой процесс диалектического развития — процесс, который, несмотря на обилие бюрократической шелухи и проформы, все же шел, по его тогдашнему мнению, более-менее верно, в соответствии с тем, что он считал положительными моральными принципами, и в сторону правильного будущего.

В чем же именно заключалась для Андрея «работа со смыслом» и как она велась? К этой работе, объясняет он, относились, в первую очередь, различные виды профессиональной и общественной деятельности. Например, «система наставничества», которую комитет комсомола НИИ организовал по инициативе Андрея:

> Когда на работу принимался новый молодой сотрудник, мы через комитет комсомола прикрепляли к нему наставника из числа людей с бо́льшим опытом работы, который передавал ему свои профессиональные знания и навыки... чтобы новичок не терялся и не чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Эта система неплохо работала и пользовалась успехом в институте.

К «работе со смыслом» также относилось регулярное проведение конкурсов профессионального мастерства среди разных категорий молодых сотрудников — рабочих, проектировщиков, инженеров, научных

работников. Андрей участвовал в организации этих конкурсов с удовольствием, и они, по его словам, «вызывали большой интерес в институте» и «были полезны и по делу». Особым примером «работы со смыслом» для Андрея было создание музея, посвященного участию института в Великой Отечественной войне. Для этой задачи Андрей организовал группу молодых сотрудников, которые занимались сбором материала для музея, устройством экспозиций к праздникам и приглашением ветеранов института на встречи, где те рассказывали о фронтовом опыте, и так далее. «Иногда эти встречи были скучными, а иногда очень живыми и интересными», — вспоминает Андрей. Ему также нравилось решать социальные проблемы и организовывать то, что он называет «нормальной жизнью»: например, помогать молодым семьям устраивать детей в детские сады, организовывать работу молодежи института по благоустройству институтского пионерлагеря, проводить субботники по уборке территории института, подбирать людей для осенних поездок в подшефный колхоз для помощи в сборе овощей, проводить спортивные состязания среди молодых сотрудников института, устраивать празднования юбилеев, профессиональных праздников, Нового года, организовывать совместные походы, поэтические вечера, дискотеки и даже концерты любительских рок-групп.

Все это Андрей делал не просто как хороший организатор, а именно как секретарь комитета комсомола, оформляя эту деятельность в документах и отчетах как «комсомольско-молодежную работу» среди молодых сотрудников института и используя для нее ресурсы комсомола. Райком отметил эту деятельность Андрея несколькими почетными грамотами — «За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи» и «За успехи в комсомольско-молодежной работе». Этими грамотами Андрей искренне гордился. Когда он работал в институте, грамоты висели на стене комитета комсомола, а после его ухода из института, в конце 1980-х годов, он повесил их над письменным столом у себя дома, где они продолжали висеть в середине 1990-х годов (когда автор встречался с ним для интервью). Для Андрея эти грамоты были не пустыми идеологическими символами, полученными за никому не нужную деятельность, а знаками признания его организаторского таланта, творческих заслуг и искренней заботы об общем благе.

Способность Андрея отличать работу со смыслом от чистой проформы не ограничивалась конкретными делами. По словам Андрея, в те годы он «верил в саму идею» коммунизма, которую для него олицетворял Ленин, но при этом «ненавидел притворный формализм», в который эта идея постоянно облекалась. Он считал, что необходимо было освободить ленинские идеи от этого формализма и что такое освобождение не только возможно, но и неизбежно. Когда это произойдет, думал он, все наладится. Андрей вспоминает:

> Мы воспитывались с сознанием того, что Ленин был чем-то святым. Ленин был символом чистоты, искренности, мудрости. Без вопросов. Мне казалось, что все проблемы в нашей жизни были вызваны более поздними искажениями изначальных ленинских принципов, порочным и кровавым режимом Сталина, этим умалишенным Брежневым и так далее. Я был уверен, что, если мы вернемся к истинным идеям Ленина, все снова встанет на свои места. В те годы [конец 1970-х — начало 1980-х] многие думали, что, если бы Ленин был жив, он бы исправил все то плохое, что происходило[37].

В этих словах Андрея вновь проявляется особая роль символа «Ленин», как господствующего означающего советского авторитетного дискурса — означающего, которое находится «за пределами» этого дискурса, выполняя по отношению к нему роль внешней объективной истины, независимой точки отсчета, посредством которой легитимируются все остальные символы и понятия этого дискурса (см. главу 2).

Позднее, в середине 1980-х годов, когда Адрей стал членом КПСС, он стал различать два значения понятия *партия*, — подобно тому, как ранее, в своей комсомольской деятельности, он отличал работу со смыслом от чистой проформы. Андрей объясняет:

> Я безусловно верил в то, что партия — это единственная организация, которая действительно знает, что надо делать. Но при этом я разделял партию на простых людей и партийный аппарат.

[37] Так размышляли и Горбачев, начиная в середине 1980-х перестроечные реформы, и большинство советских людей того времени (см.: Юрчак 2007, Yurchak 2007).

Первая группа (*простые люди*) включала большинство людей, которые, по словам Андрея, «честно работали и были хорошими, умными и душевными». Ко второй группе относилась инертная бюрократическая группа аппаратчиков из райкомов и горкомов — люди, «прогнившие изнутри и искажавшие хорошие идеи и принципы». Андрей был убежден, что «если бы мы избавились от этих аппаратчиков или как-то уменьшили их влияние, тогда партия естественным путем стала бы работать намного лучше»[38].

Разнообразная деятельность и взгляды Андрея указывают на одну важную черту идеологической системы, которая сформировалась в период позднего социализма — идеи и отношения, которые с первого взгляда могли бы показаться взаимоисключающими, в действительности были способны сосуществовать как единое целое. Например, явное отчуждение от однообразной идеологической деятельности, бессмысленной коммунистической риторики и прогнившей партийной бюрократии вполне могло сочетаться в одном человеке с верой в коммунистические идеалы и искренней вовлеченностью в деятельность, которая воспринималась как способ их достижения. Своими взглядами и деятельностью Андрей, скорее всего, отличался от большинства молодежи. Но он не был и абсолютным исключением.

Другим представителем этого поколения, который был моложе Андрея, но во многом похож на него, был Игорь Р. Игорь родился в 1960 году в городе Советске, Калининградской области. После окончания школы в Советске в 1977 году Игорь уехал учиться в технический вуз в Ленинграде. В старших классах школы Игорь в течение нескольких лет подряд занимал пост комсорга класса. На этой работе он, как и Андрей, научился проводить различие между работой со смыслом и идеологической проформой, и у него тоже выработалось двоякое отношение к комсомольской деятельности. Презирая ее нудный и бессмысленный формализм, он, в то же время, со страстью отдавался той части этой деятельности, которая, по его мнению, была пронизана духом коллективизма и заботой об общем благе. Вспоминая о крупных комсольских собраниях в ленинградском вузе, Игорь говорит: «Как я ненавидел эти

[38] Авторское интервью, 1995 год.

комсомольские собрания за их бесконечный формализм и скуку!»[39] Подобно большинству своих товарищей, сидевших в зале, он старался обращать как можно меньше внимания на происходящее, придумывая для себя другие занятия:

> Если это было большое собрание [школы, института или факультета], на котором присутствовало человек сто или больше, я всегда брал с собой книгу — какой-нибудь учебник или словарь или что-то в этом роде. Во время собрания я читал или занимался. Мне было совершенно не важно, какие решения принимались на собрании, потому что, как и все, я прекрасно понимал, что эти решения были приняты заранее. Собрание нужно было просто «отсидеть». ...Разговаривать во время его было сложно, тебе могли сделать замечание, поэтому лучше всего было читать. Все читали. Абсолютно все. Выглядело это смешно — как только начиналось собрание, головы в зале опускались и все начинали читать. Кто-то даже засыпал. Но если надо было проголосовать, головы тут же поднимались. Когда ты слышал вопрос «Кто за?», у тебя в голове срабатывал какой-то датчик и ты автоматически поднимал руку[40].

И все же, несмотря на то что Игорь чувствовал явное отчуждение от скучного формализма собраний, выступлений и голосований, потерявших буквальный смысл в глазах участников, он оставался в душе верен многим идеалам и ценностям социализма, олицетворением которых для него, как ни парадоксально, оставался комсомол. Игорь, как и Андрей, интуитивно понимал, что участие в чисто формальных и, казалось бы, бессмысленных ритуалах все же имело определенный важный смысл, поскольку оно создавало условия для существования других, положительных и творческих аспектов советской реальности. В то же время, подобно Андрею, он сознавал, что надо сводить эти бессмысленные идеологические формальности к минимуму и в конце концов избавиться от них вообще, сохранив при этом положительные ценности советской

[39] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

[40] Там же.

Рис. 7. Комсомольское собрание в актовом зале школы, 1983 г.
Из личной коллекции Сергея Лахно

Рис. 8. То же происходило и на больших партсобраниях.
На фото — партсобрание представителей райкомов и парткомов предприятий города в актовом зале Смольного дворца. Ленинград, 1 января 1980 г. На переднем плане человек, читающий журнал или книгу.
© РИА «Новости»/МИА «Россия сегодня»

жизни. «Работа со смыслом» для Игоря, как и для Андрея, имела отношение именно к этим положительным чертам реальности. Она могла включать в себя, по его словам, самые разные *общие* виды деятельности: организацию политинформаций, литературных вечеров, диспутов на морально-философские темы, системы помощи пенсионерам и так далее. Именно ради этой работы он несколько лет подряд добровольно выдвигал свою кандидатуру на пост комсорга сначала в школе, а затем в институте. Взгляды Игоря могут показаться еще более идеалистическими и, возможно, провинциальными, чем взгляды Андрея. Однако ни Игорь, ни Андрей не были абсолютными исключениями. Позже, в постсоветские годы, Игорь объяснял те идеалы и то понимание жизни, которые у него были в советский период, своим семейным воспитанием. Он вспоминал:

> Я был активным комсомольцем, потому что я хотел быть в авангарде молодежи, который пытался улучшить жизнь... Мне казалось, что если ты следуешь верной схеме — школа, институт, работа — у тебя все будет в порядке. ...Лично я был уверен, что руководство страны проводит в общем верную политику. Для меня она состояла в заботе о людях, в обеспечении бесплатных больниц и хорошего образования. Пример моего отца подтверждал это. Он был главным врачом района [в Советске, Калининградской области] и много делал для улучшения медицинского обслуживания людей. Моя мать тоже работала доктором в местной больнице и всегда подходила к своей работе с большой ответственностью. У нас была хорошая государственная квартира. И так далее[41].

Другой представитель этого поколения, тоже активно участвовавший в комсомольской деятельности, Михаил К., 1958 года рождения, в конце 1970-х — начале 1980-х годов был комсоргом сначала в старших классах школы, а затем в студенческой группе ленинградского вуза. Позже, в середине 1990-х годов, Михаил анализировал отношение к советской реальности, которое было у него до перестройки, как явно парадоксальное

[41] Там же.

и идеалистическое. Его понимание советской действительности постепенно менялось в годы перестройки и к 1990 году изменилось совсем. Именно тогда, говорит он,

> ...я пришел к невероятному осознанию того, что со мной происходило раньше [до перестройки]. Мне вдруг стало ясно, что, в общем-то, я всегда сознавал, что часть партийной верхушки была глубоко прогнившей. Хотя я и был комсоргом в школе, не могу сказать, что комсомол меня сильно увлекал. Речи Брежнева по телевизору меня смешили так же, как и всех, а иногда вызывали отвращение. Как и все, я рассказывал политические анекдоты. И я, естественно, понимал, что Сталин — это плохо. И тем не менее, несмотря на все это, у меня всю жизнь, начиная, наверное, с детского сада, было четкое убеждение, что социализм и коммунизм — это хорошо и правильно. ...Я всегда верил, что *сама идея* глубоко верна и что так и должно быть. Конечно, я понимал, что были искажения и наслоения. Но мне казалось, что если нам удастся от них избавиться, то все будет хорошо. ...В какой-то момент [до 1985 года] у меня появилась уверенность, что я все понял про жизнь и что мое мнение больше не может измениться[42].

Рядовые комсомольцы

Мы рассматривали до сих пор активных комсоргов и секретарей комитетов комсомола — то есть руководителей нижнего звена ВЛКСМ. А как относились к идеологической стороне советской жизни рядовые члены комсомольской организации, никогда не занимавшие руководящих постов? Кое-что об этом мы уже услышали от Игоря, описавшего атмосферу на больших комсомольских собраниях. Рассмотрим еще несколько примеров. Тоня Б., 1966 года рождения[43], как и подавляющее большинство ее ровесников в начале 1980-х годов, была рядовым членом ВЛКСМ. Она не относилась к активной части комсомольской

[42] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

[43] Мы встречались с ней в начале главы 1.

молодежи и как могла старалась избегать комсомольских поручений. И тем не менее то, как Тоня описывает свое отношение к идеологическим аспектам повседневности, во многом напоминает отношение людей, с которыми мы уже столкнулись. Как и эти люди, Тоня проводила различие между моральными ценностями повседневного социализма, которые она в общем-то считала серьезными и правильными, и бесконечной рутиной и фикцией собраний и речей, которые вызывали у нее отчуждение и неприязнь. С одной стороны, вспоминает Тоня, она видела, насколько искажены были многие идеалы, с другой — она видела множество примеров подлинного воплощения этих идеалов в жизнь, и у нее всегда «оставалось ощущение того, что мы живем в лучшей стране мира»[44]. Как и большинство ее сверстников, Тоня слушала и рассказывала анекдоты, многие из которых комментировали советскую реальность не в лучшем свете. При этом важно, что, хотя большинство анекдотов вызывало у нее смех, были и такие, которые оставляли неприятный осадок. Некоторые из них она даже могла слушать, но рассказывать их самой ей было неприятно. Причем дело было не в страхе перед системой, а в ощущении внутреннего морального дискомфорта, который некоторые анекдоты у нее вызывали. Например, Тоне казалось абсолютно нормальным слушать или повторять анекдоты, в которых с издевкой говорилось о советском политическом руководстве тех лет. Однако рассказывать анекдоты про Ленина — точнее, те анекдоты про Ленина, в которых он сам был объектом насмешки, — ей было неприятно. Тоня вспоминает: «Когда я заканчивала школу [в 1983 году], мой младший брат был еще маленьким и не понимал многих вещей. Как-то он рассказал мне анекдот про Ленина. Я была ошарашена и сказала ему: "Знаешь что, можно, конечно, смеяться над Брежневым, но вот над Лениным смеяться нехорошо"»[45].

Последняя реплика вновь напоминает замечание из более ранних примеров, когда школьные учителя рисования объясняли своим ученикам, что непрофессиональные портреты Ленина, в отличие от других портретов, неприемлемы именно с *моральной* точки зрения.

[44] Авторское интервью, 1994 год, Санкт-Петербург.

[45] Там же.

Это отношение Тони к «Ленину» не обязательно означало, что она положительно относилась ко всем идеологическим высказываниям или проявлениям советской жизни. Она, как Андрей и Игорь, относилась негативно ко многим сторонам идеологической жизни, не распространяя, тем не менее, это отношение на Ленина. Руководство партии, аппаратчики, райкомовские бюрократы, Брежнев воспринимались этими людьми как исказители чистых моральных принципов, а Ленин при этом воспринимался как олицетворение этих принципов. Неудивительно поэтому, что, хотя политические анекдоты про Ленина имели хождение в те годы, их было значительно меньше и рассказывали их значительно реже, чем анекдоты про других политических деятелей и персонажей[46].

При этом Тоня вспоминает, что под влиянием родителей и особенно своего критически настроенного родственника, дяди Коли, у нее со школьных лет выработалось осознание того, что в «идеях, выражавшихся партийным языком, была заключена некая лживость». Тоня недолюбливала свою школьную учительницу истории за то, что та, по словам Тони, слишком усердно использовала партийную фразеологию и слишком восторженно относилась «к нормам коммунистической морали»[47] — Тоня сознательно использует штамп авторитетного дискурса, чтобы подчеркнуть формализм подобных высказываний, создававший впечатление, что учительница либо кривит душой, либо не слишком умна. Согласно тогдашнему пониманию Тони, честный человек мог верить в коммунизм, но должен был быть критически настроен по отношению к партийным бюрократам и приспособленцам, которые рьяно и бездумно повторяли лозунги и следовали правилам, таким образом, по ее словам, «искажая саму идею».

«Маленькие хитрости»

Эта парадоксальная динамика отношений между авторитетным дискурсом и идеологической практикой делала организацию комсомольской работы проблемой особого рода. Большинство комсоргов и секретарей

[46] См. подробнее об этом в главе 7.

[47] Авторское интервью, 1994 год, Санкт-Петербург.

отдавало себе отчет в том, что многие поручения, которые они обязаны были распределять между рядовыми членами организации, требовалось выполнять лишь на уровне чистой формальности или вообще лишь делать вид, что они выполняются. Подчас выполнить эти поручения в буквальном смысле было просто невозможно. Однако комсорги и секретари также понимали, что такое формальное выполнение поручений все же не было лишено всякого смысла. Напротив, формальное выполнение поручений играло важную *перформативную функцию*[48], создавая условия и предоставляя ресурсы комсомола для проведения «работы со смыслом».

Как это ни удивительно, но организовывать чисто формальную деятельность тоже было делом непростым. Во-первых, ее надо было организовать так, чтобы на уровне отчетов она не выглядела формальной. Во-вторых, необходимо было придумать, каким образом вовлечь в эту деятельность рядовых комсомольцев, большинство из которых не горело желанием в ней участвовать. Причем, в общении с этими рядовыми комсомольцами нельзя было признавать слишком открыто, что эта деятельность действительно является формальной или фиктивной. Этого нельзя было делать ни по идеологическим причинам (открытое признание перечеркнуло бы всю деятельность как таковую, включая ее важную перформативную функцию), ни по моральным причинам (никому не хотелось признавать себя притворщиком или конформистом), ни из чисто практических соображений (это бы усложнило процедуру вовлечения рядовых комсомольцев). Таким образом, проведение комсомольской работы ставило перед комсоргами и секретарями множество необычных задач практического и морального толка, во многом не совпадающих с буквальным смыслом официальных заявлений. Как же решались эти задачи?

Маша, о которой говорилось выше, в середине 1980-х годов занимала пост члена комсомольского комитета своей калининградской школы. Как мы помним, в ее обязанности входило ведение статистики по успеваемости. Согласно стандартной форме в отчетах, которые Маша зачитывала на комсомольских собраниях школы, ей приходилось упоминать имена

[48] См. главы 1—2.

неуспевающих учеников. Это требование ставило Машу перед неприятной дилеммой. С одной стороны, ей нравилась работа в комитете комсомола, и она считала свою деятельность по анализу успеваемости интересной и полезной, не говоря о том, что эта деятельность приносила ей уважение учителей. С другой стороны, ей не хотелось выглядеть в глазах своих сверстников человеком, который завоевывает успех за счет других. По словам Маши, «важно было не портить отношений с другими учениками, особенно на такой почве»[49].

Для решения этой дилеммы Маша старалась сделать так, чтобы в глазах ее сверстников, насколько это возможно, упоминание имен неуспевающих выглядело как чистая формальность, смысл которой не заключался в буквальном обвинении кого-то конкретно. То есть Маша старалась сделать так, чтобы аудитория воспринимала ее не как автора, формулирующего обвинение, а как посредника, транслирующего стандартную форму дискурса, созданную до нее. У Маши было несколько способов решения этой задачи — от чисто дискурсивных, позволявших ей снизить свое личное авторское *я* в тексте и свою ответственность за написанное, до практических, включающих переговоры с учениками. Например, она старалась выбирать для своего списка тех, кто считался неуспевающими уже не первый год, а значит, был выбран в качестве такового еще до нее. Но для придания серьезности этой работе, объясняет она, надо было упомянуть «хотя бы несколько новых, незатасканных имен». Поэтому Маша старалась в разных выступлениях избегать полного повторения одних и тех же имен. Кроме того, она старалась заранее поговорить с теми ребятами, чьи имена собиралась назвать, делая это в обычной обстановке, в жанре товарищеской беседы, отличающемся от авторитетного жанра. Она говорила: «Слушай, не обижайся, пожалуйста, но в моей *тронной речи* [выступлении на отчетном собрании школы] мне надо упомянуть тебя не в лучшем свете. Я лично против тебя ничего не имею, я к тебе хорошо отношусь. Но надо упомянуть. Ладно?» После этого «почти все нехотя соглашались», говорит Маша, «и я набирала необходимое количество имен». Подобные беседы, дружеский тон, шутливые ссылки на «тронную речь» должны были показать, что эту

[49] Авторское интервью, 1996 год.

часть выступления следует понимать не буквально, а как формальный ритуал. Тем самым Маша стремилась выполнить сразу несколько задач: заниматься работой, которую она считала интересной и общественно важной; участвовать в воспроизводстве стандартной «проформы»; стараться не портить отношения с учениками школы; и, наконец, преследовать свои личные цели — окончить школу с золотой медалью, поступить в престижный вуз в Ленинграде, чему ее активная комсомольская деятельность, безусловно, способствовала и чего она в итоге достигла. Было бы неверно считать Машу лишь циничным карьеристом, или идеалисткой, или пассивным и безотказным человеком, которого «система» использовала в своих интересах. Маша не была циником и вполне искренне верила в важность многих задач, которыми она занималась, при этом активно игнорируя или адаптируя другие задачи и требования и к тому же, безусловно, заботясь о своих личных целях.

Как и Маша, секретарь комитета комсомола НИИ Андрей, упоминавшийся выше, постоянно сталкивался со сложным выбором. С одной стороны, ему не хотелось потерять уважение коллег по институту, которых ему приходилось принуждать к выполнению рутинной и скучной работы. С другой стороны, он старался избежать выговоров от райкома за невыполненную работу. Кроме того, ему не хотелось сводить свою деятельность на посту секретаря комитета к пустой банальности, состоящей из бездумного исполнения стандартных процедур, лишенных содержательного и морального смысла, который, по мнению Андрея, в них изначально подразумевался. Андрей придумывал массу приемов того, как выходить из этого затруднительного положения, называя эти приемы своими «маленькими хитростями». Они помогали Андрею сохранять нормальные отношения и с вышестоящими комсомольскими органами, и с рядовыми комсомольцами, давая возможность выполнять, как чисто формальные поручения, в смысл которых можно было особенно не вникать, так и *работу со смыслом*, которую Андрей ценил. Маленькие хитрости были особенно полезны при распределении рутинных поручений среди рядовых комсомольцев, говорит Андрей:

> Я заметил, что, если я обращался к кому-нибудь с просьбой: «Послушай, надо бы тебе выступить на следующем комсомольском

собрании», человек сразу начинал придумывать тысячу причин, по которым он не мог этого сделать, и умолял меня освободить его от этой обязанности... Я этим пользовался. Сначала я продолжал настаивать на необходимости выступить, а потом неожиданно сдавался и говорил: «Ну ладно, бог с тобой, попрошу кого-нибудь другого. Но только при условии, что ты согласишься сделать хотя бы что-то небольшое». И я предлагал ему вместо выступления составить протокол или написать отчет, что было в принципе гораздо проще, так как делалось по шаблону, но отнимало довольно много времени — надо было поговорить с какими-то людьми в институте, собрать какую-то информацию, изложить ее в отчете и так далее. Но ради того, чтобы не выступать на собрании, люди на эту работу соглашались[50].

Андрей также выработал несколько методов, позволявших ему выполнять на формальном уровне, не особо вдаваясь в буквальный (констатирующий) смысл, всевозможные нереалистичные поручения, которые райком постоянно давал его комсомольской организации. Однажды Андрею поручили организовать в институте «лекторскую группу» из десяти рядовых комсомольцев для регулярного проведения политинформаций перед сотрудниками института. Эта лекторская группа должна была стать частью более широкой программы политобразования, которую райкомы внедряли на предприятиях по указанию ЦК. Темы политинформаций, вспоминает Андрей, должны были соответствовать стандартной тематике — например: «Решения такого-то пленума ЦК КПСС» или «Комсомольское движение Венгрии». Как и в случае с выступлениями на комсомольских собраниях, никому особенно не хотелось оказаться в роли ответственного за регулярное проведение политинформаций. Большинство молодых сотрудников всячески пыталось этой роли избежать, и Андрею вновь пришлось обратиться к «маленьким хитростям»:

[50] Авторское интервью.

> Мы обсудили ситуацию в комитете комсомола и решили, что надо организовать лекторскую группу формально, на бумаге... Мы даже нашли для этого человек пять-шесть... Я сказал своему близкому приятелю, рядовому комсомольцу: «Слушай, ты будешь главным». Он должен был вести отчетность об этих политинформациях и в случае, если райком придет с проверкой, уметь с грамотным видом о них рассказать. Кроме того, хотя бы пару раз за год, по возможности, ему надо было провести реальные политинформации — чтобы было на что ссылаться в крайнем случае. Все остальные политинформации существовали только на бумаге[51].

Андрей проинструктировал нескольких рядовых комсомольцев, которых назначили политинформаторами и с каждым из которых у него были хорошие личные отношения, о том, как действовать в случае, если начнется крайне маловероятная проверка райкома или обкома. Подобная организация работы, а также личные договоренности о том, как ее представлять в отчетах и в случае проверок, были делом настолько обычным, что ни члены комитета комсомола, ни простые комсомольцы этому не удивились. Более того, инструкторы райкома, курировавшие институт (включая Александра, которого мы встречали выше), тоже прекрасно понимали, что выполнить изначальное задание дословно — то есть организовать большое количество политинформаций в течение года — Андрей вряд ли мог, а значит, в ход наверняка пошли формальные схемы. Однако райком не только не хотел вникать в эту организацию, но и всячески стремился избежать ситуации, когда фиктивность работы вдруг становилась всем видна. Получив задание о политинформациях от инструктора райкома, Андрей заметил по-дружески: «Вы, наверно, и сами понимаете, что мы не в состоянии выполнить все, чего от нас ожидают. Такое количество политинформаций просто физически невозможно провести». По словам Андрея, в райкоме ему ответили: «Да, мы, конечно, все понимаем. Но на нас тоже давят сверху». Договорились, что Андрей отчитается хотя бы о необходимом минимуме политинформаций, а как именно он их

[51] Авторское интервью.

организует — обсуждать не стали. Андрей знал, что проверять его лекторскую группу райком, скорее всего, не будет. А если проверка все же случится, она скорее всего коснется бумажных отчетов и названий политинформаций; райкомовские работники вряд ли будут спрашивать рядовых комсомольцев, какие политинформации они прослушали. «Мы знали, — объясняет Андрей, — что никто никого не будет спрашивать. Все строилось именно на этом. Райком почти никогда не общался с реальными людьми. Он только проверял отчеты. Подготовка отчетов была нашей основной обязанностью»[52].

Когда комиссия райкома провела проверку бумажных отчетов о системе политобразования в различных организациях района, она, в свою очередь, составила более короткие отчеты для горкома комсомола, один из которых назывался «Справка по проверке комсомольской организации Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института [название]». В этом документе полуреальная группа политинформаторов, которую создал в своем НИИ Андрей, была выделена как «образцовая», в сравнении с другими организациями района, поскольку она весь год проводила «ежемесячные политинформации по международным общественно-политическим вопросам». В документе даже были упомянуты «конкретные примеры» несуществующих лекций, отчеты о которых предоставил комитет Андрея: «Лекции сотрудника института, товарища Н., по вопросам демографии и развития сельского хозяйства в Ленинградской области имели большой успех»[53]. В отчете другой комиссии райкома, под названием «Выводы и предложения комиссии, направленные на улучшение организации свободного досуга молодежи», также отмечалась система политинформаций, организованная комитетом Андрея: «Во всех подразделениях института регулярно проводятся политинформации. Положительным образом должно сказаться создание собственной лекторской группы. Эта работа ведется в настоящее время при активной помощи парткома института»[54].

[52] Там же.

[53] Из личного архива Андрея.

[54] Там же.

Андрей придумал ряд «маленьких хитростей» и для того, чтобы по возможности вообще избегать чисто формальных поручений вышестоящих органов. Он вспоминает:

> Когда готовился какой-нибудь вопрос в горкоме и обкоме, нужна была масса примеров из жизни первичных организаций. И они звонят по первичным организациям и говорят, что нужен такой-то пример. Но им надо потратить пять секунд, чтобы мне об этом сказать, а мне, чтобы это подготовить, надо потом три дня потратить. Ну, в общем, я все время же работаю по телефону, знал по голосам всех уже. Когда был незнакомый голос, я сразу понимал, что это что-то не то, и прикидывался кем-то другим. Если звонил какой-нибудь инструктор горкома, он представлялся:
>
> — Добрый день. Говорит инструктор такой-то из горкома. С кем я говорю?
>
> Я отвечал:
>
> — Комсомолец Семенов [*вымышленное имя*].
>
> — Позовите, пожалуйста, к телефону секретаря комитета комсомола.
>
> — А вы знаете, его нет.
>
> — А когда будет?
>
> — Да я не знаю. Думаю, дня через два-три. Он в командировке. Уехал в институтский пионерлагерь проверять готовность к сезону.
>
> Он говорит:
>
> — Мы в горкоме сейчас готовим такой-то вопрос, и мне срочно нужен пример из вашей первичной организации.
>
> Я сразу понимал, что для этого потребуется основательная работа. Ему-то что, сказать — не делать. Ну, думаю, нет. У меня и так дел полно. И говорю:
>
> — Вы знаете, я, наверно, вам никак помочь не могу.
>
> Он спрашивает:
>
> — А вы кто?
>
> — Да я так, просто из первичной организации, [*рядовой*] комсомолец. Просто зашел сюда ознакомиться с такими-то документами.
>
> Он говорит:

— У меня просьба — передайте секретарю, чтобы, как только он появится, обязательно мне позвонил [*диктует номер телефона*].

— Хорошо! Обязательно передам!

Андрей знал, что секретарю горкома «примеры из жизни» требовались срочно для составления отчета в вышестоящую организацию о проверках комсомольской деятельности по городу. А значит, он будет звонить в другие организации и про институт Андрея забудет. Кроме того, он прекрасно понимал, что и для вышестоящих комсомольских органов, куда уйдет отчет из горкома, «примеры из жизни» — это тоже чистая формальность.

Поскольку руководящим органам, как и всем остальным, приходилось выполнять поручения и составлять отчеты, они, в свою очередь, тоже выработали «маленькие хитрости» при общении с комсоргами и секретарями первичных организаций, стремящимися всячески избежать дополнительных формальных поручений. Например, райкомы должны были регулярно организовывать комсомольские конференции, посвященные обмену опытом между представителями комсомольских организаций района по ведению комсомольской работы. На конференциях, проходивших в большом актовом зале, секретари комитетов школ и предприятий района должны были рассказывать о методах своей работы перед аудиторией, состоящей из представителей других комитетов комсомола района. От райкома требовалось организовать высокую посещаемость этих конференций, и каждая первичная организация района должна была направить кого-то на конференцию в качестве участника.

Безотказная Люба — школьный комсорг, о котором говорилось выше, — была тем человеком, которого школа, а потом институт по традиции направляли на эти мероприятия. Люба не очень хотела терять уйму времени на ненужный и скучный ритуал, но и отказаться не могла. Войдя в зал заседаний, она обычно расписывалась в журнале посещаемости, который лежал в президиуме, сидела в зале до первого перерыва, а когда он наступал, тихо уходила домой. Многие присутствующие делали то же самое, и к концу конференции ряды участников заметно редели. Подчас в конце конференции не оставалось даже кворума, необходимого

для голосования. Райкомовским организаторам, которым необходимо было отчитаться за итоги голосования, пришлось изменить тактику контроля. Люба рассказывает, что организаторы стали собирать подписи участников в журнале посещаемости не в начале конференции, а в конце и не в президиуме, а возле выхода из зала. Теперь Любе приходилось отсиживать в зале все три часа, до самого конца. В ответ на новые меры Люба стала садиться в середине зала где-нибудь с краю, где ее было хуже видно, и пыталась заполнить время конференции подготовкой домашнего задания для школы, а позже института.

Активисты, диссиденты и «свои»

В предыдущих разделах данной главы мы рассмотрели некоторые приемы, которые использовались для производства авторитетных текстов, отчетов, ритуалов и практик в различных сферах комсомольской деятельности. Обратимся теперь к результатам, включая незапланированные результаты, к которым эти приемы приводили. Одной из главных задач комсомольской деятельности, согласно констатирующему (буквальному) смыслу высказываний на авторитетном языке, было создание особой общности советской молодежи, объединенной коммунистическим сознанием. Нельзя сказать, что эта задача не выполнялась вовсе. Особая общность советской молодежи действительно создавалась, но в ее основе лежало не единое коммунистическое сознание, а нечто иное. Несмотря на то что между разными людьми из этой общности, естественно, существовали различия, у них всех было и что-то общее, что делало их похожими, объединяло в общий круг, делало «своими». В дневниках того времени и воспоминаниях о нем именно термин *свои* встречается крайне часто при описании контекстов, связанных с идеологическими институтами, ритуалами и риторикой.

Конечно, понятие «свои» широко распространено в русском языке и культуре вообще, включая контексты, не имеющие никакого отношения к Советскому государству и его идеологии[55]. В самом широком

[55] В английском языке у этого термина точного эквивалента нет.

смысле использование термина «свои» в разговорном языке предполагает проведение границы между *своими* и *чужими (несвоими)*. Важно, однако, что эта граница не является статичной и фиксированной раз и навсегда. Она подвижна, она может проводиться по-разному в разных контекстах. В период позднего социализма, в контекстах, где доминировали идеологические институты и авторитетный язык, термин *свои* приобрел особый смысл. Он заключался в наименовании особой общности людей, которая самоорганизовывалась *по отношению* к авторитетному дискурсу, являясь *результатом* этого дискурса. Однако эта общность людей, с одной стороны, отличалась от того, что на авторитетном дискурсе именовалось «советской молодежью с коммунистическим мировоззрением», а с другой стороны, отличалась от диссидентского общества, сформированного по принципу противоположности авторитетному дискурсу. Таким образом, понятие *свои* в контексте позднего социализма невозможно определить в терминах бинарного противостояния, типа «простые люди — власть» или «подавление — сопротивление», как это ошибочно делается во многих исследованиях советского общества. Например, Кэтрин Ваннер пишет, что термины «свои» и «наши» в позднесоветском контексте использовались для описания сообщества простых советских людей, противоставлявших себя репрессивному Советскому государству. «Свои» или «наши», согласно Ваннер, формировались благодаря «общему для всех ощущению подавления со стороны государственного аппарата», благодаря чему всех «*нас* связывал общий опыт противостояния *им* — врагам, власти, ее институтам»[56]. Другая исследовательница, Дейл Песмен, говорит о том же, хотя и в несколько иных терминах: в советском контексте словосочетание «свой человек» означала, что «с этим человеком можно было говорить открыто, не боясь, что твои слова будут использованы против тебя»[57]. Такая картина советского общества упрощает действительность, воспроизводя уже знакомый стереотип бинарного социализма, согласно которому социальные отношения в Советском Союзе будто бы сводились лишь к отношениям подавления и сопротивления или направленности одних *против* других

[56] Wanner 1998: 9.

[57] Pesmen 2000: 165.

(см. главу 1). Кроме того, в этом описании граница между своими и чужими выглядит слишком уж фиксированной и неизменной — здесь находимся все *мы*, а там находятся они — *государство*. В действительности же, как отмечалось выше, эта граница передвигалась, могла часто меняться, распределяясь по-разному в разных контекстах и охватывая разные пространства и разных субъектов. Порой она менялась в процессе общения.

Вообще, как справедливо отмечает Кэролайн Хамфри (Humphrey 1994), при советском социализме такие понятия, как «государство» и «государственные институты», имели особую форму, в результате которой простые противоставления, типа «государство»/«общество» или «публичная сфера»/«приватная сфера», были невозможны. В контексте социализма система государственных отношений пронизывала все общественное пространство сверху донизу, воспроизводясь на каждом уровне заново, имея многоступенчатую иерархию (*nesting hierarchy*), наподобие матрешек[58]. То есть одни и те же субъекты могли оказаться то в одних, то в других сообществах. Не секрет, что любой начальник, продавец, вахтер или дворник воспроизводил на своем уровне, в своем служебном контексте модель отношений, характерную для государственных институтов. При этом за пределами данного служебного контекста эта институциональная модель отношений моментально менялась, и «вахтер» здесь оказывался «нормальным человеком» или «своим». Такая система институциональных отношений не позволяет рассматривать советскую систему по бинарной схеме противопоставления *государство — общество*. Аналогично и сообщества *своих* не укладываются в эту схему.

Среди терминов и выражений, которыми пользовались в повседневной речи рядовые комсомольцы и комсорги для того, чтобы в определенных контекстах идеологической работы и авторитетного языка отличать себя и своих товарищей от так называемых «активистов» или «диссидентов», термины *свой* и его синоним *нормальный человек* были наиболее распространенными. Понятия «диссидент» и «активист»

[58] См. также: Dunham 1976; Kotkin 1995; Humphrey 1983; 2001; Ledeneva 1998; Kharkhordin 1999; Nafus 2003a.

в данном случае описывают не реальных субъектов, а некие идеальные типы. В действительности отношение к авторитетному дискурсу у разных людей могло быть более или менее «активистским» или «диссидентским». Тем не менее для нашего анализа эти упрощенные типы удобны, поскольку для большинства людей, похожих на героев данной главы, они служили ориентирами, по отношению к которым они определяли себя, «своих» и «нормальных людей». Хотя отношение активистов к авторитетному дискурсу может показаться прямой противоположностью отношения диссидентов к этому дискурсу, в действительности они имели много общего. Мы уже писали в главе 1, что идеальные «активисты» и «диссиденты» воспринимали авторитетный дискурс буквально — то есть как правдивое описание реальности[59] (как считали активисты) или лживое описание реальности (как считали диссиденты)[60]. «Активисты» искренне верили в авторитетную версию социализма, призывали людей быть более сознательными, пытались поднять дух энтузиазма и трудолюбия, писали письма в газеты и райкомы о нарушении закона должностными лицами и так далее. Среди представителей молодого поколения настоящие активисты встречались настолько редко, что при столкновении с ними многие испытывали неуверенность: кто они — искренние и принципиальные люди, наивные простаки или циничные карьеристы[61]? Инна, 1958 года рождения, учившаяся в конце 1970-х — начале 1980-х годов на историческом факультете Ленинградского университета и впоследствии работавшая школьной учительницей, была знакома с одним откровенным «активистом» в студенческие годы. Этот юноша казался большинству его сверстников идеалистом — на комсомольских собраниях он часто просил слово и критиковал первичную комсомольскую организацию исторического факультета за то, что она, по его выражению, «не следовала ленинскому принципу демократического централизма, который должен лежать в основе всех партийных и комсомольских организаций»[62]. Несмотря на

[59] То есть фокусировались на констатирующем смысле этого дискурса.

[60] См.: Yurchak 1997.

[61] О людях последнего типа см.: Humphrey 2001: 5.

[62] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год. «Демократический централизм» был принципом партийной организации, который Ленин сформулировал в своей статье

то что этот студент выступал с позиции ленинских принципов, за свою активность он получил несколько строгих выговоров и в конце концов был исключен из комсомола и университета. Для одних студентов он был наивным идеалистом, для других — просто глупцом. Всем казалось, что куда разумнее направлять свою творческую энергию на достижение реальных целей, чем требовать от идеологического органа действовать в соответствии с *буквальным смыслом* партийных заявлений, которые практически никто, включая руководство самого этого органа, буквально не воспринимал.

Ирина и Наталья, обе 1958 года рождения, работали библиографами в разных отделах большой научной библиотеки и были комсоргами своих отделов. В своей работе им тоже иногда приходилось сталкиваться с активистами. Характерным примером был Леонид, 1960 года рождения — секретарь комсомольского комитета библиотеки, то есть непосредственный комсомольский начальник Ирины и Натальи. Выступления Леонида на больших комсомольских собраниях библиотеки звучали крайне непривычно для большинства молодых людей, вызывая чувство недоумения и даже стеснения. Как вспоминает Наталья, Леонид «говорил языком газетной передовицы»[63]. Особенно странным было то, что он никогда не произносил свои выступления монотонным голосом по заранее заготовленной бумажке, как делали остальные, а говорил без бумажки, гладко и с энтузиазмом. В этом стиле он мог выступать спонтанно, без всякой подготовки и довольно долго. В своих выступлениях Леонид мог, например, возмущаться по поводу распространения

1902 года «Что делать?» (сам термин был изобретен не Лениным). Согласно этому принципу, решения в партии должны приниматься коллективным и демократическим путем (то есть меньшинство подчиняется большинству), а их исполнение обеспечивается строгой дисциплиной и централизованными вертикальными механизмами контроля. Таким образом, этот принцип подразумевал парадоксальное сосуществование демократии и авторитаризма. Ленин считал, что в результате такого парадокса демократический централизм гарантирует высшую форму демократичности, поощряя и личную инициативу, и критические суждения, и коллективную дисциплину. На деле централизованный контроль и вертикальная подчиненность сводили на нет любую критику существующих принципов, в конечном итоге устраняя любые демократические дискуссии (см.: Jowitt 1993).

[63] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

буржуазной западной культуры среди молодежи (что порой вызывало смущенные улыбки в зале), критиковал работу некоторых комсомольцев и комсоргов библиотеки, заверял старших партийных товарищей от имени комсомольской организации о готовности противостоять этому процессу. Ирина с ироничной улыбкой вспоминает приблизительные фразы Леонида: «Мы, молодое поколение комсомольцев, заверяем наших старших товарищей, что мы не уроним чести чего-то там...»[64] Еще более поразительным Ирине, Наталье и их товарищам казалось то, что иногда Леонид выражался этим особым языком не только на собраниях, но и в общении с коллегами. Настолько сильная идентификация с авторитетным дискурсом делала Леонида очень странной личностью в глазах его сверстников. По словам Ирины, «когда он говорил, мне становилось не по себе. И у меня возникало странное чувство, что он это делает не всерьез, что он просто издевается над всеми вокруг»[65].

Среди молодых сотрудников библиотеки самым распространенным было мнение, что Леонид, скорее всего, притворщик, который создает себе образ активного коммуниста из карьерных соображений. И в самом деле, рассказывает Наталья, «результат был не так уж и плох. Он закончил исторический факультет университета, стал секретарем комсомольского комитета библиотеки, затем перешел на освобожденную работу в райком, вступил в партию и после этого вернулся в библиотеку уже на должность замдиректора, когда ему не было и тридцати. Для своего возраста он сделал отличную карьеру»[66]. Один из секретарей райкома комсомола, в котором Леонид проработал некоторое время, тоже вспоминает его как карьериста «и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Он безусловно знал, чего он хочет, и преследовал свою цель вполне сознательно»[67]. Однако было в Леониде и что-то необъяснимое — он постоянно давал повод подозревать, что его активизм все же основан на настоящей искренности (циничные карьеристы не говорили таким языком и с таким порывом, как Леонид). Именно

[64] Там же.

[65] Там же. См. главу 7 об особом позднесоветском жанре иронии, стёбе, основанном как раз на «сверхидентификации» с авторитетным дискурсом.

[66] Там же.

[67] Авторское интервью с Ильей Н., 1995 год.

это ставило всех в тупик. Показательно, что даже в последние годы перестройки Леонид не перестал удивлять своих коллег. Когда в начале 1990-х годов, в момент распада Советского Союза, коммунистическая риторика лишилась всякого престижа и карьерного смысла и стала восприниматься большинством как аморальная, Леонид, в отличие от подавляющего большинства своих ровестников, отказался изменять тон своих высказываний и теперь критиковал перемены 1990-х с позиции все того же традиционного коммуниста-активиста.

Большинство комсоргов и секретарей низшего уровня в структуре комсомольской организации были больше похожи на «нормальных людей», чем на «активистов». В это среде активисты, как уже говорилось, были редкостью. Люба, с которой мы встречались выше, работала комсоргом на протяжении многих лет — сначала в школе, затем в институте (вузе). Однако настоящего активиста она встретила лишь раз. Это была девушка, занимавшая пост члена комсомольского комитета института, в котором Люба училась, и являвшаяся непосредственным комсомольским начальником Любы. В отличие от большинства членов комитета комсомола эта девушка чрезвычайно ревностно относилась к комсомольским поручениям сама и требовала от комсоргов их выполнения точно в соответствии с письменными протоколами. Постоянные проверки и критика со стороны этого человека сделали комсомольскую работу невыносимой для Любы. Она вспоминает:

> Эта девушка заставляла меня проводить собрания по поводу любого политического события — очередного пленума ЦК, очередной речи Брежнева, каких-то там дат и годовщин. Она требовала, чтобы мы постоянно проводили политинформации, постоянно раздавали поручения рядовым комсомольцам и так далее. И вообще она все время следила за моей работой. Это было какое-то безумие. Из-за нее я в конце концов попросила освободить меня от обязанностей комсорга[68].

[68] Авторское интервью, 1995 год.

«Идеальный» диссидент интерпретировал авторитетный дискурс *буквально*, то есть как ложное изображение реальности. Известные писатели-диссиденты действительно призывали сограждан добиваться правды и вскрывать официальную ложь — Александр Солженицын призывал «жить не по лжи» (1974), а Вацлав Гавел — «жить по правде» (*living in truth*) (1986). Однако большинство советских людей в период позднего социализма, до перестройки, не только почти ничего не знало о диссидентах, но и не относилось к авторитетному дискурсу партии как к описанию реальности, которое следует толковать буквально, именно как *ложное* описание реальности. Именно по этой причине многие воспринимали «диссидента» как нечто абстрактное, к чему отношение было не столько отрицательным, сколько незаинтересованным. Нэнси Рис в своей книге приводит слова одной женщины, которая в 1985 году (еще до перестройки) в беседе с ней заявила с откровенным энтузиазмом и от имени якобы всех советских людей, что она слышала что-то об академике Сахарове, но подробностей не знает, поскольку он просто «для нас не существует»[69]. Эта женщина, безусловно, не читала выступлений Сахарова и не знала ничего о его политической позиции. Она лишь слышала о том, что советская пресса его иногда критикует за «антисоветскую деятельность». Ее реплика отражает распространенное в советских массах тех лет отношение к «диссидентству» как явлению. Однако спустя всего несколько лет, в годы перестройки, когда советский дискурсивный режим претерпел мощные изменения и авторитетный дискурс резко изменился[70], моральная позиция Сахарова вдруг стала широко восприниматься как что-то крайне важное, и он быстро превратился в моральный ориентир эпохи в глазах не только тех, кто уважал его раньше, но в первую очередь тех, кто раньше к нему относился без всякого интереса[71].

Вспоминая период до начала перестройки, поэт Иосиф Бродский тоже писал, что, по его мнению, большинство советских граждан в те

[69] Ries 1997: 182.

[70] См.: Юрчак 2007, Yurchak 2007.

[71] Образ Сахарова изменился в общественном дискурсе перестройки очень быстро. Когда Сахаров умер в декабре 1989 года, на его похоронах в Москве собрались десятки тысяч человек. См.: Ries 1997: 182.

годы воспринимало диссидентов как что-то неважное, не заслуживающее внимания. Бродский высказался по этому поводу в ответ на утверждение Вацлава Гавела, который уже в в 1990-х годах написал о том, что граждане социалистических стран избегали диссидентов из-за страха перед государством, а также из-за стыда, который они испытывали за этот свой страх. Бродский не согласился с Гавелом — по его мнению, главной причиной, по которой люди избегали диссидентов, был отнюдь не страх. «Учитывая видимую стабильность системы», диссиденты большинством людей попросту «сбрасывались со счета», утверждал Бродский. Они воспринимались как «хороший пример того, чего не следует делать», а значит, и как «источник значительного морального успокоения», подобно тому как больной человек воспринимается «здоровым большинством»[72]. Несмотря на то что Бродский, как и Гавел, практически не публиковался в советское время, преследовался государством и в конце концов был изгнан из СССР, он, тем не менее, не отождествлял себя с позицией Гавела[73]. Тех, кого Бродский назвал «здоровым большинством» — то есть большинство советских граждан, — в наших примерах мы назвали (и они называли друг друга) «нормальными людьми» и «своими». Именно этим людям желание разоблачить «официальную ложь» было незнакомо не потому, что они верили в буквальный смысл официальной пропаганды, а потому, что они не воспринимали ее ни как правду, ни как ложь. Для сравнения с мнением Бродского интересен опыт другого «неформального» советского художника, Ильи Кабакова. Кабаков — ставший всемирно известным в позднесоветский и постсоветский периоды благодаря инсталляциям, в которых он исследовал чувство отчужденности и скуки, так характерное для советской повседневности, — тоже отказывался считать себя художником-диссидентом. Когда Кабаков впервые приехал в Соединенные Штаты в конце 1980-х годов, его попросили дать интервью для готовящегося к публикации англоязычного сборника, *Soviet Dissident Artists* («Советские художники-диссиденты»). В начале беседы американский редактор сборника попросил Кабакова рассказать о его диссидентском

[72] Brodsky, Havel 1994.

[73] Подробнее о Бродском и причинах такого дистанцирования см. главу 4.

прошлом, на что Кабаков тут же ответил: «Я не был диссидентом. Я ни с кем и ни с чем не сражался. Этот термин ко мне неприменим»[74]. Очевидно, что Кабаков сторонником советской системы тоже не был. Однако его ответ показывает нежелание согласиться со стереотипом упрощенного «бинарного» описания социалистической системы и советского субъекта, которые подразумевались в заданном вопросе.

Среди представителей молодого поколения в период позднего социализма, личное знакомство с настоящими диссидентами было настолько же редким, как и знакомство с настоящими активистами. Немного чаще можно было встретить людей, которые были настроены критически по отношению к советской системе и время от времени высказывались соответствующим образом в кругу близких друзей, но при этом в диссидентских кругах не состояли и активной диссидентской деятельностью не занимались. Были и те, кто порой высказывался критически не только в узком кругу близких друзей, но даже и на работе, среди коллег. С точки зрения большинства «нормальных людей» такие личности были не просто странными, но и потенциально опасными, поскольку они ставили под угрозу «нормальную жизнь» как таковую.

Алексей, 1958 года рождения, работавший в начале 1980-х годов в одном из ленинградских книжных издательств, так описывает своего коллегу комсомольского возраста, тоже работавшего в издательстве:

> Например, он отказывался платить комсомольские членские взносы, мотивируя это моральными соображениями. ...Он был тихий, но *диссидентствующий*. Большинству из нас он не нравился. То, что он делал, казалось не только глупым, но и бесполезным. Но главное, это могло создать проблемы для других людей, работавших с ним[75].

Проблемы для других могли варьироваться от выговора комсоргу отдела, в котором работал этот уклоняющийся от взносов комсомолец, до долгих и нудных обсуждений, которые должны были вести на собраниях его товарищи и коллеги, до крайне неприятной процедуры

[74] Kabakov 1995: 142.

[75] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

его исключения из комсомола, в которой они вынуждены были бы принимать участие.

Поэтому люди с такими принципами подчас подозревались большинством в «ненормальности» — в моральных, а то и психических отклонениях (подобно тому, как больной человек воспринимается здоровым большинством, по меткому выражению Бродского — выше). Эдуард, 1960 года рождения, вспоминает об отношении его коллег по радиотехническому НИИ, где он работал, к одному молодому инженеру. В середине 1980-х годов стало известно, что этот инженер распространял диссидентскую статью, в которой критиковалась война в Афганистане: «В институте многие считали, что этот парень был психически нездоров. Поговаривали даже, что еще он распространял порнографию, хотя я в это не верил»[76]. В данном случае, поскольку многим казалось, что такие люди не понимают, как устроена реальность, это непонимание воспринималось многими как проявление моральных или психических отклонений.

Олеся, искусствовед 1962 года рождения, столкнулась с одним «диссидентствующим» студентом, когда в начале 1980-х годов она училась в университете:

> Он постоянно говорил что-нибудь скептическое о партии, советской системе и тому подобное. Все мы в то время, конечно, рассказывали анекдоты про Брежнева. Это было в норме вещей. Но этот человек не просто рассказывал анекдоты — он делал глубокие выводы и хотел поделиться ими с тобой... Все вокруг считали его действия глупыми. Как в поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». ...Его слова производили сильное впечатление — они вызывали не то что страх, а скорее неприятные ощущения. Одно дело

[76] Не секрет, что с 1960-х годов Советское государство часто относилось к диссидентам как к психически больным людям. Когда диктор редакции международного вещания «Радио Москва» Владимир Данчев в прямом эфире на английском языке неожиданно высказался против советской войны в Афганистане, он был немедленно помещен в психиатрическую больницу. На вопросы западных журналистов о преследовании Данчева один советский чиновник ответил: «Его никто не преследовал. Больных не преследуют, а лечат» (см.: Chomsky 1986: 276; см. также главу 7).

> читать Достоевского, и совсем другое в реальности сталкиваться с его героями. Читать о них может быть интересно, но встречаться с ними — не очень. Когда реальный человек стоит перед тобой и постоянно говорит что-то скептическое, становится неприятно. Он ожидает от тебя какой-то реакции, но тебе нечего ответить. Не потому, что ты не способен анализировать как он, а потому, что тебе не хочется этого делать[77].

Упоминая героев Достоевского — идеалистов, правдоискателей, отверженных, психически неуравновешенных, — Олеся проводит знакомую уже аналогию с «ненормальными» людьми, имеющими какие-то отклонения. Повторимся, что все вышесказанное не имеет отношения к реальным диссидентам и, естественно, не призвано бросить тени на людей, чьи действия в советский период были действительно героическими и чаще всего исходили из приверженности высокоморальным ценностям. Однако то, как «диссиденты» и «активисты» воспринимались «нормальными людьми» в доперестроечные годы, важно не само по себе, а как симптом отношения последних к советской системе, который еще раз показывает, что это отношение нельзя свести ни к сопротивлению, ни к конформизму. В основе этого отношения лежала иная логика, заключающаяся в постоянной внутренней трансформации системы без ее прямой поддержки или прямого ей противодействия.

Перформативность идеологических ритуалов

В обязанности Ирины, комсорга одного из отделов большой научной библиотеки (см. выше), входили регулярные сборы комсомольских взносов у рядовых комсомольцев ее отдела[78]. Ирина сдавала собранные взносы в комитет комсомола библиотеки, который, в свою очередь, направлял их в райком. Если взносы платились не вовремя или не

[77] Авторское интервью, 1994 год, Санкт-Петербург.

[78] Комсомольские взносы составляли от 2 копеек в месяц у школьников и студентов до 1% от месячной зарплаты у работающих.

в полном объеме, Ирина могла получить официальный выговор от комитета комсомола. Выговоры были не так уж безобидны — они могли отрицательно повлиять на карьеру, привести к потере денежной премии, закрыть возможность поездки за рубеж с экскурсионной группой и так далее. Однако некоторые комсомольцы тянули с выплатой взносов, воспринимая их как неприятную формальность и пустую трату денег. Когда Ирина напоминала членам своей комсомольской группы о необходимости платить взносы, многие иронизировали над ней, называя ее «сборщиком подати». Эта ироничная фраза выдает недовольство рядовых комсомольцев принудительной процедурой сбора взносов, но при этом она также отражает их понимание того, что Ирина была всего лишь посредником (сборщиком подати, а не тем, кто ее установил и кто ее получает), выполняющим задачу, предписанную «сверху», невыполнение которой чревато для нее неприятностями. Понимание этой роли Ирины не позволяло подавляющему большинству комсомольцев тянуть с уплатой взносов. По выражению Ирины, «все мы были *своими*... Никто никого не заставлял платить силой... Я просто подходила к человеку и по-дружески объясняла: "Ты же знаешь, что райком требует от нас сдавать взносы. Пожалуйста, не создавай нам проблем"». Повторяющийся ритуал сбора взносов, включая процесс уговоров, переговоров и упреков между комсоргами и рядовыми комсомольцами, так же как и другие ритуалы и высказывания авторитетного дискурса, способствовал возникновению новой общности людей, которая отличалась от той «коммунистической молодежи», ради создания которой этот и другие ритуалы создавались. Вместо создания общности сознательных комсомольцев такие практики вели к формированию незапланированной общности *своих*, с ее особым отношением к авторитетному дискурсу и собой этикой взаимопонимания и взаимной ответственности. Молодой человек из одного вышеупомянутого примера, который отказывался платить взносы «из принципа», вызывал у них гораздо большее раздражения, чем комсорг Ирина, которая собирала взносы и которую они называли «сборщиком подати». Ирина была *своей*, а он своим не был.

Множество других ритуалов комсомольской жизни также способствовало возникновению в советской повседневности смыслов и отношений, которые отличались от тех, что буквально заявлялись

в авторитетном дискурсе. Одним из самых важных и массовых ритуалов были регулярные комсомольские собрания. По словам Ирины, которая отвечала за проведение собраний в своем отделе научной библиотеки, комитеты комсомола получали из райкома списки тем, которые необходимо было обсудить на собраниях. Ирина описывает распространенное отношение к собраниям так: «Ни у кого не было ни малейшего интереса ходить на эти собрания... Но все прекрасно понимали, что их необходимо проводить и что это не моя личная прихоть. Почему их надо было проводить, никто не задумывался». Программист Николай, 1959 года рождения, вспоминает, что он посещал комсомольские собрания в своем институте вычислительной техники, «наверно, из-за стадного инстинкта. Потому что большинство людей вокруг меня тоже ходило». К тому же он чувствовал моральную ответственность перед своим комсоргом: «Все зависело от того, как наша компания относилась к человеку, который отвечал за эти собрания... Если это был *нормальный человек*, конечно, мы ходили на собрания, чтобы у него не возникало проблем»[79]. Похожую ситуацию описывает Олеся, упоминавшаяся выше:

> Ты знал, что на комсомольские собрания надо ходить, что просто игнорировать их нельзя. ...Действовала система круговой поруки, определенного морального обязательства — если ты не платил взносы или не ходил на собрания, кто-то получал из-за тебя выговор. У нас комсоргом была очень приятная девушка. Если ты не приходил на собрание и из-за этого не набирался кворум, необходимый для голосования, какой-нибудь идиот из райкома мог дать ей по голове. Этой милой девушке, с которой ты дружил, с которой ты каждый день пил кофе[80].

В данном случае вновь комсорг был *своим* (а райкомовский работник — нет). В обязанности Ирины и других комсоргов входило проведение ежегодных «ленинских зачетов» среди рядовых комсомольцев. Зачеты проводились комсомольскими комитетами в форме личных

[79] Авторское интервью, 1994 год, Санкт-Петербург.

[80] Авторское интервью.

собеседований, вопросы для которых присылались из райкома, и результаты тоже отсылались в райком. На зачете человека в принципе могли спросить о его комсомольских обязанностях, проверить его знание советской конституции, последних заявлений партии, событий в стране и за рубежом и так далее. На практике, однако, большинство ленинских зачетов, как и других комсомольских ритуалов, трансформировалось посредством процесса, который мы назвали выше *перформативным сдвигом* — на уровне формы эти ритуалы тщательно воспроизводились, что было запечатлено в отчетах о них, но констатирующий смысл этих практик был изменен. Когда подходило время проводить ленинский зачет, вспоминает Ирина, «мы собирались всем комитетом и между собой обсуждали каждого комсомольца. Разговор был такой: "Все знают этого человека?" — "Да". — "Хороший человек?" — "Да". — "Ладно, поставим ему зачет"». Зачет «ставился» до самой процедуры зачета. После этого человека вызывали в комитет на короткую беседу, а иногда с ним переговаривали прямо на рабочем месте.

Люба, 1958 года рождения (см. выше), столкнулась с тем, как работали ленинские зачеты, в роли секретаря комитета комсомола школы в 1973 году, в самом начале внедрения этой системы[81]. Люба вспоминает:

> Была система ленинских зачетов. Надо было как бы переаттестацию проводить каждому комсомольцу. Каждому человеку задавали вопросы. Причем круг вопросов был отрепетирован заранее, чтобы мы, комсомольские работники, не попали впросак, чтобы быть уверенными, что мы сами знаем ответы. ...Мне сказали: «Ты будешь проводить зачет» — и дали мне список вопросов и ответы к ним, которые я выучила. Но, естественно, эти ленинские зачеты быстро стали показными. И единственный вопрос, который меня попросили задавать в старших классах, как секретаря комсомольской организации, был вопрос: «Что такое БАМ?» Они все были подготовлены. Просто собирали весь класс и говорили: вам будет

[81] Система ленинских зачетов была введена в комсомольскую практику в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина.

> задан вопрос, что такое БАМ. Так вот, это — Байкало-Амурская магистраль. Все. И больше не надо было ничего говорить. Ни там, где эта магистраль строится, ни на каком съезде комсомола было принято постановление ее строить. Надо было только расшифровать название, о чем всех заранее предупредили[82].

Важно было в принципе удостовериться, что человек понимает необходимость соблюсти ритуал и относится к членам комитета как к *своим* — то есть готов «сдать» зачет, прослушав, что именно его якобы спросили и что именно он якобы ответил. Большинство людей это понимало, действовало соответственно и «проходило» зачет без всяких проблем. В таком случае этот ритуал сводился на практике к воспроизводству формы зачета, в то время как буквальный смысл идеологического экзамена, ради которого ритуал зачета создавался, был почти полностью потерян. Однако, если человек не участвовал в ритуальном воспроизодстве формы — либо «из принципа», либо по безалаберности, — комитет комсомола мог наказать его тем, что начинал трактовать идеологические формальности *буквально*, требуя, чтобы человек действительно прошел всю процедуру зачета до мелочей и чтобы был составлен реальный отчет об этой процедуре. Иными словами, комсомольский комитет мог начать придерживаться именно *констатирующего* смысла авторитетных высказываний и ритуалов, который в других случаях он обычно игнорировал. По словам секретаря комитета комсомола НИИ Андрея (см. выше),

> почти все молодые люди в нашем институте были *своими*... Они понимали, что система включала в себя множество совершенно бессмысленных вещей. Поэтому наш комитет старался не мучить ни себя, ни других ненужными поручениями. Однако, если человек был слишком ленив или вел себя излишне вызывающе, мы следовали ритуалу, призывали его измениться, а в крайнем случае давали ему выговор[83].

[82] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

[83] Авторское интервью, 1994 год.

Аналогично действовал комитет комсомола научной библиотеки. Ирина объясняет: «Отношение комитета к рядовому комсомольцу зависело от того, как этот человек относился к нам [членам комитета]». Проблема могла возникнуть, если действия человека создавали неприятности членам комитета или человек вел себя вызывающе и отказывался относиться к членам комитета как к своим. Например, рассказывает Ирина,

> если при поступлении на работу комсомолец забывал или не хотел вставать на учет в комсомольской организации[84] библиотеки, мы вызывали его в комитет. Если он нам грубил, мы легко могли сделать ему официальный выговор или даже отправить его документы в райком для дальнейшего рассмотрения. Но если человек приходил и говорил по-дружески: «Ребята, поймите, закрутился с делами, не успел зарегистрироваться», — мы его понимали и прикрывали[85].

В данном случае «разговаривать по-дружески» и «относиться как к нормальным людям» означало, с одной стороны, понимать трудности положения, в котором находится другой человек, и пытаться их не усугублять, а с другой стороны, понимать, что основная часть идеологических ритуалов — это всего лишь необходимая проформа, благодаря формальному соблюдению которой может существовать «нормальная жизнь». Это двоякое понимание было важным критерием принадлежности к *своим*.

Как видно из примеров, следование авторитетному дискурсу на уровне не только формы, но и буквального смысла могло использоваться

[84] Комсомольцы были обязаны быть членами своей первичной комсомольской организации. Поэтому при смене места работы или учебы было необходимо «сняться с учета» в старой организации и «встать на учет» в новой.

[85] Авторское интервью. Взаимоотношения, которые описаны в этих примерах, имеют много общего с хорошо изученными взаимоотношениями внутри современной «западной» бюрократии. Однако разница состоит в том, что в советской ситуации изменение смысла поручений, ритуалов и текстов было неотъемлемой частью самой идеологической практики, а не ее нарушением. Благодаря этому здесь существовали гораздо более открытые договоренности между руководством и рядовыми членами по поводу того, как осуществлять такое изменение смысла.

комитетом в качестве мер воздействия на тех, кто отказывался от участия в чисто формальной процедуре, принятой между *своими*. Причем зачастую исключение из круга своих было не менее, а порой и более ощутимым наказанием, чем выговор по комсомольской линии. Заметим, что в описанных случаях идеологический институт (комитет комсомола) осуществлял неформальное (то есть неидеологическое) наказание человека (лишал его принадлежности к своим), но делал это посредством использования власти, которую этому идеологическому институту делегировало государство. Неформальное наказание осуществлялось путем применения формальных процедур. Вообще, в контексте комсольской деятельности создание всевозможных сообществ *своих* и воспроизводство принадлежности к ним рядовых комсомольцев происходило через использование делегированной власти государства — правда, использования ее таким образом, который государство не предполагало.

Комитеты комсомола практиковали взаимоотношения такого типа и с рядовыми комсомольцами, и с райкомами. Вспомним, что, когда секретарь комитета комсомола Андрей организовывал систему политинформаций, он договаривался «по-дружески» не только с комсомольцами своей организации, но и с инструктором райкома (см. выше). Инструктор должен был согласиться, что выполнить на практике все порученные лекции Андрею вряд ли удастся, а значит, часть лекций будет существовать только на бумаге. Во время разговора инструктор не проговаривал свое согласие буквально, но подразумевал его.

В этих контекстах реальной «идеологической работы» не всегда можно было заранее разделить людей на *своих* и *несвоих*. Подчас такое разделение происходило лишь в конкретной ситуации, в конкретный момент, при конкретном взаимодействии с человеком. Причин тому было несколько. Во-первых, смысл любого дискурсивного события невозможно определить вне того или иного контекста в принципе. К тому же любой *контекст* не является чем-то раз и навсегда зафиксированным и полностью заранее определенным. Контекст — это не статичная сцена, на которой дискурсивное событие разворачивается, как пьеса в театре; контекст сам находится в непрерывном развитии и изменении, формируясь, в том числе, под воздействием непосредственного дискурсивного

события, которое в нем разворачивается[86]. Некоторая открытость и непредсказуемость любых дискурсивных событий имеет особое отношение к комсомольским ритуалам, в которых одни и те же идеологические высказывания могли интерпретироваться по-разному: в одних случаях буквально, а в других — только на уровне формы. Эти ритуалы были не статичными пространствами, в которых произносились авторитетные фразы, а динамичными и противоречивыми процессами, смысл которых не был заранее определен.

Случай, который произошел в комитете комсомола научной библиотеки в начале 1980-х годов, демонстрирует эту динамику идеологических ритуалов. Одному молодому библиографу, выпускнику кафедры классической филологии Ленинградского университета, предложили перейти на работу в качестве преподавателя латыни в духовной академии. Для советского человека переход на работу в религиозное учреждение был событием крайне неординарным. Такой шаг означал относительное «выпадение» человека из идеологического контекста повседневности и уход его в мир, к которому государство, несмотря на определенную терпимость, все же относилось с подозрением и враждебностью. Поскольку данный библиограф был комсомольцем, райком обязал комитет комсомола библиотеки провести с ним беседу, проверить его идеологическую благонадежность и представить рекомендацию о целесообразности «показательного» исключения этого человека из рядов ВЛКСМ[87].

Вначале члены комитета комсомола были расположены к молодому библиографу положительно. Он был «нормальным человеком» и совсем не казался набожным. В преподавании латыни они ничего плохого не видели, особенно для специалиста по классической филологии. Более того, его знание латыни и классической литературы вызывало у них уважение. Однако мнение членов комитета неожиданно для них

[86] Современные взгляды на взаимоотношения дискурса и контекста представлены в: Duranti, Goodwin 1992. См. также: Волошинов 1929.

[87] Последствия исключения из комсомола в те годы могли быть незначительными, а могли быть и серьезными. У этого человека могли возникнуть проблемы с возвращением на «обычную» советскую работу, если бы он этого захотел, проблемы с выездом за рубеж и так далее.

самих поменялось в процессе собеседования с этим человеком. Ирина вспоминает это событие (курсив мой):

> Сначала нам не хотелось исключать его из комсомола. Лично у меня его эрудиция и интересы всегда вызывали уважение. Было очевидно, что с дипломом по классической филологии преподавать латынь в [духовной] академии ему будет намного интереснее, чем заниматься однообразной работой библиографа. Но в процессе беседы возникла проблема. Этот человек не хотел разговаривать с нами *как с нормальными людьми*. Он повел себя вызывающе, всячески пытаясь показать, что ему абсолютно плевать на наше мнение. И в общем, все мы, члены комитета, неожиданно для себя, начали на него нападать. Кто-то назвал его предателем родины, кто-то спросил с издевкой: «Ну а если бы тебе предложили работу в ЦРУ, ты бы тоже согласился?» Это, конечно, было идиотским сравнением. Ну при чем тут ЦРУ? Но после этих слов мы как-то все вместе набросились на этого парня. Все наше расположение к нему улетучилось[88].

Представители райкома, требовавшие провести это обсуждение в комитете комсомола, прекрасно сознавали, что оно является проформой, так как независимо от тона, в котором оно пройдет, и от его результатов райком уже заранее решил исключить этого молодого человека из комсомола. Непосредственные участники собеседования — члены комитета комсомола библиотеки — тоже понимали, что райком, скорее всего, будет принимать решение независимо от них. Частично по этой причине они собирались свести его собеседование к дружеской беседе и не акцентировать внимание на возможном исключении молодого человека из комсомола, показав себе и этому человеку, что они его в принципе прекрасно понимают и что все они являются *своими*. Члены комитета не предполагали того смысла, который этот идеологический ритуал приобрел в процессе встречи, когда члены комитета неожиданно для себя самих переориентировались с перформативного смысла авторитетного дискурса (с воспроизводства чистой формы ритуала, при наделении его

[88] Авторское интервью, 1994 год.

своими новыми смыслами) на констатирующий смысл (непосредственный *буквальный* смысл высказываний на авторитетном языке), которому они обычно не придавали слишком большого значения.

Этот неожиданный поворот был реакцией членов комитета не столько на идеологическую несостоятельность их коллеги, сколько на его отказ общаться с ними *как с нормальными людьми*. Для этих людей буквальный смысл стандартных фраз и обвинений авторитетного дискурса — «предатель родины», «наемник ЦРУ» и так далее — звучал нелепо. Обычно они не придавали ему большого значения. Но в контексте собеседования именно буквальный смысл этих фраз вдруг стал наиболее важен, превратив их в инструмент наказания. Написав в протоколе собеседования, что комитет рекомендует райкому исключить этого библиографа из комсомола, комитет исключал его из сообщества *своих*.

Для большинства комсомольских руководителей нижнего уровня — комсоргов, секретарей, членов комитетов — было важно, чтобы рядовые комсомольцы и вообще их сверстники ассоциировали их не столько с авторитетным дискурсом, сколько со *своими*. Находясь в более тесном взаимодействии с авторитетным дискурсом, чем большинство их сверстников, они занимали по отношению к нему одновременно несколько субъектных позиций — официальных лиц, которых государственный институт уполномочил говорить его языком; «нормальных» людей или «своих», которые обычно не интерпретировали свои авторитетные высказывания буквально; и людей, которые одновременно пользовались обеими этими позициями для достижения как общественно полезных результатов, так и личных задач или привилегий. Именно совокупность этих ролей позволяла секретарям, с одной стороны, не воспринимать свою комсомольскую деятельность слишком серьезно с идеологической точки зрения, как это делали активисты, а с другой — не относиться к ней с моральным безразличием и холодной прагматичностью циничных карьеристов.

В деятельности большинства этих людей авторитетный язык и язык повседневного общения среди *своих* были не двумя изолированными друг от друга (или противостоящими друг другу) языками, а языками, которые существовали во взаимнопродуктивном диалоге — каждый из них был возможен благодаря существованию другого. Участие

большинства молодежи в воспроизводстве авторитетного дискурса на уровне формы способствовало повсеместному созданию сообществ *своих*, а принадлежность к этим сообществам, в свою очередь, способствовала дальнейшему воспроизводству формы авторитетного дискурса и изменению смыслов, которые с ним ассоциировались. Вспомним инструктора райкома Александра, который упоминался в начале главы. Когда Александр помогал своим бывшим коллегам из комитета комсомола НИИ составлять отчеты или писать тексты выступлений, он, по словам Андрея, сначала долго «отшучивался», после чего наконец «откашливался» и начинал «четким голосом» надиктовывать речь на авторитетном языке. Вспомним также партийного босса, описанного Виктором Пелевиным (в начале главы), который тоже сначала долго «прокашливался», перед тем как «громким, хорошо поставленным голосом» произнести партийную речь. Использование таких маркеров дискурса, как отшучивание, откашливание, переход с обычного голоса на четкий и хорошо поставленный, было не просто способом переключения с одного языка на другой (с повседневного на авторитетный), но еще и способом напомнить аудитории, что смысл последующих авторитетных высказываний этого человека нельзя понимать буквально, что для понимания этого смысла необходимо учитывать постоянное диалогичное сосуществование авторитетного языка с языком *своих*. Иными словами, эти маркеры играли роль *метакомментариев*, объясняющих, что буквальный смысл авторитетных высказываний человека был обычно не важен и что их следовало интерпретировать иначе. Аналогичную роль играли попытки Маши (члена комитета комсомола Калининградской школы — см. выше) поговорить в доверительном тоне с теми комсомольцами, которых она позже собиралась упомянуть в критическом свете во время своего выступления на комсомольском собрании школы.

Детерриториализация

Как было показано в главе 2, процесс идеологического производства в период позднего социализма основывался на принципе

перформативного сдвига, согласно которому означающие авторитетного дискурса (*как* он репрезентирует) оставались неизменными и постоянно повторялись в разных контекстах, а означаемые (*что* этот дискурс репрезентирует) оказывались открыты для новых интерпретаций. Люди голосовали за, составляли отчеты о своей деятельности, ходили на демонстрации и повторяли точные формы авторитетных текстов, не придавая особого значения констатирующим смыслам этих актов и высказываний. Такое воспроизводство авторитетной символической системы не сужало пространство смысла, в котором жили советские люди, а, напротив, значительно его расширяло, открывая возможности огромному количеству новых смыслов и видов существования, которые государство было не в состоянии полностью распознать и контролировать.

Установив жесткий контроль над формой описания советской жизни, государственная система, сама того не подозревая, высвободила процесс творческого переосмысления и преобразования этой жизни, которого никто специально не планировал и не ожидал, но который, безусловно, подрывал эту систему изнутри. Однако, хотя большинство советских людей было непосредственно вовлечено в этот незаметный процесс внутреннего изменения системы, это не мешало им ощущать определенную приверженность многим сторонам и ценностям социалистической жизни и не ассоциировать себя с противниками Советского государства. Иными словами, процесс изменения системы изнутри невозможно свести к понятиям «сопротивления» или «оппозиции» режиму, по крайней мере в обычной интерпретации этих понятий. Скорее этот процесс напоминал внутреннюю мутацию организма или такой тип реорганизации системы, который Делёз и Гваттари назвали *детерриториализацией*.

Делёз и Гваттари иллюстрируют процесс детерриториализации на примере симбиоза, который возникает в природе между двумя различными видами, например между цветком орхидеи и осой[89]. Орхидея

[89] В результате такого симбиотического взаимодействия различных «гетерогенных элементов» образуется то, что Делёз и Гваттари называют «ризомой». Термин «ризома» взят из ботаники, где он означает корневище растения (например, спаржи или картофеля), корни и побеги которого являются частью его репродуктивного аппарата. Делёз и Гваттари пользуются термином «ризома» в качестве метафоры того, как строится взаимосвязь

снабжает осу пропитанием, а оса, в свою очередь, разносит пыльцу орхидеи по окрестностям. Оба этих процесса — подкормка и разнос пыльцы — являются взаимнообразующими. То есть благодаря им меняется природа и осы, и орхидеи. Оса переживает *детерриториализацию*, «становясь элементом репродуктивного аппарата орхидеи» — она перестает быть маленьким насекомым, хаотично передвигающимся по неопределенной территории, превращаясь в часть огромной статичной системы, привязанной к конкретному месту так же, как и цветок орхидеи. А орхидея, в свою очередь, переживает *территориализацию*, превращаясь благодаря работе осы из маленького статичного цветка в большую, разветвленную, динамичную систему, постепенно захватывающую окрестные территории[90].

Метафора симбиоза использовалась Делёзом и Гваттари для того, чтобы описать социальные отношения, которые вроде бы похожи на притворство, но на самом деле таковым не являются. Оса *не делает вид*, будто она цветок, а орхидея *не притворяется* насекомым. Ни один из них не прячется под маской другого, не делает вид, будто он другой, а *становится другим*. Оса становится частично орхидеей, как бы приобретая черты орхидейности, а орхидея, в свою очередь, становится частично осой. Процесс, который они переживают, является не мимикрией, а превращением или «становлением».

Процессы *детерриториализации* и *становления*, описанные Делёзом и Гваттари, проливают свет на изменения, которым подвергалась система позднего социализма. Как мы видели из примеров в этой главе, комсомольские секретари, комсорги и рядовые комсомольцы постоянно сталкивались с необходимостью отчитываться о выполнении комсомольских поручений и писать тексты в жанре авторитетного дискурса, а также участвовать в других ритуализованных видах комсомольской деятельности. Неизбежность этой работы, а также высокая степень ее

различных биологических, политических, культурных, лингвистических и других систем знаний. Эта идея позволила им создать более общий оригинальный подход, анализирующий механизм взаимодействия между элементами различной природы, не связанными обычными иерархическими отношениями, — механизм, который они назвали сборкой (assemblage). См.: Deleuze, Guattari 2002: 3—25.

[90] Ibid: 10.

формальности заставляли их прибегать к стратегиям, которые частично изменяли смысл этих отчетов, текстов и видов деятельности. В результате пространство авторитетного дискурса претерпевало процесс, который лучше всего описывается как раз понятием *детерриториализации*.

Рассмотрим под этим углом несколько вышеупомянутых примеров. Смысл, заключенный в отчете о политинформациях, который готовил комитет комсомола НИИ под руководством секретаря Андрея (см. выше), не ограничивался описанием самих политинформаций. В отчете говорилось о большом количестве политинформаций, которые проводились ежемесячно в течение года, хотя на деле их было всего три. Но заключить из этого, будто отчет был маской притворства, за которой скрывалась совершенно иная реальность, было бы неверно. На что указывает этот отчет — невозможно понять, если не учесть весь механизм отношений, договоренностей и взаимопониманий, которые связывали участников нескольких уровней комсомольской организации — райкома, комитета комсомола НИИ и рядовых комсомольцев. Люди, писавшие и читавшие этот и другие отчеты, прекрасно понимали, что большинство из этих отчетов не призвано быть буквальным описанием реальных событий. Они знали из опыта, что у этих отчетов была другая, не менее важная *ритуальная* задача. Написание и чтение этих отчетов было одним из многочисленных ритуалов воспроизводства точной формы авторитетного дискурса — ритуалов, без которых «нормальная жизнь», включая все разнообразие неподконтрольных государству смыслов и видов существования, была бы невозможна. Таким образом, природа комсомольских отчетов (или, по крайней мере, многих из них) изменилась: из буквального описания реальности они превратились в перформативные (ритуальные) высказывания в жанре авторитетного дискурса, которые требовалось повторять с большой долей точности, но обычно не требовалось понимать буквально[91].

Изменение природы отчетов являлось маленьким примером более широкого процесса, происходящего со всей символической системой

[91] Такая потеря значительной части буквального смысла и приобретение перформативной функции воспроизводства социального пространства происходит со многими ритуалами; достаточно вспомнить ритуал приветственного пожатия рук.

Советского государства. Эта система переживала постепенный процесс внутренней *детерриториализации*, все больше сдвигаясь в сторону, все больше отличаясь от того, как она сама себя описывала в авторитетной репрезентации. Этот внутренний сдвиг происходил во всей системе, до поры оставаясь относительно невидимым для тех, кто жил внутри нее, — поскольку изнутри не было отстраненной перспективы, из которой совокупный сдвиг мог быть заметен, и не было общего публичного языка, отличного от авторитетного дискурса, который этот сдвиг мог описать (такая перспектива и такой язык появились только в период перестройки — см. Заключение). Повторимся, что в отличие от активного сопротивления или оппозиции системе *детерриториализация* является процессом воспроизводства системы при ее одновременном внутреннем сдвиге.

«Нормальная жизнь»

В середине 1990-х годов в разговоре со мной Олег, 1960 года рождения, так описывал свою жизнь в конце 1970-х — начале 1980-х, когда он учился в ленинградском институте: «У нас была нормальная жизнь. Мы дружили, учились, читали, разговаривали, ходили на выставки, путешествовали. У всех были разные интересы и цели. Просто жили нормальной жизнью»[92]. При этом Олег замечает, что очень не любил заниматься идеологической деятельностью и всячески сторонился комсомола. Когда Олег говорит «у нас» и «мы», он подразумевает не только своих товарищей, но и всех, кто жил *нормальной жизнью*. Понятие «нормальная жизнь» было близко понятиям «нормальные люди» и «свои». Такая жизнь не была отмечена ни активизмом, ни оппозиционностью и не сводилась к угнетенному существованию или идеологическому автоматизму. Для многих нормальная жизнь была интересной, наполненной и относительно свободной — «жизнью со смыслом», по аналогии с «работой со смыслом», о которой говорилось выше.

Идеологические институты все чаще перенаправляли власть, делегированную им государством, на производство «нормальной жизни».

[92] Авторское интервью, 1995 год, Санкт-Петербург.

Преуспели в этом и комитеты комсомола. Члены комитетов часто подбирали новых членов по принципу принадлежности к «своим». Ирина, комсорг и член комитета комсомола научной библиотеки, которую мы встречали раньше, так описывает состав этого комитета в начале 1980-х:

> Сначала членом комитета комсомола выбрали мою близкую подругу Анастасию, которая была человеком крайне энергичным и ярким. Но ей довольно быстро стало там скучно одной, без меня, и она решила меня туда тоже затянуть. Так что я оказалась в комитете комсомола по дружбе. Позже Настя решила вступить в партию [и поэтому вышла из комитета комсомола]. ...Теперь мне стало скучно без нее, и я сделала так, чтобы мою подругу Наташу тоже выбрали в комитет. Потом мы привлекли туда еще одну общую подругу. В итоге мы создали отличный комитет комсомола, состоящий полностью из друзей. Я вспоминаю его с большой теплотой[93].

Наталья позже рассказывает о том же комитете:

> Мы любили собираться в помещении комитета на совещания. Естественно, это происходило в рабочие часы. Сначала мы быстро обсуждали какие-то комсомольские вопросы, а потом торчали в комитете часами, занимаясь своими делами, болтали, попивали чай и тому подобное. В общем, в какой-то мере комитет помогал нам отлынивать от работы [библиографов][94].

То, что комитет мог формироваться по принципу принадлежности к своим, означало, как мы уже знаем, что его члены прекрасно понимали, какие документы, тексты и поручения можно выполнять на уровне формы, не уделяя особого внимания констатирующим смыслам, а какие нет. Таким образом, комсомольские комитеты становились зонами некоторой автономии (от различных государственных, профессиональных,

[93] Авторское интервью, 1994 год.

[94] Там же.

идеологических, коллективных видов контроля), в которых идеологическое пространство советской системы подвергалось значительной детерриториализации. Говорить об этом за пределами комитета или подвергать эту практику публичной критике, естественно, было нельзя. Такое отношение к комсомольской работе было бы невозможно, если бы в составе комитета оказались непредсказуемые активисты, типа Леонида (см. выше).

Члены комитетов комсомола первичных организаций периодически посещали местный райком, чтобы обсудить какие-то комсомольские вопросы с инструкторами, получить задания, забрать документы, сдать собранные членские взносы и так далее. Поскольку райком был важным идеологическим институтом государства, с которым начальник на работе не хотел оказаться в конфликте, члены комитета комсомола стали использовать «вызов в райком» как удобный предлог для ухода с работы в рабочее время. Придя в райком, они быстро делали свои дела, а потом шли гулять с друзьями, посещали выставки, ходили по магазинам и так далее. Наталья вспоминает: «Когда нам хотелось сходить на выставку или в кафе во время работы, мы говорили начальнику отдела, что нас вызывают в райком». Подобные приемы присвоения времени, институциональной власти и дискурсов государства, посредством цитирования его авторитетных форм, происходили на всех ступенях идеологической иерархии, включая партийные комитеты. Подчас это приводило к комичным ситуациям. Однажды, в середине 1980-х, Наталья с Ириной, сказав начальнику отдела, в котором они работали, что им нужно уйти в райком, пошли в новую пиццерию, только что открывшуюся на улице Рубинштейна в центре Ленинграда. Через час в той же пиццерии появился и сам начальник отдела со своим коллегой. Оба, будучи членами партийного комитета библиотеки, тоже пошли на какое-то время в райкоме партии, а потом, очевидно, решили не возвращаться сразу на работу в библиотеку. Сев за столик, начальник заметил Ирину и Наталью в другом конце зала. Наталья вспоминает: «Мне было ужасно неловко, но я с трудом сдерживала смех. Мы сидели за разными столиками и делали вид, что все в порядке вещей»[95].

[95] Там же.

В дневнике, который вела в те годы студентка факультета журналистики Ленинградского университета, Елена Х., 1963 года рождения, мы находим другой пример того, как воспроизводство формы авторитетного высказывания использовалось для присвоения или изменения смысла времени, обычно контролируемого государственными институтами (в данном случае чтобы уйти с университетских занятий); при этом смысл авторитетного высказывания, естественно, менялся. Елена описала событие, произошедшее 4 июня 1983 года на факультете журналистики, возле дверей учебного кабинета:

> Был теплый, славный день. Что-то... и мне надоело сидеть на занятиях. Первой парой был семинар по философии. Я читала «Обломова». Потом был семинар по русскому.
>
> С. говорит:
>
> — Ле-енк! А Ле-енк! Давай Ирину Павловну задвинем? [*пропустим семинар, который преподает Ирина Павловна*]
>
> — А как ты ее, интересно, задвинешь?
>
> — Мы отпросимся. Мы скажем, что у нас журналистская встреча с секретарем ВЛКСМ НПО им. Козицкого [*объединения, выпускающего телевизоры*].
>
> Я смеюсь. Это наш вечный предлог, нам лень придумывать другой. С. идет к Ирине Павловне и очень озабоченно говорит:
>
> — Ирина Павловна! У нас через двадцать минут... и т.д.
>
> Я стою с видом покаянным и даже несколько убитым, ясно давая понять, что ни за какие блага в мире я не согласилась бы задвинуть семинар по русскому (мой любимый семинар), но суровая действительность... Какие страшные вещи делает с людьми реализм! Ирина Павловна растрогана (или делает вид). Она говорит:
>
> — Конечно, девочки, идите-идите.
>
> Мы, убитые горем, уходим. Остальные с завистью смотрят на наши спины. Выскочив из здания факультета, мы начинаем буйно веселиться.
>
> — Ну, — говорит С., — куда пойдем жрать?

Мы идем в кафе на углу Среднего и 8-й линии[96].

[96] Из личного архива Елены Х.

В реплике «какие страшные вещи делает с людьми реализм» отражается вся неординарность ситуации: преподаватель университета, как и библиотечные начальники, вряд ли бы стала противиться просьбе отпустить студентов, если предлог был сформулирован в терминах авторитетного дискурса — срочный вызов в райком или интервью с секретарем комитета комсомола завода и так далее. Ссылаясь на констатирующий смысл авторитетного дискурса человек получал возможность наделить новыми смыслами время, пространство, отношения, высказывания социалистической системы. Согласно записи в дневнике, на первом семинаре (занятия по марксистско-ленинской философии) Елена игнорировала буквальный смысл авторитетного дискурса, читая вместо этого «Обломова». На втором семинаре она воспользовалась буквальным смыслом авторитетного дискурса для того, чтобы уйти с занятия. И в том и другом случае смысл авторитетного дискурса менялся, и система переживала детерриториализацию.

Демонстрации

Ежегодные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, которые в некоторой степени были малоприятными принудительными обязанностями, одновременно воспринимались как вполне привлекательные праздничные события. Хотя эти ритуалы и были строго структурированы по внешней макроформе, они превратились в большей степени в народные гулянья, чем демонстрацию поддержки буквального смысла партийных лозунгов и решений. Беспрецедентный размах этих пропагандистских мероприятий государства превращал их также и в мощный инструмент по формированию сообществ *своих*, временных и более стабильных, в которых могли оказаться знакомые и незнакомые люди, марширующие по улицам, несущие транспаранты и лозунги, написанные на авторитетном языке, кричащие «ура» в ответ на призывы, доносящиеся из громкоговорителей, и публично выражающие праздничное настроение. Участвуя в этих мероприятиях, люди воспроизводили свою принадлежность к единой публике, которая возникала благодаря этим лозунгам и транспарантам,

но не была напрямую связана с их буквальным смыслом. Наталья ходила на демонстрации, по ее словам, «потому что комсорги и секретари обычно умоляли: "Придите, пожалуйста!" Эти люди были твоими знакомыми, и ты, естественно, шел. А вообще-то, я неплохо проводила время на этих демонстрациях. Было приятно всем вместе поорать ура!»[97] Секретарь комитета комсомола Андрей (см. выше) вспоминает эти мероприятия так:

> Демонстрация была еще одним праздником, на котором можно было встретиться с друзьями и знакомыми и вместе повеселиться. Она в общем-то *не* воспринималась как чисто идеологическое мероприятие. ...Майская демонстрация обычно проходила в хорошую погоду, когда наконец становилось тепло и солнечно. У всех было отличное настроение. Все приходили хорошо провести время. Было много детей. Дети обожали демонстрации. Представь, ребенку дают в руки три шара и дают немножко понести флаг. Для детей это было удовольствием. На лозунги никто особого внимания не обращал[98].

Годовщина Октябрьской революции, Первомай и многие другие праздники превратились в массовые ритуалы, в которых вновь форма авторитетных высказываний воспроизводилась, а их смысл изменялся. По случаю этих праздников люди ходили в гости, устраивали праздничные ужины и вечеринки, ели, выпивали, пели песни с родственниками, друзьями и коллегами по работе. Миллионы людей посылали друг другу открытки с праздничными поздравлениями. На открытках были изображены традиционные советские символы — звезды, красные знамена, серпы и молоты, лозунги, портреты Ленина. В открытках люди поздравляли друг друга с праздником, часто используя стандартные фразы авторитетного дискурса («поздравляю Вас с праздником Великого Октября!», «желаю здоровья, счастья и успехов в работе!») и далее, переходя к неавторитетному жанру, пользовались случаем, чтобы поделиться новостями с друзьями и близкими. Главным результатом этих

[97] Авторское интервью.

[98] Там же.

массовых дискурсивных ритуалов, повторяющихся несколько раз в год, было формирование различных сообществ *своих*, не совпадающих с тем, как авторитетный дискурс описывал «советское общество».

Рис. 9. Демонстрация по случаю 60-летия Октябрьской революции. Москва, Красная площадь, 7 ноября 1977 г.
© РИА «Новости»/МИА «Россия сегодня»

Рис. 10. Демонстрация в честь 60-летия пионерской организации. Москва, Красная площадь, 19 мая 1982 г.
© РИА «Новости»/МИА «Россия сегодня»

Рис. 11. Первомайская демонстрация. Москва, Красная площадь, 1987 г.
© РИА «Новости»/МИА «Россия сегодня»

Язык газет и референтов ЦК

Осенью 1983 года Елена, студентка факультета журналистики (см. выше), проходила учебную практику — работала в многотиражной газете одной из ленинградских фабрик. Однажды редактор газеты, Владимир, дал Елене задание написать репортаж о производственных достижениях крупной овощной базы: «“Вот тебе бумага, садись, пиши умозаключение о состоянии дел в Приморской овощебазе”. Я сажусь, начинаю что-то выдумывать в лучших традициях Вальки В.». (Елена имеет в виду своего одногруппника, который прекрасно умел выдумывать «факты из жизни».) Главным критерием такого репортажа было то, что он должен был быть положительным и выдержанным в стандартной форме авторитетного языка таких текстов. Написать такой текст можно было, не посещая самой овощебазы, что было распространенной практикой[99]. И Елена, и редактор газеты прекрасно понимали, что подобные хвалебные заметки не следует воспринимать

[99] Авторское интервью с Еленой Х., 1994 год. Подобным же образом редакторы советских газет часто сами сочиняли «письма читателей», которые печатались в газетах. Об этой практике см.: Лосев 1978: 242; Humphrey 1989: 159.

слишком буквально. Поэтому они старались не тратить слишком много времени и сил на их подготовку.

Однако, когда Елена села за стол набросать эту заметку, она вдруг заметила портрет Ленина, висевший на стене напротив, и остро ощутила неловкость ситуации. В своем дневнике Елена записала 19 сентября 1983 года[100]:

> Поднимаю глаза и встречаю укоризненный взгляд Ленина со стены, и мне становится неловко.
>
> — Володя [*обращение к редактору*], я так не могу. Смотрит прямо в глаза.
>
> — Обернись, тебе и в затылок смотрят.
>
> Оборачиваюсь — из-под очков изучающе прокалывает меня глазками Андропов.

Здесь мы вновь сталкиваемся с образом «Ленина», выступающего в роли господствующего означающего советского авторитетного дискурса, который, в отличие от других означающих, было трудно свести к перформативному смыслу (к чистому воспроизводству формы). Как мы помним, связано это было с тем, что смысл означающего «Ленин» был закреплен *за пределами* авторитетного дискурса (см. выше и главу 2), следовательно, его нельзя было подвергнуть полному перформативному сдвигу, как это делалось с другими элементами авторитетного дискурса. «Ленин» по-прежнему указывал на некую изначальную, буквальную моральную позицию, которая не превратилась еще в «чистую проформу». Это особое положение «Ленина» в структуре авторитетного дискурса означало, что, если над другими символами можно было иронизировать с относительной легкостью, как это происходит здесь с Андроповым, или просто их не замечать, к «Ленину» относиться таким образом было сложнее, причем независимо от того, что человек думал о самих коммунистических лозунгах[101]. Ощущение неловкости, смешанной с самоиронией, которые описывает Елена, было связано не столько с тем,

[100] Из личного архива Елены.

[101] Такое положение «Ленина» в структуре авторитетного дискурса коренным образом изменилось в конце перестройки, в 1989—1990 годах, см.: Юрчак 2007.

что она писала фиктивную статью, сколько с тем, что это происходило под взглядом Ленина. В своем дневнике Елена продолжает:

> — Знаешь, у моей подруги вот так над столом портрет Высоцкого. В обнимку с гитарой и смотрит с такой ненавистью — как он это умеет. Я как сяду за стол сочинять какую-нибудь чушь, так не могу, убираю.
>
> Внимательный взгляд [*редактора Володи*]:
>
> — Она что — любит Высоцкого?
>
> — Да, пожалуй, так.
>
> — А ты?
>
> — Можно сказать, что люблю.
>
> После паузы [*Володя*]:
>
> — Я сейчас в партком, а тебе — вот.
>
> Включает магнитофон. <...>
>
> — Надоест — вырубишь.
>
> Вдруг мне и вправду НАДОЕСТ ВЫСОЦКИЙ?!! (*выделено в оригинале*)

Когда Елена упомянула Высоцкого в разговоре с редактором, у обоих возникло ощущение принадлежности к своим[102]. Редактор тоже любил песни Высоцкого, и ему тоже постоянно приходилось писать формальные тексты на авторитетном языке и участвовать в рутинных партийных

[102] Как известно, Владимир Высоцкий, актер театра и кино, завоевавший массовую популярность в 1960—1980-х годах своими авторскими песнями, занимал в советской культуре неоднозначное место. Партийное руководство было недовольно большинством песен Высоцкого, в которых ярко описывались отчуждение и абсурдность, присущие советской действительности. Его песни практически не звучали по радио или в государственных концертных залах, хотя всерьез они не запрещались, поскольку откровенно антисоветскими не являлись. Несколько песен Высоцкого, написанных для кинофильмов и театральных постановок, было выпущено на пластинках государственной фирмы звукозаписи «Мелодия», но большинство песен не выпускалось и получило широчайшее хождение по стране в виде любительских звукозаписей на сотнях тысяч магнитофонных бобин. Эти песни были популярны во всех слоях советского общества — от интеллигенции до рабочих, от диссидентов до государственных чиновников.

собраниях. При этом, как и Елена, он не был настроен абсолютно цинично по отношению к социализму или Ленину. Как и Елена, он отделял «чистую проформу» от «работы со смыслом», а чистый цинизм от моральных принципов. Именно благодаря этому Елена и редактор ощутили принадлежность к своим.

Занимаясь написанием статьи, Елена, безусловно, принимала участие в процессе воспроизводства формы авторитетного дискурса — она писала статью в этом жанре, для советской газеты, в кабинете редактора — члена КПСС, который собирался на партсобрание, напротив портрета Ленина и так далее. С другой стороны, разговор Елены с редактором и та музыка, которую оба любили, ярко иллюстрируют тезис о том, что воспроизводство ритуалов и практик авторитетной формы могло приводить к возникновению новых, непредсказуемых смыслов, форм существования и сообществ, смысл которых не совпадал с буквальным смыслом авторитетных высказываний, но и не обязательно находился в оппозиции к нему.

Подобные взаимоотношения с авторитетным дискурсом — не зажатые внутри бинарной схемы за/против, а гибкие, многогранные, динамично развивающиеся в зависимости от контекста — существовали на всех уровнях идеологической иерархии. Даже в среде сотрудников ЦК, особенно молодых аналитиков и референтов (тех, кого сегодня называют консультантами и спичрайтерами), многие были поклонниками Высоцкого. В 1970-х годах Высоцкий не раз пел на частных квартирах сотрудников ЦК на Университетском проспекте в Москве, куда его приглашал Георгий Шахназаров, знавший Высоцкого лично[103]. Приглашали Высоцкого и другие сотрудники ЦК. Федор Бурлацкий, тоже бывший в 1960-х годах референтом ЦК, вспоминает, что Лев Делюсин, специалист по Китаю в Международном отделе ЦК, был хорошо знаком с театральным режиссером Юрием Любимовым, Булатом Окуджавой и Владимиром Высоцким. По его приглашению Высоцкий исполнял свои песни, включая "Охоту на волков"»[104]. Эта песня была прозрачной

[103] Ванденко Андрей. «Везунчик» (интервью с режиссером Кареном Шахназаровым) // *Итоги*. 2012. № 27 (http://www.itogi.ru/arts-spetzproekt/2012/27/179643.html).

[104] Бурлацкий 1997: 261.

метафорой репрессивных сторон советской системы и того, что ощущает человек, загнанный системой в угол. В ней рассказывается о молодом волке, который пытается уйти от преследователей: «Рвусь из сил и из всех сухожилий, Но сегодня опять, как вчера, Обложили меня, обложили, Гонят весело на номера». Позже Высоцкий описал эти вечера на квартирах ЦК в другой песне: «Меня к себе зовут большие люди, Чтоб я им пел "Охоту на волков"»[105]. Бурлацкий также вспоминал, что, когда группа молодых референтов Международного отдела ЦК, возглавляемого Юрием Андроповым, работала на подмосковной даче Бурлацкого над проектами партийных документов, они на полную громкость включали магнитофонные записи Высоцкого[106].

Публики своих

Система позднего социализма подвергалась постоянному процессу внутренней *детерриториализации*, мутируя в сторону новых множественных форм «нормальной жизни» и обогащаясь новыми смыслами и возможностями, предвидеть и контролировать которые государство не могло. В основе этого процесса лежала не прямая оппозиция системе, а ее постепенное творческое видоизменение субъектами, которые являлись ее частью. Процесс детерриториализации приводил к возникновению внутри системы новых типов свободы, но не некой *абстрактной изолированной свободы*, которая подразумевается в моралистической риторике больших нарративов — в которых мораль, правда и ложь понимаются вне исторических контекстов и без учета позиции говорящего от их имени, а другой, *практической свободы*, выстроенной внутри конкретных исторических контекстов и реально существующих отношений и одновременно ведущей к видоизменению этих контекстов и отношений.

Одним из важных незапланированных результатов этого процесса детерриториализации в позднесоветском обществе стало появление

[105] Там же (слова из песни «Прошла пора вступлений и прелюдий», 1973).

[106] Интервью автора с Бурлацким, Москва, лето 2000 года.

в нем особого вида социальности, которую мы пока называли *сообществами своих*. В контекстах, где доминировали идеологические институты и авторитетный язык, *свои* формировались не по единству социального происхождения или принадлежности к одному классу, а по принципу одинаковости *восприятия* авторитетного дискурса. Поэтому *своих* можно определить как «публику» авторитетного дискурса.

Что такое «публика»? В недавней работе о «публике» как важном типе современной социальности Майкл Уорнер отмечает, что *публикой* является общность людей, организованная не по принципу единства социального, этнического, географического или иного пространства, а по принципу единой реакции на некоторый публичный дискурс. *Публика* существует лишь «благодаря тому, что к ней обращаются»[107]. К публике относятся люди, которые воспринимают некоторое дискурсивное высказывание как высказывание, адресованное именно им. Публика является «результатом, ради которого печатаются книги, транслируются радиопередачи, создаются интернет-сайты, произносятся речи и формулируются мнения»[108]. Важными чертами публики являются ее открытость (она может включать в себя как людей знакомых друг с другом, так и незнакомцев[109]) и ее множественность — в любом обществе в любой период может существовать множество *публик (publics)*. Всем этим понятие публики отличается от понятия *публичного пространства*. Хотя публики существуют благодаря государственным институтам, законодательству, формам гражданства (которые создают условия для распространения публичного дискурса), они не до конца подконтрольны им и могут обладать некоторой независимостью по отношению к государственной власти[110].

Понятие *публичного обращения*, в ответ на которое, согласно Майклу Уорнеру, формируется публика, является развитием более узкого понятия *интерпелляции* (interpellation), когда-то введенного Люисом Альтюссером (1971). Альтюссер отмечал, что в тот момент, когда человек

[107] Warner 2002a: 50; см. также: Calhoun 2002; Warner 2002b.

[108] Warner 2002a: 50.

[109] Ibid: 55—56.

[110] Ibid: 51.

осознает, что к нему обращается представитель государственной власти, например полицейский на улице — то есть в момент, когда человек оборачивается на некий условный *оклик*, — он становится субъектом этой власти (оказывается «интерпеллированным» в качестве субъекта). Как замечает Уорнер, модель Альтюссера, ограниченная контекстом изолированного обращения, направленного на отдельного индивидуума, не способна описать функционирование *публичного* дискурса. В случае публичного обращения, даже когда мы узнаем себя как его адресантов, мы одновременно осознаем, что оно обращено также и «к бесконечному множеству других людей», которых мы можем не знать, а также что, «обращая на нас внимание, оно делает это не на основании нашей конкретной, уникальной идентичности, а исключительно благодаря нашей причастности к [публичному] дискурсу» вместе с этими другими людьми. Поэтому важным отличием *публичного* обращения (от альтюссеровского частного обращения), замечает Уорнер, является частичное *несоответствие* между теми, кто подразумевался в качестве адресантов обращения, и теми, кто в действительности является его адресантами[111].

Можно считать, что сообщества, которые мы называем «публиками своих», возникали именно *в ответ* на повсеместные и постоянные публичные обращения, которые делались на авторитетном дискурсе Советского государства — на вопрос, обращенный к присутствующим на комсомольских и других собраниях — *кто за?*, на призывы к трудящимся во время демонстраций («да здравствует...!»), на лозунги, обращенные к прохожим с фасадов домов, на выступления партийного руководства с экранов телевизора и со страниц газет и на бесчисленное число других публичных обращений к советским гражданам, выдержанных в авторитетном жанре и наполнявших советскую жизнь. При этом важно повторить, что эти авторитетные обращения совсем не обязательно воспринимались их адресантами буквально — напротив, их буквальный смысл был чаще всего не так важен. Однако советские люди, безусловно, с легкостью узнавали себя в качестве адресантов этих обращений. Они кричали «ура» в ответ на призывы во время

[111] Warner 2002a: 58.

демонстраций, голосовали утвердительно, услышав вопрос «кто за» на собраниях, и подолгу аплодировали после выступления партийных начальников, особенно не вникая в буквальный смысл всех этих обращений. При каждом повторении эти обращения подвергались *перформативному сдвигу*, когда их застывшая ритуальная форма воспроизводилась, а смысл изменялся непредсказуемым образом. Именно поэтому советские *публики своих*, которые формировались в ответ на обращения на авторитетном языке, отличались от «молодых строителей коммунизма» или «народа» из стандартной фразы «народ и партия едины», которые, согласно буквальному смыслу авторитетных высказываний, якобы формировались в Советском Союзе. Так проявлялось несоответствие между теми, кто подразумевался в качестве адресантов обращения, и теми, кто в действительности являлся ими. Реальные адресанты, реальные *публики своих* были несколько «сдвинуты» или «детерриториализованы» по отношению к заявленным общностям советских людей.

Вспомним Леонида, комсомольского секретаря научной библиотеки, который выделялся среди своих сверстников манерой всегда изъясняться партийным языком активиста. Когда на комсомольских собраниях Леонид делал различные заявления в авторитетном жанре, большинство его сверстников прекрасно понимало, что они адресованы именно им. Когда Леонид предлагал голосовать, они отвечали утвердительным поднятием рук. Когда он заканчивал выступление, они отвечали апплодисментами. Мы знаем также, что большинство сидящих в аудитории комсомольцев не воспринимало слова Леонида буквально. Их утвердительная реакция была не выражением согласия с буквальным смыслом заявлений Леонида, а подтверждением того, что они понимают необходимость участвовать в чисто формальном воспроизводстве этого ритуала. Более того, именно такое *перформативное* обращение воспринималось большинством сидящих в зале как обращение, адресованное непосредственно им. Именно на него они реагировали. Именно оно приводило к созданию *публики своих*.

Следует отметить также, что *публика своих* отличалась и от «контрпублики», которую Нэнси Фрейзер определила в западном контексте как «параллельную дискурсивную сферу, в которой члены подчиненных

общественных групп создают и пускают в оборот *контрдискурсы* и формулируют оппозиционные смыслы своей идентичности, интересов и потребностей»[112]. Очевидно, что в отличие от таких контрпублик публики *своих* самоорганизовывались не посредством оппозиционного дискурса, не создавая контрдискурсы, обращенные к своим членам (это делали сообщества диссидентов и активно читающих диссидентскую литературу граждан, которые действительно можно рассматривать как «контрпублики»), а посредством самого *авторитетного обращения* — с одной лишь разницей, что это авторитетное обращение интерпретировалось ими не буквально, а на перформативном уровне. Открытая оппозиция советской системе и авторитетному дискурсу (то есть создание контрдискурса) в *публиках своих* избегалась. Эти публики были не контрпубликами, а *детерриториализованными* публиками — смещенными по отношению и к авторитетному дискурсу активистов, к контрдискурсу диссидентов. Вообще понятие *публичности* в советском контексте постоянно подвергалось процессу *детерриториализации*, в результате которого имеет смысл говорить не о советской «публичной сфере», которую якобы можно противопоставить «приватной сфере», а об огромном множестве детерриториализованных *публик своих*, к которым относились советские граждане[113].

[112] Fraser 1992: 123; см. также: Warner 2002a: 86.

[113] Олег Вите (1996) пишет, что с конца 1950-х годов советская повседневность начала разделяться на две публичные сферы — *публичную* и *приватно-публичную*. Первая регулировалась писаными законами и правилами власти, а вторая — неписаными культурными устоями и соглашениями. В этой модели отрицается наличие в советской повседневности некой единой публичной сферы. Однако проблема такого подхода в том, что в позднесоветском обществе существовало множество *публик*, природа которых не определялась принципами публичности или приватно-публичности, они могли одновременно пересекать обе эти «публичные сферы». Как мы видели на примерах в этой главе, *комсомольцы* формировались как некое сообщество посредством своего участия в постоянном воспроизводстве формы и изменении смысла идеологических мероприятий комсомола. То есть их практики регулировались *одновременно* писаными законами и неписаными соглашениями, если пользоваться терминологией Вите. Эта общность комсомольцев была *одновременно* частью публичной и приватно-публичной сфер — точнее, само понятие «сфера» здесь неуместно. Эти люди относились к одной из множества советских *публик*, отличающихся

Отметим, что эти *публики своих* могли иметь разные наименования, принимать различные формы и достигать разного размера, от маленьких групп друзей и знакомых до достаточно больших коллективов знакомых и малознакомых коллег, до огромных толп незнакомых друг с другом людей, к которым авторитетный дискурс обращался одновременно (с экрана телевизора или во время многотысячной демонстрации). Они формировались в комитетах комсомола, инженерных лабораториях, студенческих потоках, школьных классах, музыкальных кружках, туристических походах, всевозможных компаниях, а также во время массовых шествий, одновременного просмотра телепередач и просто нахождения в пространстве советского города, где к случайному прохожему обращались лозунги и призывы на фасадах домов. Самой большой публикой своих был «советский народ», явно отличавшийся от того многомиллионного «строителя коммунизма», которым его называл авторитетный дискурс. Некоторые из публик *своих* мы рассмотрим подробнее в последующих главах.

* * *

В заключение этой главы отметим, что людей, с которыми мы в ней столкнулись, безусловно, нельзя рассматривать как некий «репрезентативный срез» советской молодежи или даже только комсомольцев того времени. Существовали молодые люди, которые верили в партию больше наших персонажей. Были и те, кто пошел в косомол из чисто карьерных соображений, без всякой нравственной приверженности определенным ценностям. Особенно много было тех, кто оказался в комсомоле стихийно, попросту достигнув определенного возраста и не имея к этой организации ни слишком большого интереса, ни слишком сильной неприязни. Однако, как уже отмечалось в главе 1, в нашу задачу не входит составить репрезентативный портрет возможных субъектных типов и отношений позднего советского периода. Вместо этого мы хотим вскрыть некоторые внутренние парадоксы советской системы, которые

от авторитетного понятия «советского народа» (о развитии и изменении советской *публичности* в постсоветский период см.: Yurchak 2001).

были неотъемлемой частью ее структуры и способствовали ее постепенным внутренним изменениям. Опыт представленных здесь комсоргов, секретарей, рядовых членов комсомола и других людей проливает свет на парадоксальные черты советской системы. Отношение этих людей к системе невозможно свести ни к ее поддержке, ни к сопротивлению ей. Его нельзя описать как бинарное противостояние между *нами* (обычными людьми) и *ими* (партией, властью). Это взаимоотношение людей и системы включало в себя парадоксальное сосуществование противоречивых идей и чувств — от приверженности определенным моральным ценностям социализма до отвержения конкретной коммунистической риторики, от веры в важность личного участия в «работе со смыслом» до ощущения безысходности от постоянной рутины и формализма. Именно в результате этой совокупности противоречивых идей и взаимоотношений формировался субъект позднего социализма, публики своих советских людей и способы «нормального» существования в советской системе. Последние не сводились ни к закостенелым идеологическим формулировкам, ни к полному отрицанию коммунизма, ни к позиции «активиста», ни к позиции «диссидента». Какими бы парадоксальными сегодня ни казались подобные способы существования, для многих в те годы именно они были нормой.

Глава 4

ВНЕНАХОДИМОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

И как у всех у меня есть ангел
Она танцует за моей спиной
Она берет мне кофе в Сайгоне
И ей все равно что будет со мной.

Борис Гребенщиков[1]

Модель Бродского

Размышляя о поколении шестидесятников, Сергей Довлатов писал:

> Нильс Бор говорил: «Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь. Глубокой истине противостоит другая истина, не менее глубокая»... Мои друзья были одержимы ясными истинами. Мы говорили о свободе творчества, о праве на информацию, об уважении к человеческому достоинству[2].

Довлатов противопоставил эту страсть к ясным истинам иной, новой позиции, с которой он впервые столкнулся в середине 1960-х. Казалось, что люди, ее практиковавшие, не делили советскую действительность на истину и ложь или на моральное и аморальное, так как они

[1] Песня «Герои» из альбома «Электричество» (1981) группы «Аквариум».
[2] Довлатов 1993: 23.

воспринимали все события и факты этой действительности как что-то маловажное и мимолетное по сравнению с некими «глубокими истинами». Примером этого отношения в середине 1960-х был ленинградский поэт Иосиф Бродский. Довлатов пишет:

> Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии. Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский — жив. И что «Коминтерн» — название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал: — Кто это? Похож на Уильяма Блэйка[3].

Бродский, конечно, осознавал, что советский авторитетный дискурс к тому времени уже был дистиллирован до состояния, которое Якобсон относил к «поэтической функции языка»[4], — поэтому означающие этого дискурса можно было наделять смыслами из своего собственного мира. Невовлеченность Бродского в смысл авторитетных высказываний была настолько очевидной, что государство в конце концов осудило его за «тунеядство» — официальный синоним этой невовлеченности[5]. Однако к 1970-м годам такая модель поведения более не была уникальной, распространившись среди большого числа городских жителей — представителей последнего советского поколения.

Предыдущее поколение шестидесятников, ровесников Довлатова и Бродского, повзрослело в период либеральных реформ Н.С. Хрущева, между началом 1950-х и серединой 1960-х годов. Поначалу многие из них поддерживали курс партийных реформ того периода, видя в нем искреннюю попытку возврата к тому, что им казалось изначальными, чистыми

[3] Довлатов 1993: 23.

[4] Jakobson 1960, см. главу 3.

[5] Довлатов 1993: 23.

коммунистическими идеалами, извращенными позднее Сталиным. Однако сворачивание хрущевских реформ в первой половине 1960-х, начавшееся с приходом Брежнева, развеяло эти надежды. В результате большинство этих людей оказалось в состоянии двойственного отношения к действительности, в котором приверженность коммунистическим идеалам все больше смешивалась с критикой советской системы.

В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые детали процесса идеологического производства «на местах», в повседневных контекстах позднего социализма, особенно тех, которые соприкасались с комсомольской организацией. Мы показали, что наряду с авторитетными текстами, отчетами и ритуализованными практиками это идеологическое производство порождало также новые смыслы и непредвиденные формы социальности и субъектности, времени и пространства, отношений и языка. В настоящей главе мы продолжим анализ воспроизводства идеологических форм и изменения их смысла, но уже в тех контекстах, которые напрямую не были связаны с идеологией. Предметом нашего внимания будут особые виды *отношений* с формами и смыслами советской системы, которые вырабатывались в этих контекстах. Эти отношения строились на частичном смещении человеческого существования как бы в иное измерение — находясь *внутри системы* и функционируя как ее часть, субъект одновременно находился *за ее пределами*, в *ином* месте. Пример Бродского иллюстрирует это необычное взаимоотношение с символическим полем системы — в отличие от тех, кто активно сопротивлялся фактам советской реальности и высказываниям советской идеологии, Бродский строил свое существование на неинформированности об этих фактах и высказываниях.

В принципе, подобное взаимоотношение с политической системой, внутри которой находится субъект, не является чем-то уникально советским. В той или иной степени оно существует всегда и везде. Многие строят свою жизнь, не особенно вдаваясь в буквальный смысл действий и риторики государства (в детали политики, законы экономики или принципы работы технических устройств, которыми мы окружены). Однако невовлеченность в буквальный смысл фактов и символов окружающего мира может быть разной не только количественно, но и качественно. Та невовлеченность, о которой мы говорим, не была

разновидностью аполитичности, апатии или ухода в себя. Напротив, она подразумевала не только *несопротивление* фактам и высказываниям системы, но и их полное *принятие* — однако принятие лишь на уровне формы, при устойчивой неинформированности об их буквальном смысле. Такое отношение к форме и смыслу символов системы стало центральным принципом функционирования всей системы как таковой. Субъект, практиковавший такое отношение, существовал одновременно *внутри* и *за пределами* системы — внутри ее институциональных или социальных форм, но за пределами буквальных смыслов, которые с этими формами ассоциировались.

Инна и ее друзья

Инна (1958 года рождения) окончила школу в 1975 году и поступила на исторический факультет Ленинградского университета. В этот момент ее отношение к жизни поменялось. Инна вспоминает:

> Когда я училась в школе, все, естественно, казалось предельно ясным... В восьмом классе я с большим воодушевлением вступила в комсомол... Мне хотелось внести свою лепту в общее дело. Я первой из класса вступила. ...Но дома, даже тогда, мы уже понемногу слушали Высоцкого и Галича[6]. ...К девятому или десятому классу [1974—1975 годы] мой энтузиазм начал пропадать... Хотя я, конечно, оставалась законопослушной, потому что я понимала, что так надо. Но после окончания школы я перестала участвовать в этой

[6] О Владимире Высоцком см. подробнее в конце главы 3. Александр Галич (1918—1977) — драматург, автор и исполнитель песен, один из зачинателей жанра советской авторской песни. Его творчество неоднозначно воспринималось Советским государством. После исполнения им песни «Памяти Пастернака» в 1968 году его отношения с официальными институциями стали более напряженными. В 1971 году он был исключен из Союза писателей, в 1972-м — из Союза кинематографистов, а его пьесы перестали публиковаться. В 1974 году Галич был выслан из Советского Союза. Он умер в 1977 году в Париже, где и был похоронен.

> жизни. Я больше не ходила на комсомольские собрания. Просто знала, что могу этого не делать без особых для себя последствий[7].

В университете Инна подружилась с людьми, которые тоже избегали идеологических ритуалов системы:

> Мы никогда не ходили голосовать. Мы просто игнорировали выборы, демонстрации и т.д. ...Моей единственной связью с советской жизнью была работа [будучи студенткой, Инна подрабатывала в университетской библиотеке] и учеба, хотя в университет я тоже ходила редко — у нас просто не было времени.

Инна подчеркивает, что ни она, ни ее друзья не ассоциировали такое существование с чем-то «антисоветским». По ее словам, им были одинаково безразличны как поддержка советского режима, так и сопротивление ему. Она рассказывает:

> Никто из моих друзей не был антисоветчиком... Мы просто не говорили друг с другом о работе, или учебе, или политике. Вообще не говорили. Что вполне понятно, если учесть, что мы не смотрели телевизор, не слушали радио и не читали газет примерно до 1986 года [до начала перестройки].

В диссидентский политический дискурс этот круг тоже не особенно вникал, хотя литературу неполитического самиздата почитывал (см. ниже). Инна объясняет: «Мы никогда не разговаривали о диссидентах. Всем и так все было ясно, зачем об этом говорить? Это было *не интересно*»[8].

[7] Авторское интервью с Инной, Санкт-Петербург, 1994 год.

[8] Курсив мой. Ср. со словами Олеси в главе 3 о «неинтересности» дискурса ее «диссидентствующего» коллеги, который «ожидает от тебя какой-то реакции, но тебе нечего ответить. Не потому, что ты не способен анализировать как он, а потому, что тебе не хочется этого делать».

Последнее замечание отсылает нас к уже знакомому понятию *перформативного сдвига* авторитетного дискурса. Поскольку буквальная интерпретация авторитетных высказываний, символов и практик чаще всего уже не предполагалась (их констатирующий смысл в большинстве случаев потерял важность), рассуждать о том, насколько эти смыслы верны или неверны, многим, включая этот круг людей, казалось пустой тратой времени. Они считали, что разумнее и интереснее использовать возможности, которые открывались в результате формального и невовлеченного воспроизводства авторитетных символов. Это давало возможность наделять свое существование новыми смыслами, которые система не могла до конца проконтролировать. Именно поэтому Инна и ее друзья предпочитали невовлеченность в буквальные смыслы практик и высказываний системы, как положительных, так и отрицательных, молча отстраняясь и от дискурса активистов, и от дискурса диссидентов:

> Как мы к ним относились? В общем-то никак. Мы были *другими*. Мы были *тут*, а они были *там*. ...Мы это особенно не обсуждали, но всем нам казалось, что нет особого отличия между человеком, который выступает за систему или против нее. Просто знаки меняются. И те и другие были *советскими людьми*. А я советским человеком себя никогда не считала. Мы от них отличались *органически*. Это правда. Мы просто были *вне*.

Характерен язык, которым Инна описывает свою позицию. Употребляя местоимение *они* и фразу *советские люди*, она включает в них не только партийных и государственных чиновников или людей, поддерживающих партию, но и ее противников. С этой позиции дискурс диссидентов и авторитетный дискурс партии рассматриваются как часть одного дискурсивного режима, несмотря на то что первый противостоит второму.

Похожую картину взаимоотношений партийного и диссидентского дискурсов рисует Сергей Ушакин. По его мнению, диссидентский дискурс был связан с дискурсом власти *интра*дискурсивными, а не *интер*дискурсивными отношениями. Называя такую форму диссидентского

противостояния «миметическим сопротивлением», он говорит, что те, кто занимал позицию доминирующих, и те, кто был в позиции доминируемых, располагались по разные стороны одного дискурсивного поля и пользовались «одним и тем же словарем символических средств и риторических приемов. Ни доминирующие, ни доминируемые не могли поместить себя за рамками этого словаря»[9]. Опираясь на эту модель, Ушакин делает вывод, что единственным дискурсом, который в советском обществе мог восприниматься как «дискурс истины», был диссидентский дискурс, миметически копирующий доминирующий дискурс партии[10]. Однако этот вывод нам представляется ошибочным. Проблема в том, что оценка высказывания как *истинного* или *ложного* имеет отношение лишь к констатирующему, то есть буквальному, референтному (а не перформативному) смыслу высказывания. Но констатирующий смысл авторитетного дискурса, как мы видели, для большинства советских граждан в этот период был относительно не важен по сравнению с перформативным смыслом. Поэтому диссидентский дискурс, так же как и авторитетный дискурс, в доперестроечном советском обществе не воспринимался как «дискурс истины». Эту идею можно выразить иначе, воспользовавшись терминологией Довлатова (см. начало главы): «истина», которую описывал язык диссидентов, относилась к «ясным истинам». Но в позднесоветском обществе важность ясных истин отошла на задний план. Они стали относительно не важны по сравнению с иными, «глубокими истинами», смысл которых не имел отношения ни к авторитетному, ни к диссидентскому дискурсу. Эти *глубокие истины* нельзя рассматривать как часть авторитетного «дискурсивного режима» вообще. Иными словами, они не находились ни *внутри* этого дискурсивного режима, ни *за его пределами* — их отношение с дискурсивным режимом системы было иным: находясь *внутри* формальных параметров этого дискурса (внутри его риторических и языковых форм), они одновременно были *за пределами* его буквальных смыслов. Не случайно Инна говорит, что она и ее друзья «отличались органически» от советских людей. Использование метафоры «органического» отличия является

[9] Oushakine 2001: 207—208.

[10] Ibid.

попыткой подчеркнуть, что эти люди превратились в принципиально иных *субъектов*, подобно тому как в симбиозе орхидеи и пчелы, из вышеприведенного примера Делёза и Гваттари (глава 3), и пчела, и орхидея становятся принципиально *иными* живыми существами — пчела приобретает черты «орхидейности», а орхидея — черты «пчелиности».

Поясняя свое отношение к советской реальности, Инна говорит: «Мы просто были *вне*» и «Мы находились *вне* какого-либо социального статуса». Хотя это отношение к советской системе отличалось от отношения более включенных в систему комсомольцев, комсоргов и секретарей, оно напоминает чувство отторжения, которое испытывали многие из этих комсомольцев по отношению к тем, кого они воспринимали как «активистов» и «диссидентов» (см. главу 3). Поэтому важно подчеркнуть, что принцип нахождения *вне* системы (внутри формы авторитетного дискурса, но за пределами его констатирующего смысла) практиковался не только людьми типа Инны или Бродского, но и большинством «комсомольцев», хотя и в разной степени. Принцип существования «вне» стал общим принципом позднесоветской системы, составной частью ее структуры.

Этот тезис можно выразить иначе, если вернуться к вопросу о том, какой дискурс мог восприниматься в советской системе как «дискурс истины». Для ответа на этот вопрос следует развести два отличающихся понятия «истины», доминирующие в разных дискурсивных полях — понятие «ясных истин» доминировало в дискурсе большинства диссидентов-шестидесятников, а понятие «глубокой истины», вышедшее на авансцену в 1970—1980-х годах, доминировало в дискурсе большой части представителей последнего советского поколения. Именно этот последний дискурс, безусловно, воспринимался в последние десятилетия советской системы как «дискурс истины», при этом отнюдь не являясь дискурсом диссидентов, «миметически копирующих доминирующий дискурс партии». Его отношение к дискурсу партии строилось не по принципу противопоставления, а по принципу *вненаходимости*. Чтобы разобраться в этом принципе, определим понятие «вненаходимость» в нашем контексте.

Автор и герой позднего социализма

Следует подчеркнуть, что Инна и ее круг были в курсе оппозиционного дискурса и не игнорировали его вовсе. Они читали самиздатовскую литературу, включая «Архипелаг Гулаг» Солженицына, однако это чтение было особенным. Оно помогало им выработать понятие «советскости» (включавшее как авторитетный дискурс партии, так и контрдискурс диссидентов), для того чтобы дистанцироваться от этого понятия. Инна говорит: «Мы не считали Солженицына *своим*. Это было важно. ...Мы не были противниками системы, как он». По ее словам, оппозиционная литература была важна как позиция, в сравнении с которой можно было определить свою место: «Было важно понять, где мы на самом деле находимся — *не относительно власти, а вообще*»[11]. Инна относилась к Солженицыну с уважением, но его призывы занять активную моральную позицию по отношению к советской системе казались ей неактуальными[12].

Термин «свой» в этом высказывании («мы не считали Солженицына своим») использован практически в том же смысле, как им пользовались герои предыдущей главы. Вид социальности, к которому отсылает этот термин, формировался не внутри и не в противопоставлении к авторитетному дискурсу, а *как реакция* на него — то есть этот вид социальности формировался как *публика* авторитетного дискурса (см. главу 3). Эта реакция на адресованное кому-либо авторитетное высказывание была особой — она состояла не в поддержке или отторжении его буквального смысла, а в перформативном воспроизводстве его формы, но изменении его смысла. Подобные *публики своих* (глава 3) не ограничивались непосредственным кругом друзей и знакомых. Они могли включать и людей незнакомых, разделяющих определенные интересы,

[11] Курсив мой. — *А.Ю.*

[12] Напомним, что речь идет о конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда подавляющее большинство советских граждан Солженицына еще не читало. И хотя Инна и ее друзья уже читали ходившие по рукам отрывки из «Архипелага Гулага», изданного за рубежом в середине 1970-х годов, более-менее публичного дискурса об этом и других произведениях Солженицына в советской повседневности не было.

занятия, формы общения и, самое главное, отношение к авторитетному дискурсу по принципу *перформативного сдвига*. Хотя эти публики были достаточно сплоченными, они не были закрытыми — членство в них было открытым и меняющимся. В этих публиках формировались и нормализовались виды субъектности, социальных отношений и интересов последнего советского поколения. Мы рассмотрели публики своих в главе 3. Однако, чтобы понять природу этих публик в контекстах, не связанных напрямую с идеологическим производством, которые рассматриваются в данной главе, вернемся еще раз к словам Инны: «мы были просто *вне*», «мы находились *вне* какого-либо социального статуса» и «мы от них [советских людей] отличались *органически*». Инна использует предлог «вне» — *быть вне*, *находиться вне* — для описания особого состояния субъекта по отношению к политической системе, при котором он продолжает жить *внутри* системы, но становится для нее как бы *невидимым*, оказываясь *вне* ее поля зрения. Это состояние отличается и от поддержки системы, и от сопротивления ей.

Аналогично публикам своих круг Инны тоже формировался как реакция на авторитетный дискурс. Однако, вместо того чтобы напрямую участвовать в воспроизводстве формы авторитетных текстов и ритуалов, как это делали обычные комсомольцы и комсорги, люди, подобные друзьям Инны, активно избегали такого участия. Избегали они даже рассуждений на тему своего неучастия и его причин, считая такие беседы «неинтересными». *Неинтересность* и существование *вне* системы являются взаимосвязанными категориями, обозначающими определенное состояние, при котором человек продолжает жить и функционировать в формальных рамках государственной системы, но выключается из большой части его буквальных смыслов (по крайней мере, до возможных пределов).

В принципе, любой человек в определенных контекстах практикует отношение невовлеченности к какой-то внешней символической системе. Например, ему может быть *неинтересно* — то есть *неактуально* — выбирать, за кого болеть в футбольном матче между «Ювентусом» и «Аяксом», если он не интересуется футболом, хотя и сталкивается с его трансляциями по телевизору. Но уровень невовлеченности меняется, когда речь идет не об отдельных областях знания и смыслов,

а о суверенной системе, субъектом которой является человек. Инне и ее кругу казалось неинтересным и неактуальным отстаивание *ясных истин*, к которому призывали диссиденты. Вместо стремления «жить по правде», к чему призывал Вацлав Гавел, или «жить не по лжи», к чему призывал Александр Солженицын, они, по словам Инны, «жили легко» и «вели очень веселую жизнь»[13]. Эти выражения говорят не об отсутствии серьезных идей, устремлений или политической ответственности, а о замене политических и социальных ориентиров, выраженных в буквальном смысле авторитетного дискурса, на *иные* ориентиры, позволявшие вести интересную, насыщенную, творческую жизнь *вне* этих буквальных смыслов.

В России к наиболее ярким примерам этого образа жизни применяется понятие «внутренней эмиграции»[14]. Эту метафору, однако, не стоит интерпретировать слишком дословно, как полный уход от советской действительности или «советского режима» в автономные, изолированные области свободы и аутентичности. Такая интерпретация «внутренней эмиграции» не описывает реальную ситуацию, в которой существовали эти сообщества, а лишь способствует созданию мифа об их якобы полной независимости от государства. В действительности, конечно, «внутренняя эмиграция» отличалась от собственно эмиграции именно тем, что она могла практиковаться благодаря активному использованию возможностей (финансовых, юридических, технических, идеологических, культурных и так далее), которые обеспечивались самим государством. При этом в сообществах внутренней эмиграции многие культурные параметры и смыслы советского мира смещались и переосмысливались. Метафора внутренней эмиграции совсем неприменима к другим, менее крайним и более распространенным примерам существования *вне* — когда субъект был активно вовлечен в какую-либо деятельность советской системы и занимался ею с большим интересом, но при этом игнорировал большинство констатирующих смыслов

[13] Это отношение у них резко поменялось позже, во время перестройки, когда поменялся прицип всей системы, авторитетный дискурс перестал функционировать как перформативное воспроизводство формы, а его буквальный смысл стал вновь актуален.

[14] См., к примеру: Гудков, Дубин 1994: 170.

авторитетных высказываний системы (как показывает пример физиков-теоретиков — см. ниже). Несколько примеров такого отношения мы рассмотрим в этой и последующих главах. Для его анализа нам потребуется понятие, которое шире, чем «внутренняя эмиграция», и способно описать образ жизни самых разных *публик своих*, от тех, которые уходили в глубокую «внутреннюю эмиграцию», до тех, которые были более-менее активно вовлечены в разные практики, смыслы и институты советской системы.

Смысл существования *вне* системы — одновременно внутри и за пределами — можно проиллюстрировать фразой «*вне* поля зрения». В ней подразумевается, что какой-то предмет находится *здесь*, мы знаем о его присутствии, но он скрыт от нашего взгляда (другими объектами, своей миниатюрностью или сфокусированностью нашего внимания на другом). Субъектное состояние *вне* системы тоже подразумевает выпадание из поля зрения системы или, точнее, ее «режима видимости» (или «режима видимого»). Такой субъект, продолжая существовать внутри системы, может не следовать ее символическим, легальным, языковым или другим параметрам (действовать непонятным для окружающих образом, говорить на непонятном им языке, не вникать в смысл фактов окружающей реальности, интерпретировать происходящее ему одному понятным образом и так далее). Тезис данной главы заключается в том, что в условиях позднего социализма взаимоотношение большинства субъектов и публик с государством строилось, в меньшей или большей степени, именно по этому *вне*-принципу. Более того, это отношение не ограничивалось неким «альтернативным» способом существования — напротив, это отношение стало центральным принципом существования и воспроизводства всей позднесоветской системы как таковой. Хотя такое отношение субъекта к системе не является отношением сопротивления государству, оно постепенно изменяло систему, делая государство потенциально хрупким и готовым (в определенных условиях) к неожиданному обвалу, поскольку государственно-партийный аппарат не был в состоянии полностью распознать, понять, а значит, и проконтролировать это отношение.

* * *

Для анализа *состояния «вне»* можно применить теоретический аппарат из самых разных областей. Поскольку объектом нашего исследования являются условия производства, распространения и интерпретации авторитетного дискурса различными актерами, нам удобен язык, разработанный Михаилом Бахтиным в его ранней работе «Автор и герой в эстетической деятельности». В ней Бахтин ввел понятие *вненаходимости* для определения особых отношений, которые складываются в литературном тексте между автором и героем. Бахтин определил их как отношения «напряженной вненаходимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, ценностной и смысловой вненаходимости»[15]. Согласно Бахтину, автор и герой не являются *ни* двумя независимыми друг от друга субъектами, *ни* единым и неделимым субъектом. Ни голос автора, ни голос героя не имеет абсолютного приоритета над другим голосом во временном, пространственном, ценностном или смысловом плане. Герой не вторичен автору, поскольку без голоса героя автор бы не имел своего собственного голоса. Голос пишущего субъекта является одновременно голосом автора, создающего литературный текст, и голосом героя, проживающего этот текст. Как отмечают исследователи Бахтина, этот анализ имеет отношение не только к литературному тексту, но и к теории субъекта вообще. С понятием вненаходимости Бахтин ввел важную модель субъекта, которая базируется не на традиционной бинарности взаимоотношений субъект—объект, а на *тройственности* этих взаимоотношений. Субъект здесь предстает в *двуединстве* смещенных позиций: он одновременно *я* и *другой* (*автор* и *герой*) и только на основании этого двуединства формируются его отношения с объектом (с текстом, с другими субъектами, с окружающим миром)[16].

Эта общая теория взаимоотношений субъекта и дискурса в советском контексте преломлялась особым образом. Уникальность контекста

[15] Работа Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» написана между 1920 и 1924 годами. См.: Clark, Holquist 1984: 353.

[16] Подробнее см.: Микешина 1999.

позднего социализма состояла в том, что в его дискурсивном пространстве доминировал авторитетный дискурс, избежать которого полностью было невозможно. Но в состоянии *вненаходимости* по отношению к этому дискурсу находиться было можно. Именно такое отношение практиковал «нормальный» советский субъект. Этот субъект играл одновременно две роли по отношению к авторитетному дискурсу: он был его *героем*, который «говорил» навязанным ему языком (то есть перформативно воспроизводил форму этого дискурса, посещая собрания, голосуя за, читая или не читая лозунги и просто не противореча ему напрямую), но он был и *автором* этого дискурса (то есть интерпретировал его по-новому, связывая с ним социальные практики и отношения, смысл которых не обязательно совпадал с буквальным смыслом авторитетных высказываний). Более того, именно благодаря тому, что «нормальный» субъект играл роль *героя* (четко воспроизводил форму авторитетного дискурса), он мог играть роль *автора* (создавал новые смыслы внутри советской реальности).

В главах 1 и 2 мы показали, что в ранние периоды советской истории, до начала 1950-х годов, Сталин играл роль «внешнего редактора» авторитетного дискурса. По терминологии Бахтина, Сталин был *автором* идеологического дискурса, способным единолично контролировать то, насколько точно идеологический язык описывает *авторитетный сюжет*. В тот сталинский период советский субъект играл роль *героя*, вынужденного следовать не только форме, но и смыслу идеологических высказываний. Однако с исчезновением позиции единоличного *автора* идеологического дискурса в начале 1950-х годов этот дискурс пережил перформативный сдвиг — смысл его высказываний более не гарантировался единоличным автором и оказался открыт для новых интерпретаций. Хотя советский субъект продолжал воспроизводить форму авторитетных высказываний, теперь он также играл роль *автора* этих высказываний, способного наделять их новым смыслом, не запланированным партией. Голоса автора и героя авторитетного дискурса слились в каждом советском субъекте — то есть субъект оказался в отношениях вненаходимости к этому дискурсу.

Добавим, что *вненаходимость* и *детерриториализация* (см. главу 3), очевидно, являются родственными понятиями. Детерриториализация —

это процесс внутреннего изменения системы, ее становление *другой* системой; вненаходимость — это положение субъекта по отношению к такой системе. Примеры *вненаходимости*, которые рассматриваются в данной главе, взяты из разнообразных социальных контекстов конца 1960-х — середины 1980-х годов. Нашей задачей является демонстрация того, что отношения вненаходимости были не способом изоляции от норм и правил позднего социализма, а неотъемлемой частью этих норм и правил. Эти отношения не только пронизывали позднесоветскую систему сверху донизу, но и были необходимым условием ее существования, оставаясь при этом относительно невидимыми для государства — точнее, оставаясь за пределами буквального смысла авторитетных описаний реальности.

Отношение вненаходимости к идеологическим высказываниям и символам системы неверно приравнивать к *аполитичности*, *апатии* или *уходу в личную жизнь*[17]. Позиция Инны, ее друзей и, в той или иной степени, большинства ее сверстников (больше, чем позиция Бродского) была основана не на изолированности от советской политической реальности, что было невозможно и неактуально, а на ее активном принятии. Но принятие это было чисто перформативным, ритуальным — оно производилось на уровне воспроизводства формы символов и высказываний, при почти полном игнорировании их констатирующего смысла. Такая позиция не является «аполитичной» потому, что она последовательно ведет к подрыву идеологической функции авторитетного дискурса и незаметному (до поры до времени) внутреннему кризису структуры власти. Подрыв этот осуществляется не путем прямого сопротивления системе, а путем участия в ее воспроизводстве, но с одновременной ее *детерриториализацией*. Эта позиция является примером политической позиции, хотя «политическое» понимается в ней особым образом, не вписывающимся в определение этого понятия Советским государством[18]. Более того, необычность этой политической позиции

[17] Что ошибочно делают многие исследователи — например, Кевин Платт и Бенджамин Натанс, которые, в своем комментарии к английскому изданию моей книги, неверно трактуют понятие «вненаходимости», сводя его к аполитичности или апатии. См: Платт, Натанс 2010.

[18] См. подробный разбор политики вненаходимости в конце данной главы и особенно в главе 7.

заключается еще и в том, что она основана на отказе признавать саму себя «политической» позицией (вспомним, что Инна и ее сверстники настаивали на неинтересности и неактуальности политических тем). Причиной этого непризнания было то, что в советском авторитетном дискурсе понятие «политического» было сформулировано в бинарных терминах — политическая позиция могла быть либо «советской», либо «антисоветской», а *политика вненаходимости* не была ни той ни другой.

Дворец пионеров

Некоторые из университетских знакомых Инны знали друг друга еще со школьных лет, когда они посещали Ленинградский дворец пионеров и занимались в его кружках. Дворец пионеров открылся в 1937 году в здании Аничкова дворца на углу Фонтанки и Невского проспекта. В советское время во дворце действовало множество кружков, клубов и секций, работающих в дневные и вечерние часы, — от хоров, симфонических оркестров, джазовых коллективов и танцевальных ансамблей до литературных, математических, шахматных и археологических клубов. Тысячи детей и подростков посещали занятия во Дворце, и некоторые впоследствии стали знамениты[19]. На церемонии открытия Дворца в 1937 году поэт Самуил Маршак сказал, что в нем «ребята найдут ключи, открывающие перед ними двери в большую науку и технику, в искусство... Здесь они научатся хорошо работать и работать дружно, сообща, коллективно»[20]. Слова Маршака оказались пророческими и в прямом, и в переносном смысле. В этом проявился парадокс советской культуры, о котором говорилось выше. С одной стороны, заявленная цель

[19] Среди воспитанников Дворца пионеров были оперная певица Елена Образцова, балерина Наталия Макарова, чемпион мира по шахматам Борис Спасский, театральный режиссер Лев Додин и нейрофизиолог Наталья Бехтерева. После распада СССР, когда пионерская организация перестала существовать, Дворец был переименован в Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Секции, кружки и спортивные школы Дворца активно действуют и по сей день.

[20] Пыжова 2007.

пионерской организации, центром которой в Ленинграде был Дворец пионеров, состояла в том, чтобы учить детей «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия»[21]. С другой стороны, в советской идее образования подразумевалась необходимость воспитывать всесторонне развитую личность, с самостоятельностью мышления и умением критически мыслить, что подчас противоречило первой задаче. Преобрести эти критические навыки во многочисленных внешкольных кружках было легче, чем в школе.

В период позднего социализма всевозможные кружки, секции и клубы для детей действовали по всей стране в огромном количестве — при средних, музыкальных и спортивных школах, ЖЭКах, клубах, любительских театрах и так далее. Многое в этой внешкольной форме обучения зависело от преподавателей. В Ленинградском дворце пионеров среди преподавателей было много неординарных личностей — писателей, музыкантов, историков[22]. Многие предпочитали преподавать во Дворце не из материальных соображений (зарплата в подобных учреждениях была ниже средней), а из-за относительной свободы для эксперимента, которой в «специализированных» кружках и клубах было значительно больше, чем в обычных школах с более строгой учебной программой, требованиями и иерархиями.

Многие из университетских друзей Инны в школьные годы принадлежали к одному из двух наиболее известных кружков Дворца пионеров — литературному или археологическому.

Литературный кружок «Дерзание»

Кружок для детей, занимающихся литературным и поэтическим творчеством, возник во Дворце пионеров с момента его открытия в 1937 году. Однако пора наибольшей активности и известности кружка

[21] Из текста «Пионерской клятвы».

[22] В разные годы здесь преподавали поэт С. Маршак, писатель К. Чуковский, композитор И. Дунаевский, директор Эрмитажа И. Орбели, историк В. Струве, шахматист М. Ботвинник и многие другие (см.: Локотникова, Буланкова 2006).

пришлась на период позднего социализма, на 1960—1970-е годы, когда в нем особенно поощрялись открытые дискуссии по вопросам культуры, литературы и общества. Бывшие воспитанники кружка сравнивают свободолюбивую атмосферу, царившую в кружке в те годы, с «литературным салоном», а занятия — со спонтанными «импровизациями», в которых практически любые темы были открыты для обсуждения и любая позиция подвергалась сомнению[23]. Один из выпускников кружка вспоминает:

> Главным клубным действом были литературные субботы... Самыми интересными из наших «Литературных суббот» были диспуты. Одни готовились заранее, другие больше походили на импровизации. Спорили обо всем, резко, свободно. Собрали учителей и устроили разговор о преподавании литературы в школе. Говорили о культе личности и высоких идеалах, о стихах, о научной фантастике. Споры вели на равных и педагоги, и сами ребята. В диспутах никогда не делалось различий — кто говорит, и авторитет наших учителей строился не на том, что только они знают истину. В этом каждый из нас сомневался, уверенный, что истина принадлежит только ему, и никому другому[24].

Советскую систему как таковую никто не критиковал — не только потому, что этого не следовало делать по идеологическим причинам, но и потому, что это казалось неинтересным. Однако критические высказывания и споры о некоторых периодах советской истории — например, о сталинском терроре или культе личности — были, по воспоминаниям членов кружка, в норме. Историческая удаленность сталинского периода, а также распространившаяся в более ранний период «оттепели» идея о том, что сталинизм был отклонением от идей коммунизма, а не их воплощением, делали разговоры на такие темы возможными и интересными. Также было возможно дискутировать на тему эстетических канонов советской литературы, при условии, что аргументы не будут

[23] Пудовкина 2000.

[24] Марк Мазья, цит. по: Пудовкина 2000.

антисоветскими, но будут серьезными и искренними, без насмешки и неприязни. Как вспоминает другой участник кружка:

> Сюда ходили люди, писавшие замечательные стихи. Когда я их слушала, казалось, что происходит что-то имеющее смысл. Элементы советской эстетики там тоже присутствовали, но в максимально смягченном варианте. Ценно также, что и те, кто выходил за рамки просвещенного советского либерализма[25], не отторгались остальными. В клубе ценили талант, стремились к интеллектуальной честности и, все ж таки, относились к литературе как к служению. Там была нормальная творческая атмосфера, а это помогает жить, когда такой атмосферы нет[26].

Еще одна участница кружка вспоминает, что благодаря кружковскому преподавателю поэзии, Нине Алексеевне Князевой, она познакомилась с произведениями Солженицына, которые на тот момент, в середине 1970-х годов, были в Советском Союзе запрещены[27]. Другая участница рассказывает о поездках по старым городам России, которые организовывали преподаватели кружка. В этих вполне «официальных» поездках ученики узнавали множество фактов советской истории и литературы, о которых обычная школьная программа не упоминала:

> Та же атмосфера творческого содружества и свободы сохранялась во всех клубных поездках. В разные годы дворцовцы ездили в Яблоневку, Кузьмолово, Пушкинские Горы, летом путешествовали по средней полосе России. В походах мы знакомились не только (и не столько) с достопримечательностями того или иного места, сколько с носителями той, уходящей культуры, следы которой еще можно было обнаружить в разных затерянных уголках. В Тарусе[28] мы встречались

[25] Речь идет о вере в «социализм с человеческим лицом», распространенной в среде шестидесятников.

[26] Елена Дунаевская, цит. по: Пудовкина 2000.

[27] Татьяна Царькова, цит. по: Пудовкина 2000.

[28] Таруса, городок на Оке близ Калуги, к западу от Москвы, была популярным местом проведения летних отпусков среди московской интеллигенции. В советское время

с дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон, бывали в доме Константина Паустовского, кто-то из нас беседовал с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Вместе с Полиной Беспрозванной мы ходили к Василию Витальевичу Шульгину, который, выйдя из лагеря, поселился вместе с женой во Владимире. Он расспрашивал нас о нашей жизни и очень удивлялся, что его знают и помнят дети из Дворца пионеров. Во время поездки по «Золотому кольцу» мы бывали во многих храмах, на День святого Сергия Радонежского ездили в Загорск — в Троице-Сергиеву лавру. Не помню, обсуждались ли в клубе вопросы, связанные с религией. Пропаганды атеизма не было — это точно. Отношение к вере прививалось уважительно-молчаливое[29].

Благодаря особому вниманию, которое уделялось в кружке критическому анализу культуры, откровенности дискуссий, высказыванию мнений, отличающихся от общепринятых, а также доступу к знаниям, недоступным большинству, кружок постепенно преобразовался в сплоченную общность, основанную не только на дружбе и общих интересах, но и на разделяемом всеми участниками ощущении своего *отличия* от «обычных» советских людей. Именно это было главным объединяющим началом. По словам еще одного участника, кружок «не был завязан на литературе, сюда ходили разные люди, не только пишущие, а всякие, кто принимал здешнюю иерархию ценностей». Культура отношений здесь представляла собой некий «искусственный микроклимат», в котором ребята «дышали чистым воздухом», тогда как «снаружи шла другая жизнь, в которой невозможно было существовать по клубным законам»[30].

И хотя общение в кружке не было основано на откровенной оппозиции идеям и задачам, провозглашенным в советском авторитетном дискурсе, смысл этого общения, очевидно, отличался от буквального

некоторые писатели и художники, многие из которых имели проблемы с советскими властями, переехали сюда на постоянное жительство. В разное время в Тарусе жили Константин Паустовский, Иосиф Бродский, Александр Гинзбург и Лариса Богораз.

[29] Пудовкина 2000.

[30] Николай Голь, цит. по: Пудовкина 2000.

смысла авторитетных высказываний. Кружок был неотъемлемой, хотя и исключительной частью советской ценностной системы, в которой с особой яркостью отразилась парадоксальность этих ценностей. Официальное название кружка, «Дерзание», оказалось вполне оправданным во всех смыслах.

Археологический кружок

Среди знакомых Инны и просто людей этого круга были и те, кто посещал в школьные годы другой знаменитый кружок Дворца пионеров — археологический. Археологический кружок открылся в 1972 году. К концу 1980-х несколько сотен школьников прошло в нем обучение в качестве археологов-любителей. Воспитанники кружка представляли собой разные социальные слои советского общества — многие были из интеллигентных семей, но было немало ребят и из семей рабочих[31]. Большинство из них привело в кружок детское романтическое увлечение приключениями и путешествиями. Однако благодаря руководителю кружка историку Алексею Владимировичу Виноградову занятия по археологии здесь всегда сопровождались беседами о литературе, поэзии, истории, религии. Участники кружка ездили в археологические экспедиции по разным областям Советского Союза — от Ленинградской области до Тувы, Сибири и Кавказа. Сидя вокруг костра, ребята читали стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, которые почти не публиковались в Советском Союзе по идеологическим соображениям, пели песни Галича и Высоцкого. Как и в случае литературного кружка «Дерзание», участие в археологическом кружке способствовало образованию сплоченной социальной среды, объединенной дружбой, общими интересами и особыми ценностями — независимостью суждений, терпимостью ко мнениям других, неодобрительному отношению к политизированным точкам зрения любого толка и ощущению своей *отличности* от «обычных» советских граждан. Как отмечает один из

[31] Гладарев 2000.

бывших участников кружка, в нем существовало «представление о том, что есть мы, а есть... советский обыватель и важно было, чтобы *свой* человек, он... осознавал тоже это отличие, он осознанно был не массой, а как бы получалось, что *вне*... Был другим. Да, осознанно другим»[32]. В отличие от тех, кто занимал откровенно антисоветскую позицию или же, напротив, был сторонником советской системы, члены кружка ощущали себя людьми *другими*, *несоветскими*. Политические и идеологические темы воспринимались ими как неинтересные, по крайней мере до наступления перестройки[33].

Многие из бывших членов кружка продолжали ходить в археологические экспедиции в течение долгих лет и после окончания школы и Дворца пионеров. Инна была одной из них. По ее словам, целью этих поездок была не столько археология, сколько развитие самостоятельности мышления: «В этих экспедициях было особенно важно... чтобы каждый двигался в своем собственном направлении и никто не стоял у него на пути и не мешал ему думать и ощущать по-своему. Это было крайне важно. ...Это было как медитация»[34]. Метафора медитации хорошо передает принцип существования в подобных пространствах *своих*, основанных на тесном дружеском общении и нескончаемых дискуссиях на интересные для всех темы. Практика медитации также указывает на особое отношение с окружающим миром — хотя человек продолжал существовать в той же системе, что и все, он старался как можно меньше вникать в смысл ее высказываний, существуя в отношении *вненаходимости* к ней, одновременно внутри и за ее пределами.

Повторимся, что подобный образ жизни и вид социальности стал возможен благодаря парадоксальной культурной политике Советского государства — благодаря вниманию, которое государство уделяло

[32] Вася, цит. по: Там же (курсив мой. — *А.Ю.*).

[33] В период реформ, когда дискурсивный режим советской системы резко изменился, политические темы и политическая активность быстро стали важны для членов кружка. В 1986 году участники археологического кружка основали Группу по спасению памятников истории и культуры — первую общественную организацию в Ленинграде, учрежденную «снизу», без поддержки комсомола и партии. Первыми ее шагами стали известные кампании по спасению дома Антона Дельвига и отеля «Англетер».

[34] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

образовательной системе, а также благодаря постоянно повторяющимся в государственной риторике тезисам о важности высокой культуры, коллективизма и нематериальных ценностей. Члены кружка, даже в большей степени, чем «нормальный» советский субъект, считали постыдным стремление к денежной выгоде, а деньги называли «презренным металлом»[35]. Такое отношение к деньгам, довольно распространенное в то время, усиливалось среди участников кружка общением с преподавателями, принадлежащими к поколению шестидесятников или старой интеллигенции. Проявлялось оно и в том презрении, с которым участники подобных сообществ относились, например, к фарцовщикам. Этика, лежащая в основе подобных нематериальных отношений, взглядов и оценок, возникла не в пику официально заявленным ценностям социалистического государства, а, напротив, благодаря существованию этих ценностей, благодаря их постоянной циркуляции в высказываниях государства. Кроме того, она была возможна благодаря экономической системе, в которой государство поддерживало всевозможные внешкольные организации, включая подобные кружки, и брало на себя обеспечение базового минимума жизненных нужд, о которых можно было почти не заботиться. По словам одного из членов кружка:

> Честно говоря, на зарабатывание каких-то больших денег никто ориентирован не был. По тем временам это было и не нужно. Любой зарплаты, более или менее стабильной, хватало на то, чтобы с голоду не умереть, ну я не знаю, быть худо-бедно одетой[36].

Будучи неотъемлемой частью советской системы, эти кружки и другие среды подобного типа смещали смыслы советского существования. В них часть советской молодежи училась существовать в состоянии «вненаходимости» по отношению к системе. И велось это обучение благодаря самому государству.

[35] Гладарев 2000.

[36] Тамара, цит. по: Гладарев 2000.

Физики-теоретики

Важно еще раз подчеркнуть, что существование по принципу вненаходимости не ограничивалось только тем, что сегодня принято не слишком точно называть советской «неофициальной культурой». Напротив, этот принцип существования распространялся в тот период на все контексты советской жизни, независимо от их «официальности», «неофициальности», гибридности и так далее.

Состояние вненаходимости *по отношению* к авторитетному дискурсу возникло также и в тех группах и сообществах, которые, без сомнения, были частью государственной системы, были институционально оформлены и пользовались государственным финансированием и привилегиями, — например, инженеров, научных сотрудников, ученых. Характерным примером такой социальной среды были физики-теоретики, работавшие в научных институтах, получавшие неплохие зарплаты и имевшие значительный престиж в обществе. Теоретической физикой можно было заниматься в условиях относительной независимости от идеологических ограничений государства и даже относительной свободы от контроля над тематикой (в отличие от прикладной науки). Исследователи Ниири и Брейденбах (Nyíri и Breidenbach), изучавшие сообщества физиков-теоретиков в эпоху позднего социализма, отмечают: «Пользуясь доводом о том, что успехи физической науки зачастую основаны на неожиданных открытиях, [советским] ученым-физикам, как правило, удавалось убедить руководство позволить им проводить те исследования, какие им хочется»[37]. Борис Альтшулер, являвшийся научным сотрудником Ленинградского института ядерной физики (ЛИЯФ) с 1978 по 1989 год, так сравнивает условия, в которых работали физики-теоретики этого института, с условиями работы ученых в университетах США, где он работает с начала постсоветского периода:

> У нас [в ЛИЯФе] не было особых обязанностей. Нам не надо было преподавать, и мы, в принципе, могли свободно выбирать предмет исследования. Здесь в США трудно себе представить такую свободу.

[37] Nyíri, Breidenbach 2002: 45.

> Здесь приходится тратить уйму времени на составление заявок на гранты, которые ты можешь получить, а можешь и не получить. А в Ленинграде, если тебе хотелось, скажем, переключиться с физики твердого тела на физику частиц, проблем не было. Единственное, что требовалось, — это перейти в другую группу[38].

Подобно предыдущим примерам, среда физиков-теоретиков создавалась благодаря тесному интеллектуальному и культурному общению, обмену научными идеями, дружбе, а также совместным интересам, не всегда связанным с физикой, — всему тому, что было организовано по принципу совместного поиска «глубоких истин» (в отличие от «ясных истин»), к которым проблемы теоретической физики, безусловно, относились. Научные исследования, отмечают ученые, предполагали:

> напряженную мыслительную работу... и постоянный диалог с коллегами... Проблемы, поднимавшиеся на семинарах, совместно обсуждались со всех возможных точек зрения. Таким образом, идеи, касавшиеся наиболее «горячих» тем, стремительно распространялись среди всех; идеи каждого в отдельности строились на базе идей многих[39].

В самоописаниях этой среды, подобно предыдущим примерам, подчеркивается не просто ее уникальность и отличие от «обычных» советских сообществ, но и важность внутренних принципов терпимости и неполитизированности. Научные дискуссии в ней «строились в духе равноправия и общего дела, в соответствии с которыми каждому позволялось высказывать свою критику»[40]. В этом смысле коллективные исследования, общая интеллектуальная увлеченность, схожие культурные интересы и даже проводимые совместно летние каникулы — все это было, как и в предыдущих примерах, звеньями одной неразрывной цепи. От научного общения и занятий физикой невозможно было отделить

[38] Ibid: 47.
[39] Ibid.
[40] Ibid.

практику совместных походов и экспедиций, пения под гитару, чтения стихов, изучения археологии, сочинения музыки и так далее:

> Летние и зимние школы по теоретической физике превращались в настоящие «оргии» чистейших занятий физикой. Мероприятия Ленинградского физико-технического института (позднее переименованного в ЛИЯФ) проводились на загородных дачах, принадлежащих Академии наук. Юрий Докшитцер, которого отец обрек на строжайшее музыкальное образование в детстве, играл на гитаре песни Окуджавы, Высоцкого и Галича. А Алексей Кайдалов из ИТЭФа[41] пел. Образ жизни физиков-теоретиков включал в себя совместные занятия альпинизмом и походы на байдарках, чтение самиздатовских копий стихов Мандельштама и прозы Солженицына, а также романов Агаты Кристи и Ирвинга Стоуна, купленных во время зарубежных поездок. На квартирах физиков проходили актерские чтения и бардовские концерты Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, представителей альтернативной культуры, зарождавшейся на фоне тоталитарного единообразия культуры тех лет[42].

Приведенный комментарий хорошо иллюстрирует важность в этой социальной среде творческих, коллективных и относительно независимых профессиональных и культурных интересов и видов деятельности. Однако то как Ниири и Брейденбах интерпретируют эти интересы и виды деятельности в конце вышеприведенной цитаты — говоря о них как об «альтернативной культуре, зарождавшейся на фоне тоталитарного единообразия», — выдает идеологизированный подход этих исследований, основанный на знакомой бинарной модели социализма, в которой последний сведен к противостоянию репрессивного государства и героических групп сопротивления. В этой интерпретации игнорируется тот факт, что само существование творческих, динамичных и относительно независимых социальных сред ученых-теоретиков (и культурных производителей в других областях знания) являлось неотъемлемой, хотя

[41] Институт теоретической и экспериментальной физики в Москве.

[42] Nyíri, Breidenbach 2002: 47—48.

и парадоксальной частью культурного проекта Советского государства, а не его антиподом[43]. Условия, сделавшие возможным существование и процветание относительно привилегированных интеллектуальных сред, типа среды физиков-теоретиков, были теми же условиями, которые позволили им культивировать состояние *вненаходимости*. Как и в предыдущих примерах, многие из этих условий были обеспечены самим государством: начиная от престижа, которым наделялись ученые в советском обществе, господдержки академических институтов, в которых ученые были освобождены от преподавательских обязанностей, относительной финансовой и политической независимости и относительной свободы выбора исследовательских направлений и заканчивая государственным дискурсом о важности фундаментальных наук, научных и культурных знаний вообще, всестороннего развития личности, знания литературы и музыки и тому подобное. Без всех этих противоречивых задач и действий Советского государства успешное существование подобных сред было бы невозможно. Среда физиков-теоретиков не просто формировалась в результате их общего участия в различных видах деятельности, являющихся частью единого и нескончаемого процесса *общения*, — главным, что объединяло ее в общее социальное пространство, было положение вненаходимости *по отношению* к авторитетному дискурсу (воспроизводство его авторитетных форм с изменением их смысла). Эта среда формировалась одновременно и благодаря авторитетному дискурсу, и как реакция на этот дискурс, то есть она представляла собой одну из *публик* авторитетного дискурса. Выше мы назвали подобные публики *публиками вненаходимости* или *публиками своих*.

«Сайгон»[44]

[43] Не случайно некоторые детали функционирования среды физиков напоминают то, как в 1960—1970-х годах функционировала другая привилегированная среда — молодые референты ЦК, которые зачастую писали партийные тексты, слушая записи песен Высоцкого (см. конец главы 3).

[44] Со времени публикации оригинала данной книги по-английски, в 2005 году, появилось много новых воспоминаний и описаний кафе «Сайгон». Однако мы ограничимся в этой части теми материалами, которые были доступны на момент написания английского

Приведенные выше примеры показывают, как принцип *вненаходимости* функционировал в контекстах, которые были частью государственных институтов. Однако данный принцип действовал и в контекстах, которые были гораздо менее связаны с такими институтами. Примером тому могут служить всевозможные «тусовки» — жаргонный термин, возникший в период позднего социализма для обозначения социальных сред, которые не были оформлены в государственные институциональные и профессиональные формы, но были организованы по принципу относительной общности интересов и более-менее постоянного общения их членов. Подобных социальных сред возникло особенно много в период позднего социализма, и частично они тоже формировались как *публики* авторитетного длискурса.

В начале 1960-х годов, в период хрущевской «оттепели» во многих больших городах СССР зародилось социальное явление, которое, будучи незначительным в количественном смысле, имело колоссальное культурное значение. Говоря об этом явлении применительно к Ленинграду, поэт Виктор Кривулин назвал его «великой кофейной революцией»[45]. Революция эта заключалась в возникновении нескольких скромных кафетериев в центре города, которые не просто продавали крепкий кофе и выпечку, но предоставляли новый пространственно-временной контекст для общения небольших групп (в основном молодежи, но не только ее). Общение в таких местах в некоторой степени напоминало общение в кружках, клубах и профессиональных коллективах, описанных выше, — как и эти последние, такие сообщества могли пользоваться определенными государственными ресурсами (помещением кафе, его оборудованием и другими видами финансового субсидирования подобных заведений, что делало, например, цену на кофе и выпечку довольно низкой), однако в отличие от клубов и кружков, описанных

варианта книги, поскольку, во-первых, этих материалов достаточно, чтобы аргументировать данный анализ и, во-вторых, постоянно добавлять материалы к уже написанной книге является занятием избыточным и ненужным. Это же касается и большинства других частей данной книги, за исключением тех мест, где благодаря новому материалу возникает новая интерпретация.

[45] По ироничной аналогии с известной формулой советского авторитетного дискурса «Великая Октябрьская социалистическая революция» (Кривулин 1996).

выше, эти сообщества не имели государственного институционального статуса и связанной с ним обязательной регистрации членов, что также способствовало большей непредсказуемости обсуждаемых тем и более открытому и меняющемуся характеру участия.

Хотя на официальном языке большинство этих заведений называлось просто «кафе», многие из них быстро обзавелись жаргонными наименованиями. Чаще всего они образовывались из «западных» географических топонимов — в Ленинграде к ним относились кафе с такими названиями: «Лондон», «Ливерпуль», «Тель-Авив», «Рим», «Ольстер», «Европа» и другие. К концу 1960-х годов одно из них, получившее имя «Сайгон»[46], стало основным местом подобного общения. Кафе открылось 18 сентября 1964 года (многие из его бывших завсегдатаев до сих пор отмечают эту дату) в центре Ленинграда на углу Невского и Владимирского проспектов. Жаргонное название этого и других кафе отсылало к *иному* дискурсу, существующему в отношениях *вненаходимости*[47] к авторитетному дискурсу, подобно дискурсу экспериментальной поэзии, древних языков или теоретической физики. Означаемое «Сайгон» было крайне удобно благодаря его легкой узнаваемости, созданной постоянным критическим освещением в советской прессе «империалистической войны» США во Вьетнаме. Однако смысл этого означающего в новом контексте изменился: негативные политические коннотации[48] отошли на второй план, а на первый вышли ассоциации с экзотическим, восточным и одновременно коллониальным западным городом, в котором развлекаются американские солдаты. Возможно, также, что смесь отрицательного ореола, созданного советской прессой, с декадентской экзотикой придало имени «Сайгон» тон завуалированной ироничной издевки над авторитетным

[46] В наше время воспоминания и рассказы о «Сайгоне» регулярно появляются как в петербургской прессе, так и в научных трудах (см.: Валиева 2009); и хотя кафе уже не существует на прежнем месте, его именем продолжают называть новые кафе в Санкт-Петербурге и других российских городах.

[47] Точнее, этот вид вненаходимости можно отнести к дискурсу и пространству «воображаемого Запада» — см. подробнее в главе 5.

[48] Во время вьетнамской войны Сайгон был столицей антикоммунистического Южного Вьетнама и центром базирования американской армии.

Рис. 12. Ленинградское кафе «Сайгон», 1979 г. Рисунок художника Михаила Петренко, завсегдатая кафе в 1970-х гг., ныне живущего в Сан-Франциско. Сам Петренко изображен на рисунке справа, с усами и в берете

дискурсом, сделав это имя еще более привлекательным для молодых посетителей кафе. Однако в открытую никто из посетителей этого смысла не обсуждал, ведь политические вопросы воспринимались в этих средах как «неинтересные».

«Сайгон» довольно быстро приобрел завсегдатаев, которые начали заходить в него, чтобы поболтать со знакомыми и незнакомыми и выпить крепкого кофе, а иногда и портвейна, принесенного с собой тайком[49]. Отличие завсегдатаев кафе от случайных посетителей с улицы состояло в том, что для первых «Сайгон» был не просто местом, где можно выпить кофе с пирожком, но, по выражению одного из них, «местом для самоидентификации, понимания того, кто ты и какое место занимаешь среди сверстников, и источником информации, книг, идей, территорией, где завязывались контакты с противоположным полом,

[49] Кривулин 1996: 4—5.

и убежищем от опостылевших родительских нотаций, и защитой от мерзкой ленинградской непогоды»[50].

Внутри этой особой и достаточно открытой среды «Сайгона» появилось множество групп, некоторые из которых между собой почти не смешивались. В разные периоды эти группы были разными. Виктор Топоров так описывает обстановку, царившую в «Сайгоне» конца 1960-х—начале 1970-х: «У нас была компания поэтов, с нами была связана компания художников, рядом была компания наркоманов, рядом компания спекулянтов обувью, фарцовщиков»[51]. В начале 1970-х годов, вспоминает другой завсегдатай «Сайгона», одной из наиболее значимых в кафе «была компания поэтов, познакомившихся в литературном клубе "Дерзание" при Дворце пионеров. Это были Евгений Вензель, Виктор Топоров и ставший позже театральным режиссером Николай Беляк»[52]. Их привлекала возможность общаться с публикой, которая, с одной стороны, напоминала членов кружков Дворца, но с другой — была гораздо более разношерстной, расслабленной и непредсказуемой. Топоров вспоминает:

> Я до сих пор не люблю ходить в гости и у себя принимать гостей именно из-за предсказуемости всего происходящего. В «Сайгоне» была открытая ситуация. Приходя туда, я не знал — то ли вечер будет безумно скучным, то ли захватывающе веселым, кого встретишь, закончишь вечер в милиции или в баре «Европы». Я твердо знал, что, придя туда, в два часа ты нужного тебе человека непременно встретишь, потому что он тоже зайдет. Там были свободные люди, которые выпивали, беседовали. Одни писали стихи, другие — картины, мастерских практически ни у кого не было[53].

Свободное и неограниченное во времени общение, а также определенная открытость и переменчивость сред, в которых это общение

[50] «Сайгон». Невский 47/2: 2003.

[51] «Мы выпивали каждый день». Интервью с Виктором Топоровым 1996.

[52] Гребенщиков 1996.

[53] Там же.

велось, выражались в сленге, который возник среди завсегдатаев кафе. Например, можно было встретиться и «в Сайгоне» (в физическом месте), и «на Сайгоне» (среди знакомых завсегдатаев)[54]. По словам Топорова, людей из его компании (так же как и людей из круга Инны, которых мы встречали ранее) чисто «политические» вопросы не интересовали и они молчаливо держались в стороне от диссидентов:

> ...[хотя в Сайгоне также] крутились диссиденты, у них была своя компания. Мы здоровались за руку, всякое такое, но это было *неинтересно*, у нас был свой круг. Достал кто-нибудь западное издание Гумилева или Мандельштама — пришел в «Сайгон» тут же и пропил его. Кому-нибудь продал, у кого есть 30—40 рублей. А реальными диссидентскими делами в нашем кругу не занимались[55].

С другой стороны, само присутствие в «Сайгоне» близких к диссидентам людей, хотя они и не представляли значительной группы, а также деятельность других групп, ведших нескончаемые беседы, обменивающихся тамиздатовскими и самиздатовскими книгами, делали кафе идеальным местом для оперативников КГБ, старающихся следить за общей атмосферой в подобных средах советской молодежи. Отчасти именно из-за удобства оперативного наблюдения, считает Виктор Кривулин, кафе не закрывали и не давали милилции тревожить его слишком часто, что позволило многочисленным социальным средам «Сайгона» существовать и развиваться. Однако время от времени Кривулина и его приятелей вызывали «в органы» на беседы. Однажды в конце 1960-х годов в человеке, пьющем кофе за соседним столиком, Кривулин признал оперативника КГБ, которого встречал ранее. Завсегдатаи, безусловно, осознавали, что в кафе в любой момент может находиться законспирированный оперативник КГБ. Однако, замечает Кривулин, большинство постоянных посетителей кафе не особенно беспокоилось по поводу присутствия КГБ именно потому, что «политическими» разговорами и действиями они не занимались: «Страха не было... Была даже какая-то

[54] Файн, Лурье 1991: 171.

[55] Топоров 1996 (курсив мой. — *А.Ю.*).

романтика — опасности, приключения»[56]. Подобные взаимоотношения с государством в лице органов безопасности и милиции вновь демонстрируют, что во многом государство способствовало возникновению и развитию подобных сред, но до конца контролировать их было не в состоянии. По этой же причине большинство их представителей не слишком беспокоилось по поводу тайного государственного наблюдения.

В конце 1970-х годов Инна, с которой мы встречались выше, тоже стала частой посетительницей «Сайгона». Знакомые из ее круга, вспоминает она,

> ...сидели в «Сайгоне» на подоконниках, пили кофе, разговаривали о разных вещах... Там всегда можно было найти с кем поговорить. Если ты приходил днем в «Сайгон», ты обязательно находил кого-то для общения. Общение было основным занятием. ...Кроме того, мы там читали всякие книги, которых нельзя было нигде купить. Читали много русской поэзии начала XX века. Читали французскую поэзию. Читали старославянские тексты. ...Читали научные книги, например, старые книги по классической физике. Читали Беккета и Ионеско[57].

Хотя этот круг чтения может показаться беспорядочным — от Беккета до старославянских текстов и классических трудов по физике, — в действительности все эти тексты имели одну общую черту: их пространственные, временные и тематические параметры ставили их в *отношение вненаходимости* к авторитетному дискурсу Советского государства. Не будучи антисоветскими, эти тексты — своими образами, идеями, темами, алфавитами (старославянским или иностранными), местом и временем издания и так далее — выпадали из пространства буквального смысла авторитетного дискурса.

К тому времени (конец 1970-х — начало 1980-х годов) многие художественные и поэтические книги, которые эти люди читали, не публиковались в Советском Союзе десятилетиями, одни из советских авторов этих книг были репрессированы, другие находились у государства

[56] Кривулин 1996: 7—8.

[57] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

в немилости или эмигрировали. Тем не менее, в полном соответствии с парадоксом советской культурной политики, большинство этих книг так и не было полностью запрещено, а к некоторым из них даже существовал официальный, хотя и ограниченный доступ. Например, студенты университета имели доступ к некоторым ранним советским или досоветским изданиям посредством научных библиотек. Инна работала в библиотеке Ленинградского университета, и это давало ей такую возможность: «Мы могли прийти в читальный зал библиотеки и читать там книги, которые больше нигде достать было нельзя. Там мы читали ранние издания Гумилева, книги которого давно не переиздавались, и в магазинах их купить было невозможно»[58]. Несмотря на постоянный обмен подобной литературой, Инна и ее круг тоже не особенно беспокоились по поводу КГБ. Она рассказывает:

> У нас всегда сумки были набиты книгами. То есть мы немного рисковали, конечно. Но в то же время мы прекрасно понимали, что никто нами особенно не интересуется. А что было в нас интересного? Самое страшное, что у нас могло быть, — это перепечатка песни Галича или стихотворения Бродского. И мы, естественно, ими обменивались. Но арестовывать нас за это? Кому это было нужно? То, что мы делали, было несерьезно. А вот подписывать письма диссидентов или заниматься другой подобной деятельностью — нет, в это мы никогда не верили[59].

Историк культуры Лев Лурье, сам когда-то бывший представителем литературной среды «Сайгона», вспоминает, что в этих компаниях также довольно широко циркулировали книги Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Марселя Пруста, Джеймса Джойса и Артура Миллера[60]. По этой причине, замечает Лурье, в те годы в «Сайгоне» можно было получить литературное и философское образование лучше, чем на факультетах филологии и истории Ленинградского университета. Как

[58] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

[59] Там же.

[60] Лурье 2003.

стало очевидно много позже, «Сайгон» действительно сыграл важную роль в подготовке тех, кто в постсоветские 1990-е стали основателями, редакторами, переводчиками и потребителями продукции новых независимых издательств[61].

С первого взгляда феномен социальных сред, сформировавшихся вокруг таких мест, как кафе «Сайгон», мог бы показаться классическим примером того, что Юрген Хабермас назвал «публичной сферой». Публичная сфера, согласно определению Хабермаса, возникла в эпоху раннего капитализма, в процессе общения на политические и социальные темы, происходившего в свободных публичных местах, например кафетериях и салонах[62]. То, что «Сайгон» являлся кафетерием, может напомнить это определение Хабермаса, и в некоторых исследованиях эта аналогия проводилась[63]. Однако у этой аналогии имеется очевидная проблема. Понятие «публичной сферы» подразумевает бинарную модель политической системы, поскольку дискуссии в таком определении публичной сферы ведутся на «политические и социальные темы» — то есть, в случае позднего социализма, являются критическими обсуждениями буквального смысла авторитетного дискурса системы. Однако в этом описании дискурса подобных социальных сред скрывается важный факт того, что они осознанно дистанцировались от буквального смысла как политических высказываний государства, так и контрвысказываний тех, кто противоставлял себя государству. Общение в большинстве подобных сред не касалось обсуждения того, что в рамках авторитетного дискурсивного режима системы являлось «политическими и социальными темами». Напротив, оно чаще всего строилось на избегании подобных тем, как «неинтересных». По этой причине понятие публичной сферы при описании подобных сред скорее затуманивает реальную картину, чем делает ее более прозрачной. Подобно другим социальным средам 1960—1970-х годов, в «Сайгоне» формировалась не некая единая «публичная сфера», а многочисленные «публики вненаходимости»[64].

[61] Там же.

[62] Habermas 1991.

[63] См.: Здравомыслова 1996: 39—40.

[64] Или *публики своих* (см. главу 3).

Как мы видели выше, отношения этих публик с авторитетным дискурсом и ритуалами советской системы строились не на принципах заинтересованного, критического или некритического обсуждения буквальных смыслов авторитетного дискурса, а на принципе *вненаходимости* — одновременном существовании *внутри* дискурсивных и ритуальных форм системы и *за пределами* ее буквальных смыслов.

Как уже говорилось, условия такого существования были во многом обеспечены ресурсами самой системы — от субсидируемого ею базового уровня существования, в котором забота о материальной стороне могла быть отодвинута на задний план, до поддерживаемых ею нравственных ценностей, в основе которых лежал, например, не либерализм, а социализм — где ценностями считались не замкнутость частной жизни, не «прайваси» частного пространства и частной собственности, а, напротив, процесс непрерывного, нерегламентированного, коллективного общения, часто непредсказуемого в плане времени, участников и тем; сфокусированность не на направленном вовнутрь «я», а на «я», строящемся в пространстве *своих*, в процессе общения с другими и более-менее презрительного отношения к деньгам. Отношения вненаходимости позволяли членам этих *публик* игнорировать буквальный смысл авторитетных высказываний и ритуалов системы, но в то же время быть вовлеченными во многие культурные ценности, практики и интересы, которые система поддерживала и делала возможными.

Неудивительно, что для представителей этих публик участие в контрдискурсе, организованном как критика советской политической системы, было занятием неактуальным и, по их выражению, «неинтересным». Не случайно также и то, что важную роль в этих публиках играл дискурс беззаботности или веселости. Резюмируя атмосферу «Сайгона» Кривулин замечает: «Мы весело жили»[65]. Эта фраза напоминает приведенные выше слова Инны об атмосфере в кругу ее знакомых — «мы жили легко» и мы «вели очень веселую жизнь». Повторимся, что эти высказывания говорят не о бездумности существования, а об активном включении субъекта в создание *иной* (существенной, интересной) реальности. Эта «веселая жизнь», являющаяся эквивалентом понятия

[65] Кривулин 1996: 7—8.

«нормальная жизнь», распространенного в тот период (см. его анализ в главе 3), была наполнена непредсказуемыми, открытыми, творческими формами существования, появлению которых способствовало Советское государство, во многом этого не осознавая.

Музыкальная «тусовка»

В среде ленинградских рок-музыкантов и любителей рок-музыки, которая к началу 1980-х годов была довольно большой, разговоры «на политические темы» тоже считались «неинтересными»[66], а периодическая критика государством этой среды и ее интересов чаще всего не ассоциировалась со слишком серьезной опасностью. Как обнаружил социолог Томас Кушман, в этой среде в конце 1970-х — начале 1980-х годов

> приобретение музыкальных записей, обмен ими и их проигрывание происходило без какой-либо мысли о том, что такая деятельность может быть расценена как политически неблагонадежная. Хотя [государство] временами пыталось ограничить рок-музыку, рок-музыканты [и любители рок-музыки] либо не обращали на эту деятельность государства особого внимания, либо воспринимали ее просто как неудобство. ...Поражает не только отсутствие [в этой среде] разговоров о политике как таковой, но и почти полное отсутствие среди рок-музыкантов боязни как государства в широком смысле, так и того, что государство может действительно вмешаться в их жизнь[67].

Рассказывая Кушману о своих творческих интересах, многие ленинградские рок-музыканты проводили различие между двумя понятиями русского языка — «правдой» и «истиной» (это деление напоминает

[66] Речь идет о доперестроечной субкультуре рок-музыкантов. Как известно, эта ситуация резко изменилась в период перестройки, начиная с 1986 года, когда советская неформальная рок-музыка быстро политизировалась.

[67] Cushman 1995: 93—94.

различие между понятиями «ясной истины» и «глубокой истины», о котором писал Довлатов — см. начало главы). Эти рок-музыканты считали свои занятия рок-музыкой «выражением *истины*, воплощением базовых основ человеческого бытия», и им было неинтересно занимать конкретную политическую позицию, которая подразумевается в поисках *правды*[68]. Как объяснял один музыкант, «нас интересуют общечеловеческие проблемы, не зависящие от той или иной системы или от того или иного времени. Они как существовали тысячу лет назад, так и продолжают существовать сегодня. Это отношения между людьми, связь между человеком и природой и т.д.»[69]. Позиция, которую описывает этот человек, соответствует позиции *вненаходимости* по отношению к авторитетному дискурсу. Интересно, что сам Кушман называет эту позицию рок-музыкантов «контркультурой»[70], то есть определяет ее через политическое противопоставление системе. Эта среда, по его утверждению, была основана на «наборе знаний, который в буквальном смысле был *противоположен* доминирующему набору знаний в обществе»[71]. Однако такая формулировка в некоторой степени противоречит утверждениям самого Кушмана об отсутствии интереса в среде рок-музыкантов к политическим идеям и темам, а также к понятию «правды», имеющему отношение к конкретному политическому контексту. Напротив, музыканты подчеркивали интерес к понятиям, которые выходили за рамки конкретного политического контекста, такие как «общечеловеческие истины», не зависящие «от той или иной системы». Интерес к таким истинам в этой среде был аналогичен интересу Инны и людей ее круга к античной философии, древним языкам, поэзии начала XX века или классической физике. В результате совместной увлеченности такими проблемами, общения на такие темы

[68] Cushman 1995: 107—108.

[69] Ibid: 95.

[70] Этот термин, который в самой среде музыкантов не использовался, был впервые применен для описания культурных феноменов европейских буржуазных демократий. Он вошел в обиход российской социологии намного позже, в постсоветское время. Использование этого понятия (как и понятия «публичной сферы») для анализа советского периода часто ведет к заведомому искажению результатов.

[71] Ibid: 8 (курсив мой. — *А.Ю.*).

и отсутствия интереса к буквальному смыслу авторитетных высказываний государства формировались публики своих, состоявшие в отношениях вненаходимости к авторитетному дискурсу. Такое отношение к высказываниям системы отличало среду рок-музыкантов доперестроечного периода и от намного более критичной неформальной рок-музыки второй половины 1980-х годов, и от того, что обычно понимается под понятием «контркультуры» вообще. Это позволяло им вести активную, творческую и относительно независимую жизнь, которая отличалась от существования откровенных оппозиционеров.

Важно отметить, что в начале 1980-х годов политические темы не просто неосознанно воспринимались в этой среде как неактуальные и неинтересные — идея об их неактуальности и неинтересности была довольно четко сформулирована как внутренняя идеология этой среды. Например, любые упоминания «политических» тем в этой среде вызывали насмешки и «подколки» со стороны других ее членов. Александр (Алик) Кан, музыкальный критик и близкий друг многих участников рок-музыкальной и джазовой сред того времени, вспоминает об одном эпизоде, иллюстрирующем это обстоятельство. Как-то в 1982 году он сидел в фойе интуристовской гостиницы «Ленинград» с Борисом Гребенщиковым и Сергеем Курехиным и их английским другом, жившим на тот момент в Ленинграде и собиравшимся ненадолго съездить в Лондон:

> Я попросил этого англичанина привезти из Лондона какие-нибудь британские газеты и журналы. На что Курехин с Гребенщиковым тут же иронично отреагировали: «Алик, ты что, читаешь газеты? Тебе что, интересно?!»[72]

Хотя речь шла не о советских, а западных газетах, сам факт того, что Алика, по-видимому, интересовал западный критический анализ советской системы, воспринимался в этой среде как неуместный (по крайней мере, неуместным казалось проявление этого интереса на глазах других членов среды). Общение в этой среде часто велось в язвительном тоне,

[72] Авторское интервью с Александром Каном, 1995 год, Санкт-Петербург.

который, по-видимому, выполнял роль контролера, непозволяющего собеседнику перейти на подобные «неактуальные» и «банальные» темы — на обсуждение советской системы, на критику государственной «лжи» и так далее. Язвительный тон распространялся и на другие темы, включая музыку и культурные вопросы в целом. Алик вспоминает, что в рок-музыкальной среде первой половины 1980-х (еще до перестройки)

> ...постоянно шутили, делая это крайне язвительно. Они как бы оттачивали друг на друге свою иронию. Делалось это постоянно. Насмешливость и полное отсутствие интереса ко всему политическому было главными чертами общения в рок-тусовке[73].

Как мы видим, отсутствие интереса к темам, которые воспринимались как политическая критика советской системы, не было результатом простого незнания советской системы (как могло показаться из поведения и высказываний Бродского, описанных в начале главы), а было частью довольно активно культивировавшейся позиции вненаходимости. Эта позиция была *реакцией* на авторитетный дискурс, хотя и не прямой критической реакцией. Именно поэтому такие среды были не просто «субкультурами», организованными по схожести музыкальных или литературных интересов, или «контркультурами», организованными по принципу противопоставления, а именно *публиками вненаходимости* или *публиками своих*, сформировавшимися как особый ответ на адресованный им авторитетный дискурс.

Это означает также, что отсутствие интереса к политическим впросам или критике системы было важно для представителей этих публик не как независимая позиция каждого конкретного субъекта — не как некий фиксированный, внутренний «менталитет» субъекта[74], — а как

[73] Авторское интервью. Подробнее о роли иронии в этих средах см. главу 7.

[74] С нашей точки зрения понятие «менталитета» (или «ментальности»), широко распространенное сегодня не только в журналистских, но и некоторых социологических текстах, является крайне узким, субстанциональным и потому проблематичным. Это понятие обычно подразумевает модель субъекта как фиксированного и изолированного «я», находящегося внутри некой «личной психологии». А интерсубъективность,

общая, интерсубъективная черта *публики*. Именно поэтому, когда представители этих публик оказывались в иных контекстах, «за пределами» публик своих, они могли уделять внимание политическим темам или критике советской системы и говорить на вполне критические темы. Как вспоминает Алик Кан, хотя «внутри тусовки считалось плохим тоном беседовать на политические и социальные темы», при общении с Курехиным наедине «мы могли долго и серьезно обсуждать советскую систему, политику, запад и что угодно»[75].

Общение

Как мы видели, все публики вненаходимости — и те, что были институционализованы государством (физики, литературный клуб, комсомольские комитеты и группы и другие), и те, что возникали в неинституционализованных пространствах («Сайгон», рок-тусовка и т.д.), — формировались *по отношению* к авторитетному дискурсу государства, в большей или меньшей степени используя государственные ресурсы и идеологическую риторику и одновременно меняя их смысл. При этом отличительные черты этих различных публик формировались благодаря внутренней динамике невероятно близкого, интенсивного и слабоструктурированного *общения*, которое, как мы видели, было построено далеко не только по принципу общих «профессиональных» интересов его участников.

Что такое позднесоветское *общение*? В каком смысле оно являлось одним из феноменов, формирующих отношения вненаходимости? Понятие общения подразумевает не только практику коммуникации и даже не только способ времяпровождения в компании знакомых,

контекстуальность и процессуальность субъекта — как необходимые условия его существования и воспроизводства — в этом понятии игнорируются. Поэтому термин «менталитет» часто применяется в тех случаях, когда надо подчеркнуть якобы консервативную инерционность субъекта, его неспособность изменяться в меняющемся контексте (именно в этом смысле пресловутое понятие «советский менталитет» используется в анализах постсоветских социально-политических реалий).

[75] Авторское интервью, 1995 год.

но и возникновение особой общности участников (длительной или временной), связанных на уровне глубокой и интенсивной интерсубъективности[76]. Поэтому общение — это не только процесс, но и особое «пространство» аффекта, возникающее в этом процессе, в котором личность каждого субъекта становится частью единой интерсубъектной общности. В общении как интерсубъектном пространстве можно находиться, не произнося ни слова. Единый корень с существительным «община» и прилагательным «общий» подчеркивает эту *внеразговорную* особенность понятия «общение». Хотя общение как социально-культурный феномен, безусловно, имеет в России давнюю историю, именно в период позднего социализма оно стало особенно интенсивным и повсеместным, приобретя новые черты и превратившись в одну из основных форм существования в советском обществе, в самых разных профессиональных, идеологических, публичных и личных контекстах. Общение в 1960-х и 1970-х годах не только стало более интенсивным и повсеместным, но и приобрело особую роль в формировании позднесоветской субъектности[77]. Отражая эту природу общения, Петр Вайль и Александр Генис назвали его новым «культом»[78] позднесоветского периода, а Яков Кротов — «новым фетишем»[79].

Общение не ограничивалось кругом друзей и знакомых, могло включать совершенно незнакомых людей и даже могло ограничиваться одним вечером или одной поездкой на поезде. В пространстве общения человек мог на время стать *своим*; и наоборот, человек, который общаться отказывался, никогда «своим» не считался. Как замечает Кротов,

[76] Важно, что понятие общения не имеет эквивалента в английском языке. И напротив, частичный антоним общения (точнее, интерсубъективной составляющей общения), английское понятие *privacy*, не имеет, или до недавнего времени не имело, эквивалента в русском языке (в сегодняшнем постсоветском контексте все чаще используется заимствованный термин *прайвеси*). Об антропологическом анализе феномена общения в России первого постсоветского десятилетия см., например: Pesmen 2000 и Nafus 2003a.

[77] В постсоветские годы, в контексте огромных изменений политического и экономического аспектов в жизни общества, зазвучали жалобы о том, что время и пространство для общения стали сужаться, что общения стало не хватать или что практика общения изменилась.

[78] Вайль, Генис 2001: 69.

[79] Кротов 1992: 247.

> того, кто был готов поболтать, раздавить бутылочку, не могли счесть преступным и злым, как бы его ни расценивало общество. Подозрительным, злобным, чуть ли не иудой выглядел всякий — правый или левый, диссидент или гебист, — кто был черезчур замкнут, «слишком много понимал о себе», кто уклонялся от общения[80].

В период позднего социализма практики общения в средах *своих* или дружеского общения стали особенно распространенными и свободными. Благодаря этим практикам изменялись пространственно-временные координаты социализма, а также социальные отношения, публики и субъектности граждан, в нем существующих. Некоторые виды этих практик, в описании Кротова, включали «многочисленные застолья, посиделки, трепы, выпивоны... всевозможные праздники и дни рождения, отмечаемые на работе и дома... Одним из высших отправлений культа общения стал *Голубой огонек* (отчасти и *КВН*, *Кабачок "13 стульев"*)»[81].

Для многих принадлежность к публике своих, предполагающая постоянное общение, была важнее и ценнее других взаимоотношений или успехов в профессиональной сфере. Как уже говорилось, общение в профессиональном и непрофессиональном контекстах обычно тесно переплеталось — как в случае с физиками-теоретиками, описанными выше, чья социальная среда была построена на принципах, выходящих далеко за институциональные рамки исследовательских институтов. Как отмечают Вайль и Генис, в 1960-х годах

> эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и было, важнее официальных благ. ...Дружба — эмоция, оккупировавшая 60-е, — стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее.

[80] Там же: 249.

[81] Там же: 248. О различных практиках общения см. также: Pesmen 2000: 165.

> Остракизм «своих» был более грозной силой, чем служебные неприятности[82].

Общение не могло вестись на авторитетном дискурсе, однако во многих контекстах, где авторитетный дискурс производился, общение занимало доминирующее положение — и среди членов комсомольских комитетов, и среди райкомовских работников, и среди референтов ЦК (см. главу 3).

В этих контекстах публики *своих* формировались по отношению к авторитетному дискурсу и воспроизводились перформативно, посредством многочисленных форм общения, включая постоянную оценку человека на принадлежность к «своим» (то есть на одинаковость его и вашей *вненаходимости* по отношению к авторитетным высказываниям). Говоря о перформативном характере «кухонных разговоров» (одного из жанров общения) в последние годы советской эпохи, в середине-конце 1980-х годов, Нэнси Рис замечает, что этот жанр являлся не деятельностью, «которая описывает процесс создания ценностей», а деятельностью, «в ходе которой и посредством которой на деле создаются социальные ценности»[83]. Этот тезис можно применить ко всем формам и практикам общения, включая и те, в которых разговора как такового не происходило, и те, которые выходили за рамки «кухонных», «частных» или неформальных отношений. Для всех социальных сред, описанных в этой главе, важным было не просто чтение определенных книг, слушание определенной музыки или обмен определенными идеями, но, не в меньшей степени, участие в самом *процессе* постоянного, спонтанного и неструктурированного общения. Книги, музыка или идеи в этом процессе были порой важны не просто сами по себе, а как технологии, позволяющие общению формироваться и развиваться. Так же обстояло дело и с темами конкретных дискуссий: порой наиболее важным элементом в них были не темы, а природа того времени, которое проводилось вместе, и того интерсубъектного состояния, которое возникало в результате. Это время и это состояние были открытыми

[82] Вайль, Генис 2001: 70.

[83] Рис 2005: 55.

и не подлежащими особому планированию — в смысле обсуждаемых тем, длительности и результатов общения, а порой и его участников. Например, для членов археологического кружка, как мы видели выше, «общение в различных формах стало самоцелью», и они «посвящали ему все свободное время»[84]. Те же самые качества характеризовали и общение в кафе «Сайгон». Здесь можно было общаться так, чтобы оказаться в особом интерсубъектном состоянии, которое было ценно само по себе, независимо от темы (хотя, как мы видели, тема тоже могла быть более или менее важной). Эти черты общения были одинаково важны и в среде комсомольцев, и в литературном кружке «Дерзание», и в кругу физиков-теоретиков, и в ленинградской рок-тусовке, и в бесчисленном количестве других публик и контекстов.

Общение в этих средах действительно было чем-то гораздо большим, чем коммуникация или обмен мыслями между отдельными индивидуумами. Благодаря общению здесь формировались особые формы интерсубъектности, которые не описать через такие понятия, как «сообщество», «социальность» или «публичная сфера», — наше понятие *публики своих* подразумевает именно такое интерсубъектное состояние[85]. Жизнь каждого участника общения подчас становилась настолько тесно переплетена с жизнями других участников, что интерсубъектность пространства проявлялась как необычная, квазиродственная близость. По словам одного из бывших членов археологического кружка, атмосфера внутри этой среды была «семейная, ну не семейная, а вот когда люди родные, близкие. [...] Это для меня до сих пор так. Не родственники, а вот свои, близкие, любимые все. И все друг для друга готовы сделать все, что можно»[86]. Другой участник кружка вспоминает, что у нее выработалось «очень устойчивое отношение к этому кругу людей как к своим очень близким, родным людям. Я ощущаю на самом деле больше, чем кровное родство, там. У меня есть братья и сестры, я их тысячу лет не вижу, и которые существуют бог знает где»[87]. Еще один участник кружка

[84] Гладарев 2000.

[85] По поводу подобных видов социальности и субъектности в других контекстах см.: Rosaldo 1982 и Strathern 1988.

[86] Яна, цит. по: Гладарев 2000.

[87] Татьяна, цит. по: Гладарев 2000.

вспоминает: «Мы уже просто родные, это уже почти как родственники. ...это совершенно другой уровень»[88].

Другой дополнительной «ценностью», создаваемой в процессе общения, было создание бесконечного количества новых миров, которые тоже занимали положение *вненаходимости* по отношению к советскому авторитетному дискурсу в пространственном, временном и смысловом отношении. Инна, например, так описывает практику общения среди людей ее круга:

> Мы говорили об эстетике, о Толстом и Пушкине, о поэзии, о Бродском, о Сосноре[89]. ...Мы много разговаривали, просто много разговаривали. Ходили по городу и разговаривали об архитектурных стилях, о модерне. Гуляли по дворам и лазили по крышам, и все время о чем-то говорили... Где-то в 1981—82-м году мы стали интересоваться религиозными темами, и об этом тоже говорили. Кто-то понемногу начинал креститься. Еще мы разговаривали на всякие безумные историко-философские или религиозные темы. И постоянно спорили... Мы читали «Миросозерцание Достоевского» Бердяева. Нам было важно все переписывать от руки со старых редких изданий, со старым алфавитом, орфографией, пунктуацией. ...Еще мы говорили, например, о растениях и цветах... просто потому, что для нас все остальное было не важно.

Мы уже упоминали, что участники подобных сред и кружков были увлечены идеями и темами, способствующими созданию особых отношений вненаходимости внутри системы, — античной историей и иностранной литературой, досоветской архитектурой и поэзией

[88] Стас, цит. по: Гладарев 2000.

[89] Виктор Соснора — петербургский поэт, больше известный узким кругам ценителей поэзии, чем широкому читателю. В советское время он практически не публиковался. Его поэтический стиль отличался утонченным изяществом и неканоничностью. В 1960—1970-х годах Соснора вел литературный кружок молодых поэтов, известный как ЛИТО Сосноры, кстати (как и подростковый литературный клуб «Дерзание») тоже официально базировавшийся в одном из ленинградских Дворцов культуры (Дворце культуры имени Цурюпы, на Обводном канале).

Серебряного века, теоретической физикой и ботаникой, археологией и западной рок-музыкой, буддистской философией и православной религией, туристскими походами и альпинизмом. Вспомним, что постоянные посетители кафе «Сайгон» могли одновременно интересоваться и французской поэзией, и древнеславянским языком, и книгами по классической физике, не интересуясь при этом «политическими» темами. Большинство этих тем и символов находилось именно в отношении *вненаходимости* к авторитетному дискурсу советской системы. Это же касалось и практики личного переписывания старинных текстов от руки, пользуясь древнерусским алфавитом и оригинальной орфографией, или чтения книг, изданных за рубежом на других языках. Символы далекой истории и зарубежных культурных контекстов были интересны и важны не только сами по себе, но и потому, что они вводили в контекст советской повседневности временные, пространственные и смысловые элементы *иного* мира. Этим создавалось острое ощущение *вненаходимости* внутри советской системе. Эффект этих практик и тем общения можно сравнить с процессом «транспозиции» в шаманских ритуалах, в результате которого устанавливаются многосложные связи реального мира с воображаемыми мирами и далекими людьми[90].

Котельные

В период позднего социализма среди представителей последнего советского поколения, главным образом детей интеллигенции, но не только их, начал нарастать и распространяться феномен отказа от серьезной профессиональной карьеры ради занятий, дающих много свободного времени. Наиболее крайними проявлениями этой тенденции был переход на работу кочегара, сторожа, грузчика, дворника и т.д.[91] Привлекательность подобной работы заключалась в ее необычной организации. Человек был занят две-три смены в неделю, служебные

[90] См.: Hanks 2000: 237.

[91] Подобная тенденция возникла в 1970-х и в Чехословакии (см. описание Гавела в его дискуссии с Бродским: Brodsky, Havel 1994).

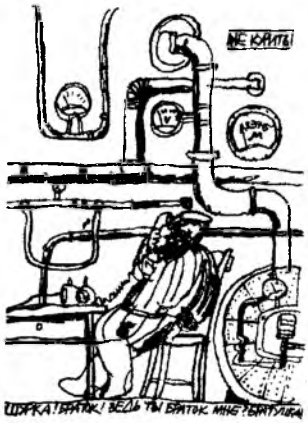


Рис. 13. Ленинградская котельная начала 1980-х гг. с кочегаром-Митьком. Рисунок Александра Флоренского

обязанности были минимальными, работа не требовала особых усилий и освобождала от необходимости посещать собрания, демонстрации и другие общественные мероприятия, которых было сложно избежать на других работах. Все это в совокупности давало массу свободного времени, которое можно было употребить для общения и всевозможных занятий.

Котельная (или кочегарка) была районным техническим узлом системы центрального отопления. В это помещение, расположенное на первом или в подвальном этаже, были выведены трубы горячего водоснабжения, на которых располагались перекрывающие краны, клапаны, приборы, измеряющие температуру и давление воды. Обязанностью техника котельной было следить за давлением в трубах, включать и выключать горячую и холодную воду, вызывать ремонтную службу и так далее. Техник должен был присутствовать в котельной в течение всей смены, но делать что-то конкретное ему приходилось редко. Обычно смена длилась двадцать четыре часа, после чего человек имел три дня выходных (это была так называемая работа «сутки через трое»). Существовали и другие способы организации рабочих смен. Хотя на этой работе человек получал минимум официально допустимой зарплаты (шестьдесят—семьдесят рублей в месяц), она давала огромное количество свободного времени.

Необычные исторические условия, при которых подобные профессии могли стать привлекательными, возникли в результате *перформативного сдвига* авторитетного дискурса. В данном случае закон об обязательном трудоустройстве исполнялся исключительно на уровне формы, а его констатирующий смысл изменялся до неузнаваемости (всеобщая обязательная профессиональная занятость подменялась на легальную *минимизацию* занятости), в результате чего появлялась возможность для формирования новых сообществ, видов знания, интересов, творческих занятий, способов организации времени и так далее. Можно было быть писателем, который, не являясь членом Союза писателей, не мог публиковаться и потому должен был иметь иное официальное «место работы». Можно было заниматься изучением древних языков или рок-музыкой, опять-таки без государственно признанного статуса. Отсутствие статуса профессионального писателя или музыканта в принципе не давало возможности зарабатывать на жизнь литературой или музыкой (хотя были и исключения — например, «музыканты-любители», подрабатывающие в ресторанах, на юбилеях и так далее). Но работа в котельной удовлетворяла закону об обязательном трудоустройстве, при этом обеспечивая минимальный доход и максимальное свободное время для занятий теми же литературой или музыкой. Эта практика была настолько распространена среди некоторой части городской молодежи и даже людей средних лет, что к началу 1980-х годов в центральных районах города на работу техника котельной стало сложно устроиться. Рок-музыкантов-любителей стали называть «кочегарами-рокерами»[92], а знаменитая группа «Аквариум» позже в одной из песен назвала своих сверстников «поколением дворников и сторожей»[93].

Как и в предыдущих примерах, сообщества, формировавшиеся в этих условиях, подчас начинали сами контролировать доступ к таким рабочим местам, предпочитая заполнять вакансии *своими*. Такая практика позволяла общаться людям, имеющим схожие отношения с авторитетным дискурсом системы и схожие интересы в искусстве, философии или

[92] Cushman 1995: 57—58.

[93] Из одноименной песни на слова Бориса Гребенщикова «Поколение дворников и сторожей». См. также: Yurchak 1997.

религиозной сфере[94], а также способствовала существованию взаимозаменяемости на работе, что было особенно важно в ситуациях, когда многие из членов этих сред «в свободное время» вели активную социальную, творческую или научную деятельность, хотя и не признанную и не институционализированную государством. Тем не менее некоторые из этих «кочегаров» имели вполне реальные научные степени. Одну из знакомых Инны, пытавшуюся устроиться на работу в котельную, спросили, чем она занимается. Услышав, что это средневековая история, ей ответили: «Что? Средние века? Ой, нет, нет. Здесь все занимаются историей права. Два кандидата наук, а третий скоро защищается»[95]. Этим историкам требовалось свободное время для исследований, не стесненных работой в государственных институтах, что давало возможность читать литературу и писать труды на темы, которые выходили за рамки, принятые государственными изданиями. В таких случаях зарплату кочегара можно сравнить со своеобразным государственным научно-исследовательским «грантом», позволявшим человеку заниматься определенной творческой или академической деятельностью, при этом не контролируя ее. Однако функционировал этот «грант» только в контексте *вненаходимости* по отношению к государственному дискурсу — «исследователь» не имел доступа к академическим ресурсам и сообществу, а большинство трудов, написанных таким образом, в государственных изданиях не печаталось. Это вновь иллюстрирует внутреннюю парадоксальность системы, в которой государство выступало спонсором занятий и видов существования, которые оно не предвидело и которые подчас даже противоречили его авторитетным высказываниям.

Работа в котельных позволяла заниматься культурологическими, философскими или религиозными темами, которые были практически исключены из советского академического канона, — буддизмом, зарубежным джазом, философией экзистенциализма и так далее. И хотя оклад работника котельной был ниже любых других, он позволял

[94] Так, работая в ленинградской котельной в 1970-х — начале 1980-х, Борис Останин и Борис Иванов писали многотомную историю петербургских кладбищ и церквей, которая была опубликована уже в послесоветское время (Лурье 2003).

[95] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

поддерживать вполне приемлемое существование, поскольку прожиточный минимум в Советском Союзе был невысоким, а базовые нужды субсидировались государством. По словам одного рок-музыканта, «до начала гласности и перестройки он мог жить на три рубля в неделю»[96]. Плата за квартиру, питание, транспорт, одежду, книги, билеты в театр, кино и музеи была весьма невысокой, а здравоохранение и образование — практически бесплатными. Таким образом, эти художественные, философские и научные среды формировались при прямой поддержке государства, но производили при этом формы знания, которые государство до конца не контролировало.

Трубами, подающими тепло в сотни квартир, котельные были физически встроены в самое нутро системы, являясь ее неотъемлемой структурной частью, позволявшей системе воспроизводиться. Но при этом они создавали массу времени и пространства для размышления, которые частично выпадали из-под контроля системы. Иными словами, такие кочегары-техники находились одновременно *внутри* и *снаружи* системы, проводя время в зонах вненаходимости *par excellence*.

Пространство и время вненаходимости

Число советских граждан, пожертвовавших своей профессиональной карьерой ради подобных должностей и занятий, было, конечно, ничтожно мало. Однако примеры котелен важны не потому, что они представляют некую «норму» поведения, а потому, что они ярко иллюстрируют отношения *вненаходимости*, которые в менее ярких формах распространились в этот период по всей системе, став ее внутренним *системным* принципом существования и воспроизводства. Котельные следует рассматривать не как исключение из общего правила, а как наиболее яркое проявление этого правила.

В начале 1980-х годов повсюду распространились менее «экзотические», но не менее важные примеры отношений вненаходимости. Некоторые из них мы уже видели. Рассмотрим другие. Как мы помним,

[96] Cushman 1995: 57.

большинство служащих советских предприятий и организаций — заводов, институтов, библиотек, комсомольских комитетов и так далее — регулярно участвовало в различных официальных мероприятиях, считавшихся добровольными и неоплачиваемыми, — демонстрациях, субботниках[97], дежурстве в ДНД[98], работе «на картошке» в колхозах[99] и прочее. В действительности руководству все чаще приходилось давать служащим *отгул* (оплачиваемый день, свободный от работы) в обмен на участие в этих мероприятиях. Хотя отгулы давались не за все мероприятия, не всегда и на каких-то предприятиях менее охотно, чем на других, система отгулов распространилась повсеместно, была общеизвестна и все чаще ожидалась большинством советских служащих как привычная плата за «добровольное» участие в общественных мероприятиях. Отгулы и иные подобные меры были не чем иным, как небольшими локальными технологиями по воспроизводству системных институтов и отношений путем создания в них пространства и времени *вненаходимости*.

Огромная масса других подобных технологий распространилась по всей системе. Городские магазины и учреждения все чаще закрывались на некоторое время в течение рабочего дня (или на весь день) «по техническим причинам», «на санитарный день», «на ремонт», «на переучет» и так далее. Городские жители все чаще ожидали, что тот или иной магазин будет скорее закрыт, нежели открыт. Формально причины закрытия были вполне официальными (технические неполадки или финансовый переучет), но в большой степени их действительный смысл заключался в создании свободного от работы времени и пространства (подобно тому, как члены комитетов комсомола, о которых мы писали в главе 3, могли использовать свое комсомольское положение для ухода от профессиональных обязанностей в течение рабочего дня). Чиновники, начальники, администраторы, кассиры вечно отсутствовали на своих

[97] См. главу 3, прим. 18.

[98] «Добровольная народная дружина» — система гражданских патрулей, следящих за порядком на улицах города. Эти патрули обычно составлялись из студентов или служащих (в основном, мужчин, но не только), которые участвовали в них в течение одного вечера, раз в несколько месяцев.

[99] Помощь колхозам в сборе овощей с полей (в первую очередь картошки), организованная государством.

рабочих местах, и, когда этот факт стал общим местом, он тут же попал в городской фольклор. Согласно одному анекдоту того периода, «табличка на могиле чиновника гласит: "меня нет и не будет"»[100].

Каждая из этих технологий способствовала *детерриториализации* параметров советской системы, включая суверенный государственный режим времени и пространства. Исследователи уже обращали внимание на то, что социалистическое государство *присваивало* себе время своих граждан (Катрин Вердери называет это «огосударствлением времени»[101]), а граждане, в свою очередь, использовали контрмеры для *замедления* времени[102]. Эти важные наблюдения по поводу изменений темпорального режима социализма, однако, следует подкорректировать. Делая упор на стратегии *замедления времени* (например, на желании работать помедленнее, не торопиться с выполнениями заданий, получать как можно больше выходных), этот анализ неизбежно воспроизводит элементы знакомой бинарной модели государственного подавления / гражданского сопротивления. Очевидно, однако, что замедление производственного времени было не единственным и, возможно, даже не главным способом изменения темпорального режима Советского государства. Помимо него советские граждане использовали массу других технологий изменения времени. Иногда они, напротив, *ускоряли* время — например, посредством распространения отношений «блата»[103], позволявших сокращать время ожидания в очередях, или посредством всевозможных неформальных договоренностей, которые позволяли выполнять задания быстро только на уровне чистой формы, не тратя времени на соблюдение их буквального смысла (подобно тем методам, которыми пользовались комсорги для выполнения комсомольских поручений, — см. главу 3). Советские граждане также повышали

[100] Фраза, ставшая в этот период стандартной вывеской на двери кабинета или в окошках советских учреждений.

[101] «Etatization of time» — см.: Verdery 1996: 39—57. См. также о контроле над временем со стороны социалистических государств в: Hanson 1997 и Buck-Morss 2000.

[102] Borneman 1998: 100.

[103] Неформальная система связей, позволяющая в обход существующих правил добиваться каких-либо благ, изыскивать определенные ресурсы, получать помощь и так далее (см.: Ledeneva 1998).

непредсказуемость течения времени (например, участвуя в постоянном и не ограниченном по времени общении, которое могло длиться всю ночь или весь рабочий день), создавали множество видов *символического свободного времени*, предпочитая непритязательную работу, дающую множество выходных (кто-то работал в котельных, кто-то пользовался постоянными отпусками по больничному, кто-то накапливал отгулы и так далее), и, наконец, создавали временной режим вненаходимости, интересуясь темами и занятиями, которые были удалены во времени и пространстве по отношению к текущему авторитетному дискурсу государства (от занятий древней историей и изучения «экзотических» языков до занятий теоретической наукой, поездок в археологические экспедиции, походов в удаленные, малозаселенные, находящиеся как бы «вне» исторического времени участки страны). Результатом этих практик, видов деятельности и интересов, распространившихся повсюду, было не просто замедление времени, которое государство пыталось контролировать, а создание *нового режима темпоральности*. Время, проведенное *внутри* государственной системы, одновременно оказывалось временем, проведенным за ее пределами. В одновременности состояний *внутри* и *снаружи* и заключалась *вненаходимость*. В этом новом режиме темпоральности подчас не оставалось времени для «обычных» советских дел. Вспомним замечание Инны, приведенное в начале главы, о том, что в университет она ходила редко *из-за недостатка времени*.

Мы уже говорили о том, что было бы ошибочным рассматривать пространство и время общения в различных социальных средах как некие «острова» правды и свободы, изолированные от пространственно-временного режима государства. В действительности отношения между пространственно-временным режимом государства и режимом «вненаходимости» были гораздо более переплетенными. Природу этих отношений можно проиллюстрировать с помощью метода *феноменологической инверсии* между частным и общим. Такую инверсию используют многие социальные географы и антропологи, описывая отношения между понятием *пространства* вообще (space) и понятием конкретного *места* или *местоположения* (place)[104]. Например, антрополог Мэрилин Стратерн

[104] См., например, часть II в книге Massey. 1994.

(Marilyn Strathern) критикует распространенное «естественное» понимание *пространства* и *места*, согласно которому пространство рассматривается как огромный «единый фон», из которого как бы вырезаются конкретные «отдельные места», — то есть согласно которому любое конкретное *место* рассматривается как частный случай общего бесконечного *пространства*. Парадокс заключается в том, замечает Стратерн, что такой абстрактный взгляд противоречит реальному человеческому опыту пространства — ведь мы никогда не воспринимаем пространство целиком, а всегда воспринимаем его в конкретном, ограниченном «месте». Это отдельное «*место* отнюдь не располагается где-то внутри *пространства*... — наоборот, оно содержит в себе пространство, точно так же, как оно содержит в себе время, географию и историю»[105]. То есть действительные отношения места и пространства являются инверсией того, как эти отношения обычно описываются, — место не вторично, а первично по отношению к пространству. Место является не *частью* пространства, а необходимым условием для существования пространства.

Феноменологическая инверсия применима и для описания реальных отношений времени. Представление об интервалах времени как ограниченных временных «отрезках», как бы нарезанных внутри некоторого бесконечно тянущегося линейного времени, — это всего лишь исторически частное представление о времени, возникшее в современную эпоху (modernity)[106] и являющееся продуктом темпоральной идеологии национального государства[107]. В действительности же наш опыт восприятия времени таков, что «линейное время» возникает из конкретных ограниченных временных «отрезков, интервалов и моментов», внутри которых мы всегда находимся и которые мы «слагаем в некую последовательность» лишь впоследствии.

Подобная феноменологическая инверсия важна и при анализе пространственной и временной организации позднесоветской системы. Неверно было бы рассматривать вышеупомянутые социальные среды,

[105] Strathern 2002: 91—92.

[106] О теориях времени в позднем Средневековье и в начале Нового времени см. главу 6 в: Kantorowicz 1997 [1957].

[107] Strathern 2002: 91. При описании «отношений времени» Стратерн использует работы Casey 1996 и Greenhouse 1996.

публики и практики *своих* как «островки» подлинности и свободы, которые были как бы «вырезаны» из государственной системы социализма, противопоставлены ей. Напротив, эти среды, публики и практики были неотъемлемой частью позднесоветской системы и действовали они по принципам, распространившимся в этой системе повсюду; именно по этой причине они одновременно участвовали в воспроизводстве системы и ее активной трансформации изнутри. На примере этих социальных сред и практик видно, что кажущаяся пространственно-временная однородность и тотальность системы позднего социализма в действительности была повсюду пронизана необычными формами существования, появлению которых, как мы уже не раз говорили, государство способствовало, но полностью понять и описать которые оно не могло.

Повторяющийся во всех вышеупомянутых социальных средах рефрен о том, что политические темы были для них неинтересны и неактуальны, безусловно, не были проявлением нигилизма или безответственной аполитичности (хотя именно в этом их подчас упрекают в постсоветские годы). Напротив, эту позицию следует рассматривать как *политическую*, хотя и основанную на необычном понимании того, что такое политика. Такая политика отрицала высокий дискурс «ясных истин» и героического сопротивления. Она являлась политикой «глубоких истин», уходящих корнями в иные пространственно-временные координаты. Она отрицала даже свою собственную заинтересованность в политических целях, понятых как сиюминутные. И тем не менее эта позиция была именно политической — ее политическое действие основывалось не на прямом противоречии авторитетному дискурсу системы, а на перформативном сдвиге этого дискурса. Такую политику можно назвать *политикой вненаходимости*. Именно политика вненаходимости оказалась наиболее продуктивным типом взаимоотношений с позднесоветской системой. Именно она постепенно привела к мощной внутренней детерриториализации этой системы, подготовив условия для ее неожиданного обвала в период перестройки. Мы вернемся к рассмотрению *политики вненаходимости* в последующих главах.

Глава 5

Воображаемый Запад Пространства вненаходимости позднего социализма

> Меня часто спрашивают: что символизирует Зона? На это возможен лишь один ответ: Зоны не существует. Ее придумал сам Сталкер. Он выдумал Зону, чтобы иметь возможность приводить сюда тех, кто несчастлив, и вселять в них уверенность в осуществлении надежд. Комната, в которой исполняются желания, — это тоже его выдумка, это еще один вызов материальному миру. Сформировавшись в голове Сталкера, этот вызов становится актом веры.
>
> *Андрей Тарковский*[1]

Заграница

В 1970-х годах в Советском Союзе бытовал анекдот. Два человека беседуют друг с другом:

— Опять хочу в Париж.
— А ты что, там уже был?!
— Да нет, я уже хотел.

[1] Интервью с Андреем Тарковским о его фильме «Сталкер», 1979 год, цит. по: de Baecque 1989: 110.

Анекдот строился на парадоксе, который был заключен в уникальном советском понятии *заграница*. «Заграница» не является точным синонимом понятия «за границей» (в котором акцент делается на конкретной границе страны и на территории, находящейся за ней) или понятия «иностранные государства» (в котором акцент делается на других, реально существующих странах). Заграница обозначает не границу и не реальную территорию, а воображаемое пространство — одновременно реальное и абстрактное, знакомое и недосягаемое, обыденное и экзотическое, находящееся и *здесь*, и *там*.

В этом парадоксальном понятии отразилось необычное сочетание интернациональности и изолированности советской культуры по отношению к остальному миру. С одной стороны, советские люди осознавали, что коммунистическая идея, представителями которой они воспринимаются большей частью внешнего мира, в основе своей является идеей интернационалистической, подразумевающей принадлежность ко всему человечеству. Этот внутренний интернационализм советской культуры отражался в том факте, что советский человек был, по выражению Виктора Кривулина, «существом глубоко историческим», не просто живущим в своей стране, но участвующим в «международном историческом процессе и переживающим события во всем мире на экзистенциальном уровне, как часть своей собственной личной жизни»[2]. Свойственный советскому самосознанию интернационализм, определенная открытость миру советской культуры подтверждались также вполне реальной многокультурностью понятия «советский»[3]. С другой стороны, советские люди также прекрасно осознавали, что столкнуться напрямую с людьми, живущими за пределами советской государственной границы (особенно за пределами нескольких социалистических стран Восточной Европы), у них не было практически никакой возможности.

[2] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.

[3] Многонациональность и многоязыкость определения «советский» проявлялись в реальной любви к грузинской кухне и среднеазиатскому плову, Рижскому взморью и побережью Крыма, улочкам Одессы и Таллина, набережным Ленинграда и рынкам Самарканда, горам Кавказа и озеру Иссык-Куль. Все это подогревалось официально распространяемой идеологией равенства и дружбы различных национальных групп, что в основном соответствовало личному опыту большинства советских гражданин позднесоветского перида. См. также: Humphrey 2002a.

Именно посредством смешения этих двух противоречивых отношений к внешнему миру — открытости и закрытости, интернациональному соучастию и невозможности испытать — и формировалось пространство *заграницы*. Это воображаемое пространство не было связано напрямую с реальным зарубежным миром; оно располагалось в неопределенном месте — как тогда говорили, «там», «у них». И хотя это воображаемое пространство часто упоминалось в разговорах, где именно оно находилось — было не так важно.

Ощущение одновременной реальности и нереальности заграницы было крайне важно и всячески обыгрывалось. В середине 1980-х клоуны театра «Лицедеи» вызывали невероятный хохот у зрителей своими рассказами о том, что в действительности никакой заграницы нет, что «иностранные туристы» на советских улицах — это переодетые актеры, а все «зарубежное кино» снимается на какой-то казахской киностудии[4]. В рассказе Михаила Веллера «Хочу в Париж» главный герой из небольшого уральского городка в течение многих лет лелеет нереальную мечту — хотя бы разок в жизни увидеть «настоящий Париж». После множества безуспешных попыток получить разрешение на поездку за рубеж он наконец, уже приближаясь к пенсионному возрасту, попадает в группу заводских рабочих, которых отправляют в турпоездку по Франции. Однако после нескольких счастливых дней, проведенных во французской столице, у него зарождается страшное подозрение:

> Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо запорожского сталепрокатного завода. Он побрел прочь, прочь, прочь! ...И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз. Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст. Дома и улочки были

[4] «Лицедеи» рассказывали об этом во время своих камерных выступлений, называемых «бяками», перед относительно узким кругом знакомых и коллег. В первой половине 1980-х годов автор не раз присутствовал на этих выступлениях.

> изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов. Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени. Не было никакого Парижа на свете. Не было никогда и нет[5].

Подобные рассказы и шутки, которых в позднесоветское время было великое множество, изображали заграницу как пространство *вне* реальности. Архетипом заграницы был «Запад», который тоже являлся феноменом местного советского производства и мог существовать лишь до тех пор, пока *реальный* западный мир оставался для большинства советских людей недостижимым. «Запад» был особым воображаемым пространством, которое мы будем называть *воображаемым Западом*[6].

В двух предыдущих главах были проанализированы различные социальные среды и публики позднего социализма, которые существовали в отношениях *вненаходимости* к смысловым, временным и пространственным координатам советской системы. В настоящей главе мы продолжим этот анализ рассмотрением *воображаемого Запада* — пространства, занимавшего в тот период одно из центральных мест среди повседневных зон вненаходимости. Как и прежде, необходимо отметить, что это воображаемое пространство не следует сводить к пространству *оппозиции* Советскому государству. Большинство «несоветских» эстетических форм, материальных артефактов и языковых образов, которые способствовали формированию воображаемого Запада, появилось в советской жизни не вопреки государству, а во многом благодаря его парадоксальной идеологии и непоследовательной культурной политике.

Пространства вненаходимости

Присутствие в советской повседневности *иных* миров выразилось в 1960-х годах в колоссальном и быстром росте интереса к фактам, знаниям и видам деятельности, которые создавали ощущение удаленности от

[5] Веллер 2002: 291.

[6] См. также: Yurchak 2002.

повседневного существования. К этим интересам и видам деятельности относились занятия иностранными языками и восточной философией, чтение средневековой поэзии и романов Хемингуэя, увлечение астрономией и научной фантастикой, слушание авангардного джаза и песен про пиратов, увлечение альпинизмом, геологическими экспедициями и туристическими походами. Пространства, которые создавались в результате этих занятий и интересов, находились в отношениях вненаходимости к идеологическому дискурсу системы (мы уже рассмотрели примеры такого отношения в прошлой главе), слагаясь в огромное единое пространство, советский воображаемый мир. Это была, по меткому выражению Вайля и Гениса, «какая-то неведомая и прекрасная Страна Дельфиния», которая могла бы быть «где угодно — в иных галактиках, как в научной фантастике, или в собственной комнате, отгороженной от окружающего мира чем-то личным, своим: обычно, по-российски, книгами»[7].

Появление этих воображаемых миров в советской жизни не прошло мимо советской литературы и кинематографа. В знаменитой научно-фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», написанной в 1972 году (и в не менее известном фильме «Сталкер», снятом в 1979-м по мотивам этой книги Андреем Тарковским), рассказывается о таинственном пространстве под названием *Зона*. Действие происходит в некой безымянной стране через двадцать лет после того, как на ее территории сделал недолгую остановку инопланетный космический корабль. Пришельцы оставили после себя «мусор», вокруг которого возникла *Зона*. В *Зоне* действуют загадочные силы и таится множество опасностей. Любой, кто отважится в нее проникнуть, может погибнуть. Государство вводит запрет на посещение Зоны и выставляет вокруг нее вооруженную охрану. Но по стране ползут упорные слухи, что в центре *Зоны* существует некая комната, где исполняются заветные желания. Несколько храбрецов, именуемых сталкерами, за определенную плату и с риском для жизни готовы провести людей по *Зоне* к этой комнате.

Зону из повести Стругацких принято рассматривать как метафору огороженных охраняемых территорий, реально существовавших

[7] Вайль и Генис 2001: 137—138.

в Советском Союзе в те годы, — «лагерной *зоны*», закрытых атомных городов и даже «зоны отчуждения» вокруг Чернобыля (последняя появилась, правда, уже после написания книги). Однако, как нам кажется, *Зона* Стругацких является изображением не столько конкретных территорий внутри СССР, сколько воображаемого пространства, которое не имело конкретного местоположения и не было отгорожено от «нормальной» советской реальности, а, напротив, являлось ее неотъемлемой частью. Зона была как бы дополнительным измерением всего «нормального» советского пространства. Это воображаемое пространство имело парадоксальный статус — находясь повсюду, оно не проявлялось как некий изолированный объект, поскольку само по себе, в изоляции от советской реальности, существовать не могло. *Зона* Стругацких была именно таким воображаемым пространством — реальным и необъективированным одновременно. И таким же пространством был воображаемый Запад, существовавший одновременно внутри и за пределами советской системы, в отношениях *вненаходимости* к ней.

В статье 1967 года «О других пространствах. Гетеротопии» Мишель Фуко размышлял о том, что в процессе формирования и существования «суверенного субъекта» важную роль играют особые пространства, одновременно реальные и нереальные — такие, как пространство зеркала. Зеркало, пишет Фуко,

> делает место, которое я занимаю в тот момент, когда я смотрю на свое отражение, одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным — ведь для восприятия этого места требуется пройти через некую виртуальную точку, которая находится *там* — в зазеркалье[8].

Именно посредством этого особого статуса самовосприятия — одновременно изнутри и со стороны, реального и воображаемого — формируется и постоянно воспроизводится наше суверенное субъектное «я»[9].

[8] Foucault 1998c: 179.

[9] См. также о важности «стадии зеркала» в формировании суверенного субъекта у Лакана (Лакан 1997), см. также прекрасный комментарий к Лакану в: Мазин 2005.

Пространство *воображаемого Запада* для многих советских граждан, особенно представителей молодых поколений, играло роль такого «пространства зеркала». Благодаря его присутствию в советской повседневности то «место», в котором находился советский субъект (то есть то расположение по отношению к окружающему миру, из которого человек осознает свое *я*), было «одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным», поскольку для восприятия этого места — то есть позднесоветской *субъектности* — требовалось «пройти через некую виртуальную точку», которая находилась *там*, *у них*, в пространстве воображаемого Запада. Именно посредством такого самовосприятия — одновременно изнутри и извне советской системы — формировался советский субъект позднего социализма. И таким же образом формировалась вся суверенная советская система позднего социализма, казавшаяся такой монолитной и неизменной, но при этом претерпевающая постоянные внутренние смещения и детерриториализации по отношению к своему собственному монолитному образу.

Генеалогия воображаемого Запада

Пространство воображаемого Запада не имело ни конкретной границы, ни четкого сформулированного описания. Современники не называли его одним именем, тем более «воображаемым Западом»; это название наше. Тем не менее в результате широкого хождения в Советском Союзе в этот период материальных артефактов, визуальных и звуковых образов, высказываний и языковых форм, имеющих отношение к «Западу» — либо рассказывающих о нем напрямую, либо имеющих «западное» происхождение, либо использующих «западные» символические и эстетические средства (язык, алфавит, визуальную эстетику, музыкальное звучание, материальную текстуру вещей и так далее), — в советской повседневности постепенно возник единый, вполне реальный и всеми узнаваемый объект — *воображаемый Запад*. Анализ того, как этот воображаемый объект возник, развивался и изменялся

в позднесоветский период, позволит нам по-новому взглянуть на многие парадоксы и трансформации позднесоветской системы, знакомые из предыдущих глав, и выявить новые. Для этого проследим *генеалогию* происхождения *воображаемого Запада*[10].

Примером генеалогического анализа может служить исследование Мишеля Фуко, посвященное тому, как во время перехода к Новому времени постепенно возникло новое понимание феномена *безумия*. Если ранее, примерно до XVII века, в Европе феномен безумия рассматривался как проявления дьявольских или иных мистических сил, то начиная с XVII века он стал все больше восприниматься как «психическое заболевание», а обозначение кого-то как «сумасшедшего» стало превращаться в медицинский диагноз. Это современное понимание безумия не возникло в одночасье, никакой конкретный медицинский дискурс его не предложил, и никто конкретно его не сформулировал. Оно сформировалось постепенно и незапланированно из огромного множества разрозненных и меняющихся высказываний, идей, открытий, законов и культурных норм в самых разных областях знания (религии, медицине, законодательстве, гражданском праве, государственном управлении и так далее), которые объединял интерес к определению природы человека[11]. Подобную разнородную среду высказываний, текстов, идей, культурных норм и законодательных актов, не связанных друг с другом напрямую, но имеющих отношение к более-менее общей теме, общие структурные принципы языковых и других дискурсивных высказываний, циркулирующих в обществе в определенный исторический период, Фуко называл *дискурсивной формацией*[12]. Дискурсивная формация не организована как единый и явный дискурс на определенную тему. Ее элементы (высказывания, формулировки, идеи, недосказанности, непроговоренные общепринятые посылы) могут появляться независимо

[10] Генеалогический метод анализа культурно-исторических понятий и феноменов был описан Ницше в книге «Генеалогия морали» 1887 года (см.: Ницше 2013) и развит Мишелем Фуко в книге «История безумия в классическую эпоху» 1961 года (Фуко 2010), а также в его же статье «Ницше, генеалогия, история» 1971 года (Фуко 2000).

[11] Foucault 1998b: 312. См. также: Foucault 1972: 109; Dreyfus, Rabinow 1983: 181; Hall 1988, 51.

[12] В ранних работах он также называл ее эпистемой.

друг от друга и в не связанных между собой напрямую областях. Они формулируются разными авторами, на разный лад, по разным поводам. Они не обязательно отражают схожие взгляды на одну проблему или единый подход к ней, они могут соглашаться или противоречить друг другу. Тем не менее в этой распределенной дискурсивной среде постепенно формируются общие принципы и способы говорения и думания на определенную тему, в результате чего в ней может появляться общее понимание некоторых явлений и феноменов истории.

В контексте позднего социализма самые разные высказывания по поводу той или иной связи советского человека с неким «международным» контекстом представляли собой особую распределенную дискурсивную формацию, внутри которой постепенно сформировался феномен воображаемого Запада. Эта дискурсивная формация включала в себя противоречивые высказывания, артефакты, продукты культуры, имеющие отношение к самым разным темам — капитализму, интернационализму, космополитизму, международной ситуации, шедеврам мировой культуры, западным спецслужбам, дружбе народов, обществу потребления, «всему прогрессивному человечеству», высокому искусству, «всесторонне развитой личности», буржуазному влиянию и так далее. Огромное число из этих высказываний, текстов, артефактов и символов, которые могут показаться противоречащими друг другу и принадлежащими к разным областям жизни и политическим позициям, на самом деле было объединено общей темой и едиными дискурсивными принципами. Их невозможно понять, не поставив их в контекст единого для них всех парадокса советской культуры (см. выше). Например, одни и те же примеры «культурного влияния» Запада, даже в рамках авторитетного дискурса Советского государства, могли рассматриваться и негативно (как пропаганда буржуазных ценностей), и позитивно (как пример интернационализма трудящихся всего мира), могли распространяться внутри Советского Союза и по «несанкционированным» государством каналам, и посредством самого государства, могли попадать в советскую жизнь из-за рубежа и создаваться внутри самого Советского Союза.

Космополитизм и интернационализм

Советское государство всегда в своей истории различало приемлемые и неприемлемые формы западной культуры и постоянно пыталось провести границу между ними. Однако делалось это крайне непоследовательно и противоречиво, в чем отразились не столько ошибки руководства, сколько объективные противоречия самой природы социализма. Как показано в главе 2, вмешательство Сталина в конце 1940-х годов в сферу политических, научных и эстетических дискуссий вскрыло внутреннее противоречие, существовавшее внутри советского идеологического дискурса. Например, сталинская критика советского языкознания началась с атаки на вульгарную марксистскую теорию языка, которая рассматривала язык лишь как продукт классовой борьбы. В своих критических замечаниях Сталин отметил, что советское языкознание уделяет слишком много внимания классовым законам развития языка, игнорируя при этом «объективные научные» (то есть природные) законы — законы психологии, физиологии, мышления. До сих пор не ясно, как эти законы управляют языком, заметил Сталин. Эта критика была отражением новой точки зрения Сталина, прежде стоявшего на тех позициях, которые он теперь неожиданно начал критиковать. Аналогичной была и сталинская критика других наук, в частности критика биологии Трофима Лысенко. В ней Сталин указал, что необходимо изучать «объективные научные законы» природы, а не переносить на природу марксистско-ленинский классовый анализ. Главным, и явно незапланированным, итогом этого нововведения, как мы помним (из глав 1 и 2), стало расшатывание марксистско-ленинистского «канона» истины — теперь истину было невозможно сформулировать ясным и неизменным идеологическим языком, поскольку теперь она скрывалась в законах природы, которые существовали *за пределами* идеологии и были пока недостаточно понятны[13].

Ранее (до конца 1940-х — начала 1950-х годов) оценка того, насколько политически верно или неверно то или иное идеологическое высказывание описывает окружающую реальность, проводилась путем его

[13] См.: Pollock 2008, а также главу 2 данной книги.

сравнения с *независимым* каноном истины, который был сформулирован языком марксизма-ленинизма, в свою очередь знание этого канона было исключительной прерогативой Сталина. Теперь, в последние годы жизни Сталина, делать такую оценку стало сложно, а после смерти Сталина и критики его культа личности — невозможно. Произошло разрушение позиции «внешнего редактора» идеологии (глава 2), в результате чего исчез независимый *канон* истины, а с ним и возможность объективно и однозначно оценивать авторитетные высказывания на предмет их идеологической верности. Более не существовало и не могло существовать субъекта, который бы обладал уникальным объективным знанием «нормы» идеологического языка. Теперь единственный способ гарантировать, что конкретное выступление на авторитетном языке того или иного партийного руководителя не воспринимается другими как отклонение от «нормы», состоял в повторении тех высказываний, которые уже были произнесены на этом языке ранее и уже воспринимались как «верные». Партийные и комсомольские секретари всех уровней начали имитировать уже существующие тексты — газетные передовицы, речи членов политбюро, выступления друг друга, что привело к процессу постепенной *гипернормализации* советского авторитетного дискурса.

Все это мы описали выше (глава 2) в отношении языка идеологии. Но аналогичная трансформация произошла и в области культурного производства. С исчезновением независимого канона марксистско-ленинской истины здесь тоже стало сложно с уверенностью оценивать культурные и художественные формы на предмет их идеологической верности или ложности. Эта трансформация повлияла, например, на отношение к иностранным влияниям в искусстве и культуре, проявившись в партийно-государственной кампании «против космополитизма», начавшейся в 1948 году. Феномен *космополитизма* определялся в партийной риторике как продукт буржуазного Запада, который, преследуя свои империалистические цели, стремился подорвать чувства национального патриотизма среди народов мира, ослабляя тем самым их национальный суверенитет[14]. Противоположностью космополитизма был не национализм — столь же опасный враг, — а *интернационализм*. Согласно этой

[14] Dunayeva 1950: 18.

риторике, космополитизм обеднял национальную культуру и искусство, а интернационализм обогащал их.

Кампания против проявлений космополитизма оказала влияние на все сферы советской культуры и искусства. Выступая на совещании деятелей советской музыки в 1948 году, секретарь ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам Андрей Жданов сравнил примеры интернационализма и космополитизма в советской музыке. Сначала он похвалил музыкальный интернационализм:

> Интернационализм в музыке, уважение к творчеству других народов развиваются у нас на основе обогащения и развития национального музыкального искусства, на основе такого его расцвета, когда есть чем поделиться с другими народами, а не на базе обеднения национального искусства, слепого подражания чужим образцам и стирания особенностей национального характера в музыке. Все это не следует забывать, когда говорят об отношениях советской музыки к музыке иностранной[15].

Затем Жданов раскритиковал примеры космополитизма в музыке. Космополитизм загрязняет советскую жизнь буржуазной псевдоэстетикой, заявил он и привел в качестве примера работы композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Под дурным иностранным влиянием, сказал Жданов, эти композиторы начали сочинять плохую, дисгармоническую и вредную музыку — музыку, которая противоречит «основ[ам] нормального функционирования музыкального звука» и «физиологии нормального человеческого слуха» и, «несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека»[16]. Ждановская критика музыкальных форм строилась по тому же парадоксальному принципу, что и критика, которой Сталин чуть ранее подверг языкознание и другие науки (см. главу 2). Жданов ссылался на «объективные научные факты» о нормальной физиологии слуха, нормальном функционировании звука, нормальной психофизиологической

[15] Жданов 1950: 62—63.

[16] Там же: 72, 74.

деятельности и так далее. Но при этом он добавлял (чуть далее в тексте), что «у нас, к сожалению, недостаточно разработана та область [научной] теории, которая говорит о физиологическом влиянии музыки на человеческий организм»[17]. Тот же факт ранее (в своей критике языкознания) признал и Сталин, подчеркнувший, что объективные научные законы о связи языка и сознания остаются пока неизученными.

Общую аргументацию Жданова можно резюмировать так. Иностранные музыкальные влияния способны проявляться как в отрицательном космополитизме, так и в положительном интернационализме. Космополитизм является продуктом «слепого подражания» буржуазной культуре, а интернационализм — продуктом прогрессивного обмена культурными формами с другими народами. Первый национальную культуру обедняет, второй — обогащает. Влияние космополитизма проявляется в неестественной музыке, нарушающей законы человеческой физиологии. Влияние интернационализма, напротив, проявляется в естественном и прогрессивном реализме. Оценка иностранных влияний в музыке (и культуре вообще) на предмет их прогрессивности или неестественности должна производиться на основе объективных научных законов. Однако «та область теории», которая призвана раскрыть эти объективные научные законы, к сожалению, пока недостаточно развита.

Из этой аргументации, как и из критики Сталина в отношении языкознания и других наук, следовал парадоксальный вывод: поскольку объективный научный канон, с которым можно было бы сравнивать форму музыкального произведения, пока, к сожалению, не до конца понятен, трудно с уверенностью сказать, какой именно пример иностранного влияния в музыке является проявлением положительного интернационализма, а какой — отрицательного космополитизма. Хотя сам Жданов такую оценку давал в случае Прокофьева и Шостаковича, его мнение звучало как чисто *субъективное* (ведь *объективные* научные законы звука и слуха, как он сам признал, пока неизвестны). Насколько непредсказуемыми подчас были эти оценки, показано в эссе Владимира Тендрякова «Охота», написанном «в стол» (не для публикации) в 1971 году. В нем автор вспоминал атмосферу начала 1950-х:

[17] Там же.

> Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)? Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Когда Тендряков спросил у малознакомого человека: «Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?», тот ответил: «Должно быть, тем же, чем голова от башки»[18].

Эта неоднозначность в оценке иностранного культурного влияния открывала пространство для различных, порой противоположных, интерпретаций одних и тех же музыкальных или культурных форм. В конечном итоге это означало, что большинство культурных форм трудно было объективно отнести только к «социалистическим» или только к «буржуазным». А это, в свою очередь, означало, что для того, чтобы ощущать себя настоящим советским человеком, живущим в соответствии с верными принципами социализма, не обязательно было соглашаться с любой интерпретацией конкретных культурных форм, которые появлялись в советской печати (поскольку такие интерпретации не могли не быть частично *субъективными*).

В результате этого сдвига постоянное колебание между различными интерпретациями одних и тех же культурных форм и явлений, заимствованных из-за рубежа, стало неотъемлемой чертой позднего социализма[19]. Примеров таких колебаний множество. В сентябре 1961 года генеральный секретарь КПСС Никита Сергеевич Хрущев на выставке в московском парке Сокольники публично высмеял абстрактное искусство Пабло Пикассо за буржуазный антиреализм и идиотизм. Насмешливая критика Пикассо прозвучала во всех советских газетах. Однако

[18] http://www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_3_esse.htm

[19] В принципе, некая базовая противоречивость отношения к «Западу» имеет в России глубокие корни. Уже более трех столетий она проявляется в постоянном сосуществовании и обмене между «прозападными» и «антизападными» идеологическими позициями. Однако в период позднего социализма это парадоксальное отношение принимает особые политические формы на уровне авторитетного дискурса и нормы, что приводит к мощным внутренним смещениям идеологического пространства СССР.

менее чем через год, в мае 1962-го, ЦК КПСС отметил Пикассо как великого прогрессивного художника-коммуниста и удостоил его Ленинской премии мира за выдающийся интернационализм его творчества[20]. Другим примером могут служить заявления Советского государства по поводу американского джаза, которые часто менялись на протяжении всего позднего периода советской истории. Иногда джаз терпели или даже называли примером положительного культурного влияния, подчеркивая его происхождение из музыки простого рабочего люда и бесправных рабов Америки[21]. В других случаях джаз осуждался как пример буржуазного псевдоискусства, утратившего связь с реализмом народной культуры[22].

[20] Egbert 1967: 361. Когда в 1956 году в Музее имени Пушкина в Москве открылась первая выставка работ Пикассо, мнения советской публики в книге для комментариев разделились, четко отражая упомянутый парадокс советской культурной политики и идеологических высказываний. Одни зрители писали: «Поражает колоссальный талант», «Гениальный художник», а другие добавляли: «Мало назвать Пикассо растлителем. Это величайший циник нашего времени! Как мог такой навоз попасть на выставку в наш отечественный музей?» и «Поражает, как может коммунист так не уважать зрителя» (цит. по фильму Леонида Парфенова «Глаз божий», серия 2; транскрипт доступен на сайте Первого канала российского телевидения: http://www.1tv.ru/documentary/print/fi=7560&sn=2). Следует подчеркнуть, что и те и другие высказывания были одинаково «верны» — то есть одинаково соответствовали различным высказываниям в советской печати и авторитетном дискурсе.

[21] Джазовый вокалист и пианист Сергей Манукян (1955 г. р.) вспоминает, что джаз в СССР часто звучал по радио, даже в периоды частичного запрета: «Просто по радио он звучал не как концертная музыка, а как фоновая в каких-то программах. И я выхватывал эти фрагменты» и играл их, создавая на их основе свои интерпретации (Коновалова 2010).

[22] Другим примером, не связанным с иностранным влиянием, но отражающим общую парадоксальность культурной политики Советского государства, служит советский кинематограф. Как показал Джордж Фарадей, государственные чиновники, управляющие советским кинопроизводством, «способствовали созданию культа независимого кинохудожника, постоянно подчеркивая его идеологическую важность» в публичных речах, в присуждении премий и званий оригинальным кинорежиссерам. В то же время на практике они пытались препятствовать работе тех кинорежиссеров, которые становились действительно независимыми и признанными в этом качестве (Faraday 2000: 12).

Джаз

Как известно, в результате Второй мировой войны советская жизнь подверглась большому числу зарубежных влияний. Соединенные Штаты во время войны и в первые послевоенные годы воспринимались в основном как союзник, оказывавший помощь советскому народу в рамках программы ленд-лиза[23]. А после открытия второго фронта в 1944 году и встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945-го американские фильмы и джаз стали ассоциироваться с общей победой над фашизмом. В освобожденных Кракове и Праге оркестры Красной армии, устраивая концерты для местного населения, исполняли американские джазовые мелодии «Chattanooga Choo-Choo» и «In the Mood»[24]. После окончания войны советские музыканты перенесли эту музыку из военных оркестров в танцевальные залы и рестораны советских городов. В ресторане «Крыша», на верхнем этаже ленинградской гостиницы «Европейская», оркестр Иосифа Вайнштейна исполнял американский свинг, которому музыкантов обучили союзники в конце войны[25].

Несмотря на временную открытость этим влияниям в первые послевоенные годы, они вскоре подверглись критике в ходе кампании против космополитизма. На совещании музыкальных работников в ЦК партии было высказано новое отношение к джазу — дирижер Борис Хайкин заявил, что корни джаза, когда-то восходящие к простому трудовому люду и делавшие джаз прогрессивной музыкой, сегодня утрачены, а на их место пришли «пошлые мотивчики», неспособные более ничего дать «уму и сердцу советского человека»[26].

С одной стороны, безусловно, буквальный смысл подобных заявлений заключался в критике джаза. Однако из них также следовал и другой, не менее важный вывод — джаз как форма (а значит, и другие

[23] Turovskaya 1993a. США начали поставки в Советский Союз продовольствия, техники и других материалов после принятия Закона о ленд-лизе в марте 1941 года. См. о программе ленд-лиза в: Munting 1984.

[24] Starr 1994: 205; Чернов 1997a: 32.

[25] Фейертаг 1999: 65; Чернов 1997a: 32.

[26] Цит. по: Фейертаг 1999: 66. Аналогичной непоследовательной критике позже подверглась и западная рок-музыка — см. ниже в этой главе и главе 6.

культурные формы) может рассматриваться по-разному в разных контекстах: в одном контексте джаз является положительным продуктом творчества трудящихся, бывших рабов и всех угнетенных, в другом контексте он является отрицательным продуктом буржуазной культуры. А раз так, то смысл джаза как определенной эстетической формы невозможно определить заранее, не учитывая конкретный контекст, в котором эта форма воспроизводится и циркулирует[27]. Эта идея, хотя и не формулировалась в явной форме, подразумевалась в критических заявлениях на тему иностранного культурного влияния. Помогало ее распространению и то, что смысл высказываний на эту тему отличался в разные периоды и в разных изданиях. В результате джаз и некоторые другие «западные» культурные формы смогли пережить всевозможные критические кампании (хотя и не без потерь или изменений) и продолжали существовать, постоянно адаптируясь к новому контексту. Даже в те годы, когда джаз попадал под особо яростную критику, некоторые оркестры играли джазовые композиции, делая им аранжировки под советский стиль «легкой музыки», изменяя их названия, вставляя их между произведениями советских композиторов. В этой измененной форме джаз продолжал звучать в ресторанах и танцевальных залах, а порой даже на концертах филармонических оркестров[28].

Порой джаз можно было услышать и в исполнении любительских музыкальных коллективов на студенческих вечерах, которые устраивались комитетами комсомола вузов или профессионально-технических училищ в рамках идеологической работы с молодежью. Любительский статус таких музыкальных коллективов означал, что они не были зарегистрированы в государственных филармониях и не могли выступать в больших концертных залах и продавать билеты на свои концерты.

[27] Показательным примером является проводимое в то время различие между культурой богатых и обычных американцев. В фильме Александрова «Встреча на Эльбе» 1949 года американские генералы в оккупированной Германии изображены как аморальные спекулянты, продающие гражданскому немецкому населению продукты и сигареты по завышенной цене. Однако младшие офицеры и простые солдаты американской армии показаны иначе — как и советские солдаты, чьи казармы расположены поблизости, — они негодуют по поводу буржуазно-колониального поведения своих командиров.

[28] Каплан 1997а: 46; Фейертаг 1999.

Но зато репертуар их выступлений подвергался гораздо меньшему государственному контролю, чем в случае профессиональных оркестров (и позже вокально-инструментальных ансамблей, ВИА), зарегистрированных при филармониях. Это давало им ощутимую степень свободы, хотя и делало их более уязвимыми для разных непредсказуемых ситуаций. Владимир Фейертаг, организовавший в середине 1950-х годов студенческий джаз-банд в Ленинградском университете, вспоминает, что как-то на студенческом танцевальном вечере его оркестр повторил три раза подряд композицию оркестра Гленна Миллера «In the Mood» по просьбе комсомольцев, «абсолютно потерявших самоконтроль»[29]. Обычно партийный комитет университета смотрел на выступления джаз-банда сквозь пальцы, но на этот раз, узнав о слишком очевидном выражении комсомольцами восторга по поводу американской музыки, комитет решил осудить репертуар оркестра. Музыкантам было сделано официальное предупреждение: если они и впредь будут играть безвкусную американскую музыку, чуждую советской молодежи, их могут исключить из комсомола и отчислить из института. Однако из этого следовал и очевидный вывод: проблема заключалась не столько в музыке, которую играл оркестр, сколько в чрезмерно восторженной реакции, которую она на этот раз вызвала у студентов. Иными словами, проблема была вновь не столько в форме вообще, сколько в ее трактовке в конкретном контексте.

Кино

Неоднозначной была ситуация и с западным кино. В первые послевоенные годы многие американские и немецкие фильмы стали хитами советского проката, принеся в советское общество моду на новую музыку, одежду, язык и стиль поведения[30]. Молодых спортивных юношей

[29] Фейертаг 1999.

[30] 31 августа 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) дало разрешение на советский прокат американского и трофейного немецкого кино. Несколько десятков немецких фильмов попало в советский прокат в рамках репараций, которые выплачивала Германия. Самым

стали называть на новом жаргоне «тарзанцами», по имени персонажа популярного американского фильма «Приключения Тарзана»[31]. Любители джаза начали имитировать жесты и телодвижения музыкантов из американских фильмов. Ефим Барбан, основатель Ленинградского джаз-клуба, предпочитал слушать американский джаз, положив ноги на стул, стоящий перед ним, подражая американским киноактерам. Когда ему сделали замечание за «некультурное поведение», он ответил, что американскую музыку следует слушать «так, как ее слушают в Америке»[32].

На протяжении всего позднесоветского периода западное кино то распространялось в широком прокате, то подвергалось критике, и его прокат сокращался, то оно вновь возвращалось в широкий прокат[33]. Хотя мотивами подобных перемен служили конкретные исторические события, политические кампании и международная обстановка, сама возможность постоянно менять отношение к этой форме иностранного культурного влияния была вызвана внутренним парадоксом социалистической системы, о котором писалось выше. Порой зарубежные фильмы пропагандировались в одном контексте и подвергались критике в другом. Началось это непоследовательное отношение сразу после войны. В 1947 году «Литературная газета» в статье «Долой пошлость!» выступила с критикой некоторых советских фотографов, которые, по словам автора, спекулируя на любви советских людей к кино, печатали портреты улыбающихся американских кинозвезд на тысячах открыток, которые можно было приобрести в любом газетном киоске или книжном магазине. Больше всего газета возмущалась тем, что за одну такую маленькую черно-белую фотокарточку с покупателей брали от трех до пяти рублей, в то время как большие цветные открытки с репродукциями лучших русских художников, работы которых экспонировались

популярным в советском прокате был фильм «Девушка моей мечты» (в оригинале «Die Frau meiner Träume») с немецкой актрисой и певицей венгерского происхождения Марикой Рёкк в главной роли. См.: Turovskaya 1993a: 104; Stites 1993: 125; Graffy 1998: 181; Die Ungewöhnlichen Abenteuer 1995.

[31] См.: Stites 1993: 125.

[32] Фейертаг 1999: 81.

[33] Turovskaya 1993a и 1993b.

в Третьяковской галерее, стоили всего пятьдесят копеек[34]. Согласно этой критике, проблема заключалась не в том, что западные фильмы пользуются популярностью у советской публики, а в том, что фотографы спекулируют на этой популярности. Кроме того, хотя в этой статье американские фильмы, казалось бы, характеризовались как пример вульгарной массовой культуры, которой противопоставлялась высокая классическая культура, представленная в Третьяковской галерее, в предыдущем номере той же «Литературной газеты» газеты Илья Эренбург писал, что в действительности американский кинематограф выпускает много прекрасных фильмов, которые следует рассматривать как часть высокой мировой культуры. Америка, объяснял Эренбург, дала миру выдающихся мастеров от Чарли Чаплина, которого любят на всех пяти континентах, до фильмов братьев Маркс, полных простого доброго юмора, и мультфильмов Диснея, являющихся истинной поэзией кино[35].

Противоречивый Запад

Непоследовательность в интерпретации смысла иностранных культурных форм также проявлялась в тенденции критиковать некоторые «крайние» проявления западной культуры как буржуазные, но одновременно характеризовать «обычные» проявления этой культуры как пример положительного интернационализма. Эта тенденция проявлялась и в отношении к западной материальной культуре. Даже в сталинские времена, как показала Вера Данхэм (Vera Dunham), государство поощряло советских людей получать удовольствие от товаров личного потребления (одежды, наручных часов, губной помады), при условии, что они не использовались в эгоистических целях (как средство достижения социального престижа или карьерного успеха), а воспринимались как заслуженное вознаграждение за трудовые успехи или как отражение

[34] «Долой пошлость!» // Литературная газета. 1947. 19 ноября.

[35] Эренбург 1947: 2.

высокого культурного уровня советского человека[36]. Начиная с середины 1950-х государственный дискурс о том, какой способ потребления материальных и культурных благ приемлем, продолжает развиваться в том же направлении. Оказывается, что даже интерес к элементам «буржуазной роскоши» в западной жизни сам по себе не является предосудительным, при условии, что этот интерес продиктован не личным гедонизмом, а любовью к высокой эстетике и искусству, а также уважением к таланту мастеров и трудового народа, создающих эту роскошь. Именно поэтому «Литературная газета» могла с нескрываемым восхищением описывать роскошные парижские магазины знаменитого буржуазного района площади Вандом и улицы Фобур Сент-Оноре:

> Вандомская пдощадь — сердце торговли «люкс». Подобно улице Фобур Сент-Оноре, она дает представление о том, что такое мода (в частности, на драгоценные украшения и золотые и серебряные изделия): это постоянное обновление вкусов, разгул воображения. [...] Сейчас она демонстрирует мастерство парижских ремесленников — мебельных мастеров, ювелиров, а также декораторов, которые из каждой витрины создают большей частью блестяще сделанную картину, непрестанно видоизменяющуюся[37].

Советские газеты также призывали советских людей изучать языки, объясняя своим читателям, что истинно культурный человек обязан владеть хотя бы одним, а лучше несколькими иностранными языками, в первую очередь английским, немецким и французским[38]. Знание языков предполагало, что интерес к зарубежным странам и культурам вполне соответствует идеалу всесторонне образованного советского человека, при условии, конечно, что это интерес к правильной информации и что оценивается эта информация критически. Правильная информация включала в себя, например, знания из области науки и техники. Инженер одного НИИ объяснял на страницах «Литературной газеты»:

[36] Dunham 1976.
[37] Дезанти 1956: 4.
[38] Чаковский 1956.

> Я пришел к выводу, что знание английского, немецкого и французского языков обязательно для всякого, кто претендует на техническое творчество. И вот, овладев этими языками, регулярно просматриваю иностранные журналы, газеты, проспекты и т.д. ...[П]ора коренным образом улучшить метод преподавания языков в учебных заведениях, вывести это дело из стен только школ и вузов и широко распространить на предприятиях и в учреждениях[39].

Ему вторил академик: иностранные языки

> ...необходимы не только для делового общения, но и для расширения культурного кругозора. ...[С]колько волнующего наслаждения испытывает тот, кто может оценить прелесть песен Бёрнса... непосредственно в подлиннике. Сила сарказма и нежность ритмов поэзии Гейне неизбежно слабеют даже в самом лучшем переводе[40].

Подобные статьи и высказывания подогревали воображение советских читателей, постоянно напоминая им, что советский человек обязан интересоваться мировыми культурными ценностями, причем большинство из них описывалось как продукты «западных» стран. Касалось это, в принципе, самых разных видов западной литературы, музыки, кино. Хороший джаз в это понятие вполне вписывался, и поэтому большинством советских любителей джаза в тот период он не воспринимался как нечто однозначно буржуазное или абсолютно антисоветское. Таким образом, в соответствии с общим парадоксом советской культуры, критика джаза в советской прессе постоянно нейтрализовалась статьями в той же прессе об общечеловеческой ценности высокой мировой, то есть западной, культуры, а также интернациональной ценности культуры простых людей и трудящихся масс. Натан Лейтес, в начале 1960-х годов основавший ленинградский джазовый клуб «Квадрат», который был официально зарегистрирован государством, так выразил этот парадокс:

[39] Е. Казаковский, начальник бюро норм и стандартов завода «Электросила», Ленинград. См.: Казаковский 1956: 2.

[40] Энгельгардт 1956: 2.

в начале 1960-х годов он был большим поклонником американского джаза и, в то же время, «достаточно красным человеком, розовым. По крайней мере, я верил в социализм»[41]. По его словам, о большинстве его знакомых джазовых музыкантов и любителей джаза тех лет можно было сказать то же самое. В интервью, которое он дал уже в постсоветские годы, Лейтес подчеркивал: хотя «сейчас [в 1997 году] очень многие говорят, что они жутко давно прозрели» — то есть уже в советские годы стали активными противниками системы, — в действительности «этого не могло быть...»[42]. Американский джаз для большинства из них был *сивмолом не капитализма или буржуазных ценностей, а оптимизма и веры* в будущее, которые в принципе вполне укладывались в нормальные ценности социалистического общества. Другой известный энтузиаст джаза и организатор уникальных ленинградских джазовых вечеров Владимир Фейертаг считал в те годы, что, хотя на Западе многие образцы современного джаза подчас действительно отражают буржуазные вкусы общества, в советском контексте джаз был свободен от буржуазной идеологии. Встречаясь с критикой джаза, Фейертаг недоумевал: «Неужели мой личный интерес к нему [джазу] наносит непоправимый вред моей непобедимой стране?»[43] Для большинства этих молодых людей послевоенного поколения, как писал Лев Лурье, «борьба с космополитизмом и реальная поножовщина, любовь к джазу и комсомолу были соединены вместе»[44]. Аналогично парадоксальное отношение чуть позже сформировалось к англо-американской рок-музыке — большинство советских любителей и слушателей рок-музыки не воспринимало ее как что-то однозначно буржуазное или антисоветское, что позволяло сочетать любовь к рок-музыке с самыми разными убеждениями и видами деятельности. Можно было слушать западный рок и ненавидеть КПСС, а можно было, напротив, активно участвовать в комсомольской или партийной жизни и даже искренне верить в коммунизм, при этом оставаться активным

[41] Чернов 1997b: 37.

[42] Там же.

[43] Фейертаг 1999: 68.

[44] Лурье 1997.

любителем и коллекционером записей западных рок-групп (последнюю ситуацию мы рассмотрим подробно в главе 6).

Стилизация

Особое отношение к своему внешнему виду и одежде среди некоторых слоев городской молодежи того периода тоже во многом сформировалось в контексте «западных» влияний (особенно посредством кинематографа, литературы и музыки). Причем большая часть молодежи не воспринимала интерес к моде, джазу или рок-музыке как что-то однозначно несовместимое с советской жизнью и моралью. В сфере моды и личного стиля государство вновь акцентировало свою критику на крайние проявления буржуазного влияния, особенно среди небольших групп «ненормальной» (аморальной, вульгарной, необразованной) молодежи, при этом не замечая или игнорируя более нейтральные и не бросающиеся в глаза увлечения западными культурными явлениями среди широких масс вполне «нормальной» советской молодежи.

Примером здесь может служить отношение власти к возникшему в конце 1940-х годов знаменитому феномену стиляг — молодых людей, которых можно было отличить от большинства советских граждан по особому внешнему виду, одежде и поведению[45]. Стиляг можно определить как «субкультуру» советского общества, воспользовавшись знаменитым определением субкультуры, которое дал Дик Хебдидж[46]. Согласно Хебдиджу, субкультуру отличает особый стиль, работающий как символ *отличия* некоторой группы от культурных форм, доминирующих в обществе[47]. В контексте капиталистической Великобритании, о котором

[45] Троицкий 2007; Stites, von Geldern 1995; Edele 2003.

[46] Hebdige 1979.

[47] Этот анализ отличается от марксистского анализа субкультур, который разрабатывался в исследованиях Пола Уиллиса и некоторых других представителей Бирмингемского центра культуральных исследований. Подробнее об исследовательском подходе «культуральных исследований» (cultural studies), его критике и его сравнении с подходами социально-культурной антропологии см.: Юрчак 2005.

писал Хебдидж, это отличие может ассоциироваться с *оппозицией* доминирующим культурным формам; однако такая оппозиция является не способом противопоставить себя системе как таковой, а, напротив, способом быть частью системы — именно *суб*культурой системы, а не ее противоположностью. Панки 1970-х годов — одна из субкультур Великобритании, о которой писал Хебдидж, — строили свой стиль на отличии от доминирующей нормы, при этом оставаясь частью системы. Они не только выпускали и продавали пластинки и давали концерты, но и быстро стали влиять на молодежный мейнстрим в одежде, языке и музыке (магазины одежды в стиле панк с самого начала были неотъемлемым элементом панк-движения).

В этом смысле стиляги тоже были субкультурой — не противоположностью социалистической системы, а, как ни парадоксально, ее частью — не столько исключением из «нормальной» культуры своего поколения, сколько наиболее ярким проявлением глубоких и не всегда заметных перемен в этой культуре. Стиляги не оспаривали авторитетный дискурс системы, а, напротив, использовали его форму (например, комсомольские вечера танцев и отдыха, советские кафе-мороженицы), но изменяли ее смысл. Для нашего анализа феномен стиляг важен не столько сам по себе (стиляги представляли довольно малочисленные и не связанные друг с другом группы молодежи), и даже не столько как явление, оказавшее влияние на других, сколько как *симптом* растущей важности западных культурных форм среди миллионов *обычных* молодых людей, большинство из которых не только не причисляло себя к стилягам, но попросту ничего о них не знало, а если знало, то относилось к ним отрицательно.

На эстетику стиляг повлияли самые разные «западные» формы. Среди них не последнюю роль играло кино, особенно американские фильмы, шедшие в советском кинопрокате после войны. В 1940-х годах ленинградский стиляга Валентин Тихоненко скопировал свой образ с главного героя американского фильма «Облава», который он несколько раз видел в советском кинотеатре[48]. Героем фильма был американский разведчик, внедрившийся во время войны в немецкое гестапо, что делало

[48] Гук 1997: 24—25.

Рис. 14. Московские стиляги у здания Центрального телеграфа на «Броде» (улице Горького), начало 1960-х. Стиляга на переднем плане одет в модный западный френч с накладным воротником и пестрый галстук. Стиляга слева от него одет в светлый пиджак и модную полосатую жилетку, он уверенно держит руки в карманах. Стиляга на заднем плане справа одет в темный пиджак, шейный платок и светлые просторные брюки. У всех прически с зачесом назад и челкой коком. Они улыбаются и явно щеголяют своим модным видом

Рис. 15. Стиляги из Хабаровска, около здания Института инженеров железнодорожного транспорта, перед портретами Политюро ЦК КПСС, начало 1960-х (на изображении Л.И. Брежнев еще является членом Политбюро, а не Генеральным секретарем партии). На стиляге слева яркая цветастая рубашка, темные очки в заостренной белой оправе; у него длинная хипповская прическа с зачесанной кверху челкой. Все это признаки откровенно несоветского стиля

его в советском контексте однозначно положительным героем. Это был «изумительно обаятельный парень», вспоминает Тихоненко, и «я с него все срисовал сразу же». Тихоненко стал носить белые кофты, замшевую шляпу, длинное стильное пальто — все приобреталось либо в государственных комиссионных магазинах, либо «с рук» у иностранных туристов или фарцовщиков[49].

[49] Гук 1997: 24—25.

По примеру героев американских фильмов стиляги отращивали баки, тонкие усы и делали прически в стиле кок. Многие из них сами шили себе одежду — разноцветные вязаные свитера, широкие брюки, галстуки с яркими узорами — серебристой паутиной, пальмами, обезьянами или девушками в купальниках[50]. Не только молодежь Москвы и Ленинграда создавала себе подобный стиль одежды.

В конце 1950-х годов в Пензе, в пятистах километрах к юго-востоку от Москвы, существовал круг стиляг, по большей части подростков из рабочих семей, которые сами шили себе модные наряды, а иногда покупали «фирменную» одежду у местных фарцовщиков, привозивших ее из Москвы. Пензенские стиляги ходили танцевать твист и буги-вуги на танцы в Домах культуры. Один из них, Виталий Синичкин, студент Пензенского приборостроительного техникума, в начале 1960-х годов

> ...укладывал русые кудри в кок а-ля Пресли. Длинная челка поднималась надо лбом и закреплялась. Только не лаком или муссом, которых в СССР пока не было, а... сахарным сиропом. Выходя в свет, Виталий надевал стильный пиджак цвета светлого какао с малиновыми вертикальными полосами (Франция), желтые ботинки на толстой белой подошве — «манке», с мощными пряжками (тоже французские), зеленые брюки, галстук клином — широкий, ниже пояса[51].

Некоторые из пензенских стиляг ездили летом отдыхать на черноморские курорты, где сотни тысяч молодых людей со всех концов Советского Союза проводили отпуска, увозя домой новейшие веяния моды. В контексте южных курортов и летних отпусков отношение к проявлениям западного стиля в одежде, музыке и танцах было более терпимым, чем на комсомольских вечерах в больших городах. В некоторых курортных парках можно было взять уроки твиста. Синичкин вспоминает: «В сочинском парке "Ривьера" была танцплощадка, там устроили конкурс по твисту в американском стиле — на выносливость. За 7—10 секунд нужно было, прыгая на одной ноге, другой ногой сделать

[50] Troitsky 1988: 2—3; Aksyonov 1987: 13.

[51] Мохель 1999.

Рис. 16. «Обезьяны».
Художник Л. Худяков (Крокодил. 1957. № 2). Здесь стиляг сравнивают с безмозглыми обезьянами

Рис. 17. «— Боже, какая ерунда! — Ну что тебе понравилось?»
Художник А. Баженов (Крокодил. 1957. № 7). Согласно этому изображению, стиляга интересуется только пустыми вещами, вроде лейбла западной фирмы

Рис. 18. «Ведущий лоботряс. Достиг ведущей роли, но только в рок-н-ролле».
Художник С. Смирнова (Крокодил. 1958. № 35).
Здесь стиляга — откровенный бездельник

5 оригинальных движений, не похожих друг на друга». В парках и на танцплощадках, где танцевала молодежь, приехавшая из разных концов СССР, Синичкин воочию убедился в том, что не только немногочисленные стиляги, но и «вся страна болела твистом»[52].

Критикуя стиляг, советская печать изображала их немногочисленной группкой необразованных бездельников, бездумно преклоняющихся перед Западом и не имеющих никакого отношения к массе советской молодежи.

Комсомольские патрули, появившиеся в те годы на улицах больших городов для борьбы с подобными явлениями, тоже обращали внимание в первую очередь именно на молодежь с особо «вызывающим видом». Одного ленинградского стилягу задержали за то, что на нем был одет «броский» американский пиджак с большой эмблемой «Dunlop», на которой были изображены желто-красные тигры, прыгающие сквозь черные шины[53]. Другого остановили за «попугайский» вид — слишком яркую одежду и экстравагантную прическу[54]. Когда Тихоненко надел импортную шляпу с большими полями, преподаватель университета назвал ее «порнографической»[55]. В прессе внешний вид стиляг связывался с глупостью и неэтичностью; их называли «канарейками» и «обезьянами», лентяями и малообразованными людьми. Сатирический журнал «Крокодил» писал:

> Стиляга знаком с модами всех стран и времен, но не знает... Грибоедова. Он детально изучил все фоксы, танго, румбы, линды, но Мичурина путает с Менделеевым и астрономию с гастрономией. Он знает наизусть все арии из «Сильвы» и «Марицы», но не знает, кто создал оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»[56].

Из этих разнообразных характеристик следовало, что стиляги — это небольшая группка отщепенцев, не имеющих ничего общего

[52] Там же.

[53] Каплан 1997b: 30.

[54] Газета «Смена» (1954. 29 мая), цит. по: Лурье 1997: 19.

[55] Гук 1997.

[56] Беляев 1949. См. также: Mass Culture in Soviet Russia 1995: 452.

с подавляющим большинством *нормальной* советской молодежи и живущих не как все. Стиляги, по выражению журнала, «не живут в полном понятии этого слова, а, как бы сказать, порхают по поверхности жизни...»[57]

В результате такого представления стиляг в прессе большинство молодых людей, многие из которых тоже интересовались западной модой, джазом, рок-н-роллом и кино, но *наравне* с этим интересовались литературой, классической музыкой или наукой, просто не могло увидеть какую-то связь между собой и стилягами и обычно относилось к стилягам отрицательно. Владимир, студент одного из ленинградских инженерных вузов, в середине 1950-х годов часто ходил с друзьями на молодежные танцевальные вечера, где оркестр под управлением Виталия Понаровского временами исполнял темы из американских фильмов, вставляя их между более многочисленными советскими музыкальными композициями. Особой популярностью на этих вечерах пользовалась джазовая композиция «Караван» Дюка Эллингтона. Владимир вспоминает: «Как только оркестр начинал играть какую-то из этих [американских] мелодий, абсолютно все выбегали на танцплощадку. Понаровский стал культовой фигурой среди ленинградской молодежи»[58]. При этом и сам Владимир, и его молодые друзья были серьезными студентами и мечтали о научной карьере. По окончании института Владимир получил красный диплом отличника, который он с гордостью принес на праздничный вечер танцев и показал Понаровскому. В тот вечер оркестр посвятил выпускникам несколько джазовых мелодий из американских фильмов. Любовь к джазу и американским танцам сочеталась у Владимира и его друзей с интересом к науке и серьезным отношением к учебе. На этих вечерах, вспоминает он, бывали и явные стиляги, но ни Владимир, ни его институтские друзья их не знали и «не хотели иметь с ними ничего общего»[59].

Другой ленинградец, будущий писатель Валерий Попов, в середине 1950-х годов тоже ходил на танцы, где временами звучали мелодии

[57] Беляев 1949. См. также: Stites и von Geldern 1995: 452.

[58] Авторское интервью с Владимиром И., 1995 год, Санкт-Петербург.

[59] Там же.

американского джаза. Он уделял много внимания своему внешнему виду и старался приобрести какую-то иностранную одежду у фарцовщиков или в комиссионных магазинах. Однако в отличие от тех, кого советская печать называла необразованными стилягами, путавшими «астрономию с гастрономией», Попов и его друзья читали серьезную литературу, писали прозу и стихи, посещали театры. Кроме того, они часто заходили в ресторан «Крыша», расположенный на верхнем этаже гостиницы «Европейская», послушать музыку, поговорить о литературе и поделиться друг с другом первыми пробами пера[60]. Они не только не относили себя к стилягам, вспоминает Попов, но и считали себя авангардом советской молодежи, для которого 1950-е годы были временем, «наполненным счастьем», когда советские мечты о светлом будущем сочетались с литературными экспериментами, театральными постановками, американской музыкой и импортной одеждой, создавая причудливо оптимистическую смесь из советских и западных культурных форм и смыслов[61].

Критика стиляг в советской прессе, которая представляла их незначительной и ненормальной группкой, способствовала не подавлению западных культурных влияний, а, напротив, их *нормализации* среди большинства обычной и достаточно образованной советской молодежи. Поскольку эта молодежь себя к стилягам на причисляла, она редко воспринимала критику в прессе как адресованную ей, а свой интерес к западной музыке, фильмам и стилю как противоречащий образу нормального советского человека. Таким образом, действия государства, неожиданно для него самого, часто приводили к результатам, противоречащим буквальному смыслу идеологических задач, которые государство якобы преследовало.

Коротковолновый радиоприем

Другим проявлением внутреннего противоречия советской культурной политики были попытки государства, с одной стороны,

[60] Попов 1996: 25.

[61] Там же: 26.

распространить новые технические средства, способствующие повышению культурного уровня граждан и интернационализма социалистической культуры, а с другой — сдержать отрицательное влияние этих технических средств по распространению буржуазных культурных форм. Ярким примером таких технологических нововведений были коротковолновые радиоприемники и магнитофоны. О магнитофонах мы поговорим позже, а пока рассмотрим радио.

Важность коротковолнового радиоприема в Советском Союзе в принципе хорошо известна, однако технологическая уникальность этого вида электронных медиа и связанная с ней уникальная роль коротковолнового радио в советском культурном производстве часто понимается довольно узко. Рассмотрим, в чем состояла эта уникальность. На Западе в период, совпадающий с советским поздним социализмом, и до недавнего времени (до стремительного развития спутникового телевидения, а затем Интернета) основными видами электронных массмедиа было радио в диапазоне FM[62] (а также эфирное телевидение, на котором мы останавливаться не будем, — см. сноску[63]). Важнейшей чертой FM-радиостанций является то, что их электромагнитный сигнал распространяется на относительно небольшое расстояние. Передатчики этих радиостанций должны находиться относительно близко от приемников, то есть от аудитории — обычно на расстоянии не более 50 километров. Объясняется это тем, что электромагнитные волны FM-радио (а также похожих диапазонов УКВ-радио, принятых в СССР) распространяются по прямой, практически не огибая горизонта, и принимать их можно только в «зоне прямой видимости». Подавляющее большинство радиослушателей на Западе начиная с послевоенного периода получает информацию от местных FM-радиостанций. Эти станции могут,

[62] Ультракороткие волны, с длиной волны от 0,1 миллиметра до 10 метров (реже применялось радиовещание в диапазоне средних и длинных волн (AM) и еще реже в диапазоне коротких волн).

[63] Эфирное телевидение вещает в диапазонах метровых и дециметровых волн (длина волны от 0,1 до 10 метров). Все, что в этой части главы говорится о природе распространения волн FM- и УКВ-радио, имеет отношение и к эфирному телевидению. Однако подробно писать о телевидении мы не будем, так как роль его в формировании «воображаемого Запада» была несоизмеримо меньше роли радио.

естественно, передавать новости и передачи, сделанные где-то далеко, но они все равно должны *ретранслировать* их для аудитории с *местного* передатчика[64].

Иначе обстоит дело с радиостанциями, которые работают в диапазонах *коротких волн*[65]. Электромагнитные волны коротких диапазонов распространяются гораздо дальше, чем сигнал FM-радио, поскольку, в отличие от последнего, короткие волны с легкостью огибают горизонт. Отражаясь сначала от ионосферы[66], затем от земли, затем вновь от ионосферы, и так по многу раз, они распространяются *вокруг* земли как по «каналу». Хотя не все коротковолновые диапазоны распространяются одинаково[67], все же факт остается фактом: короткие волны способны распространяться на сотни и даже тысячи километров вокруг Земли, а волны диапазонов FM и УКВ — лишь на десятки. Передачу, которая транслируется на коротких волнах, можно слушать, находясь на другом континенте от передатчика, а передачу в диапазоне FM или УКВ — только поблизости[68]. Это уникальное отличие коротковолнового радио от

[64] Это касается и кабельного телевидения, сигнал которого по кабелю тоже ретранслируется местным провайдером.

[65] Длина волны от 10 до 100 метров.

[66] *Ионосфера* — верхний слой атмосферы, сильно *ионизированный* солнечным и космическим излучением. Ионосфера начинается на высоте 80 километров над землей и доходит до высоты 400 километров. Ионизированный газ ионосферы отражает «короткие» электромагнитные волны (длина волны 10—100 метров), но пропускает сквозь себя ультракороткие волны (менее 10 метров), поэтому последние могут применяться, например, для космической связи, а первые — для дальней связи на земле.

[67] Дальность и качество их распространения зависит от длины волны, погодных условий, времени суток, солнечной активности и так далее.

[68] Может показаться, что в последние десятилетия, с появлением спутникового телевидения и радио, а затем Интернета, способ производства и распространения медиаинформации в корне изменился — информация будто бы больше не производится и не транслируется исключительно на местном уровне, а поступает из самых разных мест глобальной сети. Однако эта картина не совсем соответствует действительности: доступ аудитории к новым видам электронных СМИ по-прежнему является *местным*. Он обеспечивается местной компанией-«провайдером» (Интернета, спутникового тедевидения, телефонии) и, соответственно, контролируется местными законодательными актами, технологическими спецификациями и политическими режимами. В случае коротковолнового радиовещания ституация иная. Между удаленным (часто иностранным)

других видов радио (и телевидения) сделало его в позднесоветском контексте гораздо более важным средством «культурного производства», чем в контексте «западных» государств[69].

Вопреки встречающемуся сегодня мнению, что почти все зарубежное радиовещание рассматривалось Советским государством как антисоветская пропаганда и «глушилось», действительность была куда сложнее и амбивалентнее. С одной стороны, слушание дальних станций рассматривалось государством как метод познавания мира и, значит, как важный элемент, который вписывался в государственную риторику о важности воспитания всесторонне развитой личности и гражданина-интернационалиста. Слушание зарубежных станций на коротких волнах не только не запрещалось в принципе, но в некоторой степени даже поощрялось — при условии, что зарубежные передачи относились к разряду идеологически нейтральной культурной информации, а не буржуазного влияния или антисоветской пропаганды. На практике провести четкое различие между положительными и отрицательными видами влияния было сложно по тем же причинам, о которых говорилось выше. Например, огромная часть зарубежного радиовещания — популярная музыка, программы о культурной жизни, спорте, науке, рассказы о других странах, уроки иностранных языков — не имела однозначно положительного или отрицательного смысла. Они могли быть

передатчиком и приемником слушателя нет дополнительных местных ретрансляционных узлов или провайдеров — связь между ними осуществляется напрямую. Именно этим объяснялась советская практика «глушения» некоторых западных радиопередач — это было единственным (и достаточно неэффективным) техническим средством *местного* контроля над коротковолновым радиосигналом, пришедшим *издалека*.

[69] Например, в США коротковолновое радио имело довольно короткую историю. Начиная с послевоенного периода большинство американцев не сталкивалось с ним, и сегодня мало кто знает, что это такое (за исключением особых «радиолюбителей» — radio ham operators, использующих особые диапазоны для общения). Термин «радио» в США ассоциируется с именно с передачами в диапазоне FM — то есть с трансляциями, поступающими с местных, не слишком удаленных радиопередатчиков. Даже передачи Всемирной службы новостей Би-би-си (BBC World Service), которая почти сто лет вещает по-английски на коротких волнах на весь мир, в Соединенных Штатах знают лишь через *ретрансляции* местными станциями в диапазоне FM. В Западной Европе ситуация аналогичная.

интерпретированы и как важная составляющая знаний культурного человека, и как опасная буржуазная пропаганда. Эта неопределенность способствовала формированию двоякого отношения среди большинства советских граждан к слушанию зарубежных радиопередач на коротких волнах: это слушание воспринималось ими одновременно как относительно рискованное, и как вполне нормальное.

Рассмотрим несколько деталей этой противоречивой истории. Спустя десятилетие после появления в конце 1940-х первого биполярного транзистора[70] советская промышленность приступила к массовому производству переносных транзисторных радиоприемников, которые были гораздо меньше и дешевле стационарных ламповых радиол[71]. В результате коротковолновые радиоприемники стали доступны гораздо большему числу советских граждан. Причем с начала 1960-х годов до середины 1980-х производство радиоприемников в Советском Союзе постоянно нарастало (речь идет именно о *коротковолновых* приемниках). Рост производства частично объяснялся тем, что такие приемники позволяли слушателям во всех уголках Советского Союза, включая самые удаленные районы, принимать передачи советского радиовещания из центров страны. В этом смысле они были важной частью государственной программы по расширению доступа населения к советским средствам массовой информации.

Однако советские коротковолновые радиоприемники были разработаны не только для этого. Еще с 1950-х годов, со времен больших стационарных радиол, коротковолновое радио начало пропагандироваться в Советском Союзе как один из инструментов изучения мира, важный для образованного гражданина-интернационалиста. Такое отношение к коротковолновому радио отразилось, например, в дизайне советских радиоприемников того времени. Как и у зарубежных радиоприемников, на шкале настройки многих советских радиол, а позже и некоторых переносных «транзисторов» помещались обозначения не только диапазонов

[70] Он был разработан в лаборатории Bell Labs в США.

[71] Первым массовым переносным коротковолновым радиоприемником в Советском Союзе была «Спидола». Его производство началось на рижском радиозаводе ВЭФ в 1960 году.

Рис. 19. Коротковолновый радиоприемник «ВЭФ-Спидола» (Рижский радиозавод, начало выпуска — 1960 г.)

и частот, но и названия зарубежных, в том числе «западных», городов, на станции которых предлагалось настроиться, — наряду с социалистическими Прагой, Краковом и Будапештом здесь были буржуазные Париж, Стокгольм, Вена, Брюссель, Лондон, Милан, Страсбург, Кельн и так далее (Вашингтона, правда, никогда не было). Такое оформление шкалы не просто подогревало любопытство владельцев радиоприемников к зарубежному миру, особенно «Западу», но и давало понять, что приемник создан для настройки именно на такие станции и что для советского человека слушать их является вполне нормальным.

Противоречивость в отношении государства к коротковолновому радио отразилась и в технических стандартах, согласно которым было организовано производство советских радиоприемников. Например, многие советские переносные радиоприемники имели две модификации — один вариант «внутренний», для продажи в стране, а второй, «экспортный», для продажи за рубеж. Внутренний вариант приемника содержал только часть коротковолновых диапазонов, начиная с 25 метров и длиннее (31, 41 и 49 метров), но не содержал четыре наиболее

Рис. 20. Шкала радиолы «Фестиваль»
(Рижский радиозавод, начало выпуска — 1959 г.)

коротких диапазона (11, 13, 16 и 19 метров). А экспортный вариант того же приемника содержал все диапазоны. Причина такого отличия двух модификаций лежит в пересечении физики с идеологией. Четыре наиболее коротких диапазона, которые отсутствовали в приемниках, продающихся в советских магазинах, предназначены в первую очередь для приема наиболее удаленных радиостанций в дневные часы (связано это с физикой распространения электромагнитных волн[72]). Вводя это ограничение, Советское государство облегчало себе задачу контролировать доступ слушателей к зарубежному радиовещанию: во-первых, было меньше диапазонов для приема западных станций, во-вторых, становилось легче глушить какие-то станции на оставшихся диапазонах. Однако мера эта была половинчатой: прием далеких зарубежных радиостанций на диапазонах, которые оставались доступны советским гражданам, был тоже вполне возможен. Более того, диапазоны 25 и 31 метр (которые на обычных советских приемниках имелись) являются

[72] Напомним, что короткие радиоволны отражаются от слоев ионосферы, затем от земли, и так по многу раз, с легкостью огибая Землю. В разное время суток и в разных погодных условиях уровень ионизации в ионосфере и высота ионосферы над Землей меняются (из-за меняющейся интенсивности солнечного излучения). Днем интенсивность ионизации возрастает и в ионосфере появляется несколько слоев; это меняет способность то одних, то других коротких волн отражаться от нее. Одним из результатов этого является то, что в солнечную весеннюю погоду, например, особенно хорошо слышны дальние станции в диапазонах 11—19 метров.

в принципе наиболее распространенными в мире диапазонами для зарубежного радиовещания.

Попытка контролировать работу приемников в СССР с помощью этого половинчатого госстандарта вновь иллюстрирует парадоксальность советской культурной политики, с которой мы сталкивались выше в других контекстах. Коротковолновый прием в Советском Союзе не был запрещен целиком, а был лишь частично ограничен. И при этом непрерывно нарастала государственная кампания по популяризации радио. После войны значительно выросло число радиотехнических и электротехнических факультетов в советских вузах, техникумах и училищах, что привело к бурному росту числа радиоинженеров, радиотехников, специалистов-электронщиков. С одной стороны, это было связано с необходимостью развивать военные исследования и разработки в области бурно развивающейся электроники и военных средств связи. Однако профессиональным образованием и закрытыми исследовательскими институтами эта кампания не ограничивалась. Радио стремительно популяризировалось и на любительском уровне, что вело к огромному росту числа радиолюбителей. По всей стране появлялось все больше клубов радиолюбителей. Еще в 1940-х годах государство основало ежемесячный журнал «Радио», предназначенный для радиолюбителей и регулярно публиковавший статьи и технические описания, объясняющие, кроме прочего, как самому собрать коротковолновый приемник или построить антены для дальнего приема. Пожалуй, самым важным было то, что все эти годы в стране постоянно возрастало количество коротковолновых радиоприемников, выпускаемых советской промышленностью и доступных в советских магазинах.

Во многих городах открылись специализированные государственные магазины по продаже радиодеталей, а около этих магазинов возникли неофициальные «толкучки», где можно было приобрести редкие радиодетали, элементы радиосхем, часто нелегально вынесенные с радиозаводов, и целые приемники[73]. Приобретали их не только местные

[73] В Ленинграде любители коротковолнового радиоприема собирались около магазина «Юный техник», в Автово, а также перед комиссионным магазином электроники в торговом ряду «Апраксин двор».

радиолюбители, но и приезжие из других городов. За не слишком высокую плату радиоинженер мог обучить вас, как обойти технические спецификации, принятые государством, и расширить возможности вашего приемника — в том числе как добавить радиоприемнику недостающих диапазонов, модифицировав его с местного ограниченного стандарта на расширенный "экспортный" стандарт.

Противоречие государственной культурной политики в области радиоприема проявлялось и в хорошо известном факте «глушения» зарубежных станций — еще одной практики Советского государства, которая в литературе часто интерпретируется неточно. Государство глушило не все западные станции, которые вели радиовещание на русском языке или других языках Советского Союза и Восточной Европы. Глушились лишь те станции и передачи, которые характеризовались государством как «антисоветские»[74]. Например, в течение всего периода позднего социализма глушились передачи негосударственной радиостанции «Радио Свобода» (их глушение началось в 1955 году и закончилось в ноябре 1988-го)[75]. В отличие от «Свободы» передачи «Голоса Америки»,

[74] В международном праве давно ведется дискуссия о том, насколько законным является радиовещание, направленное на другую страну, если договоренности об этом со страной нет, а радиопередачи критикуют ее политическую систему. Этот спор касается и практики глушения радиопередач. Соединенные Штаты, например, на протяжении многих лет выдвигают аргумент о том, что они вправе «транслировать любые радиопередачи, содержащие заведомо объективную информацию, на другие страны и что любое вмешательство в такие трансляции нарушает международное право» (Metzl 1997: 628). Советский Союз и страны социалистического лагеря в период с 1950-х по 1980-е годы часто заявляли, что зарубежные радиотрансляции, ведущиеся на языках их стран и критикующие их правительства, являются нарушением международного права, поскольку они вмешиваются в их «государственный суверенитет». А глушение иностранных радиопередач они в свою очередь оправдывали как «правомерное противодействие» такому вмешательству извне. Время от времени Соединенные Штаты тоже применяли радиоглушение в некоторых частях света, при этом в официальных документах эта практика сравнивалась с «боевыми действиями и психологической войной», направленными на защиту американских национальных интересов (Ibid).

[75] Трансляции «Радио Свобода» были направлены исключительно на территорию Советского Союза и велись практически на всех языках союзных республик. Регулярные трансляции «Свободы» на русском языке начались 1 марта 1953 года и велись из штаб-квартиры станции под Мюнхеном (Sosin 1999). Позже начались трансляции и на других

Би-би-си и «Немецкой волны» на русском и других языках в СССР глушились не всегда, а лишь в определенные периоды (и к тому же для их глушения использовалось меньше станций глушения, чем для глушения «Свободы», что делало их прием несколько более доступным)[76]. Связано это было с их статусом официальных *государственных* радиостанций США, Великобритании и ФРГ. «Второстепенные» западные радиостанции, вещавшие на русском языке, — «Радио Швеция», «Международное канадское радио» и т.д. — вообще не глушились. Радиопередачи на других языках мира, не имевших прямого отношения к СССР или Восточной Европе, тоже никогда не глушились. Среди последних было множество важных радиостанций с огромной аудиторией по всему миру — таких, как «Всемирная служба Би-би-си» (*BBC World Service*) и «Голос Америки» (*VOA*), вещавшие по-английски, «Радио Франс Интернасьональ» (*RFI*), вещавшая по-французски, и так далее.

Имея коротковолновый приемник, можно было довольно легко слушать передачи этих станций. Они давали советским слушателям возможность интересоваться джазом, рок-музыкой, другими культурными явлениями западной жизни и, конечно, изучать иностранные языки (большинство этих станций имело даже специальные программы для изучающих язык). Тысячи советских людей, особенно молодежь, занимались именно этим, что вполне соответствовало вышеупомянутым призывам в советской прессе изучать иностранные языки для того, чтобы стать культурным человеком. Слушание коротковолнового радио стало крайне популярным занятием по всей стране, хотя определенную осторожность при таком прослушивании, безусловно, надо было соблюдать — например, не слушать зарубежные трансляции, особенно на

языках. Второе отделение станции, «Радио Свободная Европа», вело трансляции на восточноевропейских языках социалистических стран Варшавского договора. Обе станции были образованы при частичном финансировании ЦРУ, но официальными государственными радиостанциями не были, что давало им возможность во все периоды занимать резко критическую позицию по отношению к СССР. Это несколько отличало их от «Голоса Америки» — официальной радиостанции американского правительства.

[76] Глушение этих станций прекратилось в 1956 году после XX съезда КПСС, затем возобновилось в 1968 году во время советского вторжения в Чехословакию (Friedberg 1985: 18) и, наконец, окончательно прекратилось в 1988 году во время перестройки.

русском языке, где попало. И все же во время летних каникул на пляжах или в парках черноморских курортов можно было услышать иностранную музыку и речь, доносившиеся из коротковолновых транзисторных приемников.

В печати время от времени появлялись критические высказывания по поводу прослушивания западных станций, но критика, как и в предыдущих примерах, акцентировалась на «крайних» проявлениях этого феномена, игнорируя куда более распространенную и менее заметную общую тенденцию. В результате, как и в случае со стилягами, мало кто из читателей ассоциировал себя с объектом этой критики. Ее примером является карикатура, напечатанная в 1970 году в журнале «Крокодил», на которой изображены три подростка, стоящие на пляже и слушающие каждый свой индивидуальный радиоприемник (выдвинутые телескопические антенны указывают на то, что они, скорее всего, слушают именно короткие волны). Ироничная и не совсем понятная подпись под рисунком: «Нашли общий язык», по-видимому, является попыткой высмеять подростков, стоящих каждый сам по себе и слушающих зарубежное буржуазное радио (с которым они нашли «общий язык»), вместо того чтобы общаться с своими друзьями на общем родном языке. Большинство советских слушателей зарубежных радиостанций вряд ли бы узнали в этом сатирическом портрете себя (как когда-то не узнавали себя в насмешливых изображениях «стиляг-обезьян» обычные любители модной одежды и джаза).

Зарубежные радиотрансляции действительно оказали огромное влияние на развитие джаза и рок-музыки в СССР[77]. Юрий Вдовин,

[77] Следует отметить, что влияние иностранного музыкального радиовещания на музыкальные вкусы молодежи не было исключительной чертой Советского Союза. Например, на развитие британской рок-музыки в 1950-х — начале 1960-х годов большое влияние оказала сеть маленьких радиостанций американских вооруженных сил, AFN (Armed Forces Network), расположенных на военных базах США в Великобритании (и в Западной Европе). Трансляции этих станций АМ-диапазона не были предназначены для британской аудитории. Их целевой аудиторией были американские солдаты, жившие на военных базах, для которых транслировалась музыка, к которой они привыкли у себя дома в США, — блюз, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, джаз. Обычные английские радиостанции подобную музыку не передавали, а пластинок с этой музыкой в те годы

Рис. 21. «Нашли общий язык». Художник Л. Сойфертис (Крокодил. 1970. № 14)

ставший впоследствии джазовым музыкантом, вспоминает, что в начале 1950-х, еще школьником во Владивостоке, он настраивал свой довоенный советский ламповый приемник СВД-9 на англоязычные трансляции Би-би-си и «Голоса Америки»:

в Великобритании было не купить. Но англичане, жившие в непосредственной близости от американских баз, могли принимать несильный сигнал их радиопередатчиков, что давало им уникальную возможность приобщаться к американской музыкальной культуре, не знакомой в те годы никому в Европе. В конце 1950-х годов именно благодаря этим музыкальным передачам выросло целое поколение будущих британских рок-звезд, включая такие известные фигуры, как Марк Болан и Дэвид Боуи. См. воспоминания Дэвида Боуи о влиянии, которое на него оказали музыкальные радиопередачи с соседней американской базы (Bowie 2000: 38). Многие британские рок-группы позже рассказывали о влиянии радиопередач AFN с американских баз на формирование их вкусов и желание организовать свои музыкальные группы — среди них «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Кинкс», «Ху» и «Энималс» (см. также: Lyons 2013: 35). Возможность слушать радиотрансляции AFN с американских баз оказало влияние и на формирование рок-музыки в Западной Европе, например, на направление *Indorock* в Голландии 1950-х годов (см.: Mutsaers 1993: 307—320). Советский контекст отличался от западноевропейского тем, что здесь аудитория слушала американские музыкальные передачи, предназначенные для приема издалека и поэтому транслировавшиеся на *коротких* волнах, в отличие от передач с американских баз в Европе, рассчитанных на американских военнослужащих, живших по соседству. Коротковолновый прием, как мы упоминали выше, на Западе так и не приобрел широкой популярности за ненадобностью.

> Джаз оставался в ресторанах, но мы туда не ходили. ...Я учился во вторую смену и в первой половине дня все время слушал Би-би-си, а там постоянно крутили джаз. ...[Т]огда уже начинали глушить, но музыку слушать вроде было можно. Я помню, когда слышал [в западных радиопередачах] про кровавого диктатора Сталина, я не верил, думал: во, клевещут! [...] В середине 50-х появился в эфире Уиллис Коновер. С 22 до 24 часов шла его программа Голоса Америки «Time for Jazz»[78]. Первый час был такой свинговый, а второй час был би-боп. Но мы тогда не знали, что это такое[79].

Джазовая программа Уиллиса Коновера (Willis Conover) на английской службе «Голоса Америки» впервые вышла в эфир в 1955 году и транслировалась без перерывов многие годы, до смерти Коновера в 1996-м. Голос у Коновера был очень низкий, легко узнаваемый, а манера говорить медленная, с длинными паузами, что делало его передачи более-менее понятными даже для людей, плохо владевших английским. Кроме того, в какой-то момент его передачи стали частью трансляций «Голоса Америки» *на специальном английском* (in Special English) — в передачах такого типа, ориентированных специально на изучавших английский язык иностранцев, использовались слегка замедленная речь и несколько упрощенные грамматические конструкции и словарь[80]. Все это, а также огромный интерес к американскому джазу способствовало появлению у передач Коновера многомиллионной аудитории по всему миру и, как следствие, международной популяризации джаза, американской культуры и американского варианта английского языка[81]. Владимир Фейертаг позже вспоминал: «Честно признаюсь,

[78] В действительности программа Коновера называлась «Jazz Hour» («Час джаза»), но он всегда начинал ее с фразы «Time for jazz» («Время слушать джаз»).

[79] Каплан 1997а: 46.

[80] «Голос Америки» начал транслировать некоторые передачи на особом, замедленном английском языке с упрощенной лексикой и грамматикой в 1959 году, чтобы расширить аудиторию передач по всему миру. См. историю «Голоса Америки» на сайте: www.voa.gov/index.cfm

[81] Когда Коновер умер в 1996 году, радиослушатели из разных концов света — Южной Африки, Японии, Польши, Латинской Америки — прислали на адрес «Голоса Америки»

что первые английские слова и фразы я выучил благодаря Коноверу. Он говорил медленно и четко, какие-то обороты повторялись изо дня в день. Думаю, что Коновер был учителем английского для целого поколения любителей джаза»[82]. А другой постоянный слушатель Коновера, писатель Василий Аксёнов, ностальгически заметил: «Сколько мечтательных русских мальчиков возмужало под *Садись на поезд 'А'* Дюка Эллингтона и сладкий голос Виллиса Коновера, 'мистера Джаз' из 'Голоса Америки'»[83].

Насколько популярен был Коновер у советских любителей джаза, а также насколько широко практиковался прием иностранного коротковолнового радиовещания в Советском Союзе, иллюстрирует следующий случай. В 1967 году в Советскую Эстонию из США для выступления на джазовом фестивале «Таллин 1967» приехал Джаз-квартет Чарльза Ллойда (Charles Lloyd Quartet)[84]. В турне квартет Ллойда сопровождал Уиллис Коновер. После выступления квартета в Таллине «Интурист», по просьбе музыкантов, повез их уже в качестве простых туристов посмотреть достопримечательности Ленинграда. Однако ленинградские джазовые музыканты прознали от своих таллинских друзей об этой неофициальной поездке американцев и решили провести их тайком на концерт джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна в ленинградском Джаз-клубе. В тот вечер зал был переполнен, но никто из зрителей не подозревал, что за кулисами стоит Уиллис Коновер. Организаторы концерта попросили его объявить следующую композицию. Юрий Вдовин вспоминает:

огромное число воспоминаний о том влиянии, которое он оказал на музыкальные вкусы их сверстников. См.: «Some Testimonies to Willis Conover», — часть проекта Мэрилендского университета «The Beat Begins: America in the 1950s» (http://universityhonors.umd.edu/HONR269J/archive/WillisConoverOverseas.htm). В самих Соединенных Штатах Коновер был и остается практически неизвестен, так как «Голос Америки» не транслировал своих передач внутри страны, а коротковолновых трансляций, как уже говорилось выше, в США не слушают.

[82] Фейертаг 1999: 69.

[83] Аксёнов 1987: 18.

[84] Подобные поездки были редкостью, хотя американские джазовые исполнители выступали в СССР и до, и после этого. После возвращения из СССР Ллойд выпустил пластинку, записанную в Таллине, «Charles Lloyd in the Soviet Union» (Atlantic records, 1967).

> В лицо его никто не знал, а уж голос все, кто там стояли, знали точно, и когда он подошел к микрофону и объявил следующий номер, это был ужас — толпа на него просто ринулась. Ведь на нем российская джазовая публика получала воспитание[85].

Итак, советская государственная культурная политика, в частности в области радиоприема, была крайне противоречивой. С одной стороны, она включала в себя всевозможные ограничения — критику «антисоветских голосов», глушение отдельных радиостанций, использование специальных технических стандартов, ограничивающих возможность приема зарубежных станций. Но, с другой стороны, она включала в себя и множество мер по пропаганде коротковолнового радиоприема — производство советских коротковолновых приемников постоянно нарастало, пропагандировалась идея о том, что всесторонне развитый человек должен быть интернационалистом, разбираться в мировой культуре и знать иностранные языки, глушились только некоторые станции и не всегда, создавалось все больше кружков, воспитывающих радиолюбителей, и факультетов, готовящих радиоинженеров, и т.д. Все это способствовало не только контролю за практикой прослушивания зарубежных коротковолновых радиопередач советскими гражданами, но и относительной *нормализации* этой практики. Неудивительно поэтому, что массы советских людей, в первую очередь молодежи, не воспринимали слушание зарубежных станций как что-то очевидно противоречащее морали вполне нормального, положительного советского человека. Можно было быть даже сознательным членом партии и при этом слушать русскоязычные передачи Би-би-си и «Голоса Америки». Евгений Добренко, ныне профессор русской литературы Шеффилдского университета (Великобритания), рассказывает, что его отец, вступивший в КПСС на фронте во время Великой Отечественной войны и всю свою жизнь бывший исключительно сознательным коммунистом, на протяжении многих лет активно слушал русскую службу «Голоса Америки»[86]. А корреспондент газеты

[85] Цит. по: Каплан 1997а: 46—47.

[86] Авторское интервью с Евгением Добренко, 1994 год, Duke University, США. См. также другой пример о сознательном члене КПСС, активно слушающем Би-би-си

«Нью-Йорк таймс» Харрисон Солсбери, работавший в 1980-х годах в Москве, во время пространного интервью с генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым с удивлением узнал, что Андропов (известный любитель джаза) уже почти тридцать лет слушает передачи Коновера[87].

Таким образом, в позднесоветский период коротковолновое радио превратилось в мощнейший инструмент культурного производства, способствовавший формированию советского феномена *воображаемого Запада*. Само государство принимало непосредственное участие в создании этого феномена, одновременно пытаясь его ограничить. Неудивительно, что предвидеть всевозможные результаты таких противоречивых мер государство не могло. Радио способствовало не только росту популярности джаза, рок-музыки, западной моды и иностранных языков в Советском Союзе, но и тому, что эти интересы воспринимались как вполне нормальные и далеко не обязательно антисоветские. При этом очевидно, что эти интересы и занятия способствовали распространению в советской жизни все новых способов существования по принципу *вненаходимости*. Советская система менялась изнутри, претерпевая нарастающую детерриториализацию, причем этот процесс пока не воспринимался как необратимый подрыв системы.

Рок на костях

Спрос на западный джаз и рок-музыку, подогреваемый зарубежными радиопередачами и кино, а также практически полное отсутствие подобной музыки на советских грампластинках привели в 1950-х годах к изобретению уникальной любительской технологии копирования музыкальных записей — самодельной граммофонной пластинки. Западные пластинки с джазовыми, рок-н-ролльными и другими композициями (в стиле самбы, танго, спиричуэлс и так далее[88]) копировались на гибкие

и «Голос Америки», в: Smith 1976.

[87] Это заявление Солсбери было позднее оспорено в статье Epstein 1983.

[88] «Пчела» (октябрь 1996): 22.

пластинки, вырезанные из фотолистов с медицинскими рентгеновскими снимками, за что изобретение получило в народе название «рок на костях» или «рок на ребрах», а в литературе позднее именовалось «рентгениздатом»[89]. Артемий Троицкий писал:

> Это настоящие рентгеновские снимки — грудная клетка, позвоночник, переломы костей — с маленькой круглой дыркой посередине, слегка закругленными ножницами краями и еле заметными звуковыми бороздками. Столь экстравагантный выбор исходного материала для «гибких грампластинок» объясняется просто: рентгенограммы были самыми дешевыми доступными носителями. Их скупали сотнями за копейки в поликлиниках и больницах, после чего с помощью специальных машин — говорят, законспирированные умельцы переделывали их из старых патефонов — нарезали дорожки, копируя пластинку-оригинал или магнитофонную запись[90].

Существуют разные мнения о том, кто и где изобрел домашнюю звукозапись на рентгеновских пластинках. Скорее всего, в 1950-х годах схожие, но не идентичные способы такого копирования музыки возникли в нескольких местах страны более-менее одновременно. Произошло это, очевидно, там, где имелся доступ к оригинальным западным грампластинкам (через моряков, ходивших в заграничные плавания, или западных туристов), был широкий спрос среди местного населения на самодельные копии западной музыки и имелись технические знания и оборудование на базе радиотехнических вузов и НИИ, необходимые для изобретения нужной технологии копирования. Эти три условия ставили города типа Москвы, Ленинграда или Риги в особое положение. Рентгениздат сначала возник именно там. Такой сценарий тем более вероятен, если учесть, что прототипы подобных любительских пластинок существовали в разных странах и раньше и идеи о том, как создать нужную любительскую технологию, могли просочиться в СССР из-за

[89] По имени немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего рентгеновское излучение.

[90] *Троицкий А.К.* 2007. Back in the USSR. СПб., Амфора: 23.

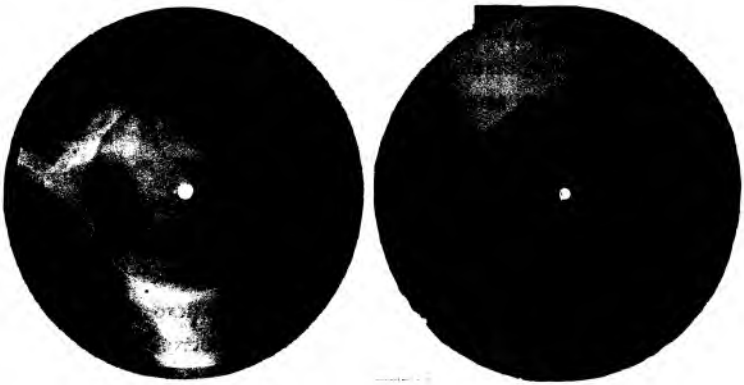


Рис. 22, 23. «Рок на костях». Пластинки на рентгеновских снимках. Фото автора

рубежа. Фредрик Старр, например, упоминает аналогичную технологию домашнего копирования звукозаписей, возникшую в США в конце Второй мировой войны или сразу после нее[91].

Государственная поддержка науки и дух экспериментаторства, царивший на радиотехнических факультетах советских вузов, также были необходимыми условиями для появления подобных изобретений. Среди создателей рентгениздата в Ленинграде были студенты «корабелки» (Ленинградского кораблестроительного института). Технология, которую они разработали, включала два проигрывателя: пластинка-оригинал проигрывалась на первом проигрывателе, электрический сигнал с головки-звукоснимателя усиливался и через специальное устройство преобразовывался в механический сигнал, управляющий движением нагретой сапфировой иглы или резца на втором проигрывателе, где крутилась пластинка, вырезанная из рентгеновского снимка. Горячая игла нарезала новые канавки на ее твердой полированной поверхности, покрытой светочувствительной эмульсией, копируя звуковые дорожки с оригинала[92]. Самодельные пластинки продавались «из-под полы» у музыкальных магазинов, а затем распространялись по всей стране через

[91] См.: Disc Bootleggers Are Waxing Fat on Stolen Goods // Down Beat, June 16, 1950, 10. Цит. по: Starr 1994.

[92] Федоров 2001.

сети знакомых[93]. До денежной реформы 1961 года одна «пластинка на костях» стоила около десяти рублей, а после реформы около пяти-семи рублей. Низкое качество звука и относительно высокая цена не мешали популярности этих пластинок. По словам одного из пионеров этой технологии, «в конце 50-х — начале 60-х был бешеный спрос на Элвиса, на Литл Ричарда, на роки и твисты, так что самодельные пластинки буквально рвали из рук...»[94].

Эти пластинки были не просто носителями западной музыки, но и крайне необычными материальными объектами. От советских любителей джаза и рок-н-ролла не ускользнула ирония, заключенная в них (отсюда и название «рок-н-ролл на костях» и «на ребрах»). Эти объекты давали возможность одновременно слушать крайне необычные музыкальные звуки и рассматривать не менее необычные визуальные образы — и те и другие были недоступны обычному слуху и зрению, без помощи специальных технических и социально-культурных «технологий»: рентгеновских аппаратов, горячих сапфировых игл, связей с иностранными туристами, тайного провоза пластинок через границу и так далее. Когда эти объекты попадали вам в руки и вы их разглядывали, а потом прослушивали, они служили прекрасной метафорой *вненаходимости*. Человек слушал и рассматривал то, что существовало повсюду, но оставалось *вне* поля зрения и слуха системы, что было одновременно чем-то несуществующим и реальным, глубоко личным, даже сугубо интимным, каким является рентгеновский снимок[95], но одновременно

[93] В Ленинграде их можно было приобрести возле магазина «Мелодия» на Невском проспекте, возле Гостиного Двора; в Москве — возле ГУМа, в Киеве — на «скупе» под кинотеатром «Днепр».

[94] Федоров 2001.

[95] Эффект скрытой интимности, заключенный в рентгеновском снимке, хорошо передан в романе Томаса Манна «Волшебная гора». В одном из эпизодов герой книги, сидя в кресле, «вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок, залог, заключавшийся... в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть — внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти, и органы грудной полости. Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет...» (Манн 1959: 13).

публичным, принадлежащим публике *своих*. Как писал Василий Аксенов, когда в рентгеновских изображениях анонимных ребер и альвеол «поселилось откровение о том, что: *Every cloud must have a silver lining*...»[96], внутренности советских тел стали частью домашнего уюта[97].

Магнитофикация

В конце 1950-х Советское государство ввело в советскую жизнь еще одно технологическое новшество, оказавшее огромное влияние на распространение музыкальных форм *воображаемого Запада*, затмив по важности и пластинки «на костях», и коротковолновое радио. Советская промышленность начала производство первых катушечных магнитофонов. К началу 1960-х годов их производство достигло массового объема. Магнитофоны, предоставлявшие гораздо более легкий, дешевый и качественный способ звукозаписи, быстро вытеснили рентгеновские пластинки. Как и в случае с радио, государство пыталось пропагандировать использование магнитофонов для прослушивания «правильной» музыки, в том числе хороших примеров иностранной и западной музыки, одновременно пытаясь ограничить нежелательные музыкальные влияния с Запада. Однако, как и в предыдущих примерах, магнитофоны привели к массовому распространению в первую очередь именно западного джаза и рок-н-ролла.

Критерий, по которому та или иная музыка, записанная на магнитофон, характеризовалась государством как приемлемая или неприемлемая,

[96] «У каждого облака есть серебряная подкладка» — эквивалент русского «нет худа без добра». Из песни «Грустный бэби» (*My Melancholy Baby*). См.: Аксенов 1991: 17.

[97] Этим метафорическим смыслом рентгеновский снимок с джазовой записью походил на котельную центрального отопления (см. главу 4). В обоих объектах явление вненаходимости приобретало реальные очертания — внутренности (кости и артерии) советского гражданина и внутренности (трубы и батареи) советского жилища становились вдруг видимыми и наполнялись незнакомыми звуками, книгами, интересами, идеями. И те и другие были неотъемлемой частью инфраструктуры советской повседневности, но культурные смыслы, которые создавались на их базе, выпадали из-под контроля и понимания системы.

был вновь сформулирован достаточно амбивалентно и непоследовательно, что открывало возможность для противоположных интерпретаций одной и той же музыки. Согласно этому амбивалентному критерию, как и прежде, хорошую зарубежную музыку связывали с культурой простого трудового народа, а плохую, с буржуазной культурой общества потребления. В 1961 году композитор П. Кантор разделил эти два типа магнитофонной музыки так:

> Иногда на вечеринках молодежи можно услышать пластинки, передающие неистовые звуки, судорожные ритмы, уродливые завывания, пошлые песенки. Такая «музыка» пробуждает в человеке излишнюю развязанность или унылое безразличие. А ведь находятся люди, которым она нравится! [...] Истинно легкая музыка жизнерадостна, задушевна, мелодична. [...] Приятно послушать хороший джаз, когда он играет красивые народные мелодии. Мы не против хороших зарубежных песен. Но, право, не стоит увлекаться дикой музыкой рок-н-ролла и другими подобными произведениями буржуазного «искусства»[98].

Поскольку критерием разграничения музыки на хорошую и плохую вновь служила «ненормальная» форма — форма, которую составляли «неистовые звуки», «судорожные ритмы» и «уродливые завывания» — многие композиции джаза и рок-н-ролла можно было при желании отнести и к хорошей, и к плохой музыке. Ведь то, насколько ритмы судорожны, а звуки неистовы, оценка субъективная и не всегда очевидная; при желании к такому определению можно отнести и танго, и танец казачок, и оперу Вагнера, и народную музыку Центральной Африки. С другой стороны, в композициях американского джаза, блюза и рок-н-ролла легко отыскать корни народной музыки (классово близкого чернокожего населения Америки и других групп бедноты), о чем советская печать сама не раз писала[99]. Вместо того чтобы решительно отрезать

[98] *Кантор П.* «О легкой музыке», отрывной календарь-ежедневник, 30 октября 1961 года.

[99] Британский рок-н-ролл, ставший популярным в СССР чуть позже и не раз подвергавшийся критике со стороны государства, тоже напрямую заимствовал из народной английской и кельтской музыки и американского блюза.

дорогу любому западному джазу и рок-н-роллу, подобная аргументация, не раз звучавшая в те годы, создавала пространство неопределенности в сфере эстетики. Из нее следовало, что композиции зарубежного джаза и рок-н-ролла включают в себя действительно хорошую музыку, но как именно следует отделять ее от плохой, было не совсем понятно. Эта неопределенность усугублялась новой, быстро распространяющейся технологией массового копирования музыки. В результате западной музыки вокруг становилось все больше, что не только не добавляло ей очевидной негативности, но вело к ее постепенной нормализации.

В 1965 году другой советский композитор, Иван Дзержинский, писал в «Литературной газете» об опасностях, которые несет с собой легкость многократного копирования магнитофонной записи. На этот раз речь шла не о западной музыке, а о песнях новых советских бардов, любительские записи которых тоже расходились по всей стране:

> Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную пленку. В этом есть... известная опасность — легкость распространения. ...Многие из этих песен вызывают в нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодежи[100].

Как и в случае со стилягами, государственная критика любителей магнитофонных записей была неточной и непоследовательной. На карикатуре середины 1970-х в журнале «Крокодил» изображена девушка, одетая по последней западной моде — в расклешенные брюки, туфли на платформе, обтягивающую футболку, с сигаретой в руке. Она слушает магнитофон, стоящий рядом на кресле. Что за музыка звучит из магнитофона — ясно по одежде девушки и фотографиям западных рок-звезд, висящих на стене ее комнаты. А ее старенькая бабушка, одетая в простую крестьянскую одежду, просит ее умоляюще: «Помогла бы, внучка, репку вытянуть...» На заднем плане мы видим деда, который безуспешно пытается вытянуть репку. Внучка отвечает с пренебрежением: «Так у вас же

[100] *Дзержинский И.* «С рекламы ли надо начинать? (Дискуссия "Молодость, песня, гитара")» // Литературная газета. 1965. 24 апреля. Цит. по: Вайль и Генис 2001: 134.

Рис. 24. «Помогла бы, внучка, репку вытянуть... — Так у вас же мышка есть!» Художник Г. Андрианов (Крокодил. 1977. № 34, обложка)

мышка есть!» В карикатуре обыгрывается хорошо известная народная сказка про репку, в которой дед, бабка, внучка, собака Жучка и кошка не могут вытянуть репку из земли, пока на помощь им не приходит маленькая мышка. Но в отличие от внучки в народной сказке современная внучка отказывается помогать бабушке и дедушке. Она — лентяй и тунеядец, слушающий западный рок-н-ролл. Как и в предыдущих примерах, большинство любителей магнитофонных записей не отождествляло себя или своих друзей с образом ленивых и наглых переростков, живущих на иждивении родителей, бабушек и дедушек.

Аналогично ситуации с радиоприемниками, несмотря на подобную критику производство и популяризация советских магнитофонов (сначала катушечных, а позднее кассетных) продолжали нарастать. Если в 1960 году советская промышленность выпустила 128 тысяч магнитофонов, то к 1969 году их производство выросло до 1 миллиона, а к 1985-му — до 4,7 миллиона магнитофонов в год. Всего же за двадцать пять доперестроечных лет, с 1960 по 1985 год, советская промышленность выпустила, а советские люди преобрели около 50 миллионов магнитофонов[101]. За

[101] Народное хозяйство СССР в 1970 г.: 251; Народное хозяйство СССР в 1985 г.: 169.

тот же период население Советского Союза выросло с 216 миллионов (1960 год) до 280 миллионов человек (1985 год), из которых молодое население в возрасте от 15 до 34 лет — основные пользователи магнитофонов и потребители магнитофонных записей — составляло на 1985 год около 90 миллионов человек[102]. Можно с уверенностью сказать, что среди советской молодежи, взрослевшей в 1960-х — начале 1980-х годов, включая даже тех, кто не имел собственных магнитофонов, большинство регулярно слушало магнитофонные записи дома, в гостях, в летних лагерях, на танцах, днях рождения, свадьбах, дискотеках. А значит, за эти двадцать пять лет в советском обществе произошла мощная культурная трансформация, которую Вайль и Генис, перфразируя известный ленинский лозунг, метко назвали «магнитофонизацией страны»[103].

Основным результатом этого процесса стало не просто дальнейшее распространение западного джаза и рока, но и активное переосмысление этой музыки последним советским поколением в соответствии с его собственным культурным контекстом. Новый смысл, который эта музыка приобретала в Советском Союзе, подчас сильно отличался и от того, как она интерпретировалась в критических статьях советской печати, и от того, какой смысл она имела «на Западе». Для большой части советской молодежи эта музыка стала глубоко личной, своей и одновременно *общей*, *нашей*, а потому повлиявшей на эстетику и самосознание всего поколения. Как справедливо писала Татьяна Чередниченко, ощущение принадлежности к единому поколению, среди людей, выросших в 1960—1970-х годах, в отличие от предыдущих советских поколений, сформировалось не столько вокруг эпохальных достижений или трагических событий, сколько вокруг «возрастного фактора, как такового»[104] — то есть вокруг общих интересов, практик, вкусов и способов взаимодействия с авторитетным дискурсом и ритуализованными институтами системы. Магнитофонные записи зарубежных рок-групп были одним из наиболее ярких феноменов, посредством которого эти люди формировали себя и опознавали друг друга как *своих*.

[102] Всесоюзная перепись населения 1989 года. 1990.

[103] Вайль и Генис 2001: 133.

[104] Чередниченко 1994: 225.

Зарубежные виниловые пластинки попадали в СССР по различным каналам, особо важную роль в которых играли города с морскими портами — Ленинград, Рига, Одесса, Владивосток и другие. Советские моряки торговых судов и круизных лайнеров для иностранных туристов привозили пластинки значительными партиями из зарубежных плаваний и перепродавали их коллекционерам и посредникам музыкального черного рынка. Далее пластинки расходились по большим городам и копировались на магнитофонах. Магнитофонные записи переписывались вновь и вновь, расходясь все шире. Качество звука при многоразовой перезаписи хромало, но зато определенный набор западного рока распространялся десятками и сотнями тысяч копий по всей стране.

Довольно широкий выбор записей не ограничивался лишь большими городами. В большинстве небольших городов СССР имелись свои коллекционеры и распространялся широкий набор западных альбомов. Виктор М., 1959 года рождения, родился и вырос в Смоленске. Здесь, в возрасте 13 лет, в 1972 году, он увлекся западным роком. Каждое воскресенье, вспоминает Виктор,

> я брал свой катушечный магнитофон «Комета» и шел через весь город к одному взрослому парню, у которого всегда были новые пластинки. У него я записывал Блэк Саббат [Black Sabbath], Элиса Купера [Alice Cooper], Брайана Ферри [Bryan Ferry] и так далее. За запись одной пластинки я платил ему два с половиной рубля. В то время все были помешаны на Битлз, но мне они были неинтересны. Разве можно было сравнивать их с Оззи?![105]

Упоминание знаменитого Оззи Осборна (Ozzy Osbourne) из группы «Black Sabath», интерес к которому Виктор уже тогда противопоставлял стандартному увлечению большинства его сверстников группой «Битлз», говорит о разделении вкусов по отношению к западной рок- и поп-музыке среди советской молодежи того периода на стандартные вкусы большинства и изощренные вкусы более информированных знатоков. Причем происходило это разделение даже в относительно

[105] Авторское интервью с Виктором М., Санкт-Петербург, 2001 год.

небольших городах СССР (мы увидим более яркие примеры этого разделения в следующей главе).

Большинство пластинок попадало в Смоленск из Риги, куда их привозили советские моряки и западные туристы. В 1974 году, в возрасте 15 лет, Виктор сам начал ездить в Ригу за пластинками:

> Дорога от Смоленска до Риги занимала один день на поезде. В Риге я сразу шел на музыкальный «толчок». Первой пластинкой, которую я там купил, был новенький альбом группы «Криденс» [Creedence Clearwater Revival], за который я заплатил пятьдесят рублей[106].

Привозя пластинки в Смоленск, Виктор сначала делал с них высококачественную магнитофонную копию для себя[107], а затем перепродавал их коллекционерам — обычно по той же цене, что и покупал, иногда чуть дороже или чуть дешевле. Главной целью, объясняет он, было не заработать деньги, а «постараться их не потерять, чтобы можно было и дальше привозить новые пластинки»[108].

Толчки, на которых можно было приобрести западные пластинки, включая совершенно новые пластинки в запечатанных конвертах, существовали во всех более-менее крупных городах. Хотя в государственной риторике эти «черные рынки» и критиковались, кампании по их ликвидации, за исключением редких всплесков, были довольно вялыми, что позволяло рынкам существовать в той или иной форме, иногда меняя места, в течение всего позднесоветского периода. Как вспоминает Виктор, в Смоленске «милиция теоретически пыталась пресечь деятельность по купле-продаже пластинок, но на практике обычно закрывала на это глаза»[109]. В Ленинграде ситуация была похожей. Как говорит активный

[106] О феномене подобных «толчков» см.: Humphrey 1995: 62—63.

[107] Высокое качество записи обеспечивалось использованием хорошей и довольно дорогой магнитофонной пленки «типа 10» (вместо более распространенной, дешевой и менее качественной пленки «типа 6» и еще менее качественной пленки «типа 2»), а также повышенной скоростью магнитофонной записи — 19 мм (19,05) в секунду, вместо более распространенной скорости 9 мм (9,53) в секунду.

[108] Авторское интервью.

[109] Там же.

любитель рок-музыки из Ленинграда, коллекционирование западных пластинок «никто не разрешал и никто не запрещал»[110]. Владение зарубежной валютой было куда более опасным делом, чем продажа пластинок за советские рубли. Другой музыкант замечает, что не слишком активные попытки государства пресечь распространение западной рок-музыки приводили к тому, что пластинок не становилось слишком много, но обладание ими обычно не несло большой опасности[111].

Кроме того, как и в случае государственной критики коротковолнового радиоприема или стиляг, критика системы распространения рок-музыки тоже представляла реально существующее явление в искаженном свете и поэтому была неэффективной. Ее примером служит очередная карикатура в «Крокодиле», на которой изображен делец, торгующий западными пластинками «из-под полы». Он буквально прячет пластинки от глаз милиции в специально нашитых внутренних карманах пиджака (действительный метод, практиковавшийся на толчках, правда, не для продажи пластинок, которые для этого были слишком велики). Приоткрывая полу пиджака, он показывает покупателю товар: на пластинках видны названия западных групп, популярных тогда у советской молодежи: *Kiss*, *Abba*, *Eagles*, *BM* (Boney M), *Beatles*. Спортивная поза продавца и ироничная подпись «дискобол» обыгрывают двойной смысл слова *диск* — спортивный и музыкальный. Однако карикатура не дает четкой оценки увлечения западной музыкой как таковой. Не совсем понятно, в чем заключается ее критика — иронизирует ли она по поводу нелегальных рыночных отношений вообще, завороженного интереса прохожего к образцам западной культуры или желания спекулянтов нажиться на этом интересе. Кроме того, и продавец, и потенциальный покупатель выглядят здесь вполне привлекательно и безобидно, в отличие, например, от образа стиляг или хулиганов на карикатурах более раннего периода.

Хотя западные пластинки, особенно новые, стоили на черном рынке достаточно дорого, делать с них магнитофонные копии было недорого. Цена новой запечатанной пластинки, покупаемой «с рук», колебалась

[110] Цит. по: Cushman 1995: 97, 208.

[111] Там же.

Рис. 25. «Дискобол» (Крокодил. 1981. № 26)

от 50 до 100 рублей, а цена магнитофонной записи с нее — от ноля до 5 рублей, причем чаще всего она не стоила ничего. Делать магнитофонную копию бесплатно с другой магнитофонной копии знакомых и друзей было наиболее распространенным видом копирования этой музыки. Таким образом, хотя рыночные отношения и были необходимой частью системы распространения западной поп-музыки, они были лишь очень небольшой ее частью, с которой большинство любителей этой музыки напрямую вообще не сталкивалось. По этим причинам карикатура «Крокодила», которую мы только что видели, попросту не могла восприниматься большинством любителей западной музыки как критика, направленная на них.

Итак, попытки запретить или ограничить распространение западной музыки в пределах СССР были крайне непоследовательными; критика этого феномена была сформулирована неясно и чаще была направлена на нелегальную практику купли-продажи, а не на саму музыкальную эстетику западного рока (более того, как мы увидим ниже, подчас государство само способствовало популяризации этой эстетики). В результате распространение этой музыки по всей стране не только не сокращалось, но, напротив, постоянно нарастало, и, что еще важнее, само увлечение этой музыкой стало восприниматься большинством советских граждан, особенно молодым поколением, как вполне нормальное и не имеющее непосредственного отношения к таким понятиям государственной

критики, как *спекуляция, черный рынок, преклонение перед буржуазными ценностями, тунеядец*. Как показывают примеры, приведенные ниже, многими это увлечение даже могло восприниматься как часть образа вполне сознательного советского человека.

Переписка

Молодые любители западной музыки со всех уголков страны не только копировали друг у друга записи западной рок-музыки, но и обменивались информацией о ней, переснятыми множество раз фотографиями групп, переводами текстов (реальными и вымышленными) и так далее. Друзья из разных городов переписывались, обсуждая рок-музыку, и даже посылали друг другу по почте кассеты с записями. Происходило это не только в больших городах западной части СССР, а абсолютно по всей стране. Например, в далеком сибирском Якутске в середине 1970-х годов существовала активная система обмена пластинками и записями, хотя пластинки сюда могли попадать только самолетом или посылаться авиапочтой из других городов страны. Естественно, появлялись они здесь с опозданием — через несколько месяцев, а чаще — лет после их выхода на Западе, но не намного позже, чем они появлялись в Москве и Ленинграде. Как и в других городах страны, в Якутске были свои знатоки западного рока, которые гонялись за самыми свежими альбомами, с пренебрежением относясь к старым и уже хорошо знакомым группам и записям. 11 марта 1975 года шестнадцатилетний студент училища из Якутска, Леонид, в письме своему ленинградскому другу рассказал, какую музыку слушают он и его якутские сверстники. Леонид писал (курсив мой):

> Получили деньги за практику, по 128 рублей, отлично! Купил второй магнитофон «Юпитер 1201», ничего штука, пашет отлично! Насчет записей, я ими увлекаюсь, правда, недавно. Но кое-что есть: «Элис Купер-75, 74», «Bee Gees», «Deep Purple» «Сделано в Японии», «Бегущие по волнам», «Дитя во времени», пласт «Deep Purple» «24 карата». *Старина* — «The Beatles», McCartney

> and Wings «Band on the Run»[112] и т.д. «Uriah Heep» два альбома, насчет «Джулай Монинг»[113], у нас это уже считается *стариной*. А Бах — это отлично, у нас тоже этим увлекаются, особенно органом. Да! Я что еще хотел у тебя попросить — это «Криденс»[114], деньги я вышлю позднее. И что-нибудь если у вас [в Ленинграде] есть новое[115].

Этот отрывок из письма, написанного в начале 1975 года, интересно проанализировать подробно. Обратим внимание, что в далеком Якутске в 1975 году по рукам ходят магнитофонные записи множества альбомов английских и американских групп, включая альбомы, которые только что поступили в продажу на Западе в том же 1975 году. Вначале упоминается альбом Элиса Купера 1975 года[116]. Далее, видимо, содержится ошибка — в 1974 году Элис Купер альбомов не выпускал, а имеется в виду его пластинка 1973 года, *Billion Dollar Babies*, которая была крайне популярна среди советских любителей рока. Подобные ошибки были не редкостью — ведь магнитофонные записи делались в основном с других магнитофонных записей (для этого Леонид и купил себе второй магнитофон), а оригинальных конвертов с пластинками большинство коллекционеров этой музыки не видело и информацию, содержащуюся на них, прочесть не могло. В письме упоминаются также и не самые новые альбомы — например, альбом группы Deep Purple *Made in Japan*, 1972 года, видимо, их знаменитая песня «Smoke on the Water» (неверно переведенная здесь как «Бегущие по волнам»), тоже 1972 года (с альбома *Machine Head*) и песня «Child in Time» 1970 года (с альбома *Deep Purple in Rock*). Однако наряду с этими не самыми новыми композициями и альбомами упоминается и только что вышедший в 1975 году альбом этой группы *24 карата*[117]. Более того,

[112] Альбом 1973 года.

[113] Песня «July Morning» группы Uriah Heep с альбома Look at Yourself, 1971 года.

[114] Creedence Clearwater Revival.

[115] Из домашнего архива писем Андрея А., цитируется с разрешения автора письма.

[116] Alice Cooper, «Welcome to my nightmare».

[117] Альбом был известен в СССР именно под этим названием, хотя в действительности он назывался «Фиолетовый на 24 карата» (24 Carat Purple).

песни и альбомы, вышедшие всего несколькими годами ранее, согласно автору письма, уже считаются в Якутске *стариной*. Из последних двух предложений видно, что в Ленинграде новых записей было больше и появлялись они быстрее и что любители из провинциальных городов получали новые записи в том числе и по почте от своих ленинградских, московских, рижских друзей.

Обратим также внимание, с какой легкостью в тот период адаптируются к русскому контексту английские названия песен, альбомов и групп — их можно писать по-английски (*Bee Gees, Deep Purple, The Beatles*), можно транслитерировать или транскрибировать кириллицей (*Элис Купер, Джулай Монинг, Криденс*), а можно переводить на русский (*Сделано в Японии, Дитя во времени, 24 карата*). Все эти названия, написания и переводы были неотъемлемыми элементами дискурса воображаемого Запада, хорошо знакомыми последнему советскому поколению.

Интересно также и то, что молодых любителей рок-музыки из Якутска и Ленинграда привлекали не только англо-американские группы 1960—1970-х годов, но и классическая органная музыка Иоганна Себастьяна Баха, которую они слушали на пластинках советской фирмы «Мелодия». Для сверстников Николая и Леонида органная музыка Баха, с ее сугубо европейским религиозным звучанием, была таким же элементом *воображаемого Запада*, как и западный рок[118]. К тому же она воспринималась ими, вполне справедливо, как музыкальная база, на которой основывались сложные электронно-органные композиции многих рок-групп 1970-х годов (включая упомянутых здесь *Deep Purple*). В СССР музыка Баха рассматривалась как важнейшая часть высокой культуры, о чем эти молодые люди, безусловно, были прекрасно осведомлены. Им было бы трудно принять на свой счет критические нападки на поклонников западной рок-музыки как на необразованных лентяев, не имеющих представления о высокой культуре.

[118] Крайне распространенным было стремление поехать и послушать органные концерты Баха в соборах Прибалтики — например, в знаменитом (лютеранском) Рижском Домском соборе.

Перевод

Несмотря на то что государство время от времени критиковало западную рок-музыку за вредное буржуазное влияние, своими действиями оно обеспечивало довольно широкий доступ к этой музыке, а иногда само участвовало в ее распространении. Государственная звукозаписывающая компания «Мелодия» выпускала отдельные песни западных рок и поп-групп в серии сборников «Вокруг света»[119]. Как вспоминает Андрей Макаревич, «свет» в этих сборниках был в основном представлен социалистическими странами Восточной Европы, хотя и не только, а типичный порядок следования композиций был примерно таким: «Болгария, Польша, Чехословакия, вновь Польша, вновь Болгария, иногда Франция и самым последним номером — американская или английская композиция, всего одна»[120]. Наименование этой композиции и ее авторство обычно изменялись, чтобы сделать ее более приемлемой для советского слушателя. В сборнике 1968 года композиция *Beatles* «Girl» была названа «английской народной песней»[121]. Подобная практика изменения названий применялась и раньше. В 1950-х годах «Мелодия» заменила название американской джаз-композиции «American Patrol» («Американский патруль») на русское «На заставе»[122]. Избежав таким образом нежелательной ассоциации с США, советская государственная звукозаписывающая фирма смогла выпустить эту композицию для широкой публики. Вспомним также об изменении названия джазовых композиций, которые исполнялись советскими оркестрами в 1950-х годах, что позволяло им играть эти композиции даже в пору особо острой критики джаза. Во всех этих случаях мы сталкиваемся с одной и той же амбивалентностью культурной политики государства — разрешать определенные культурные формы, пытаться уменьшить их отрицательное влияние.

[119] См. также: McMichael 2005a; 2005b о музыкальной серии «Кругозор» 1970-х годов.

[120] Макаревич 2002: 53—54.

[121] Там же.

[122] Фейертаг 1997: 35.

Кроме изменения названия и авторства на таких музыкальных сборниках часто менялась и общая характеристика композиции. Легче всего на советской пластинке было выпустить «песню протеста»[123]. Подобная манипуляция названиями и характеристиками музыкальных композиций, продиктованная политическими соображениями, не была уникальна для СССР. Примером служит знаменитая композиция Мерла Трэвиса «Шестнадцать тонн» («Sixteen Tons»), которую «Мелодия» выпустила как «песню протеста» и которая стала безумно популярна на советских танцплощадках. В данном случае понятие «песни протеста» было в общем-то верным определением. В самих США, где эта песня была записана и где она достигла огромного успеха на радио, ее протестный смысл старались скрыть. Связано это было с тем, что в США конца 1940-х годов, в скандально известную эпоху сенатора Маккарти[124], политический комментарий, который присутствовал в этой песне, неизбежно ставил ее в ряд подозрительных культурных явлений. ФБР даже выпустило специальную рекомендацию американским радиостанциям не проигрывать эту песню в эфире, а сам Трэвис попал в список людей, подозреваемых в «симпатии к коммунизму»[125]. Именно благодаря этой

[123] Аналогичным образом «адаптировались» джазовые и рок-композиции для исполнения на концертах — см. сноску 139, а также описание практики «литования» песен в рок-клубе (ниже).

[124] И печально известного Комитета по антиамериканской деятельности (HUAC) при палате представителей конгресса США, прославившегося кампанией, получившей имя «охоты на ведьм» — поиском явных и скрытых коммунистов, а также людей, им симпатизирующих, в интеллектуальных кругах Америки.

[125] В этой песне рассказывалось о печальной жизни шахтеров из штата Кентукки, одним из которых был отец Трэвиса. Шахтеры получали за свою работу не деньги, а купоны (scrip), которые выпускала угледобывающая компания, на которую они работали. Потратить эти купоны можно было только в специальном магазине самой компании, где цены были значительно завышены по сравнению с обычными магазинами. В результате этой зависимости бóльшая часть шахтерских семей находилась в постоянном долгу перед компанией, живя фактически в ситуации легализованного рабства. В припеве песни Трэвиса говорилось: «Ты отгружаешь шестнадцать тонн, и что ты имеешь за это? / То, что с каждым днем ты становишься старше и глубже погрязаешь в долгах. / Святой Павел, не зови меня к себе, я не смогу прийти. / Свою душу я заложил в магазин компании» («You load sixteen tons what do you get / Another day older and deeper in debt / Saint Peter don't you call me 'cause I can't go / I owe my soul to the company store»). См. интервью с продюсером

истории песню включили в советский музыкальный сборник. Однако для молодых любителей музыки в Советском Союзе (как, впрочем, и для американских любителей музыки) ни буквальный смысл этой песни, ни история с ее запретом в США значения не имели. Куда важнее был танцевальный ритм музыки, несоветское звучание и американский английский, на котором она исполнялась. Как вспоминает Макаревич, дорожку с этой песней на советской пластинке «заигрывали до дыр во всех танцевальных залах», а саму песню «переиначивали какими-то невероятными русскими словами», не имевшими ничего общего со смыслом оригинала[126].

Буквальный смысл зарубежных песен был не только непонятен, но и не особенно важен и в более поздний период. Наоборот, в том факте, что слова песен были непонятны, а исполнение звучало по-иностранному, был особый смысл. Это давало возможность советским слушателям населять иностранные композиции своими собственными воображаемыми мирами и героями. Музыка была непонятной, но далеко не бессмысленной. Такое отношение к зарубежным записям существовало во всех уголках огромной страны. В небольшом городе Фергана, в Узбекистане, где в 1970-х годах было ничуть не меньше поклонников «Битлз», чем в других городах страны, будущий киноактер Александр Абдулов и его школьные друзья в начале 1970-х создавали свою собственную подробную интерпретацию песен ливерпульской четверки. Через многие годы, в постсоветские 1990-е, когда в магазинах появились опубликованные русские переводы песен «Битлз», Абдулов с удивлением обнаружил, что в них пелось о чем-то совершенно другом, чем им казалось в те годы[127].

В 1970-х годах тысячи молодых людей по всей стране занимались подобной интерпретацией песен западных рок-групп. Принимая участие в этом творческом процессе культурного перевода представители последнего советского поколения делали западную музыку своей[128]. «Битлз»,

Трэвиса Кеном Нельсоном («Sixteen Tons — The Story behind the Legend», http://www.ernieford.com/SixteenTons.htm).

[126] Макаревич 2002: 54.

[127] Интервью с Александром Абдуловым. См.: Кожемяков 1999.

[128] Эту практику переосмысления и «присвоения» музыкальных записей можно сравнить с культурным заимствованием, смешением, цитированием и изменением элементов

«Дип Перпл», «Пинк Флойд» преобразовывались в элемент местного контекста, а местный контекст в этом процессе преобразовывался в нечто новое, одновременно советское и несоветское, существовавшее в отношениях *вненаходимости* к авторитетному дискурсу партии. Когда художник Дмитрий Шагин[129] задумал изобразить коллективный образ этого поколения, он нарисовал картину, на которой изображены всего два слова — шутливая русская транслитерация названия группы, *ТХЕ БЕАТЛЕЗ*. Такое написание, в отличие от *The Beatles* или «Битлз», подчеркивает именно местную специфику феномена западной рок-музыки, которая играла огромную роль в производстве культурных смыслов, важных для последнего советского поколения, — смыслов, которые отличались от оригинальных и о которых британская группа, естественно, не могла и догадываться.

Процесс культурного перевода и присвоения западной рок-музыки был настолько мощным и повсеместным, что он, как и следовало ожидать, оказал огромное влияние на развитие рок-музыки в СССР. В конце 1960-х и на протяжении 1970-х годов по всей стране стали появляться рок-группы — в школах, местных клубах, Дворцах пионеров, летних лагерях, училищах и институтах. У всех этих групп был статус «любительских» — то есть они не являлись официально зарегистрированными музыкальными коллективами, а значит, в отличие от профессиональных коллективов и оркестров при государственных филармониях и госконцертах, не могли зарабатывать деньги концертами или записывать

чужих композиций в собственном музыкальном творчестве, которые используются в современном хип-хопе. Как пишет Пол Гилрой, музыкальные записи в хип-хопе подвергаются переработке, лишающей их «авторитета и почтительного к себе отношения, свойственных фиксированным и законченным художественным высказываниям. Они становятся не более чем базовым инструментом в процессе творческой импровизации» (Gilroy 1991: 211). Подобный творческий подход к «официальным» музыкальным записям характеризует особенно ранний хип-хоп, возникший в среде бедных окраин американских городов, где музыкальные инструменты были недоступны из-за своей дороговизны, а музыкальные пластинки и проигрыватели, напротив, были недороги и легко доступны (Gilroy 1984). Последнее обстоятельство делает процесс переосмысления музыкального материала в раннем хип-хопе аналогичным процессу переосмысления западной музыки в магнитофонных копиях в советском контексте.

[129] Член художественной группы «Митьки», см. подробнее в главе 7.

пластинки на «Мелодии». Как мы видели выше, подобные «любительские» коллективы существовали в Советском Союзе и в эпоху джаза, в 1950-х годах. Однако в начале 1970-х годов, замечает Фредерик Старр,

> в Москве не было ни одной школы, института или завода, в которых бы не существовало хотя бы одной рок-группы; то есть их общее число достигало нескольких тысяч. А значит, в сфере популярной культуры действовало и несколько тысяч частных и независимых продюсеров[130].

Хотя с последним утверждением вряд ли можно согласиться — большинство подобных групп не нуждалось в «продюсерах» или «администраторах», поскольку экономическая сторона деятельности почти полностью отсутствовала, — Старр, безусловно, прав в том, что любительских групп (самого разного, в основном довольно низкого музыкального уровня) в тот период было невероятное множество. Причем не только в Москве, о которой он пишет, но и по всей стране. Виктор М., любитель рок-музыки из Смоленска, которого мы встречали выше, в начале 1970-х годов начал играть на гитаре в подобном рок-ансамбле в своей смоленской школе. Наиболее серьезные из таких групп, не имея возможности записываться в профессиональных студиях, начали записывать свои собственные «кассетные альбомы» на катушечных магнитофонах, некоторые из которых несколько позже стали расходиться по стране в магнитофонных копиях. Позже технологию этого производства назовут *магнитиздатом*[131].

Итак, постоянная пропаганда государством всесторонне развитого и образованного советского человека-интернационалиста, интересующегося культурой, наукой, историей и иностранными языками, а также наращивание государством производства радиоприемников и магнитофонов способствовали возникновению новых творческих увлечений в среде советской молодежи, которые государство предвидеть не могло

[130] Starr 1994: 301.

[131] По аналогии с самиздатом и рентгениздатом (см. выше).

и объективно оценить было не в состоянии. Парадоксальность политики государства в отношении музыки и других форм культурного производства, заимствованных с Запада, была отражением более широкого парадокса государственного социализма, видевшего своей целью полное освобождение культуры путем полного контроля над ней. В области рок-музыки этот парадокс проявился, например, в создании в 1981 году *Ленинградского рок-клуба* — ассоциации «любительских» рок-групп под официальной эгидой комсомола и негласным патронажем и надзором КГБ[132]. Как с иронией заметил один музыкальный критик, эта ситуация «была выгодна для всех» — как для музыкантов-любителей, «получавших относительную свободу (например, возможность издавать некоторые печатные материалы, устраивать выставки, концерты, иметь место встреч)», так и для государства, получавшего возможность наблюдать за растущим сообществом рок-музыкантов и любителей рок-музыки[133]. Большинству музыкантов рок-клуба о курировании со стороны КГБ и партийных органов было известно, но они также прекрасно осознавали, что этот контроль не был полным и до некоторой степени его можно было обходить. Например, хотя тексты песен, исполняемых группами — членами рок-клуба, должны были проходить предварительное утверждение («литование») у официально назначенного цензора, на практике этот вид контроля обычно обходился несколькими способами. Согласно одному из них в ранее утвержденные тексты песен вносились изменения прямо по ходу выступления (при условии, что на нем не присутствовало официальных лиц)[134]. Сергей Паращук, лидер группы «НЭП», состоявшей в ленинградском рок-клубе, вспоминает ситуацию начала 1980-х:

[132] Об участии КГБ в организации рок-клуба и определенном контроле над его деятельностью стало известно общественности в перестроечные годы. Позднее, в интервью телеканалу РТР, 14 января 1995 года, бывший генерал КГБ Олег Калугин рассказал об этом подробнее. Подобная форма контроля со стороны КГБ (когда объект контроля получал ограниченную возможность функционировать) распространялась и на некоторые негосударственные печатные издания. См. также о кафе «Сайгон» (главу 4).

[133] Чернов 1997с: 12—13.

[134] Там же; Cushman 1995: 207.

> Воздействия КГБ я не испытывал. Единственное — надо было литовать тексты, но наиболее часто мы обманывали: давали тексты, которые не исполняли, и на них нам ставили штампы. Ты ехал с этой литовкой на концерт, а пел абсолютно другое[135].

Существовали и другие методы. Например, поскольку слова песен большинства рок-групп в тот *доперестроечный* период (в отличие от периода поздней перестройки) были сильно завуалированы и не относились к откровенной политической критике (см. главу 4), можно было выдумать самые разные толкования использованных образов и метафор в беседе с цензором. Некоторые песни даже «литовались» как песни, якобы являющиеся критикой политики буржуазных стран. Через пару лет после открытия рок-клуба у него появился свой собственный штатный цензор, Нина Барановская, которая была ненамного старше музыкантов и относилась к их творчеству с интересом и сочувствием. Она вспоминает:

> Один из способов литовки мне невольно подсказал Костя Кинчев[136], он принес текст «Мое поколение», на котором был эпиграф, что [она] посвящается каким-то событиям в Сан-Франциско, в каком-то гетто кого-то обидели... Вот, якобы, это посвящается тем событиям. Хотя и ежу было понятно... [что это была выдумка] Это было всегда, такое небольшое прикрытие[137].

Бессменный президент рок-клуба и один из его создателей, Николай Михайлов, тоже вспоминает, что «под разными предлогами [Нина] литовала практически все. Какую-то майковскую песню[138] описывала

[135] Барсегян 2008.

[136] Лидер рок-группы «Алиса».

[137] Интервью с И. Барановской в передаче Татьяны Вольтской, «Фотовыставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба» — Поверх Барьеров. Российский час // «Радио Свобода», 10 ноября 2011 года (http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24387670.html).

[138] Речь идет о Майке — Михаиле Науменко, лидере группы «Зоопарк».

как "посвящение агрессии США в Никарагуа". Это все нам здорово помогало...»[139].

Таким образом, статус группы, зарегистрированной в рок-клубе, с одной стороны, подвергал эти коллективы новым формам контроля, а с другой — предоставлял им новые виды свободы. Тот факт, что концерты рок-клуба не рекламировались в печати, не позволял этим мероприятиям выйти на действительно широкую публику. Однако эта изоляция, сосредоточение множества групп в одном месте, а также их частичная легализация и возможность избегать слишком сурового контроля способствовали образованию сплоченной и относительно независимой рок-среды («рок-тусовки», см. главу 4), в которой эволюция рок-групп и их публики стала проходить намного быстрее. Подобные социальные среды могли относительно свободно существовать и развиваться, в том числе и из-за того, что государство (в лице партийных и комсомольских органов или КГБ) относилось к ним как своего рода линзам, сквозь которые, как казалось представителям государства, можно было наблюдать не просто за отдельными личностями, но и за проявлением новых интересов и настроений советской молодежи в целом. Эта парадоксальная ситуация — когда желание понять и контролировать способствует бурному и незапланированному росту явления — была аналогична той атмосфере, которую мы встречали ранее в кафе «Сайгон» (см. главу 4).

В условиях частичного государственного контроля в этой среде выработалось слегка насмешливое отношение абсолютно ко всему, включая не только абсурдные стороны советской системы, но и слишком активную

[139] Интервью с Николаем Михайловым. См.: Идлис, Коган, Щербакова 2011. Аналогичные способы «адаптации» музыки к нормам идеологического контроля существовали ранее и в советском джазе. Джазовый вокалист и пианист Сергей Манукян вспоминает конец 1960-х — начало 1970-х годов, когда джаз вновь попал под относительный запрет: «Было время, когда джаз у нас в стране вслух не называли джазом, именовали эту музыку эстрадой. Но играть ее все равно играли, обманывали партийное руководство. Например, исполняли произведения Колтрейна, и когда их спрашивали, что это звучит, советские музыканты отвечали: "Колтрейн — угнетенный негритянский музыкант"» — Коновалова 2010.

критику этой системы[140]. Дмитрий, студент филологического факультета Ленинградского университета, родом из Запорожья (1962 г. р.), в начале 1980-х постоянно ходил на концерты рок-клуба. Он вспоминает, что они проходили в «странной атмосфере скоморошества», ярким примером которого были выступления группы «Странные игры»: «Они иронизировали по поводу абсолютно всего. Для меня до сих пор остается загадкой, как им вообще разрешали выходить на сцену. Я слышал, что у них иногда бывали проблемы, но, тем не менее, они продолжали давать концерты»[141].

Имена и другие «пустые» символы

Знаки *воображаемого Запада* широко распространились и в языке — в частности, в придумывании всевозможных жаргонных имен. Вспомним, что в 1950-х годах стиляги Москвы и Ленинграда именовали центральные части улицы Горького в Москве и Невского проспекта в Ленинграде *Бродвей*, или *Брод*[142]. Свои *Бродвеи* и *Броды* существовали во многих городах СССР[143]. Друг друга стиляги тоже чаще называли английскими (и реже французскими) именами — Джон, Джим, Мэри, Жак, Поль[144]. Позднее, в 1970—1980-х годах, в разговорной речи

[140] Об общем саркастическом настрое в рок-музыкальной среде тех лет см. главу 4. Подробнее об особом ироничном жанре позднесоветского периода, известном в те годы под только что появившимся жаргонным именем «стёб», а также о схожих жанрах иронии — см. главу 7 и Yurchak 1999, 2006, 2011. О развитии этого жанра в постсоветский период, в том числе в западном контексте, особенно США, см.: Boyer и Yurchak 2010.

[141] Авторское интервью, июль 1994 года, Санкт-Петербург.

[142] Это была часть Невского проспекта от универмага «Пассаж» до Литейного проспекта (Кривулин 1996: 6) и правая сторона улицы Горького (ныне Тверской) от Пушкинской площади до гостиницы «Москва» (Troitsky 1988: 3).

[143] Как правило, это были центральные улицы больших городов. В Киеве Бродвеем и Бродом именовался Хрещатик, в Вильнюсе — проспект Ленина (ныне проспект Гедиминаса), в Баку — Торговая улица, в Ташкенте — проспект Карла Маркса, в Одессе — Дерибасовская улица (см.: Стиляги на вильнюсском «Броде»: 2011. См. также: Скворцов 1964, Файн и Лурье 1991: 172).

[144] См., например: Мохель: 1999.

школьников и студентов стало обычным заменять русские имена на английские и реже французские эквиваленты: Михаил получал имя Майк или Мишель, Алексей — Алекс, Андрей — Энди или Андре, Борис — Боб, Елена — Мадлен, Маргарита — Марго[145]. Хотя этими именами детей «официально» никто не называл, они не были совсем чужими и незнакомыми в советском контексте, поскольку многие из них часто встречались в литературе, западных радиопередачах, песнях; это были имена западных рок-музыкантов и киноактеров, а поэтому они с легкостью входили в разговорную речь. Многие любительские рок-группы 1960—1970-х годов тоже брали себе английские названия. Вот лишь три примера из тысяч: известная московская группа «Машина времени» возникла из ансамбля с англоязычным названием *The Kids*, который Андрей Макаревич организовал в своей школе в середине 1960-х[146]; коллекционер западных пластинок Виктор М. из Смоленска, о котором шла речь выше, в середине 1970-х годов в своей смоленской школе играл в группе *Mad Dogs*; в ленинградской школе № 238, у Новой Голландии, в середине 1970-х существовал ансамбль *Mad Lorry*[147].

К 1970-м годам советское городское и социальное пространство было усеяно «западными» жаргонными названиями, указывающими на повсеместное присутствие в них *воображаемого Запада*. Как известно, частных кафе в тот период не было — все кафе были государственные, и названия, которые они могли носить, были ограничены небольшим набором. Чаще всего встречалось просто название «Кафе», а чуть реже нейтрально-положительные имена, не привязанные ни к какому пространству и времени («Улыбка», «Сказка», «Радуга») или отсылающие к общеизвестным советским понятиям, достопримечательностям, топонимам — «Белые ночи», «Москва», «Украина», «Летний сад». Но на сленге многие ленинградские кафе были известны под другими названиями — «Сайгон», «Ольстер», «Ливерпуль», «Лондон», «Рим»,

[145] Михаил Науменко, основавший в 1980 году известную ленинградскую рок-группу «Зоопарк», был больше известен под именем Майк, а Бориса Гребенщикова, основателя и лидера легендарной ленинградской группы «Аквариум», миллионы поклонников зовут Боб.

[146] Макаревич 2002: 109.

[147] Автор учился в этой школе в те годы.

«Вена», «Тель-Авив» (см. главу 4)[148]. В основном это были названия зарубежных городов, часто упоминавшихся в советской печати в связи с теми или иными культурно-политическими новостями, явлениями или просто местами — от войны во Вьетнаме, конфликта в Северной Ирландии и противостояния на Ближнем Востоке («Сайгон», «Ольстер», «Тель-Авив») до музыки *Beatles* и известных западных столиц. Однако, несмотря на, казалось бы, политическое происхождение многих из этих имен, они функционировали на сленге не как отражения каких-то политических позиций, а как отсылки к пространству *воображаемого Запада* вообще. Их постоянные упоминания в советских СМИ делали эти имена удобными, легко узнаваемыми символами. Однако смысл их в разговорной речи менялся — они становились индексами воображаемого Запада, потерявшими оттенок критического дискурса.

В те годы стены комнат студенческих общежитий по всей стране были увешаны фотографиями, среди которых тоже постоянно попадались отсылки к воображаемому Западу — фотографии зарубежных вещей, городов, музыкальных групп, машин, а также географические карты и, как вспоминает студент ЛГУ Дмитрий (см. выше), «плакаты с живописью западных авангардных художников, не представленных в советских музеях»[149]. Американская студентка Андреа Ли, прожившая год в общежитии Московского университета на Ленинских горах осенью 1978-го — весной 1979-го, писала в своем дневнике, позже опубликованном в США, о том, как ее удивило обилие западной символики на стенах советских студенческих комнат. Даже в комнате секретаря комсомольской организации Григория стены были не просто «увешаны, а почти целиком заклеены рекламой напитков и автомобилей, аккуратно вырезанной из американских журналов, которые Григорий получал в подарок от своих иностранных знакомых»[150].

В те годы во всех уголках страны подростки использовали пустые бутылки из-под иностранных напитков, пустые банки из-под иностранного

[148] См. также: Файн и Лурье 1991: 170; Кривулин 1996. О развитии и изменениях этого жанра в постсоветский период см.: Yurchak 2000.

[149] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

[150] Lee 1981: 12.

пива, пустые пачки от иностранных сигарет, пустые обертки, этикетки и так далее для создания своего рода инсталляций, украшающих книжные полки и шкафы их комнат. Большинство этих пачек, банок и бутылок существовало в *пустом* виде — западные сигареты и напитки в советских магазинах не продавались, а в руки молодежи они попадали чаще всего уже после того, как кто-то выпил напитки и выкурил сигареты в каком-нибудь баре интуристовской гостиницы. Однако кажущаяся нефункциональность пустых упаковок не только не являлась проблемой, но, напротив, была важной и полезной чертой этих артефактов. *Пустота* освобождала упаковки от буквального смысла предметов потребления, которым они были наделены в иностранном контексте, давая им возможность становиться символическими «контейнерами», которые наполнялись воображаемым Западом. Главной чертой этих упаковок была их необычная *материальность*, легко узнаваемая именно как «западная». Она заключалась в фактуре, тактильности, даже запахе материала, из которого они были изготовлены, а также в эстетике, дизайне, шрифте, цвете, рисунке, которые были нанесены на их поверхность. Именно благодаря своей особой материальности эти оболочки могли играть роль как бы порталов, ведущих в иное, несоветское, «тамошнее» измерение. С их помощью личное пространство получало дополнительное измерение *вненаходимости*, отсылая к миру воображаемого Запада. Этот мир, как мы уже говорили, был одновременно *материальным* (его можно было увидеть, услышать, пощупать, понюхать) и виртуальным (его материальность была «пустой», состояла из оболочек и поэтому работала как контейнер, в который «наливался» новый смысл, не знакомый ни производителям продуктов, ни Советскому государству).

Символическая *пустота* была важной чертой не только иностранных товаров потребления, но и «культурных продуктов», включая музыкальные композиции и языковые высказывания. Слова песен иностранных рок-групп тоже могли функционировать как относительно «пустой» символический материал, который с легкостью наполнялся новым содержанием. Кроме того, незнакомые, искаженные или даже выдуманные «английские» слова (например, произносимые с имитацией английского призношения) прекрасно выполняли функцию индекса, отсылающего к воображаемому Западу, независимо от того, известен ли

Рис. 26. Комната советского подростка, город Владимир, 1981 г. Снимок является постановочным автопортретом хозяина комнаты, Андрея Власова (родился в середине 1960-х). Слева на столе стоит советский магнитофон «Маяк 202» (выпускался с 1974 г. киевским заводом «Маяк»), справа на стене висит коллекция пустых пачек из-под иностранных сигарет, на столе стоит советский коротковолновый приемник ВЭФ-201 с выдвинутой телескопической антеной для приема коротковолновых диапазонов (выпускался с 1969 г. рижским радиозаводом ВЭФ) и пустая бутылка из-под чешского ликера «Бехеровка», на стене висит плакатик западногерманской сигаретной фирмы ASTOR, фотографии рок-звезд, коллекция записей на магнитофонных пленках, справа портрет Брежнева, а еще правее портрет поменьше Джона Леннона в черной рамке (Леннон был убит годом ранее). Себя хозяин комнаты изобразил одетым «по-западному» — в джинсы, кожаные туфли на деревянной платформе без задников, на шее повязан бант, волосы спереди короткие, а сзади длинные (в «рок-стиле»); он сидит в «несоветской» позе (закинув ногу на ногу «по-американски») и пьет «коктейль». Фото предоставлено Ольгой Шевченко

был буквальный смысл этих слов и выражений и имели ли они такой смысл вообще. В начале 1980-х годов многие студенты советских вузов ходили на занятия с иностранными пластиковыми пакетами, купленными с рук. На поверхности этих пакетов, в которых лежали тетради

Рис. 27. Комната советского молодого человека 1970-х. Слева от хозяина комнаты стоит только что приобретенный советский магнитофон «Юпитер-202» (выпускался с 1974 г. киевским заводом «Коммунист»), сзади на стене висит коллекция пустых пачек из-под иностранных сигарет, слева на полках расположена коллекция записей на магнитофонных катушках и коллекция виниловых пластинок

и учебники, были нанесены рисунки и фотографии, а иногда только иностранные слова, значение которых в данном контексте заключалось не в их дословном смысле, а в том, что они были написаны латинским шрифтом, с необычным дизайном и потому однозначно отсылали к воображаемому Западу. Михаил, студент Ленинградского университета, в конце 1970-х годов ходил на лекции с пластиковым пакетом, на котором по-английски были написаны название и адрес какой-то нью-йоркской прачечной самообслуживания (*laundromat*). Буквальный смысл этой надписи был непонятен даже для тех немногих студентов, кто мог перевести название на русский — ведь понятие прачечной самообслуживания в советском контексте отсутствовало. Тем не менее надпись на пакете не была бессмысленна, хотя ее смысл был в ином: посредством *иного* шрифта и языка, а возможно, и узнаваемых элементов надписи (например, топоним *New York*), которые с легкостью идентифицировались как «западные», эта надпись связывала советскую повседневность с иным измерением *воображаемого Запада*.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов иностранные туристы на улицах советских городов подчас становились свидетелями странных, с их точки зрения, ситуаций. Многие пешеходы, включая, например, скромно одетых пожилых женщин, ходили по улицам с импортными полиэтиленовыми пакетами, на которых были изображены фривольные картинки с полуобнаженными девушками в обтягивающих джинсах. Для иностранного наблюдателя вид пожилой женщины с подобной

картинкой, выставленной напоказ, выглядел как непонятное и даже абсурдное смешение кодов. Но для большинства советских пешеходов ничего абсурдного в этом, естественно, не было. Они почти никогда не «читали» эти изображения напрямую, на уровне *буквального смысла*, на этом смысловом уровне изображения были для них почти «прозрачны». Изображения играли другую роль — они были «пустыми» оболочками (как *пустые* банки из-под пива и пачки из-под сигарет), материальность которых однозначно узнавалась как западная. Их смысл заключался не в *репрезентации* конкретной фирмы (производящей джинсы) или *идентификации* себя с конкретным образом (полуобнаженной сексуальной девушки), а в новом *действии*, которое эти пакеты производили. Как и другие символы и артефакты, которые мы здесь рассматриваем, пластиковые пакеты связывали человека с пространством воображаемого Запада, работая как *индексы* непосредственного *контакта* с этим пространством. Они напоминали прохожим о том, что пространство *воображаемого Запада* пронизывает советский контекст везде и всегда. Кроме того, пакеты добавляли их обладателям долю личного престижа, маркируя их как людей, связанных напрямую с этим воображаемым пространством. Иными словами, повсеместная циркуляция таких индексов влияла на формирование и социально-культурного пространства, и человеческой субъектности. Важно было именно *лично* участвовать в актах постоянного воспроизводства этих символов — держать пакет в руках так, чтобы он был виден (такие пакеты берегли, старались не порвать, аккуратно мыли и сушили), носить майку с «западной» надписью, создавать «западные» инсталляции в своей собственной комнате, слушать записи и обмениваться ими, общаться, обсуждая музыкальные группы, давать друг другу иностранные имена и клички. Формируя воображаемый Запад, советский субъект формировал себя.

Смысл аутентичности: лейбл, бренд, фирма́

Среди ярких перформативных символов воображаемого Запада в 1960—1970-х годах были понятия, которые на молодежном сленге назывались «лейбл», «фирма́» и «фирменная вещь». В 1985 году

«Литературная газета», описывая диспут в одной из советских школ на тему молодежной моды, дала иронично-критическую иллюстрацию этих жаргонных понятий. В процессе диспута одна школьница по имени Сонька спросила по поводу какой-то можной вещи:

> А где «лейбл»? Как на Соньку все набросились: «Как ты выражаешься, мы тебя не этому учили, что это еще за "лейбл"?» Сонька чуть не плачет и объясняет, что «лейбл» — это такая маленькая этикетка, которая есть на каждой фирменной вещи, и что в этом году ей подарили привозной батник и там «лейбл» был[151].

В объяснении школьницы был удивительно точно схвачен особый советский смысл этих понятий. Хотя советский термин *лейбл*, как и английский *label*, от которого он произошел, означал фирменную марку, ярлык, этикетку на каком-то продукте, то есть служил маркером его аутентичности, *то*, каким образом аутентичность понималась в советском контексте, отличалось от западного. Главной задачей *лейбла* в советском контексте было маркировать предмет не как продукт определенной фирмы (эта роль была тоже важна, но далеко не всегда), а как *западный* продукт в принципе (точнее, как часть *воображаемого Запада*). Любой предмет, маркированный таким образом, становился «фирменным». Магнитофон известной японской фирмы *Sony* был однозначно «фирменным», но и магнитофон или шариковая ручка никому не известных фирм, но явно западного (или японского) производства тоже были «фирменными».

Эта особенность советских понятий *лейбл* и *фирменная вещь* хорошо прослеживается в сравнении цен на различные виды одежды в 1970-*х* годах. Хотя вещь, произведенная известной западной фирмой, была особенно в цене, неизвестная «западная» фирма ценилась не намного меньше, а иногда так же высоко. Разница в цене между известными в Советском Союзе марками американских джинсов (*Lee*, *Super Rifle*, *Wrangler*), купленных на черном рынке, и незападными джинсами (польскими «Одра», индийскими «Милтонс», болгарскими «Рила»),

[151] Литературная газета. 1985. № 36. Цит. по: Костомаров 1994: 127.

купленными в советском магазине, была колоссальной — первые стоили от 150 до 300 рублей, а вторые — 15—30 рублей[152]. Но разница в цене между известными американскими марками и неизвестными *западными* марками джинсов была незначительной. На черном рынке неизвестных, но *западных* марок джинсов (всевозможных финских, итальянских, немецких) было не меньше, чем известных. Можно привести другой пример: женские кожаные сапоги обычно характеризовались не как сапоги известной или неизвестной марки обуви, а как «итальянские», «французские», «шведские» и так далее. Высокая цена платилась в первую очередь не за конкретный «бренд» (хотя известная марка часто была несколько дороже неизвестной), а за *фирменность*, то есть «западную» материальность продукта как такового.

Более того, поскольку важна была связь вещи не столько с реальным, сколько с воображаемым Западом, вещь могла восприниматься как относительно *фирменная*, даже если она была местного происхождения. К таким вещам относились подделки под реальные западные фирмы и просто вещи, выполненные «под Запад». Все же, как только выяснялось, что это была подделка, ее прямой контакт с воображаемым Западом, а значит и ее *фирменность*, уменьшался. Поэтому местная подделка под джинсы известной западной фирмы была хуже, чем джинсы неизвестной, но все же настоящей западной фирмы. За хорошую подделку, произведенную *у нас*, так много как за реально фирменную вещь, не заплатили бы.

Люба, 1958 года рождения (которую мы встречали в роли комсорга в главе 3), как-то столкнулась с тем, что хорошие местные подделки западных джинсов были практически неотличимы от настоящих. Люба знала одного ленинградского портного, шившего поддельные западные джинсы. Шили их из «фирменной» (итальянской) джинсовой ткани, рассказывает Люба, «по фирменным лекалам, со швами оверлок, со всеми деталями», нашивая на них настоящие (или поддельные) пуговицы, молнии и лейблы западных фирм. Люба интересовалась западной одеждой и не раз с подругами рассматривала западные джинсы во всех

[152] При среднемесячной заработной плате около 150 рублей, а студенческой стипендии от 40 до 75 рублей.

деталях. Она неплохо разбиралась в джинсах, но многие подделки делались так хорошо, что однажды даже она ошиблась. Люба рассказывает:

> ...мы с мужем купили мне с рук джинсовое платье, полностью уверенные в том, что оно было настоящим. Оно было прекрасно пошито и отлично смотрелось на мне. И на нем был настоящий лейбл. Мы ужасно расстроились, когда вдруг выяснилось, что это была хорошая подделка[153].

Западная фирма, лейбл которой был нашит на платье, была Любе незнакома — «это было что-то вроде *Blue jeans* или *Black flag*». Но не это было важно. Подделкой в данном случае оказалось не авторство конкретной фирмы, а *западное происхождение* купленной вещи вообще, а значит, уровень ее «фирменности» резко упал. Люди применяли изощренные способы проверки, чтобы удостовериться, что вещь была действительно западного происхождения. Люба рассказывает:

> ...мы внимательно осматривали каждый шов, выворачивали брюки наизнанку, терли ткань мокрой спичкой, чтобы проверить, настоящий ли на ней краситель, в деталях проверяли каждую пуговицу, заклепку, молнию и лейбл. Если бы оказалось, что это не *фирменные* джинсы, никто бы не дал за них 180 рублей. Даже если они были отлично сшиты и их было не отличить от настоящих[154].

Когда молодые люди из советской провинции просили своих друзей из больших городов прислать им «фирменные джинсы» (которые, подобно магнитофонным записям, распространялись по всей стране, хотя и в меньших количествах), они обычно не указывали конкретную марку джинсов. Важнее было, чтобы они были очевидно западного происхождения, то есть *фирменными*. Весной 1975 года Алексей, шестнадцатилетний юноша из Якутска, в письме своему школьному другу

[153] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

[154] Там же.

Николаю, недавно переехавшему с родителями в Ленинград, просил того прислать ему просто «джинсы», имея в виду *фирменные* джинсы, не уточняя, какая именно фирма имеется в виду. Достать фирменную одежду в Ленинграде было гораздо проще, чем в Якутске. 21 апреля 1975 года Алексей завершил свое письмо Николаю так:

> Да, насчет джинс. К маю ты все равно, наверно, не успеешь мне купить, ну тогда постарайся, Колька, хотя бы в мае. Очень тебя прошу, ведь джинсы незаменимая вещь летом[155].

В следующем письме от 14 мая 1975 года Алексей с нетерпением напоминал Николаю:

> Коль, извини за назойливость, но я еще раз хочу спросить насчет джинс. Как там, можно [или] нет [их] купить? Ты, Колька, сам понимаешь, лето на носу, а джинсы летом незаменимая штука. Если есть, то купи пожалуйста и вышли, деньги я тебе сразу переведу. Еще раз напомню тебе о размере. Размер — 48, рост — 4 или 5[156].

Другой друг Николая, Александр, студент Новосибирского университета, двумя годами позже, 10 июля 1977 года, послал ему из Новосибирска в Ленинград письмо с аналогичной просьбой достать джинсы (которые в письме называются популярным в те годы жаргонным словом *штаны*). То, что речь шла именно о каких-нибудь *фирменных* джинсах (а не джинсах советского, польского или индийского призводства), очевидно из цены, о которой пишет Александр:

> Николай, в прошлом письме ты написал, что штаны мне обойдутся в 18.0. А я не понял. Если в 18 рублей, то это очень дешево, а если в восемнадцать червонцев, то это слишком дорого, и я сам за столько смогу купить это здесь, да к тому же мы с тобой, помню,

[155] Из личного архива Андрея А., цитируется с разрешения автора письма.
[156] Там же.

договаривались, и ты обещал мне достать подешевле. Ну, в общем, напиши мне подробнее. Я буду ждать[157].

Все эти лейблы, фирменные стили одежды и визуальные образы, так же как и западные имена, музыкальные записи и языковые выражения из вышеперечисленных примеров, были не просто популярными знаками молодежной культуры, а знаками особого вида — *индексами*, связывающими советское пространство и советскую субъектность с иным измерением воображаемого Запада. Большая привлекательность этих знаков и артефактов для советской молодежи заключалась в том, что они давали возможность каждому участвовать в творческом производстве вполне реального и единого для всех мира, который не был ни советским, ни реально западным, который был вплетен в советскую действительность, постоянно наделяя ее новыми смыслами.

Принципиальный отрыв этих индексов воображаемого Запада от репрезентации того буквального смысла, которым аналогичные знаки были нагружены в западном контексте, позволял им сосуществовать в одном пространстве с самыми разными культурными знаками — от книг классической русской культуры до символов советской идеологии. В комнате одного студента в общежитии Ленинградского университета в начале 1980-х годов, вспоминает Дмитрий (см. выше), рядом с фотографиями английских рок-групп *Police* и *Madness* висел портрет Феликса Дзержинского. Этот парень был на несколько лет старше Дмитрия и до университета успел отслужить в частях Советской армии, воевавших в Афганистане, чем он и объяснял свое уважение к Дзержинскому. Хотя подобное смешение символов было, безусловно, редкостью, сам факт того, что оно было возможно, в принципе говорит о многом. У самого Дмитрия фотографии английских рок-групп соседствовали с бюстом Чехова и портретом Чайковского[158]. У Николая, студента ленинградского технического вуза, приехавшего из Якутска (которому посылали письма его друзья из Якутска и Новосибирска — см. выше и главу 6), вся комната была увешана фотографиями «Битлз», а на полке стояло полное

[157] Там же.

[158] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

собрание сочинений Ленина, которое Николай терпеливо собирал по частям в течение нескольких лет. А на рис. 25 мы видели портрет Брежнева по соседству с портретом Леннона[159].

Особенности советских понятий «лейбл» и «фирменная вещь» становятся видны еще лучше, если их сравнить с понятием «бренда» (*brand*), распространенным в западном контексте и широко распространившимся в России постсоветского периода. *Бренд* — это тоже торговая марка, нанесенная на продукт потребления. Роль бренда заключается в том, чтобы гаранировать *подлинность* продукта. Однако как именно он выполняет эту функцию — не всегда очевидно. Как показала Роузмэри Кумб (Rosemary Coombe), в западном контексте бренд делает это двумя различными способами. Во-первых, бренд дает *обещание* потребителю, что конкретный экземпляр продукта является реальной копией оригинала (разработанного фирмой дизайна продукта, студийной записи музыкального альбома и так далее). Во-вторых, бренд функционирует как своего рода *след* или *отпечаток пальца*, оставленный на продукте теми, кто его изготовил, — то есть является свидетельством физического *контакта* между данным экземпляром продукта и его автором[160]. Очевидно, что эти две функции бренда не одинаковы — например, отлично выполненная подделка известного бренда выполняет первую функцию (является верной копией оригинального дизайна), но не выполняет вторую функцию (не имеет реального свидетельства контакта с автором). Отличие этих двух функций бренда можно также проиллюстрировать, сравнив два одинаковых экземпляра одной и той же книги, которые отличаются лишь тем, что первый экземпляр имеет на первой странице автограф автора, а второй — нет. Обе книги являются верными и абсолютно идентичными *копиями* оригинала (первая функция бренда), но имеют разные *свидетельства* живого контакта с автором (вторая функция). Это отличие может быть отражено, к примеру, в разных ценах

[159] Был ли портрет Брежнева повешен на стенку с некоторой иронией или нет, неизвестно, но сам факт соседства этих разных символов в комнате молодого человека говорит о том, что для него они находились в сложных, но не взаимоисключающих отношениях.

[160] Coombe 1998: 169. Кумб отталкивается в своем исследовании от работ Майкла Тауссига (Taussig 1993: 220) и Вальтера Беньямина (Benjamin 1969b).

на эти два экземпляра — издание с автографом автора может цениться намного выше[161].

В советском контексте культурные формы, символы, продукты или языковые выражения воображаемого Запада отличались одной общей особенностью — независимо от того, насколько подлинными, поддельными или просто выдуманными «западными» символами они являлись, самой главной для них была *вторая* функция бренда. Они функционировали как свидетели физического контакта с *воображаемым Западом*. Даже настоящие лейблы известных западных фирм на джинсах или пластинках являлись в первую очередь не столько гарантией их качества, сколько свидетелями контакта — своего рода *отпечатками пальцев*, которые воображаемый мир оставил на поверхности советской жизни. Именно в этом заключалась их основная «фирменность» и ценность. Именно поэтому дружескую кличку Боб, джинсы «Супер Райфл» и магнитофонную запись рок-н-ролла можно рассматривать как похожие по функции символы.

Из всего сказанного становится очевидно, что символы воображаемого Запада, которые в тот период циркулировали в Советском Союзе в огромных количествах, нельзя интепретировать лишь как свидетельства потребительского отношения к жизни или преклонения советской молодежи перед буржуазной культурой. Напротив, особый способ использования этих символов в советском контексте можно сравнить с некоторыми «антипотребительскими» практиками на Западе. В 1980-х годах среди американских студентов было модно отрезать фирменные ярлыки и лейблы с джинсов, курток и другой одежды или носить свитера, на которых было нанесено название фирмы, наизнанку, так чтобы название не читалось. Все это как бы лишало одежду принадлежности к бренду. Подобная реинтерпретация продуктов потребления в контексте капитализма, как считает Пол Виллис, была видом протеста молодежи против повсеместной гегемонии брендов и «усреднения» субъектов посредством неизбежного потребления этих брендов[162].

[161] Сравните ценность настоящей пластинки «Битлз» с ценностью такой же настоящей пластинки, но имеющей автограф Джона Леннона на обложке.

[162] Willis 1990.

Однако не стоит рассматривать подобные действия лишь с позиции *сопротивления* капиталистической системе ценностей. То, что бренд становился *невидимым*, не подрывало его роли в формировании вкуса молодых людей на Западе — они продолжали носить фирменные джинсы с оторванными этикетками, вместо того чтобы не носить таких джинсов вовсе.

Советскую практику изобретения своих собственных «западных» лейблов, символов и названий, а также практику цитирования западных символов, лейблов или языковых выражений следует интерпретировать аналогичным образом. В советском контексте было важно, чтобы *лейблы* были хорошо видны. Поэтому кто-то занимался тем, что перешивал иностранные этикетки с внутренней стороны брюк и курток на внешнюю; кто-то вязал себе свитера и спортивные лыжные шапки с английскими словами *Ski*, *Love* и другими, кто-то устраивал инсталляции из пустых пивных банок и сигаретных пачек. Эти действия производились не в условиях гегемонии брендов, как при капитализме, а в условиях господства советского авторитетного дискурса, застывшие формы и ритуалы которого наполняли советскую жизнь. Используя символы, лейблы, предметы и языковые выражения воображаемого Запада, советская молодежь реинтерпретировала контекст своей жизни, в котором доминировал авторитетный дискурс, меняя его дословный смысл, но не игнорируя общий культурный контекст социализма, его возможности, принципы и ценности. Американская молодежь совершала аналогичную процедуру, но в контексте, где доминировал дискурс брендов и рынка. Она делала свои лейблы «невидимыми», а советская молодежь, напротив, делала свои — «видимыми». Такими процедурами и те и другие изменяли смысл окружающей реальности, при этом не участвуя в прямом сопротивлении доминирующему политическому «режиму». В обоих случаях эти действия способствовали частичному воспроизводству политического режима — гегемонии капиталистических брэндов или гегемонии авторитетного дискурса партии. Однако в советском контексте смещение смыслов реальности, в том числе посредством ввода в нее воображаемого Запада, постепенно и невидимо готовило почву для будущего неожиданного обвала советской системы.

Моральные дилеммы

Как и в предыдущих примерах из области музыки и моды, объектом критики в советской прессе 1970—1980-х годов был не столько интерес советской молодежи к западным символам, продуктам или *лейблам*, сколько крайние проявления этого интереса, которые интерпретировались как проявление моральной незрелости, эгоизма или интеллектуальной лени. Как и прежде, результаты этой критики были неоднозначны. На карикатуре 1974 года в журнале «Крокодил» изображены два длинноволосых подростка в расклешенных штанах. Один из них курит сигарету, держит в руках гитару, а на его расклешенных брюках видна заплатка с английским словом *Cowboy*. Очевидно, парень пришил заплатку сам, чтобы добавить «фирменности» своей одежде. Второй подросток спрашивает с восхищением: «И где ты такую заплатку оторвал?!» На другой карикатуре «Крокодила», 1978 года, изображен жеманный юноша, с капризной слезливостью заявляющий своей пожилой матери: «Или джинсы "Супер-Райфл", или объявляю голодовку...» На третьей карикатуре, 1981 года, взрослый сын беспардонно обращается к матери: «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Одежда, в которую он одет, и символы, окружающие его, — явно несоветского происхождения. На джинсах — лейбл *Lee*, на бутылках — этикетки *Martini* и *Whisky*, на стене висит рекламный символ «Пепси-Колы» и фривольный иностранный плакат с женщиной в бикини и английским словом «drink». А рядом с кроватью стоит коротковолновый приемник ВЭФ (на то, что парень слушает коротковолновые — то есть иностранные — передачи, указывает выдвинутая телескопическая антена).

Согласно этим карикатурам, «западной» одеждой, музыкой и образами интересовались аморальные, бессовестные, необразованные переростки, которые вместо того, чтобы работать, увлекались «западной культурой» и жили на иждивении стариков-родителей. Как и раньше, подобная критика способствовала лишь нормализации интереса к воображаемому Западу среди большинства *нормальной* советской молодежи, которая не ассоциировала себя с ленивыми и аморальными подростками, поскольку интерес к зарубежной музыке, моде и языкам совмещался у нее с интересом к учебе, работе и «высокой культуре». С этой

Рис. 28. «И где ты такую заплатку оторвал?!» Художник Б. Старчиков (Крокодил. 1974. № 28)

—Или джинсы «Супер-Райфл», или объявляю голодовку...

Рис. 29. «Или джинсы "Супер-Райфл", или объявляю голодовку...» (Крокодил. 1978. № 23)

Рис. 30. «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Художник И. Семенов (Крокодил. 1981. № 13)

точки зрения интересно сравнить рис. 26 и 30. Одежда и прическа героя и множество деталей обстановки, изображенные на карикатуре «Крокодила» на рис. 30, удивительно напоминают вышеприведенный фотографический автопортрет молодого человека из Владимира на рис. 26 (за исключением портрета Брежнева в комнате последнего). Причем и карикатура и автопортрет относятся к 1981 году. Но не похоже, чтобы молодой человек на фотографии ассоциировал себя с бесстыжим бездельником, изображенным на карикатуре (аморальность которого подчеркивается присутствием на карикатуре его пожилой матери).

Однако это смешение ценностных категорий не всегда проходило незаметно и временами ставило людей перед необычным этическим выбором. Например, хотя интерес к западным джинсам, сапогам, косметике или пластинкам не воспринимался как что-то ненормальное, отношение к тем, кто занимался их перепродажей — фарцовщикам и дельцам черного рынка, — у многих было достаточно негативным и подозрительным. Нередко, покупая западные вещи, человек испытывал смущение или стыд *не* из-за своих интересов, а из-за того, что ему приходится иметь дело с подобными людьми. Дмитрий, студент Ленинградского университета, родом из Запорожья (см. выше), так описывает эту дилемму, с которой ему приходилось сталкиваться в общежитии университета в начале 1980-х:

> Существовали разные каналы, по которым можно было достать западные вещи. Но для таких, как я, они были практически недоступны. Надо было не просто иметь деньги, но быть ловким и пронырливым. Человек [фарцовщик], который продавал джинсы [в общежитии университета], был мне неинтересен и неприятен. Честно говоря, мне не хотелось иметь ничего общего с такими типами. Конечно, у меня был определенный вкус в одежде, и я хотел иметь определенные вещи, которые было трудно достать. Например, джинсы. Но мне было неприятно как-то особо напрягаться ради удовлетворения этого желания. У большинства студентов вокруг меня было такое же отношение. Очень мало кто знал фарцовщиков лично или тем более дружил с ними[163].

[163] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

Фарцовщики представляли собой немногочисленную группу, отличающуюся от большинства людей не только «пронырливостью», но и ярко выраженным интересом к купле-продаже и получению прибыли, а также готовностью притворяться, а порой и унижаться при общении с иностранцами. По крайней мере, так фарцовщиков воспринимало большинство. Этот образ фарцовщика, в отличие от «нормальной» молодежи, вполне укладывался в сатирическое изображение на карикатурах «Крокодила». Американская студентка Андреа Ли, проведшая год в Московском университете в 1978—1979 годах, в своей книге пишет о фарцовщице по имени Ольга, которая обменивала у иностранцев русские иконы и шкатулки на американскую одежду. Вспоминая первую встречу с Ольгой, когда та появилась во флигеле общежития МГУ, где проживали иностранные студенты, Андреа Ли пишет:

> Уже через пару минут Ольга ощупывала своими белыми руками с накрашенными розовыми ногтями мои джинсы и платья, проверяя швы и качество материала и по ходу делая замечания, из которых я узнала гораздо больше, чем хотела, о черном рынке... «Очень красиво...» — говорит она, осматривая джинсовую куртку. «За это вам бы дали рублей двести, может даже двести пятьдесят...» «А это что — трусики? Дорогая моя, за каждые можно получить по двадцать, а то и тридцать рублей. Русские девчонки страдают без красивого белья. Кстати, не хотите ли продать вашу оправу для очков или этот милый зонтик»... Мы просмотрели вещи Тома [мужа Андреа, тоже студента из США], мою косметику, наши книжки и музыкальные пластинки. У каждой вещи была своя завышенная цена. Пластинки стоили от пятидесяти до семидесяти пяти рублей за штуку. И все это возбуждало в Ольге страсть, которая явно выходила далеко за рамки обычного делового интереса. Стоя рядом с ней, вдыхая тонкий аромат ее духов и наблюдая за ее суетливыми ручками и сверкающими глазками, я испытала смешанные чувства — раздражение от того, что позволила себе оказаться в роли жертвы, виноватую гордость от обладания такими богатствами и отвращение к патологической меркантильности Ольги[164].

[164] Lee 1981: 24—25.

Именно такое восприятие фарцовщиков — как людей беспардонных, меркантильных, с горящими от жадности глазами — побуждало многих сверстников Дмитрия избегать контактов с ними или сводить такие контакты к минимуму, хотя многие из них и хотели иметь джинсы или другие фирменные вещи. В конце концов Дмитрий все же приобрел американские джинсы, но у своего близкого друга, что позволило ему избежать прямого общения с фарцовщиком и риска самому показаться в чужих глазах расчетливым дельцом. Характерной чертой последнего советского поколения было желание приобретать вещи, доступные на черном рынке, и одновременно избегать ассоциаций с аморальным образом дельца. Только поняв это двоякое отношение, можно разобраться в парадоксальных ценностях, из которых формировалось неутолимое советское стремление к воображаемому Западу[165].

Таким образом становится понятно, почему для большей части советской молодежи не было ничего странного в том, что секретарь комитета комсомола, который выступал с коммунистическими речами и организовывал комсомольскую работу, мог носить иностранные джинсы, увлекаться западной музыкой и иметь английскую кличку среди друзей. Авторитетный дискурс советской системы и дискурс воображаемого Запада не просто *не были* взаимоисключающими символическими системами, а, напротив, во многом зависели друг от друга, являясь *взаимообразующими* системами, находящимися в необычном симбиозе. Без доминирования авторитетной риторики в советской повседневности дискурс воображаемого Запада не смог бы существовать. И наоборот, без существования разных несоветских миров внутри советской системы (одним из которых был воображаемый Запад) воспроизводство гипернормализованного[166] авторитетного дискурса было бы невозможно. Однако, несмотря на то что эти две символические системы существовали в симбиозе, этот симбиоз не был для советской системы безобиден. Напротив, появление и распространение воображаемых миров внутри социалистического

[165] Подобный же нравственный принцип отражен в своеобразном феномене «неприятия» блата, являющегося условием функционирования последнего. См. о «неприятии как системе отрицания» в: Ledeneva 1998: 60—63.

[166] О гипернормализации советского дискурса см. главу 2.

общества постепенно и незаметно меняло всю культурную логику этой системы, детерриториализуя ее изнутри и делая ее все менее соответствующей тому, как она сама себя описывала.

Реальный Запад

Когда в конце 1980-х годов, в результате перестройки, священная советская граница начала открываться, стало вдруг очевидно, что *воображаемый Запад* значительно отличается от Запада реального. С этим открытием все изменилось, и символическое пространство *воображаемого Запада* в конце концов постигла та же участь, что и всю советскую систему, внутри которой это пространство возникло, — оно исчезло, быстро и бесследно. Для последнего советского поколения осознание того, что их воображаемый мир и советская система всегда были неразрывно связаны друг с другом стало откровением. Когда многие из них впервые съездили на Запад в конце 1980-х годов[167], самым неожиданным открытием для них стали не проявления высокого уровня жизни (то, как выглядят западные люди, машины или магазины, они все же отчасти представляли), а внезапное осознание того, что реальный Запад является чем-то обычным, даже прозаичным. Один представитель этого поколения из Ленинграда, музыкант Марат (1956 года рождения), после первого посещения Лондона в 1989 году вспоминал, как его поразила пыль, лежавшая на лондонских улицах, белье, сушившееся на балконах, кошки, дремавшие в окнах, — все то, что является знаками монотонной, скучной обыденности, а потому ассоциировалось

[167] Для обычных советских граждан поездки на Запад стали возможны с 1 января 1987 года в соответствии с новым Положением о въезде в СССР и выезде из СССР, принятым Верховным Советом в августе 1986 года. Стало возможно выезжать на Запад по частным приглашениям не только близких родственников (как раньше), но и западных друзей и организаций. Сразу с введением этого положения многие советские рок-группы начали ездить с концертами в Западную Европу. Четырьмя годами позже, 20 мая 1991 года, Верховный Совет СССР принял закон «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР», который фактически полностью открыл границу — теперь ездить было можно и без частных приглашений.

для него с советской реальностью. Когда искусствовед Екатерина Деготь (1958 года рождения) впервые посетила Западную Германию в конце 1980-х, ее поразило, как часто в немецких лесах и парках встречается береза — дерево, которое в советском контексте воспринималось как символ русскости и даже советскости и которое трудно было представить в контексте воображаемого Запада[168].

То, что воображаемый Запад был неотъемлемой частью советского контекста, проявилось не только в некотором разочаровании советских людей, впервые оказавшихся в западных странах и столкнувшихся там с бытовой прозой западной жизни, но и в том особом внимании, с которым они старались отыскать все больше примеров этой прозаичности, одновременно поражаясь ей. Василий Аксенов писал о похожих открытиях и разочарованиях среди советских эмигрантов своего поколения, столкнувшихся с Америкой десятилетием ранее. Когда-то, в Советском Союзе 1950—1960-х годов, *воображаемая Америка* была частью жизни его круга. Она была веселым, беспечным миром, наполненным причудливыми именами, звуками и образами. Им казалось, писал Аксенов, что Америка — это

> ...самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма, [где] сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля,

[168] Рассказ Екатерины Деготь во время конференции по русскому искусству в White Chapel Art Gallery, Лондон, март 2003 года. Подобных воспоминаний о первой встрече советского человека с Западом было великое множество. Например, тот факт, что в советский период понятие «западных напитков» не имело ничего общего с реальными напитками, а было частью воображаемого измерения советской жизни, стал очевидным, когда эти напитки появились в магазинах в первые постсоветские годы. В начале 1990-х западное пиво пережило краткий всплеск популярности в России; однако, став «обычным» и приобретя вполне конкретный вкус, оно к концу 1990-х сдало свои позиции и оказалось вытеснено российским продуктом. Стало популярно говорить, что «реальность» оказалась не такой интересной, как представлялось раньше. Вообще, утрата иллюзий по поводу западной пищевой продукции после того, как она «не оправдывала ожиданий», стала распространенным феноменом России первого постсоветского десятилетия (см. также: Humphrey 1995 и 2002b).

> о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т.д.

Понятие скуки не имело к этому образу никакого отношения в принципе:

> Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота? И далее — полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар...

Но столкновение с реальной Америкой разрушило воображаемый мир:

> Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки... [когда] вдруг выясняется, что все это — рутина, глухомань, одиночество. Лос-Анджелес, Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар... Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой — вымершие после заката улицы, «эффект нейтронной бомбы», уныние, рутина[169].

Когда сталкер наконец приводит героев книги Стругацких[170] к заветной комнате в центре Зоны, они, к своему удивлению, не находят там ничего особенного. Однако сталкер требует держать это открытие в тайне, чтобы не дать другим потерять надежду[171]. Реальный западный мир, с которым столкнулось последнее советское поколение, оказался даже менее похож на советский *воображаемый Запад*, чем это казалось аксеновским эмигрантам предыдущего десятилетия. Разница была

[169] Аксенов 1991: 32, 31, 32 соотв.

[170] Пикник на обочине; см. начало данной главы.

[171] См. подробнее в: Žižek 1999.

в историческом контексте — в том, каким образом осуществлялась встреча с Западом и прощание с СССР. Эмигранты 1970-х годов уезжали насовсем, сжигая мосты, а в конце 1980-х — начале 1990-х делать это было не обязательно. С другой стороны, для тех, кто уезжал в 1970-х, за границей оставался вполне реальный, мощный Советский Союз, а для тех, кто ездил по заграницам в начале 1990-х, Советского Союза на карте больше не было... Теперь, после распада СССР, *воображаемый Запад* был утрачен не только для эмигрантов, но для всех бывших советских граждан. И утрачен он был навсегда. Вместе с ним были утрачены и все те среды и публики *своих*, наполненные альтернативными смыслами, творчеством и дружбой, неотделимые от реального социализма и необходимые для формирования внутри него «нормальной» жизни. Самым ошеломляющим открытием было то, что *воображаемый Запад* и другие воображаемые миры стали исчезать по тем же причинам, что КПСС и вся советская система. Теперь и на то, и на другое можно было оглянуться с одинаковым изумлением во взгляде. Герой романа Пелевина *Generation П*, размышляя о советском прошлом с позиции постсоветских 1990-х, жалеет об исчезновении именно этих воображаемых миров, которые он называет «паралелльной вселенной». Он вдруг осознает, что многое из того,

> что когда-то [ему] нравилось и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и так же незаметно[172].

[172] Пелевин 1999: 46.

Глава 6

Разноцветный коммунизм. *King Crimson, Deep Purple, Pink Floyd*[1]

Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, — таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником — четырехвостым сперматозоидом так и не наставшего будущего.

Виктор Пелевин[2]

Идеологическое оружие

Западная рок-музыка была не просто популярна среди советской молодежи 1970-х годов — она стала неотъемлемым элементом советской

[1] Малиновый, темно-фиолетовый, розовый.

[2] Пелевин 1999: 12.

культуры, частью повседневности. Эта музыка была настолько *своей* для большинства молодых людей и настолько не воспринималась ими как что-то чужеродное и экзотическое (в отличие от джаза в более ранние периоды), что к концу 1970-х годов партийное руководство осознало, что популярность этой музыки простым подражательством Западу со стороны кучки незрелой молодежи уже не объяснишь. Вопросов было множество. Почему советская молодежь слушает эту музыку в таких количествах? Как она ее понимает? Как ее распространение влияет на идеологическое воспитание молодежи? Задается ли молодежь вопросом о моральных ценностях и взглядах западных рок-звезд?

Чтобы ответить на эти вопросы, в начале 1980-х годов под руководством двух известных социологов молодежи, Светланы Иконниковой и Владимира Лисовского, в молодежных аудиториях в разных уголках страны прошли дискуссии о рок-музыке. В ходе этих дискуссий социологи пытались вызвать аудиторию на диспут, делая различные провокационные заявления. Они говорили: в современном мире идеологическая борьба между капитализмом и социализмом достигла апогея, поэтому рок-музыку нельзя рассматривать как чисто культурное явление, не отдавая себе отчет в том, что она является идеологическим орудием мирового капитала. Социологи приводили в пример известных рок-музыкантов, поменявших, по их словам, былые прогрессивные взгляды на реакционные буржуазные убеждения. Например, утверждали социологи, всемирно известные Джоан Баез и Боб Дилан, ранее записывавшие «песни протеста», включая песни против войны во Вьетнаме, к концу 1970-х годов изменили своим политическим взглядам и перешли в лагерь империалистов и приняли участие в антисоветской пропаганде. К досаде социологов, их высказывания, сделанные в жанре авторитетного дискурса, не особенно трогали молодежные аудитории. Вместо дискуссии они натыкались на один и тот же вопрос: «А почему нас должна волновать связь музыки с политикой?»[3] Завершив поездку, социологи пришли к пессимистическому выводу: советской молодежи сегодня присуща опасная наивность в политических вопросах и неспособность

[3] Иконникова, Лисовский 1982: 96—97.

распознавать прямую связь между буржуазной культурой и политикой антикоммунизма.

Действительно, как мы видели в главах 3 и 4, в этот период любые ассоциации с «политикой» воспринимались большинством советской молодежи как неинтересные, не важные, не имеющие к ее жизни отношения. Но это говорило, конечно, не о «политической наивности» молодых людей, а о том, как в советском контексте было сконструировано понятие *политического*. Утверждение партийных социологов о том, что необходимо вникать в антисоветскую политическую позицию западных рок-звезд, подразумевало, что высказывания и противников, и сторонников советского авторитетного дискурса следует понимать буквально. Но советская молодежь, как мы знаем, обычно не воспринимала авторитетный дискурс буквально. Именно поэтому в советском контексте больше, чем в любом другом, важна была именно *музыка* западных рок-групп, а не буквальный смысл их песен, текстов или политических позиций. Музыкальная составляющая рок-музыки, которая меньше, чем языковые высказывания, поддается буквальной интерпретации, могла с большей легкостью восприниматься как часть «глубоких истин», — а буквальный смысл песен, лозунгов и политических высказываний воспринимался как что-то *неважное*[4]. Отвечая партийным социологам, что их интересует музыка как таковая, а не ее связь с политикой, молодые люди лишь повторяли уже знакомую нам формулу: им казались важнее «глубокие истины», выходящие за рамки конкретной политической системы, а не «ясные истины», являющиеся ее частью. Поэтому отказ советской молодежи обнаруживать связь рок-музыки с политикой был не проявлением политической наивности, а, напротив, выражением конкретной политической позиции. Причем важным элементом этой политической позиции было, как это ни парадоксально, нежелание признавать ее как «политическую» — в том смысле, который вкладывался в понятие *политического* в советском контексте. В конце главы 4 мы назвали эту необычную политическую позицию *политикой вненаходимости*. В следующей, главе 7, мы рассмотрим ее подробнее.

[4] О различии между «глубокими истинами» и «ясными истинами», или между «истиной» и «правдой» в советском контексте, см. главу 4.

Конечно, то, что партийные социологи неверно интерпретировали политическое состояние советской молодежи, особого удивления не вызывает. Интереснее другое: само появление подобных исследований, с их необычно пессимистическими выводами, указывает на изменения в структуре партийной критики западных культурных влияний на рубеже 1970—1980-х годов. В прежние годы эта критика акцентировалась на относительно небольших и изолированных группах «отщепенцев» и тех, кого советские социологи называли «девиантной» молодежью, а советская печать изображала морально разложившимися безнравственными элементами или необразованными лентяями, не имеющими ничего общего с «нормальным» большинством (яркими примерами были *стиляги, фарцовщики, валютчики*; см. главу 5). А в критике нового типа, напротив, признавалось, что отрицательное влияние западной культуры распространилось среди большинства советской молодежи, став скорее нормой, а не отклонением от нее. Эти перемены в организации критики повлияли и на то, как в ней объяснялись причины критикуемых явлений. Западная массовая культура все больше описывалась не как образчик упаднических буржуазных вкусов, а как специально сконструированное идеологическое оружие, которое буржуазный мир использует в холодной войне против социализма.

Эта смена критического акцента прослеживается в советской печати тех лет. 19 марта 1981 года в газете «Комсомольская правда» вышла статья под заголовком «Перед стеной оказалась сегодня популярная музыка на западе», в которой утверждалось, что музыка новых западных звезд, в отличие от популярной культуры прошлого, «почти полностью лишена бескомпромиссного отношения к порокам буржуазного мира». Эта музыка стала орудием буржуазной идеологии — она превратилась в «музыку-наркотик, музыку-снотворное, музыку-обман», которая призвана уводить «слушателей в мир невыполнимых иллюзий». Такая мутация современной рок- и поп-музыки неизбежна, продолжала статья, поскольку буржуазная массовая культура является всего лишь «уродливым отпрыском неравного брака между искусством и бизнесом»[5]. Итак, новая критика отличалась от критики прежних лет, во-первых,

[5] Барко 1981.

тем, что в ней признавалось влияние западной рок- и поп-музыки на *всю* советскую молодежь, и, во-вторых, тем, что эта культура теперь называлась идеологическим оружием капитализма. Как и прежде, влияние западной культуры в советском обществе проявлялось в морально-этической деградации человека, однако теперь считалось, что эта деградация была специально спланирована на Западе и направлена на нормальное большинство советской молодежи[6].

В предыдущей главе прослеживается, как с первых послевоенных лет до середины 1980-х годов внутри советской системы возник и развивался культурный феномен *воображаемого Запада*. Существование воображаемого Запада стало возможным благодаря внутренним парадоксам самой позднесоветской системы. Мы показали, что авторитетный дискурс коммунистической партии и культурные продукты *воображаемого Запада* существовали скорее в отношениях симбиоза, чем антагонизма. В настоящей главе эта идея развивается дальше, но нас будут особенно интересовать некоторые *исключительные* проявления этого симбиоза. Их анализ поможет нам лучше разобраться в идеологической и культурной парадоксальности системы позднего социализма, а также в динамике внутренних изменений этой системы, которые в те годы оставались незаметны или казались не важны большинству советских людей. Как мы уже говорили в главе 1, в исключениях из общепринятых норм многие принципы системы проявляются лучше, чем в самой норме, поскольку исключение дает нам возможность объяснить «и общее правило и само себя»[7]. Анализ нормы способен описать систему в статическом состоянии, а анализ исключения дает возможность отследить ее внутренние мутации и сломы, особенно те, которые остаются незаметны, если оставаться внутри системы[8].

В качестве относительного исключения из общего правила мы рассмотрим тех комсомольских активистов и молодых людей, которые искренне верили в идеалы коммунизма и активно участвовали

[6] В советской «социологии молодежи» понятие «девиантного поведения» теперь все больше применялось не к небольшим группам отщепенцев от общей нормы, а к широким массам (см.: Иконникова и Лисовский 1969; Актуальные проблемы теории и практики 1978).

[7] *Кьеркегор С.* Повторение // Schmitt 2004: 15.

[8] См.: Schmitt 2004: 15.

в комсомольской работе именно по этой причине. Но при этом они успешно интегрировали культурные символы и эстетику *воображаемого Запада* в систему ценностей, идеалов и риторику коммунизма. Понимание коммунистических ценностей этими молодыми людьми отличалось не только от того, как их понимало большинство советской молодежи, но и от того, как они интерпретировались в выступлениях партийных руководителей.

Главными действующими лицами этой главы являются два комсомольских активиста — один из центра (Ленинграда), другой из провинции (Якутска), — у которых искренняя вера в коммунистические идеалы и активная вовлеченность в комсомольскую деятельность совмещалась с любовью к западной рок-музыке. Эти люди были идеальными продуктами советской системы со всеми ее противоречиями. Они были хорошо образованы, имели множество культурных интересов и были воспитаны в духе постоянного стремления к самообразованию и интеллектуальному развитию. Они верили в моральное превосходство коммунистических ценностей и идеалов и при этом стремились культивировать в себе независимость суждений. Все это не только не мешало им страстно увлекаться западной рок-музыкой, но, как мы покажем, даже способствовало этому увлечению. Активная и искренняя деятельность этих людей на постах комсомольских секретарей способствовала, как ни парадоксально, внутренней *детерриториализации* советской системы. В отличие от предыдущих примеров (в главах 3—5) эта детерриториализация осуществлялась *во имя* коммунистических идеалов.

Приспособленец

В середине 1980-х годов издание ЦК ВЛКСМ выпустило плакат с надписью: «Приспособленец меняет личину — разоблачи!»

Светлый квадрат в центре плаката (в цветном оригинале — красный) символизирует контекст авторитетного дискурса, внутри которого герой под маской положительного комсомольского секретаря обращается к аудитории со страстной речью на правильном партийном языке. На

Рис. 31. «Приспособленец меняет личину — разоблачи!» Художник А. Уткин

герое форменный комсомольский костюм, с комсомольским значком на левом отвороте пиджака; он стоит в подтянутой и уверенной позе; его речь усыпана стандартными коммунистическими фразами, представленными здесь хорошо знакомыми всем названиями героических строек того времени (*БАМ, ВАЗ, Уренгой, КАМАЗ, Катек*[9]), политических кампаний (*гласность, хозрасчет, кооператив*) и достижений советской научно-технической модернизации (*ЭВМ* и *ГЭС*).

Однако за пределами светлого квадрата, в окружающем черном пространстве, герой показывает свое «истинное лицо» приспособленца, преклоняющегося перед материальными ценностями буржуазного строя. Здесь он напоминает героев с карикатур «Крокодила», которые мы видели в главе 5: он одет в американские джинсы, с нашивкой в виде американского флага над правым коленом, на нем западные кроссовки, а его ноги скрещены в непринужденной «западной» позе. Это черное

[9] «Комсомольские стройки» — стройки, в которых принимал активное участие комсомол: Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Волжский автомобильный завод (ВАЗ), Камский автомобильный завод (КАМАЗ), Камско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЕК) и газопровод в Северо-Западной Сибири (Уренгой).

пространство символизирует буржуазный дискурс, состоящий из названий западных брендов и лейблов, написанных латинским шрифтом, в отличие от кириллицы партийного языка во внутреннем светлом квадрате. Буржуазный дискурс на плакате занимает гораздо больше места и находится (в буквальном смысле) «за спиной» советского партийного языка. Такое расположение призвано продемонстрировать якобы скрытую истинную суть героя: партийный язык служит для него ширмой, за которой прячутся его буржуазные интересы. За каждой партийной фразой на плакате прячется буржуазная фраза: *БАМ* превращается в *Montana* (марка западных джинсов, популярная в те годы у советской молодежи), *Кооператив* — в *aperitiv*[10], *ЭВМ* — в *money*, *ГЭС* — в *Camel*, *ВАЗ* — в *FIAT*, *Уренгой* — в *whisky*, *Катек* в *KENT* и так далее. Присутствуют здесь и *Pepsi, beer, Adidas, video, Sony, heavy metal,* знаки иностранной валюты (доллара и фунта стерлингов) и название советского магазина *Beriozka*, торгующего за валюту. Влияние «западной культуры» сводится здесь к продуктам потребления и деньгам. Все эти буржуазные символы были действительно хорошо знакомы советской молодежи того времени. Тезис плаката очевиден: этот комсомольский активист является приспособленцем, который скрывает за маской честного коммуниста свое истинное буржуазное лицо и низменные интересы.

Главным объектом этой критики был феномен «двуличности» и «притворства», якобы распространившийся в комсомольской среде. В прежние годы интерес к западной поп-культуре трактовался иначе. *Стиляг*, например, представляли не только как исключение из общего правила, отличное от нормального большинства молодых людей, но и как что-то нахально показное и всеми легко узнаваемое — их было сразу видно по «попугайскому виду», «порнографическим шляпам», «развязному поведению» (см. главу 5). В новой критике конца 1970-х — начала 1980-х годов интерес к западной культуре предстает как что-то скрытое, личное, не всегда заметное невооруженным взглядом. Стиляга выставлял свое прозападное «я» напоказ; новый приспособленец скрывал его под маской комсомольского активиста. Стилягу следовало приструнить; нового приспособленца следовало разоблачить.

[10] В действительности он должен писаться «apereтif».

Согласно этой критике, тип приспособленца в среде советской молодежи был относительно новым явлением конца 1970-х — начала 1980-х годов. Однако, как мы видели в главе 5, *воображаемый Запад* был неотъемлемой частью комсомольской жизни на протяжении всего периода позднего социализма, начиная с послевоенных лет. То, что интерес к «западной культуре» среди комсомольцев попал в поле зрения партийной критики именно в начале 1980-х, говорит не столько о переменах в настроении самой молодежи (скажем, о неожиданно появившемся интересе к *воображаемому Западу*), сколько о переменах в логике самой партийной критики (а именно в осознании партийным руководством того, что смыслы и способы социалистического существования, особенно среди молодежи, выходят из-под партийного контроля).

И тем не менее, какой бы новой ни казалась эта критика, в ней воспроизводился давно знакомый подход. Как и прежде, проблема понималась на уровне внутренней психологии отдельной личности, а не советской системы вообще. Если интерес к буржуазной культуре был проявлением двуличности субъекта (согласно агитационному плакату) или проявлением его незрелости (согласно партийным социологам), то можно было обойтись без анализа того, как в действительности проявляется «влияние буржуазной культуры» в советском контексте. А в действительности «буржуазная культура», и особенно западная рок-музыка, в 1970—1980-х годах совсем не всеми и не обязательно воспринималась как что-то, противоречащее «советским ценностям», а подчас даже переплеталась с ними самым причудливым образом. И в этом переплетении ценностей в действительности было гораздо больше риска для советской системы, чем в «двуличии» или «наивности» приспособленцев.

Примерный перечень

Итак, к началу перестройки руководство ВЛКСМ признало, что меры по предотвращению влияния буржуазной культуры на советскую молодежь, которые применялись на протяжении многих лет, не приносят

плодов. Необходим был новый, более эффективный подход. Журнал «Молодой коммунист», издававшийся для комсомольского актива, писал, что руководство комсомола оказалось не информировано о том, насколько широко по всей стране распространяются магнитофонные записи западных групп и информация о них. «Мы не заметили, — писал автор журнала, — как в масштабах страны возникла огромная субкультура, представители которой имеют общие интересы, занятия и каналы обмена информацией. У них даже появились неформальные клубы, объединяющие все слои молодежи — студентов, школьников, рабочих, инженеров, — и возникли специализированные самиздатовские журналы, такие как "Ухо", "Рокси" и "Кот", в которых журналисты-любители печатают статьи о музыкальных записях западных и советских рок-групп и переводы статей из западной музыкальной прессы». Эти журналы, продолжала статья в «Молодом коммунисте», копируются по многу раз на печатных машинках или методом фотографической пересъемки[11], и их копии расходятся по всей стране, подобно музыкальным записям. В заключение «Молодой коммунист» рекомендовал руководству ВЛКСМ на местах повысить контроль за культурными интересами молодежи и попытаться остановить бурное распространение магнитофонных записей западной рок-музыки[12].

Однако способы выполнения этой задачи сводились, как и прежде, к применению тех же методов, которые уже применялись ранее и уже не дали никаких результатов. Одним из таких методов было запрещение не всей западной рок-музыки, а лишь ее конкретных образцов — некоторых рок-груп, некоторых альбомов и некоторых песен. Поскольку контролировать домашнее магнитофонное копирование музыкальных записей комсомолу было не под силу, борьба с нежелательной музыкой сфокусировалась на более легком контроле за репертуаром танцевальных дискотек и местных, официально зарегистрированных ВИА. Сам по себе такой контроль, естественно, мало что давал, ведь молодежь сталкивалась

[11] Ксерокопирующая техника все еще находилась под строгим контролем государства и, как правило, была недоступна.

[12] Макаревич 1987: 21 (автор этой статьи — лишь однофамилец музыканта Андрея Макаревича).

с западной рок-музыкой чаще всего не на дискотеках или концертах, а дома или в гостях, где эта музыка звучала в магнитофонных записях. Тем не менее в эти годы горкомы и райкомы комсомола во всех областях СССР стали получать перечни с названиями западных музыкальных рок-групп и рок-композиций, которые не следовало включать в репертуар концертных и танцевальных мероприятий. Одна из таких директив, под названием «Примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения»[13], датирована январем 1985 года. В документе говорилось: «Рекомендуем использовать эти сведения для усиления контроля за деятельностью дискотек. Данной информацией необходимо обеспечить все ВИА и молодежные дискотеки района». Приводится перечень из тридцати восьми «зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения» и даются разъяснения того, в чем именно заключается их идейный вред. Эта и другие подобные инструкции были частью метадискурса идеологии, который, как и в прежние годы позднего социализма, оставался скрыт от большинства советских граждан[14]: конкретная копия документа, которую мы рассматриваем, была послана из Областного комитета ЛКСМ Николаевской области Украины, адресована лично «Секретарям ГК, РК[15] ЛКСМ» и снабжена отметкой «Для служебного пользования». Даже сам факт распространения подобных инструкций оставался неизвестен широкой публике до конца перестройки[16].

Однако, поскольку советская культурная политика, как мы не раз видели, была принципиально непоследовательна — пропагандируя творческий подход к культурному развитию, она одновременно пыталась ограничить нежелательные последствия этого подхода (см. главу 5), — перечень неприемлемых для дискотек записей оказался не только абсолютно неэффективным способом контроля за распространением западной рок-музыки, но даже способствовал ее дальнейшему

[13] Документ был опубликован в «Новой газете» (2003. 26 июля. № 45).

[14] См. главы 2, 3.

[15] Городских комитетов и районных комитетов ЛКСМ.

[16] Подобные закрытые документы ВЛКСМ стали обсуждаться в советской печати в конце 1980-х годов.

КОПИЯ ВЕРНА...

Приложение к письму
от 10 января 1985 года

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЛКСМ УКРАИНЫ

Для служебного пользования
Секретарям ГК, РК ЛКСМ Украины

Направляем примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения, а также список тарифицированных вокально-инструментальных ансамблей СССР.

Рекомендуем использовать эти сведения для усиления контроля за деятельностью дискотек.

Данной информацией необходимо обеспечить все ВИА и молодежные дискотеки района.

Секретарь обкома
комсомола П. Гришин

Примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения

Название коллектива	Что пропагандирует
1. Секс Пистолз	— панк, насилие
2. Б-52	— панк, насилие
3. Меднесс	— панк, насилие
4. КЛЭШ	— панк, насилие
5. Стрэнглэрс	— панк, насилие
6. Кисс	— неофашизм, панк, насилие
7. Крокус	— насилие, культ сильной личности
8. Стикс	— насилие, вандализм
9. Айрон Мейден	— насилие, религиозное мракобесие
10. Джудас Прист	— антикоммунизм, расизм
11. Ай Си Ди Си	— неофашизм, насилие
12. Спаркс Спаркс	— неофашизм, расизм
13. Блек Сабат	— насилие, религиозное мракобесие
14. Элис Купер	— насилие, вандализм
15. Назарет	— насилие, религиозный мистицизм, садизм
16. Скорпион	— насилие
17. Чингиз Хан	— антикоммунизм, национализм
18. Уфо	— насилие
19. Пинк Флойд (1983)	— извращение внешней политики СССР («Агрессия СССР в Афганистане»)
20. Толкинхедз	— миф о советской военной угрозе
21. Перрон	— эротизм
22. Боханнон	— эротизм
23. Ориниджинелз	— секс
24. Донна Саммер	— эротизм
25. Тина Тернер	— секс
26. Джаинор Энглиш (Регги)	— секс
27. Кенед Хит	— гомосексуализм
28. Манич Мешин	— эротизм
29. Рамонэ	— панк
30. Бан Хейлен	— антисоветская пропаганда
31. Хулио Иглесиос	— неофашизм
32. Язоо	— панк, насилие
33. Данич Мод	— панк, насилие
34. Вилидж Пипл	— насилие
35. Тен Си Си (10сс)	— неофашизм
36. Стоджис	— насилие
37. Бойз	— панк, насилие
38. Блонди	— панк, насилие

«ВЕРНО»
зав. общим отделом
обкома комсомола Е. Пряжинская

Рис. 32. «Примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения», 1985 г.

распространению. Сам факт того, что в перечне давался ограниченный список «идейно вредных» групп, а не запрещалось исполнять и воспроизводить западные рок-композиции в принципе, означал, что среди огромного количества этой музыки, ходящей в записях по стране, лишь

небольшая часть является «идейно вредной». А значит, в прослушивании большинства западных рок-групп никакой проблемы и идеологической опасности нет.

То, как понятие «идейного вреда» расшифровывалось в подобных документах, также способствовало нормализации западной рок-музыки в советском контексте. Этот вред определялся несколькими более-менее абстрактными фразами (см. рис. 32): *панк, насилие, вандализм, эротизм, религиозное мракобесие, религиозный мистицизм, расизм, неофашизм, культ сильной личности, секс, гомосексуализм, национализм, антикоммунизм, антисоветская пропаганда.* В двух случаях он определялся гораздо конкретнее: *Миф о советской военной угрозе,* а также *Извращение внешней политики СССР («Агрессия СССР в Афганистане»).* Конкретные группы и даже альбомы получили в этом перечне ту или иную характеристику, что, по-видимому, означает, что среди референтов ЦК ВЛКСМ были люди, которые слушали довольно много западных рок-групп и обращали особое внимание на слова их песен или на тексты, напечатанные на альбомах и вкладках. Эти люди интерпретировали смысл песен западных групп *буквально,* обращая внимание на их слова, что, естественно, не отражало того, как большинство советских слушателей воспринимало эти композиции и альбомы (см. главу 5). Примером служит альбом британской группы *Pink Floyd* «The Final Cut», который был обозначен в списке не по названию, а по году выпуска — «1983». Идейный вред этого альбома формулировался в комсомольском документе так: *«Извращение внешней политики СССР ("Агрессия СССР в Афганистане")».* Это извращение сводилось к одной строке в одной из песен альбома, «Get Your Filthy Hands Off My Desert» («Убери свои грязные руки от моей пустыни»). В этой песне советская военная операция в Афганистане упоминалась следующим образом:

Brezhnev took Afghanistan,
Begin took Beirut,
Galtieri took the Union Jack,
And Maggie, over lunch one day,
Took a cruiser with all hands,
Apparently, to make him give it back.

Брежнев взял Афганистан,
Бегин взял Бейрут,
Галтиери взял себе Юнион Джек[17],
А Мэгги[18], как-то на обед,
Взяла его крейсер и весь личный состав,
Наверно, чтобы он вернул ей флаг[19].

Проблема, очевидно, заключалась в строке «Брежнев взял Афганистан» — точнее, в том, что советско-афганская война, которая именовалась на советском авторитетном дискурсе как «братская помощь Советского Союза афганскому народу», в тексте песни сравнивалась с израильской оккупацией Ливана и войной Великобритании с Аргентиной, которые советское руководство характеризовало как «империалистические войны». Однако то, что комсомольская критика была направлена лишь на один конкретный альбом группы *Pink Floyd* (в списке выделен лишь альбом «1983») и, более того, на конкретный факт, который фигурировал лишь в одной строке одной песни с этого альбома, вновь выдает знакомый нам парадокс советской культурной политики. Такой подход давал понять, что другие альбомы группы *Pink Floyd* могут быть вполне приемлемы не только для частных коллекций, но и для проигрывания на комсомольских дискотеках.

И действительно, в те годы некоторые композиции *Pink Floyd* и информация об этой группе распространялись средствами самого государства. В 1980 и 1981 годах советский ежемесячный музыкальный журнал

[17] Флаг Великобритании.

[18] Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании.

[19] Речь идет о следующих вооруженных конфликтах: войне в Афганистане, которую Советский Союз начал в 1979 году, при Брежневе; войне Израиля с Ливаном, начавшейся в 1982 году при Менахеме Бегине; войне за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией, разразившейся в 1982 году после того, как аргентинский президент Леопольдо Галтиери захватил Фолклендские (Мальдивские) острова, считавшиеся суверенной территорией Британии, а британский премьер Маргарет Тэтчер направила британский флот для отражения этой атаки. В результате был потоплен большой аргентинский крейсер «Генерал Белграно» со всем личным составом на борту, из которых 323 человека утонуло, что вызвало критику в адрес Тэтчер даже в самой Великобритании, — в том числе и в песне *Pink Floyd*.

«Кругозор»[20], имеющий тираж 500 тысяч экземпляров, опубликовал положительную статью об этой группе и поместил несколько ее композиций на прилагающемся к журналу гибком диске[21]. Еще важнее был другой факт: то, что запрещающий список делал акцент на буквальном смысле текстов, который для большинства молодых людей был непонятен или не так важен, означало, что всерьез эту критику мало кто воспринимал, включая комсомольских секретарей на местах, которые сами увлекались западным роком. Это также означало, что проводить аналогичную критическую оценку творчества других рок-групп по аналогии с критикой в этом документе (то есть анализировать буквальный смысл их песен) никто из комсомольских секретарей, адресатов этого документа, был не в состоянии. Все это делало подобные критические кампании крайне неэффективным способом контроля за распространением западного рока. Конечно, реальный «идейный вред» этой музыки для советской системы заключался совсем не в буквальном смысле какой-то отдельной строки или целой песни, а в той роли по созданию воображаемых миров внутри советской системы, которую эта музыка играла.

Комсомольское разноречие

Андрей (1954 г. р.), секретарь комитета комсомола одного из ленинградских НИИ, о котором речь шла в главе 3, как и тысячи его сверстников, увлекся англо-американской рок-музыкой еще в школьные годы, в конце 1960-х. Небольшой фрагмент воображаемого мира, возникавшего среди его сверстников при прослушивании этой музыки, можно увидеть на рисунке, который Андрей нарисовал в 1968 году,

[20] В каждом номере «Кругозора» печатались статьи и интервью, связанные с зарубежной музыкой различных стилей, и в каждый вкладывалась пара мягких дисков с образцами этой музыки. Подробнее о журнале «Кругозор» см.: McMichael 2005a; 2005b.

[21] В 1980 году «Кругозор» вышел с двумя мягкими дисками, включавшими песни «Time», «On the Run» и «Money» с альбома «The Dark Side of the Moon» 1973 года. В 1981 году «Кругозор» вышел с еще двумя композициями группы — «Another Brick in the Wall (Part 1)» и «The Trial» с альбома «The Wall» 1979 года. Все эти вещи вполне попадали в разряд критики буржуазной системы, что и способствовало их выпуску.

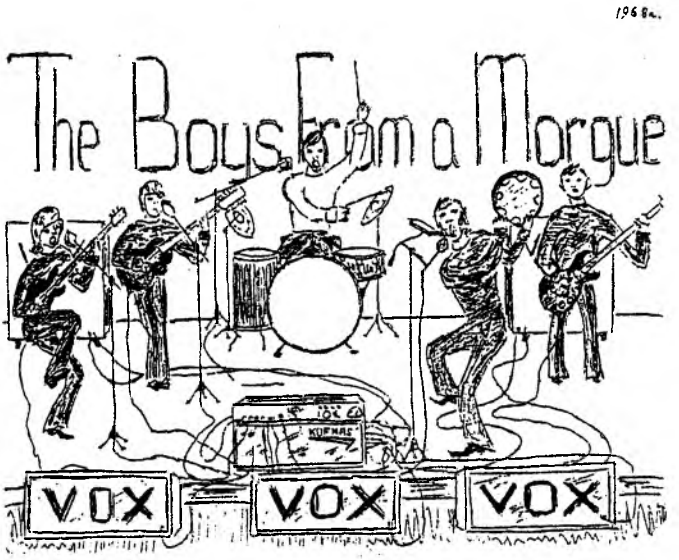


Рис. 33. Рисунок Андрея К. воображаемой рок-группы *The Boys from a Morgue*, которую он придумал (1968 г.)

в возрасте 14 лет. На нем изображена несуществующая рок-группа, которую Андрей выдумал сам и которой дал имя *The Boys from a Morgue* («Мальчишки из морга»).

В 1971 году, окончив школу, Андрей поступил в Ленинградский горный институт. Там он встретил множество других любителей западной рок-музыки и включился в активный обмен магнитофонными записями и пластинками. Он вспоминает:

> У нас была настоящая музыкальная тусовка. ...Это были времена *Led Zeppelin*. Классные ребята!! *Deep Purple* только начинали. *The Animals*. К счастью, мы застали настоящую основу рока![22]

[22] Авторское интервью, Санкт-Петербург, осень 1994 года.

В институте Андрей занялся организацией студенческих вечеров и дискотек, которые проводились под эгидой комитета комсомола, от которого райком требовал выполнения плана по организации культурных мероприятий для студентов института. Музыкальные связи Андрея пришлись весьма кстати. По его словам,

> когда в комитете узнали, что у меня есть круг знакомых среди коллекционеров, они с радостью отдали организацию музыки на этих мероприятиях мне[23].

Андрей познакомился с организаторами аналогичных мероприятий в других институтах, а вскоре и с музыкантами из ленинградских «любительских» рок-ансамблей раннего периода советского рока — таких, как легендарные «Мифы» и «Аргонавты»[24]. Он стал приглашать их играть на студенческих вечерах и, по его словам, пользуясь появившимися связями в райкоме комсомола, даже помог «Аргонавтам» принять участие в рок-фестивале в Таллине в 1976 году[25]. Статус «любительских» коллективов давал возможность этим группам включать в свой репертуар музыку, которую профессиональные ансамбли, выступающие на официальных концертах, исполнять не могли. Кроме того, репертуар этих групп на студенческих вечерах обычно контролировался меньше, чем репертуар коллективов, зарегистрированных в филармониях, благодаря тематике подобных мероприятий — обычно они приурочивались к различным советским праздникам: Первомаю, Дню Победы, годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и, в случае Горного института, ко Дню советского геолога. Кроме того, способ-

[23] Ср. с взаимоотношениями между организаторами джазовых концертов и комитетами комсомола институтов в 1950-х годах (см. главу 5).

[24] Обе группы были среди наиболее популярных первых рок-групп Ленинграда, существовавших еще до образования «Аквариума». До начала 1970-х годов большинство любительских групп имело русские названия и исполняло песни на русском языке, что несколько изменилось в 1970-х годах (см. ниже).

[25] Фестиваль проходил в марте 1976 года в Таллинском политехническом институте. На этом фестивале Андрей впервые услышал питерскую группу «Аквариум», образованную четырьмя годами ранее.

ствовала некоторому ослаблению контроля за репертуаром и дружба Андрея с членами институтского комитета комсомола. Позже Андрей стал принимать более активное участие и в других видах комсомольской деятельности, проводимой комитетом, а к концу института сам был избран в члены комитета. Как мы уже видели в главе 3, Андрей отличался от многих из своих сверстников тем, что он вполне искренне верил в коммунистическую идею и в роли члена комитета комсомола относился к комсомольской деятельности активно и всерьез — по крайней мере, к той ее части, которую он называл «работой со смыслом» (см. главу 3).

По окончании института Андрей поступил на работу младшим научным сотрудником в один из ленинградских научно-исследовательских институтов (НИИ) и вскоре и там стал членом комитета комсомола. Одним из мотивов для вступления в комитет было желание Андрея продолжать заниматься организацией рок-концертов и молодежных дискотек — благодаря его членству в комитете комсомола эти мероприятия могли получить идеологическую и материальную поддержку: подходящую комсомольскую тематику, под эгидой которой их легче было проводить, помещение, техническое оснащение, даже транспорт. Другим мотивом Андрея для вступления в комитет комсомола было стремление участвовать в некоторых видах комсомольской деятельности, которые он считал важными, — организации общественных мероприятий, решении социальных вопросов и так далее.

Как упоминалось в главе 3, когда предыдущий секретарь комитета комсомола этого НИИ, Александр, в 1982 году ушел со своего поста «на повышение» в райком (где он занял пост инструктора), на освободившееся место секретаря комитета комсомола НИИ был избран Андрей. В ноябре 1982 года Андрей должен был выступить со своей первой речью в качестве секретаря комитета на отчетно-перевыборном собрании перед большой аудиторией рядовых комсомольцев института. Некоторые фрагменты этой речи и то, как Андрей ее писал, мы подробно разбирали в главе 3. Теперь рассмотрим другой аспект этого выступления, имеющий отношение к теме распространения буржуазной культуры среди советской молодежи. Зная, что он должен отреагировать

на кампанию тех лет против растущего влияния буржуазной культуры, Андрей вставил в свою речь соответствующие формулировки:

> Одним из важнейших направлений работы комсомола является идейно-политическое воспитание молодежи. Формирование марксистско-ленинского мировоззрения, непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали, воспитание юношей и девушек в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма — вот первейшие задачи, стоящие перед идеологическим активом нашей комсомольской организации[26].

Как мы видели при анализе этого отрывка в главе 3, каждая фраза в нем практически полностью повторяет стандартную фразеологию партийных текстов того времени. Так, в приведенном выше отрывке из статьи «Комсомольской правды» за 1981 год говорилось об отсутствии у современных западных рок-музыкантов «бескомпромиссного отношения к порокам буржуазного мира»[27]. На рубеже 1970—1980-х годов эта фразеология повторялась повсюду — в массовой печати, партийных документах, выступлениях руководства ВЛКСМ, брошюрах советских социологов молодежи и так далее. Андрею эти формулировки были, безусловно, хорошо знакомы[28]. В своей речи он заявил, что формирование «непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали» должно стать одной из «первейших задач» комсомольской организации института. Комитет комсомола, который он возглавляет, заявил Андрей, обязан бороться с любыми проявлениями буржуазной идеологии и морали среди комсомольцев института, включая распространение западной рок-музыки.

Андрей выступал с этой речью перед комсомольцами НИИ — теми самыми молодыми людьми, которые ходили на его дискотеки и танцевали под записи западных групп, которые он лично подбирал. Многие из этих молодых людей знали Андрея как знатока рок-музыки. На

[26] Из выступления Андрея осенью 1982 года на отчетно-перевыборном комсомольском собрании НИИ. Из личного архива Андрея К. Цитируется с разрешения автора.

[27] Барко 1981.

[28] См. другие примеры этой риторики из различных источников во главе 2.

дискотеках он часто сам объявлял в микрофон названия композиций и иногда добавлял интересную информацию о рок-группах, почерпнутую из зарубежных музыкальных изданий, которые имели хождение среди коллекционеров. В начале осени 1982 года он позаимствовал у одного из своих друзей специальный номер западногерманского музыкального журнала *Musik Express* 1981 года, посвященный музыке в стиле хеви-метал (рис. 34). Журнал был привезен советским моряком из ФРГ. Потратив много времени, Андрей, который в школе изучал немецкий язык, перевел с немецкого на русский длинную, на четыре страницы, статью из журнала, заголовок которой он несколько косноязычно перевел как, «Майкл Шенкер. Возвращение из падения в ад». В статье рассказывалось о творчестве известного западногерманского рок гитариста Майкла Шенкера, игравшего с английской группой *UFO* и немецкой группой *The Scorpions.* Текст своего перевода Андрей распечатал на печатной машинке комитета комсомола — той самой машинке, на которой он распечатал текст своего выступления на большом комсомольском собрании того же года.

Ставя записи группы *The Scorpions* на дискотеках Андрей зачитывал отрывки из своего перевода. Майкл Шенкер, несмотря на проблемы с наркотиками и алкоголем, продолжал виртуозно играть и считался одним из лучших гитаристов в стиле тяжелого рока в мире. В какой-то

Рис. 34. Западногерманский журнал *Musik Express* (Heavy Metal Special. 1981. № 1)

МАЙКЛ ШЕНКЕР

"Возвращение из падения в ад".

Имя белокурого тевтонца Майкла Шенкера, который первым нанес сонный Ганновер на рок-карту, давно уже красуется в броских газетных заголовках. "МШ - сначала не просыхал, а теперь в секте" или "МШ - будь то шампанское или пиво, я хлещу все". Вероятно, в чем-то и можно было бы его упрекнуть: для захватывающей истории его разгула, то в одиночку, то вместе с господами из " " были всякий раз достаточно бурными.

Одни обзывали его эксцентриком, от него, мол, можно ожидать чего угодно, другие же почитали его как гениального гитариста-полубога - таким вот узнали и полюбили Майкла ,младшего брата шефа "Скорпионов" Рудольфа Шенкера. Он стал неотъемлемой частью галереи героев "тяжелого металла". Захватывающая личность, если ты хоть раз видел, как он, ожесточенно сражаясь с самим собою, едва держится на ногах на сцене. И только его инструмент, который он любит превыше всего, гитара подгоняла его вперед, давала ему внутреннюю поддержку, мешала окончательно рухнуть посреди сцены.

Является ли он лучшим гитаристом "тяжелого металла"? Может быть. Я точно не знаю. Ясно только одно, что с точки зрения внешнего впечатления, он совершенно неотразим. Не было никого лучше его.

Музыкальная карьера Майкла Шенкера началась в ансамбле его брата, в "Скорпионз". Когда в 1974 г. "Скорпионз" выступали на совместном концерте с "ИФО", английский ансамбль был так очарован гитарным мастерством МШ, что они тут же ангажировали его для своей группы.

Без Майкла "ИФО" были ничем не выделяющейся группой хард-рока, постоянно работающей и постоянно в гастролях, но пользующейся лишь умеренным успехом. С приходом МШ изменился не только саунд группы, песни их стали не просто гораздо выше классом, но "ИФО", кроме того, в конце концов удалось войти в разряд топ-групп. Это было отлично для ансамбля и его шефа Фила Могга, но для МШ постоянные турне означали еще больше стресса, еще больше алкоголя, еще больше физических перегрузок. Молниеносная карьера в "ИФО" стала для Майкла началом его падения в ад.

В 1976 году "ИФО" пришлось несколько недель искать своего ведущего гитариста и автора песен, а репетиции, потом буквально выманивать его из укромного места в Мюнхене, чтобы ко времени доставить его в студию

Рис. 35. Перевод Андрея К. статьи «Майкл Шенкер. Возвращение из падения в ад»

момент, читал Андрей, «наркотическая зависимость Майкла стала действительно тяжелой. Он начал смешивать таблетки с кокаином и алкоголем». Но в конце концов ему удалось преодолеть эту жуткую напасть. Прочтя этот отрывок, вспоминает Андрей, перед тем как включить на полную громкость очередную композицию *The Scorpions*, он зачитывал в микрофон заключительный абзац перевода:

> Жизнь для Майкла переменилась. Никакой больше подруги, никаких женщин, ни капли спиртного, никаких наркотиков. Что же тогда привязывает Майка к жизни? Конечно же, то же самое, что и тебя и меня, — «тяжелый метал!»[29].

В «Примерный перечень» идейно вредных западных рок-групп и исполнителей, который рассылался ЦК ВЛКСМ (см. выше), группа *The Scorpions* была включена. Она характеризовалась в нем как проповедник насилия. Хотя конкретный перечень, который мы привели выше, был датирован январем 1985 года (двумя с половиной годами позже, чем перевод статьи о группе *The Scorpions*, который Андрей сделал и публично зачитывал в конце 1982-го), аналогичные перечни и инструкции циркулировали в райкомах комсомола и раньше, и уж точно в течение всего конца 1970-х — начала 1980-х. Андрей рассказывает о комсомольских документах, которые он получал из райкома и в которых западные рок-группы, особенно группы, играющие тяжелый рок, критиковались как проповедники насилия и буржуазной культуры. Однако он не обращал серьезного внимания на эту критику, ведь, как и большинство рядовых комсомольцев и членов комитета комсомола из его НИИ, он не воспринимал слишком буквально ни смысл западных песен, ни высказывания на авторитетном языке в комсомольских циркулярах.

Как мы видели в главе 3, для многих комсомольских секретарей и комсоргов смысл реально существующего социализма был гораздо шире и гибче, чем то, как он интерпретировался в инструкциях и указаниях вышестоящих комсомольских органов. Многие из этих секретарей

[29] Машинописный перевод статьи и рукописные заметки о подготовке дискотек из личного архива Андрея К.

разделяли идеологические поручения на буквальные и формальные — на то, что Андрей называл «работой со смыслом» и «чистой проформой» (см. главу 3). Выполнение пустой рутинной работы позволяло им заниматься более важной и интересной, с их точки зрения, работой со смыслом. К последней Андрей относил организацию всевозможных социальных программ и культурно-политических мероприятий — музея ветеранов войны, детского сада для молодых семей, поэтических вечеров, театральной студии и комсомольских дискотек.

С одной стороны, Андрей может показаться наивным, аполитичным и некритически мыслящим молодым человеком, фигура которого была нарисована двумя советскими социологами в вышеупомянутом исследовании — ведь его действительно не интересовало то, что они называли связью между западной рок-музыкой и политикой антикоммунизма. С другой стороны, Андрей может показаться двуличным «приспособленцем», похожим на героя вышеприведенного агитационного плаката, который прячет свое преклонение перед буржуазной культурой под маской комсомольского активиста. Однако ни первая, ни вторая интерпретация не способны объяснить, почему Андрей участвовал в комсомольской работе активнее большинства своих сверстников, с энтузиазмом воспринял избрание секретарем комитета комсомола НИИ и до конца перестройки искренне верил в идею коммунизма (при этом всегда недолюбливая партийных аппаратчиков). Если его желание стать комсомольским секретарем, а позже вступить в ряды КПСС и было связано с карьерными соображениями, все же чистым карьеризмом его не объяснить. Также и его любовь к западной рок-музыке не свести к проявлению аморальной «некоммунистической» сущности приспособленца. В отличие от «приспособленца» с агитационного плаката, который якобы скрывал свой истинный язык (западных брендов) под маской притворного языка (советских лозунгов), Андрей оперировал обоими этими языками вполне искренне, интегрируя их, меняя их смыслы, разводя их по разным контекстам, но не выбирая, какой из них истинный, а какой ложный. Вспомним, что до перестройки Андрей, по его собственным словам, «безусловно верил в то, что партия — это единственная организация, которая действительно знает, что надо делать» (см. главу 3). При этом он всегда «разделял партию на простых

людей и партийный аппарат» — первая группа, по его мнению, включала большинство людей, «которые честно работали и были хорошими, умными и душевными», а вторая включала бюрократическую группу аппаратчиков, «прогнивших изнутри и искажавших хорошие идеи и принципы»[30]. Вспомним также, как Андрей относился в те доперестроечные годы «к самой идее коммунизма», а также к Ленину, который для него олицетворял эту идею (см. главу 3). Он вспоминает:

> Мы воспитывались с сознанием того, что Ленин был чем-то святым. Ленин был символом чистоты, искренности, мудрости. Без вопросов. Мне казалось, что все проблемы в нашей жизни были вызваны более поздними искажениями изначальных ленинских принципов, порочным и кровавым режимом Сталина, этим умалишенным Брежневым и так далее. Я был уверен, что, если мы вернемся к истиным идеям Ленина, все снова встанет на свои места. В те годы [конец 1970-х — начало 1980-х] многие думали, что, если бы Ленин был жив, он бы исправил все то плохое, что происходило[31].

Не случайно несколькими годами позже, в конце 1980-х, уже во время перестройки, Андрею было очень трудно примириться с новым критическим дискурсом, объектом которого постепенно оказались КПСС, коммунистическая идея и сам Ленин. Андрей говорит о постепенной потере идеалов, которую он пережил в период перестройки:

> Идея о том, что Ленин знает ответы на все вопросы, выходила из меня постепенно, капля за каплей. Сначала я что-то прочитал, затем что-то показали по телевизору, рассказали по радио. Один штрих за другим, стал вырисовываться новый портрет. Оказалось, что Ленин был таким же, и слава богу еще, что он дольше не пожил. Что он был действительным инициатором, автором всего, а Сталин был просто его логическим продолжением. Для меня лично прийти к этому

[30] Авторское интервью 1994 года.

[31] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

осознанию было очень долгим и мучительным процессом. Ленин был последним символом, в котором я разочаровался[32].

Итак, до перестройки Андрей искренне верил в нравственное превосходство коммунизма и в возможность его построения. Верил он и в безусловную верность идей Ленина. При этом он не любил то, что он называл «партийным аппаратом», — высокопоставленных парийных карьеристов, относившихся, по его мнению, к идее коммунизма чисто формально и потому искажающих ее. И одновременно он горячо любил западную рок-музыку, собирал записи рок-групп и пропагандировал их на молодежных дискотеках, которые ему удавалось организовывать под эгидой комитета комсомола. Хотя Андрей об этом особенно не задумывался, очевидно, что в его сознании идеи Ленина и музыка *Led Zeppelin* не обязательно противоречили друг другу. Каким бы необычным ни казалось такое сочетание идеалов, интересов и занятий, его вряд ли следует считать абсурдным. Скорее, пример Андрея иллюстрирует многообразие смысловых сдвигов и реинтерпретаций, которые характеризовали систему позднего социализма, частью которой он был.

В предыдущей главе мы видели, что дискурсивная формация позднего социализма, в которой формировалось и распространялось представление о *воображаемом Западе*, включала в себя самые разные высказывания и формулировки, многие из которых не совпадали и даже противоречили друг другу. Деятельность Андрея в качестве комсомольского руководителя, его выступления на комсомольских собраниях, приверженность коммунистическим идеалам, нелюбовь к комсомольской проформе, увлечение западными рок-группами — все это было частью реальной и неоднородной дискурсивной формации, в которой жило поколение Андрея в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Эти разнообразные дискурсы и практики могут показаться противоречащими друг другу только в том случае, если их интерпретировать буквально, как констатирующие высказывания. Однако, как мы видели, отношение Андрея к ним было иным — он далеко не всегда воспринимал их как констатирующие высказывания, как безусловное и точное *описание* реальности. Вместо этого он интерпретировал их

[32] Там же.

по-разному в зависимости от контекста, в котором они существовали. Авторитетные высказывания он иногда читал напрямую, а иногда воспринимал как ритуалы, смысл которых заключался лишь в повторении их формы. Такое повторение не было бессмысленным, поскольку оно давало возможность возникать и распространяться другим интересам, смыслам и видам деятельности, многие из которых не совпадали с буквальным смыслом идеологии.

Вспомним, как именно Андрей занимался воспроизводством формы подобных высказываний. Он составлял свои авторитетные тексты, пользуясь общими принципами авторитетного дискурса, которые он усвоил из практики комсомольской деятельности (см. главу 3). В большинстве текстов присутствовали стандартные фразеологические «блоки», типа «непримиримое отношение», «буржуазная мораль», «дух советского патриотизма и социалистического интернационализма», «идейные враги» и так далее. Кроме того, тексты и выступления на этом языке имели стандартную дискурсивную форму — в них использовалось множество номинативных конструкций, выстроенных в длинные фразы без глаголов. Риторически эти тексты строились по принципу замкнутой логической структуры (см. подробнее в главе 2). Контексты, в которых эти тексты циркулировали (комсомольские собрания, выступления партсекретарей, газетные передовицы, агитационные материалы), тоже были сугубо ритуализованными. Благодаря частой повторяемости этих стандартных высказываний в ритуализованных контекстах Андрей и его молодая аудитория с легкостью узнавали их принадлежность к фиксированному авторитетному дискурсу, который чаще всего не следовало интерпретировать буквально. Эта специфика авторитетного дискурса давала Андрею и его слушателям возможность воспринимать партийно-комсомольскую критику «буржуазной культуры» по-разному. С чем-то они могли соглашаться, читая эту критику буквально. Например, Андрей, будучи гораздо более активным комсомольцем, чем большинство его сверстников, вполне искренне соглашался с официальными высказываниями о том, что при капитализме часть искусства неизбежно коммерциализируется, в чем ничего хорошего, по его мнению, не было (этот факт, как он знал, критиковался и многими западными рок-музыкантами, например Джоном Ленноном). Он мог

вполне согласиться и с партийными высказываниями о том, что капитализм повинен в империалистических и неоколониальных войнах. Но другую часть критики западной культуры он, как и большинство представителей его среды, воспринимал как чистую формальность, игнорируя ее буквальный смысл. Например, критику западной рок-музыки как морально ущербной и антисоветской, которая часто звучала в авторитетных текстах, он с легкостью игнорировал.

С другой стороны, и сами песни западных рок-групп или статьи о них Андрей обычно не интерпретировал буквально (так, как они воспринимались в их исходном «западном» контексте). Для Андрея они являлись проявлениями иного, воображаемого мира, который был неотъемлемой частью здешнего, советского контекста, а не высказываниями о некоем настоящем, реальном Западе, которые следует интерпретировать дословно. Истории о наркотической зависимости западных рок-звезд воспринимались Андреем не как реальный рассказ или описание реальной жизни «на Западе», а как нечто фантастическое и потому вызывающее скорее любопытство, чем ощущение моральной несовместимости этой жизни с советской действительностью. Как и в случае со звучанием песен на не совсем понятном английском языке, эти истории про рок-музыкантов имели характер «пустых» символических оболочек (см. главу 5), крайне важных для процесса создания своего собственного *воображаемого Запада*. Не случайно интерес к историям о проблемах рок-звезд с наркотиками и алкоголем и даже восторженное упоминание этих историй на комсомольских дискотеках не помешали Андрею организовать активную кампанию по борьбе с пьянством в общежитии его института.

Очевидно, что участие Андрея в этом дискурсивно-идеологическом разноречии[33] неверно было бы рассматривать как безусловный признак двуличия или приспособленчества. Сам Андрей заметил впоследствии, во время серии наших интервью в 1994 году, что все его тексты начала 1980-х — и комсомольские выступления, наполненные антибуржуазным пафосом, и переводы статей о западных рок-группах,

[33] См. анализ разноречивого контекста у Бахтина (Бахтин 1975 [1934]. Часть 2: «Слово в романе»).

наполненные восторгом к западной культуре, — были для него в те годы одинаково важны. В них отражались его интересы и идеалы, его активная, ответственная и относительно независимая позиция по отношению к своей и общественной жизни. Не случайно все эти тексты годами хранились в одной и той же папке его личного архива, помеченной просто «1982 год». В райкоме комсомола отношение к разным видам деятельности Андрея среди молодежи было аналогичным. Хотя он активно пропагандировал музыку, которая время от времени называлась «идейно вредной», райком считал его одним из лучших секретарей комитетов комсомола в районе, ссылался на его комсомольскую работу как на пример творческого подхода и наградил Андрея двумя почетными грамотами «За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи».

Письма с полюса холода

В этой и предыдущей главах мы столкнулись со множеством примеров того, как явления, артефакты и смыслы «буржуазной» западной культуры могли сосуществовать в советской жизни с авторитетным дискурсом партии и комсомола, меняя и смещая друг друга, и как эти явления и этот дискурс вместе влияли на жизнь советской молодежи того периода. Большинство людей, разделяющих убеждения и интересы Андрея, не особенно задумывалось о том, почему советский и «буржуазный» миры, западные культурные формы и коммунистическая риторика одновременно являются частью их существования. Они легко интегрировали эти миры, создавая вид советской действительности, который не совпадал с его авторитетными описаниями. Однако были и те, кто задумывался об этом и даже страстно спорил с друзьями о том, нет ли какой-то моральной проблемы в таком сосуществовании идеологических и культурных смыслов и форм. Возможно, такие люди тоже были исключением из правила. Но именно по этой причине их рассуждения и действия могут пролить свет на систему позднего социализма под необычным углом и осветить ее с незнакомой стороны.

Контекст позднего социализма, с его постоянным повторением идей о коммунистическом будущем, легко совмещался с культурными формами, в которых важна была экспериментальность эстетики и открытость будущему. К этим формам относились американский джаз и рок-музыка, благодаря их нацеленности на слом существующих эстетических канонов и институциональных норм, на практику музыкального самообразования и на постоянное обновление эстетических течений. Важно было и то, что в этих музыкальных формах центральную роль играл не буквальный смысл высказывания, а звуковая и импровизационная составляющая. В джазе она была более очевидна, но она была и в роке 1970-х годов — особенно в арт-роке и прогрессив-роке, делающих акцент на сложных инструментальных проигрышах, вокальных импровизациях, необычности звучания. Рок-композиции таких групп были отмечены атмосферой экспериментаторства и открыты для новых интерпретаций и ходов. Кроме того, рок-музыка в этот период быстро менялась. Ее сложно было описать известными канонами и нормами. Эта черта рок-музыки сделала ее особенно притягательной для молодых советских слушателей (вспомним, что тексты большинства зарубежных песен были им не только непонятны, но и не слишком важны — см. главу 5). Рок-композиции хорошо гармонировали с творческим процессом создания новых, неожиданных смыслов и зон существования внутри советской системы (к таким зонам могли относиться и воображаемый Запад, и пространство коммунистического будущего). Даже наиболее «идеалистическая» часть советской молодежи, которая искренне и активно верила в коммунизм, могла воспринимать несоветские звуки зарубежных рок-групп как вполне совместимые с идеей о будущем обществе. И не важно было, насколько политическая позиция самих западных рок-групп совмещается или не совмещается с идеями о коммунистическом будущем. Молодые советские идеалисты вполне могли создавать свой собственный образ коммунистического будущего — гораздо более космополитичный и экспериментальный, чем «светлое будущее» в стандартных партийных выступлениях.

Примеры подобной творческой интеграции коммунизма и западного рока можно встретить в дневниках и личных письмах представителей последнего советского поколения. Ниже представлены выдержки из писем, посланных в середине 1970-х годов молодым человеком по

имени Александр (1959 года рождения) сначала из далекого Якутска, а позднее из Новосибирска его ленинградскому другу Николаю (тоже 1959 года рождения)[34]. Александр и Николай родились в Якутске и до восьмого класса учились в одном классе якутской школы. С первого класса они стали близкими друзьями. В 1974 году, в возрасте 15 лет, Николай с родителями переехал жить в Ленинград и последние два года школы заканчивал уже там. После окончания ленинградской школы в 1976 году он со второго раза (в 1977-м) поступил в ленинградский технический вуз (на факультет компьютерных систем). А Александр продолжал жить в Якутске до окончания школы и летом 1976-го сразу поступил на математический факультет Новосибирского университета и переехал в Новосибирск.

В течение первых нескольких лет после отъезда Николая из Якутска в Ленинград (с 1974-го по 1978-й) друзья вели активную переписку. За эти три с половиной года они написали друг другу тридцать восемь писем, в среднем посылая одно письмо каждые полтора месяца. Друзья обсуждали в этих письмах широкий спектр тем: от идей коммунизма и философии до искусства, математики, поэзии, дружбы, нравственности, любви, комсомола и так далее. Особое место в переписке занимало обсуждение западной рок-музыки. Мы рассмотрим только письма, которые Александр посылал Николаю, сначала из Якутска в Ленинград, а затем из Новосибирска в Ленинград (ответные письма Николая не сохранились)[35].

Родители Александра были родом из Якутска. Его отец работал механиком на заводе, а мать — врачом в районной поликлинике. Александр был воспитан на коммунистических идеалах и относился к идее коммунизма с необычной для его поколения серьезностью. Возможно, атмосфера далекого провинциального города, в которой вырос Александр, меньше располагала к остраненному или ироничному отношению к советской реальности, которое встречалось в больших

[34] В главе 5 нам уже приходилось встречаться с выдержками из этих писем.

[35] Письма взяты из домашнего архива Николая и цитируются с разрешения обоих корреспондентов. Для того чтобы проследить развитие некоторых тем в этой переписке, письма не всегда цитируются в хронологическом порядке. Это позволяет рассмотреть их как часть единого, связанного дискурса, что особенно важно, если учесть, как часто друзья переписывались.

городах Центрального и Северо-Западного регионов (см. главы 4 и 7). В то же время Александра нельзя причислить к чистым «активистам», которые повторяли партийную риторику без тени сомнения (мы их встречали в главе 3). Сам Александр считал себя человеком не только с твердыми коммунистическими принципами, но и с независимыми взглядами — он не всегда и не во всем соглашался с мнением партийных руководителей, советской прессы или своих учителей и порой недвусмысленно заявлял об этом. В школе, а затем в университете Александр с активностью занимался общественной работой и всегда избирался на руководящие комсомольские посты. В те же годы, сначала в Якутске, а затем в Новосибирске, он всерьез увлекся западной рок-музыкой, обменивался пластинками и магнитофонными записями, получал их по почте от друзей из Москвы и Ленинграда, а также покупал и продавал их «с рук» через знакомых.

В 1973 году, в возрасте 14 лет Александр, как и весь его класс, вступил в комсомол. Он сразу активно включился в комсомольскую работу и вскоре стал комсоргом класса, а в следующем году — секретарем комитета комсомола школы. Весной 1975 года, в конце девятого класса, он был вновь переизбран на пост секретаря. В письме Николаю от 25 апреля 1975 года Александр с гордостью писал:

> Меня избрали на второй срок секретарем комитета комсомола <номер> школы. Сейчас крепко въелся, вгрызся в комсомольскую работу, бегаю, требую, убеждаю, составляю, регулирую, отчитываю, организовываю и т.д. и т.п. В общем, с головой ушел в дело.

Тема комсомола возникала в переписке друзей довольно часто, но их мнения не всегда совпадали. Весной 1975 года Николай написал из Ленинграда, что в его школе комсомольская работа сводится к бессмысленной рутине и к ней никто не относится всерьез. На что Александр ответил из Якутска (13 мая 1975 года):

> Ты пишешь (цитирую): «только зря время проводить на собраниях». А ведь и от рядовых комсомольцев зависит комсомольская жизнь школы. Приди на комитет и заяви, что в школе ведется не

> интересная, а принудительная комсомольская работа. Короче, вступай в комсомол, мой совет. Школа общественной жизни, пройденная в комсомоле, поможет тебе в жизни, в этом я уверен.

Александр считал (так же, как секретарь комитета комсомола НИИ Андрей К., которого мы обсуждали выше), что в комсомольской работе кроме пустой проформы и бессмысленных ритуалов присутствует важная составляющая и что личная активная позиция способна сделать эту часть работы основной, преодолев скуку формализма. Как мы уже отмечали, такое отношение к комсомолу отличало Александра от большинства людей его поколения — «нормальных людей», которые предпочитали существовать в отношениях *вненаходимости* к системе, которые ходили на комсомольские собрания, не слишком вникая в смысл происходящего, или вообще избегали комсомола (см. главу 3). По поводу наиболее пассивных из этих людей Александр высказался в том же письме:

> Что касается некоторых комсомольцев, которые так только называются, то их я больше ненавижу, чем кого-либо.

Далее в письме он развил эту тему, с юношеским пафосом написав о своем отношении к коммунистической идее и о своей готовности воплотить ее на практике:

> Я верю в коммунизм, моя вера непоколебима. Она такая громадная, что ее с лихвой бы еще хватило на нескольких человек. Но это не тупая вера, не слепая вера. Я не люблю особенно высоких слов, но скажу одно: строительство коммунизма — задача моей жизни. Но чтобы строить его, надо его знать, и знать не только теорию, а воплощать теорию в жизнь. Вот почему я вступил в комсомол, вот почему для меня дорого все, связанное с ним.

Помимо своей деятельности на посту секретаря комитета комсомола школы Александр имел много других интересов. Во многих из них он достиг немалых успехов. Он хорошо учился и был лучшим в классе по

математике, литературе и английскому языку. Его успехи в математике были настолько впечатляющими, что он попал в состав городской сборной на школьную математическую олимпиаду республики Якутии. 5 апреля 1975 года он писал Николаю:

> На математической олимпиаде я занял 4-е место (среди физматов и обыкновенных[36]). Команда города <Якутска> заняла первое место во всех 3-х олимпиадах <по Якутии>, чего раньше почти не было. Команда математиков, несмотря на то что один из команды получил «0» баллов, все равно заняла 1-е место. И не мудрено, ведь в команде Корнилов (1-е городское, 2-е республиканское место), Шашкина (4-е республиканское место) и я. Динга (наш математик) обещает, что на будущий год мы выступим еще лучше и получим рекомендации[37].

Кроме математики, Александр много читал, писал стихи, надеясь когда-нибудь их опубликовать[38], и много занимался английским языком. В последнем он преуспел не меньше, чем в математике, и попал в сборную школы на городскую олимпиаду по иностранным языкам. В следующем письме, от 25 апреля 1975 года, он писал:

> Недавно была олимпиада по английскому (городская), я выступал за десятый класс (в нашей школе 10-х нету)[39], занял в двух видах первые места, и в одном второе; общее первое место. Кстати, когда

[36] То есть среди как обычных школ, так и специализированных физико-математических, где преподавалась более сложная программа по математике и физике. Александр учился в обычной школе, но после уроков занимался в школьном математическом кружке по расширенной программе и был достаточно подготовлен, чтобы соревноваться с учениками специализированных физ.-мат. школ.

[37] Рекомендации к приему на математический факультет университета после школы.

[38] Несколько лет спустя подборка его стихов вышла в новосибирском литературном журнале.

[39] В то время Александр учился в девятом классе, но соревновался с учениками десятых из других школ.

я шел на олимпиаду, я не рассчитывал даже войти в десятку сильнейших, однако...

Спустя год, летом 1976-го, Александр окончил десятый класс в другой якутской школе и поступил на математический факультет Новосибирского университета. В августе он переехал жить в Новосибирск. Тем временем в Ленинграде Николай провалил вступительные экзамены на факультет вычислительной техники одного из ленинградских технических вузов и вместо этого поступил в техникум, собираясь потратить год на подготовку к повторному поступлению в вуз следующим летом. В своих письмах осенью и в начале зимы 1976 года Александр, который всегда учился на отлично и при этом успевал заниматься в математическом кружке и работать секретарем комитета комсомола, давал своему другу советы о том, как лучше готовиться к вступительным экзаменам. 4 декабря 1976 года Александр изложил в письме подробный план подготовки, включив в него перечень литературы по линейной алгебре, дифференциальному исчислению, физике, литературе и философии, а также список вопросов, о которых Николаю стоило подумать. Александр писал:

Я считаю, что ты не теряешь год. Ты, наоборот, его приобретаешь. Ты должен сейчас понять, где твое место, прозондировать почву вокруг себя, ощутить свою направленность. А для этого у тебя в распоряжении целый год! (правда, уже меньше). А теперь можно ли за этот год что-нибудь существенное сделать? Да, можно. Каким образом?

Кроме занятий в техникуме, ровно 8 часов самостоятельной учебы в течении 6-ти дней. В воскресенье — полный отдых.
Эти 8 часов распредели так:

Первые 4 часа: математика —
Теория: С. Феферман «Числовые системы»,
Э. Мендельсон «Основы линейной алгебры»
Практика (конкретные практические навыки):

Г. Фихтенгольц «Курс дифференциального и интегрального исчисления», ч. 1 и 2

2 часа: физика —
«Фейнмановские лекции по физике»[40]

2 часа: философия, литература —
Ленин «Материализм и эмпириокритицизм»[41]
Философия древних греков (Сократ, Диофант и др.)
Гегель, Фейербах
Конечно, Маркс и Энгельс

В общем, что заинтересует.

Обратим внимание, что в пространном плане занятий и списке литературы, составленном Александром, раздел философии и литературы включает не только обычные работы Ленина, Маркса и Энгельса, но и оригинальные труды древних греков и немецких идеалистов, что было необычно для большинства советских нефилософских факультетов, где эти философы преподавались в критическом пересказе. Более того, как было замечено выше, хотя Александр был убежден в верности коммунистической идеи (по крайней мере, согласно его собственным заявлениям, сделанным в предыдущих письмах), он считал, что человек должен не слепо следовать курсу партии, а прийти к пониманию коммунизма самостоятельно, читая разную, в том числе «буржуазную», литературу и критически переосмысляя ее. В конце своего письма, в секции, посвященной философии, Александр писал:

[40] Курс лекций знаменитого Ричарда Фейнмана (Richard Feynman), нобелевского лауреата по физике, прочитанный им в Калифорнийском технологическом институте (Cal Tech) в 1961—1963 годах и издававшийся в СССР в 1960-х и 1970-х годах (с тех пор курс много раз дополнялся и переиздавался, в том числе и по-русски).

[41] Работа 1908 года, включенная в советский канон марксизма-ленинизма и изучавшаяся в вузах. Полное название: «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Являлась ленинской критикой «ревизионистских» течений в марксизме.

> Не бойся задавать вопросы, которые считаются аполитичными[42] (конечно, про себя) и решать их. Старайся думать, почему именно Маркс прав, а не западные идеологи. А может быть, наоборот? Кстати, вот вопрос достойный обсуждения: «что такое искусство, каковы его цели?»

Хотя Александр предостерег Николая от публичной постановки критических вопросов в отношении марксизма-ленинизма, он советовал эти вопросы обязательно задавать и не обязательно соглашаться с официальными ответами на них. Александр прекрасно понимал, как функционирует советский авторитетный дискурс. Как и многие его современники, он проводил различие между стандартными ритуалами авторитетного дискурса, которые следовало воспроизводить не задумываясь об их констатирующем смысле, и другими идеалами, смысл которых был для него крайне важен и которые, по его мнению, честный человек не мог не разделять.

Для Александра автоматическое повторение стандартных клише авторитетного дискурса и критическая рефлексия по поводу смысла коммунистических идей были двумя абсолютно различными видами деятельности. Они не только не противоречили друг другу, но первое было необходимым условием существования второго. По его мнению, нравственный и мыслящий человек должен был уметь делать и то и другое. Эта позиция явно отличалась от позиции ярых «активистов» — например, знакомого нам молодого активиста Леонида (из главы 3), который говорил языком газетной передовицы, повторяя партийные высказывания дословно во всех контекстах и никогда не осуществляя их критической оценки, чем вызывал недоумение своих ровесников.

Последний вопрос в письме Александра — «что такое искусство, каковы его цели?» — отражает его интерес к взаимоотношениям между эстетикой, способностью критически мыслить и верой в коммунистическую идею. То, как Александр дает ответ на этот вопрос в других

[42] Александр, по-видимому, имел в виду «политически неверными».

письмах, объясняет, почему для него любовь к рок-музыке и приверженность идеям коммунизма были совместимы.

Критический подход к рок-музыке

Александр и Николай начали собирать магнитофонные записи западных рок-групп еще в 1973 году, когда они оба учились в восьмом классе якутской школы. Друзья часто обсуждали эти записи и после отъезда Николая, в 1974 году, продолжали это делать в своих письмах. Александр был активным поклонником англо-американского рока, но его отношение к этой музыке было сложным, как, впрочем, и его отношение ко многим вещам. Он не был пассивным слушателем, а пытался разобраться в эстетике рока, его культурных корнях, его психологическом воздействии на слушателя. Но самое главное, он пытался доказать себе и другим, что эстетика западной рок-музыки хорошо подходит к идеалам коммунистического будущего, в которое он верил.

Как не раз отмечалось выше, парадоксы советской культурной политики проявлялись в том числе в двусмысленном отношении государства к западному року и джазу. О некоторых образцах этой музыки советская пресса писала вполне положительно, связывая их с народной культурой или прогрессивными политическими движениями. Другие образцы осуждались как примеры буржуазной псевдокультуры, нарушающей нормальную гармонию звука и физиологию слуха и вызывающей психические и моральные отклонения. Подобные критические высказывания о вредном воздействии рок-музыки существовали и ранее. В главе 5 мы цитировали статью начала 1960-х годов, в которой «легкая музыка» советской эстрады противопоставлялась «безвкусной» музыке западного рок-н-ролла, «полной диких звуков, конвульсивных ритмов и отвратительных стонов», которые пробуждают «в человеке лишь чрезмерную распущенность и мрачное безразличие»[43]. Иногда эта критика отходила на задний план, иногда она вновь оживала. В конце 1970-х годов, после

[43] Кантор 1998: 21.

некоторого затишья появился целый ряд статей о вредном воздействии рок-музыки на человека — в частности, о разлагающем воздействии низких частот, высокой громкости и искаженных звуков на человеческую физиологию и психологию.

Поскольку Александр не просто любил рок-музыку, но и живо интересовался тем, как она «работает», подобные попытки научного анализа ее воздействия, несмотря на их критическую направленность, были ему всегда интересны. В своих размышлениях о влиянии рок-музыки на человека он даже пользовался критическим языком этих статей, при этом, однако, полностью переосмысляя их анализ и выводы с тем, чтобы доказать, что рок-музыка и коммунизм эстетически совместимы и даже схожи, а не противоположны. В письме Николаю от 13 августа 1975 года Александр писал, напрямую цитируя критический дискурс советской прессы:

> Рок-н-ролл — это музыкальный наркотик, без последствий чаще всего (а иногда и не такой безобидный...). И вот в чем дело. Как ты знаешь, современные поп-ансамбли не могут обходиться без усилителей, и часто звуки бас-гитары переходят границы улавливаемой нами частоты (нижние границы), т.е. появляются так называемые инфразвуки, которые определенно влияют на нашу психику. Чем ниже звук, тем сильнее эффект. Правда, слишком низкие звуки действуют подавляюще и могут вообще убить, но до этого в рок-н-ролле не доходит.

В советской прессе научные рассуждения об особой природе рок-музыки — например, о том, как низкие частоты и частоты не уловимого ухом диапазона, которые генерируются электрогитарами, влияют на человеческую психику, — были частью критики этой музыки. Кроме того, эту музыку действительно иногда называли в советских газетах «музыкой-наркотиком» — вспомним статью в «Комсомольской правде» 1981 года, в которой утверждалось, что музыка новых западных звезд, в отличие от популярной культуры прошлого, превратилась в орудие буржуазной идеологии, действующее как «музыка-наркотик,

музыка-снотворное, музыка-обман» и уводящее «слушателей в мир невыполнимых иллюзий» (см. выше)[44].

С другой стороны, официальные публикации конца 1970-х не сводились лишь к критике рока. В некоторых из них было также немало научных рассуждений о природе музыки, вполне в русле советских традиций популярной научной литературы. Именно так воспринимал их Александр, игнорируя критическую составляющую или переиначивая ее смысл. Ему казалось, что эти публикации лишь доказывали важность рок-музыки как особого художественного средства, способного положительно изменить человека и общество. То, что они позволяли Александру интерпретировать свой интерес к рок-музыке в научных и коммунистических терминах, лишний раз легитимировало этот интерес, делая его вполне сопоставимым с интересами Александра в других областях — математике, иностранных языках, философии, поэзии. К тому же, поскольку Александр ощущал себя относительно независимым комсомольцем, который не во всем соглашается с идеологическим мнением немолодых и нетворческих партийных аппаратчиков и учителей, рок-музыка была для него важна еще и как проявление своей независимости. В том же письме (13 августа 1975 года) он писал:

> Что касается моего отношения к рок-н-роллу, то, когда я слышу что-нибудь подобное, я хочу танцевать, танцевать импровизационно, дико, вылить всю энергию лишнюю, получше забыться. Я не люблю тихих записей — не медленных, а тихих. Если рок-н-ролл, то лучше громче. «Кричащих» песен, которые нравятся мне, — много.

Обратим внимание, что такое отношение к западной рок-музыке имело много общего с тем, как она воспринималась в те годы другими ее поклонниками, для которых, в отличие от Александра, идеи коммунизма были не важны или неинтересны. И для них, и для него рок-музыка была одним из способов создания воображаемого мира вненаходимости, который, в случае Александра, мог включать в себя и идею будущего коммунизма. Связь коммунизма и рок-музыки не только не

[44] Барко 1981.

выглядела для него странной, но и казалась абсолютно очевидной. Уже через несколько предложений после предыдущего отрывка из письма, в котором он самозабвенно писал о любви к громкой и сумасшедшей рок-музыке, Александр вернулся к другой постоянной теме своих писем — комсомольской работе и ее связи с понятием нравственности: «Комсомольские дела — это, скорее всего, долг, дело совести, ведь раз ты комсомолец по билету, то будь им и по уставу».

К концу учебного года, прослушав большую часть записей западной рок-музыки, которая ходила среди его друзей в Якутске, Александр вдруг решил, что западная рок-музыка теряет свой революционный запал и более не важна для коммунистического проекта. При этом его анализ этой музыки вновь отличается не только от того, как ее описывал советский авторитетный дискурс, но и от того, как ее понимало большинство советских любителей рока. Пытаясь оценить рок-музыку в историческом контексте, Александр, вновь с юношеским максимализмом, писал, что теперь больше нет особого смысла тратить на нее время и энергию. В письме Николаю от 11 марта 1976 года он связывает рок- и поп-музыку, науку и прогрессивные движения, включая коммунизм, подчеркивая, что актуальность музыки в этой связке все более уменьшается:

> Мне кажется, что поп-музыка переживает кризис, даже можно сказать понемногу теряет значение, отходит на задний план. Максимум приходился на 1967—68-й годы, годы расцвета, так называемого, протеста молодых, всевозможных хиппачей, битников и т.д. Сейчас все это отмирает, хотя еще довольно много групп. Но заниматься изучением их творчества уже, как мне кажется, не стоит. Тем более углубляться в это глубоко. Быть может, я неправ, но мне кажется, что перед нами, поколением 70-х, стоят такие грандиозные проблемы, как синтез белковой жизни, управляемая термоядерная реакция, расцвет кибернетики, и распылять время на увлечения (да еще страстное) гиблым делом — преступление. Сейчас на счету каждая минута. Нужно овладеть громадной суммой знаний, чтобы хотя бы разобраться в сущности основных задач цивилизации.

То, что в этой критике речь идет именно о западной музыке, очевидно из упоминания 1967—1968 годов и движений хиппи и битников. Обратим внимание: когда Александр здесь говорит о потере рок-музыкой ее былых революционных качеств, которыми она обладала в 1960-х годах, может показаться, что он вторит партийным социологам, которые тоже уверяли советскую молодежь в том, что сегодня (в 1970—1980-х годах) западная рок-музыка уже растеряла свой былой революционный запал, присущий ей в 1960-х (см. начало главы). Однако если партийные социологи объясняли этот тезис переходом рок-музыкантов в лагерь буржуазии и контрреволюции, то Александр объяснял его тем, что рок-музыка и искусство вообще, оставаясь революционными, все же отстают от современной науки. Он явно не мог согласиться с заявлениями партийных социологов о том, что рок будто бы служит силам империализма и реакции.

Как мы уже видели, Александру удавалось не только совмещать свои разнообразные интересы, но и подводить под них общую философскую, коммунистическую базу. Эта его способность проявилась еще ярче в последующих письмах. Вскоре после только что процитированного письма Александр вновь начинает писать о рок-музыке как музыке будущего, забыв про критику, которой он ее недавно подверг. Произошло это потому, что, начав учиться на первом курсе Новосибирского государственного университета, Александр открыл для себя большое количество новых западных групп, которых он раньше не слышал. Он узнал о новых направлениях в рок-музыке и понял, что эксперименты в ней продолжаются.

Александр переехал в Новосибирск летом 1976 года и с первых же месяцев учебы в университете начал заниматься комсомольской работой, уделяя при этом много времени занятиям математикой и литературой. В письме Николаю от 21 января 1977 года, после окончания первого семестра в университете, он писал из Новосибирска: «Я по-прежнему между двумя полюсами: математикой и поэзией». Кроме того, в студенческом общежитии университета он познакомился с серьезными любителями западной рок-музыки, приехавшими учиться в НГУ со всех уголков Сибири и Дальнего Востока, и возобновил обмен музыкальными записями. Здесь он столкнулся с гораздо большим числом новых рок-групп и альбомов, чем это было возможно в Якутске. В письмах конца лета и осени 1977 года

Александр рассказывал о своих новых интересах в рок-музыке, математике и литературе. 24 августа 1977 года он писал:

> А теперь немного о моих увлечениях. Я по-прежнему занимаюсь литературой. В музыке для меня произошли кое-какие изменения. Наравне с классикой «строгой» (Бах, Моцарт) и «бит»-классикой (Битлз), я стал буквально уходить с головой в рок. В особенности Uriah Heep[45]. Я боготворю этот ансамбль. Их концерт «Солсбери»[46] — это несомненно шедевр. ...В математике я уже, кажется, выбрал специализацию. Это часть алгебры — теория колец.

За этим абзацем идут две страницы с изложением теории колец с графиками и формулами. В следующем письме, от 7 октября 1977 года, Александр описал механизм обмена рок-музыкой среди студентов Новосибирского университета, в котором он сам активно участвовал, а также указал стоимость пластинок на музыкальной «барахолке»[47]:

> У нас на барахолке пластинки продают, но цены довольно приличные. Так «Salisbury» стоит порядка 70 рублей, «Ram»[48] около 50 рублей (нераспечатка), а распечатанные порядка 45—40 (иногда 30 рублей). А как дело обстоит у вас <в Ленинграде>? Кстати, здесь довольно сильно развита система обмена <пластинками>, а у вас?

Николай, ленинградский друг Александра, к этому времени превратился в настоящего битломана и практически никаких групп, кроме «Битлз», серьезно не признавал. В ответ на такие заявления Николая в его письмах Александр писал, что большинство студентов Новосибирского университета считает музыку «Битлз» устаревшей или,

[45] Британская группа 1970-х годов, чей музыкальный стиль (с ярко выраженными хоровыми и оркестровыми аранжировками и вокалом) находился на грани между прогрессив-роком, арт-роком и хард-роком. Группа была крайне популярна в Советском Союзе в середине 1970-х годов.

[46] *Salisbury* — альбом группы *Uriah Heep*, 1971 года (см. ниже).

[47] Для сравнения: месячная стипендия студента составляла от 40 до 55 рублей.

[48] Альбом Пола и Линды Маккартни, 1971 года.

по крайней мере, слишком хорошо знакомой и потому не слишком интересной. Они предпочитают слушать новые английские и, реже, американские группы. Причем их предпочтение отдается одному жанру, который Александр описал в письме от 14 декабря 1977 года:

> Насчет дискотеки. У нас в «Академе»[49] есть клуб «Терпсихора», который устраивает дискотеки в доме культутры «Юность», но я там не бываю — некогда. Но у нас студенты имеют личные коллекции стереозаписей очень многих ансамблей. Надо, правда, сказать, что «битлов» я редко слышу. Чаще здесь слышны Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, Queen, Wings, King Crimson. Алис Купер, Uriah Heep[50]. реже другие. Из них подчеркнутые мне больше всего нравятся (*подчеркивание принадлежит автору письма. — А.Ю.*).

Александр объяснил, что он предпочитает группы, играющие сложную музыку, а не простые, приятные на слух мелодии. Поэтому ему нравится группа *King Crimson* и «некоторые композиции» группы *Uriah Heep*. 8 сентября 1977 года он ответил на письмо Николая:

> Ты написал о сложности и немелодичности музыки «Uriah Heep». Но именно это меня и привлекает в этом ансамбле. Некоторые композиции кажутся мне просто воплем моей души, я впадаю в истерику (хотя это громко сказано).

Большая часть той музыки, в которую, по его выражению, он и его знакомые «уходили с головой», относилась к довольно «тяжелым» вариантам английского «прогрессив-рока» и «арт-рока»[51]. Музыка этих групп была непростой и не вписывалась в понятие приятной мелодичности, а подчас даже специально усложнялась по

[49] Академгородок Новосибирского университета.

[50] Все перечисленные группы были английскими, за исключением Элиса Купера (Alice Cooper), который был американцем. Этот неполный список верно передает англоцентризм вкусов советских любителей рок- и поп-музыки 1970-х.

[51] Progressive rock, art rock.

структуре и звучанию[52]. Для советских слушателей понимать смысл текстов таких музыкальных композиций было еще менее важно, чем в случае песен, принадлежащих другим направлениям. Структурные особенности этой музыки позволяли ей с легкостью вырываться из любого конкретного контекста и открываться для новых необычных интерпретаций и ассоциаций, что делало ее похожей на некоторые примеры классической музыки[53] и делало ее подходящей для создания новых *воображаемых миров* внутри советской реальности. Этим во многом определяется уникальная популярность подобных групп именно в Советском Союзе и других социалистических странах той эпохи[54].

Но у Александра к этой музыке было еще и свое особое отношение. Если для большинства любителей рок-музыки в СССР утверждения в советской прессе о буржуазном или антисоветском характере этой музыки были просто неинтересны, то с точки зрения Александра эти заявления носили подрывной характер, поскольку они, как это ни покажется парадоксальным, косвенно способствовали упрощению и выхолащиванию эстетической основы коммунизма. Он все больше склонялся к идее о том, что как раз благодаря экспериментальной эстетике музыкальное звучание этих рок-групп полностью соответствует задаче построения будущего

[52] Например, члены группы *King Crimson*, которую Александр любил слушать, так вспоминали о своем эстетическом подходе начала 1970-х: любые музыкальные ходы, которые «имели хоть какой-то намек на популярное звучание, сразу отвергались. Музыка должна была быть сложной, с необычными аккордами, с необычными влияниями. Все, что казалось слишком легким, мы усложняли, играли в ритме $^{7}/_{8}$ или $^{5}/_{8}$...». Интервью Пита Синфилда (Pete Sinfield) для передачи *«Prog Rock Britannia: An Observation in Three Movements»*, BBC 4, 2 января 2009 года (http://www.bbc.co.uk/programmes/b00g8tfv).

[53] Недаром музыка таких групп воспринималась в советском контексте, по выражению Александра, как «рок-классика». Альбом «Salisbury», о которой он пишет в своем письме, — это лишь один, даже не самый яркий, пример. Такие альбомы укладывались для него в понятие «классики» по нескольким причинам — в дополнение к музыкально-ритмической сложности, эклектичности и наличию большого числа длинных импровизационных партий, в записи таких альбомов (включая «Salisbury») часто использовались симфонические оркестры и хоры.

[54] Не секрет, что популярность таких групп, как *Deep Purple* и особенно *Uriah Heep*, была в те годы и остается сегодня гораздо выше в бывших социалистических странах, чем на Западе.

коммунистического общества. В письме от 8 сентября 1977 года он написал по поводу этих групп:

> Вообще, в музыке я вижу тенденцию отказа от всякой гармонии звуков, но соглашение на гармонию с человеческим разумом, духом. <Для того, чтобы> последовательность звуковых сигналов, каким-либо образом действующих на слух <...> стала музыкой, необходимо, чтобы действие было либо эстетическим (т.е. человек получал эстетическое наслаждение), либо психоэстетическим (т.е. помимо его морали, его воззрений, короче, помимо его ума, он получал <...> психоэстетическое наслаждение). Вся (или большая часть) классика оказывает эстетическое <воздействие>, а лучшие рок-ансамбли — психоэстетическое.

Иными словами, ценность хорошей музыки, согласно рассуждениям Александра, заключалась не в красивой мелодике и звучании, которые не вызывают интеллектуальных затруднений и способны привести лишь к примитивному эстетическому наслаждению, а в создании новых неожиданных ассоциаций, смыслов и образов на психоэстетическом уровне, за пределами нормативных понятий красоты, интеллекта и морали. Хорошая музыка, по его мнению, не просто отражает существующие нормы, а создает новые. В следующем письме Александр развивает эту идею дальше, замечая, что лучшие образцы западной рок-музыки, как и любой музыки, воздействуют на человека не на интеллектуальном уровне, а именно на физиологическом, эстетическом и духовном уровнях. То есть, вместо того чтобы действовать как *описание* уже знакомых настроений, явлений или чувств, хорошая рок-музыка *создает* новые, неизвестные ранее ощущения и смыслы. Поэтому такая музыка, рассуждает он, как и все лучшие достижения искусства, ориентирована в будущее. В письме от 23 ноября 1977 года он пишет:

> Мне очень странно, что ты не знаешь ансамбля «King Crimson» и его концерта (альбома) *Lizard*[55]. Понимаешь, рок шагнул очень далеко.

[55]Альбом 1970 года.

> Это уже не эстрада. Это уже выше, глубже и сильнее эстрады. Например, ансамбль «Yes» и его альбом *Relayer*[56]. Там есть композиция, которую по праву можно называть музыкой, которой суждено жить в веках. ...Если композиция настолько глубока по мысли, настолько виртуозно исполнена, что человек попадает под влияние музыки не только физиологически, но и эстетически, духовно, то именно такая музыка имеет будущее. Поэтому есть будущее у Баха, Бетховена, Стравинского, Гершвина. Поэтому есть будущее у рок-музыки.

Александр, видимо, имеет в виду знаменитую композицию «Gates of Delirium» («Врата бреда») группы *Yes* — мини-симфонию длиной в 23 минуты, состоящую из нескольких частей. Это мелодически сложное произведение было виртуозно исполнено группой *Yes* в сопровождении большого числа дополнительных гитаристов, скрипачей, классической духовой секции и вокалистов. Композиция была вдохновлена книгой Льва Толстого «Война и мир», хотя Александр, скорее всего, этого не знал. Но его сразу привлекло напряжение страстей, пронизывающих эту композицию, и ее сложная и постоянно меняющаяся музыкальная структура. Она была прекрасной иллюстрацией тенденций, характерных для новой рок-музыки, которую Александр называл музыкой, обращенной в будущее.

В отличие от примитивного реализма благозвучной эстрады, призванной быть «веселой, грациозной и мелодичной», согласно определению одного советского композитора, которое мы встречали выше[57], — то есть повторять уже известные, несложные, реалистичные нормы — настоящая рок-музыка, по мнению Александра, ставила эти нормы под вопрос. Именно благодаря нестандартности, непредсказуемости и экспериментальности такая рок-музыка, как и любое настоящее искусство, по его мнению, действовала в первую очередь перформативно, выявляя те стороны реальности, которые прямому описанию не поддаются. Делала она это на «психо-эстетическом» уровне чувств, аффекта, интуиции, нестандартного мышления — всего того, что делало

[56] Альбом 1974 года.

[57] По определению П. Кантора (см. главу 5).

рок-музыку близкой философии, поэзии, математической теории колец и идеалам коммунизма.

Эхо будущего

На втором курсе Новосибирского государственного университета, когда Александр особенно интенсивно собирал записи западных рок-групп и информацию о них, он продолжал вести активную работу в комитете комсомола. В этом качестве он был выбран в оргкомитет крупного культурно-идеологического мероприятия, которое должно было пройти в Новосибирске в мае 1978 года, — Недели интернациональной солидарности. Александр подробно рассказал об этом событии в письме Николаю, написанном сразу по его окончании. В рамках недели солидарности, писал Александр, в Новосибирске прошло несколько международных фестивалей и конкурсов — «13-я политическая маевка, 4-й конкурс политплаката, конференция по обмену опытом в интернациональной работе и много других мероприятий». И главное, был проведен «международный фестиваль политической песни», который был для Александра самой важной и интересной частью «недели солидарности». Он писал:

> Что такое наш фестиваль? Это до 50-ти коллективов и солистов со всего Советского Союза и делегации зарубежных стран... из Чили, Португалии, Боливии, Эквадора, Зимбабве, Того, Бангладеш, Палестины, ГДР, ПНР, Кубы и Греции. Это три конкурсных и один заключительный концерт. Это толпы людей, жаждущих лишнего билетика, это превращение концертов в митинги, очень живые митинги, когда 1000 людей в одном порыве скандируют: «Когда мы едины, мы непобедимы!» Это красные, распухшие от аплодисментов ладони, это прекрасные песни. Девиз нашего фестиваля: «Это хорошие песни. Лучшие люди, которых я знал, умирали за них» (Э. Хемингуэй)[58].

[58] В действительности цитата целиком звучит так: «Лучшие люди, которых я когда-либо знал, умирали за эту песню» («The best people I ever knew died for that song»). Ее произносит герой повести Хемингуэя «Пятая колонна», Филип Ролингс, говоря

Весь учебный год, с сентября 1977-го по май 1978 года, Александр принимал участие в подготовке Недели солидарности и особенно фестиваля политической песни. Акцент на этом фестивале делался на прогрессивную «музыку протеста», которая, согласно авторитетному дискурсу партии, олицетворяла солидарность трудящихся и коммунистов всего мира и была направлена, по словам организаторов фестиваля, «против капитализма, империализма и неоколониализма». На сцене, где проходили выступления, висели лозунги на русском и иностранных языках, которые Александр описал в письме: «Политика маоистов — троянский конь империалистов!» или «Ты "вправо" шагаешь, товарищ Соареш[59]!» Музыкальные концерты, на которых исполнялись песни протеста, перерастали в многотысячные политические манифестации. На них звучали речи, направленные против империализма в целом и против конкретных проявлений буржуазной массовой культуры, включая музыку многих западных рок-звезд. В заключение фестиваля на площади была проведена грандиозная церемония, пишет Александр, — были сожжены «десятки чучел империалистов в костре размером с трехэтажный дом» под «дружные возгласы "Ура!" и "Вива!"».

Александр испытывал настоящий энтузиазм по поводу международного фестиваля и его антиимпериалистической, антибуржуазной направленности. Тем не менее это не означает, что он соглашался с буквальным смыслом всех партийных высказываний, лозунгов и речей, которые звучали на фестивале. Прямое противопоставление между «прогрессивной» песней антибуржуазного протеста и «буржуазной» музыкой западных рок-звезд воспринималось Александром не только как явное идеологическое упрощение, но и глубокое заблуждение. Политические песни протеста были важны для него в контексте конкретного

о песне «Bandera Rossa» («Красный флаг») итальянских партизан, сражавшихся против Муссолини.

[59] Мариу Соареш — португальский коммунист, позже социалист, участвовавший в борьбе против режима Антониу Салазара. После победы социалистов на парламентских выборах 1976 года он возглавил правительство и ввел жесткие экономические меры, что вызвало критику со стороны португальских коммунистов и Советского Союза. Советская печать обвиняла Соареша за его поворот «вправо», к идеологии буржуазных классов. Лозунг, который цитирует Александр, был частью этой критики.

международного мероприятия, с его коммунистической направленностью, которую он разделял. Александр воспринимал такие песни не столько как музыку, сколько как прогрессивные политические высказывания. При этом с точки зрения чисто формальной эстетики эта музыка ему и его сверстникам совсем не была близка. Никто из них не стал бы активно обмениваться магнитофонными записями с политическими песнями из Чили, Никарагуа и Того и слушать их дома по вечерам. А вот западная рок-музыка, которую партийные функционеры обличали на фестивале за проявление буржуазной культуры и политики империализма, оставалась для Александра крайне важна. Он активно искал новые записи и покупал с рук новые пластинки, обсуждал их с друзьями и размышлял об их эстетической важности. Именно западную рок-музыку он слушал по вечерам в течение всех тех месяцев, когда он принимал участие в работе оргкомитета по подготовке политического фестиваля.

В отличие от высказываний авторитетного дискурса партии Александр не только не считал музыку антибуржуазного протеста и «буржуазную» рок-музыку несовместимыми явлениями — он даже не считал покупку этой музыки на черном рынке чем-то противоречащим его коммунистическим идеалам. Неудивительно поэтому, что письмо с восторженным описанием антибуржуазного фестиваля не заканчивалось историей о сжигании в огромном костре чучел империалистов и капиталистов. Описав эту церемонию, Александр смущенно добавил: «Что-то слишком патриотическое письмо получается» — и тут же перешел на другую тему, начав ее с фразы, написанной наполовину по-английски: «Теперь about jeans». Именно этим абзацем заканчивается его письмо:

> Теперь *about jeans*. Если у тебя есть возможность достать, напиши, сколько это будет стоить. Если цена будет подходящей, я переведу тебе деньги. *O'Key*. ...Размеры я давал тебе, но если ты их потерял, то рост 5—6 (длина от бедра 112—110 см); размер 46—48.

Этот абзац можно было бы интерпретировать согласно распространенной модели советского субъекта как притворщика и лицемера[60]. Тогда этот фрагмент выглядел бы как проявление скрытой «истинной» сущности Александра, которая противоречит всему, что он сказал ранее в письме. Этот абзац можно было бы прочесть и через призму партийной критики тех лет, примером которой был приведенный выше пропагандистский плакат. Тогда Александр мог бы показаться «приспособленцем», лицемерно скрывающим свое истинное лицо любителя западных джинсов и рок-музыки под маской комсомольского активиста, говорящего языком коммунистических лозунгов или песен интернациональной солидарности трудящихся.

Однако эти интерпретации явно не отражают личность Александра. Они слишком узки и упрощенны. Приспособленец на пропагандистском плакате выражается одним языком в публичном контексте собрания, а другим — в частном контексте личной жизни. А Александр пишет и об антибуржуазном протесте, и об американских джинсах в одном и том же личном письме своему лучшему другу. В других письмах его искренние рассуждения о коммунизме соседствуют с не менее искренними рассуждениями о музыке английских рок-групп. Александр не притворщик. Он не скрывает свои «истинные» мысли за ширмой «притворного» дискурса. Он не прячет свое истиное лицо карьериста под маской активного комсомольца. Все его, казалось бы, противоречивые высказывания, занятия, интересы, пристрастия и этические позиции являются частью одного, сложного, истинного «я». Это «я» — как, впрочем, и «я» любого субъекта всегда и везде — находится в постоянном развитии и становлении; его невозможно свести к какой-то настоящей, непротиворечивой, единственной сущности, которая якобы прячется где-то там внутри, под масками, надетыми поверх.

Заключительный абзац письма вновь напоминает нам, что Александр, как и большинство его сверстников, не воспринимал все высказывания авторитетного дискурса буквально. Когда он с энтузиазмом и даже восторгом писал о фестивале антибуржуазной солидарности, он не кривил душой. Для него этот фестиваль и его идеи борьбы с пережитками

[60] См. главу 1.

колониализма и империализма были действительно понятны, важны и близки. Однако, повторяя форму авторитетных высказываний, как один из организаторов и участников фестиваля, Александр наделял их также и новыми смыслами. С его точки зрения рок-музыка и другие формы «буржуазной» молодежной культуры Запада не противоречили задачам фестиваля, а композиции группы «Кинг Кримсон» не противоречили песням протеста чилийца Виктора Хары. К тому же в музыкальном отношении западная рок-музыка была значительно сложнее, интереснее и менее предсказуемой, чем песни протеста, и потому давала простор для воображения, для мечтаний о новом, включая то, что Александр называл «коммунистическим будущим».

Последний обзац, в котором использованы две английские фразы, *about jeans* и *O'key*, напоминает не только о важности в жизни Александра, как и в жизни большинства его сверстников, иного символического пространства — пространства *воображаемого Запада*, но и о том, что этот воображаемый мир не был прямой противоположностью советского мира и не обязательно находился в антагонистических отношениях к миру активной комсомольской работы и антиимпериалистических фестивалей, в котором жил Александр. Коммунистические ценности, советские лозунги, антиколониальные песни политической солидарности составляли часть коммунистического проекта — и в формальном, и в интеллектуальном, и в нравственном отношении. Американские джинсы, западный арт-рок, сеть обмена и барахолки музыкальных пластинок, а также занятия теоретической математикой и поэзией — все это эстетически и, по выражению Александра, «психоэстетически» было связано в его жизни с одной и той же идеей о лучшем, свободном будущем. *Воображаемый Запад* и *воображаемое коммунистическое будущее* были частью единого мира.

Александр считал, что его вера в коммунистическую идею давала ему моральное право не соглашаться с консервативными трактовками этой идеи, насаждаемыми партийными аппаратчиками и бюрократами. Он не только не был приспособленцем сам, но критиковал за приспособленчество некоторых партийных и комсомольских бюрократов и преподавателей. Чуть ранее, когда Александр и Николай еще были школьниками, Николай рассказал в письме своему другу о чрезвычайно

строгом отношении в его ленинградской школе к внешнему виду учеников. Мальчикам не разрешалось носить длинные волосы, а девочкам делали замечание за ярко-красный цвет накрашенных ногтей и короткие школьные платья. На одном из комсомольских собраний школы учителя резко раскритиковали внешний вид многих учеников, назвав его проявлением крайнего бескультурья и наивного подражания буржуазной западной моде, которые недостойны образа советского школьника. В ответном письме Александру, 25 апреля 1975 года, Николай писал, что он рассказал своим одноклассникам в Якутске о том,

> ...в чем и как вас заставляют ходить в школу. Сначала началась ржачка, а потом все вам посочувствовали. На всякий случай — мы солидарны с вами в отношении одежды в споре (если такой будет или есть) с учителями. Кстати, я — секретарь комитета комсомола средней школы № [*номер школы*] — полностью не согласен с вашими учителями насчет одежды и волос. Считаю, что им надо напомнить следующие строки: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо (!), и одежда (!!!), и душа, и мысли» (Чехов А.П.). «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» (Пушкин А.С.). В общем, меня там нету, а жаль, вот бы я с ними поспорил, с этими мымрами!

Двумя годами позже Николай, окончивший к тому времени школу и теперь учившийся в техникуме, написал Александру о споре, который он и его друзья вели с преподавателем по эстетике. Преподаватель, подобно советским социологам из начала главы, осуждал интерес студентов к западным рок-ансамблям как признак наивности, политической незрелости и отсутствия настоящего вкуса. 21 января 1977 года Александр написал ответ из Новосибирска:

> Кстати, передай от моего имени учителю эстетики, что нельзя смотреть на окружающий мир с доисторических позиций, а то оттуда, снизу наша жизнь почти не видна, видны лишь пятки и, извини за выражение, наши задницы. Надо, по крайней мере, быть чуть впереди, чтоб заглянуть к нам в глаза, тем более ей, правительнице человеческих характеров, воспитательнице нравов. Ведь с вершины

> прекрасно видно, что рок и его братья — это достойные преемники классиков и что «Битлз» — это беспрецедентное явление в нашей жизни, которое, пожалуй, сравнимо с полетами в космос и ядерной физикой по воздействию на человеческий разум. Ведь нельзя воспитывать нас, не зная, чем мы живем, чем мы мучаемся, кого любим и почему любим. Передай ей, что я, любитель Баха, Вивальди, Чайковского, Рахманинова, Щедрина, могу, без оговорок, рядом с ними поставить Пола Маккартни. Если она не понимает этого, то она не учитель живой, развивающейся эстетики, а проповедник догматичной эстетики. А это сродни проповеди религиозной эстетики, эстетики христианской.

В своих рассуждениях в этом письме Александр напрямую связал эстетические символы и формы, считавшиеся «буржуазными» и бескультурными, с официальными достижениями советского социализма (покорением космоса, успехами в ядерной физике) и советским каноном русской, советской и мировой культуры (Бах, Вивальди, Чайковский, Рахманинов, Щедрин). То, что он поддерживал коммунистические идеалы и использовал для этого стандартные идеологические высказывания, не мешало ему не соглашаться с тем, как эти идеалы интерпретировались консервативными, с его точки зрения, партийными чиновниками и преподавателями. Сравнивая их негибкое понимание коммунистической эстетики с религиозной догмой, Александр настаивал на необходимости переосмыслить коммунизм в новых терминах — недогматичных, экспериментальных, эстетически гибких. Если наиболее косные партийные чиновники видели в зарубежной рок-музыке в первую очередь разлагающее буржуазное влияние, Александр видел в ней особую ориентированность на будущее, которую он также видел и в лучших примерах классической музыки, математических теорий, космических исследований и трудах Маркса и Ленина. Для него ценность этих научных, эстетических и этических областей знания была неотрывно связана с верой в важность работы по построению коммунистического общества.

Ориентация на будущее стала центральным организующим моментом всего, о чем Александр думал и писал в это время. В письме

от 8 сентября 1977 года, вслед за приведенными выше мыслями о рок-музыке, он продолжил другую дискуссию с Николаем, начатую несколькими письмами раньше. Друзья полемизировали о важности тех или иных теоретических наук — в частности, о значении математической теории колец, в которой Александр начал специализироваться в институте. На замечание Николая о том, что теория колец слишком абстрактна и не имеет прямого практического применения, Александр ответил, что думать следует не о сегодняшнем дне, а о будущем:

> Дело здесь вот в чем. Развитие фундаментальных наук не спрашивает разрешения у человеческих потребностей к деятельности. Оно необходимо уже потому, что это есть неоспоримая суть, исследование структур, пускай абстрактных. Человеку на то и дан ум, чтобы абстрагировать. Если бы человек каждый раз задумывался, зачем ему думать над тем-то и тем-то, и можно ли будет то, что он придумает, съесть, — то вряд ли бы тот человек стал человеком. Я могу на 100% дать гарантию, что в ближайшие 500—1000 лет то, чем занимаются кольцевики, кому-нибудь пригодится; и я на 101% уверен, что настанет момент, когда кто-нибудь скажет: «А ведь не зря они трудились!»

Теория колец и теоретическая наука важны, настаивал Александр, потому что они работают на будущее — причем не сиюминутное, а дальнее, воображаемое и поэтому не менее важное для нас сегодня. Искусство и музыка важны, на его взгляд, по той же причине. В своей реакции на критические высказывания преподавательницы эстетики, приведенные в предыдущем письме, Александр обвинял ее в том, что она не знает молодого поколения, так как сидит в яме, из которой ничего нового не видно. Она не способна выбраться за рамки стереотипов авторитетного дискурса, не способна размышлять творчески и думать о будущем. Хотя юношеская вера Александра в коммунизм может показаться наивной, провинциальной и не связанной с интересами большинства его сверстников, которые существовали в различных отношениях *вненаходимости* с советской системой, в действительности между Александром и этими людьми было много общего. Подобно им, Александру было важно и интересно участвовать в создании новых,

непредсказуемых, недогматичных смыслов, наполнявших его жизнь. И, подобно им, он знал из личного опыта, что заниматься этим можно было при условии, что ты также участвуешь в воспроизводстве стандартных форм авторитетного дискурса.

Именно ощущение того, что значительная часть западной рок-музыки ориентирована в будущее и при этом позволяет человеку переосмыслить это будущее в своих собственных терминах, делало рок-музыку столь привлекательной для Александра не только в эстетическом, но и идеологическом смысле. Не все западные группы 1970-х годов завладели воображением советской молодежи того времени в одинаковой степени. В эстетике групп, чьи альбомы легче других пересекали политическую и культурную границу Советского Союза и расходились по нему в сотнях тысяч магнитофонных копий, было что-то общее. Многие из них (хотя и не все), как мы уже отмечали, принадлежали к той или иной разновидности арт-рока, прогрессив-рока или хард-рока; их музыка не отличалась легкостью и мелодичностью; их композиции состояли из многих частей, были насыщены богатыми инструментальными аранжировками, сложным и подчас почти оперным вокалом, импровизационными вставками, частой сменой тональностей, подчеркнутыми гитарными рифами, искаженным звучанием и другими звуковыми эффектами, создающими общую атмосферу ухода от реализма, простой мелодичности, на место которых вставал эксперимент и даже чувство потусторонности. Эти свойства делали большую часть английского рока 1970-х годов столь подходящим материалом для формирования воображаемых миров вненаходимости[61].

Музыка этих групп резонировала в позднесоветском контексте с чем-то, о чем большинство этих групп, скорее всего, не слишком задумывалось, — с авангардно-экспериментальной, направленной в будущее эстетикой, которая когда-то была важной частью революционной культуры

[61] К таким группам в Советском Союзе в 1970-х годах относились *Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Deep Purple, Queen, Uriah Heep, King Crimson, Jethro Tull, Yes, Sweet* и многие другие (подавляющее большинство было группами из Англии). При этом появившиеся в то же десятилетие группы, игравшие в стиле панк (*Ramones, Sex Pistols, Clash*) и *new wave* (*Police, Talking Heads, Elvis Costello*), завоевывали советских слушателей с гораздо большим трудом. А популярные на Западе исполнители, ориентированные на концептуальность и сложный смысл (в поэзии — Боб Дилан и Джони Митчелл, в театрализованных представлениях — Дэвид Боуи), были в советском контексте относительно маргинальны.

и во многом оставалась важной в позднесоветский период[62]. Желание Александра думать о далеком будущем и его тяга к экспериментированию с нестандартными формами в эстетике и науке были напрямую связаны с давней экспериментальной эстетикой революционных лет. Для Александра критическое противопоставление между «лучшими примерами рок-музыки» и советскими эстрадными коллективами, исполняющими приятные и поверхностные мелодии, не являлось противопоставлением между буржуазной и коммунистической культурами. Для него оба этих вида музыки относились к двум противоположным тенденциям, обе из которых присутствовали в самой советской системе — одна тенденция была направлена в прошлое, была основана на застывших формах авторитетного дискурса и негибкой догматичной эстетики, другая тенденция была направлена в будущее, и в ней приветствовались новаторство и эксперимент.

Наличие в советской культуре этой второй составляющей проявлялось и в возникших в те годы советских *любительских* рок-группах — не только в их музыке, но и в их текстах, и даже названиях. Эти группы в корне отличались от «профессиональных» государственных ВИА (вокально-инструментальных ансамблей), репертуары и эстетика звучания которых контролировались гораздо сильнее и были просты и предсказуемы. Это же касалось и названий государственных ВИА — «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Веселые ребята», «Песняры», «Добры молодцы», «Самоцветы» и так далее. В отличие от них многие любительские рок-группы любили экспериментировать и со звуком, и с текстами, и с названиями, часто опираясь на традиции серьезной русской или зарубежной поэзии. Большинство из них подбирало себе названия, связанные с воображаемыми мирами — с другим временем и пространством, фантастическими существами, иными формами жизни. Если поначалу это были в основном английские названия (см. главу 5),

[62] Некоторые английские группы 1970-х действительно черпали вдохновение в том числе в революционном русском авангарде 1910—1920-х годов. Обусловлено это было, во-первых, тем, что в этот период многие английские рок-музыканты учились в художественных колледжах и институтах искусств и были хорошо знакомы с историей авангарда, и, во-вторых, тем, что под влиянием протестных движений 1960-х интерес к тому революционному периоду в искусстве возрос. О более глубокой связи эстетики рока с ранним авангардом XX века см.: Marcus 1990.

то в 1970-х — начале 1980-х годов стало появляться все больше русских названий — «Аргонафты», «Мифы», «Зеркало», «Аквариум», «Машина времени», «Зеленые муравьи», «Джунгли», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Наутилус Помпилиус».

Нестандартное звучание их музыки преломляло советскую повседневность и трансформировало ее смыслы, что делало эти группы интересными для многих представителей последнего советского поколения. Эта музыка стала еще одной эстетической формой, которая открывала возможность для творчества и воображения, не требуя при этом ни выражать поддержку системе, ни находиться в активной оппозиции к ней. Многим любителям этой музыки из последнего советского поколения она позволяла думать о «глубоких истинах» и вечных, универсальных проблемах, а не о конкретных политических реалиях их существования[63]. Людям же, подобным Александру, эта музыка давала возможность размышлять о воображаемом мире будущего, который отличался от его описания в советском авторитетном дискурсе, но был, тем не менее, окрашен верой в коммунистическую идею и авангардным желанием разорвать застывшие каноны. Многие современники Александра тоже рассуждали о духе раннего авангарда и футуризма в эстетике современной рок-музыки. Николай Гусев — в позднесоветский период участник знаменитых групп «Странные игры» и «АВИА», — объясняя свой интерес к западной рок-музыке, тоже подчеркивал ее связь с культурным авангардом революционных лет: «Меня всегда интересовал авангард 1920-х годов, который для меня находится на одном уровне с панк-роком в его более серьезных и качественных проявлениях, задачей которого является разрушение всех преград. Советский авангард 1920-х, конструктивизм, Эль Лисицкий и т.д. — все это было огромным прорывом, мощным ударом молота по наковальне»[64].

[63] Вспомним слова музыканта из главы 4: «Нас интересуют общечеловеческие проблемы, не зависящие от той или иной системы или от того или иного времени. То есть они как существовали тысячу лет назад, так и продолжают существовать сегодня — это отношения между людьми, связь между человеком и природой и т.д.» — цит. по: Cushman 1995: 95.

[64] Интервью с Гусевым см. в: Nikkila 2002. Необычные экспериментальные звуки, образы и тексты часто использовались авангардными художниками 1910—1920-х годов в качестве эстетических средств по созданию образа будущего.

Глава 7

ИРОНИЯ ВНЕНАХОДИМОСТИ
Некроэстетика, стёб, анекдот

> Художником становятся вот какой ценой: все, что все прочие «не-художники» именуют формой, воспринимаешь как «содержание», как само дело. Тем самым, конечно, оказываешься в перевернутом мире: ибо отныне всякое содержание становится для тебя чем-то формальным, — включая и саму жизнь.
>
> *Фридрих Ницше, 1901 год*[1]

Митьки

«Митьки никого не хотят победить» — гласил лозунг группы художников, появившейся в Ленинграде в начале 1980-х годов. Об этой группе уже немало написано, и мы не будем останавливаться на их живописном творчестве. Посмотрим лишь на некоторые стороны необычного, ироничного поведения, которое они придумали, описали, мифологизировали и во многом воплотили в свою ежедневную жизнь. Обратимся мы и к другим примерам подобного ироничного поведения, включая те, которые к художественной деятельности вообще никакого отношения не имели и были куда менее экзотичными, чем поведение Митьков, но все же были связаны с ним общей культурной логикой, возникшей в этот период. Некоторые из этих примеров относятся, скорее, к крайним проявлениям такого поведения и отношения. Как и в предыдущих главах,

[1] Ницше 2005: 447.

взгляд сквозь призму некоторых крайностей поможет нам с новой стороны взглянуть на принцип *вненаходимости*[2] — принцип, который являлся, как мы писали выше, центральным принципом взаимоотношения с системой в период позднего социализма и который в той или иной степени практиковался большинством советских граждан.

К примерам того, как принцип вненаходимости проявлялся в повседневности, относятся всевозможные, хорошо известные тактики получения максимально большего количества того, что можно назвать «символическим свободным временем» — временем свободным от взаимодействия с ритуалами и высказываниями авторитетного дискурса системы. Некоторые представители последнего советского поколения предпочитали устраиваться на малооплачиваемую и неквалифицированную работу в качестве кочегаров, дворников, гардеробщиков, техников теплоцентров и так далее. Такая трудовая деятельность удовлетворяла закону об обязательной трудовой занятости и обеспечивала человека минимальными, но достаточными для скромного существования средствами. И одновременно она давала человеку большое количество *символического свободного времени*. Это проявлялось как непосредственно в рабочее время (обязанности такого сотрудника были просты и минимальны, а общественная жизнь на подобных должностях была сведена к минимуму), так и между сменами (график работы был обычно организован по принципу одной длинной смены, иногда длящейся целые сутки, с большим количеством выходных между сменами). Таким образом, относительное свободное время появлялось и на работе, и вне работы. Тратилось оно по-разному — у кого-то на художественные или интеллектуальные занятия, чтение, музыку, рисование, у кого-то на личную жизнь, у кого-то на общение с друзьями. Большинство членов групп, подобных тем, о которых речь пойдет ниже, тоже были заняты именно такой трудовой деятельностью.

Как-то осенью 1983 года художник Владимир Шинкарев, один из членов группы художников «Митьки», во время рабочей смены

[2] См. главу 4.

Рис. 36. Обложка книги «Митьки: описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским» (1990). Этот рисунок Флоренского относится к началу 1980-х гг.

в своей котельной написал небольшой манускрипт, в котором рассказывалось о жизни его друзей по группе[3].

По словам Шинкарева, в его планы входило не создание точного описания реальных событий и героев, а передача подчеркнуто беспечного и веселого отношения к жизни, которое выработалось среди его друзей, но никем пока не было сформулировано в виде некой философии жизни. Являясь литературным гротеском, текст Шинкарева все же довольно точно передавал общий дух «митьковского» существования[4]. Кроме того, Шинкарев воспринимал свой текст «не только как описание, но

[3] Книга была написана в 1983 году и оставалась в самиздате с момента написания и до конца перестройки. Материалы цитируются по изданию: Митьки: описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским. СПб.: Сонарт, 1990. См. анализ политического феномена группы Митьков в: Yurchak 2008a.

[4] Авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, 2005 год.

и как некое руководство к жизни», хотя он и не рассчитывал на то, что кто-то действительно начнет применять его подобным образом[5].

Персонаж, который выводится в тексте Шинкарева, — некий «истинный Митек» — работает в котельной, занимается своими делами и абсолютно не в курсе того, что происходит в окружающем его «большом» мире. Он не следит за новостями, не читает газет, не смотрит телевизор. Его не заботят карьера, деньги, социальный успех. К своему здоровью он тоже относится спустя рукава. Его взаимоотношения с обществом ограничены небольшим набором действий, которых просто не избежать. Например, если он ходит в магазин, то делает это в крайнем случае, для покупки базовых продуктов питания. И знает он о существовании лишь пары соседних магазинов, один из которых — винно-водочный. Согласно тексту, физиологические потребности Митька крайне просты и незамысловаты, и на их удовлетворение уходит мало средств и усилий: «Митек, конечно же, зарабатывает в месяц не более 70 рублей в своей котельной (сутки через семь), где он пальцем о палец не ударяет, ибо он неприхотлив: он, например, может месяцами питаться только плавлеными сырками, считая этот продукт вкусным, полезным и экономичным, не говоря уж о том, что его потребление не связано с затратой времени на приготовление»[6].

Согласно другому рассказу из текста Шинкарева, один героический Митек изобрел быстрый и недорогой способ приготовления большого количества пищи на месяц вперед, для экономии времени и денег: «Этот Митек покупал 3 кг зельца (копеек 30 за кг), 4 буханки хлеба, две пачки маргарина для сытности, тщательно перемешивал эти продукты в тазу, варил и закатывал в десятилитровую бутыль. Таким образом, питание на месяц обходилось ему примерно в 3 рубля плюс большая экономия времени»[7].

[5] Шинкарев вспоминает, что вдохновила его знаменитая поэма Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки», написанная в 1970 году и имевшая широкое хождение в самиздате. Но при этом он сознательно написал свой труд в ином жанре, объясняя это так: «*Москва-петушки* не могла послужить реальной моделью существования, а книга о Митьках могла» (авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, 2005 год).

[6] Шинкарев 1990: 18.

[7] Там же.

Персонаж этого повествования активно пользуется принципом вненаходимости, благодаря чему он может сосредоточить внимание на общении с друзьями, занятии живописью, написании литературных текстов, подобных шинкаревскому, и прочих артистических увлечениях. При этом он крайне дружелюбен, что является другой стороной неприхотливости. Этого литературного персонажа иногда сравнивают с архетипическим героем русских сказок Иванушкой-дурачком — простодушным деревенским парнем с золотым сердцем, которому в конце концов всегда удается завоевать девичье сердце. Но сравнение это работает лишь наполовину, а в некотором смысле Митек даже является прямой противоположностью Иванушки. Для иллюстрации этого отличия процитируем полностью более длинную историю, тоже вошедшую в мифологию Митьков:

> ...плывет океанский лайнер. Вдруг капитан с капитанского мостика кричит в матюгальник:
>
> — Женщина за бортом! Кто спасет женщину?
>
> Молчание. На палубу выходит американец. Белые шорты, белая майка с надписью «Майами бич». Одним взмахом пластично расстегивает зиппер, срывает шорты и майку, остается в плавках стального цвета. Корабль, затаив дыхание, смотрит. Американец, поигрывая бронзовым телом, подходит к борту, грациозно, не касаясь перил, перелетает их и входит в воду без брызг, без шума, без всплеска! Международным брассом мощно рассекает волны, плывет спасать женщину, но... не доплыв десяти метров... тонет! Капитан в матюгальник:
>
> — Женщина за бортом! Кто спасет женщину!
>
> Молчание. На палубу выходит француз. Голубые шорты, голубая майка с надписью «Лямур-тужур».
>
> — Я спасу женщину!
>
> Одним взмахом пластично расстегивает зиппер, срывает шорты и майку, остается в плавках с попугайчиками. Корабль, затаив дыхание, смотрит. Француз подходит к борту, как птица перелетает перила, входит в воду прыжком три с половиной оборота без единого всплеска! Международным баттерфляем плывет спасать женщину,

> но... не доплыв пяти метров, тонет. Капитан в матюгальник срывающимся голосом:
>
> — Женщина за бортом! Кто спасет женщину!
>
> Молчание. Вдруг дверь каптерки открывается, на палубу, харкая и сморкаясь, вылезает русский. В рваном промасленном ватничке, штаны на коленях пузырем.
>
> — Где тут? Какая баба?
>
> Расстегивает единственную пуговицу на ширинке, штаны падают на палубу. Снимает ватник и тельняшку, кепочку аккуратно положил сверху, остается в одних семейных трусах до колен. Поеживаясь, хватается за перила, переваливается за борт, смотрит на воду и с хаканьем, с шумом, с брызгами солдатиком прыгает в воду и... сразу тонет[8].

Русским героем является Митек. В рассказе отсутствует ожидаемая кульминация, которая была бы возможна, если бы герой спас тонущую женщину или хотя бы героически утонул в метре от нее. Митек не дает этой кульминации случиться, поскольку тонет, даже не начав плыть. Если сказочный Иванушка-дурачок в конце концов побеждает заморского принца или сверхъестественное существо, то в митьковском рассказе не побеждает никто. Неожиданность этой концовки является одним из важных элементов митьковской эстетики. Главной идеей здесь является не то, что выдуманный герой не тянет на «крутого парня», а то, что он даже не догадывается, что кто-то хочет быть крутым. Митек никого не побеждает потому, что стремление к победе ему просто незнакомо — он не понимает, что такое состязание. Но по этой же причине он не может и проиграть. Он существует в *отношении вненаходимости* ко всему дискурсивному пространству, в котором и выигрыш, и проигрыш возможны как таковые. Находясь внутри формальных параметров этого пространства, он живет за пределами его констатирующих смыслов.

Подобные истории постоянно пересказывались членами группы и их друзьями, зачастую в присутствии людей, слышавших их не в первый раз. Сам ритуал пересказа был не менее важен в создании митьковского

[8] Шинкарев 1996: 81—82.

мифа, чем другие ритуализованные действия — ритуалы общения, совместного распития спиртного, произнесения тостов, а также ритуалы приветствий, с обниманиями и похлопываниями, поцелуями и драматичным жестикулированием. Ритуализован был и стиль одежды Митьков, главными чертами которого было использование неизменных тельняшек и недорогой, неяркой, мешковатой одежды большого размера, подчеркивающей полное отсутствие идеи «модного» внешнего вида. Речь Митьков тоже была ритуализована: эмоциональный драматизм сочетался в ней с гротескным добродушием, иногда доходящим почти до истерики[9]. Ее важной чертой было большое число междометий, возгласов и уменьшительно-ласкательных форм, многие из которых члены группы придумали сами. Друг к другу, к своим друзьям, а часто и к незнакомым Митьки обращались, используя уменьшительные формы «братишка» и «сестренка», в которых подчеркивались не просто добрые, но квазиродственные отношения между говорящими. Родственность отношений подчеркивалась и в названии группы, образованном от имени Митек — уменьшительно-ласкательного варианта Дмитрия. Митьком в детстве родители называли Дмитрия Шагина, одного из основателей группы и, согласно Шинкареву, автора ее специфического образа. То есть Митьки являются как бы «братьями» Дмитрия[10].

Ритуализованные формы речи и практики общения этой группы и ее окружения способствовали созданию особой *публики своих* — публики, в которой граница между знакомыми, друзьями и родственниками была относительно размытой. Вспомним, что члены археологического кружка, о котором говорилось в главе 4, подчеркивали, что они являлись друг для друга «родными, близкими людьми», между которыми существовала особая родственная связь, имевшая, по их словам, «совершенно другой уровень», чем «кровное родство»[11]. *Публика своих* вокруг Митьков была неоднородна. Например, настоящим Митьком было легче быть мужчине; женщины чаще занимали позицию сестренок (жен, любовниц, подруг,

[9] Guerman 1993b.

[10] Они также являются «духовными детьми» родителей Шагина — известных ленинградских художников Владимира Шагина и Натальи Жилиной (Guerman 1993b).

[11] См. главу 4.

знакомых), но не Митьков. Причин тому множество. Мужчине в советском контексте было легче иметь свободное время, посвященное личным интересам или общению, поскольку к нему в принципе предъявлялось меньше социальных требований по поддержанию домашнего быта, чем к женщине, особенно замужней. Это давало мужчинам больше свободы для экспериментирования с практиками вненаходимости. Однако это разделение совсем не обязательно подразумевало воспроизводство стандартно-патриархальных «гендерных» субъектностей или ролей: мужчины-Митьки вполне осознанно не отвечали традиционному, нормативному советскому образу мужественности, вместо него практикуя его гротескное отсутствие. В этом тоже проявлялось состояние вненаходимости по отношению к авторитетному символическому режиму.

Кому-то митьковская ироничная невовлеченность в советский мир может показаться попыткой его отвергнуть. Однако в действительности она была построена на противоположном принципе — добродушно-наивном принятии всех и вся, включая принятие системы, правда исключительно на уровне формы. Этим позиция Митьков отличается от отстраненного и слегка высокомерного отсутствия интереса к советской реальности, которое, судя по воспоминаниям современников, десятилетием ранее культивировал Иосиф Бродский. Можно искать корни митьковской иронии и в литературно-художественном авангарде начала XX века — от произведений русских футуристов до текстов Даниила Хармса. Но попытка выстроить подобную историческую генеалогию тоже оказывается верна лишь отчасти, поскольку она заведомо преуменьшает главную черту митьковской ироничной эстетики, являвшейся уникальным продуктом именно позднего социализма, — их абсолютное, добродушное, слегка гротескное принятие *формы* советской жизни (включая ее ежедневные практики, привычки, выражения, внешний вид), при почти полной невовлеченности в констатирующие (идеологические) смыслы, которые в эту форму якобы вкладывались.

Еще важнее то, что подобную ироничную невовлеченность неверно рассматривать ни как пассивную или аполитичную позицию, ни как уход из сферы политического действия в состояние *негативной свободы*. Негативная свобода, согласно Исайе Берлину, который дал ей определение, является «свободой от» — то есть способностью

субъекта или группы к тем или иным действиям, при отсутствии внешнего вмешательства. Исайя Берлин противопоставил ее *позитивной свободе* — «свободе для», то есть способности субъекта или группы к тем или иным действиям при наличии внешнего вмешательства; например, способность вести определенный образ жизни, который предписан со стороны[12]. С этой точки зрения модель существования Бродского в 1960-х годах, описанную в главе 4, вполне можно рассматривать как попытку достижения негативной свободы. Но что касается Митьков, то их модель существования в это *либеральное* определение двух видов свободы вообще не вписывалась. Вспомним главный лозунг этой группы — *Митьки никого не хотят победить*. Он не являлся выражением ни действия, совершаемого вопреки внешнему вмешательству, ни действия, совершаемого в рамках этого вмешательства. Вместо этого лозунг очень точно выражал особую позднесоветскую позицию, наиболее распространившуюся в 1970-х годах, которую Шинкарев назвал «активным стремлением к ничему» и расшифровал как «активное желание никому не противостоять, никого не унижать и не стремиться к достижению личного успеха»[13]. Этот вид «активного стремления к ничему» выражает особую, позднесоветскую модель свободы, которую мы назовем *свободой вненаходимости*[14]. Хотя по внешней форме она может напоминать поведение в рамках позитивной свободы, ее смысл отличается от смысла последней.

Еще несколько сравнений помогут нам лучше разобраться в том, что такое свобода вненаходимости. Подход Митьков иногда сравнивают с известным приемом «остранения», описанным Виктором Шкловским в 1910-х годах. Хотя это сравнение полезно, оно тоже оказывается не совсем точным. *Остранение* заключается в создании нового, необычного видения предмета, в результате которого знакомые вещи начинают

[12] См.: Берлин 1998: 19—43.

[13] Авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, зима 2005 года. Отголоски этой позиции звучали и позже, даже в относительно революционный период перестройки. Вспомним, например, известную песню группы «Кино» 1988 года, «Группа крови», в которой Виктор Цой пел: «И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой, я никому не хочу ставить ногу на грудь».

[14] По аналогии с «политикой вненаходимости» — см. главы 4—6.

восприниматься по-новому, как впервые увиденные. Этот прием напоминает политическую стратегию Бродского. Когда, указывая на шестиметровый портрет члена политбюро Мжаванадзе, Бродский спрашивал: «Кто это? Похож на Уильяма Блейка»[15], он (в отличие от диссидентов) подвергал советский авторитетный символ процедуре остранения[16]. Практика Митьков с первого взгляда вроде бы напоминает этот жест Бродского, но в действительности заключается в прямо противоположном действии. Они строили свое поведение не как *другое*, непонятное, не вписывающееся в советскую реальность, а, напротив, как абсолютно советское по форме, во многом даже более советское или гротескно советское, чем поведение «нормальных» советских граждан. Герой по имени Митек, роль которого члены группы проживали, был настолько абсолютно со всем согласен и всем доволен в окружающей советской действительности, что ему даже незачем было вникать в смысл того, с чем именно он согласен и чем именно доволен. Поддержка системы этим субъектом заключалась не в том, что он осознанно поддерживал буквальный смысл ее авторитетных высказываний, а в том, что, участвуя в воспроизводстве системы, он игнорировал буквальный смысл ее высказываний. Он поддерживал их лишь на уровне формы, как бы не подозревая о существовании констатирующего смысла вообще. Очевидно, что именно такая, чисто *формальная* поддержка идеологических высказываний, вообще не зависящая от их констатирующего смысла, является

[15] Довлатов 1993: 23, см. главу 4.

[16] По мнению Светланы Бойм, на приеме остранения была основана политическая стратегия советских диссидентов в 1960—1970-х годах (Бойм 2002). Однако с этим взглядом сложно полностью согласиться, ведь большинство диссидентов стремилось не практиковать «неузнавание» советских политических высказываний, а, напротив, «называть вещи своими именами» — то есть интерпретировать эти высказывания напрямую, буквально. В отличие от диссидентов Бродский именно «не узнавал» портреты членов политбюро — то есть, вместо того чтобы интерпретировать высказывания и символы авторитетного дискурса буквально, он практиковал их остранение. Именно поэтому Бродского сложно назвать «диссидентом» в традиционном советском смысле этого термина — то есть субъектом, активно противопоставляющим себя режиму. Он и сам от этой характеристики всегда отказывался и критически относился к традиционной оценке моральной позиции диссидентства — см., например, яркую полемику Бродского с Вацлавом Гавелом (Havel 1993 и Brodsky, Havel 1994).

наиболее полной и безусловной поддержкой этих высказываний. Таким образом Митьки подвергали символический ряд советской жизни не остранению, а *перформативному сдвигу* — абсолютно идентифицируясь с этой жизнью по форме, они «не догадывались» о ее констатирующих смыслах. Если и можно сказать, что в основе этого подхода лежал прием остранения, то это было «остранение наоборот», поскольку вместо дистанцирования от нормы этот подход подразумевает *сверхидентификацию* (то есть гротескную идентификацию) с ней[17]. Можно предположить, что в отличие от Бродского Митьки просто не заметили бы большой портрет члена политбюро на фасаде дома и им бы уж точно не пришло голову поинтересоваться тем, кто это. Для них, как и для большинства позднесоветских субъектов, смысл этого портрета ограничивался его формой, тем, что он просто *был*, тем, что он просто являлся элементом материального ландшафта, как окружающие деревья, лозунги и фасады. Он не оказывался автоматически в поле зрения, он был незаметен, «прозрачен», и трудно было задуматься о том, какой буквальный смысл в него вкладывается. Так же трудно было обратить внимание на полотно с фразой «Народ и партия едины», располагающееся на крыше дома, и тем более воспринять эту фразу как лингвистическое высказывание, *описывающее* некий факт окружающей реальности.

Повторим, что подобное отношение к символам советского авторитетного дискурса — в основе которого лежит процедура сверхидентификации с их формой при смещении или полном стирании их констатирующего смысла — также неверно было бы рассматривать как *аполитичное* отношение, поскольку оно вело не к поддержанию status quo (как могло показаться со стороны), а к разрушению смысловой структуры системы и кризису ее идеологической функции. То есть это отношение вело к подрыву символической стороны властных структур Советского государства. Однако совершался этот подрыв не посредством

[17] Подробнее о принципе *сверхидентификации* (overidentification) см.: Žižek 1993b, Yurchak 1999, 2006, 2008, 2011a; Boyer и Yurchak 2010. Этот принцип также известен в литературе под другими именами — как «гиперкогерентность» (*hypercoherence* — см.: Dittmer 1981: 146—147), «миметическая критика» (см.: Юрчак 2008), «подрывающая поддержка» (*subversive affirmation* — см.: Inke и Sasse 2006) и «сверхсимуляция» (*over-simulation* — см.: Lakoff 2005: 848—873).

прямого сопротивления системе, а посредством ее *внутренней детерриториализации*. Как уже говорилось в главе 4, такое отношение к системе было не аполитичным, а вполне политическим, но основанным на нетрадиционном понимании политики — эта была политика особого вида, которую мы назвали *политикой вненаходимости*.

Безусловно, это понимание «политического» является необычным и не вписывается в традиционное определение политики. Даже люди, практиковавшие такой способ существования и такие отношения с системой, обычно не думали о своей позиции как о политически мотивированной. Напротив, они подчеркивали, что любая политическая позиция по отношению к системе им глубоко неинтересна. Однако в этом ничего парадоксального нет. Вызвано было такое отсутствие интереса занять «политическую» позицию по отношению к системе тем, что в советском авторитетном дискурсе понятие «политического» вообще и «политической позиции» в частности могло выражаться только в бинарных терминах — политическая позиция была либо «советской», *за* систему (позиция члена партии, комсомольского активиста, сознательного советского гражданина), либо «антисоветской», *против* системы (позиция диссидента, антисоветчика, врага). Очевидно, что позиция вненаходимости по отношению к системе (в отличие от позиции диссидентов) не вписывалась в эту бинарную модель политического и поэтому не признавалась как политическая даже теми, кто ее практиковал. Это не мешало ей, однако, вести к важным политическим результатам — невидимой детерриториализации системы изнутри и, следовательно, подрыву ее основ.

Конечно, какой бы уникально советской ни была политика вненаходимости, ее аналоги не могли не существовать в других социально-культурных контекстах. Как-то, в начале 1980-х годов, сидя в котельной и читая самиздатовские тексты, члены группы Митьки столкнулись с переводом книги о традиционном китайском учении *даосизме*. Шинкарев вспоминает: «Мы неожиданно узнали в тексте себя. Стало сразу понятно, что Митьки больше всего похожи именно на даосистов»[18]. В чем заключалось это узнавание? Согласно учению даосизма, причиной

[18] Авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, 2005 год.

всех человеческих бед являются искусственно созданные оппозиции: моральные (*хороший—плохой*), эстетические (*красивый—некрасивый*), политические (*свой—чужой*) и другие. Для достижения гармонии, считают даосисты, следует отказаться от этих оппозиций как организующего принципа человеческой жизни и вместо них практиковать принцип созерцательности, известный как *у-вей*. Этот принцип диктует, что в жизни надо всегда действовать без усилий, не разделяя мир на искусственные противопоставления, не давая ему оценок и воздерживаясь от активных попыток его изменить. Альтернативой даосистам в китайской традиции являются конфуцианцы, делящие мир на хорошее и плохое и стремящиеся повлиять на окружающих, чтобы изменить мир к лучшему[19].

С первого взгляда может показаться странным, что группа молодых людей, живших в Ленинграде 1970-х — начала 1980-х годов, могла узнать в древнекитайском учении себя. Однако древнее учение даосизма, с его принципом созерцательности, вновь оказалось востребовано в некоторых контекстах современности, правда не в виде целостной эзотерической философской системы, а в виде отдельных практик и методов самоконтроля, к которым часто обращаются в современном мире для формирования особого, невовлеченного взаимодействия своего «я» с окружающей реальностью. Например, в начале 1990-х годов это учение стало невероятно популярно в Китае среди людей самых разных возрастов[20]. В продаже появилось множество учебных пособий, объясняющих принципы даосизма. Огромную популярность приобрела система гимнастических и духовных упражнений, в основе которой лежал вышеупомянутый принцип *у-вей*. Эти упражнения были направлены на культивирование особой физической и духовной жизни человека, подразумевающей его активную включенность в жизнь общества, при одновременном дистанцировании от идеологического смысла государственной политики и официально провозглашенных целей. В пекинских парках упражнениями по этой системе до сих пор ежедневно занимаются сотни тысяч горожан.

[19] См.: Tang 1991.

[20] См.: Farquhar и Zhang 2005: 303.

Как пишут антропологи Джудит Фаркуа и Киченг Жанг, с первого взгляда может показаться, что эти упражнения направлены на культивирование аполитичного или антиполитичного субъекта. Однако они содержат в себе крайне важную *политическую* составляющую: благодаря им современный китайский субъект формулирует особый, альтернативный вид политических отношений с государственной властью, которые позволяют субъекту активно развиваться, одновременно дистанцируясь от государства, но не замыкаясь в своем личном мире[21]. Эту политическую позицию современного китайского субъекта можно рассматривать как аналогию *политики вненаходимости* в позднесоветском контексте, хотя она и возникла в несколько иной ситуации — активного перехода Китая от социализма к капиталистическому рынку и неолиберальным ценностям, при сохраняющейся политической гегемонии коммунистической партии[22].

Каким бы небольшим и изолированным ни казался мир Митьков в начале 1980-х годов, их особый способ существования не был чем-то маргинальным, ограниченным узкими группами «неформальных» художников и непонятным для большинства. Напротив, как мы увидим ниже, отношение к авторитетным символам и высказываниям системы, основанное на *политике вненаходимости*, распространилось в тот

[21] Farquhar и Zhang 2005: 310.

[22] Параллель между советскими 1970-ми — началом 1980-х и китайскими 1990—2000- ми важна, поскольку структура, роль и доминирующее положение авторитетного дискурса компартии в обеих ситуациях сходны. Даже бурные рыночные реформы, идущие в КНР под руководством компартии Китая (КПП), все еще формально описываются в авторитетном дискурсе партии как один из «переходных периодов» к коммунистическому будущему. В сегодняшней риторике КПП высказывания о важности *капиталистических отношений* и *коммунистических целей* не только не противоречат друг другу, но представляются как взаимообразующие. Это, безусловно, является значительным отходом от более ранних антикапиталистических высказываний авторитетного дискурса КПП. Однако на уровне формы этот дискурс меняется мало и медленно (этот партийный язык напоминает «застывший» авторитетный дискурс КПСС, который мы проанализировали выше; китайцы иронично называют его *гуанхуа* — «партречь»). При этом на уровне констатирующего смысла этот дискурс резко изменился. Он претерпел *перформативный сдвиг*, аналогичный перформативному сдвигу советского авторитетного дискурса в период позднего социализма. Подробнее о языке КПП см.: Schoenhals 1992.

период среди большинства советских граждан, особенно молодых поколений. Неудивительно поэтому, что текст Шинкарева, ходивший по рукам в нескольких машинописных копиях, оказался понятен и близок большому числу людей и довольно быстро приобрел статус культового сначала в Ленинграде, а в период перестройки и за его пределами[23]. Несмотря на необычность характеров и ситуаций, описываемых в тексте, многие узнавали в них себя и свою жизнь. Шинкарев с удивлением обнаружил, что этот текст, по его словам, «случайно поймал момент и оказался востребованным на каком-то ином уровне»[24] — не только как жизнеописание отдельной группы друзей, но и как комментарий к позднесоветскому бытию вообще.

Некрореалисты

Примерно в те же годы, что и Митьки, в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в Ленинграде появилась другая компания молодых людей, которая тоже культивировала необычную эстетику поведения, основанную на принципе вненаходимости, хотя и делала это иначе. Собираясь вместе, друзья любили заниматься абсурдными действиями, которые они называли *экспериментами*. Поначалу это делалось в небольшой компании, без лишних свидетелей. Но постепенно эксперименты вышли на публику и начали проводиться на улице, в городском транспорте и других общественных местах, где их свидетелями оказывались ничего не подозревающие советские граждане. Эта группа друзей, как и Митьки, принадлежала к последнему советскому поколению — большинству из них в начале 1980-х было около двадцати. Маленькая группка постепенно разрасталась, в нее входили новые молодые люди. Кто-то становился постоянным участником экспериментов, кто-то появлялся ненадолго и вскоре исчезал.

Публичные эксперименты начались в конце 1970-х. Один из ранних случаев, впоследствии не раз пересказанный и, без сомнения,

[23] См.: Митьки 2008.

[24] Авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, 2005 год.

мифологизированный, произошел в 1978 году в ленинградском спальном районе Купчино. Евгений Юфит, впоследствии лидер группы, вспоминает, что как-то зимним вечером он с друзьями прогуливался возле входа в местный кинотеатр. Очередь за билетами была такой длинной, что попасть на фильм шансов не было. Но тут администратор кинотеатра, заметивший подростков, шатающихся возле дверей, вышел на улицу и предложил им расчистить заваленный снегом вход в обмен на бесплатный проход на сеанс. Ребята согласились и, получив в руки лопаты, приступили к работе. Работа их разгорячила, и вскоре Юфит, заметив, что не мешало бы слегка раздеться, снял с себя зимнюю куртку, свитер, а затем и рубашку, оставшись по пояс голым. Как ни в чем не бывало он снова взял в руки лопату и продолжил убирать снег. Работать полуголым, в холодный зимний вечер, на глазах у длинной очереди было, конечно, странно. Но остальные члены компании были к такому повороту готовы. Не говоря ни слова, они тоже начали раздеваться. Большинство разделось по пояс сверху, а один разделся по пояс снизу, оставшись в больших зимних ботинках. Друзья начали разбрасывать снег в разные стороны с подчеркнуто маниакальным энтузиазмом. Никакой уборкой снега это, конечно, уже не было, и о планах посмотреть фильм было забыто. Ситуация спонтанно переросла в эксперимент. Онемевшая от изумления очередь смотрела на эту сцену. Толпа, ожидавшая начала сеанса на втором этаже кинотеатра, столпилась возле окон. Кто-то неловко улыбался, кто-то возмущался, кто-то собирался вызвать милицию. В воздухе запахло скандалом. Почувствовав угрожающий характер ситуации, ребята разом побросали лопаты, схватили одежду и разбежались в разные стороны[25].

Ситуация со спонтанным раздеванием, подчеркнуто активным и беспорядочным разбрасыванием снега, последующим побегом и, главное, всеобщей готовностью поддерживать и развивать абсурд — все это было чертами нарождающейся в компании эстетики эксперимента. Эстетика эта не была специально отрефлексирована. Для ребят было крайне важно не планировать такие действия заранее и не заниматься впоследствии их подробным анализом, что способствовало сохранению

[25] См.: Мазин 1998b: 40.

их спонтанности и неожиданности. Важно также было не проводить четких границ между «абсурдным» поведением и «нормальной» действительностью.

Конечно, они понимали, что занимаются этими экспериментами не просто так, а для того, чтобы спровоцировать некую, подчас неожиданную реакцию у случайных свидетелей (от простых советских граждан до представителей государства и милиции), а также у самих себя и своих друзей. Постепенно эксперименты стали выстраиваться в исследовательский метод по изучению норм советской жизни, пространства и субъектности (хотя таких терминов в те годы никто из друзей не использовал). В своих действиях они пытались балансировать на грани между нормальным и ненормальным, объяснимым и необъяснимым. Они создавали ситуации, которые, как они позже объясняли, «ломали рамки знакомого восприятия, находились за гранью социальных стереотипов и упирались в логический тупик»[26]. Это ставило случайных свидетелей происходящего в сложную ситуацию: пытаясь найти ему рациональное объяснение (например, что это — просто группа хулиганов, или пьяных, или душевнобольных), они вскоре осознавали, что такое объяснение явно не подходит происходящему. Результатом могла быть паника или крайняя подозрительность. Размышляя с позиции сегодняшнего дня, Юфит говорит: «В те годы [конец 1970-х — начало 1980-х] все, что выглядело ненормальным или непонятным, вызывало у многих людей подозрение: Что это за странные люди? Что они замышляют? Может быть, это шпионы? Тогда был дух шпиономании»[27].

В 1982 году кто-то из членов группы приобрел в магазине «Старая книга» русский перевод книги австрийского врача-патологоанатома Эдуарда фон Гофмана[28], «Атлас судебной медицины», изданный в Санкт-Петербурге в 1900 году. В книге описывались убийства и трагические происшествия, случившиеся в Вене и ее окрестностях в начале XX века, и давался анатомический анализ ранений и травм, а также изменений,

[26] Там же.

[27] Авторское интервью с Юфитом, Санкт-Петербург, 2004 год.

[28] Врач Эдуард фон Гофман (Eduard von Hofmann), австриец родом из Праги, был основоположником современной судебной медицины.

Prof. Dr. E. von Hofmann,

АТЛАСЪ

СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Рис. 37. «Атлас судебной медицины» доктора Эдуарда фон Гофмана. Санкт-Петербург, 1900 г.

Рис. 38. Иллюстрация из «Атласа» фон Гофмана к разделу «Смерть вследствие многочисленных повреждений, нанесенных различными орудиями»

происходящих в телах после смерти. Несмотря на свое необычное содержание, книга выглядела как красиво изданный альбом по искусству, с прекрасным переплетом, 193 цветными иллюстрациями и текстом, набранным старым шрифтом с дореволюционной орфографией. Чтение этой необычной книги будоражило воображение.

И раньше в экспериментах группы появлялось гротескное человеческое тело — голое, гиперактивное, совершающее странные действия и издающее странные звуки. Но с появлением этой книги интерес к телу обострился, причем к телу травмированному, окровавленному и даже мертвому. Как вспоминает Владимир Кустов, сегодня известный художник-некрореалист, «благодаря книге Гофмана мы неожиданно наткнулись на труп»[29]. На иллюстрациях в книге трупы были расположены вертикально, что облегчало студентам-медикам их изучение. Такое расположение отодвигало идею смерти на задний план, позволяя зрителю легче абстрагироваться и подавлять неприятные чувства[30]. Некрореалисты позаимствовали этот изобразительный эффект. По словам Кустова, в результате вертикального расположения труп «становился как бы ни живым, ни мертвым, попадая в некое иное состояние. Это было интересно. Мы придумали для такой фигуры название — *нетруп*»[31].

Нетрупы с книжных иллюстраций стали героями экспериментов. Друзья входили в вагон метро, раскрывали альбом Гофмана и начинали громко обсуждать иллюстрации: «Смотри. Этот мужик пошел в гости к этой тетке. Приходит и застает там другого мужика. Начинается драка. Он хватает топор, второй хватает кухонный нож. Колотые раны, порезы, класс» и так далее[32]. Пассажиры с любопытством оборачивались, заглядывали в альбом и видели там изображения окровавленных человеческих тел и расчлененных трупов. Люди в ужасе отшатывались, «нас называли

[29] Авторское интервью с Кустовым, Санкт-Петербург, 2005 год.

[30] По этим причинам вертикальное расположение трупов на иллюстрациях встречается во многих национальных традициях судебной медицины. В советской литературе трупы тоже часто изображались именно так, что, возможно, играло и дополнительную идеологическую роль, способствуя общей задаче выведения темы «смерти» из советского публичного дискурса (авторское интервью с Кустовым, Санкт-Петербург, 2005 год).

[31] Авторское интервью с Кустовым, Санкт-Петербург, 2005 год.

[32] Там же.

больными, на нас дико смотрели». Некрореалисты с интересом наблюдали за этой реакцией. Поезда метро были подходящим местом для таких экспериментов, потому что «в них днем всегда много народа, но эти люди друг друга не знают. И до следующей остановки им деться некуда»[33].

После книги фон Гофмана любимым кругом чтения в группе стали труды по судебной медицине и паталогоанатомии[34]. Под влиянием этого чтения эксперименты усложнились. Один из них, в середине 1980-х, был устроен за городом, возле полотна железной дороги. Двое членов группы, одетые в тельняшки, с головами, перевязанными «окровавленными» бинтами (в качестве крови использовалась томатная паста), и с приспущенными штанами встали неподалеку от железнодорожных путей. Другие, тоже перевязанные бинтами, расположились чуть дальше в кустах. Когда подъезжал очередной поезд, первые двое начинали изображать гомосексуальный половой акт, а остальные выскакивали из кустов и начинали имитировать яростную драку с поножовщиной и кровью. Это зрелище посреди пустынного заснеженного ландшафта выглядело не просто странно и непонятно, но и страшно. Оно, должно быть, повергало машинистов и пассажиров поездов в шок. Один товарный поезд, вспоминал Юфит, уносясь прочь долго и надрывно гудел, будто пытаясь отогнать жуткое видение[35].

Вскоре в экспериментах появился новый персонаж — манекен размером со взрослого мужчину, списанный из Института судебной медицины, где он использовался для изучения травматических последствий автокатастроф[36]. Манекен выглядел необыкновенно правдоподобно: он был выполнен из поролона и резины; его руки, ноги и торс упруго сгибались и разгибались. Некрореалисты дали ему грузинское имя Зураб,

[33] Там же.

[34] Другой книгой, которую они изучали в те годы, было «Краткое руководство по судебной медицине» (*Авдеев М.И.* М.: Медицина, 1966). В этой книге, по словам Кустова, для них самой интересной была глава «Судебно-медицинская экспертиза трупа», в которой описывалась динамика трупных изменений после смерти.

[35] Цитата по авторскому интервью с Юфитом. См. подробное описание этого эксперимента в: Мазин 1998b: 120.

[36] Манекена Юфиту принес питерский художник Зиггель (Руслан Латушко), которому в свою очередь его подарила знакомая, работавшая в медэкспертизе. Латушко вспоминает, что манекен «уже старый был, зеленый, в пятнах весь» (Федотова 2010).

звучавшее экзотично в ленинградском контексте. Зураб стал частым участником уличных экспериментов. Однажды, зимой 1984 года, в сильный мороз, пять членов группы положили Зураба в большой черный мешок и, взвалив его на плечи, медленно пошли через парк в центре города. По очертаниям мешка, его кажущейся тяжести и серьезным лицам мужчин казалось, что тащат они человеческое тело. Прохожие подозрительно оборачивались. В какой-то момент, вспоминает Юфит,

> ...к нам подъехала милицейская машина, из нее выскочило несколько милиционеров и потребовало, в довольно резкой форме, открыть мешок и показать, что там внутри. Мы развязали мешок, и из него выпало человеческое тело, одетое в зимнюю одежду и зимнюю шапку. Зураб был упругим и гибким, и, когда он выпал из мешка, он разогнулся и начал размахивать руками и ногами. Милиционеры отскочили от неожиданности. Но потом поняли, что это одетый манекен. Какое-то время они просто тупо стояли, явно не зная, как реагировать. Потом стали переворачивать его так и этак, пнули ногой. Один из них стал улыбаться. Но сержант стоял с растерянным лицом. Что ему было делать? Отвести нас в участок? Но тогда бы ему пришлось писать в отчете, что он арестовал каких-то мужчин, которые несли манекен. Так что он сказал: «Ладно, забирайте и убирайтесь. Если бы у вас был настоящий труп, мы бы вам дали»[37].

В первой половине 1980-х Юфит начал снимать эти эксперименты на любительскую 8-мм кинокамеру. Присутствие кинообъектива, а также наличие документальных кадров, которые можно было потом вместе просматривать, означало, что эксперименты стало легче анализировать, планировать и улучшать, оттачивая детали. Но киносъемка также означала, что для случайных свидетелей эксперименты, которые кем-то фиксировались на пленку, стали выглядеть еще подозрительнее. Они стали чаще привлекать внимание милиции, а порой и КГБ. Как-то в 1983 году Юфит с приятелем устроили эксперимент-киносъемку во

[37] Цитата приводится по авторскому интервью с Юфитом, Санкт-Петербург, 2004 год. Однако см. подробное описание и анализ этих событий в: Мазин 1998b: 63.

дворе жилого дома. Приятель был одет в старую военную форму, голова его была забинтована окровавленным бинтом (вновь использовалась томатная паста), он ползал по двору, издавая странные звуки и глядя вокруг нечеловеческим взглядом. В какой-то момент Юфит привязал его к дереву, имитируя фигуру повешенного человека. Все это он снимал на свою новую кинокамеру. Когда друзья закончили съемку и собрались уходить, вспоминает Юфит, во двор въехала

> ...большая машина и нас повезли не куда-то в вытрезвитель, а сразу в управление [*районное управление милиции*], где самый главный начальник начал меня допрашивать, с какой целью я это делаю. [...] я честно сказал, что я не знаю, с какой целью я это делаю. Он тогда резюмировал: «Ну вообще это можно очень дорого продать иностранцам, надо все это отправлять в КГБ на экспертизу». И добавил: «Желательно вам больше таким делом не заниматься»[38].

Каким именно делом желательно было не заниматься, высокий чин не объяснил и вряд ли мог бы это сформулировать более четко, чем сказать, что нежелательно делать на публике странные, провокационные вещи, да еще с намеком на насилие, даже если оно ненастоящее. Действия, персонажи и отснятый киноматериал некрореалистов явно не вписывались в стереотипы ни советского, ни антисоветского поведения. Этим объясняется тот парадоксальный факт, что, хотя порой милиция и обращала внимание на их эксперименты, дело не кончалось какими-то реально репрессивными мерами, кроме привода на несколько часов в милицию «с длительными маразматическими», то есть бессмысленными, «допросами», как описывает их Юфит. Когда часть отснятого материала однажды направили в КГБ на экспертизу, он был настолько непонятным и неприятным для самих следователей, что те назвали его примером не антисоветской деятельности, а «крайнего дебилизма» и расследование прекратили[39].

[38] Принцева 2011.

[39] Авторское интервью с Юфитом, Санкт-Петербург, 2004 год. См. также: Федотова 2010.

Нетруп

Часть отснятого киноматериала вошла в ранние короткометражные фильмы группы[40]. Именно тогда в их среде закрепился термин *некрореализм*, обозначавший не столько определенного типа поведение, сколько его художественное документирование в первую очередь в киноформе (а также в фотографии, рисунке и литературном описании)[41]. Персонажи первых фильмов выглядели как узнаваемые советские герои (солдаты, моряки, ученые, врачи, обычные прохожие), но имеющие странный вид и делающие странные вещи. Они появлялись замотанными в бинты, полуголыми, они куда-то ползли, за кем-то следили, энергично махали руками, тыкали друг друга палками и так далее[42]. Один персонаж безуспешно пытался покончить с собой, другой куда-то брел с обезумевшим взглядом, по полю медленно передвигались голые мужчины.

Рис. 39. Один из «экспериментов» некрореалистов — имитация массовой драки в ремонтирующемся здании завода в Ленинграде, которое было видно пешеходам с улицы, 1984 г. (снимок из архива Евгения Юфита)

[40] Некоторые фрагменты лесной потасовки и избиения Зураба были использованы в фильме «Лесоруб» (1985 год), а съемки провокации у железной дороги были включены в фильм «Весна» (1987 год) — см.: Мазин 1998b: 26, 51. Среди первых короткометражных фильмов были также «Мочебуйцы труполовы» (1985 год) и «Вепри суицида» (1988 год). Подробный анализ фильмов некрореалистов см.: Мазин 1998b; Alaniz и Graham 2001; Alaniz 2003.

[41] Мазин 1998b, см. также: Berry и Miller-Pogacar 1996. См. также сравнение между практиками искусства и документирования искусства в: Groys 2008: 53—66.

[42] Для создания образа «нетрупа» группа начала использовать специальный грим, применяемый в фильмах про зомби.

Важно подчеркнуть, что эти образы сначала возникли не как часть художественного проекта (фильма, литературного текста или перформанса), а как попытка построить свое обычное существование в отношениях *вненаходимости* к авторитетному символическому пространству системы. Вспомним, что эксперименты некрореалистов начались в конце 1970-х не как художественная практика, а как спонтанная реакция на советскую повседневность. Произошло это задолго до того, как у членов группы сформировалась идея превратить эти эксперименты в особый эстетический проект. Если в большинстве художественных практик комментарий по поводу реальности осуществляется *извне*, из художественного пространства (с экрана, холста, сцены, печатной страницы), то в этих экспериментах система исследовалась *изнутри*. Эксперименты строились как часть самой повседневности, хотя и странная ее часть[43]. Как вспоминает Кустов, в те ранние годы «наше сумасшедшее поведение невозможно было отделить от того, как мы вообще жили. Наша жизнь была пропитана этим отношением к окружающей реальности. [...] Мы не делали разделения на жизнь и акции. Все было вместе»[44].

Эксперименты ставились не только на публику, но и для себя и над собой. Важно было не только провоцировать реакцию у других, но и культивировать в себе определенного субъекта — *субъекта вненаходимости*. Ярким примером этого служат эксперименты некрореалиста Андрея Мертвого (Курмаярцева), который в первой половине 1980-х часто проводил ночь один в лесу, где он спал прямо на земле, потому что, по его словам, «я хотел заматереть»[45] — то есть стать не обычным, иным человеком. Термины «матерый» и «заматеревший» стали частью излюбленного лексикона некрореалистов. Лучшим примером «матерого» был старый волк или немолодой, грузный, небритый мужчина угрюмого вида, с диким взглядом, немытыми волосами и волосатой грудью — распространенный

[43] Когда Добротворский обнаруживает в ранних фильмах некрореалистов элементы «фарса в стиле Мака Сеннета 1910-х годов, шоковую эстетику французского авангарда и неудержимую эксцентрику советского кино 20-х» (Dobrotvorsky 1993: 7), он не замечает за внешней схожестью эстетических форм коренное отличие природы раннего некрореализма именно как *образа повседневной жизни* от природы институционального искусства.

[44] Авторское интервью с Кустовым, Санкт-Петербург, 2005 год.

[45] Авторское интервью с Андреем Мертвым, Санкт-Петербург, 2005 год.

визуальный образ фильмов некрореалистов[46]. В этом смысле матерость функционирует как пример состояния вненаходимости — субъект пытается стать как бы ни человеком — ни животным, а и тем и другим одновременно[47]. Другой член группы, Анатолий Свирепый (Мортюков), ставил еще более экстремальные эксперименты над собой и окружающими, за что и получил свою кличку. Свирепый, например, мог неожиданно выбежать на дорогу перед мчавшимся автомобилем. «Не то чтобы он хотел покалечиться, — объясняет Андрей Мертвый, — а просто ему было интересно, как отреагируют водители машин. Иногда он получал увечья, но лечился и продолжал заниматься тем же»[48].

Действия некрореалистов, Митьков и подобных групп позднесоветского периода возникли как *реакция* на окружающую реальность и *способ существования* в ней и лишь много позже были оформлены как художественная практика. Этим они отличались от художественной практики, распространившейся в России десятилетием позже и получившей название «перформанса» и «акционизма». Владимир Шинкарев, описавший Митьков, прокомментировал это отличие так:

> Термин игра, в смысле игры на сцене или проигрывания роли, не может адекватно описать нашу деятельность в те годы. Это было шире и важнее, чем игра. Мы не играли, а проживали определенную модель поведения, проживали по максимуму. [...] Она стала частью нашей жизни, чем-то органически своим. То, как мы проводили вместе время, общались, реагировали на окружающих, какими выражениями пользовались, как питались, — все это было частью единой модели существования. Не какого-то образа, созданного на публику, а частью своей собственной жизни[49].

[46] Авторское интервью с Е. Юфитом, 2004 год.

[47] См.: Agamben 2004: 106.

[48] Авторское интервью с Андреем Мертвым, Санкт-Петербург, 2005 год. Эти действия Свирепого особенно напоминают субкультуру, описанную в фильме Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа» («Crash», 1996 г.). Но в отличие от Кроненберга Свирепый ставил свои эксперименты в реальности, а не на экране.

[49] Авторское интервью с Шинкаревым, Санкт-Петербург, 2005 год.

Различие между проведением акций и перформансов и постоянным проживанием определенной модели поведения аналогично различию между временным *исполнением роли* другого субъекта и *превращением себя самого* в другого субъекта. Бодрийяр описывает это различие так: «Тот, кто притворяется больным, просто лежит в кровати, заставляя других верить, что он болен. А тот, кто симулирует болезнь, воспроизводит в себе ее симптомы»[50]. В первом случае человек надевает на себя маску, маскируя под ней свое истинное «я»; во втором он сам становится другим, изменяя свое «я», а не пряча его. Проживая определенную модель поведения, некрореалисты и Митьки изменяли себя, становясь другими субъектами, отличными от тех, которые именовались на авторитетном языке системы «советскими людьми». Их субъекты были *субъектами вненаходимости*[51].

Именно поэтому некрореалисты всегда противились попыткам представить их занятия в качестве политического искусства, направленного *против* режима. Примером этой реакции служит ответ Евгения Юфита на вопрос о том, является ли его творчество политическим. Этот вопрос был задан в самом конце перестройки, когда идеологическая система социализма уже сильно изменилась и именно *антисоветская* позиция стала наиболее престижной в публичном дискурсе и средствах массовой информации. В своем ответе Юфит сначала попытался уйти от темы политики вообще, переведя ее на тему медицины. Его фильмы, начал он, «имеют большее отношение к медицине. Они являются медицинскими пособиями. В стране сейчас крайняя нехватка хорошей литературы и пособий по судебной медицине, поэтому приходится содействовать развитию этой науки в частном порядке»[52]. Поэтому, добавил Юфит, он особенно любит изучать «трупаков в состоянии позднего распада»[53].

[50] Baudrillard 1994: 3.

[51] Субъект некрореалистов отличался от зомби, живого мертвеца и других героев, знакомых по фильмам ужасов, тем, что он был выражением не смерти, а *другой жизни*.

[52] Михельсон 1989. См. также: Мазин 1998b: 42.

[53] Михельсон 1989.

Ирония, явно содержащаяся в этом ответе, отражает нежелание быть вовлеченным в обсуждение политической проблематики как бинарного противостояния между *системой* и *художником-диссидентом*, что стало важным мифом в отношении советского прошлого, возникшим в период поздней перестройки[54]. Такая ирония не заявляет открыто о своей позиции — это *ирония вненаходимости*. Однако за этим ответом последовал второй вопрос, вновь попытавшийся вернуть Юфита к обсуждению политической подоплеки его работ: «А политикой вы занимаетесь? Или только медициной? Может быть, между ними существует какая-то связь?» В ответ Юфит вновь, не без скрытой иронии, настаивает на отсутствии интереса к политике и непонимании политической проблематики:

> Связь? Не буквально. Бывают такие травмы, как авиатравмы, им подвержены в том числе и всякие политические деятели. В этом контексте политика несомненно присутствует в сфере моих интересов. Хотя в этих случаях очень затруднителен процесс идентификации. Останки раскидывает на площади до трех километров. Очень сложная травма. Труп есть труп. Простолюдин или политик — это меня не интересует. Меня интересуют его метаморфозы... формы, цвета. Своего рода некроэстетика. В первый, второй месяц наступают страшные изменения. Труп становится пятнистый, как ягуар, налитой, как бегемот. Но это тоже при определенных условиях. Что особенно и интересно. А политика?! Так. Не знаю...[55]

Ответ вновь построен в стилистике *иронии вненаходимости*: Юфит вроде бы отвечает на вопрос о политике, но переворачивает смысл этого понятия, уходя от понимания политического как способа проведения границы между теми, кто за, и теми, кто против, характерного и для

[54] Аналогичная реакция встречается у художника Ильи Кабакова, который в ответ на просьбу американского искусствоведа рассказать о своем диссидентском прошлом сказал: «Я не был диссидентом. Я ни с кем и ни с чем не сражался. Этот термин ко мне неприменим» (см. главу 3).

[55] Михельсон 1989.

советского авторитетного дискурса, и для антисоветского дискурса конца перестройки.

В этом небольшом отрывке видна философская система некрореализма: субъекта, который в ней исследуется, невозможно описать в бинарных терминах авторитетного дискурса системы. Этот субъект не похож ни на нормального советского гражданина, ни на диссидента или антисоветчика, ни на явного сумасшедшего. После бесед с некрореалистами в позднесоветские годы милиция их отпускала, а не арестовывала за антисоветскую деятельность и не посылала на психэкспертизу. Объясняется это тем, что субъекта некрореалистов было сложно интерпретировать в рамках советской системы. Этот субъект существовал в состоянии вненаходимости по отношению к авторитетному символическому пространству, где определялись и нормы советского существования, и виды нарушения этих норм. Он был, казалось бы, активен, но к чему именно он активно стремится, было не ясно. Принцип его существования хорошо передан во фразах, которыми некрореалисты пользовались в начале 1980-х годов, — «тупое веселье» и «жизнь, не опороченная человеческим сознанием»[56]. Эти формулы вызывают в памяти вышеупомянутые фразы, которыми в те же годы пользовались Митьки для описания жизни своего субъекта, — «Митьки никого не хотят победить» и «активное стремление к ничему».

Герои обеих этих групп были *субъектами вненаходимости* par excellence. Митек, с его неинформированностью и благодушным принятием всех и вся, был «советским человеком» по форме, оставаясь не в курсе буквального смысла, который вкладывался в это понятие. Субъект некрореалистов, с его целеустремленностью и окровавленными бинтами, по форме тоже напоминал «советского героя» и тоже был не информирован о смысле этого понятия. Но его неинформированность была вызвана не невнимательностью к фактам окружающего мира, как у Митьков, а тем, что он не поддавался информированию в принципе, по *биологическим* причинам. Героя Митьков можно назвать субъектом *политической вненаходимости*, поскольку он отличался от двух видов политического субъекта, признанных в советской системе, — советского

[56] См.: Мазин 1998b: 58—59, сн. 69.

гражданина и антисоветчика. Героя некрореалистов можно назвать субъектом *биополитической вненаходимости*, поскольку он отличался также и от двух видов биополитического субъекта, признанных в системе, — нормального, здорового советского гражданина и ненормального, психически больного, сумасшедшего[57].

Герои обеих групп, конечно, были гротеском вненаходимости. Они важны для нас как наиболее яркие проявления общей тенденции формировать себя как *субъекта вненаходимости*, которая в менее эксцентричных формах присутствовала в жизни большинства представителей последнего советского поколения. Возникновение Митьков, некрореалистов и подобных групп в конце 1970-х — начале 1980-х годов следует рассматривать как симптом сдвига всей советской системы в сторону нарастающей вненаходимости.

Ирония вненаходимости

В 1970-х — начале 1980-х годов *ирония вненаходимости* широко распространилась по всей стране, став важной частью взаимоотношений человека с системой. У этой иронии даже появилось жаргонное название — *стёб*. Мы будем использовать этот термин именно в том первоначальном смысле, который он имел в 1970—1980-х годах. Стёб тогда обозначал ироничный жанр, который отличается от более знакомых жанров — насмешки, сарказма, издевки, юмора абсурда — тем, что в его основе лежит отношение *сверхидентификации* говорящего с объектом, на который эта ирония направлена. В результате подчас невозможно с уверенностью сказать, имеете ли вы дело с искренней поддержкой объекта, тонкой насмешкой над ним или странным сочетанием одного и другого[58].

[57] Как известно, в рамках советской биополитики (особенно периода позднего социализма) «диссиденты» и «антисоветчики» рассматривались именно как *психически больные* люди, которых часто заключали в психиатрические больницы на принудительное лечение (см.: Подрабинек 1979).

[58] В период позднего социализма в ходу были также другие жаргонные термины, которые, как и стёб, обозначали абсурдистские и неочевидные формы иронии — такие, как «телега», «шиза», «прикол», «клиника» (с очевидным отсылом к психиатрической

Подчас субъект стёба сам избегал проводить явную границу между этими, казалось бы, взаимоисключающими отношениями к объекту, удивительным образом сочетая в себе искреннюю поддержку с насмешкой, при этом не давая понять, как именно следует интерпретировать то, что он делает и говорит. Кроме процедуры сверхидентификации с авторитетным символом в основе иронии вненаходимости или *стёба* лежала вторая процедура — *деконтекстуализация*[59] этого символа (помещение его в необычный контекст). Используя эти две процедуры, стёб сдвигал констатирующий смысл авторитетных текстов, ритуалов и образов, делая его непредсказуемым или вообще стирая его. Хорошо знакомый авторитетный символ вдруг начинал казаться непонятным, абсурдным или бессмысленным.

Жанр иронии вненаходимости можно сравнить с другими видами иронии, появившейся в других исторических и культурных контекстах. Его родственником, например, является пародия на авторитетные символы, которая практиковалась во время средневековых карнавалов в христианской Европе. Эта пародия, как писал Михаил Бахтин, не носила «осознанный, критический и четко оппозиционный характер» по отношению к авторитетной власти, поскольку в ней была заключена не только насмешка над символами власти, но и их поддержка. Бахтин подчеркивал, что в Средние века «люди, создававшие необузданнейшие пародии на священные тексты и на церковный культ, часто были людьми, искренне этот культ принимавшими и служившими ему»[60]. Об аналогичной динамике «государственного смеха», который не разрушает пародируемый объект, а, напротив, способствует его воспроизводству, писал Дмитрий Лихачев[61]. Однако, несмотря на эту похожесть, позднесоветский стёб отличался от иронии, о которой говорят Бахтин и Лихачев, тем, что он не являлся публично санкционированным ритуалом и не был ограничен пространственно-временными рамками

больнице) и так далее (о развитии принципа «прикола» в постсоветском контексте см.: Blank 2004 и 2005).

[59] См. анализ процесса *деконтекстуализации* и *реконтекстуализации* символов при неизменности их формы в: Urban 1996.

[60] Бахтин 1965: 106.

[61] См. анализ «Всешутейшего и Всепьянейшего собора» времен Петра Первого в: Лихачев 1984: 7—71.

карнавала. Стёб функционировал постоянно и в широком спектре контекстов, подчас становясь повседневной эстетикой существования субъекта. Как мы видели на примере Митьков и некрореалистов, не совсем верно даже говорить об иронии вненаходимости как об особом художественном или языковом *жанре*, поскольку понятие жанра подразумевает, что он практикуется время от времени, в особых местах или текстах, а принцип ироничного отношения к реальности, практикуемого Митьками и некрореалистами, заключался в том, что его было не отделить от «обычной» жизни. Их ирония не была ограничена ритуальным временем, пространством или действием, а была частью субъектного существования как такового. Ее объектом были не отдельные символы или правила системы, а вся советская жизнь.

По этим же причинам позднесоветская ирония вненаходимости не была настолько безобидной, как санкционированная и ограниченная карнавалом ирония. В отличие от последней позднесоветский стёб способствовал постепенному изменению символического порядка системы изнутри, его внутренней *детерриториализации*, появлению в нем все новых зон и отношений вненаходимости. При этом он проводил эту работу незаметно и не аннонсируя ее как самоцель. А те, кто практиковал подобную эстетику взаимоотношений с системой, не говорили о своем желании ее таким образом подорвать. Напротив, они относились к политической проблематике как к «неинтересной» и, выражаясь языком Митьков, «никого не хотели победить». Этот вид ироничного отношения к действительности был проявлением не героической политики «нонконформизма»[62], а гораздо более опасной для системы *политики вненаходимости*[63].

[62] Термин «нонконформизм», широко используемый сегодня для описания неформального искусства позднесоветского периода, появился лишь в начале 1990-х. Героический пафос, который в этом термине подразумевается, не отражает реального взаимоотношения неформального искусства и государства в советский период.

[63] По этой причине ирония вненаходимости, видимо, несколько отличалась от иронии, свойственной движению *соц-арта*, появившемуся в неформальном советском искусстве несколько раньше, в работах московских художников-концептуалистов более старшего поколения (см.: Гройс 1990а; Кабаков и Гройс 1990). Соцарт был, безусловно, старшим родственником стёба, но, в отличие от последнего, он возник в среде художников

В начале 1980-х годов ирония вненаходимости распространилась на творчество многих художественных групп, возникших в Советском Союзе и других социалистических странах[64]. Ее проявления, например, можно найти в музыкально-театральных выступлениях словенской рок-группы «Лайбах» (*Laibach*) и советской рок-группы АВИА. Сценография выступлений группы «Лайбах» отличалась безупречной красотой и дисциплиной. На сцене перемешивалось множество звуковых и визуальных образов — героическая, слегка жуткая музыка, строгое хоровое пение, оглушительный вой труб, неистовая барабанная дробь, красные флаги и звезды, военная форма, кожаные куртки и сапоги, грубые выкрики на немецком, русском, английском и словенском языках, строгие героические лица, обнаженные торсы мужчин и женщин, немецкие овчарки в намордниках, висящие туши мертвых животных, пылающие факелы. Все это вызывало в сознании образы разных идеологических систем — коммунистической, националистической, даже фашистской[65]. Впечатление от этих выступлений было смешанным — кто-то из зрителей был в восторге, кто-то ощущал дискомфорт, кто-то был не уверен, как следует интерпретировать происходящее. Многие задавались

в большей степени как направление искусства, а не как способ существования художника. И занимался он более откровенной иронией по поводу советских общественных норм и политических символов, чем стёб (о попытке сравнить некоторые методы соц-арта и стёба см.: Юрчак 2012: 86—93).

[64] Аналогичный вид иронии вненаходимости распространился в Китае постмаоистского периода. Там в ее основе лежал принцип, который Диттмер называет «гиперкогерентностью» (*hypercoherence*), а мы называем в этой книге «сверхидентификацией» — то есть чрезмерным соответствием предписанному идеалу поведения (Dittmer 1981: 146—147; см. также: Anagnost 1997: 191. О других наименованиях этого принципа см. сноску 17, с. 471). Произошло это, видимо, по той же причине, что и в СССР, — как реакция на гипернормализацию политического языка (случившуюся в Китае после смерти Мао (см. сноску 22, с. 474), так же как ранее это произошло в СССР после смерти Сталина — см. главу 2). Широкое распространение этот жанр иронии получил также в Югославии, где ярким ее примером были работы словенского художественного объединения *Neue Slowenische Kunst* (см.: Žižek 1993b). В последнее десятилетие, в результате консервации политического дискурса в Соединенных Штатах, этот жанр иронии распространился и там (см.: Boyer и Yurchak 2010).

[65] Например, использовались героические художественные образы, взятые из нацистской доктрины «Кровь и почва» (*Blut und Boden*) (Žižek 1994c: 72, см. анализ этой доктрины в: Art, Culture and Media: 9).

вопросом: в чем заключается идеологическая позиция этой группы? Кто они, коммунисты или антикоммунисты, фашисты или антифашисты? Символы и образы, которые сначала явно читались как элементы коммунистической идеологии, вдруг начинали казаться частью нацистского шабаша. То, что в один момент выглядело тонкой иронией по поводу некой идеологической позиции, в следующий момент казалось искренним призывом в рамках этой идеологии[66].

Советская группа АВИА в конце 1980-х делала нечто подобное, но ее эстетика была более веселой и абсурдной, и предмет ее сверхидентификации тоже был несколько иным — это был агитпроповский энтузиазм различных периодов советской истории, от оптимистичного авангардного искусства 1920-х годов до гипернормализованных идеологических призывов и лозунгов «застойных» 1970-х. В процессе деконтекстуализации ко всем этим традициям примешивались элементы панка, кабаре и легкой эротики. В выступлениях АВИА до двадцати человек, юношей и девушек, одетых в комбинезоны советских рабочих или костюмы комсомольских активистов (белые рубашки, черные брюки, черные колготки), маршировало колоннами по сцене, выкрикивало «ура» и строило физкультурные пирамиды. Между композициями один из актеров, напоминающий своим строгим образом и голосом партийного секретаря, выкрикивал лозунги и речевки в узнаваемом стиле авторитетного дискурса. Все это создавало ощущение искреннего коммунистического задора и одновременно насмешки[67].

Хотя эти выступления, безусловно, содержали сатиру на советскую систему, их нельзя свести только к сатире или критике. Не менее важным в них была попытка воссоздать теплое, слегка утопичное отношение к идеалам и мечтам, из которых реальный социализм когда-то вырос и которые всегда присутствовали в эстетике не только раннего советского авангарда, но и более поздних проявлений социалистического реализма[68]. Экспериментируя с эстетикой стёба в новых, перестроечных

[66] Подробнее о выступлениях группы «Лайбах» см. в: Monroe 2005; Žižek 1993b; Grzinić 2000 и 2003; Postmodernism and the Postsocialist Condition 2003.

[67] См. более подробно в: Yurchak 1999 и 2006.

[68] О разных взглядах на преемственность между авангардом и соцреализмом см.: Гройс 1990b; Архангельский 2005; Деготь 2010.

Рис. 40. Выступление группы *Laibach*, 1982 г.

Рис. 41. Выступление группы АВИА, 1988 г.

условиях, группа дистанцировалась как от позиции тех, кто защищал советскую версию истории, так и тех, кто ее критиковал. Творчество группы можно рассматривать как попытку в меняющемся контексте перестроечных реформ оставаться в отношениях политической вненаходимости к советской системе[69].

Показательна реакция публики на эти две группы. Выступления группы «Лайбах» часто вызывали противоположные интерпретации,

[69] Это отношение к официальному понятию «политического» напоминает ответы Юфита на вопросы по поводу политической составляющей его фильмов (см. выше).

и не только в Югославии. После одного из концертов в нью-йоркском клубе в середине 1980-х годов публика разделилась на тех, кто аплодировал великолепной антифашистской сатире группы, и тех, кто кричал, что «этим фашистам не место в Америке»[70]. Схожие расхождения часто происходили и с интерпретацией выступлений АВИА. Некоторые зрители, критики и музыканты обвиняли группу в том, что она превратилась в комсомольскую агитбригаду. В то же время другие считали группу самым «стёбовым» рок-коллективом страны, а ее концерты — убийственной сатирой на систему. После одного концерта группы во время гастролей в Киеве, в 1987 году, пожилая пара старых коммунистов прошла за сцену, чтобы поблагодарить музыкантов за атмосферу «настоящего коммунистического праздника» и «искреннее отношение к коммунистическим идеалам», которые так редко можно было встретить среди молодежи тех лет. После другого концерта еще одна пара пожилых людей пришла за сцену выразить группе признательность за безжалостную «сатиру тоталитаризма», еще редкую в те раннеперестроечные годы. Эта пара провела не один год в сталинских лагерях и восприняла выступление группы именно как сатиру[71].

И те и другие интерпретации по поводу творчества «Лайбах» и АВИА были в принципе верны — но верны только *в совокупности*. Важно также, что члены подобных групп — так же как некрореалисты, Митьки и многие другие[72] — обычно отказывались объяснять, в чем именно заключается идея их творчества и как его следует интерпретировать. Уход от комментариев, как мы видели, был частью метода иронии вненаходимости, для которой было свойственно не выбирать одну или другую позицию в бинарной картине политического пространства, а находиться в состоянии, которое бинарному описанию не поддается[73].

[70] Авторское интервью с Иваном Новаком (Ivan Novak), одним из основателей группы «Лайбах», Любляна, июнь 1995 года.

[71] В конце 1980-х годов автор был менеджером группы АВИА и не раз наблюдал подобные сцены.

[72] Сюда же можно отнести музыкальные, медийные и киноработы Сергея Курехина (см.: Yurchak 2011a и Юрчак 2012).

[73] Как мы видели, этот вид иронии распространился и в других контекстах, где доминирующий политический дискурс претерпел гипернормализацию (см. сноску 64).

Стишки-страшилки

До сих пор в центре нашего анализа находились, скорее, исключительные явления — художественные и околохудожественные группы, поведение и творчество которых, хотя и не являлись нормой позднесоветского периода, были крайне *симптоматичны* — в них отразились внутренние и до поры незаметные изменения системы. Обратимся теперь к более распространенным и менее радикальным примерам иронии вненаходимости, которые распространились в те же годы, в конце 1970-х — начале 1980-х, среди широких слоев советских людей, особенно молодежи.

Одним из таких примеров стала форма городского фольклора, известная под названием «стишков-страшилок» — смешных и одновременно жутких двустиший или четверостиший, в которых маленькие дети предстают субъектами или объектами жестокого насилия. Иронично жуткие жанры такого типа встречаются в разных культурных и исторических контекстах[74], но обычно они не слишком широко распространены и занимают маргинальную фольклорную нишу. Однако в Советском Союзе позднего периода, с конца 1960-х по середину 1980-х, случился настоящий бум этого жанра[75]. В тот период стишки-страшилки можно было услышать намного чаще, чем до и после. Звучали эти стишки не только среди близких друзей и знакомых, а в самых разных ситуациях.

Невероятная популярность этого фольклорного жанра в позднесоветский период (а также падение его популярности в постсоветский)[76] указывает на тот же культурно-политический сдвиг в позднесоветском обществе, который привел к появлению групп, подобных Митькам или некрореалистам. К тому же, как и в случае обеих этих групп, в основе

[74] См.: Sikimić 1999: 27—37. По поводу общего обсуждения тем табуированного насилия и смерти в юморе см.: Dundes и Hauschild 1983; Uli и Dundes 1988.

[75] На этот факт обращали внимание многие исследователи. См.: Мазин 1998b: 42; Русский школьный фольклор 1998; Лурье 1983; Чернявская 2011: 141—154.

[76] В постсоветский период этот жанр стал быстро отмирать, особенно редким стал пересказ стишков-страшилок на публике.

этого жанра лежали принципы не только иронии вненаходимости, но и биоэстетики (точнее, даже некроэстетики, как у некрореалистов). Стишки-страшилки одновременно вызывали смех и ощущение жути. Для того чтобы мы ощутили что-то как *жуткое*[77], писал Фрейд, это что-то должно быть нам знакомо и близко[78]. Ощущение жуткого сродни страху или отвращению, которое мы испытываем, когда целостная форма чего-то обычного, привычного вдруг нарушается и в ней начинают появляться признаки ее неестественности или сконструированности (например, когда в поведении знакомого человека вдруг начинают угадываться какие-то ненормальные, скрытые силы, о присутствии которых в человеке вы до этого момента не подозревали[79]). Возникнуть это ощущение может, например, когда человек неожиданно сталкивается со смертью, трупами, поведением сумасшедшего, эпилептическими припадками и другими неожиданными и необъяснимыми явлениями в человеке.

Стишки работали на обнаружение в советской повседневности жуткого и одновременно смешного. Они рассказывались обычными людьми в обычной обстановке — в школе, в компании друзей, — что делало их сродни другим проявлениям стёба и некроэстетики. В первой части такого стишка обычно говорится о невинном ребенке, находящемся в обычной, знакомой ситуации — он играет, гуляет по лесу, разговаривает с дядей. Во второй части ситуация переворачивается и в ней возникает образ жуткого, необъяснимого насилия, происходящего с ребенком или производимого им. Вот типичные примеры:

Мальчик Алеша варил холодец,
по полу ползал безногий отец.

Девочка в поле гранату нашла.
— Что это, дядя? — спросила она.
— Дерни колечко, — дядя сказал,

[77] В немецком оригинале — *unheimlich*; в английском — *uncanny*.

[78] Freud 1919: 241.

[79] Freud 1919: 243—245. См. подробный разбор понятия «жуткое», его связи с понятием «возвышенное» и трудности его перевода на русский в: Мазин 1998а: 168—188.

Долго над полем бантик летал.
Маленький Витя с ружьишком играл.
Он с любопытством его разбирал.
Пальцем неловко нажал на курок —
Брызнули дружно мозги в потолок.

Над стишками смеялись, и сквозь смех многие морщились от ужаса или отвращения. Вряд ли кто-то интерпретировал эти истории буквально, а значит, в глубине души все в принципе понимали, что смеются они не над насилием, происходящим с героями этих стишков, а над чем-то иным. Стишки служили иронично-агрессивной имитацией перформативного сдвига, которому подвергались авторитетные символы и тексты советской системы. Благодаря им на мгновение становилось видимым полное несоответствие между формой репрезентации, наполнявшей советскую повседневность, и смыслом, который в эту форму вкладывался в реальных ситуациях, — несоответствие, о существовании которого все в принципе знали и в воспроизводстве которого сами принимали участие, но которое обычно не обсуждалось и о котором было лучше не задумываться.

Геронтократия

На рубеже 1970—1980-х годов черты некроэстетики стали все больше проявляться и в других примерах иронии вненаходимости. Это было частично вызвано любопытным изменением, которое произошло на уровне означающих авторитетного дискурса. К тому времени уже на протяжении более двух десятилетий состав Политбюро ЦК КПСС — высшего государственно-партийного руководства — оставался практически неизменным. Как и прочие знаки авторитетного дискурса, портреты и имена членов и кандидатов в члены политбюро постоянно воспроизводились в прессе, пропагандистских материалах, выступлениях с трибун. Не менее часто повторялся и весь перечень имен, одного за другим, в порядке уменьшающейся важности, от генерального секретаря до самого недавнего кандидата в члены политбюро. Список

Рис. 42. Портреты членов политбюро на улице советского города

этот был у всех на слуху, но произнести его по памяти, за исключением имен первых лиц, вряд ли кто-то мог. Большинство лиц, кроме первых лиц государства, на портретах, висящих во множестве мест, с конкретными именами тоже ассоциировались с трудом. Эти имена и лица были важны не каждое само по себе, а в виде единого, стандартного списка, функционировавшего как стандартное высказывание авторитетного дискурса. Его важность заключалась в единстве и неизменности *формы* всего списка, а не в констатирующем смысле конкретных имен (какому портрету какое имя соответствует, что это за человек).

Так же воспринимались и речи членов и кандидатов в члены политбюро, которые передавались по телевидению и печатались в газетах, — в них важна была, в первую очередь, единая, ритуально вопроизведенная форма авторитетного дискурса и в гораздо меньшей степени констатирующий смысл. Именно поэтому выступления, которые произносились не вполне внятно, — а к тому времени речь стареющего Брежнева, страдающего тяжелым атеросклерозом мозговых сосудов, становилась все менее разборчивой, — имели такой же эффект, как и выступления, которые проговаривались четко и разборчиво. Наиболее важной частью таких выступлений был сам факт их произнесения и повсеместного повторения.

Ирония этой ситуации заключалась в том, что парадокс авторитетного дискурса — парадокс Лефора, о котором речь шла выше (см. главы 1 и 2), — теперь стал проявляться на *биополитическом* уровне, как парадокс между ощущением неизменности советского символического режима и явным биологическим старением его живых авторитетных символов. Средний возраст членов и кандидатов в члены политбюро увеличился в период позднего социализма с 55 лет в 1966 году до 70 лет в начале 1980-х, причем возраст руководящей группы — той самой группы, которую советские люди знали лучше и с высказываниями которой сталкивались чаще, — стал приближаться к восьмидесяти. Недаром это время впоследствии было названо «периодом геронтократии». Биополитическое отражение парадокса Лефора проявилось, например, в распространенной реакции на смерть Брежнева в 1982 году. Хотя всем давно было очевидно, что он стар и нездоров, его смерть застала большинство советских граждан врасплох. Поэт и музыкант Андрей Макаревич впоследствии вспоминал свою реакцию на это событие:

> ...не знаю, как другие, а я-то был совершенно уверен, что постылая советская власть простоит еще лет сто — даже смерть какого-нибудь Брежнева производила сильнейшее впечатление. Казалось, что он, как библейский персонаж, будет жить восемьсот лет[80].

В начале 1980-х смерть высокопоставленных лиц из партийно-государственного руководства вдруг превратилась в необычно частое явление повседневности. В течение чуть более трех лет, с января 1982-го по март 1985-го, в среднем каждые полгода умирал один член или кандидат в члены политбюро. Список был впечатляющим: Суслов (январь 1982 года, 80 лет), Брежнев (ноябрь 1982 года, 72 года), Киселев (январь 1983 года, 66 лет), Пельше (май 1983 года, 85 лет), Андропов (февраль 1984 года, 70 лет), Устинов (декабрь 1984 года, 76 лет), Черненко (март 1985 года, 74 года)[81]. Эта эпидемия смертей, однако, не означала крушения авторитетного дискурса в целом. Как раз наоборот, в соответствии с принципами этого дискурса, репрезентация смертей высокопоставленных лиц сама быстро приобрела вновь стандартизованную, нормализованную ритуальную форму авторитетного дискурса, призванную передавать ощущение его вечности и неизменности, даже при описании конца конкретных политических биографий. Сообщения о смертях высокопоставленных лиц в прессе и на траурных собраниях трудовых и учебных коллективов формулировались в стандартных фразах и формулах; в телевизионных трансляциях звучала одинаковая траурная музыка и показывались идентичные траурные церемонии с Красной площади; улицы были оформлены одинаковой траурной символикой, флагами, портретами. Некроэстетика, ставшая теперь неотъемлемой частью авторитетного дискурса, претерпела такую же нормализацию формы, как и другие элементы этого дискурса. Эта нормализация означала, что в траурных ритуалах и высказываниях акцент сместился с биологической смерти отдельного человека на политическую стабильность и неизменность всего символического режима. Как и прежде, стало важнее пользоваться фиксированной, неизменной фразеологией

[80] Макаревич 2002: 14.

[81] Шестеро из них были членами политбюро, а один — кандидатом в члены.

для описания этих траурных церемоний, чем стремиться к буквальности самого описания[82].

Несоответствие между нарастающей частотой смертей высших лиц государства и тем, что эти смерти репрезентировались как фактор политической стабильности и неизменности, быстро нашло отражение в советском анекдоте той поры. Человек подходит к Красной площади, где проходят очередные похороны члена политбюро. Поскольку доступ на эти мероприятия был ограничен для крупных членов партии, имеющих специальные пригласительные билеты, милиционер останавливает человека вопросом: «У вас есть билет на сегодняшнее мероприятие?» — и получает ответ: «У меня абонемент на весь сезон».

В подобных анекдотах отражалось нарастающее ощущение того, что, несмотря на неизменность и повсеместность авторитетного дискурса, в нем все больше ощущались разрывы и нестыковки — в частности, на биологическом уровне символа. Биологическая смертность человека и символическая вечность истории часто приводят к смысловому конфликту, в результате которого вдруг обнажается пространственная и временна́я неоднородность (*гетеротопия* и *гетерохрония*) любого символического режима. Как отмечал Фуко, эта неоднородность проявляется особенно ярко в пространстве кладбища, где человек одновременно остается частью традиционного представления истории как непрерывного, поступательного нарратива и выпадает из него, «растворяясь и исчезая» в вечности[83]. В начале 1980-х годов массовые ритуалы похорон лидеров партии, постоянно транслируемые и описываемые авторитетным языком в средствах массовой информации, играли ту же роль в повседневной реальности, вскрывая пространственно-временны́е разрывы и парадоксы советского символического режима. Ироничная некроэстетика, ставшая к тому времени частью повседневного общения, фокусировалась именно на этих разрывах и парадоксах.

[82] Вспомним приведенный в главе 2 пример того, как на похоронах высокопоставленных лиц употреблялась фиксированная формула, в которой речь шла о людях, похороненных «на Красной площади у Кремлевской стены», хотя в действительности к концу 1970-х их тела кремировались и прах погребался внутри Кремлевской стены.

[83] Foucault 1998c: 182.

Некрологи Пригова

Эта некроэстетика проявилась и в повседневном популярном фольклоре, и в художественных экспериментах неформальных художников. Некоторые примеры и того и другого мы уже рассмотрели. Проявлялась она и во всевозможных ироничных текстах, которые создавались как имитация официальных некрологов и других авторитетных упоминаний о смерти руководителей страны. В таких текстах разными способами обыгрывалось ощущение только что упомянутых биологических разрывов в символической ткани авторитетного дискурса. Чаще всего эти тексты писались как шутки в кругу друзей, представителей последнего советского поколения — студентов, комсомольцев, служащих, даже членов комсомольского актива. Большинство из этих текстов не воспринималось их авторами как литературное творчество (так же, как и эксперименты некрореалистов не воспринимались ими в первые годы как художественная активность). Но были и такие, которые с самого начала или впоследствии приобрели статус литературных. Мы начнем именно с них, поскольку они помогут нам в интерпретации аналогичных *нелитературных* текстов, которых было намного больше и которые представляют для нашего анализа особый этнографический интерес.

Примером подобных художественных экспериментов были тексты, которые сочинял в те годы неформальный московский поэт-концептуалист Дмитрий Пригов. Пригов был скульптором по образованию, не входил в Союз писателей СССР, и его литературные произведения нигде не печатались. А сам он не был известен за пределами узкого круга московских интеллектуалов и художников[84]. В 1980 году Пригов написал серию коротких текстов под названием «Некрологи», впервые опубликованную через много лет, в период перестройки[85]. Приговские «Некрологи» были примером иронии вненаходимости, с элемента-

[84] К своим литературным экспериментам Пригов приступил после того, как государство лишило его права иметь художественную студию и заниматься скульптурой стало невозможно. Пригов приобрел широкую известность как литератор лишь в постсоветский период.

[85] См.: Пригов 1997.

ми некроэстетики, и являлись, безусловно, реакцией на нарастающее ощущение парадоксальности системы — ее кажущейся символической вечности и очевидного биологического дряхления. Они были написаны за два года до наступления в СССР настоящей эпидемии смертей первых лиц. В этом нет ничего удивительного, ведь Пригов, как справедливо заметил Андрей Зорин[86], реагировал не столько на конкретные события, сколько на культурно-социальные сдвиги и настроения вообще. А сдвиг в сторону дряхлеющей геронтократии в годы написания «Некрологов» уже шел вовсю.

Тексты сообщают о смертях классических русских писателей XIX века в форме официального советского некролога, хорошо всем знакомой по советским газетам. Классики литературы предстают партийными руководителями и советскими чиновниками. Но в конце некролога всегда совершается «переворачивание» формы, введение в нее совершенно иного языка и образов. В некрологе Пушкина читаем:

> Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что 10 февраля (29 января) 1837 года на 38-м году жизни в результате трагической дуэли оборвалась жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
>
> Товарища Пушкина А.С. всегда отличали принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На всех постах, куда его посылали, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, воинскую отвагу и героизм, высокие качества патриота, гражданина и поэта.
>
> Он навсегда останется в сердцах друзей и близко знавших его как гуляка, балагур, бабник и охальник.
>
> Имя Пушкина вечно будет жить в памяти народа как светоч русской поэзии.

[86] Зорин 1997: 10—23.

Аналогичные некрологи посвящены в этой серии текстов «товарищу Лермонтову», «товарищу Достоевскому» и «товарищу Толстому». В некрологе Толстого читаем:

> Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что не стало графа Льва Николаевича Толстого.
>
> Товарища Толстого Л.Н. всегда отличали принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На всех постах, куда его посылали, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, воинскую отвагу и героизм, высокие качества гражданина, патриота и поэта.
>
> Он навсегда останется в сердцах друзей и близко знавших его как большой барин, увлекавшийся идеями буддизма, толстовства и опрощения.
>
> Имя Толстого вечно будет жить в памяти народа как зеркало русской революции.

Последний некролог Пригов пишет себе самому:

> Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что 30 июня 1980 года в городе Москва на 40-м году жизни проживает Пригов Дмитрий Александрович.

Тексты «Некрологов» построены как имитация формы авторитетного высказывания, с ее одновременной деконтекстуализацией путем введения в текст несоответствий на уровне референции, жанра, темпоральности и так далее — советский дискурс о «великой русской литературе» сочетается с советским партийным языком, XIX век сочетается с поздним социализмом, классики литературы сочетаются с партийным руководством, официальная скорбь по поводу смерти

связана с «проживанием» Пригова в Москве. В рамках авторитетного текста здесь осуществляется смешение политических систем и речевых жанров. Возникает несоответствие на уровне истории, смысла, субъектности. Сообщая о смерти «товарища Пушкина», ЦК КПСС перечисляет его черты поэта, используя как штампы авторитетного дискурса («на всех постах, куда его посылали, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, воинскую отвагу и героизм, высокие качества патриота, гражданина...»), так и прямую им противоположность («гуляка, балагур, бабник и охальник»). Эти тексты являются критикой авторитетного языка, которая производится не извне этого дискурса, а *изнутри*, путем его имитации. Таким образом вскрывается его парадоксальное внутреннее устройство — например, тот факт, что буквальный смысл высказывания в нем гораздо менее важен, чем неизменность и повторяемость его авторитетной формы.

Таким образом, работа этих текстов заключается не в прямом, внешнем коментарии по поводу парадоксальной природы закостенелого идеологического слова, а в хирургическом вскрытии этой внутренней природы слова изнутри. Этим подходом метод Пригова напоминает эксперименты некрореалистов. Но еще важнее другая параллель. Вспомним, что в тот период, в начале 1980-х, некрореалисты еще не думали о своих «экспериментах» как о художественных акциях. Их эксперименты были скорее реакцией на смысловую и идеологическую парадоксальность советской системы, частью которой были участники группы. Они являлись попыткой спровоцировать такие ситуации, которые бы позволили взглянуть изнутри на принцип функционирования авторитетного дискурса системы — принцип *перформативного сдвига*, который всеми и повсюду использовался, но никем публично не анализировался. И хотя тексты Пригова, в отличие от экспериментов некрореалистов, были с самого начала художественной практикой (он сам в те годы думал о своих текстах именно так), их необычная стилистика — как и весь художественный подход Пригова — возникли, безусловно, спонтанно. Как и в случае с экспериментами некрореалистов, они были реакцией на внутренние парадоксы советской системы позднего периода. То есть тексты «некрологов» можно рассматривать как симптом определенных изменений в системе (таких, как нарастающий

перформативный сдвиг всех ее идеологических высказываний). Поэтому следует ожидать, что аналогичная реакция появилась в тот период и в нехудожественных средах, среди обычных советских граждан, которые художниками и литераторами себя не ощущали и впоследствии ими не стали. Действительно, мы находим множество текстов, которые были написаны в те годы обычными советскими гражданами в режиме *иронии вненаходимости* и удивительно напоминали приговские тексты по своей структурной иронии и смысловой организации.

«Указание»

Как уже говорилось, ирония вненаходимости в этот период распространилась довольно широко, особенно среди молодого поколения. Она практиковалась не только «обычной» молодежью, но, что особенно показательно для нашего анализа, даже членами комсомольского актива. Это еще раз подтверждает наш тезис о том, что бинарная модель советского политического пространства — как пространства, поделенного на поддержку системы и противостояние ей, — не описывает реальной ситуации.

В главе 3 мы видели, что деятельность комсомольских руководителей, которые входили в «комитеты комсомола» предприятий и институтов, включала в себя, кроме прочего, написание бесконечного числа текстов, выступлений, документов, отчетов в жанре авторитетного языка, с четким соблюдением авторитетной формы. При этом констатирующий смысл этих идеологических высказываний и документов был обычно не слишком важен. Этот подход к комсомольской деятельности, как было показано в главе 3, способствовал тому, что часть комсомольских обязанностей могла восприниматься членами комитетов как важная «работа со смыслом», а часть — как «чистая проформа» и работа «ради галочки»[87]. Как мы видели, это также вело к формированию огромного числа новых, никем не ожидаемых смыслов и форм существования

[87] См. главу 3.

СССР
Министерство цветной металлургии
СОЮЗАЛЮМИНИЙ
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт

УКАЗАНИЕ

12 августа 1983 г. № 001

ЛЕНИНГРАД

13 августа 1953 года цветная металлургия СССР потерпела большую утрату. Пришел в жизнь вдохновитель и мистификатор, бесоменный руководитель засолочного пункта и директор Засаде-островской канатной дороги, отчим эстонского попса, герой монгольского эпоса [illegible].

Эта дата розовыми буквами вписана в биографию [illegible].

В ознаменование этого выдающегося событая УКАЗЫВАЮ рабочим коллективам и отдельным гражданам на соблюдение производственной дисциплины и соблюдение тишины после 23 часов. Приступить к поздравлению в виде подношений, объятий, приподаний, похлопываний, поцелуев и перетягивания каната.

Вр. И. о. секретаря
всего комитета [illegible]

Рис. 43. «Указание» — ироничный документ, составленный членами комитета комсомола ко дню рождения Андрея К. 1983 г.

в позднесоветском обществе[88]. Именно реакцией на эти парадоксы и сдвиги формы и содержания, которые были неотъемлемой частью деятельности всех комитетов комсомола, стали тексты, написанные

[88] Включая формирование новых публик своих, новых зон вненаходимости, распространение западной рок-музыки и одежды — см. главы 3—6.

в стиле *иронии вненаходимости*. Одним из самых распространенных примеров таких текстов были пародии на официальный документ, которые походили на документ по форме и были написаны узнаваемым авторитетным слогом, часто на официальном бланке документа, но с использованием терминов и референций, вводивших в текст документа парадокс и иронию.

Рассмотрим такой пример. 12 августа 1983 года Андрей — уже знакомый нам секретарь комитета комсомола одного из ленинградских НИИ (см. главы 3 и 6) — отмечал свой тридцатилетний юбилей с друзьями из комитета. Они собрались в кабинете комитета комсомола института, выпили за здоровье Андрея, и друзья вручили ему ироничный поздравительный документ под названием «Указание».

«Указание» было составлено на официальном комсомольском бланке, в реальном кабинете комитета комсомола, людьми, которые действительно являлись членами этого комитета. Оно было напечатано на пишущей машинке комитета, ему был присвоен регистрационный номер и дата, и говорилось в нем о реально действующем секретаре комитета комсомола. Иными словами, производство этого текста практически полностью повторяло процесс производства реальных идеологических текстов, с той лишь разницей, что этот документ планировался как их ироничная имитация и создавался для внутреннего чтения исключительно членами комитета — теми, кто воспринимал друг друга как *своих*[89]. Подобные тексты делали видимым внутреннее устройство авторитетного дискурса — устройство не только его языковой структуры, но и институтов и отношений, благодаря которым этот дискурс воспроизводился и распространялся в местной комсомольской практике.

Текст «Указания» удивительно напоминает «Некрологи» Пригова. Отметим, что в те годы членам этого комитета комсомола и подавляющему большинству советских граждан ни сам Пригов, ни его тексты известны не были. Тем важнее параллели между этими документами. Подобные тексты возникали независимо друг от друга и в разных стратах советского общества, что лишь подтверждает наш тезис о том, что их появление следует рассматривать как симптом внутренних изменений

[89] См. главу 3.

системы, которые, однако, в тот момент оставались во многом невидимыми для большинства ее граждан, включая авторов этих текстов.

Хотя «Указание» посвящено дню рождения Андрея, оно было составлено как раз в те годы, когда началась эпидемия смертей высокопоставленных партийных и советских чиновников. Это отразилось на стиле ироничного поздравления — оно написано как псевдонекролог, напоминающий стандартные сообщения о смерти выдающихся деятелей партии, правительства, науки и искусства. Текст официальных сообщений обычно начинался с двух стандартных фраз: в первой сообщалось, что какое-то советское сообщество («советское правительство», «советская наука», «советская музыкальная культура», «советские вооруженные силы» и так далее) «потерпело (*или* понесло) большую утрату». К этому обычно добавлялось, что утрату также претерпел (*или* понес) «весь советский народ». В следующем предложении непосредственно объявлялось о факте смерти конкретного деятеля, и начиналось оно стандартной фразой — «ушел из жизни», — за которой следовал стандартный перечень титулов и чинов умершего, заканчивающийся его именем. Например, 12 ноября 1982 года «Правда» сообщила о смерти генерального секретаря КПСС Брежнева следующим языком: «Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности Леонид Ильич Брежнев»[90].

«Указание», составленное в институтском комитете комсомола по случаю дня рождения Андрея, начинается в этом же стиле с узнаваемой стандартной фразы: «13 августа 1953 года цветная металлургия[91] СССР потерпела большую утрату». Однако далее происходит неожиданный переворот — вторая фраза начинается не со слов «ушел из жизни», а со слов «пришел в жизнь». Аналогичный прием мы видели выше в автонекрологе Пригова — «с глубоким прискорбием сообщают, что... на 40-м году жизни проживает Пригов Дмитрий Александрович».

[90] «Обращение» — Правда. 1982. 12 ноября.

[91] Отсылка к специализации этого НИИ.

В этом приеме главным является не столько издевка над идеологическим словом и не его отрицание, сколько формирование альтернативного субъектного и альтернативного социального пространства по отношению к авторитетному дискурсу — *пространства вненаходимости*, — которое не описывается бинарным разделением политического на партийную идеологию и контридеологию. Именно в этом пространстве вненаходимости существует и работает Андрей и его коллеги по комитету. Именно в нем воспроизводится и реинтерпретируется идеологический дискурс и организуется комсомольская работа. То есть этот документ не столько иронизирует по поводу авторитетного слова партии, сколько показывает, как идеологический процесс устроен на самом деле, как он выглядит изнутри. Причем этот ироничный показ совсем не означает, что те, кто его сочиняют, не могут продолжать делать часть своей комсомольской работы вполне искренне.

Вспомним анализ различных видов деятельности Андрея на посту секретаря комитета комсомола, приведенный в главе 6. Андрей являлся и организатором комсомольской работы, и ответственным секретарем, который заботится о благополучии молодых сотрудников, и вдохновенным изобретателем способов уйти от бессмысленной, формальной комсомольской работы, и активным создателем отчетов о работе, которой в действительности никто не проводил, и знатоком «буржуазной» рок-музыки, и организатором дискотек и музыкальных концертов «неофициальных» групп. Текст «Указания» отсылает нас ко всем этим сторонам деятельности Андрея.

В следующем далее перечислении титулов Андрея смысл стандартных фраз авторитетного дискурса опять изменяется благодаря деконтекстуализации и смещению авторитетной формы. Андрей характеризуется как «вдохновитель» (авторитетный язык) и «мистификатор» (ироничный язык), с намеком на то, что его деятельность на посту комсомольского секретаря заключалась и в организации работы, которую он считает действительно важной, и в изобретении способов избежать исполнения поручений, которые он считает формальностью и бессмыслицей[92]. В следующей формуле авторитетного дискурса Андрей характе-

[92] См. подробнее в главе 3 о том, как Андрей разделял комсомольскую работу по типам, как организовывал «работу со смыслом» и как избегал «бессмысленной» работы.

ризуется как «бессменный руководитель» (авторитетная формула), однако руководит он не комсомольским комитетом, а «засолочным пунктом» — намек на то, что этот комитет комсомола является компанией друзей, которые проводят много времени в кабинете секретаря комитета, часто занимаясь не комсомольской работой, а просто беседуя, распивая чай, а иногда и более крепкие напитки, планируя праздники и концерты, — и во главе всего этого стоит Андрей.

Фраза «директор Василеостровской канатной дороги» усиливает общий ироничный эффект, подчеркивая парадоксальную нестыковку между формой описания реальности и констатирующим смыслом этого описания в рамках ежедневного существования этих молодых людей. Васильевский остров — район Ленинграда, в котором располагался Горный институт, где раньше учился Андрей, а также НИИ, в котором он и его коллеги по комитету теперь работали, и райком комсомола, которому их комитет был подотчетен, — расположен на берегу Финского залива и является абсолютно плоским районом города, возвышающимся в среднем менее чем на метр над уровнем моря. Многократно в своей истории, включая 1970-е и начало 1980-х годов, о которых идет речь, Васильевский остров оказывался затопленным во время наводнений[93]. Упоминание «канатной дороги», звучащее абсурдно в принципе, в этом контексте звучит особенно смешно[94]. Следующие фразы, «отчим эстонского по́пса» и «герой монгольского эпоса», дополняют друг друга. С одной стороны, упоминание в одном списке Эстонии, самой «западной» советской республики, и Монголии, самого «восточного» советского сателлита, уже является намеком на многоплановость и парадоксальность личности Андрея. Этим подчеркивается кажущийся парадокс разных занятий, которым он уделяет свое время:

[93] Небольшие наводнения происходили практически ежегодно, а два довольно крупных из них произошли незадолго до написания «Указания», в ноябре и декабре 1982 года (см. http://www.nevariver.ru/flood_list.php). Наводнения совсем прекратились лишь с окончанием строительства специальной дамбы, перегораживающей Финский залив, в постсоветское время.

[94] Авторское интервью с Андреем К., Санкт-Петербург, 1994 год (хотя сам Андрей не принимал участия в составлении текста «Указания», позже он подробно обсуждал его со своими друзьями-коллегами).

с одной стороны, деятельность по организации концертов ленинградских любительских ансамблей на рок-фестивалях в Эстонии[95] («эстонский попс»), с другой — искусное сочинение длинных комсомольских отчетов и выступлений, рассказывающих о реальных и выдуманных успехах его комсомольской организации и написанных во впечатляющей и не совсем понятной стилистике комсомольско-партийного языка («монгольский эпос»), в котором Андрей стал специалистом. «Монгольский эпос» был действительно внутренним ироничным термином, которым друзья из комитета комсомола называли тексты в жанре авторитетного дискурса[96]. Как и полагается в официальном партийном некрологе, перечень достижений Андрея заканчивается его именем. Однако вместо стандартной авторитетной формулы — имя, отчество, фамилия — его называют просто Андрюшенькой, намекая на то, что в его случае эта должность приобретает многоплановый смысл. Для членов комитета Андрей не только комсомольский руководитель и коллега, но и один из *своих* — человек, о котором известно, что он не является бездумным активистом или аморальным карьеристом, не следует тупо всем бюрократическим и идеологическим предписаниям и запретам и старается отделять важные задачи от большого количества формальной шелухи.

Третье предложение, в котором упоминается день рождения Андрея, тоже начинается со стандартной формулы авторитетного дискурса, согласно которой важные с идеологической точки зрения даты были «вписаны красными буквами» в советский календарь (именно так в «Правде» каждый год сообщалось о первомайских праздниках и о праздновании годовщины Октябрьской революции). Однако в «Указании» эта формулировка иронично изменена: дата вписана не красными, а розовыми буквами, что меняет ее смысл — дата дня рождения Андрея не слишком хорошее событие для авторитетной версии советской системы, ведь умелая деятельность Андрея на посту секретаря изменяет ее смысл. В последних двух предложениях авторитетный и ироничный жанры вновь смешиваются. Фраза «В ознаменование этого выдающегося события указываю рабочим коллективам и отдельным гражданам... после 23 часов...»

[95] См. подробнее в главе 6.

[96] Интервью с Андреем К., Санкт-Петербург, 1994 год.

построена по модели стандартного приказа министра обороны, публикуемого в газетах, о проведении салюта в главных городах страны по случаю праздников. Так, 9 мая 1983 года «Правда» напечатала этот приказ на первой полосе: «В ознаменование тридцать восьмой годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, приказываю сегодня, в 22:00 часа по местному времени, провести праздничный артиллерийский салют в [*список советских городов*]». В тексте Указания салют заменен на список дружески-абсурдных поздравительных жестов, которые необходимо совершить в ознаменование дня рождения Андрея: «Приступить к поздравлению в виде подношений, объятий, припаданий, похлопываний, поцелуев и перетягивания каната».

Документ выдержан в жанре *иронии вненаходимости*: в нем подчеркивается несколько знакомых всем членам комитета парадоксов и несоответствий в повседневной деятельности Андрея. Это не прямое высмеивание авторитетного дискурса, а ироничное моделирование того, как он в действительности функционирует внутри советской повседневности: здесь воспроизводятся, иногда слегка изменяясь, авторитетные формулы, но затем другие фразы перемещают эти формулы в реальный контекст советской жизни, наполненный разнообразными, парадоксальными видами деятельности, смысл которых часто прямо противоположен буквальному смыслу этих авторитетных высказываний. Это ведет к постоянному смещению авторитетного дискурса. Кроме того, что немаловажно, здесь дается понять, что подобное переосмысление этого дискурса требует поистине творческого подхода и изобретательности со стороны Андрея и совсем не обязательно является нечестным, аморальным или антисоветским поведением. В документе Андрей предстает положительным героем именно потому, что он относится к авторитетному партийному дискурсу не просто положительно или отрицательно, а выборочно — не придерживаясь и не отвергая всех его констатирующих смыслов, а активно участвуя в их интерпретации. Именно поэтому Андрей мог считаться в кругу друзей одновременно и «мистификатором», умеющим избегать бессмысленной идеологической деятельности или организовывать под ее прикрытием рок-концерты и дискотеки, и «честным комсомольским секретарем», верившим в идею коммунизма, организующим различные виды комсомольской работы,

которые он считал важными, и искренне гордившимся грамотами райкома комсомола, полученными за эту деятельность.

«Личный листок»

Рассмотрим другой ироничный документ, который тоже посвящен дню рождения Андрея, но уже в 1983 году. В отличие от «Указания» текст этого документа составлен коллегами Андрея по комитету при его непосредственном участии, во время одного из совместных чаепитий в кабинете комитета. Документ выполнен на официальном бланке, который использовался отделами кадров большинства советских предприятий и назывался «Личным листком по учету кадров». Он представляет собой анкету, которая заполнялась при поступлении человека на работу и содержала сжатую информацию о его биографии — социальное происхождение, национальность, образование, трудовая деятельность, членство в партии, отношение к воинской обязанности, награды, взыскания и так далее. То, каким образом была заполнена данная анкета, делает ее ярким примером иронии вненаходимости позднесоветского периода. Здесь вновь обыгрывается перформативный сдвиг между формой и смыслом авторитетного дискурса. Если акцентировать внимание на буквальный смысл вопросов в подобных стандартных анкетах, появляется ощущение, что он менее важен, чем форма самих вопросов. Язык вопросов и вся структура подобных документов оставались неизменными на протяжении долгих лет, а небольшие изменения, которые в них вносились, часто заключались не в замене устаревших формулировок на новые, а в наслоении новых фраз на уже существующие. Для того чтобы создать ощущение иронии в таком тексте, можно было просто ответить на вопросы *напрямую*, тем самым подчеркивая уже содержащуюся в самих вопросах внутреннюю парадоксальность. Поскольку этот документ довольно длинный, рассмотрим лишь некоторые его части[97].

[97] Интерпретация этого документа была составлена на основании авторского интервью с Андреем К., Санкт-Петербург, 1994 год.

В начале анкеты, указав реальные имя, фамилию и отчество Андрея, члены комитета перешли к иронической обработке вопросов. «Место рождения» Андрея (пункт 4) обозначено как «Нижние Матюги», с очевидными вульгарными коннотациями; «Социальное происхождение» (пункт 6) обозначено как «из посадских» — то есть как узнаваемо несоветское, непролетарское, дореволюционное, а значит, идеологически чуждое; «Партийность» (пункт 7) обозначена шутливо-вульгарным выражением «член», вместо «член партии», отсылающим к распространенным тогда сексуальным шуткам (включая и шутки по поводу партии, в которых члены партии назывались просто «членами», то есть фаллосами, а официальные автомобили членов Политбюро именовались «членовозами»). Дата вступления Андрея в КПСС («Партстаж», вторая часть пункта 7) отмечена несуществующим (абсурдным) числом «32.13.01», а номер его партбилета — не менее абсурдным числом «0.75», намекающим на объем бутылки спиртного в 0,75 литра (отсылка к частым совместным выпиваниям среди членов комитета комсомола). В ответ на вопрос «Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени и N. билета» (пункт 8) члены комитета вместе с Андреем написали «всегда», иронично намекая на парадоксальную политическую сущность комсомола: Андрей оказался членом ВЛКСМ не по личной инициативе, а потому, что членство в комсомоле было практически неизбежным (то есть *вечным*) состоянием советской молодежи.

В ответ на вопрос «Какие имеете научные труды и изобретения» (пункт 12) приведено три вымышленных «проекта», которые Андрей якобы выполняет и которые довольно точно описывают его интересы и сложные взаимоотношения с авторитетным дискурсом: 1) «Еще раз к вопросу влияния параноического гонококка на фазовую структуру оптимального звучания Эрика Бердона»; 2) «Выращивание волосяного покрова на лице в экстремальных условиях» и 3) «Секрет долголетия». Упоминание имени Эрика Бердона (Eric Burdon) — музыканта легендарной, но не самой популярной в СССР английской рок-группы *The Animals* — является отсылкой к необычно серьезному увлечению Андрея англо-американской рок-музыкой (большинство его сверстников, увлекающихся роком, не было хорошо знакомо с музыкой этой группы). При этом упоминание «параноического гонококка» (формы слабоумия,

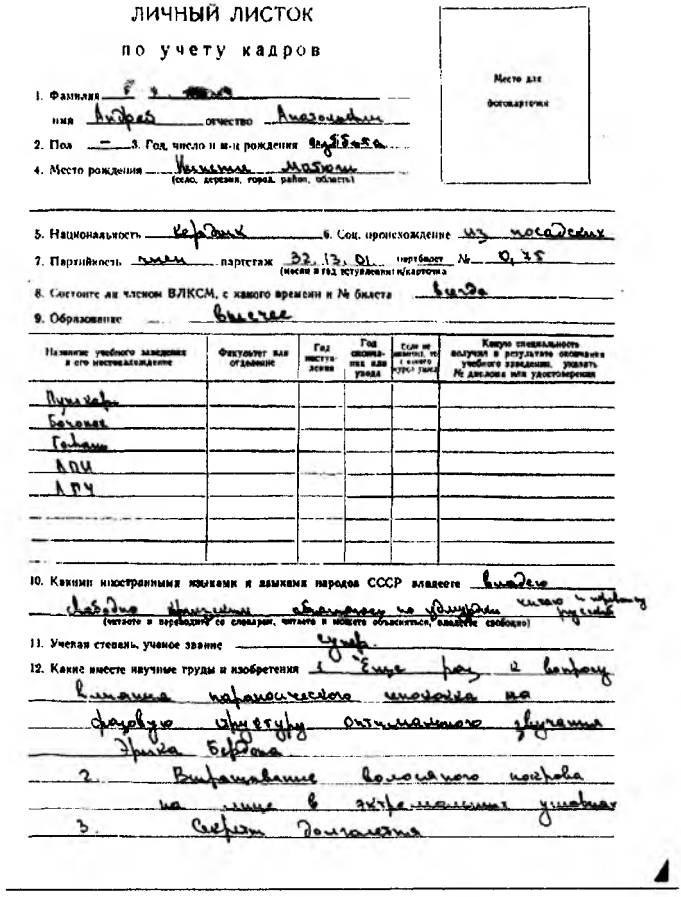
вызванной продолжительным воздействием гонореи) в данном случае добавляет абсурдности и вульгарности действиям Андрея на посту секретаря комитета, подчеркивая кажущуюся противоречивость его действий на разных постах и в разных контекстах (от мобилизации комсомольцев для выполнения идеологических задач партии до активного коллекционирования записей западной рок-музыки и далее вплоть до критики этой музыки в стандартных комсомольских речах, которые ему приходилось произносить[98]). Наконец, фраза «Секрет долголетия» остылает к кличке «дед», которую Андрей приобрел еще в годы учебы в Горном институте за наличие густой бороды. Комментируя эту анкету во время интервью многими годами позднее, Андрей вспомнил, что в этой фразе была также скрыта ирония по поводу высшего партийного руководства, на тот момент полностью состоявшего из стариков (документ писался в самый разгар повальной эпидемии смертей высокопоставленных партийных работников, через несколько месяцев после смерти Брежнева и за несколько месяцев до смерти Андропова — см. выше).

Из этих ответов следует, что занятия и интересы Андрея на посту секретаря комитета комсомола и методы их претворения в жизнь значительно отличались от буквального смысла задач и содержательной повестки дня, сформулированных в советском авторитетном дискурсе. При этом документ передавал и другую идею: поскольку форма подобных анкет и вопросы, содержащиеся в них, не менялись годами, что соответствовало принципам авторитетного дискурса[99], дословный идеологический смысл этих формулировок был не так важен.

Это особенно видно в вопросе пункта 13 — «Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах, работу по совместительству)» (рис. 45). Уже в самой формулировке этого вопроса ощущается временной парадокс авторитетного дискурса — его форма настолько заморожена во времени, что

[98] См. главу 6.

[99] Об устойчивости этого типа анкет и документов как части советской политической идентификации см.: Ssorin-Chaikov 2003: 106.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК

по учету кадров

Место для фотокарточки

1. Фамилия
имя Андрей отчество
2. Пол — 3. Год, число и м-ц рождения
4. Место рождения
(село, деревня, город, район, область)

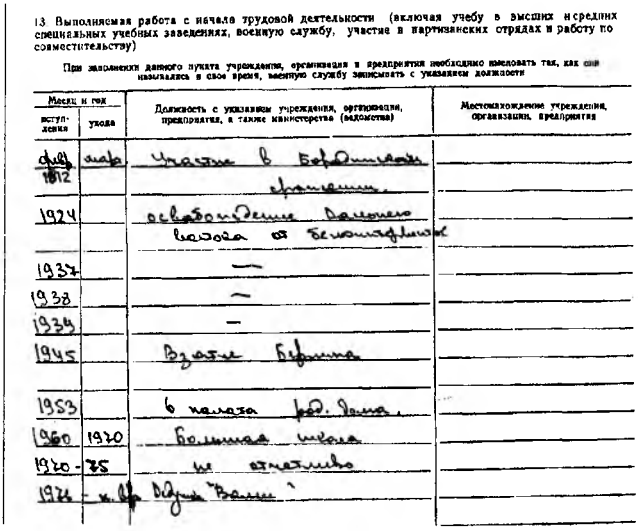
5. Национальность 6. Соц. происхождение из посадских
7. Партийность член партстаж 32.13.01 партбилет № 0.45
(месяц и год вступления в партию)
8. Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени и № билета
9. Образование Высшее

Название учебного заведения и его местонахождение	Факультет или отделение	Год поступления	Год окончания или ухода	Если не закончил, то какого курса ушел	Какую специальность получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения
Пулькарь					
Бочкова					
Гольцы					
АПИ					
АРЧ					

10. Какими иностранными языками и языками народов СССР владеете
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
11. Ученая степень, ученое звание
12. Какие имеете научные труды и изобретения

Рис. 44. Первая страница документа «Личный листок по учету кадров», иронично заполненная Андреем К. и его коллегами по комитету комсомола ко дню рождения Андрея. 1982 г.

ее дословный смысл подчас становится просто нелепым. Например, согласно этой формулировке, «выполняемая работа» включает в себя не только работу и учебу, но и «участие в партизанских отрядах» времен Великой Отечественной войны, окончившейся сорока годами



13 Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству)

При заполнении данного пункта учреждения, организация и предприятия необходимо указывать так, как они назывались в свое время, именную службу записывать с указанием должности

Месяц и год поступления	Месяц и год ухода	Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)	Местонахождение учреждения, организации, предприятия
[illegible] 1912	[illegible]	Участие в Бородинском сражении.	
1924		освобождение Данцига [illegible] от Белогвардейцев	
1937		—	
1938		—	
1939		—	
1945		Взятие Берлина	
1953		в начале [illegible]	
1960	1920	Большая школа	
1920 -	25	не отмечено	
1926 -	н. [illegible]	[illegible] Вами	

Рис. 45. Одна из внутренних страниц «Личного листка»

ранее, задолго до рождения Андрея. Участие в партизанских отрядах здесь не только перенесено в настоящее время, но и перечислено среди обыденных занятий, включая «работу по совместительству», что усугубляет эффект абсурдности. Особых ироничных интерпретаций здесь можно даже не выдумывать. Достаточно просто обратить внимание на буквальный смысл этих формулировок, — на который обычно внимание не обращалось, — чтобы стала очевидна их временна́я и логическая парадоксальность. (Кроме того, вспомним, что для авторитетного языка этого периода был характерен общий сдвиг временно́й оранизации в сторону прошлого[100], что хорошо иллюстрируется этим примером.)

На этот вопрос в анкете дан ироничный ответ, построенный так, чтобы усугубить темпоральные и субъектные сдвиги между застывшей формой этих высказываний и смыслом, который они приобретают в контексте обычной жизни сверстников Андрея. Члены комитета придумывают целый список «выполняемых работ» Андрея, наподобие

[100] См. подробный анализ в главе 2.

участия в партизанских отрядах: «участие в Бородинском сражении (февраль—март 1812 года)», «освобождение Дальнего Востока от белоинтервентов (1924 год)», «взятие Берлина (1945 год)». Интересно, что к «историческим событиям» в жизни Андрея отнесены также и годы «1937», «1938» и «1939» — годы сталинского террора; рядом с ними не указано никакой деятельности, а поставлены просто прочерки, что намекает на стирание этих лет из авторитетного описания (в начале 1980-х годов эти события в государственном дискурсе практически не упоминались). Андрей и его коллеги не только прекрасно понимают, что авторитетное описание советской истории не является буквальным отражением действительности и что интерпретировать его таким образом не следует, но и откровенно включают ироничный комментарий по этому поводу в шуточную биографию секретаря комитета комсомола. Далее в графах вписано «1953» — год рождения Андрея, «1960—1970» — годы учебы в школе, «1970—1975» — годы обучения в институте (последние отмечены фразой «не отчетливо», намекающей на частые выпивки в студенческие годы), и наконец «1976 — наст. вр.» — годы работы в НИИ, где его роль вновь отмечена как «дедушка» института.

Андрей никогда не получал орденов и медалей, но, отвечая на вопрос «Личного листка» «Какие имеете правительственные награды», друзья приводят целый перечень его наград, вновь обыгрывая все те же сдвиги между формой и смыслом в понятии «советский человек» — на темпоральном, историческом, субъектном уровнях. Награды включают:

«Георгиевский крест с цепочкой» — отсыл к дореволюционной российской империи.

Медаль «4 выставка служебного собаководства. Бердищи» — смешение биологических видов, Андрей выступает человеком и служебной собакой[101].

[101] Сравните с экспериментами некрореалистов и их попытками «заматереть», то есть приобрести черты и человека, и зверя — например, эксперименты Андрея Мертвого в лесу (см. выше).

«Орден дружбы заборов» — в названии советского ордена Дружбы народов, который вручался за участие в интернационалистической деятельности, «народы» заменены на «заборы», что тривиализирует авторитетную идеологическую формулу, проводя параллель между ней и пьянством (дружить с заборами, то есть лежать под забором).

«Медаль коту Тихону от любящих кошек» — Андрей вновь предстает как представитель иного биологического вида.

Ирония вненаходимости здесь строится путем смешения исторических периодов (старых, новых, советских, дореволюционных), политических режимов (советского, царского, буржуазного) и биологических видов (человек, животное). В результате Андрей как советский субъект предстает здесь в отношениях *вненаходимости* к историческому, политическому и биологическому контекстам советской реальности, согласно ее описанию в авторитетном дискурсе. Для членов комитета комсомола, породивших этот документ, он не являлся прямой насмешкой над партийной идеологией, авторитетным языком или комсомольской деятельностью Андрея. Скорее, этот документ был очередным ироничным способом показать внутреннюю природу авторитетного языка и всей символической системы, в которой воспроизводство формы было важнее буквального смысла, но при этом не обязательно предполагало цинизм по отношению к коммунистическим идеалам. По крайней мере, Андрей, как мы видели выше, ко многим из этих идеалов относился вполне искренне.

«Военка»

Лена, студентка факультета журналистики Ленинградского университета (1963 год рождения), которую мы встречали в главе 3, в начале 1980-х вела подробный дневник. Дневник этот полон записей, рассказывающих о советской повседневности, часто с иронией. В начале лета 1983 года Лена писала об университетских занятиях по военной подготовке, известных на студенческом жаргоне как «военка». «Военка» была

обязательным предметом, который большинство студентов считали скучным и ненужным. Темы, которые обсуждались на этих занятиях, форма, в которой они подавались, и преподаватели, которые их вели, давали массу поводов для иронии.

Например, на занятиях по военной подготовке рассказывалось о том, как себя следует вести при разного рода нападениях противника с применением оружия масового уничтожения, какие меры самозащиты следует принимать, кому следует подчиняться, куда следует идти и так далее. В учебнике по «военке» содержалось множество иллюстраций на эти темы, сделанных крайне примитивно и схематично армейскими художниками, что вполне отвечало изобразительной форме авторитетной репрезентации тех лет, встречающейся также в самых разных пропагандистских материалах, от небольших стендов на предприятиях до больших плакатов на фасадах домов. На иллюстрациях в учебнике изображались не слишком профессионально нарисованные последствия ядерных взрывов и биологических заражений в городской и сельской местности, колонны граждан, марширующих в убежища, парторганизаторы и медицинский персонал, руководящие движением населения. Сухим языком, полным идеологических штампов, рассказывалось о различных видах травм и заражений. Как и в других проявлениях застывшего авторитетного дискурса, эти изображения и описания обычно не воспринимались студентами буквально, как информация, которую следует понять и выучить, а читались формально, как нечто не связанное с реальностью. Учитывая при этом особенность обсуждаемой тематики, неудивительно, что эти тексты и рисунки стали идеальными объектами для иронии, в которой авторитетные языковые формулы уже цитировались в контексте идеологически нагруженной некроэстетики. 4 июня 1983 года, готовясь к зачету по военной подготовке в университете, Лена записала в своем дневнике:

> Военка — великая вещь. В моем учебнике есть потрясающие пенки по поводу поведения населения в случае войны. Например, аккуратные, привлекательные, соблюдающие моральный кодекс строителя коммунизма граждане спокойно заполняют убежище. Или флегматичный молодой человек, из которого фонтаном бьет

> кровь, рядом с хладнокровно-умелой сандружинницей. И другие правдивые картинки, где никто не сеет панику. От этих картинок тянет, как ни странно, душком дешевых бумажных иконок, пошлых, неестественных и каких-то... смердящих (от Лизаветы Смердящей).

Показательно, что запись кончается упоминанием Лизаветы Смердящей — героини романа Достоевского «Братья Карамазовы», который Лена очень любила. Лизавета была сумасшедшей и юродивой. Лицо у Лизаветы, пишет Достоевский, «здоровое, широкое и румяное, было вполне идиотское; взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный»[102]. Несмотря на отталкивающую внешность, Лизавета была безобидной и по-своему доброй девушкой, которую обычно никто не обижал и «как будто все даже любили»[103]. На рисунках и в описаниях из учебника по военной подготовке хладнокровные медсестры и спокойные, истекающие кровью советские граждане, «соблюдающие моральный кодекс строителя коммунизма», не испытывают боли и не поддаются панике, как юродивая в романе Достоевского. Для Лены эти образы — не столько враги, сколько безобидные, смирные, но неприятные идиоты.

«Идеологический отчет»

В другой дневниковой записи годом позже Лена вновь напрямую обращается к форме авторитетного дискурса, иронизируя по его поводу и изменяя смысл его высказываний при общении с властными институтами государства. Летом 1984 года, во время каникул в университете, Лена, хорошо знавшая немецкий язык, поступила на временную работу внештатным гидом в государственное туристическое агентство «Интурист», обслуживавшее иностранных гостей. В конце июня она провела несколько дней со своей первой иностранной группой — туристами из Дрездена, ГДР (водить туристов из идеологически враждебной

[102] Достоевский 2008: 123.

[103] Там же: 124.

Западной Германии ей поначалу доверить не могли). Туристы с интересом и энтузиазмом осматривали Ленинград и его окрестности, побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе, Русском музее, Петергофе, Екатерининском дворце в Пушкине. Повсюду хорошо образованная и начитанная Лена рассказывала им о русской истории, архитектуре, живописи, часто выходя за рамки сухих экскурсионных текстов, которыми ее снабдили в «Интуристе». Немцы были в восторге и сдружились с Леной. После их отлета домой Лена пошла в центральное бюро «Интуриста», расположенное на Исаакиевской площади, чтобы отчитаться о финансовых расходах группы (в гостинице, ресторанах, музеях, на транспорте) — заполнить так называемый «финансовый отчет». И тут Лена неожиданно для себя столкнулась с необходимостью общения с КГБ. Оказалось, что кроме финансового отчета от нее требовалось написать еще один так называемый «идеологический отчет», о существовании которого Лена, как внештатный гид, до этого момента ничего не знала. Говорить об идеологическом отчете за пределами некоторых кабинетов «Интуриста» было не принято. А писаться этот отчет должен был только в специальном помещении, в глубине здания «Интуриста», скрытом от посторонних глаз за несколькими дверями и коридорами и являющемся, по сути, отделением КГБ при «Интуристе». Выносить идеологический отчет из этого помещения также строго запрещалось. В дневниковой записи от 29 июня 1984 года Лена описывает то, как она узнала о существовании идеологического отчета, как восприняла эту новость и как повела себя в общении с сотрудницей особого отдела, работавшей мелким бюрократом Комитета государственной безопасности:

> В конторе сидит Наталья Алексеевна [*с которой Лена сдружилась с первых дней работы в «Интуристе»*], и это уже греет. Я написала свой финансовый отчет, а она говорит:
>
> — А теперь идите в 302-ю комнату и напишите там еще один отчет...
>
> Я поднимаюсь наверх, и все в тумане вокруг, и голова побаливает, и спать хочется смертельно. Дурацкая нумерация: 300, 301, 312, 313...

Ловлю мужика:

— Простите, я пребываю в поисках 302-й комнаты...

А он говорит:

— Ну и пребывайте.

И уходит.

Плевала я на все. Залезаю в 300-ю, там кто-то сидит. Оказывается, за дверью с надписью «312» есть еще коридорчик и вот в том коридорчике...

Комнатенка, и там тетенька сидит, вся ласковая.

— Мне, — говорю, — велели сюда идти и какой-то отчет писать...

— Ну, берите тетрадку и пишите...

— Какую тетрадку?

— Вашу, какую еще!

— А... Значит, у меня здесь есть МОЯ ТЕТРАДКА?

Она смотрит на мою перекошенную от усталости физиономию.

— Вы новенькая?

— Так точно.

— Хорошо. Садитесь, я сейчас все расскажу. Значит, когда вы проводили группу, вы должны, кроме финансового отчета, еще прийти сюда и написать еще один отчет.

— Эту информацию мне уже выдали.

— Вот. Значит, пишите: фамилию вашего руководителя[104], год его рождения, где он работает, помогал ли вам при работе, не делал ли чего-нибудь странного... Вы вообще имеете такие сведения о своем руководителе?

— Не имела чести изучать его анкету. — Я откровенно работаю под майора Вихря.

— Ну вот, теперь вы знаете, что это надо выяснять. Дальше. Уровень подготовленности группы — это видно из их вопросов. Что их интересует. Выделяется ли там кто-нибудь и чем. Задавали ли вам какие-нибудь вопросы и какие. И желательно — кто.

— Эту информацию я не собирала.

— Теперь будете знать.

[104] Руководителя группы иностранных туристов.

Она внезапно:

— Вы вообще боитесь?

— Войны боюсь, — я, мрачно. — И уколов.

Она обалдевает:

— Каких уколов?

— В вену.

Она, укоризненно:

— Ну, зачем вы так... А теперь?

— А теперь я устала. — А голос, голос-то у меня какой! Такой утомленный, тихий, как будто меня весь день пытали.

Она, терпеливо:

— А туристов боитесь?

— А что их бояться, они люди...

Ей уже любопытно:

— У вас вообще есть наставник, который помогает вам отвечать на трудные вопросы?

— Вы, вероятно, не поняли, — говорю я гордо. — Я журналист. Идеологический работник. Для того чтобы правильно ответить на любой вопрос, достаточно просто прочесть все последние партийные постановления.

— Вы сейчас будете писать или на следующей группе?

— На следующей.

— А как ваша фамилия?

Я собираю вещи. Застываю над раскрытой сумкой.

— Это еще зачем? Я ничего не писала.

Она уже зависает ручкой над какой-то бумаженцией.

— Все равно. Раз вы у нас были.

— Федотова моя фамилия, — утомленно отвечает проклятому фашисту майор Вихрь.

Я грохочу каблуками вниз, в курилку, где сидит Наталья Алексеевна и дымит, как паровоз.

— Ну что, Лена, — говорит она насмешливо, — были в 302-й?

— Была, — сурово отвечает майор Вихрь.

— И как?

— Хоть бы предупредили, куда посылаете...

Я передаю ей разговор. Она хохочет до слез.

— Лена, у вас дивное чувство юмора, но его надо оставлять за дверью.

Внезапно, развеселившись, я достаю из кармана визитку моего руководителя.

— И про руководителя я все знала... Только писать не хотела...

— Партизанка, — говорит Н.А. и вытирает слезы.

С первого взгляда может показаться, что эта дневниковая запись рассказывает лишь о противостоянии человека и системы, о неприятии человеком государственной подавляющей машины. Но ситуация здесь сложнее. Называя неприятного бюрократа из 302-го кабинета «проклятым фашистом» (подспудно ассоциируя КГБ с гестапо), Лена начинает ощущать себя, хоть и иронично, в роли не антисоветчика, а советского разведчика майора Вихря[105]. То есть, противясь «плохой» стороне советской системы, она идентифицирует себя с «хорошей» ее стороной. Это позиция не противостояния системе как таковой, а *вненаходимости* по отношению к ней. Она дает субъекту возможность получить относительную свободу от котроля государственных институтов, путем использования формальных средств самих этих институтов, не вставая на позицию прямого противопоставления себя системе в целом. Эту позицию занимают и Лена, и Наталья Алексеевна. Повторяя авторитетную формулу (с явной иронией, но соблюдая при этом серьезный вид) — «для того, чтобы правильно ответить на любой вопрос, достаточно просто прочесть все последние партийные постановления», — Лена подчеркивает, что «правильность» авторитетных высказываний зависит не от их констатирующего смысла, а от того, насколько точно они соответствуют форме последних партийных решений. То есть ироничные замечания Лены говорят о том, что путем повтора точных авторитетных форм можно наполнять свое существование новыми, альтернативными, неподконтрольными государству смыслами.

[105] Майор Вихрь — главный герой одноименного трехсерийного фильма (1967 год, режиссер Евгений Ташков) о советском разведчике, заброшенном во время Второй мировой войны в оккупированную гитлеровской Германией Польшу.

Именно эту идею она претворяет в жизнь, когда, соблюдая анкетную форму идеологического отчета, опускает все реальные подробности о личности и интересах своих туристов («и про руководителя я все знала... Только писать не хотела...»). Таким же образом Лена старалась заполнять все свои будущие отчеты, и таким же образом их старались заполнять многие молодые гиды «Интуриста»[106]. Такая практика была не прямым сопротивлением всей системе (в отличие от отказа писать идеологические отчеты или работать в «Интуристе»), а участием в воспроизводстве ее форм, со смещением и тривиализацией их констатирующего смысла.

Письма Инне

Ирония вненаходимости по отношению к авторитетному дискурсу партии встречается не только в шуточных документах или высказываниях, предназначенных узкому кругу друзей, или в личных дневниках, изолированных от публичного пространства, но и в частной переписке того периода, которая велась по обычной почте. Приведем фрагменты двух писем, посланных Инне, студентке исторического факультета Ленинградского университета (которую мы встречали в начале главы 4), ее университетской подругой. Первое письмо написано 25 июля 1981 года, когда подруга Инны, во время летних студенческих каникул, проходила практику в Ленинградском музее этнографии:

> Привет-привет, мой милый Инчик!
>
> [...]
>
> Сегодня в музее я напроказничала. У нас там есть табличка, на которой написано: «Ленин приветствует кого-то там», не помню кого. Эта табличка находилась в археологическом зале, в известном смысле

[106] Авторское интервью с бывшими гидами «Интуриста» Екатериной Д. и Светланой К., Санкт-Петербург, 2000 год.

> она там валялась... А в зале еще есть работы Герасимова[107] — реконструированные скульптурные портреты разных неандертальцев и австралопитеков, а во главе галереи располагается обезьяна, что очень кстати... Короче, я их совместила.

Подруга Инны подвергла иронии вненаходимости главный символ советского авторитетного дискурса — Ленина. Ничего не меняя в форме авторитетной фразы, написанной на табличке, она просто изменила ее контекст, перенеся табличку от фотографии деятелей революции, которую она комментировала, к чучелу обезьяны, иллюстрирующему начальный период человеческой эволюции. В результате этой смены контекстов смысл авторитетного высказывания изменился, превратившись в иронично-издевательский. Важно, однако, что благодаря небуквальности этой процедуры (в соответствии с принципом сверхидентификации авторитетное высказывание «процитировано» без изменений его формы и без дополнительных комментариев) подруга Инны решилась проделать ее в музее довольно открыто и даже написала об этом в письме. Более открытой, откровенной иронии по поводу Ленина она бы, скорее всего, не проделала и в письме об этом не написала.

Второе письмо эта же подруга отправила Инне годом позже, в июле 1982 года с побережья Азовского моря, где она работала в летней археологической экспедиции:

> Дорогой Инчик!
>
> *Что же мне делать здесь одной*
> *Без мужика*
> — из народной песни
>
> Вот так всегда! Вот так нежные молодые девушки и превращаются в старых дев, пугающих своей самостоятельностью, которых простой народ называет эмансипированными и которые известны в высших

[107] Михаил Герасимов — советский физический антрополог, который изобрел один из методов реконструкции черт лица по структуре черепа.

Рис. 46. Конверт письма, отправленного Инне ее подругой в июле 1982 г. Слева от руки приписано: «Вдарим ПРАВДОЙ по пошлостям!»

партийных и правительственных сферах как «новый образ советской женщины, освобожденной от векового рабства».

Здесь, как и в предыдущем письме, кавычки стоят в оригинале, обозначая прямую цитату из авторитетного дискурса — «новый образ советской женщины, освобожденной от векового рабства». Но смысл этой цитаты изменился благодаря нестандартности контекста, в который она помещена; *освобождение* советской женщины означает тяжелый физический труд и недостаток мужского внимания. Ирония здесь вновь не столь прямолинейна, чтобы пытаться ее скрывать от взора государственных институтов, но достаточно очевидна. Даже на конверте, который, в отличие от текста письма, открыт взору случайных людей, содержится комментарий в жанре такой же иронии. Форма авторитетного высказывания здесь вновь повторена, а ее смысл изменен.

Надпись на большой марке 1982 года, приклеенной подругой Инны на конверт, гласит: «ПРАВДА. Орган Центрального Комитета КПСС. Газета основана 5 мая 1912 года В.И. Лениным». Под маркой, внизу конверта, подруга Инны приписала от руки фразу в стилистике революционных партийных лозунгов: «Вдарим ПРАВДОЙ по пошлостям!» Смысл этой фразы строится на двузначности существительного *правда* — как синонима слова «истина» и как названия газеты. С одной стороны, автор письма, используя второй смысл этого термина (название газеты) и прописывая его заглавными буквами, как бы цитирует авторитетный символ[108]. С другой стороны, поскольку этот термин помещен в новое высказывание[109], он также приобретает и свой первый смысл, означающий *истину*, — вторым значением фразы становится «вдарим истиной по лжи». Получается, что к «пошлостям», по которым надо «вдарить», относится и сам авторитетный символ (изображение и надпись на государственной марке). Комментарий становится двусмысленным, его можно интерпретировать и как реальное высказывание в форме авторитетного дискурса, и как иронию, направленную на это самое высказывание. Благодаря этой двусмысленности, характерной для *иронии вненаходимости*, автор мог иронизировать по поводу авторитетных высказываний и делать это довольно открыто, прямо на конверте письма, посланного по советской почте.

Письма из Савелово

В ноябре 1981-го и ноябре 1982 года молодой инженер Юрий из городка Савелово, Калининской области[110], отправил своей родственнице, тете Марусе, биологу из Ленинграда, два письма по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Это были типичные письма, которые посылались миллионами советских людей своим родственникам и друзьям по всей стране по случаю государственных

[108] Подвергнут сверхидентификации.

[109] Процесс деконтекстуализации.

[110] Ныне город Кимры Тверской области.

праздников — годовщины революции, 1 Мая, Дня Победы, 23 Февраля, 8 Марта, Нового года. В большинстве таких писем и открыток содержались поздравления, пожелания здоровья и счастья, новости из личной жизни, вопросы к адресату о его новостях.

В первом письме от 10 ноября 1981 года Юрий сообщает об окончании тяжелой работы по сбору урожая на сельскохозяйственных полях, на которую в начале осени государство посылало из городов молодых инженеров и студентов вузов:

> Дорогая т. Маруся!
>
> Все мы сердечно поздравляем тебя с праздником. Здоровья и благополучия, творческого вдохновения. У нас наконец установился более-менее нормальный режим: не надо бежать на ранчо, не надо трясти яблоки, обрывать ногти о траву, грузить мешки с картошкой. [...] Урожай собрали и теперь ждем, что с ним будет. *Как советует нам партия — главное это не только собрать, но и все сохранить*[111].

Цитата из авторитетного дискурса партии здесь подвергается процедуре иронического смещения, благодаря тому, что она вставлена в описание реальных событий. Происходит это так. Советский колхоз в письме обозначен понятием из американской жизни — «ранчо», на которое требовалось «бежать» (ходить без особого желания), что является намеком на труд сезонных рабочих (студентов и молодых инженеров), без которых советское сельское хозяйство не способно было справиться со своей задачей[112]. Фраза «Урожай собрали и теперь ждем, что с ним будет» является дополнительным ироничным намеком на то, что советское сельское хозяйство все равно теряет большую часть урожая в процессе хранения и перевозки, несмотря на мудрые советы партии. При этом становится очевидно, что важность цитаты из авторитетного дискурса — «Как советует нам партия — главное это не только собрать, но и все сохранить» — заключается не в ее буквальном смысле (этот

[111] Курсив мой.

[112] Термин «ранчо», используемый даже в этом контексте, также отсылает нас к *воображаемому Западу*, см. главу 5.

смысл к реальности отношения не имеет), а просто в ее повторении. Партийное указание приобретает иронический смысл, становясь не способом решить проблему, а способом воспроизвести дискурсивную форму, не решив проблемы.

Во втором письме, спустя год, 10 ноября 1982 года, Юрий вновь цитирует несколько формул авторитетного дискурса, даже помещая одну из них в кавычки:

> Дорогая т. Маруся!
>
> Поздравляем!
>
> После столь неприятных событий, как пребывание в больнице, наступила полоса относительного спокойствия. Самочувствие хорошее и, как говорят космонавты, — готов выполнить любое задание Родины. А Родина зовет нас на субботник по случаю 40-летия победы под Москвой. Очередная блажь. Вот завтра пойдем на митинг «поддерживать почин москвичей».

Сразу несколько фраз в этом небольшом отрывке построено по принципу прямого цитирования авторитетного дискурса. Это фразы: «как говорят космонавты», «готов выполнить любое задание Родины», «Родина зовет нас на субботник по случаю 40-летия победы под Москвой» и «поддерживать почин москвичей». Но фразой «очередная блажь» и кавычками вокруг фразы «поддерживать почин москвичей» дается возможность понять, что автор воспринимает смысл этих авторитетных заявлений и своего участия в митингах и субботниках не как отражение искренней поддержки и добровольного участия (на уровне буквального смысла), а как неизбежную формальность, которая ведет не к выполнению поставленных задач, но к пустой потере времени.

Письма и дневниковые записи, которые мы только что рассмотрели, безусловно отличаются от писем из Якутска и Новосибирска, рассмотренных нами в главе 6. Главное отличие в том, что те письма были полны искренней убежденностью в верности идей коммунизма, а письма, процитированные в этой главе, звучат скептически по отношению к самой этой идее. Однако авторы и тех, и этих писем похожи тем, что они участвовали в воспроизводстве стандартных форм авторитетного

дискурса и что именно благодаря этому участию они могли наделять свою жизнь новыми смыслами, выходящими за рамки констатирующего смысла авторитетных заявлений. Каким именно смыслом эти разные авторы наделяли свою жизнь, зависело от кокретного человека и конкретного контекста, и в этом они, конечно, отличались. Если Александр из Якутска (глава 6) искренне верил в идею коммунизма, не соглашаясь с формальным отношением к этой идее со стороны партийных бюрократов, то студентка истфака ЛГУ, которую мы назвали просто «подруга Инны», или студентка журфака ЛГУ «Лена» (см. выше), судя по их письмам и дневниковым записям, были настроены одинаково скептически и к самой этой идее, и к бюрократам из КПСС. И тем не менее всех их объединяла позиция *вненаходимости по отношению* к советской системе, хотя и занимали они эту позицию разными способами. Никто из них не противопоставлял себя советской системе напрямую, но все они наделяли свою жизнь смыслами, интересами и способами существования, отличными от тех, которые описывались (или констатировались) партийным языком системы.

Анекдоты

Одним из самых распространенных и важных типов *иронии вненаходимости* в период позднего социализма стал знаменитый *советский* или *социалистический анекдот*. В отличие от предыдущих примеров иронии, за исключением «стишков-страшилок», анекдот был фольклорным жанром. То есть у него не было конкретного автора, или, точнее, кто был конкретным автором конкретного анекдота или откуда тот или иной анекдот появился, было обычно неизвестно да и не важно.

Про анекдоты написано много интересных работ. Мы ограничимся рассмотрением этого феномена лишь в том аспекте, который поможет нам лучше разобраться в самом принципе вненаходимости в период позднего социализма. Сначала надо определить, чем феномен анекдотов позднесоветского периода отличался от фольклорного и социального юмора в другие периоды и в других культурных и политических

контекстах. Для этого рассмотрим некоторые элементы внутренней структуры анекдота, а также проанализируем, каким образом анекдоты существовали в повседневной жизни советских граждан, как, где и в каких средах и компаниях они рассказывались, где и когда они были уместны и неуместны, что представлял собой ритуал их рассказывания, в какой период этот ритуал стал особенно популярен и когда потерял популярность. Рассмотрим также анекдоты и ритуал их рассказывания в контексте других типов дискурса и практик позднесоветского периода, с которыми анекдоты сосуществовали или взаимодействовали, но которые не являлись выражениями и практиками этого юмора.

В различные эпохи, в различных политических и социокультурных условиях существуют ироничные фольклорные жанры, родственные советским анекдотам. Они имеют разные функции и смыслы, разные условия распространения и ритуалы рассказывания, говорят на разные темы. В Советском Союзе и в большинстве социалистических стран Восточной Европы жанр анекдота существовал и до, и после позднего социализма. В России схожие жанры существовали и в ранние периоды советской истории[113], и существуют до сих пор, через много лет после распада СССР. Анекдоты рассказывались и в революционные годы, и при Сталине, и в 1950-х годах, — но не слишком часто, по особым случаям; причем обычно рассказывался один анекдот или, может быть, пара анекдотов, но не бесконечная их череда. Период позднего социализма отличался от всех этих других периодов тем, что именно на него с середины 1960-х по конец 1980-х пришелся настоящий бум этого жанра. В 1960-х анекдот вдруг стал повсеместным элементом общения. В то время не только резко возросло общее количество анекдотов, но возник и широко распространился новый ритуал рассказывания большого количества анекдотов, одного за другим, часто несколькими людьми. Этого ритуала как повсеместного явления ни до, но после периода позднего социализма не было.

На сленге позднесоветский ритуал рассказывания анекдотов получил название «травить анекдоты». Заключался он в рассказывании анекдотов одного за другим, без остановки. Бесконечную цепочку анекдотов

[113] См.: Thurston 1991; Graham 2003b; Political Humor Under Stalin 2009.

действительно «травили», как травят, постепенно отматывая, канат или якорную цепь. Особенностью этого ритуала, в отличие от короткого обмена шутками, была его потенциальная неограниченность во времени; при желании и определенных условиях анекдоты можно было *травить* до бесконечности. Какой именно анекдот рассказывался, было менее важно, чем то, что их было много и они шли один за другим. Поэтому анекдоты могли оказаться уникальным образом оторванными от конкретного контекста — их можно было рассказывать не по какому-то конкретному случаю, не в качестве реакции на определенную ситуацию, а как часть ритуала, смысл которого заключался в самом бесконечном рассказывании. Таким образом процесс стал самоцелью. Не менее важной особенностью этого ритуала была его абсолютная повсеместность — в те годы было практически невозможно существовать в Советском Союзе, не сталкиваясь постоянно с рассказыванием большого числа анекдотов и не участвуя в нем.

Филолог Александр Белоусов, известный исследователь анекдотов, вспоминает, что в середине 1960-х годов «в Ленинградском университете, во время перемен и перекуров, стало обычным делом бесконечно травить анекдоты»[114]. В конце 1960-х Белоусов перевелся из Ленинградского университета в тартуский (Эстония) и обнаружил, что там недавно возникла такая же ситуация. Анекдоты теперь были повсюду, все хотели их рассказывать и слушать. Это разительным образом отличалось от 1950-х и начала 1960-х. «Каждый раз, когда я возвращался в Тарту из Ленинграда или Москвы [в конце 1960-х], — вспоминает Белоусов, — коллеги просили меня привезти свежие анекдоты»[115]. Во второй половине 1960-х возникло много известных *серий* анекдотов. Одной из них были анекдоты про Ленина, возникшие и широко распространившиеся во время подготовки к празднованию столетнего юбилея Ленина в 1970 году[116]. Тогда же, в середине 1960-х, возникла и распространилась серия анекотов про выдуманного героя Вовочку (появление «Вовочки», возможно, тоже имело отношение к В.И. Ленину,

[114] Авторское интервью с Белоусовым А.Ф., Санкт-Петербург, 1995 год.

[115] Там же.

[116] Там же.

но это было неочевидно и в анекдотах никак не подчеркивалось)[117]. В начале 1970-х, после выхода телефильма «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), появилась не менее известная серия анекдотов про Штирлица[118]. При этом сам выход фильма был не причиной, а, скорее, предлогом для возникновения очередной анекдотической серии. Фильм предложил лишь новую богатую тему для анекдотического обыгрывания. В то время как причиной широкого распространения анекдотов был особый контекст позднего социализма, внутри которого анекдоты стали быстро множиться. Показательно, что не менее известная серия анекдотов про Василия Ивановича (Чапаева) появилась и быстро разрослась не в 1930-х годах, когда вышел фильм про легендарного комдива времен Гражданской войны (а именно образ Чапаева из этого фильма обыгрывался в анекдотах), а во второй половине 1960-х[119]. Филолог Мирон Петровский назвал период позднего социализма «анекдотоцентричной» эпохой[120]. Другие авторы называют этот период «золотым веком советского анекдота»[121], а кто-то даже замечает, что анекдот стал, «возможно, самой важной новой художественной формой», возникшей в те годы[122].

Не менее важной особенностью этого периода было не просто количество анекдотов, а то, что именно тогда оформился и стал все шире распространяться особый ритуал их рассказывания. Во второй половине 1960-х и в 1970-х годах этот ритуал стал неотъемлемой частью повседневной практики общения в самых разных социальных средах и ситуациях, не только среди близких друзей, но и среди знакомых, коллег и даже малознакомых людей. Хотя практика рассказывания анекдотов была неуместна в сугубо формальных контекстах — как часть профессионального общения, официальных совещаний, других мероприятий, — за пределами этих формальных ситуаций (и даже внутри них,

[117] Белоусов 1996: 165—186; см. также интервью с Белоусовым в: Конытина 2004.

[118] См. также: Белоусов 1995: 16—18.

[119] Синявский считал, что эта серия возникла во время подготовки к празднованию пятидесятой годовщины «Великой Октябрьской социалистической революции» в 1967 году (Терц 1981: 175). См. также интервью с Белоусовым в: Конытина 2004.

[120] Петровский 1990: 47.

[121] Zand 1982.

[122] Fagner и Cohen 1988: 170. См. также: Graham 2009.

но вне жанра авторитетного высказывания) анекдоты рассказывались относительно свободно и открыто, и почти всеми. Случалось даже, что кто-то из начальников мог поучаствовать в этом ритуале вместе со своими подчиненными, а секретарь комитета комсомола — вместе с рядовыми комсомольцами. Правда, такие ситуации были скорее исключением и рассказываться в них могли далеко не все анекдоты. Ритуал стал постоянным и повсеместным, распространившись по всей территории СССР и социалистических стран (по крайней мере, Восточной Европы). Синявский так описал функционирование этого ритуала в 1970-х годах:

> Стоит сойтись двум русским или трем евреям, вообще гражданам любой национальности, но советской, российской выучки, либо чешской или польской — социалистической — принадлежности, как мы наперебой, оспаривая друг друга, принимаемся травить анекдоты. Все равно — какие. Приятно задать вопрос: «А вы этот анекдот помните: как однажды Василий Иванович Чапаев...?» И услышать в ответ: «Ну как же! Конечно, помню. А вот я вам расскажу...» Приятно знать, приятно видеть человека, настроенного на анекдоты, предрасположенного к анекдотам. Значит, свои люди. Понимаем с полуслова. Сошлись. Мы настолько привыкли, сойдясь в тесной компании, как последнюю новость рассказывать анекдоты или хотя бы вспоминать, кто что помнит, что сами не видим, не замечаем своего счастья: что мы живем при анекдотах — в эпоху устного народного творчества, в эпоху процветания громадного фольклорного жанра[123].

Американский корреспондент, работавший в начале 1980-х годов в СССР, с удивлением описывал ритуал рассказывания анекдотов, с которым он нигде, кроме Советского Союза, прежде не сталкивался:

> В компании первые анекдоты начинают появляться после нескольких выпитых рюмок, подобно маленьким секретам. К тому

[123] Терц 1981: 167. См. также: Banc 1990.

> моменту, когда подают чай, анекдотов становится все больше, и больше, и больше. Помню, как в течение одного такого застолья наш армянский хозяин рассказал нам сразу несколько видов анекдотов: анекдоты про Сталина, анекдоты про Брежнева, анекдоты об иммиграции и, наконец, анекдоты о грузинах (местный жанр). В три часа ночи он встал, покачиваясь, и объявил очередную серию: «А теперь... анекдоты про верблюдов!»[124]

Важно отметить (и это следует из последней цитаты), что в ритуале рассказывания анекдотов все их разновидности — не только «политические», но и любые другие — особенно на темы сексуальности, национальности, человеческой глупости, просто абсурдности — могли рассказываться вперемежку, один за другим, в виде единой нескончаемой последовательности. Важно и то, что в этой цепочке анекдотов всегда встречалось множество старых и всем хорошо известных, что особой проблемы не составляло. Конечно, слушать новые анекдоты было интереснее, а рассказывать их было престижно для рассказчика. Но все-таки важнее было просто участвовать в самом ритуале, а для этого повторение старых анекдотов было не менее важно, чем рассказывание новых. В действительности большинство анекдотов слушалось не один и не два раза, и люди не переставали над ними смеяться при каждом новом рассказывании. Ритуал совместного рассказывания анекдотов и совместного смеха над ними был важнее простого желания услышать новый анекдот. Этот факт хорошо иллюстрируется в следующем метаанекдоте, возникшем в конце 1960-х годов:

> Для того чтобы за один вечер рассказывать как можно больше анекдотов, компания друзей решила их пронумеровать и для быстроты называть только их номера. Когда компания собралась в очередной раз, кто-то начал: «15-й», и все засмеялись. Другой подхватил: «74-й», и все снова засмеялись. Но когда кто-то продолжил: «108-й», повисло долгое напряженное молчание. Наконец кто-то смущенно произнес: «Как ты мог при женщинах такое рассказать?!»

[124] Zand 1982.

Участие в совместном ритуале и совместном смехе над анекдотами способствовало производству *публик своих*, иногда временных, мимолетных, но при этом не менее важных. Возникновение таких временных публик своих между самыми разными людьми, включая малознакомых и совсем незнакомых, было одним из самых важных социальных результатов ритуала совместного рассказывания и слушания анекдотов и совместного смеха над ними. Благодаря участию в этом совместном ритуале, раз за разом, подтверждался на личном опыте каждого человека тот факт, что большинство людей вокруг было такими же «нормальными», такими же *своими*, как и ты, — то есть относилось к советскому авторитетному дискурсу соответствующим образом[125]. Иными словами, участие в ритуале давало возможность совместно признавать наличие парадоксов и несоответствий позднесоветской системы: того, что все принимают участие в их воспроизводстве лишь на уровне формы, и того, что благодаря этому все живут нормальной жизнью. Именно этот результат общественного циркулирования анекдотов подразумевается Синявским в приведенной выше цитате: «Приятно видеть человека, настроенного на анекдоты, предрасположенного к анекдотам. Значит, *свои люди*. Понимаем с полуслова. Сошлись»[126]. Важно также, что относительно фиксированная, неизменная структура каждого отдельного анекдота, а также всего ритуала их рассказывания давала возможность участникам не анализировать подробно, почему они одновременно участвуют и в этом ироничном действии, и в воспроизводстве символов и ритуалов советской системы.

В позднеперестроечный период — в конце 1980-х — начале 1990-х — частота ежедневного рассказывания анекдотов резко сократилась, новых анекдотов стало появляться намного меньше и, что особенно важно, ритуал их беконечного коллективного рассказывания практически исчез из повседневного общения большинства граждан бывшего СССР и других социалистических стран Восточной Европы.

[125] Вспомним, что особое отношение к высказываниям на авторитетном языке подразумевало умение следовать им на уровне формы, при этом меняя их буквальный смысл или стирая его. См. подробнее о *публиках своих* в главе 3.

[126] Курсив добавлен.

Этот факт был замечен многими исследователями и журналистами в тот период и часто обсуждался в прессе и личных беседах[127]. В первые послесоветские годы многие вновь сетовали, что анекдотов теперь почти не осталось. Анекдоты про недавнее советское прошлое к тому времени утратили былую актуальность, а новых анекдотов появлялось немного. Тратить время на их бесконечное рассказывание стало не только неинтересно, но и сложно. Времени на это теперь просто не было. Одновременно с уходом этого ритуала из устного общения появилось огромное количество печатных коллекций анекдотов с названиями вроде «История СССР в анекдотах»[128]. В этих изданиях анекдоты приводились в отрыве от контекста их былого рассказывания; они собирались как чисто исторический материал, как свидетельство безвозвратно ушедшей эпохи, а не как живое фольклорное явление сегодняшнего дня. В 1995 году журнал «Огонек» сожалел о том, что анекдоты, некогда бывшие неотъемлемой частью живого общения, передававшиеся из уст в уста и смаковавшиеся в нескончаемых беседах, неожиданно совсем исчезли из нашей повседневности. А бесконечные тома мертвых печатных сборников анекдотов, появившихся в годы поздней перестройки и после распада СССР, не способны занять их место[129]. В 1997 году Ефим Курганов назвал эти сборники «кладбищами анекдотов»[130].

По наблюдению Белоусова, в период позднего социализма анекдотов про Брежнева было довольно много, в годы перестройки анекдотов про Горбачева значительно меньше, а в постсоветские 1990-е анекдотов про Ельцина было уже совсем мало[131]. Никита Елисеев, историк и библиограф Санкт-Петербургской публичной библиотеки, много лет исследовавший городской фольклор, отмечал, что в многочисленных изданиях сборников анекдотов, поступавших в публичную библиотеку в течение 1990-х, новых постсоветских анекдотов было во

[127] Петровский 1990: 49, Yurchak 1997; Graham 2003b, 2009; Pesmen 2000; Blank 2005. Антрополог Кэтрин Вердери (Katherine Verdery) отмечает это же явление в конце 1980-х годов в Румынии (Verdery 1996: 96).

[128] Под ред. М. Дуборского. М., 1991.

[129] Ерохин 1995: 43.

[130] Курганов 1997: 7—8.

[131] Авторское интервью с Белоусовым, Санкт-Петербург, 1995 год.

много раз меньше, чем анекдотов советского периода. Кроме того, темы постсоветских анекдотов в 1990-х годах стали другими — они были связаны с новой рекламой, новыми западными товарами (*Tampax*, *Snickers*), вкусами и манерами поведения нарождающегося тогда класса «новых русских» и так далее. Новых анекдотов о политических фигурах или политических событиях появлялось крайне мало. «Даже октябрьские события 1993 года в Москве, — замечает Елисеев, — в анекдотах никак не отразились. В брежневское время событие такого масштаба [такой публичности] обросло бы кучей анекдотов»[132], как это случалось с празднованием годовщин революции или Ленина, с всенародным просмотром «Семнадцати мгновений весны» по телевизору. Чуть позже, во второй половине 1990-х и в 2000-х годах, ситуация стала вновь меняться — сначала появились анекдоты про новых русских и мафию[133], а в 2000-х — некоторое количество анекдотов на социальные темы. Однако этих постсоветских анекдотов было и остается намного меньше, чем анекдотов в годы позднего социализма, а ритуал постоянного, совместного и бесконечного рассказывания анекдотов в самых разных контекстах так и не возродился в постсоветский период. Сегодня анекдоты, конечно, рассказываются, но чаще со сцены или в телевизионной программе. В обычном общении они рассказываются редко и не в виде бесконечной серии, а изолированно, по какому-то конкретному поводу. Возможно, кто-то где-то сегодня и травит анекдоты без перерыва; но теперь это является скорее необычной индивидуальной чертой конкретного человека, а не ритуализованной культурной практикой, которая когда-то была всем знакома и которой когда-то практически никто избежать не мог.

Юмор, который перестал бороться

Какую же роль играл уникальный феномен бесконечного рассказывания анекдотов, расцветший в период позднего социализма и угасший

[132] Авторское интервью с Никитой Елисеевым, Санкт-Петербург, 1996 год.

[133] См., например: Graham 2003a; 2003b.

после его завершения? Среди огромного числа исследований советских анекдотов большинство интерпретирует их как выражение *истинных* мыслей простых граждан, недовольных политическим режимом — мыслей, которые они обычно прячут под маской притворства, боясь высказывать их в публичной речи[134]. Эта интерпретация, однако, является значительным упрощением реальной ситуации.

Если при анализе какого-то одного, изолированного анекдота и могло бы показаться, что он является прямым противопоставлением субъекта политической системе, то при анализе всего социального ритуала смысл анекдотов оказывается намного шире. Этот ритуал в позднесоветский период был частью *иронии вненаходимости* и, подобно другим проявлениям этой иронии, рассмотренным выше, являлся реакцией не столько на буквальный смысл политических символов, высказываний и лозунгов, сколько на *перформативный сдвиг*, которому эти символы, высказывания и лозунги повсеместно подвергались. Не случайно появление и распространение ритуала рассказывания анекдотов пришлось на период позднего социализма — именно этот период был отмечен перформативным сдвигом идеологических символов, в котором их форма повсюду воспроизводилась, а смысл смещался. Когда авторитетный дискурс потерял свою доминирующую позицию, исчезла необходимость подвергать символы политической риторики перформативному сдвигу. Это произошло в период перестройки, как следствие, общее количество анекдотов в обиходе резко упало, а ритуал их коллективного рассказывания постепенно сошел на нет.

Для описания роли анекдотов до перестройки начнем с анализа их внутренней структуры. Многие из них строились по принципу, который французский лингвист Мишель Пешо назвал *эффектом Мюнхгаузена*[135]. Такой юмор обыгрывает парадоксальные разрывы в логической структуре нарратива, включая разрывы на уровне временно́й

[134] Эта точка зрения на все виды политического юмора широко распространена не только в исследованиях советского юмора. Примером служит анализ шуток в разных культурных контекстах, включая анекдоты «за железным занавесом», в классических работах Аллана Дандеса, см.: Dundes 1987 и др.

[135] Pecheux 1994: 150.

последовательности, символической репрезентации, субъектности персонажей[136]. Характерными примерами эффекта Мюнхгаузена служат следующие стандартные, не обязательно советские шутки:

> Ученик звонит директору школы, чтобы объяснить, почему его не будет на занятиях, и, услышав вопрос: «А кто это говорит?», отвечает «Это мой отец»,

или:

> У нас больше не осталось каннибалов — мы съели последнего на прошлой неделе[137].

Очевидно, что принцип Мюнхгаузена лежит в основе значительной части юмора вообще, а не только советских анекдотов. В советских анекдотах этот принцип проявлялся по-разному. Например, многие анекдоты состояли из двух частей — одна часть служила как бы «цитатой» из авторитетного языка (воспроизводила авторитетное высказывание, лозунг или факт по форме), а в другой части буквальный смысл этого высказывания вдруг оказывался смещен, перевернут или стерт.

Брежнев и Никсон спорят, у кого свободнее живется человеку:

[136] В принципе, разрыв в нарративной структуре шутки является общим принципом несоответствия разных уровней формы и смысла в большинстве разновидностей юмора (см. анализ «лингвистической прагматики юмора» в: Curco 1995: 37). Но несоответствие авторитетной формы и констатирующего смысла было конкретным проявлением этого разрыва в позднесоветском контексте.

[137] Pecheux 1994: 151. Этот же парадокс лежит в основе многих классических шуток Граучо Маркса:

– Послушайте, вы напоминаете мне Эммануэля Равели.

– Но я и есть Эммануэль Равели.

– Тогда неудивительно, что вы на него похожи (Žižek 1994b: 32).

Все эти шутки можно сравнить и со многими советскими анекдотами, например:

– У вас в деревне гомосексуалисты есть?

– Не знаю, сейчас у жены спрошу: Вася, у нас гомосексуалисты есть?

— Конечно у нас, — говорит Никсон. — Любой американец может встать напротив Белого дома с плакатом: «Я не согласен с президентом Никсоном!»

— Подумаешь, — говорит Брежнев, — любой советский человек тоже может встать напротив Кремля с плакатом: «Я не согласен с президентом Никсоном!»

В некоторых из следующих примеров прямые цитаты из авторитетного дискурса выделены курсивом[138]:

В чем социализм превосходит другие системы?

В том, что он *с успехом преодолевает трудности*, которых нет в других системах.

Правда ли, что *капитализм загнивает*?

Правда, но зато как пахнет!

Что значит *капитализм находится на краю пропасти*?

Это значит, что он встал у края, чтобы сверху было лучше видно, что мы делаем там, на дне.

Что является наиболее стабильным элементом советской системы?

Временные трудности.

В чем отличие капитализма от социализма?

В капитализме человек эксплуатирует человека, а в социализме, — наоборот.

[138] Патрик Серио (Seriot 1992) приводит похожие политические афоризмы, публиковавшиеся в югославских газетах во времена реформ 1980-х годов, в которых первая часть содержала партийный лозунг, а вторая — переворачивала его смысл. Например: «Наш путь уникален! Никому не придет в голову по нему идти».

Письмо в газету «Правда» из Рязани: «Дорогие товарищи, вы часто пишете, что *в капиталистических странах многие люди недоедают*. Нельзя ли то, что они недоедают, присылать к нам в Рязань?»

— В чем разница между советским пессимистом и советским оптимистом?

— Советский пессимист считает, что хуже быть не может, а советский оптимист уверен, что может.

— Как *при коммунизме будет решена проблема очередей*?

— Стоять в них будет уже не за чем.

— Что будет, если коммунизм начнут строить в пустыне Сахара?

— Начнутся перебои с песком.

— Какая жизнь будет при коммунизме?

— У каждого будет личный телевизор и личный вертолет. Если по телевизору объявят, что в Свердловске продают молоко, любой сможет сесть в личный вертолет и полететь в Свердловск за молоком.

Жесткая нарративная структура советского анекдота (для того чтобы оставаться смешными, короткие анекдотичные репризы должны повторяться каждый раз с минимальными изменениями) позволяла участникам ритуала не быть слишком спонтанными в своем юморе, а значит, не акцентировать внимание на своем собственном «я», на парадоксах своей субъектности. Объектом такого ритуализованного повторения одних и тех же шуток были парадоксы и несоответствия не отдельно взятого индивидуума, социального института или политического высказывания, а всего дискурсивного режима системы.

Эту политическую составляющую анекдотов можно сравнить с другими жанрами политической иронии. Согласно Петеру Слотердайку, существует как минимум три вида политической иронии. К первому относится *кинизм* — насмешливый вариант цинизма, характерный для отношения придворного шута к правителю. Киники «пользуются свободой бросать вызов доминирующей лжи», что создает «климат

сатирического раскрепощения, при котором властители и идеологи их правления могут позволить себе эмоционально расслабиться — именно под натиском критических нападок киников»[139]. В Древней Греции киник, которого общество терпит, «испускает газы, испражняется, занимается мастурбацией прямо на улице, перед взорами афинского рынка», намеренно высмеивая нормы общественной морали и тем самым демонстрируя их условность[140]. Вторым и наиболее распространенным видом политической иронии является хорошо известный сегодня цинизм, распространенный и в «западном», и в «постсоветском» обществе, когда и власть имущие, и те, кто им подчинен, прекрасно осознают всю фальшивость политических норм и заявлений власти, но продолжают действовать так, как будто они ее не осознают, отпуская время от времени презрительно циничные ремарки по поводу такого притворного положения вещей[141].

Третий вид политической иронии Слотердайк называет *юмором, который перестал бороться*[142]. Этот вид политической иронии избегает и насмешек киника, разоблачающих господствующую ложь, и ироничного притворства циника. Его объектом являются ценности и нормы, которые могут вызывать у нас возмущение и осознание своего бессилия, но которые, тем не менее, являются для нас важными, имеющими смысл, порой даже дорогими, потому что мы идентифицируем себя с ними, в чем-то поддерживаем их, считаем их исторически неизбежными, воспринимаем борьбу с ними как наивную глупость и так далее. Иными словами, «юмор, который перестал бороться» является разновидностью того, что мы называем *иронией вненаходимости*.

Именно к этому виду иронии относились, по нашему мнению, советские анекдоты. Мы не согласны с их распространенной интерпретацией как второго вида иронии по Слотердайку — как иронии цинизма и притворства. Напомним, что речь идет не об изолированных шутках, а о повсеместном социальном ритуале их рассказывания. Как

[139] Sloterdijk 1993: 10.

[140] Ibid: 103.

[141] Слотердайк связывает эту иронию с «циническим разумом» (cynical reason). См. также: Žižek 1991a; Yurchak 1997; Navaro-Yashin 2002.

[142] Sloterdijk 1993: 305.

и в других примерах *иронии вненаходимости*, рассмотренных выше, было бы ошибкой сводить роль анекдотов к процедуре вскрытия системной лжи или к временному выражению «истинных» мыслей циником, который обычно прячет эти мысли под маской притворства[143]. Анекдоты рассказывались всеми — и теми, кто был за систему, и теми, кто был против нее, и тем большинством, чье отношение с системой не свести ни к тому, ни к другому. Анекдоты стояли *вне* бинарного деления граждан на тех, кто за, и тех кто против, *вне* разделения общественного порядка на «систему» и «простых людей» и *вне* деления смыслового пространства на публичные высказывания и скрытые мысли. Показательно, что в принципе объектом анекдотов мог быть не только партийный босс, советский разведчик или наивный герой, но и диссидент — то есть позиция анекдота не совпадала с позицией воображаемого «диссидента»[144]. Например:

> Диссидент выходит из дома. На улице идет дождь. Посмотрев в небо, он восклицает с негодованием: «Что хотят, то и делают!» На следующий день диссидент выходит из дома, а на улице светит солнце. Он снова смотрит в небо и с негодованием восклицает: «Вот на это у них денег хватает!»

> Толпа людей молча стоит по подбородок в луже дерьма. Вдруг в нее падает диссидент и начинает размахивать руками и возмущаться: «Как вы можете это терпеть? Как можно жить в таких условиях?» На что толпа тихо отвечает: «Перестань волны делать».

В первом анекдоте диссидент показан психически ненормальным человеком, который, в отличие от «нормальных» людей, не только воспринимает все факты окружающей действительности как часть авторитетного дискурса партии, но и интерпретирует их буквально. Это, безусловно, не реальный диссидент, а воображаемый, но именно так его представляло себе большинство советских граждан. Отношение этого

[143] См. критику моделей «притворяющегося субъекта» в главе 1.

[144] Сравните с примерами дискурса о воображаемых диссидентах в главе 3.

субъекта к действительности напоминает то, как Жак Лакан описывает «психотического субъекта», для которого «все является знаком... Если он повстречает проезжающую по улице красную машину, он не воспримет ее как случайный объект — она не случайно проехала мимо именно в этот момент, скажет он»[145]. Во втором анекдоте моральная позиция воображаемого диссидента интерпретируется «нормальными» людьми не как сопротивление государственной лжи, а как пренебрежительное отношение к ним самим — к *своим*. Кроме того, в этом анекдоте юмор направлен не только на воображаемого диссидента, но и на самих рассказчиков, то есть *на всех нас* — всех тех, кто стоит по уши в дерьме, прекрасно это сознавая.

Веселье и наслаждение от коллективного рассказывания анекдотов было сродни удовольствию от рассказывания того, что Фрейд называл «тенденциозными остротами» — остротами, которые из-за их табуированности нельзя произносить во многих публичных контекстах (к ним относятся остроты на некоторые политические, расовые, сексуальные и другие темы). Такие остроты, подчеркивал Фрейд, не только вызывают удовольствие от остроумия говорящего, но и создают «новое удовольствие» путем упразднения психологических вытеснений, что дает возможность социальной системе, породившей эти вытеснения, воспроизводиться[146]. Однако эта психологическая интерпретация соответствует советским анекдотам лишь отчасти. Исследуя механизм табуированного юмора на уровне индивидуальной психики, Фрейд сводит его к компенсации психологического вытеснения. Но для анализа позднесоветского ритуала рассказывания анекдотов — ритуала не только социального, но и пронизывающего всю социальную структуру советской системы — такой индивидуально-психологический подход слишком узок. Он неизбежно ведет к вопроизводству проблематичной *бинарной модели* советского субъекта, рассмотренной в главе 1,

[145] Lacan 1988: 9. Сравним это описание с примером из главы 3: когда один сотрудник НИИ в начале 1980-х был уличен в хранении литературы, осуждающей войну в Афганистане, среди его коллег поползли слухи о его ненормальности и о том, что он также распространял порнографию (что не имело никакого отношения к истине) — то есть якобы был морально и, возможно, психически ненормальным.

[146] Фрейд 2011.

согласно которой этот субъект якобы имеет только два выбора своего поведения — либо искренне поддерживать советскую систему, либо притворяться, что поддерживает ее, «подавляя» свои истинные мысли и желания[147]. Хотя ритуал рассказывания анекдотов, безусловно, порождал «дополнительное удовольствие», оно не ограничивалось упразднением вытеснений на уровне индивидуальной психики, а работало шире — как механизм регулирования *динамично развивающейся* системы социальных отношений и смыслов. Как и другие виды иронии вненаходимости, анекдоты помогали человеку вести относительно содержательную, творческую и нравственную жизнь, которая не вписывалась ни в поддержку системы, ни в сопротивление ей, а включала большое количество новых смыслов, ценностей и способов существования, которые система не могла ни предвидеть, ни проанализировать. Советская система благодаря анекдотам не просто воспроизводилась, но и претерпевала непредсказуемые внутренние изменения, постепенно сдвигаясь и мутируя в непонятном направлении (и до поры до времени этот процесс оставался невиден).

Анекдоты были не *про них*, «советский режим», а про всю советскую реальность вообще, включая всех *нас*. Субъект, рассказывающий анекдоты, и субъекты, смеющиеся над ними (то есть практически все советские люди), находились по отношению к системе не в позиции внешних критиков, а в *позиции вненаходимости*. Анекдот был микромоделью реального способа взаимоотношений между «нормальными» субъектами и системой. В нем иронично иллюстрировалось личное и коллективное участие каждого смеющегося человека в формальном воспроизводстве советской системы, с одновременным смещением ее смыслов. То есть главной задачей анекдотов был взгляд «на себя самого», точнее, «на нас самих» — причем взгляд мимолетный, несфокусированный, облаченный в ритуализованную, неспонтанную форму анекдота, что позволяло субъекту не говорить непосредственно о себе и не акцентировать внимание на своем собственном поведении и отношениях с реальностью. Это давало возможность после ритуала рассказывания анекдотов продолжить действовать так же, как и раньше.

[147] См. главу I.

Именно поэтому юмор анекдотов следует отнести к третьему виду политической иронии, выделяемой Слотердайком. Он пишет: «В том случае, когда шутка направлена вовнутрь — то есть ваше сознание начинает смотреть само на себя свысока, но не слишком пренебрежительно, — наступает веселое успокоение, являющееся не дерзким смехом киника и не брезгливой насмешкой циника, а *юмором, который перестал бороться*»[148]. Но определение Слотердайка тоже не полностью описывает нашу ситуацию. Как и Фрейд, Слотердайк делает акцент на индивидуальной, психической стороне механизма этой иронии. Поэтому ему кажется, что такая ирония безобидна для политической системы и даже ею подразумевается — она не только не расшатывает ее устоев, но и помогает ей воспроизводиться. С этих же позиций рассматривает «тоталитарный смех» при социализме и Славой Жижек[149]. Однако такая интерпретация кажется слишком статичной, слишком напоминающей старые модели структурного функционализма (в которых описывается, как социальная система самовоспроизводится, оставаясь в стабильном состоянии).

Хотя анекдоты не формулировали прямой критики советской системы (в отличие от иронии киника) и не отражали «истинные» мысли либерального субъекта, обычно спрятанные под маской притворства (в отличие от иронии современного западного циника), они, тем не менее, были далеко не безобидны для советской системы. Эффекты, которые они производили, нельзя свести к функции поддержания статус-кво. Повторимся, что анекдоты не существовали изолированно от социального ритуала их воспроизводства. Всеобщее участие в этом ритуале способствовало не поддержанию стабильных отношений между субъектом и социальной системой, а постепенному смещению этих отношений. Огромная популярность этого ритуала в позднесоветский период, как и распространение других видов иронии вненаходимости, вела не просто к психологическому «выпусканию пара» на уровне индивидуальной психики, а к *детерриториализации* советской системы в целом, посредством чего формировалась «нормальная жизнь»

[148] Sloterdijk 1993: 305. Курсив мой.

[149] Zizek 1991a.

советского субъекта и общества и в результате чего подспудно и незаметно формировались условия, приближающие неожиданный конец этой системы. Как это ни удивительно, именно «юмор, который перестал бороться» оказался наиболее эффективным механизмом, незаметно готовящим кризис системы.

Заключение

Эта книга началась с парадокса, который можно сформулировать так: хотя советская система воспринималась большинством советских людей как вечная и ее быстрый обвал стал для них неожиданностью, — когда этот обвал все же начал происходить у большинства из них возникло новое ощущение, что в нем нет ничего удивительного, что он был неизбежен и что они всегда были внутренне к нему готовы. В этой быстрой смене ощущений и представлений проявилась необычная внутренняя логика советской системы, которая на протяжении многих лет строилась на противоречиях. Эта система была одновременно мощной и хрупкой, вечной и готовой развалиться; она была полна жизненных сил и энергии, но наполнена серостью и унынием; реальная вера в высокие идеалы и нравственные ценности в ней соседствовала с цинизмом и отчуждением. Эти черты системы, несмотря на их кажущуюся противоречивость, были не только реальными, но и дополняющими друг друга. Без понимания этой парадоксальной логики невозможно понять природу позднего социализма.

В этой книге мы попытались изучить эту парадоксальную систему путем подробного анализа внутренних сдвигов и изменений, происходивших в языке, политическом дискурсе, форме и смысле идеологических высказываний, политических ритуалов и практик, государственных и иных институтов и организаций, иных сообществ, сред и публик, культурно-социальной ткани повседневной жизни, субъектности советского человека и так далее. Особое внимание мы уделили периоду *позднего социализма*, в котором выросли представители последнего

советского поколения. Начиная с главы 1 мы попытались показать, что бинарная модель описания советской системы, которая до сих пор широко распространена, неадекватна своему предмету. Согласно этой модели в основе советской жизни лежали бинарные оппозиции — такие, как *государство — общество*, *официальная культура — неофициальная культура*, *насилие — сопротивление*, *конформизм — нонконформизм*, *публичное пространство — частное пространство* и так далее. Огромное число смыслов, ценностей и взаимоотношений, которые не вписываются в эти противопоставления — но были важной частью советской жизни, — в этой модели игнорируется.

Парадокс позднего социализма заключался в том, что чем точнее повсюду воспроизводились формы идеологического (авторитетного) дискурса системы, тем большие изменения переживала сама система. Эти внутренние изменения создавали условия для возникновения неожиданных новых смыслов, видов социальности, типов субъектности, интересов, способов существования, которые были относительно «невидимы» для государства и потому относительно свободны от его контроля, при этом оставаясь чем-то вполне «нормальным» и советским. Возникновение этих новых видов и смыслов нормальной советской жизни в свою очередь способствовало воспроизводству всей советской системы. То есть процесс воспроизводства системы и процесс ее постоянных внутренних изменений и сдвигов были, как ни парадоксально, взаимообразующими. Когда в период перестройки эта парадоксальная динамика советской системы впервые попала в поле публичного обсуждения, она оказалась новой и неожиданной (поскольку ранее рассуждать о ней в публичных пространствах, которые формируют средства массовой информации, было невозможно) и одновременно понятной и знакомой (поскольку подавляющее большинство советских граждан долгие годы в ней лично, пусть и не вполне отрефлексированно, участвовало). Именно в тот момент начался процесс разрыва единой ткани советского дискурсивного режима. Как шел этот процесс в годы перестройки, почему он был таким быстрым и почему он привел к полному обвалу системы? Чтобы ответить на эти вопросы, вернемся к основным аргументам этой книги.

В первых двух главах было показано, что сама идеологическая структура Советского государства строилась на парадоксе, который являлся советским вариантом того, что Клод Лефор назвал общим парадоксом в идеологии современного (modern) государства. В советском контексте этот парадокс выступал в виде противоречия между двумя главными целями коммунистической системы — полным освобождением личности посредством ее полного контроля со стороны партии. В 1950-х годах исчез идеологический метадискурс, который ранее находился за пределами идеологического дискурса партии и из этой внешней позиции мог оценивать и исправлять идеологические высказывания. С исчезновением этого метадискурса форма идеологического высказывания претерпела изменения — она стала меняться в сторону все большей стандартизации, повторяемости, затвердевания. Внутри этой дискурсивной формы стала возникать спонтанная внутренняя норма, вокруг которой дискурс самоорганизовывался, становясь, в своем стремлении к этой спонтанной норме, все более повторяемым и все более сложным. Мы назвали этот процесс *гипернормализацией* формы идеологического дискурса (глава 2). В большинстве идеологических высказываний стало важнее следовать этой неизменной повторяющейся форме, чем уделять внимание констатирующему (референциальному) смыслу высказывания.

Этот сдвиг дискурса особенно наглядно виден в языке советской идеологии тех лет. Когда исчезла общеизвестная внешняя норма идеологического языка (с которой любой человек, пишущий или говорящий на этом языке, мог соотносить свои тексты и высказывания), каждое новое идеологическое высказывание стало восприниматься как потенциальное отклонение от нормы (нормы, которая теперь была неизвестна). В результате стремления большинства субъектов, говорящих на этом языке, избежать того, чтобы их высказывания воспринимались как двусмысленные или неточные, каждое новое высказывание стало строиться как иммитация другого высказывания, уже ранее кем-то написанного или произнесенного. Идеологические тексты стали все чаще писаться коллективно. Все это вело к нарастающей *гипернормализации* идеологического языка на всех уровнях его структуры — лингвистическом, текстуальном, риторическом и так далее (см. главу 2). Идеологические тексты становились все более предсказуемыми, похожими друг

на друга на уровне формы — все более *цитатными и автоцитатными*. Поскольку говорящие стремились в своих высказываниях не нарушить «норму» — причем норму теперь достаточно абстрактную и не до конца понятную (поскольку единого внешнего носителя этой нормы теперь не было), — это вело к постоянным попыткам слегка перестраховаться при создании своего текста, написать его заведомо более «правильным», чем требуется, заведомо не дать никому возможности воспринять его как отклонение от чего-то правильного. В этих условиях форма этого языка и текстов не просто стала застывшей и неизменной, а продолжала медленно дрейфовать в сторону все нарастающей громоздкости и неуклюжести. Она распухала, как снежный ком, — назад к упрощению формы у каждого нового текста дороги уже не было. Форма не просто нормализовалась, а стала *гипернормализованной*. Язык идеологии превратился в тот «дубовый» и «кондовый» язык 1970-х, который многим хорошо знаком по бесконечным речам Брежнева, передовицам газет и выступлениям местных партийных руководителей.

Главным принципом этого процесса *гипернормализации* авторитетного дискурса было представить любую новую идею и любой новый факт не как что-то действительно новое, отходящее от существующей традиции, а, напротив, как что-то общепринятое, общеизвестное, уже ранее кем-то установленное. Поэтому общая *темпоральность* этого дискурса повернулась в сторону прошлого. Любой говорящий на авторитетном языке стал играть роль того, кто повторяет высказывания, ранее произнесенные неким абстрактным, коллективным субъектом — то есть из *автора* своих высказываний превратился в *ретранслятора* чужих. Эти сдвиги в *онтологической* организации дискурса отразились на всех уровнях языковой структуры авторитетного языка — в словаре, морфологии, синтаксисе, семантике, прагматике, нарративной структуре, риторической организации, интертекстуальности текстов и интердискурсивности языковых и неязыковых регистров репрезентации (см. главу 2).

Роль, которую играла эта новая, громоздкая модель идеологического языка, тоже изменилась; она все меньше сводилась к традиционной роли идеологии — описывать окружающую действительность согласно определенным идеям и ценностям — и все более заключалась в передаче *идеи о том*, что именно эта модель репрезентации, и никакая иная, является

единственно возможной, повсеместной и неизбежной. Для того чтобы подчеркнуть, что этот дискурс стал играть новую роль, отличную от традиционной идеологии, мы назвали его в книге не идеологическим, а «авторитетным» дискурсом, используя термин Михаила Бахтина. Для авторитетного дискурса, по определению Бахтина, характерно не только главенствующее положение в обществе, но и то, что он использует особый язык, стиль, шрифт, произношение, отличающие его от всех других видов публичного дискурса, с которыми он сосуществует. Отличает его также то, что ни один из этих других дискурсов не в состоянии изменить авторитетный дискурс, внедриться в него, вызвать его кризис, поскольку одним из условий их собственного существования является необходимость постоянно ссылаться и цитировать авторитетный дискурс или, по крайней мере, не мешать этому процессу.

Период *позднего социализма* в советской истории отличался не только особой формой авторитетного дискурса, но и особыми условиями его производства и распространения. Сам факт воспроизводства неизменных *форм* этого дискурса в самых различных контекстах советской жизни стал намного важнее для построения повседневной реальности, чем то, как они описывали реальность (*констатирующий смысл*, который вроде бы вкладывался в эти формы). Большинство советских людей активно участвовало в ритуалах, в которых эти фиксированные формы авторитетного дискурса воспроизводились — они голосовали на безальтернативных выборах, посещали собрания, порой даже выступали на них, проводили политинформации, сдавали ленинские зачеты, ходили на демонстрации. При этом на личном опыте они вновь и вновь усваивали идею о том, что реальный смысл этих действий и высказываний не обязательно связан со смыслом, который они якобы напрямую утверждают.

Для того чтобы разобраться в том, как подобный дискурс воспроизводился и распространялся и какие последствия это имело, мы обратились к анализу *перформативной* составляющей языковых высказываний, отталкиваясь от работы Джона Остина, а также работ других исследователей, которые развили его теорию. Мы, однако, пошли несколько дальше и предложили новый подход, в котором перформативность рассматривается в более широком контексте — для анализа исторических

и структурных изменений, которые могут происходить в идеологическом языке, и влияния этих изменений на социокультурный контекст в целом. Вслед за Остином мы проводим в книге различие между двумя видами языковых высказываний — *констатирующими* (термин, которым Остин обозначал «референциальное» значение высказывания — то есть использование слов для описания фактов) и *перформативными* (использование слов для производства действий). Констатирующее высказывание *описывает* некий факт или состояние, которые существуют в окружающей действительности до такого высказывания и независимо от него, и поэтому такое высказывание может быть точным или неточным описанием факта, то есть может быть *истинным* или *ложным*. В отличие от этого перформативное высказывание не описывает ничего, что существовало до момента высказывания. Вместо этого оно совершает новое действие, меняя что-то в окружающем мире непосредственно в момент произнесения высказывания[1]. Поэтому перформативное высказывание не может быть истинным или ложным, а может быть лишь *успешным* (когда действие, например клятва, считается совершенным) или *неуспешным* (когда действие по тем или иным причинам не совершено). Способность определенных речевых актов совершать действия (то есть изменять реальностть) в момент произнесения зависит не столько от интенции говорящего, сколько от того, насколько верно выдержаны принятые условия. Этот тезис, важный для нашего анализа, можно проиллюстрировать так: если человек дает клятву, делая это в необходимом контексте и согласно общепринятой процедуре (например, в суде), при этом внутренне не намеревается эту клятву сдержать, клятва от этого не становится чем-то менее важным в глазах тех, перед кем она произносится (суд, государство). Клятва в таком случае остается настоящей, то

[1] По крайней мере, так действуют наиболее «чистые» перформативные высказывания, которые Остин называл «иллокутивными» — совершающими действие непосредственно в момент произнесения. Именно этот смысл перформативности мы в первую очередь рассматривали в книге. Иллокутивные высказывания отличаются от другого вида перформативных высказываний, которые Остин называл «перлокутивными» — то есть *побудительными*. В этом случае действие производится не самим высказыванием, в момент его произнесения, а позже, как следствие высказывания, — то есть высказывание побуждает кого-то к действию, само его не производя.

есть *успешно* принятой, и ее нарушение может повлечь за собой вполне реальные последствия.

В конце своей книги Остин писал о том, что все языковые высказывания одновременно являются в той или иной степени констатирующими и перформативными. Эта идея получила развитие в работах других философов языка, хотя, как нам кажется, не в достаточной мере. Для анализа исторического развития авторитетных дискурсов необходимо иметь более развернутую модель перформативности — в частности того, как она может меняться в языке в разные исторические эпохи, как уровень перформативности тех или иных высказываний может возрастать или уменьшаться, как разные структурные уровни языка могут приобретать или терять перформативную функцию, как перформативность высказываний зависит от других, неязыковых условий и так далее. Поэтому мы попытались развить этот подход, введя понятия *констатирующей* и *перформативной составляющих* смысла высказывания. То, что смысл любого высказывания складывается (как минимум) из этих двух составляющих, не означает, что они находятся в отношениях бинарной оппозиции друг к другу (то есть что увеличение одной составляющей влечет за собой уменьшение другой и наоборот). Напротив, в разные исторические периоды распределение этих составляющих смысла может быть самым разным — одна может нарастать, а другая либо оставаться без изменений, либо тоже нарастать, либо оказываться открытой, непредсказуемой, способной нести самые разные смыслы. Этот вывод особенно важен для анализа «ритуализованных» языков — языка государства, политической партии, религии, армии, других институтов, профессиональных сфер.

В высказываниях, которые вроде бы только описывают факты окружающего мира (то есть работают как *констатирующие* высказывания), при определенных условиях может нарастать роль перформативной составляющей, когда они начинают действовать как стандартные фразы, создающие новые факты и реалии в окружающем мире, а не просто описывающие их[2]. Какая именно составляющая смысла является более

[2] Такой «перформативный сдвиг» может произойти с любым обычным высказыванием, если оно ритуализируется. Например, вопрос «how are you?» (*как дела?*), который

важной в том или ином высказывании или дискурсивном акте (например, в акте голосования), невозможно сказать заранее, не рассмотрев конкретный социально-исторический контекст, в котором этот акт совершается. В некоторых условиях констатирующая роль акта голосования (выражение мнения участника по тому или иному вопросу) может оказаться менее важной, чем перформативная роль этого акта (участие в воспроизводстве ритуала, которое приводит к его признанию как успешно совершенного, независимо от мнения участника). Различные языковые высказывания, а также неязыковые ритуалы (физические, пространственные, юридические и так далее — например, ритуалы, составляющие церемонии бракосочетания, принятия присяги, экзаменов, награждений, похорон, назначений на должности) не являются актами, которые совершаются лишь группами, институтами или субъектами, существующими заранее. Частично такие акты сами принимают участие в формировании и воспроизводстве этих институтов, групп и субъектов. А следовательно, что собой представляют эти институты, группы и субъекты, не может быть заранее до конца определено. Например, голосуя за партийную программу (точнее, участвуя в *ритуале одобряющего голосования*) субъект оказывается не только ограничен этим идеологическим документом, но и получает новые возможности, включая возможность действовать неким образом, смысл которого не совпадает с констатирующим смыслом того, за что он проголосовал. Иными словами, подобные одобряющие ритуалы способствовали формированию «нормального» советского субъекта, не контролируя полностью «смысл» этого субъекта.

В период позднего социализма авторитетный дискурс претерпел изменения, которые мы назвали «перформативным сдвигом». В большинстве контекстов, где этот дискурс воспроизводился, распространялся

традиционно задают друг другу при встрече знакомые студенты американских университетов, в большинстве случаев потерял смысл вопроса. Констатирующая составляющая этого высказывания (вопроса, спрашивающего о конкретном факте — *как ты себя чувствуешь? как у тебя дела?*) почти сошла на нет; оно осталось чисто перформативной фразой — чистым приветствием, наподобие фразы «hi» (*привет*) или помахивания рукой. Именно поэтому на эту фразу обычно не отвечают, как на вопрос, а лишь говорят в ответ «hi», или произносят такое же ответное «how are you», или просто кивают.

и занимал доминирующее положение, теперь было не так важно уделять внимание буквальному смыслу, который он вроде бы передавал (описание реальности, констатация фактов), но крайне важно воспроизводить точную *форму* этого дискурса. Это не означает, что авторитетный дискурс стал бессмысленным (констатирующая составляющая дискурса стала не важна), а его формальное повторение превратилось в пустой ритуал. Как раз наоборот, констатирующая составляющая этого дискурса стала теперь *крайне важна* — именно потому, что она оказалась непредсказуемой, а значит, открытой для новых интерпретаций. Это повысило ее важность в повседневной жизни во сто крат. Она превратилась в сферу творческого создания новых смыслов, неожиданных для государства, но наполняющих жизнь советского человека.

Таким образом, воспроизводство и распространение неизменных *форм* авторитетного дискурса приобрело важную роль в формировании советской реальности. Благодаря этому процессу в советской жизни повсюду возникали новые, неожиданные смыслы, интересы, отношения, способы существования, виды субъектности, сообщества и публики — все то, чему авторитетный дискурс способствовал, но что он не был в состоянии полностью описать. Такое производство нового стало центральным принципом позднего социализма. Это был активный, творческий процесс, который нельзя свести ни к поддержке, ни к отказу от политических целей и моральных ценностей социалистического общества. Как мы видели в предыдущих главах, этот процесс способствовал появлению целого набора разных позиций, включая возможность продолжать поддерживать ценностные ориентиры и идеалы коммунизма, и даже делать это, как ни парадоксально, в пику партийному аппарату государства.

Большинство представителей последнего советского поколения, родившихся и выросших в период позднего социализма и сталкивающихся с авторитетным дискурсом чаще всего в комсомольской организации, довольно легко и активно участвовало в этом процессе. В главе 3 мы показали, каким образом велась и контролировалась комсомольская работа в местных организациях. Если большинство людей, занимавших относительно высокие посты в комсомольской организации (секретари, инструкторы райкомов), обычно получало специальное образование для

ведения комсомольской работы, то руководители более низких звеньев и рядовые комсомольцы приобретали навыки этой работы в процессе участия в ней. Они узнавали, насколько важным является воспроизводство точных форм авторитетного дискурса в выступлениях, отчетах, ритуалах и других институциональных практиках и как отличать «чистую проформу» в комсомольской деятельности, которой можно заниматься просто для видимости, от более важной «работы со смыслом». Они приобретали навыки «особого» стиля общения с вышестоящими комсомольскими органами и нижестоящими рядовыми комсомольцами и «особых» договоренностей, которые не упоминались в отчетах, но без которых проведение комсомольской работы было невозможно. В результате этих сложных, негласных отношений по воспроизводству авторитетного дискурса, в которые были вовлечены миллионы рядовых комсомольцев, возникало огромное количество незапланированных культурных смыслов и реалий, которые, хотя и не обязательно противостояли заявленным целям Советского государства, также не обязательно и совпадали с ними.

Среди незапланированных результатов этой деятельности, как мы видели в главе 3 и последующих главах, была новая форма советской публичности, принимающая вид сообществ, которые мы назвали «публиками *своих*» и которые сами представители последнего советского поколения часто называли «нормальными людьми» или «своими». Понятия «свой» и «свои», очевидно, являются культурными категориями с длинной историей; однако в контексте позднего социализма они приобрели ряд уникальных черт и в большом количестве контекстов стали обозначать особый вид публичности «нормальных людей», которая формировалась как единая публика в первую очередь благодаря схожим отношениям ее членов с авторитетным дискурсом. Определяя понятие «публики» в своей, теперь уже классической статье, Майкл Уорнер отмечает, что публика формируется «благодаря тому, что к ней обращаются»[3] — то есть к той или иной публике, согласно Уорнеру, относятся все те, кто воспринимает некоторое дискурсивное обращение как обращение, адресованное именно им (см. главу 3). Это понятие

[3] Warner 2002a: 50.

публики удобно для определения советской формы «публики *своих*», однако в советском контексте оно приобретает некоторые уникальные черты. Публика своих формировалась посредством *особой* реакции ее членов на направленное в их адрес авторитетное обращение, которую мы назвали *перформативным сдвигом* этого обращения (см. главу 3). Именно поэтому «публика *своих*» отличалась от всех видов социальности (и советской, и антисоветской), которые могли описываться авторитетным дискурсом — таких, как «советские люди», «партия», «советская интеллигенция», «тунеядцы», «диссиденты», «буржуазные элементы» и т.п.

В отличие от этих видов социальности «свои» были организованы в *публику вненаходимости* — публику, которая формировалась не просто в ответ на обращенное к ней авторитетное высказывание, а в ответ на *форму* этого высказывания, что подразумевало изменение констатирующего смысла, которое это обращение несло. То есть авторитетный дискурс обращался к этой публике одновременно успешно и неуспешно — он заставлял «публику *своих*» реагировать на него (например, единогласно голосуя «за» на собрании или выкрикивая «ура» на демонстрации), но не был в состоянии навязать этой публике тот или иной смысл этого акта. Именно к такой «публике *своих*» — сформированной авторитетным дискурсом, но относительно свободной от его смыслового диктата — относилось подавляющее большинство советских граждан, особенно молодого поколения, включая, как мы видели, даже многих активных комсомольцев. То, что представители этой *публики*, безусловно, участвовали в авторитетных акциях и высказываниях системы (собраниях, выборах, демонстрациях), делало ее вроде бы похожей на то сообщество, которое авторитетный дискурс именовал «советскими людьми». Однако смысл их действий значительно отличался от того смысла, который заявлялся в авторитетном описании.

Человек принадлежал к «своим», если он отдавал себе отчет в том, что в идеологических ритуалах системы участвовать надо, но при этом уделяя внимание в основном их формальному соблюдению, поскольку такое участие давало возможность относительно независимо и творчески подходить к фомированию своей собственной «нормальной жизни», не ограничиваясь целями и формами, задаваемыми идеологическими

текстами и ритуалами, хотя и не обязательно противореча им. Иными словами, человек был своим, если он существовал по принципу *вненаходимости*.

Вненаходимость стала одним из центральных принципов существования и функционирования всей советской системы позднесоветского периода. Отношения вненаходимости к системе предполагают одновременное нахождение *внутри* риторического поля авторитетного дискурса и *за пределами* этого поля, что отличается и от поддержки этого дискурса, и от оппозиции ему. Хотя это состояние может показаться парадоксальным, оно не лишено смысла именно потому, что советский авторитетный дискурс в этот период претерпел *перформативный сдвиг* — главной задачей каждого высказывания на этом языке стало воспроизведение его фиксированных и неизменных форм, а не создание более-менее точного описания фактов. Участие субъекта в воспроизведении этих авторитетных форм позволяло ему изменять смысл высказываний и ритуалов, наполняя их новым содержанием. Такое участие и было примером существования одновременно внутри и вне дискурсивного поля системы, в отношениях *вненаходимости* к ней.

Здесь следует еще раз подчеркнуть важную деталь — неверно было бы сводить принцип *вненаходимости* к таким понятиям, как эскапизм, цинизм, апатия, негативная свобода[4], внутренняя эмиграция или аполитичный уход в «частную сферу» жизни. Все эти понятия подразумевают уход от политической составляющей жизни. Принцип же *вненаходимости*, как мы показали[5], построен на иных, особых отношениях с системой, которые были видом именно *политических* отношений. В отличие от отношений эскапизма отношения *вненаходимости*, построенные по принципу изменения смысла авторитетных высказываний, вели к активному и постоянному сдвигу, изменению, подрыву смысловой ткани системы. Хотя эти отношения могли включать в себя вполне осознанное состояние политического *несогласия* с теми или иными элементами

[4] «Негативная свобода» — это свобода от вмешательства других в личную жизнь, а «позитивная свобода» — это свобода для самореализации, то есть свобода от тех или иных социальных ограничений (классовых, гендерных и так далее).

[5] См. особенно главы 3 и 7.

советской системы, они не сводились лишь к несогласию. С одной стороны, эти отношения поддерживали ощущение того, что советская система является вечной и неизменной (ведь на уровне формы она постоянно и «единогласно» воспроизводилась), но, с другой стороны, эти отношения последовательно подрывали эту систему изнутри (меняя смысл ее реалий, институтов и членства в них). Поддерживая ощущение системы как вечной и неизменной, они одновременно вели к нарастанию ее внутренней хрупкости и уязвимости.

Анализ, не учитывающий того, что принцип вненаходимости был центральным образующим принципом символического режима в позднем социализме, не может избежать тривиализации этой системы. Это ведет, например, к сведению советской системы к упрощенной бинарной модели авторитарного государства и сопротивляющегося ему общества. Приводит это и к автоматическому заимствованию аналитического аппарата и теорий, созданных для исследования западного либерально-демократического государства, при анализе Советского государства. Примером этого служит популярное сегодня обращение к теориям государственного суверенитета, заимствованным из работ Карла Шмитта и Джиорджио Агамбена.

Рассмотрим последний пример чуть подробнее. Агамбен, отталкиваясь от более ранних работ Шмитта[6], справедливо замечает, что пространство, в котором действует государственный закон (так называемый *nomos* — суверенное пространство, организованное согласно закону и нормам), в сегодняшнем либерально-демократическом государстве формируется путем очерчивания вокруг него особых *пограничных зон* — территориальных, юридических, субъектных и так далее, — в которых закон государства более не действует и которые по этой причине Агамбен называет «зонами исключения»[7] (то есть исключением из правила, по которому обычно действует закон)[8]. Причем, согласно

[6] См.: Schmitt 2004.

[7] Иногда Агамбен также называет их «зонами неразличения» (*zones of indistinction*), поскольку в них сложно провести четкое различие между нормой и отклонением от нее.

[8] В *субъектных зонах исключения* субъект перестает быть или еще не становится полноправным гражданином суверенного государства. Подобными субъектами является,

Агамбену, зоны исключения сегодня появляются повсюду, все более становясь основным принципом функционирования закона, а не исключением. Хотя данная модель формирования суверенного пространства хорошо описывает современное либерально-демократическое государство, для описания позднесоветского государства она подходит не совсем — в нее необходимо внести принципиальное изменение. Как мы видели, авторитетное высказывание в советской системе действовало не посредством передачи буквального смысла, а посредством *перформативного сдвига* (при каждом воспроизводстве такого высказывания его форма сохранялась, а констатирующий смысл сдвигался). Примером этого является то, как в Советском Союзе применялся государственный *закон* (ведь текст закона является видом авторитетного высказывания). Каждое применение закона Советским государством подразумевало четкое следование его форме (или «букве») и одновременное смещение его констатирующего, буквального смысла. Этот принцип функционирования закона был не исключением из правила (как бывает, например, с приостановкой закона в ситуации чрезвычайного положения или экстерриториальной зоны, а самим *правилом*[9] — то есть нормой, согласно

например, человек, находящийся в глубококоматозном (невозвратном) состоянии, или заключенный, приговоренный к смертной казни, или еще не родившийся ребенок. Примерами *географических зон исключения* являются приграничные районы с режимом пропусков, зоны исправительных колоний и лагерей, советские «закрытые» города, особые экономические зоны, зоны финансового офшора, а также зоны, в которых объединяются черты нескольких перечисленных пространств — например, специальная американская экстерриториальная тюрьма для террористов «Гуантанамо», расположенная внутри одноименной военной базы за пределами территории США. В связи с экстерриториальностью многие американские законы на нее не распространяются; из-за этого статуса *исключения* из нормы суверенного закона Соединенные Штаты содержат и допрашивают здесь большинство военнопленных, захваченных в рамках «войны с терроризмом».

[9] Достаточно вспомнить, что Конституция СССР утверждала в качестве базового право граждан на свободное публичное самовыражение. На практике это право, как известно, было резко ограничено. Однако ограничение это официально объяснялось не как временная приостановка этого права в период чрезвычайного положения (войны или военного коммунизма), а как невозможность его применения к *ненормальному субъекту* или *неполноценному гражданину* — преступнику, врагу или психически больному человеку. Когда в мае 1983 года диктор Международного московского радио Владимир Данчев в прямом эфире на английском языке неожиданно осудил ввод советских войск

которой закон вообще мог функционировать в советском контексте[10]. Если в либерально-демократическом государстве суверенное пространство нормы (государственного закона, авторитетного высказывания) формируется посредством выделения пограничных *зон исключения* из нормы, в которых закон и авторитетное высказывание более не действуют обычным образом (зон чрезвычайного положения или исключительного случая, которых, согласно Агамбену, сегодня все больше), то в позднесоветском государстве суверенное пространство формировалось посредством иного принципа — *перформативного сдвига*, согласно которому действие закона, нормы и авторитетного высказывания не приостанавливалось, а продолжало нормально функционировать на уровне формы, но при этом сдвигалось на уровне смысла. Иными словами, в отличие от либерального государства суверенное пространство нормы в системе позднего социализма воспроизводилось не путем очерчивания вокруг него пограничных зон исключения, а путем превращения его самого в пространство вненаходимости.

Как было показано в первых двух главах книги, основной причиной, по которой принцип *вненаходимости* распространился в период позднего социализма и стал системообразующим, была противоречивая структура советской идеологии, которую мы обозначили через *парадокс Лефора* (см. главу 2). Роль этого парадокса в позднесоветский период резко возросла по сравнению с более ранними периодами советской истории. Парадокс Лефора оказался спроецирован на все сферы советской жизни — политику, язык, культуру, образование, научные исследования, искусство и так далее. Он привел к многочисленным внутренним сдвигам и изменениям в советской системе — к возникновению в ней сообществ, интересов и способов существования, по форме вроде бы абсолютно совпадающими с теми, которые циркулировали

в Афганистан, назвав его «советской агрессией в Афганистане», и призвал афганских повстанцев не складывать оружие, передача была прервана, а Данчев был помещен в психиатрическую больницу. На вопросы западных журналистов о наказании Данчева (его заявление, естественно, не прошло незамеченным на Западе) официальный представитель советского правительства ответил, что «он не был наказан, потому что *больные* люди не могут подвергаться наказанию» (см.: Chomsky 1986: 276).

[10] В России начала 2010-х годов закон вновь все чаще работает по этому принципу.

в авторитетном дискурсе, но смысл которых при этом глубоко отличался. Многие из этих сообществ, интересов и способов существования фокусировались на формах знания, образах и эстетике, которые происходили из всевозможных *миров вненаходимости* — теоретических наук, иностранных и древних языков, дореволюционной поэзии, религии, западной рок-музыки и так далее (см. главы 4—6). То, что они строились по принципу *вненаходимости* означало, что они не обязательно строились по принципу противопоставления себя социалистическим ценностям и идеалам; для многих из них и ценности социализма могли для них оставаться важными.

Примером подобных миров был *Воображаемый Запад* — один из самых ярких культурных продуктов позднего социализма (глава 5). Его формированию способствовало то, как парадокс Лефора проявился в сфере советской культурной политики 1950—1970-х годов. В этот период Советское государство, с одной стороны, активно критиковало буржуазные влияния в советской культуре, а с другой — не менее активно пропагандировало важность интернационализма в развитии советской культуры. Оставаясь в рамках партийных высказываний на эти темы, было не всегда понятно, как отличить негативные буржуазные влияния от позитивных проявлений интернационализма. Усугублялось это тем, что, во-первых, авторитетный дискурс все меньше работал ради точного описания действительности и, во-вторых, тем, что интерпретация иностранных культурных явлений в советской жизни была разной в разные периоды и в разных контекстах (вследствие парадоксальной структуры советской идеологии). Кроме того, смысл явлений самой советской культуры, с которыми иностранные культурные явления сравнивались, тоже был неоднозначен и непостоянен. В результате подчас было крайне сложно определить, как следует относиться к тем или иным проявлениям иностранного влияния: в одном контексте их критиковали, а в другом к ним относились как к шедеврам; в одном их называли идеологическим оружием Запада, а в другом — проявлением народного гения. Все это способствовало формированию в позднесоветской культуре пространства *Воображаемого Запада*, являющегося частью советской повседневности, но находящегося в отношениях пространственно-временной *вненаходимости* к авторитетному дискурсу системы.

Не все элементы *Воображаемого Запада* были иностранными заимствованиями; многие культурные продукты и виды знания, составлявшие этот воображаемый мир, создавались и распространялись силами самого Советского государства. Происходило это по разным причинам. Как уже говорилось, непоследовательными были сами критерии, согласно которым иностранные культурные явления можно было разделить на положительные и отрицательные. Кроме того, государственная критика негативных проявлений буржуазной культуры в советском обществе обычно рисовала эти проявления как редкие — как исключения из правил и отклонения от норм советской жизни. Авторитетный дискурс критиковал аморальных бездельников, дельцов черного рынка, наивных подражателей западной моде. Но такой подход лишь способствовал дальнейшему распространению интереса к некоторым проявлениям западной культуры среди миллионов вполне *нормальных* молодых людей, которые учились в институтах, работали на предприятиях, считали себя обычными советскими гражданами и поэтому не воспринимали себя в качестве объектов этой критики. Таким образом, стремление государства представить интерес к западной культуре как аномальное, исключительное и антисоветское явление (то есть использование государством упрощенной бинарной модели советского общества) лишь способствовало нормализации этого интереса.

Парадокс Лефора проявлялся и в государственной политике в отношении технологических средств, которые способствовали распространению западных культурных продуктов и видов знания. Примером служит государственная пропаганда коротковолнового радиоприема, наращивание производства советских радиоприемников и непоследовательная политика глушения западных радиостанций. Это, в свою очередь, способствовало нормализации практики слушания иностранных радиостанций советскими гражданами — такая практика воспринималась большинством как вполне нормальное или, по крайней мере, не обязательно антисоветское занятие. Аналогичный культурный парадокс проявился и в отношении к западному джазу и рок-музыке. Их критика государственными средствами массовой информации была хотя и постоянной, но все же крайне непоследовательной, а подчас вообще совмещалась с пропагандой этой музыки. К тому же, несмотря на критику,

Советское государство постоянно наращивало производство катушечных, а позже кассетных магнитофонов, которые являлись, безусловно, главным технологическим методом распространения этих музыкальных форм. В результате интерес к этой музыке воспринимался миллионами простых советских граждан как что-то вполне нормальное и не противоречащее советскому образу жизни, а роль этой музыки в повседневной жизни советской молодежи постоянно возрастала. Более того, как мы видели в главе 6, среди наиболее идеалистично настроенных членов комсомольского актива в школах и институтах интерес к западной рок-музыке мог вполне органически совмещаться с верой в моральное превосходство коммунизма. Некоторым из этих людей казалось, что искренняя вера в коммунизм давала им моральное право не соглашаться с тем, как партийные бюрократы и карьеристы интерпретируют отношение между «буржуазной» и «коммунистической» культурами (см. главы 5 и 6). А кто-то из них даже воспринимал экспериментальное звучание некоторых западных рок-групп как нечто гораздо более соответствующее коммунистическим идеалам, ориентированным в будущее, чем предсказуемая, скучная, застывшая в прошлом советская «легкая музыка», которую исполняло большинство государственных эстрадных оркестров и вокально-инструментальных ансамблей.

Эти парадоксы советской системы способствовали дальнейшему распространению практики *перформативного сдвига* идеологических высказываний, а также привели к возникновению особой ироничной эстетики, которая в те годы иногда именовалась различными сленговыми терминами — например, «стёб» (позже смысл этого термина расширился и несколько изменился) — и которую мы назвали *иронией вненаходимости*. Этот вид иронии стал неотъемлемым элементом в отношении многих представителей последнего советского поколения с идеологическими символами государства. Ирония вненаходимости отражала попытку (обычно неотрефлексированную) уйти от бинарного деления советской реальности на просоветскую и антисоветскую, на поддержку системы и сопротивление ей, на истинное лицо и маску притворства. Она строилась как имитация перформативного сдвига советской идеологии, а также обыгрывала парадоксы, несоответствия и абсурдные действия, которые возникали в результате этого сдвига

в ткани советской повседневности. Когда символы системы подвергались процедуре перформативного сдвига, их констатирующие смыслы неожиданно оказывались вырваны из идеологического контекста, становясь непредсказуемыми, или абсурдными, или открытыми для новых интерпретаций. В результате обнажались не только внутренние парадоксы и несоответствия советской реальности, но и тот факт, что эти парадоксы и несоответствия были не редким исключением, а, напротив, неотъемлемым структурным элементом системы.

Ирония вненаходимости принимала самые разные формы, от широко распространенных до крайне редких. Она встречалась и в спонтанных комментариях во время бесед и разговоров, в письмах, дневниках и личных записях, во всевозможных шутках и «подколках», характерных для дружеского общения, и широко распространенном явлении советских *анекдотов*. Практиковалась эта ирония не только так называемыми «неофициальными» группами художников и поэтов, а целым поколением вполне нормальной советской молодежи, включая многих представителей комсомольского актива «на местах». Эта ирония реализовывалась в широко распространенных фольклорных жанрах, постоянно развивающихся и создающих пространство для личного творчества. Причем структурные черты этих жанров позволяли человеку иронизировать над парадоксами советской системы, не занимая при этом позиции ее серьезного противника.

Подведем промежуточный итог этой части анализа. В результате взаимоотношений субъекта с системой, которые строились на принципе *вненаходимости*, авторитетные символы повсюду воспроизводились перформативно, на уровне формы, при этом смысл, который эта форма констатировала, менялся. Идеологические ритуалы продолжали с точностью повторяться — люди ходили на демонстрации, голосовали на выборах, участвовали в собраниях, писали отчеты о выполнении общественной работы и выполнении производственных планов. Но в этой деятельности стало важнее повторять неизменную *форму* ритуалов и высказываний, не слишком вдаваясь в то, насколько точно эта форма *описывает* реальность. На уровне формы — *формально* — система оставалась неизменной и предсказуемой, но в жизни ее граждан она приобретала новый, непредсказуемый смысл. Ее нормальное функционирование

теперь подразумевало постоянное внутреннее изменение ее смысла. Это делало систему одновременно внешне мощной и внутренне хрупкой.

Неожиданность

Обвал этой системы начался с неожиданного изменения в описанной только что логике ее авторитетного дискурсивного режима. Случилось это в 1985-м, когда М.С. Горбачев, ставший новым генеральным секретарем ЦК КПСС, впервые начал беспрецедентные реформы в сфере идеологии, разорвав важнейший принцип авторитетного дискурса — замкнутую (*circular*) логическую структуру, описанную в главе 2. Такая трансформация в структуре авторитетного дискурса могла произойти только по указанию сверху, из партийного центра, и только если она была изначально представлена как оздоровление идеологии, а не ее подрыв, чем она на самом деле оказалась. Причем ни сам Горбачев, ни другие реформаторы в руководстве партии истинного смысла этих реформ не понимали и понять не могли, поскольку знания о том, как в действительности функционирует советская идеология, у них не было. Запущенная ими трансформация авторитетного дискурса нарушила его внутренний структурный принцип, что повлекло за собой колоссальные и необратимые последствия для всей советской системы.

Изменение в структуре авторитетного дискурса заметно уже в первых выступлениях Горбачева в качестве генерального секретаря партии. Сначала, как и его предшественники на этом посту, в своих выступлениях он, казалось бы, воспроизводил *замкнутую логическую* структуру авторитетного дискурса, знакомую нам по главам 2 и 3. Согласно традиции эти выступления начинались с перечисления «недостатков» (экономических трудностей, недостаточной политической активности общества и так далее), которые было необходимо преодолеть. Однако после этих первых фраз Горбачев переходил к заявлениям, которые явно нарушали замкнутую логическую структуру авторитетного дискурса. В соответствии с этой структурой речи генеральных секретарей в прошлом всегда объясняли, что для преодоления названных недостатков необходимо

применять те же самые меры, что и раньше (меры, которые в прошлом не дали результатов), — просто делать это надо *эффективнее* и *с большей сознательностью*. Например, необходимо было еще сильнее повышать личную инициативу и творческий подход трудящихся, однако не давая этим инициативам и творчеству выходить за рамки строгого партийного контроля (см. главу 2). Горбачев же начал строить свои выступления 1985 года иначе. Он поднимал в них вопросы, которые можно сформулировать так: как нам изменить текущую ситуацию и почему меры, которые применялись до сегодняшнего дня, не дают результатов. Он не только не отвечал на эти вопросы, но давал понять, что ни он, ни партия этих ответов пока *не знают*. Более того, Горбачев ввел абсолютно новую тему в идеологический дискурс, заявив, что ответить на эти вопросы можно, только предоставив слово различным *специалистам*, не имеющим отношения к партийному руководству — управленцам, экономистам, социологам и даже обычным советским гражданам[11]. Иными словами, ответы должны были быть публично даны в ином, *неавторитетном* дискурсе. Это создавало потенциальный разрыв структуре авторитетного дискурса — из этого следовало, что ответы могут лежать в форме знания, которое находится за пределами авторитетного дискурса и к партийному знанию отношения не имеет. Подобные идеи, сформулированные или лишь подразумеваемые в речах генерального секретаря, адресованные всем советским людям и многократно повторенные и прокомментированные средствами массовой информации, во время партийных и комсомольских собраний, в школах и институтах, в корне отличались от традиционной формы авторитетного дискурса. Идея о том, что в рамках авторитетного дискурса сформулировать решение проблем невозможно, привела к разрыву его замкнутой структуры.

Таким образом, впервые со сталинского периода в структуру авторитетного дискурса был введен *голос внешнего редактора* идеологии, язык которого представлял собой идеологический *метадискурс*, способный *извне* корректировать идеологические высказывания на предмет их истинности или ложности. Вспомним, что в более ранние периоды советской истории, до наступления эпохи позднего социализма (до

[11] См. анализ этого нововведения в выступлениях Горбачева в: Urban 1986: 154.

начала 1950-х годов), тоже существовал широкий публичный *метадискурс* по поводу идеологии, который формулировался внешним редактором идеологии — непосредственно Сталиным или от его имени. В начале 1950-х годов этот метадискурс исчез. Реформы перестройки тоже ввели идеологический метадискурс, способный анализировать и исправлять авторитетный дискурс партии *извне* — только теперь это был метадискурс «объективного научного знания», расположенного *за пределами* не только авторитетного слова партии, но потенциально и за пределами марксистско-ленинской идеологии вообще (этим метадискурс перестройки отличался от метадискурса сталинского периода). Появление этого нового метадискурса — точнее, появление позиции *внешнего комментатора* идеологии, способного говорить на этом метадискурсе, — открыл беспрецедентную возможность публично оценивать авторитетный дискурс и делать это на языке, который отличался от языка партии. Это означало, что поставленным под вопрос мог в принципе оказаться весь дискурсивный режим социализма, основанный на герметичности и неизменяемости авторитетного дискурса. Именно с этого радикального нововведения и началась перестройка. И хотя новый критический метадискурс, который был разрешен в ее начале, должен был способствовать сохранению и улучшению социалистической системы и возвращению ее к базовым ленинским ценностям, включая направляющую роль партии, в действительности это нововведение разорвало дискурсивную формацию позднего социализма и в конце концов подорвало сам тезис о руководящей роли партии.

Действительно, в течение первых трех-четырех лет перестройка была не чем иным, как поступательной деконструкцией роли советского авторитетного дискурса. Своих первых необратимых результатов она достигла именно на уровне организации дискурса партийных высказываний — ставя под вопрос весь советский дискурсивный режим. Идеологические высказывания и символы, которые до тех пор обычно никем не интерпретировались на уровне *констатирующего* смысла, вдруг стали описываться и анализироваться именно на этом уровне. Именно «буквальный» смысл партийных высказываний и исторических событий оказался в центре критического внимания в публикациях и телепередачах тех лет. Это было радикальным поворотом от принципа

перформативного сдвига авторитетного дискурса, на котором советская идеологическая система была основана десятилетиями.

Процесс деконструкции авторитетного дискурсивного режима происходил одновременно в его языковых и неязыковых регистрах. Как мы видели в предыдущих главах, до начала перестройки застывшие формы визуальных идеологических репрезентаций — транспаранты с политическими лозунгами, агитационные стенды, портреты партийного руководства страны — не воспринимались большинством советских людей буквально. Мало кто внимательно читал лозунг «Народ и партия едины!», висящий на фасаде соседнего дома, не говоря уже о его осмыслении. Эти лозунги пешеходам были «невидимы» — они превратились в застывшую форму, роль которой заключалась в том, чтобы повсюду повторяться без изменений, а не в том, чтобы быть воспринятой как точное описание реальности. То есть эти визуальные символы действовали как перформативные акты, создающие необходимые условия для функционирования советской реальности, но не описывающие эту реальность. Сам по себе этот факт, в принципе, не был таким уж секретом. То, что лозунгов почти никто не читает, как и то, что голосующие за кандидата не слишком стремятся что-то о нем узнать, было всем известно из личного опыта. Важнее было другое — то, что эти факты были впервые *публично сформулированы*, и это дало возможность публично обсуждать, по каким принципам строится авторитетный дискурс и какую роль он играет в конструировании советской повседневности. Именно этот метадискурс, отсутствующий в Советском Союзе как минимум с начала 1950-х, в период перестройки стал повсеместным явлением, подорвав неизменность перформативной модели авторитетного дискурса. Достаточно привести лишь один пример этого метадискурса — статью, появившуюся в 1987 году в книге «Наглядная агитация: опыт, проблемы, методика», выпущенной издательством «Плакат» при ЦК КПСС. Вот выдержка из нее:

> Сегодня мы чаще всего сталкиваемся с... самым элементарным повторением содержания в изобразительной форме. Поэтому-то на плакатах, транспарантах, на огромных щитах действуют одни и те же персонажи-маски мужчин и женщин; они только «переодеваются» — то

> в строителей БАМа, то в солдат, то в комбайнеров, то в космонавтов и т.д. <...> Опросы на центральных улицах городов, осуществленные нашими специалистами, убедительно показали, что большая часть прохожих оказывается не в состоянии припомнить, что изображено на ближайшем стенде, то есть элементы наглядной агитации превращаются в «невидимки», материально присутствующие в городской среде, но не проникающие в сознание людей[12].

Как видно из этого примера, метадискурс перестройки начал публично обсуждать перформативную модель авторитетного языка, заставляя читателей обращать все большее внимание именно на констатирующую составляющую этого дискурса (на то, насколько точно этот язык *описывает* окружающую действительность), которую ранее они научились игнорировать. Это нововведение привело ко множеству изменений, повлияв на стиль идеологических текстов, отчетов, выступлений и других пропагандистских материалов. Комсорги и секретари комитетов комсомола и райкомов, которых мы встречали в главах 3 и 6, после XIX партийной конференции 1986 года получили новые инструкции из ЦК ВЛКСМ, в которых объяснялось, что вместо давно принятых стандартных языковых конструкций теперь им надо было в своих выступлениях применять «свежие термины и выражения». Выступления должны были стать короче, в них требовалось вводить «реальную самокритику», обсуждать «реальные проблемы» и предлагать новый, незнакомый, «творческий подход» к их решению[13]. То есть замкнутой логической структурой авторитетного дискурса более пользоваться было нельзя (см. главу 2).

Метадискурс, комментирующий и оценивающий идеологические высказывания и документы, быстро распространился во всех политических и публичных контекстах периода перестройки — от СМИ и комсомольских собраний до многочисленных организованных и спонтанных

[12] Наглядная агитация 1987: 21, 23.

[13] Авторские интервью с Александром (инструктором одного из ленинградских райкомов комосомола), Андреем (секретарем комитета комсомола НИИ) и Машей (членом комитета комсомола калининградской школы) (всех троих мы встречали в главе 3), Санкт-Петербург, 1994 год.

митингов и дискуссий. Теперь участвовать в голосовании, не обращая внимания на констатирующее значение этого акта (на имя кандидата или смысл резолюции), становилось все менее актуально и интересно. Таким образом, во второй половине 1980-х годов метадискурс по поводу идеологии подорвал центральный принцип, согласно которому функционировала система позднего социализма — принцип перформативного сдвига. Это был действительно процесс *дискурсивной деконструкции* позднесоветской системы, деконструкции ее символического порядка, которая произошла еще до того, как в стране начались значительные экономические проблемы или этнические конфликты. И в этом заключались неожиданность, драматичность и красота той уникальной революции. Именно так, с ощущением восторга, удивления и драматизма (а иногда и личной трагедии) ее восприняли многие. Логичным апофеозом этого процесса стала потеря Лениным и партией — главными «господствующими символами» авторитетного дискурса (см. главу 2) — своей роли ведущих организующих концепций советского символического порядка. Это был окончательный и необратимый разрыв авторитетного дискурса, потеря им базовой легитимности, заложенной в синонимичных понятиях «Ленин» и «партия», хотя начался этот разрыв под знаком возрождения системы и возврата к истиным ленинским ценностям.

Идея возврата к «истиному Ленину» хорошо проиллюстрирована плакатом «Слово Ленину!», выпущенным в 1990 году издательством «Плакат» при ЦК КПСС. Центральную часть плаката занимает большая красная трибуна, украшенная советским гербом и уставленная микрофонами. Она является олицетворением застывшего авторитетного дискурса партии, который теперь стал интерпретироваться как *искажение* ленинских идей. А «истинный Ленин» изображен нарочито неканоническим, маленьким, ссутулившимся и черно-белым. Он примостился с краю, внизу, на ступеньках под трибуной, и сосредоточенно записывает в блокнотике свои мысли по поводу сегодняшнего дня. Но нам этих мыслей не видно. Чтобы узнать их, надо дать Ленину слово, выпустить его на трибуну, услышать его настоящий, не искаженный авторитетным дискурсом голос.

Здесь мы сталкиваемся с важным и удивительным феноменом поздней перестройки — призывом ЦК дать Ленину слово не в рамках

Рис. 47. «Слово Ленину!», Издательство «Плакат» при ЦК КПСС. Художник Чумаков. 1990 г.

авторитетного дискурса партии, а *вне* этого дискурса. В этом призыве в сконцентрированной форме содержится первичное противоречие перестройки — возврат к Ленину как способ обновления партийной идеологии здесь приравнивается к разрыву в структуре авторитетного дискурса партии. В 1990 году ЦК партии еще рассматривал такой подход, как возможность партийного возрождения. Однако это было заблуждением, поскольку с разрушением авторитетного дискурса партия лишалась основы своей легитимности. А вслед за этим лишался своей легитимности и сам «Ленин». Таким образом, попытка вернуться к «истинному», «неискаженному» Ленину означала слом образа Ленина как источника заведомо неоспоримой истины (то есть разрушение роли Ленина как «господствующего означающего» — см. главу 2),

а значит, и слом роли партии как «направляющей силы общества», которая отталкивается от этой неоспоримой истины. К 1990—1991 годам легитимность партии была почти полностью потеряна — и произошло это благодаря, не в последнюю очередь, самому дискурсу партии, неосознанно подрывающему основы этой легитимности. Оговоримся, что ранее эта легитимность партии была основана не на вере большинства в ее действительную направляющую роль (в ее авторитетный дискурс), ведь буквальный смысл этой роли был не так важен, а на осознании большинством того, что партия занимает положение единственного возможного источника авторитетного дискурса. С потерей легитимности партия потеряла и миллионы своих членов, что произошло именно в 1990—1991 годах[14]. Одновременно с этим фигура Ленина начала подвергаться беспрецедентной критике и нападкам в СМИ, документальных фильмах[15], публичных дискуссиях, шутках и провокациях[16] (критика уже звучала и раньше, но повсеместной она стала только тогда).

Секретарь комитета комсомола, Андрей (знакомый нам по главам 3 и 6), вспоминал, как в те годы у него стал формироваться новый образ Ленина:

> Идея о том, что Ленин знает ответы на все вопросы, выходила из меня постепенно, капля за каплей. ...Оказалось, что Ленин был таким же... Что он был действительным инициатором, автором всего, а Сталин был просто его логическим продолжением. Для меня лично прийти

[14] Если за 1989 год ряды КПСС покинуло 140 тысяч человек, то за год с лета 1990-го (после XXVIII съезда КПСС) по лето 1991-го ряды партии покинули 4 миллиона человек (см.: СССР в цифрах в 1990 году: Краткий статистический сборник 1991: 104, 105; Константинов 2000).

[15] Ярким примером этого был документальный фильм «Россия, которую мы потеряли» режиссера Станислава Говорухина, в котором Ленин подвергся жесткой критике. Фильм начал сниматься на «Мосфильме» в 1990 году и показан по центральному телевидению в начале 1992-го.

[16] Достаточно упомянуть знаменитую провокацию Сергея Курехина на Пятом канале ленинградского телевидения в передаче «Пятое колесо» (16 мая 1991 года), в которой он доказывал, что Ленин — это гриб. См. подробный анализ этого события в: Yurchak 2011a. См. подробнее о процессе деконструкции образа Ленина в те годы в: Юрчак 2007, а также: Yurchak 2007.

к этому осознанию было очень долгим и мучительным процессом. Ленин был последним символом, в котором я разочаровался[17].

Как мы видели в главе 3, до конца 1980-х годов Андрей «разделял партию на простых людей и партийный аппарат» — первые, по его словам, «честно работали и были хорошими, умными и душевными», а ко вторым относились бюрократы и карьеристы, «прогнившие изнутри и искажавшие хорошие идеи и принципы». Андрею казалось, что «если бы мы избавились от этих аппаратчиков или как-то уменьшили их влияние, тогда партия естественным путем стала бы работать намного лучше»[18]. Однако к концу перестройки, к 1990—1991 году, Андрей постепенно изменил свое мнение. Теперь ему стало казаться, что «не будь аппарата, не было бы и партии», что «аппарат был следствием партии и ее внутренним стержнем», что «они неразрывны»[19].

Другой комсомольский активист, Михаил (тоже знакомый нам по главе 3), вспоминал, что до перестройки у него сформировалась твердая уверенность, «что *сама* [коммунистическая] *идея* глубоко верна и что так и должно быть. Конечно, я понимал, что были искажения и наслоения. Но мне казалось, что если нам удастся от них избавиться, то все будет хорошо. <...> В какой-то момент [до начала перестройки в 1985 году] у меня появилась уверенность, что я все понял про жизнь и что мое мнение больше не может измениться»[20]. Но к 1990—1991 оду, вспоминает Михаил, его ощущение изменилось — он испытал, по его словам, «мощный *перелом сознания*» и «полностью пересмотрел свое понимание смысла жизни». Тоня, школьная учительница литературы из Ленинграда (упоминавшаяся в главе 1), чье отношение к коммунистической идее было гораздо более скептическим, чем у Андрея и Михаила, вспоминая свой опыт перестройки, употребляет похожий язык: «Это было потрясающе. У меня произошел полный *перелом сознания*[21]» — и добавляет:

[17] Авторское интервью № 3, Санкт-Петербуррг, 1994 год. См. главу 6 .

[18] См. главу 3 (а также главу 6).

[19] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.

[20] См. главу 3.

[21] См. главу 1. Тоня независимо использует тот те же термин «перелом сознания», что и Михаил.

«Я делилась своими впечатлениями с дядей Славой. Его больше всего радовало то, что стало можно критиковать коммунистов»[22].

Потеря *партией*, *Лениным* и *коммунизмом* статуса господствующих означающих (см. главу 2) авторитетного дискурса в глазах миллионов граждан стала результатом процесса, который начался несколькими годами раньше — с тезиса, публично сформулированного Горбачевым, о том, что партия не знает ответов на все вопросы и ей требуется совет со стороны, из-за пределов авторитетного партийного знания. Это нововведение в публичный дискурс повлекло за собой разрушение внешней, независимой, не подлежащей сомнению *истины* — истины, от которой отталкивалась вся идеологическая система социализма. Советская символическая система потеряла внешнюю точку опоры, и ее обвал стал неизбежен.

В конце концов парадокс системы позднего социализма свелся к следующему: чем больше советская система при участии всех своих граждан воспроизводила саму себя как систему, которая казалась монолитной и неизменной, тем больше она мутировала, внутренне изменялась, становилась менее похожей на свое самоописание, менее понятной и предсказуемой. Эти постоянные внутренние изменения системы в свою очередь создавали условия для того, чтобы советские граждане продолжали единогласно участвовать в ее перформативном воспроизводстве на уровне формы (в языковых конструкциях, ритуалах, институциональных структурах, правилах и нормах). Такое участие производило видимость предсказуемости, неизменности и вечности системы и одновременно создавало условия для возникновения новых способов существования, новых смыслов, новых интересов и типов субъектности, которых система не ожидала и не могла до конца проконтролировать. Чем более неизменной система казалась, тем больше она изменялась изнутри.

Процесс, который мы описали, отличался от известной модели *структурного функционализма*[23], согласно которой разные элементы

[22] См. главу 1.

[23] Согласно теории «структурного функционализма», распространенной в западной социологии и социально-культурной антропологии в 1940—1950-х годах, «общество»

социальной системы имеют функцию поддержания ее стабильности. В отличие от этого принципа воспроизводство советской системы вело не к статичности, а к динамичному развитию и мутации системы. Воспроизводство формально «стабильного» состояния этой системы означало нарастание ее внутренних сдвигов. Поэтому период, в течение которого этот процесс протекал особенно активно, не совсем верно называть «застоем» или стагнацией. Застой и стагнация имели отношение к форме (где они проявились в гипернормализации формы), но отнюдь не к смыслу, который благодаря этой гипернормализации формы открывался и становился непредсказуемым.

Советская система, видимо, могла просуществовать намного дольше, чем она просуществовала. Вряд ли изменения конца 1980-х годов были неизбежным результатом структурного загнивания системы. Окончательный кризис системы мог произойти гораздо позже и по-другому[24]. Конкретные перемены конца 1980-х годов стали возможны благодаря реформам, начавшимся в относительно случайный момент руководством партии и государства, которое само не отдавало и не могло отдавать себе полного отчета в том, какой именно процесс эти реформы запустят и куда он заведет (поскольку то, как система была устроена в действительности, никто, включая руководство партии, точно не знал). Ощущение вечности и неизменности советской системы, которое было повсеместным до середины 1980-х годов, не было таким уж заблуждением именно потому, что реальный социализм в жизни советских людей к тому времени изменился настолько сильно, что он более не сводился лишь к идеологическим высказываниям и ритуалам партии, а стал, напротив, видом «нормальной жизни», наполненной разнообразными интересами, смыслами, отношениями и идеалами, которые государство не могло до конца предвидеть и проконтролировать. Обвал этого мира оказался неожиданным еще и потому, что все эти смыслы и виды существования делали советскую жизнь невероятно сложной

или «культура» представляет собой единую систему, функционирование всех частей которой сводится к поддержанию единства и стабильности системы. Метафорой «общества» и «культуры» в этом подходе является биологический организм. См. в социологии: Parsons 1951, в антропологии: Radcliffe-Brown 1952.

[24] Показательным здесь, возможно, является опыт совсем других реформ в Китае.

и наполненной — то есть «нормальной». Однако, когда партийное руководство все же начало неожиданные перемены, советские люди оказались к ним вполне готовы именно потому, что в реформаторских высказываниях партии был сформулирован важный факт, знакомый каждому советскому человеку, хотя и остававшийся до того момента несформулированным, — то, что советская система уже давно и коренным образом изменилась внутренне.

В заключение добавим лишь одно: *поздний социализм* советского образца оказался ярким историческим примером того, как динамичная, мощная, уверенная в себе система может неожиданно развалиться, когда меняются базовые символические принципы, обеспечивающие ее самовоспроизводство.

Список иллюстраций

Рис. 1. Копия с посмертного слепка головы Ленина (оригинал был сделан С.Д. Меркуровым)
Рис. 2. Портрет Брежнева на улице Красноярска, весна 1982 г. (четвертую медаль Героя Советского Союза Брежнев получил в 1981 г.)
Рис. 3. Агитационный плакат с лозунгом «Народ и партия едины!» на фасаде жилого дома. Москва, 1984 г.
Рис. 4. Головные колонны демонстрантов разных районов Ленинграда вступают на Дворцовую площадь (конец 1970-х гг.)
Рис. 5. Первая полоса «Правды» от 1 июля 1977 г. Слева расположена передовица «Идейность советского человека»
Рис. 6. Комсомольское собрание группы в вузе
Рис. 7. Комсомольское собрание в актовом зале школы, 1983 г. [из личной коллекции Сергея Лахно (http://76-82.livejournal.com/4912788.html).
Рис. 8. Партсобрание представителей райкомов и парткомов предприятий города в актовом зале Смольного дворца. Ленинград, 1 января 1980 г. На переднем плане человек, читающий журнал или книгу (фото РИА «Новости»)
Рис. 9. Демонстрация по случаю 60-летия Октябрьской революции. Москва, Красная площадь, 7 ноября 1977 г. (фото РИА «Новости»)
Рис. 10. Демонстрация в честь 60-я пионерской организации. Москва, Красная площадь, 19 мая 1982 г. Фото РИА «Новости»
Рис. 11. Первомайская демонстрация. Москва, Красная площадь, 1987 г. Фото РИА «Новости»

Рис. 12. Ленинградское кафе «Сайгон», 1979 г. Рисунок художника Михаила Петренко, завсегдатая кафе в 1970-х гг., ныне живущего в Сан-Франциско. Сам Петренко изображен на рисунке внизу справа, с усами и в берете
Рис. 13. Ленинградская котельная начала 1980-х гг. с кочегаром-Митьком. Рисунок Александра Флоренского
Рис. 14. Московские стиляги у здания Центрального телеграфа на «Броде» (улице Горького), начало 1960-х. Стиляга на переднем плане одет в модный западный френч с накладным воротником и пестрый галстук. Стиляга слева от него одет в светлый пиджак и модную полосатую жилетку, он уверенно держит руки в карманах. Стиляга на заднем плане справа одет в темный пиджак, шейный платок и светлые просторные брюки. У всех прически с зачесом назад и челкой коком. Они улыбаются и явно щеголяют своим модным видом
Рис. 15. Стиляги из Хабаровска, около здания Института инженеров железнодорожного транспорта, перед портретами Политбюро ЦК КПСС, начало 1960-х (на изображении Л.И. Брежнев еще является членом политбюро, а не генеральным секретарем партии). На стиляге слева яркая цветастая рубашка, темные очки в заостренной белой оправе; у него длинная хипповская прическа с зачесанной кверху челкой. Все это признаки откровенно несоветского стиля
Рис. 16. «Обезьяны». Художник Л. Худяков (Крокодил. 1957. № 2). Здесь стиляг сравнивают с безмозглыми обезьянами
Рис. 17. «— Боже, какая ерунда! — Ну что тебе понравилось?» Художник А. Баженов (Крокодил. 1957. № 7). Согласно этому изображению стиляга интересуется только пустыми вещами, вроде лейбла западной фирмы
Рис. 18. «Ведущий лоботряс. Достиг ведущей роли, но только в рок-н-ролле». Художник С. Смирнова (Крокодил. 1958. № 35). Здесь стиляга — откровенный бездельник
Рис. 19. Коротковолновый радиоприемник «ВЭФ-Спидола» (Рижский радиозавод, начало выпуска — 1960 г.)
Рис. 20. Шкала радиолы «Фестиваль» (Рижский радиозавод, начало выпуска — 1959 г.)

Рис. 21. «Нашли общий язык». Художник Л. Сойфертис (Крокодил. 1970. № 14)
Рис. 22, 23. «Рок на костях». Пластинки на рентгеновских снимках. Фото автора
Рис. 24. «Помогла бы, внучка, репку вытянуть... — Так у вас же мышка есть!» Художник Г. Андрианов (Крокодил. 1977. № 34, обложка)
Рис. 25. «Дискобол» (Крокодил. 1981. № 26)
Рис. 26. Комната советского подростка, город Владимир, 1981 г.
Рис. 27. Комната советского молодого человека 1970-х
Рис. 28. «И где ты такую заплатку оторвал?!» Художник Б. Старчиков (Крокодил. 1974. № 28)
Рис. 29. «Или джинсы "Супер-Райфл", или объявляю голодовку...» (Крокодил. 1978. № 23)
Рис. 30. «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Художник И. Семенов (Крокодил. 1981. № 13)
Рис. 31. «Приспособленец меняет личину — разоблачи!» Художник А. Уткин
Рис. 32. «Примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения», 1985 г.
Рис. 33. Рисунок Андрея К. воображаемой рок-группы *The Boys from a Morgue*, которую он придумал (1968 г.)
Рис. 34. Западногерманский журнал *Musik Express* (Heavy Metal Special. 1981. № 1)
Рис. 35. Перевод Андрея К. статьи «Майкл Шенкер. Возвращение из падения в ад»
Рис. 36. Обложка книги «Митьки: описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским» (1990). Этот рисунок Флоренского относится к началу 1980-х гг.
Рис. 37. «Атлас судебной медицины» доктора Эдуарда фон Гофмана. Санкт-Петербург, 1900 г.
Рис. 38. Иллюстрация из «Атласа» фон Гофмана к разделу «Смерть вследствие многочисленных повреждений, нанесенных различными орудиями»

Рис. 39. Один из «экспериментов» некрореалистов — имитация массовой драки в ремонтирующемся здании завода в Ленинграде, которое было видно пешеходам с улицы, 1984 г. (снимок из архива Евгения Юфита)
Рис. 40. Выступление группы *Laibach*, 1982 г.
Рис. 41. Выступление группы АВИА, 1988 г.
Рис. 42. Портреты членов политбюро на улице советского города
Рис. 43. «Указание» — ироничный документ, составленный членами комитета комсомола ко дню рождения Андрея К. 1983 г.
Рис. 44. Первая страница документа «Личный листок по учету кадров», иронично заполненная Андреем К. и его коллегами по комитету комсомола ко дню рождения Андрея. 1982 г.
Рис. 45. Одна из внутренних страниц «Личного листка»
Рис. 46. Конверт письма, отправленного Инне ее подругой в июле 1982 г. Слева от руки приписано: «Вдарим ПРАВДОЙ по пошлостям!»
Рис. 47. «Слово Ленину!» Издательство «Плакат» при ЦК КПСС. Художник Чумаков. 1990 г.

Библиография

500 слов. Краткий словарь политических, экономических и технических терминов. 1962 / Сост. Е.И. Бородин. М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Авдеев М.И. 1966. Краткое руководство по судебной медицине. М.: Медицина.

Аксенов В. 1991. В поисках грустного бэби. М.

Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов. 1978 / В.Т. Лисовский и др. (ред.). Л.: Издательство ЛГУ.

Алиев А. 1968. Народные традиции, обычаи и их роль в формировании нового человека. Махачкала: [не опубликовано].

Алпатов В.М. 1991. История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука.

Арнольдов А. и др. 1984. Марксистско-ленинская теория культуры. М.: Политиздат.

Архангельский А. 2005. «Соцреализм оказался над диваном». Интервью с Е. Деготь // Огонек. № 44.

Барановская И. 2011. Интервью в передаче Татьяны Вольтской "Фотовыставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба". Поверх Барьеров, Российский час. Радио Свобода, 10 ноября (http://www.svobodanews.ru/content/tran¬script/24387670.html).

Барко В. 1981. Перед стеной оказалась сегодня популярная музыка на Западе // Комсомольская правда. 19 марта.

Барсегян Э. 2008. Культурное пространство сужается, пора возрождать рок-клуб // Фонтанка.ру. 10.04.2008 (http://www.fontanka.ru/2008/04/10/010).

Бахтин М.М. 1965. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература.

Бахтин М.М. 1975. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература.

Бахтин М.М. 1979а. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.

Бахтин М.М. 1979б. Проблемы поэтики Достоевского. М.

Бахтин М.М. 2000. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука.

Белоусов А.Ф. 1995. Анекдоты о Штирлице // Живая старина. № 1.

Белоусов А.Ф. 1996. «Вовочка» // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. Сб. статей. М.

Беляев Д.Г 1949. Стиляга // Крокодил. 10 марта.
«Берегите и изучайте великий русский язык». 1946 // Комсомольская правда. 2 июля.
Берк П. 2005. Историческая антропология и новая культурная история // Новое литературное обозрение. № 75.
Берлин И. 1998. Две концепции свободы // Современный либерализм. М.
Блинов И.Я. 1948. О языке агитатора. М.: ОГИЗ-Госполитиздат.
Бойм С. 2002. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.
Борухов Б. 1989. Вертикальные нормы стиля // Митин журнал. № 25.
Булгакова О. 1994. Повелитель картин — Сталин и кино, Сталин в кино // Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. СПб.: Государственный Русский музей.
Бурлацкий Ф. 1988. После Сталина. Заметки о политической оттепели // Новый мир. № 10.
Бурлацкий Ф. 1990. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них... М.: Издательство политической литературы.
Бурлацкий Ф. 1997. Глоток свободы. Кн. 1. М.: РИК «Культура».

Вайль П., Генис А. 1991. Страна слов // Новый мир. № 4.
Вайль П., Генис А. 2001. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение.
Валиева Ю. 2009. Сумерки «Сайгона». СПб.: Zamizdat.
Ванденко А. 2012. Везунчик (интервью с режиссером Кареном Шахназаровым) // Итоги. № 27 (http://www.itogi.ru/arts-spetzproekt/2012/27/179643.html).
Веллер М. 2002. Хочу в Париж // Веллер М. Хочу быть дворником. СПб.: Фолио.
Виленский Д. 1995. Свидетели эпохи. Монолог фотографа // Каталог выставки «Конец прекрасной эпохи. Фотопостскриптум» / Д. Пиликин и Д. Виленский (ред.). СПб.: Фонд «Свободная культура».
Вите О. 1996. Избиратели — враги народа? (Размышления об адекватности электорального проведения и факторах, на ее уровень влияющих) // Этика успеха. № 9.
Волошинов В.Н. 1929. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой.
Воронцов В., Шикадзе Е. 1997. Ленинградские евреи: этничность и контекст // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. СПб.: Центр независимых социологических исследований.
Всесоюзная перепись населения 1989 года. 1990 // Вестник статистики. № 9.

Гавел В. 1990. «Власть безвластных». Отрывки из книги // Даугава. № 7.
Гирц К. 2004. Насыщенное описание: В поисках интерпретативной теории культуры // Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОСПЭН.
Гладарев Б. 2000. Формирование и функционирование milieu (на примере археологического кружка ЛДП-ДТЮ, 1970—2000 гг.). СПб.: Центр независимых социологических исследований (http://www.indepsocres.spb.ru/boriss.htm).

Глебкин В. 1998. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К.
Гофман Э. фон. 1900. Атлас судебной медицины. Спб.
Гребенщиков Б. 1996. «Сайгон» // Пчела. № 6 (http://www.pchela.ru/podshiv/6/ saigon.htm).
Гребнев А. 1967. Как делается газета. Теория и практика советской партийной прессы. Курс лекций. Кафедра журналистики и литературы Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Григорьев В.П. 1986. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М.: Наука.
Гройс Б. 1990а. Соц-арт // Искусство. № 1.
Гройс Б. 1990б. Соцреализм — авангард по-сталински // Декоративное искусство. № 5.
Гудков Л., Дубин Б. 1994. Идеология бесструктурности. Интеллигенция и конец советской эпохи // Знамя. № 11. С. 166—179.
Гук О. 1997. Валентин Тихоненко: Тарзан в своем отечестве // Пчела. № 11. С. 21–28.

Деготь Е. 2010. Советское искусство между авангардом и соцреализмом. 1927–1932 // Наше наследие. № 93—94.
Дезанти Д. 1956. Париж и парижане // Литературная газета. 28 апреля.
Довлатов С. 1993. Ремесло. Избранная проза в 3 т. Т. 2. СПб.: Лимбус Пресс.
Долой пошлость! 1947 // Литературная газета. 19 ноября.
Достоевский Ф. 2008. Братья Карамазовы. М.: Эксмо; Библиотека Всемирной литературы.
Дубровский М. 1991. История СССР в анекдотах. Минск: Эверест.

Ерохин А. 1995. Юмор в России // Огонек. № 14 Апрель. С. 40—43.

Жданов А. 1950. Вступительная речь тов. А.А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) в январе 1948 года (http://svoim.info/201142/?42_7_1).
Жижек С. 1999. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал.

Задачи советского языкознания в свете трудов В.И. Сталина. 1952 // Вопросы языкознания. № 1. С. 4.
Зайцев Г. 1996. Рок-клуб // Пчела. № 6 (http://www.pchela.ru/ podshiv/6/ rokclub.htm).
Заславский В., Фабрис М. 1982. Лексика неравенства — к проблеме развития русского языка в советский период // Revue des Etudes Slaves. № 3.
Здравомыслова Е. 1996. Кафе «Сайгон» как общественное место. СПб.: Центр независимых социологических исследований.
Земская Е.А. 1996. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. № 3.

Зорин А. 1997. Чтобы жизнь внизу текла (Дмитрий Александрович Пригов и советская действительность) // Пригов Д.А. Советские тексты. СПб.

Идлис Ю., Коган Е., Щербакова К. Рок в лицах. 2011 // Русский репортер. № 18 (196). 12 мая (http://expert.ru/russian_reporter/2011/18/rok-vlitsah; открыто 17 июля 2012).

Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. 1969. Молодежь о себе, о своих сверстниках. Л.: Лениздат.

Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. 1982. На пороге гражданской зрелости: Об активной жизненной позиции современного молодого человека. Л.: Лениздат. С. 96—97.

История гражданской войны в СССР. Горький, М. и др. (ред.). М., 1935.

История СССР в анекдотах. 1991. Дуборский М. (ред.). Минск: Эверест.

Кабаков И., Гройс Б. 1990. Диалоги. Вологда.

Казаковский Е. 1956. Для технического прогресса // Литературная газета. 22 марта.

Калинин М.И. 1935. Статьи и речи. От VI до VII съезда Советов СССР. М.: Партиздат.

Калугин О. 1995. Интервью телеканалу РТР, 19 января.

Кантор П. 1961. О легкой музыке // Отрывной календарь-ежедневник. Запись от 30 октября (цит. по: Птюч. 1998. № 12).

Каплан Ф. 1997a. Летят музыкальные волны с заката // Пчела. № 11. С. 46—48.

Каплан Ф. 1997b. Сопротивление на Невском проспекте // Пчела. № 11. С. 29—30.

Князева М. 1990. Дети застоя // Литературная газета. 13 июня.

Кожемяков В. 1999. Уже не трубадур, еще не король // Московский комсомолец. 28 августа.

Комарова К. Профессия антрополога необыкновенно расширяет кругозор. Интервью с Кэролайн Хамфри // Антропологический Форум Online. № 19. С. 329—359 (http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/019online/komarova.pdf).

Коновалова Е. 2010. Сергей Манукян: Джаз в СССР звучал всегда // Вечерний Красноярск № 16 (257), 29 апреля (http://newslab.ru/article/312594).

Константинов С. 2000. Съезд обреченных // Независимая газета, 12 июля (http://www.ng.ru/style/2000-07-12/16_siezd.html).

Конышина Н. 2004. Александр Белоусов: «Вовочка сначала был Петькой-матерщинником» // Известия. 31 марта.

Костомаров Б.Г. 1994. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М.: Педагогика-Пресс.

Кравченко А. 1969. Справочник секретаря первичной партийной организации. М.: Издательство политической литературы.

Кривулин В. 1996. Невский до и после Великой кофейной революции. Интервью // Пчела. № 6. С. 4—9.

Кротов Я. 1992. Советский житель как религиозный тип // Новый мир. Май. С. 245—250.

Крыштановская О. 1996. Финансовая олигархия в России // Известия. 10 января.

Крученых А. 2000. Декларация заумного языка // Литературные манифесты от символизма до наших дней. М.: Согласие.

Крючкова Т.Б. 1982. К вопросу о многозначности идеологически связанной лексики // Вопросы языкознания. № 1. С. 28—36.

Купина Н.А. 1999. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург: Издательство Уральского университета.

Курганов Е. 1997. Анекдот как жанр. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект».

Лакан Ж. 1997. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я. М.: Логос.

Леонтьев А.А. 1975. Психология общения в профессиональной деятельности лектора // Вопросы лекционной пропаганды. Теория и практика. М.: Знание. Вып. 2. С. 54—61.

Лихачев Д.С. 1984. Смех как мировоззрение // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука. С. 7—71.

Локотникова И., Буланкова Л. 2006. Музею Аничкова Дворца — 15 лет // ЭМИТЕНТ Северо-Запад России (http://emitent-spb.ru/anniversary/anichkov/).

Лосев А. 1978. Письма // Континент. Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. С. 16.

Лукашанец А.А. и др. 1988. Общество — язык — политика. Минск: Высшая школа.

Лурье В. 1983. Детский фольклор. Младшие подростки. М.

Лурье Л. 1997. Поколение, вышедшее из холода // Пчела. № 11. Октябрь—ноябрь. С. 17—19.

Лурье Л. 1998. Семидесятые как предмет истории русской культуры. Материалы дискуссии // Россия/Russia. № 1 (9).

Лурье Л. 2003. «Занимательная история Петербурга», передача 40-я, 12.09.2003 , радиостанция *Эхо Петербурга*. Запись передачи доступна в Гостелерадиофонде РФ, Фонд: Документальный Радиофонд, Ном. 12645616, см. http://www.gtrf-ra.ru/ru/gtrf/29485

Мазин В.А. 1998a.Между жутким и возвышенным. Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. статей / Под ред. А.В. Демичева и М.С. Уварова. СПб.: Издательство СПбГУ.

Мазин В. 1998b. Кабинет некрореализма: Юфит и. СПб.: Инапресс.

Мазин В. 2005. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб.: Алетейя.

Макаревич А. 1994. Интервью еженедельной программе «Взгляд». 24 июня.

Макаревич А. 2002. Сам овца. Автобиографическая проза. М.: Захаров.
Макаревич Е. 1987. В ожидании третьей волны // Молодой коммунист. № 1.
Манн Т. 1959. Волшебная гора. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М.: Государственное издательство художественной литературы.
Марр Н.Я. 1977. Язык и мышление. Letchworth, England: Herts.
Маршак С. 1937. Выступление на торжественном открытии Дворца пионеров. Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Летопись дворца (http://www.anichkov.ru/Histori_child)
Матизен В. 1993. Стеб как феномен культуры // Искусство кино. № 3. С. 59—62.
Медведев Р. 1997. Сталин и языкознание. Как было разрушено господство учения Марра // Независимая газета. 4 апреля.
Медведев Р. 1998. Капитализм в России? М.: Права человека.
Меркуров С. 2012. Воспоминания, письма, статьи, заметки, суждения современников. М.
Микешина Л.А. 1999. Значение идеи Бахтина для современной эпистемологии // Философия науки. № 5.
Митьки. 2008. Сост. Сапега, М. СПб.: Амфора.
Михалков С. 1998. Интервью каналу НТВ, 30 июня.
Михельсон П. 1989. Юфит Е. Некроэстетика // Искусство кино. № 6.
Мохель Р. 1999. Конфетный мальчик // Московский комсомолец. 23 августа.

Наглядная агитация. Опыт, проблемы, методика. 1987 / А.Н. Чеботарев (ред.). М.: Плакат.
Народное хозяйство СССР в 1970 г.: Статистический ежегодник. М.: Центральное статистическое управление при Совете министров.
Народное хозяйство СССР в 1985 г.: Статистический ежегодник. М.: Центральное статистическое управление при Совете министров.
Ницше Ф. 2005. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. Кн. 3 / Пер. с нем. М. Рудницкого. М.: Культурная революция.
Ницше Ф. 2013. Генеалогия морали. Азбука-Аттикус.

О языке одной газеты. 1949 // Ударник Кузбасса. № 94. 11 мая.
Остин Дж. 1986. Слово как действие. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М.: Прогресс.
Остин Дж. 1999. Как производить действия с помощью слов // Остин Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс.

Паперно И. 2004. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. № 68. С. 102—128.
Пелевин В. 1999. Generation P. М.: Вагриус.
Петровский М. 1990. Новый анекдот знаешь? // Философская и социальная мысль. № 5. С. 46—51.

Печкин И., Черняховский М. 1988. Торжество плаката острого и динамичного // Наглядная агитация. № 4. С. 4—12.

Платт К., Натанс Б. 2010. Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось» // Новое литературное обозрение. № 101.

Подрабинек А.П. 1979. Карательная медицина. Нью-Йорк: Хроника.

Попов В. 1996. Крыша. Интервью // Пчела (http://www.pchela.ru/podshiv/6/krisha.htm).

Поселягин Н. 2012. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. № 112.

Пригов Д.А. 1997. Советские тексты. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха.

Принцева Н. 2011. Евгений Юфит: «Как-то зимой, в морозище, тащим мы мешок с Зурабом по полю» // Афиша. 20 сентября.

Прохорова И. 2009. Новая антропология культуры // Новое литературное обозрение. № 100.

Пудовкина Е. 2000. Клуб «Дерзание» // Пчела. № 26—27. Май—август (http://www.pchela.ru/podshiv/26_27/club.htm).

Пыжова Л. 2007. Ключи от дворца достались питерским ребятам // Санкт-Петербургские Ведомости № 25, 12 февраля (http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10240895@SV_Articles).

Рис Н. 2005. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: Новое литературное обозрение.

Рогов К.Ю. 1998. О проекте «Россия/Russia» — 1970-е годы // Россия/Russia. № 1 (9). С. 7—11.

Русская литература XX века. Дооктябрьский период. 1962 / Под ред. Н.А. Трифонова. М.: Учпедгиз.

Русский школьный фольклор: от «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. 1998 / А.Ф. Белоусов (ред.). М.: Ладомир.

Савчук В.В. 1995. Конец прекрасной эпохи. Монолог философа // Фото Postscriptum / Д. Пиликин, Д. Виленский (ред.). СПб.: Центр современного искусства Сороса.

«Сайгон». Невский 47/2. 2003 // Квартальный надзиратель. № 12. Декабрь.

Селищев А. 1928. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком, 1917—1926. М.: Работник просвещения.

Синфилд П. 2009. Интервью для передачи Prog Rock Britannia: An Observation in Three Movements, BBC 4, 2 января (http://www.bbc.co.uk/programmes/b00g8tfv).

Скворцов Л.И. 1964. Об оценках языка молодежи (жаргон и языковая политика) // Вопросы культуры. № 5.

Справочник секретаря первичной партийной организации. 1969. М.: Издательство политической литературы.

СССР в цифрах в 1990 году: Краткий статистический сборник. 1991. М.
Сталин И.В. 1950a. Относительно марксизма в языкознании // Правда. 20 июня.
Сталин И.В. 1950b. К некоторым вопросам языкознания. Ответ товарищу Е. Крашенинниковой // Правда. 4 июля.
Сталин И.В. 1950c. Товарищам Д. Белкину и С. Фереру // Правда. 2 августа.
Сталин И.В. 1950d. Марксизм и вопросы языкознания. М.: Государственное издательство политической литературы.
Стиляги на вильнюсском «Броде». 2011 // Обзор. № 749. 23.05 (http://www.obzor.lt/news/n2334.html)
Страда В. 1998. О проекте «Россия/Russia» // Россия/Russia. № 1 (9). С. 11—13.

Терц А. [Синявский А.] 1981. Анекдот в анекдоте // Одна или две русских литературы / Ж. Нива (ред.). Lausanne: L'Age d'Homme. С. 167—179.
Топоров В. 1996. Мы выпивали каждый день. Интервью // Пчела. № 6. Октябрь (http://www.pchela.ru/podshiv/6/krishna.htm).
Троицкий А. 2007. Back in the USSR. СПб.: Амфора.

Уварова И., Рогов К. 1998. Семидесятые: хроника культурной жизни // Россия/Russia. № 1 (9). С. 29—74.

Файн А., Лурье В.Л. 1991. Всё в кайф! Л.: Лена Продакшн.
Федоров В. 2001. Тот, кто производил «рок на костях» // Аргументы и Факты. Петербург. № 7.
Федотова Е. 2010. Бодрость, тупость и задор // ART Хроника. 1 февраля (http://artchronika.ru/gorod/бодрость-тупость-и-задор).
Фейертаг В. 1997. История истинного джаза // Пчела. № 11 (http://www.pchela.ru/podshiv/11/jazz.htm).
Фейертаг В. 1999. Джаз от Ленинграда до Петербурга. СПб.: Культ-Информ-Пресс.
Ферретти М. 2002. Расстройство памяти: Россия и сталинизм // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. Всероссийский центр изучения общественного мнения. № 5. С. 40—54.
Фрейд З. 2011. Остроумие и его отношение к бессознательному / Пер. с нем. Р. Додельцев. М.: Азбука-Аттикус.
Фуко М. 2000. Ницше, генеалогия, история // Ступени. № 1 (11). С. 103—121.
Фуко М. 2007. Герменевтика субъекта. Наука, Ленинградское отделение.
Фуко М. 2010. История безумия в классическую эпоху. М.: АСТ.

Хан-Пира Е.Н. 1991. Язык власти и власть языка // Вестник Академии наук СССР. № 4. С. 12—24.
Хархордин О. 2002. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Летний сад и Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Хлебников В. 1986. Художники мира! // Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель.

Чаковский А. 1956. От слов к делу // Литературная газета. 22 марта.
Чередниченко Т. 1994. Типология советской массовой культуры. Между Брежневым и Пугачевой. М.: РИК «Культура».
Чернов С. 1997a. История истинного джаза // Пчела. № 11. С. 31—35.
Чернов С. 1997b. Клуб «Квадрат»: джаз-шмаз и нормальные люди. Интервью с Натаном Лейтесом // Пчела. № 11. С. 36—42.
Чернов С. 1997c. Питерские клубы. Блеск и нищета // Пчела. № 10. С. 12—17.
Чернявская Ю.В. 2011. Советский ребенок и мир ужасного: страшилки и садистские стишки // Человек. № 3. С. 141—154.

Шинкарев В. 1990. Митьки, описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским. Л.: СП «Смарт».
Шинкарев В.Н. 1996. Митьки // Шинкарев В.Н. Максим и Федор. Папуас из Гондураса. Домашний еж. Митьки. СПб.: Новый Геликон.

Энгельгардт В. 1956. Под гипнозом грамматики // Литературная газета. 22 марта.
Эрастов, Н.П. 1979. Психология общения. Ярославль.
Эренбург И. 1947. Американские встречи // Литературная газета. 16 ноября. С. 2.
Эткинд А. 2003. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. № 59.

Юрчак А. 1997. Миф о настоящем мужчине и настоящей женщине в русской телерекламе // Семья, гендер, культура / V. Tishkov (ed.). Moscow: Институт этнологии и антропологии Российской академии наук.
Юрчак А. 2001. Мужская экономика. Не до глупостей, когда карьеру куешь! // Неприкосновенный запас. № 5 (19).
Юрчак А. 2002. Мужская экономика. Не до глупостей, когда карьеру куешь! // О муже(н)ственности / С. Ушакин (ред.). М.: Новое литературное обозрение.
Юрчак А. 2005. Ночные танцы с ангелом истории: критические культурные исследования пост-социализма // Культуральные исследования / Под ред. А. Эткинда. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Юрчак А. 2007. Если бы Ленин был жив, он бы знал, что делать: голая жизнь вождя // Новое литературное обозрение. № 83.
Юрчак А. 2008. Миметическая критика идеологии: Лайбах и АВИА // Что делать. № 19.
Юрчак А. 2012. Критическая эстетика в период распада империи: «метод Пригова» и «метод Курехина» // Транслит. № 12.

Юрчак А. 2013. Политика вненаходимости: Уход от бинарного разделения советской культуры на официальную и неофициальную // Мифы и теории в искусстве России 1970—2012 гг. Научно-художественный проект / под ред. Волохонской Н. СПб: Деан. С. 62—73.

Язык газеты. Практическое пособие и справочник для газетных работников. Центральный кабинет редакторов при отделе пропаганды ЦК ВКП(б). 1941 / Н.И. Кондаков (ред.). М.; Л.: Легпром.

Якобсон Р. 1975. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей. М.

Abu-Lughod L. 1986. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press.

Agamben G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life / Trans. D. Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press.

Agamben G. 2004. The Open: Man and Animal. Stanford: Stanford University Press.

Aksyonov V. 1987. In Search of Melancholy Baby. New York: Random House.

Alaniz J. 2003. Necrotopia: Discourses of Death and Dying in Late/Post-Soviet Russian Culture. PhD diss. University of California, Berkeley.

Alaniz J., Seth G. 2001. Early Necrocinema in Context // Necro-realism: Contexts, History, Interpretations / G. Seth (ed.). Pittsburgh: Russian Film Symposium. P. 5—27.

Althusser L. 1971. Ideology and Ideological State Apparatuses // Lenin and Philosophy and Other Essays / Trans. and ed. B. Brewster. London: Monthly Review Press. P. 127—186.

Anagnost A. 1997. National Past-Times: Narrative, Representation, and Power in Modern China. Durham: Duke University Press.

Anderson B. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Andreyev A., et al. 1980. The Komsomol: Questions and Answers. Moscow: Progress Publishers.

Appadurai A. 1990. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Public Culture. № 2 (2). P. 1—24.

Apollonio U. 1973. Futurist Manifestos. New York: Viking Press.

Art, Culture, and Media under the Third Reich. 2002 / R. Etlin (ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Austin J. 1999. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Bach J. 2002. The Taste Remains: Consumption, (N)ostalgia, and the Production of East Germany // Public Culture. № 14 (3). S. 545—556.

Baecque A de. 1989. Andrei Tarkovski // Cahiers du cinema.

Bakhtin M. 1984. Problems of Dostoevsky's Poetics / Ed. and trans. W.C. Booth. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bakhtin M. 1986. Speech Genres and Other Late Essays / V.W. McGee, C. Emerson, M. Holquist (eds.). Austin: University of Texas Press.

Bakhtin M. 1990. Author and Hero in Aesthetic Activity // Art and Answerability: Early Philosophical Essays by M.M. Bakhtin / M. Holquist, V. Liapunov (eds.). Austin: University of Texas Press. S. 4—256.

Bakhtin M. 1994. The Dialogical Imagination: Four Essays by Mikhail Bakhtin / M. Holquist (ed.). Austin: University of Texas Press.

Bakhtin M., Medvedev P.N. 1991. The Formal Method in Literary Scholarship: A Critical Introduction to Sociological Poetics / Trans. A.J. Wehrle. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Banc C. 1990. You Call This Living?: A Collection of East European Political Jokes. Athens: University of Georgia Press.

Barnett R. 2002. The Secret *Secret*: Cinema, Ethnicity, and Seventeenth-Century Tibetan-Mongolian Relations // Inner Asia. № 4. P. 277—346.

Baudrillard J. 1994. Simulacra and simulation / Trans. Sh.F. Glaser. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Bell C. 1992. Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press.

Benjamin W. 1969a. The Task of the Translator // Illuminations: Essays and Reflections / H. Arendt (ed.). New York: Schocken. P. 69—82.

Benjamin W. 1969b. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // Illuminations: Essays and Reflections / H. Arendt (ed.). New York: Schocken. P. 217—252.

Berdhal D. 1999. (N)Ostalgie for the Present: Memory, Longing, and East German Things // Ethnos. № 64 (2). P. 192—211.

Bergan R. 1997. Eisenstein: A Life in Conflict. New York: Overlook Press.

Berry E.E., Miller-Pogacar A. 1996. A Shock Therapy for the Social Consciousness: The Nature and Cultural Function of Russian Necrorealism // Cultural Critique. Fall. P. 185–203.

Beyond State Crisis? Post-colonial Africa and Post-Soviet Eurasia Compared. 2002 / M.R. Beissinger, C. Young (eds.). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Bhabha H. 1984. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // October 28. Spring. P. 125—133.

Bhabha H. 1997. The Location of Culture. London: Routledge.

Blank D. 2004. Fairytale Cynicism in the Kingdom of Plastic Bags: Powerlessness of Place in a Ukrainian Border Town // Ethnography. Fall. P. 349—378.

Blank D. 2005. Voices from Elsewhere: An Ethnography in Place in Chelnochovsk-na-Dniestre, Ukraine. PhD diss. University of California, Berkeley.

Bonnell V. 1997. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley: University of California Press.

Bordo S. 1990. Reading the Slender Body // Body/Politics: Women and the Discourses of Science / M. Jacobus, E.F. Keller, S. Shuttleworth (eds.). New York: Routledge. P. 83—112.

Borneman J. 1998. Subversions of International Order: Studies in the Political Anthropology of Culture. Albany: State University of New York Press.

Bourdieu P. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu P. 1991. Language and Symbolic Power. Harvard University Press.

Boyer D. 2005. Spirit and System: Media, Intellectuals, and the Dialectic in Modern German Culture, University of Chicago Press.

Boyer D., Yurchak A. 2010. American Stiob: Or what late-socialist aesthetics of parody can teach us about contemporary political culture in the West // Cultural Anthropology. Vol. 25. № 2.

Bowie D. 2000. Stardust Memories // New York Times Magazine. March 19.

Boym S. 1994. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Boym S. 1999. Ilya Kabakov: The Soviet Toilet and the Palace of Utopias // Artmargins: Contemporary Central and Eastern European Visual Culture (http://www.artmargins.com/content/feature/boym2.html).

Boym S. 2001. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.

Brennan T. 2001. The Cults of Language: The East/West of North/South // Public Culture. № 13 (1). P. 39—63.

Brodsky J., Havel V. 1994. The Post-Communist Nightmare: An Exchange // New York Review of Books. № 41 (4). P. 28—30.

Brovkin V. 1998. Komsomol and Youth // Russia after Lenin: Politics, Culture and Society. London: Routledge. P. 108—125.

Brown W. 2003. Neo-Liberalism and the End of Liberal Democracy // Theory and Event. № 7 (1) (http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v007/7.1brown. html).

Buck-Morss S. 2000. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge, MA: MIT Press.

Butler J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Butler J. 1993. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge.

Butler J. 1997a. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press.

Butler J. 1997b. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge.

Calhoun C. 2002. Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere // Public Culture. № 14 (1). P. 147—171.

Casey E.S. 1996. How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time: Phenomenological Prolegomena // Senses of Place / S. Feld, K. Basso (eds.). Santa Fe, NM: School of American Research Press. P. 13—52.

Cavell S. 1995. What Did Derrida Want of Austin? // Philosophical Passages: Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida. Bucknell Lectures in Literary Theory. Cambridge, MA: Blackwell. № 12. P. 42—65.

Certeau M. de. 1988. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Certeau M. de, Dominique J., Revel J. 1975. Une Politique de la Langue: le Révolution Française et les Patois, l'Enquête de Grégoire. Paris: Gallimard.

Chakrabarty D. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cheah Ph. 1998. Given Culture: Rethinking Cosmopolitical Freedom in Transnationalism // Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation / Ph. Cheah, B. Robbins (eds.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 290—328.

Chin G.J., and Rao S. 2003. Pledging Allegiance to the Constitution: The first Amendment and Loyalty Oaths for Faculty at Private Universities // University of Pittsburgh Law Review. Spring. P. 431—482.

Chomsky N. 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origins, and Use. New York: Praeger.

Clark K. 1995. St. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Clark K., Holquist M. 1984. Mikhail Bakhtin. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Comaroff J., Comaroff J. 1991. Of Revelation and Revolution. Chicago: University of Chicago Press. Vol. 1.

Coombe R.J. 1998. The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law. Durham, NC: Duke University Press.

Culler J. 1981. Convention and Meaning: Derrida and Austin // New Literary History. № 13. P. 15—30.

Curco C. 1995. Some Observations on the Pragmatics of Humorous Interpretations: A Relevance Theoretic Approach // Working Papers in Linguistics: Pragmatics. University College London. № 7. P. 27—47.

Cushman Th. 1995. Notes From Underground: Rock Music Counterculture in Russia. Albany: State University of New York Press.

Deleuze G., Guattari F. 2002. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Continuum.

DeMartini J.R. 1985. Change Agents and Generational Relationships: A Reevaluation of Mannheim's Problem of Generations // Social Forces. № 64. P. 1—16.

Derrida J. 1977. Signature Event Context // Glyph. № 1. P. 172—197.

Die Ungewöhnlichen Abenteuer des Dr Mabuse im Lande der Bolschewiki: Das Buch zur Filmreihe 'Moskau-Berlin'. 1995 / O. Bulgakowa (ed.). Berlin: Fieunde der.

Dittmer L. 1981. Radical Ideology and Chinese Political Culture: An Analysis of the Revolutionary *Yangbangxi* // Moral Behavior in Chinese Soviety. R.W. Wilson, S.L. Greenblatt, A.A. Wilson (eds.). New York: Praeger. P. 126—151.

Dobrotvorsky S. 1993. A Tired Death // Russian Necrorealism: Shock Therapy for New Culture / A. Miller-Pogacar (ed.). Exhibition Catalog. Bowling Green, OH: Bowling Green State University. P. 7—8.

Dovlatov S. 1993. Remeslo: Selected Prose: In 3 vols. Vol. 2. St. Petersburg: Limbus Press.

Dreyfus H., Rabinow P. 1983. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. 2nd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Dunayeva E. 1950. Cosmopolitanism in the Service of Imperialist Reaction // Current Digest of the Soviet Press. № 2 (16).

Dundes A., Hauschild Th. 1983. Auschwitz Jokes // Western Folklore. Vol. 42. № 4.

Dundes A. 1987. Cracking Jokes: Studies of Sick Humor Cycles and Stereotypes. Berkeley, CA: Ten Speed Press.

Dunham V. 1976. In Stalin's Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press.

Duranti A. 1993. Intentions, Self, and Responsibility: An Essay in Samoan Ethnopragmatics // Responsibility and Evidence in Oral Discourse / J. Hill, J. Irvine (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 24—47.

Duranti A. 1997. Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Duranti A., Goodwin C. 1992. Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press.

Edele M. 2003. Strange Young Men in Stalin's Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. № 50. P. 37—61.

Egbert D.D. 1967. The Idea of «Avant-garde» in Art and Politics // The American Historical Review. № 53 (2). P. 339—366.

Ellis F. 1998. The Media as Social Engineer // Russian Cultural Studies: An Introduction / C. Kelly, D. Shepherd (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 274—296.

Endnote: Sots-Art Literature and Soviet Grand Style. 2000 / M. Balina, N. Condee, E. Dobrenko (eds.). Evanston, IL: Northwestern University Press.

Epstein E.J. 1983. The Andropov Hoax // New Republic. February 7.

Epstein M. 1991. Relativistic Patterns in Totalitarian Thinking: An Inquiry into the Language of Soviet Ideology. Washington DC: The Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Epstein M. 1995. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst: University of Massachusetts Press.

Epstein M. 2000. Postmodernism, Communism, and Sots-Art // End quote: Sots-Art Literature and Soviet Grand Style / M. Balina, N. Condee, E Dobrenko (eds.). Evanston, IL: Northwestern University Press. P. 3—29.

Etkind A. 2013. Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford University Press.

Ewing K. 1997. Hegemony, Consciousness, and the Postcolonial Subject. Durham, NC: Duke University Press.

Fabian J. 2001. Anthropology with an Attitude: Critical Essays. Stanford, CA: Stanford University Press.

Fagner D., Cohen G. 1988. Abram Terz: Dissidence, Diffidence, and Russian Literary Tradition // Soviet Society and Culture: Essays in Honor of Vera Dunham / T.L. Thompson, R. Sheldon (eds.). Boulder, CO: Westview Press. P. 162—177.

Fairclough N. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough N. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Faraday G. 2000. Revolt of the Filmmakers: The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet Film Industry. College Station, PA: Penn State University Press.

Farquhar J., Zhang Q. 2005. Biopolitical Beijing: Pleasure, sovereignty, and self-cultivation in China's capital // Cultural Anthropology. № 20. P. 303.

Fauchereau S. 1992. Malevich. New York: Rizzoli.

Foucault M. 1972. The Archeology of Knowledge and the Discourse of Language. New York: Pantheon Books.

Foucault M. 1979. Governmentality // Ideology and Consciousness. Autumn. P. 5—21.

Foucault M. 1983. Subject and Power // Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. 2nd ed. / H. Dreyfus, P. Rabinow (eds.). Chicago: University of Chicago Press. P. 208—226.

Foucault M. 1991. Questions of Method // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.). Chicago: University of Chicago Press.

Foucault M. 1998a. What Is an Author? // Aesthetics, Method, and Epistemology / J. Faubion (ed.). New York: The New Press. P. 205—222.

Foucault M. 1998b. On the Archeology of the Sciences: Response to the Epistemology Circle // Aesthetics, Method, and Epistemology / J. Faubion (ed.). New York: The New Press. P. 297—333.

Foucault M. 1998c. Different Spaces // Aesthetics, Method, and Epistemology / J. Faubion (ed.). New York: The New Press. P. 175—185.

Fowler R. 1991. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London and New York: Routledge.

Fraser N. 1992. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Habermas and the Public Sphere / C. Calhoun (ed.). Cambridge, MA: MIT Press. P. 109—143.

Fraser N. 1995. Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn // Feminist Contentions: A Philosophical Exchange / S. Benhabib, J. Butler, D. Cornell, N. Fraser (eds.). New York: Routledge. P. 157—172.

Freud S. 1919. The «Uncanny» // Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / J. Strachey (ed.). London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. № 17. P. 219—252.

Freud S. 1960. Jokes and Their Relation to the Unconscious / J. Strachey (ed.) New York: Norton.

Frey M. 1925. Les transformations du vocabulaire française à L'èpoque de la rèvolution (1789—1800). Paris: Les Presses Universitaires de France.

Friedrich C.J., Brzezinski Z.K. 1965. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Futurist Manifestos. 1973 / U. Apollonio (ed.). London: Thames and Hudson.

Gal S. 1995. Language and the «Arts of Resistance» // Cultural Anthropology. № 10 (3). P. 407—424.

Gal S., Kligman G. 2000. The Politics of Gender after Socialism: A Comparative-Historical Essay. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gardiner M. 1992. The Dialogics of Critique: M.M. Bakhtin and the Theory of Ideology. London: Routledge.

Gessen M. 1997. Dead Again. London: Verso.

Gilroy P. 1984. Leisure Industries and New Technology // World View 1985 / P. Ayrton, V. Ware (eds.). London: Pluto Press.

Gilroy P. 1991. There Ain't No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Gordon C. 1991. Governmental Rationality: An Introduction // The Foucault Effect: Studies in Governmentality with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault / G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Gorham M. 2000. Mastering the Perverse: State Building and Language «Purification» in Early Soviet Russia // Slavic Review. № 58 (1). P. 133—153.

Gorky M., Molotov V., Voroshilov K., Kirov S., Zhdanov A., and Stalin J. 1937. History of the Civil War in the U.S.S.R. (From the Beginning of the War to the Beginning of October 1917). Vol. I: The Prelude of the Great Proletarian Revolution. New York: International Publishers.

Graffy J. 1998. Cinema // Russian Cultural Studies: An Introduction / C. Kelly, D. Shepherd (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 165—191.

Graham S. 2003a. The Wages of Syncretism: Folkloric New Russians and Post-Soviet Popular Culture // Russian Review. № 62 (1). January. P. 37–53.

Graham S. 2003b. A Cultural Analysis of the Russo-Soviet Anekdot. PhD diss. University of Pittsburgh.

Graham S. 2009 Resonant Dissonance: The Russian Joke in Cultural Context. Northwestern University Press.

Gray P. 1993. Totalitarian Logic: Stalin on Linguistics // Critical Quarterly. № 35 (1). P. 16—36.

Greenhouse C.J. 1996. A Moment's Notice: Time Politics across Cultures. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Grossberg L. 2000. (Re)con-Figuring Space: Defining a Project // Space and Culture. № 4 (5). P. 13—22.

Groys B. 1992. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond / Trans. Ch. Routlege. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Groys B. 2003. The Other Gaze: Russian Unofficial Art's View of the Soviet World // Postmodernism and the Postsocialist Condition: Politicized Art under Late Socialism / A. Erjavec (ed.). Berkeley: University of California Press. P. 55—89.

Groys B. 2008. Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation // Art Power. Cambridge, MA.: MIT Press.

Gržinić M. 2000. Synthesis: Retro-Avant-Garde, or, Mapping Post-Socialism in Ex-Yugoslavia // Artmargins: Contemporary Central and Eastern European Visual Culture (http://www.artmargins.com/content/feature/grzinic.html). September 26.

Gržinić M. 2003. Neue Slowenische Kunst // Impossible Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918–1991. D. Djurić, M. Šuvaković (eds.). P. 246—269. Cambridge, MA: MIT Press.

Guattari F. 1995. Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm / Trans. P. Bains, J. Pefanis. Bloomington: Indiana University Press.

Guerman M. 1993a. Mitki: Paintings, Destiny Mythology // Mitki: The Retrospective Exhibition 10 Years of the Movement. St. Petersburg: State Russian Museum (http://www.kulichki.com/mitki/museum/zhivo. html).

Guerman M. 1993b. New Trends in the Mitki Speech Culture // Mitki: The Retrospective Exhibition 10 Years of the Movement. St. Petersburg: State Russian Museum (http://www.kulichki.com/mitki/themitki/newtrends/html).

Guilhaumou J. 1989. La Langue Politique et la Revolution Française: de l'Even-ement la Raison Linguistique. Paris: Meridiens Klincksieck.

Gupta A. 1995. Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State // American Ethnologist. № 22 (2). P. 375—376.

Habermas J. 1991. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press.

Hall S. 1988. The Toad in the Garden: Thatcherism among the Theorists // Marxism and the Interpretation of Culture / C. Nelson, L. Grossberg (eds.). Urbana: University of Illinois Press. P. 35—57.

Hanks W.F. 2000. Intertexts: Writings on Language, Utterance, and Context. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Hanson S. 1997. Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Haraway D. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

Havel V. 1986. The Power of the Powerless // Living in Truth. London: Faber and Faber.

Havel V. 1993. The Post-Communist Nightmare // New York Review of Books. № 40 (10). P. 8—10.

Hebdige D. 1979. Subculture: The Meaning of Style. Routledge.

Hellbeck J. 2009. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Harvard University Press.

Hill J., Mannheim B. 1992. Language and World View // Annual Review of Anthropology. № 21. P. 381—406.

Hillings V.L. 1999. Komar and Melamid's Dialogue with (Art) History // Art Journal 58. № 4. Winter. P. 48—61.

Hirschkop K. 1997. Bakhtin, Philosopher and Sociologist // Face to Face: Bakhtin in Russia and the West / C. Adlam (ed.). Sheffield: Academic Press. P. 54—67.

Hodge R., Kress G. 1988. Social Semiotics. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Hollywood A. 2002. Performativity, Citationality, Ritualization // History of Religions. № 42 (2). P. 93—115.

Holquist M. 1990. Dialogism: Bakhtin and his World. London: Rout-ledge.

Hough J.F. 1979. How the Soviet Union Is Governed. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Humphrey C. 1983. Karl Marx Collective: Economy, Society, and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge: Cambridge University Press.

Humphrey C. 1989. «Janus-Faced Signs» — the Political Language of a Soviet Minority Before Glasnost' // Social Anthropology and the Politics of Language / R. Grillo (ed.). New York: Routledge. P. 145—175.

Humphrey C. 1994. Remembering an «Enemy»: The Bogd Khann in Twentieth-Century Mongolia // Memory, History and Opposition under State Socialism / R. Watson (ed.). Santa Fe, NM: School of American Research Press. P. 21—44.

Humphrey C. 1995. Creating a Culture of Disillusionment // Worlds Apart: Modernity through the Prism of the Local / D. Miller (ed.). New York: Routledge. P. 43—68.

Humphrey C. 2001. Marx Went Away But Karl Stayed Behind. Updated edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Humphrey C. 2002a. Cosmopolitanism and *Kosmopolitizm*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Anthropological Association. New Orleans, November.

Humphrey C. 2002b. The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Hunter I. 1999. *Zaum* and Sun: The «First Futurist Opera» Revisited // Central Europe Review. Vol. 1. № 3. July.

Iampolsky M. 1995. Death in Cinema // Re-Entering the Sign: Articulating New Russian Culture / E.E. Berry, A. Miller-Pogacar (eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press. P. 270—288.
Impossible Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918—1991. 2003 / D. Djurić, M. Šuvaković (eds.). Cambridge, MA: MIT Press.
Inke A., Sasse S. 2006. Subversive Affirmation. On Mimesis as Strategy of Resistance. Editorial // Maska. Ljubljana. Spring.

Jakobson R. 1960. Closing Statement: Linguistics and Poetics // Style in Language / T.A. Sebeok (ed.). New York: Wiley. P. 350—377.
Jameson F. 1972. In the Prison House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton University Press.
Jameson F. 1992. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
Joravsky D. 1970. The Lysenko Affair. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jowitt K. 1993. New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press.

Kabakov I. 1995. Interview // Soviet Dissident Artists: Interviews after Perestroika / R. Baigell, M. Baigell (eds.). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Kabakov I. 1995. Uber die «Totale» Installation / On the «Total» Installation. Stuttgart: Cantz.
Kabakov I., Tupitsyn M., Tupitsyn V. 1999. About Installation // Art Journal 58. № 4. Winter. P. 62—73.
Kant I. 1998. Critique of Pure Reason / Trans., ed. P. Guyer, A.W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press.
Kantorowicz E. 1997 [1957]. The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton University Press.
Kharkhordin O. 1999. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press.
Khlebnikov V. 1987. Letters and Theoretical Writings. Vol. 1 of Collected Works of Velimir Khlebnikov / R. Vroon, Ch. Douglas (eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kornai J. 1980. Economics of Shortage. Amsterdam: North-Holland Publishing.
Kotkin S. 1995. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press.

Kristeva J. 1986. Word, Dialogue and Novel // The Kristeva Reader / T. Moi (ed.). Oxford: Basil Blackwell.
Kruchenykh A. 1988a. New Ways of the Word. In Russian Futurism through its manifestoes 1912—1928 / A. Lawton, H. Eagle (eds.). Ithaca, NY: Cornell University Press.
Kruchenykh A. 1988b. Declaration of Transrational Language. In Russian Futurism through its Manifestoes 1912—1928 / A. Lawton, H. Eagle (eds.). Ithaca, NY: Cornell University Press.

Lacan J. 1988. The Seminar of Jacques Lacan // Book 3. The Psychoses, 1955—1956 / J.-A. Miller (ed.). New York: Norton.
Laibach. 1983. Ten Items of the Covenant // Nova Revija. Slovene Review for Cultural and Political Issues. № 13/14.
Lakoff A. 2005. The simulation of madness: Buenos Aires, 1903 // Critical Inquiry. № 31.
Lampland M. 1995. The Object of Labor: Commodification in Socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press.
Lane C. 1981. The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society: The Soviet Case. Cambridge: Cambridge University Press.
Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika. 1993 / Th. Lahusen, G. Kuperman (eds.). Durham, NC: Duke University Press.
Ledeneva A. 1998. Blat: Russian Economy of Favours. Cambridge: Cambridge University Press.
Lee A. 1981. Russian Journal. New York: Random House.
Lefort C. 1986. The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism. Cambridge, MA: MIT Press.
Lemon A. 1998. «Your Eyes are Green Like Dollars»: Counterfeit Cash, National Substance, and Currency Apartheid in 1990s Russia // Cultural Anthropology. № 13 (1). P. 22—55.
Levinson S. 1983. Pragmatics. New York: Cambridge University Press.
Linke U., Dundes A. 1988. More on Auschwitz Jokes // Folklore. Vol. 99. № 1.
Luhmann N. 1998. Contingency as Defining Attribute // Observations on Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press. P. 45.
Luk'jančenko P. 1990. Газета «Аргументы и факты» в период гласности // Revue des études slaves. Vol. 62. № 62—63. P. 607—613.

Mahmood S. 2001. Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival // Cultural Anthropology. № 16 (2). P. 202—236.
Mann Th. 1980. The Magic Mountain / Trans. H.T. Lowe-Porter. New York: Vintage.
Mannheim K. 1952. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge.
Mapping Ideology. 1994 / S. Žižek (ed.) London: Verso.

Marcus G. 1990. Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore, 1917–1953. 1995 / R. Stites, J. von Geldern (eds.). Bloomington: Indiana University Press.

Massey D. 1994. Space, Place and Gender. University of Minnesota Press.

Mbembe A. 1992. The Banality of Power and the Aesthetic of Vulgarity in the Postcolony // Public Culture. Vol. 4. № 2. Spring. P. 1—30.

Mbembe A. 2001. On the Postcolony. Berkeley: University of California Press.

McMichael P. 2005a. «After All, You're a Rock and Roll Star (At Least That's What They Say)»: Roksi and the Creation of the Soviet Rock Musician // Slavonic and East European Review. № 83 (4).

McMichael P. 2005b. The Making of a Soviet Rock Star, Leningrad, 1972—1987. PhD diss. University of Cambridge. Forthcoming.

Metzl J.F. 1997. Rwandan Genocide and the International Law of Radio Jamming // American Journal of International Law. Vol. 91. № 4. October.

Mertz E. 1996. Recontextualization as Socialization: Text and Pragmatics in the Law School Classroom // Natural Histories of Discourse / M. Silverstein, G. Urban (eds.). Chicago: University of Chicago Press. P. 229—249.

Mitchell T. 1990. Everyday Metaphors of Power // Theory and Society. № 19. P. 545—577.

Monroe A. 2005. Interrogation Machine: Laibach and NSK. Cambridge, MA: MIT Press.

Morris R. 1995. All Made Up: Performance Theory and the New Anthropology of Sex and Gender // Annual Review of Anthropology. № 24. P. 567—592.

Munting R. 1984. Lend-Lease and the Soviet War Effort // Journal of Contemporary History. № 19. P. 495–510.

Nadkarni M., Shevchenko O. 2004. The Politics of Nostalgia: A Case for Comparative Analysis of Postsocialist Practices // Ab-Imperio. № 2.

Nafus D. 2003a. Time, Sociability, and Postsocialism. PhD diss. Sidney Sussex College, Cambridge University.

Nafus D. 2003b. The Aesthetics of the Internet in St. Petersburg: Why Metaphor Matters // The Communication Review. № 6. P. 185—212.

Nation and Narration. 1990 / H. Bhabha (ed.). London: Routledge.

Navaro-Yashin Y. 2002. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Necrorealism: Contexts, History, Interpretations. 2001 / S. Graham (ed.). Pittsburg: Russian Film Symposium.

Nikkila A. 2002. Russian Industrial Noise: Pioneers, Youth League and Party Members // The Wire Magazine. November 1.

Nove A. 1977. The Soviet Economic System. London: Allen and Unwin.

NSK. Neue Slowenische Kunst. 1991. Los Angeles: AMOK Books.
Nyíri P., Breidenbach J. 2002. Living in Truth: Physics as a Way of Life // Anthropology of East Europe Review. Vol. 20. № 2. Autumn. P. 43—54.
Nyomarkey J. 1965. Factionalism in the National Socialist German Workers' Party, 1925–1926 // Political Science Quarterly. Vol. 80. № 1. March. P. 22—47.

Oushakine S. 2001. The Terrifying Mimicry of Samizdat // Public Culture. № 13 (2). P. 191—214.
Oushakine S. 2009. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Cornell University Press.

Paperno I. 2002. Personal Accounts of the Soviet Experience // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. № 3 (4). P. 577—610.
Paperno I. 2009. Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. Cornell University Press.
Parsons T. 1951. The Social System. London: Routledge.
Pecheux M. 1994. The Mechanism of Ideological (Mis)recognition // Mapping Ideology / S. Žižek (ed.). London: Verso. P. 141—151.
Pelevin V. 2002. Homo Zapiens. Trans. A. Bromfield. New York: Viking.
Pesmen D. 2000. Russia and Soul: An Exploration. Ithaca: Cornell University Press.
Pletsch C. 1981. The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, Circa 1950—1975 // Comparative Studies in Society and History. Vol. 23. № 4. P. 565—590.
Pocheptsov G. 1997. Processes of Political Communication in the USSR // Political Discourse in Transition in Europe 1989–1991 / P. Chilton, M. Ilyin, J. Mey (eds.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. P. 51—68.
Political Humor Under Stalin: An Anthology of Unofficial Jokes and Anecdotes. 2009 / D. Brandenberger (ed.) // Slavica Pub.
Pollock E. 2008. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton University Press.
Postmodernism and the Postsocialist Condition: Politicized Art under Late Socialism. 2003 / A. Erjavec (ed.). Berkeley: University of California Press.

Rabinow P. 1989. French Modern: Norms and Forms of the Social Environment. Cambridge, MA: MIT Press.
Rancière J. 2002. The Aesthetic Revolution and Its Outcomes // New Left Review. № 14. P. 133—151.
Radcliffe-Brown A. 1952. Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses. Cohen and West.
Richmond Y. 2003. Cultural Exchange and the Cold War: Raising of the Iron Curtain. University Park: Pennsylvania State University Press.
Ries N. 1997. Russian Talk. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Roach J. 1995. Culture and Performance in the Circum-Atlantic World // Performativity and Performance. A. Parker, E. Kosofsky Sedgwick (eds.). London and New York: Routledge. P. 45—63.

Rofel L. 1999. Other Modernities: Gendered Yearnings in China after Socialism. Berkeley: University of California Press.

Rosaldo M. 1982. The Things We Do with Words: Ilongot Speech Acts and Speech Act Theory in Philosophy // Language in Society. № 2. P. 203—237.

Rossianov K. 1993. Stalin as Lysenko's Editor: Reshaping Political Discourse in Soviet Science // Configurations. № 1 (3). P. 439—456.

Roxburgh A. 1987. Pravda: Inside the Soviet News Machine. New York: George Braziller.

Rudy S. 1997. Introduction // Roman Jacobson: My Futurist Years. New York: Marsilio Publishers. P. ix–xvi.

Russian Formalist Criticism: Four Essays. 1965 / L. Lemon, M. Reis (eds.). Lincoln: University of Nebraska Press.

Ryazanova-Clarke L., Wade T. 1999. The Russian Language Today. London: Routledge.

Saint-Simon H., de. 1825. Opinions littéraires, philosophiques et industrielles. Paris: Bossange.

Schechner R. 1985. Between Theater and Anthropology. University of Pennsylvania Press.

Schechner R. 1993. The Future of Ritual. Routledge.

Schechner R. 2003. Performance Theory. Routledge.

Schein L. 1998. Importing Miao Brethren to Hmong America: A Not So Stateless Transnationalism // Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation / Ph. Cheah, B. Robbins (eds.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 163—191.

Schmitt C. 1985. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty / Trans. G. Schwab. Cambridge, MA: MIT Press.

Schmitt C. 2004 [1922]. Definition of Sovereignty. // Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. University of Chicago Press, Ch. 1.

Schoenhals M. 1992. Doing Things with Words in Chinese Politics. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California.

Scott J. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT: Yale University Press.

Searle J. 1977. Reiterating the differences: A Reply to Derrida // Glyph. № 1. P. 198—208.

Searle J. 1983. The Word Turned Upside Down // New York Review of Books. October 27.

Seriot P. 1985. Analyse Du Discours Politique Sovietique. Paris: Institut D'Etudes Slaves.

Seriot P. 1986. How to Do Sentences with Nouns // Russian Linguistics. № 10. P. 33—52.

Seriot P. 1992. Officialese and Straight Talk in Socialist Europe // Ideology and System Change in the USSR and East Europe / M. Urban (ed.). New York: St. Martin's Press. P. 202—214.

Shlapentokh V. 1989. Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Soviet Russia. New York: Oxford University Press.

Sikimić B. 1999. Violent death in South Slavic Children's Folklore // Etnolog, Ljubljana. № 9.

Silverstein M. 1979. Language Structure and Linguistic Ideology // The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels / P. Clyne et al. (eds.). Chicago, IL: Chicago Linguistic Society. P. 193—247.

Silverstein M. 1993. Metapragmatic Discourse and Metapragmatic Function // Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics /J.A. Lucy (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 33—58.

Sixteen Tons — The Story behind the Legend (http://www.ernieford.com/SixteenTons.htm)

Slezkine Y. 1996. N.Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review. № 55 (4). P. 826—862.

Sloterdijk P. 1993. Critique of Cynical Reason. University of Minnesota Press.

Smith H. 1976. *The Russians*. Revised Edition. New York Ballantine Books.

Smith M.G. 1998. Language and Power in the Creation of the USSR, 1917—1953. Berlin: Mouton de Greyter.

Solnick S. 1998. Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Solzhenitsyn A. 1974. The Gulag Archipelago, 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation. New York: Harper and Row.

Sosin G. 1999. Sparks of Liberty: An Insider's Memoir of Radio Liberty. University Park: Pennsylvania State University Press.

Soviet Youth Culture. 1989 / J. Riordan (ed.). Houndmills: Macmillan Press.

Ssorin-Chaikov N. 2003. The Social Life of the State in Subarctic Siberia. Stanford, CA: Stanford University Press.

Stark D., Bruszt L. 1998. Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Starr F. 1994. Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union 1917—1991. New York: Limelight Editions.

Stites R. 1989. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press.

Stites R. 1993. Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1990. Cambridge: Cambridge University Press.

Strathern M. 1988. The Gender of the Gift. Berkeley: University of California Press.

Strathern M. 2002. On Space and Depth. In Complexities: Social Studies of Knowledge Practices / J. Law, A. Mol (eds.). Durham, NC: Duke University Press. P. 88—115.

Strauss C. 1997. Partly Fragmented, Partly Integrated: An Anthropological Examination of «Postmodern Fragmented subjects» // Cultural Anthropology. № 12. P. 62—404.

Strugatsky A., Strugatsky B. 1979. Roadside Picnic / Trans. A.W. Bouis. Harmondsworth: Penguin.

Stump J. 1998. Naming and Unnaming: On Raymond Queneau. Lincoln: University of Nebraska Press.

Tang Yi-Jie. 1991. Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity, and Chinese Culture. University of Peking and Washington, DC: Council for Research in Values and Philosophy.

Tassi A. 1993. Person as the Mask of Being // Philosophy Today. № 37. P. 201—210.

Taussig M. 1992. The Nervous System. New York: Routledge.

Taussig M. 1993. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. New York: Routledge.

Thom F. 1989. Newspeak: The Language of Soviet Communism. London: Claridge Press.

Thurston R. 1991. Socialist Dimensions of Stalinist Rule: Humor and Terror in the USSR, 1935—1941 // Journal or Social History. № 24 (3). P. 541—562.

Todorov Tz. 1998. Mikhail Bakhtin: The Dialogic Principle / Trans. W. Godzich. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Troitsky A. 1988. Back in the USSR: The True Story of Rock in Russia. Boston: Faber and Faber.

Tupitsyn V. 1991. The Communal Kitchen: A Conversation with Ilya Kabakov // Art Magazine. October. P. 48—55.

Turovskaya M. 1993a. Lectures on the Totalitarian Film of Stalin and Hitler. Unpublished manuscript. Duke University. Department of Slavic Languages and Literatures.

Turovskaya M. 1993b. The Tastes of Soviet Moviegoers during the 1930's // Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika / Th. Lahusen, G. Kuperman (eds.). Durham, NC: Duke University Press.

Urban G. 1996. Entextualization, Replication, and Power // Natural Histories of Discourse / M. Silverstein, G. Urban (eds.). Chicago: University of Chicago Press. P. 21—44.

Urban M. 1986. From Chernenko to Gorbachev: A Repoliticization of Official Soviet Discourse? // Soviet Union/Union Sovietique. № 13 (2). P. 131—161.

Verdery K. 1996. What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton, NJ: Princeton University Press.

Volkov S. 1995. St. Petersburg: A Cultural History. New York: Free Press.

Voloshinov V.N. 1986. Marxism and the Philosophy of Language: Main Problems of the Sociological Method in the Science of Language / Trans. L. Matejka, I.R. Titunik. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wanner C. 1998. Burden of Dreams: History and Identity in Post-Soviet Ukraine. University Park: Pennsylvania State University Press.

Warner M. 2002a. Publics and Counterpulics // Public Culture. Vol. 14. № 1. Winter. P. 49—90.

Warner M. 2002b. Publics and Counterpublics. New York: Zone Books.

Wedeen L. 1999. Ambiguities of Domination. Chicago: University of Chicago Press.

Wierzbicka A. 1990. Antitotalitarian Language in Poland: Some Mechanisms of Linguistic Self-Defence // Language and Society. № 19. P. 1—59.

Wilde O. 1930. The Decay of Lying // Intentions. New York: A. & C. Boni.

Willis P. 1990. Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young. Boulder: Westview Press.

Young J. 1991. Totalitarian Language: Orwell's Newspeak and Its Nazi and Communist Antecedents. Charlottesville: University of Virginia Press.

Yurchak A. 1997. The Cynical Reason of Late Socialism: Power, Pretense and the Anekdot // Public Culture. Vol. 9. № 2. P. 161—188.

Yurchak A. 1999. Gagarin and the rave Kids: Transforming Power, Identity, and Aesthetics in the Post-Soviet Night Life // Consuming Russia: Popular culture, Sex, and Society Since Gorbachev / A. Barker (ed.). Durham, Nc: Duke University Press. p. 76—109

Yurchak A. 2000. Privatize Your Name: Symbolic Work in a Post-Soviet Linguistic Market // Journal of Sociolinguistics. № 4 (3). P. 406—434.

Yurchak A. 2001. Entrepreneurial Governmentality in Post-Socialist Russia: A Cult ural Investigation of Business Practices // The New Entrepreneurs of Europe and Asia / V. Bonell, Th. Gold (eds.). Armonk, NY: M. E. Sharpe. P. 278—324.

Yurchak A. 2002. Imaginary West: I Want to Go to Paris Again. Paper presented at the annual meeting of American Anthropological Association, New Orleans.

Yurchak A. 2003a. Russian Neoliberal: Entrepreneurial Ethic and the Spirit Of «True Careerism» // Russian Review. № 62. January. P. 27—90.

Yurchak A. 2003b. Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, Until It Was No More // Comparative Studies in Society and History. Vol. 45. № 3. July. P. 480—510.

Yurchak A. 2006. Everything was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton University Press.

Yurchak A. 2007. If Lenin Were Alive, He Would Know What To Do: Naked Life of the Leader // Keynote Address, presented at the Conference: «Revisiting Perestroika: Processes and Alternatives», University of Helsinki, Finland, December.

Yurchak A. 2008a. Suspending the Political: Late Soviet artistic experiments on themargins of the state // Poetics Today. Vol. 29. № 4.

Yurchak A. 2008b. Necro-utopia: The Politics of Indistinction and the Art of the Non-Soviet // Current Anthropology. Vol. 49. № 2.

Yurchak A. 2011. A Parasite from Outer Space: How Sergei Kurekhin Proved that Lenin was a Mushroom // Slavic Review. Vol. 70. № 1.

Zand A. 1982. Political Jokes of Leningrad. Austin, TX: Silvergirl.

Zemtsov I. 1984. Manipulation of a Language: Lexicon of Soviet Political Terms. Fairfax: Hero Books.

Zhdanov A.A. 1950. On Music: Concluding Speech at a Conference of Soviet Music Workers, 1948 // On Literature, Music and Philosophy. London: Lawrence and Wishart Ltd. P. 52—75.

Žižek S. 1982. The Principles of Stalinism. A Short Course // Dometi. № 1, 2. Zagreb: Rijeka.

Žižek S. 1991a. The Sublime Object of Ideology. London: Verso.

Žižek S. 1991b. For They Know Not What They Do. London: Verso.

Žižek S. 1993a. Tarrying with the Negative. Durham, NC: Duke University Press.

Žižek S. 1993b. Why Are Laibach and NSK Not Fascists? // M'ARS. № 3/4. P. 3—4.

Žižek S. 1994b. Kant as a Theoretician of Vampirism // Lacanian Ink. № 8. Spring. P. 19—33.

Žižek S. 1994c. The Metastases of Enjoyment. London: Verso.

Žižek S. 1999. The Thing from Inner Space. Artmargins: Contemporary Central and Eastern European Visual Culture (http://www.artmargins.com/content/feature/zizek1.html). April 1.

Указатель

«Абба» — см. «Abba»
Абдулов, Александр — 374
авангард — см. искусство
«АВИА» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 460, 492—495, 495n71
автономия (субъекта, голоса, социального пространства) (см. также «субъект», «либерализм») — 12, 12n3, 61—63, 78, 88, 110
автор — см. дискурс («автор дискурса»)
авторитетный дискурс — см. дискурс
Агамбен, Джирджио (Agamben, Girogio) — 485n47, 565—567, 565n7
агентность (также *agency*) — 77—78
агитация
наглядная — 125—133, 575
коэффициенти идеологической плотности — 131
кинохроники — 132—133
агитпроп — 94, 493
КЖОИ (Комбинат Живописно-оформительского искусства) — 124—126
лозунги (идеологические) (см. также «авторитетный язык») — 60, 130—132, 242
агитпроп — см. агитация
«Аквариум» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 255n1, 303, 381n145, 420n24—n25, 460
Аксенов, Василий (Aksyonov, Vassily) — 337n50, 354, 354n83, 360, 360n96, 401, 402, 402n169, 404
активист — 16, 166, 212—223, 239, 251—254, 260—262, 408—411, 426, 434, 439, 453, 472, 493, 513, 580
Александров, Александр — 101n25
Александров, Григорий — 327n27
Алиев, А. — 133n89
«Алиса» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 378n136
алкоголь — 423—425, 430
Алпатов В. М. — 94n5
Альтюссер, Луис (Althusser, Louis) — 249—250
Америка — см. США
американцы — см. США
американские студенты — см. США
андеграунд — см. культура

Андропов, Ю.В. — 30n6, 111, 114, 114n54, 245, 248, 356, 501, 517
анекдоты (см. также «ирония») — 62n48, 80, 111, 201—203, 222, 307, 311—312, 461, 502, 534—552, 571
— травить анекдоты — 534—552
— эффект Мюнхгаузена — 543—544
анонимность — см. «язык, авторитетный»
антикоммунизм — 119, 283n48, 373, 405—406, 416, 426, 493
антисоветский/ая/ое — 7, 219, 246n102, 259, 270, 273, 276, 287, 332, 333, 344, 349, 356, 405, 406, 416, 430, 447, 472, 482, 486—489, 489n57, 514, 527, 563, 569, 570
антитоталитарная (история) — см. история
антифашизм — 493, 495
антропология —
антропологический подход/метод/*анализ* — 5—20, 13—14n5, 88, 137, 296n76, 308, 334n47, 474, 541n127, 581—582n23
Социально-культурная — 5—8, 13—14n5, 334n47, 581—582n23
историческая — 5, 9n2, 10
лингвистическая — 61n44
физическая — 529n107
западная (евро-американская) — 5, 12n3
«новая» (российская) — 11—12, 12n3, 14, 18, 20
апатия — см. политика
аполитичность — см. политика
Аргентина — 417, 417n19
«Аргонавты» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 420, 460
«Аргументы и факты» — см. газеты и журналы
Аристотель — 69, 69n63
Археологический кружок (см. также Дворец пионеров) — 270, 271, 275—277, 276n33, 280, 301, 308, 299, 467, 528, 529
Афганистан — см. война
аффект — 296, 449
Ахматова, Анна — 31n9, 275

Баба, Хоми (Bhabha, Homi) — 50n33
БАМ (Байкало-Амурская магистраль) — 226—227, 410, 410n9, 411, 576
Бангладеш — 450
Барбан, Ефим — 329
Барановская, Нина — 378, 378n137
барахолка — см. черный рынок
Батлер, Джудит (Butler, Judith) — 64n55, 67, 67n61, 68, 68n62, 69, 69n61, 77n70
Бах, И. С. — 370, 371, 371n118, 445, 449

Бахтин, Михаил (Bakhtin, Mikhail) — 53—55, 53n39, 63, 63n50, 63n52, 88, 90, 90n1, 91, 137, 137n94, 267, 267n15, 268, 430n33, 490, 490n60, 557
Баез, Джоан — см. Baez, Joan
Бегин, Менахем (Begin, Menachem) — 416, 417, 417n19
безумие (также «сумасшедствие») — 218, 222n76, 318, 318n10, 443, 483, 484, 488, 489, 497, 523, 575—576n9
Беккет, Самюэл (Becket, Samuel) — 287
Белл, Кэтрин (Bell, Catherine) — 68n62
Белоусов, Александр — 496n75, 536—537, 536n114, 537n117—n119, 541, 541n131
Беньямин, Вальтер (Benjamin, Walter) — 392n160
Бердон, Эрик — см. Burdon, Eric
Бердяев, Н.А. — 300
Берк, Питер (Burke, Peter) — 9n2
Берлин, Исайа (Berlin, Isaiah) — 18, 18n7, 468—469, 469n12
Бернс, Роберт (Burns, Robert) — 332
Беспрозванная, Полина — 274
Бетховен, Л. ван — 449
Бехтерева, Наталья — 270n19
«Би-би-си» — см. радио
«Би Джис» — см. «Bee Gees»
бинарный/ая/ые
модель власти/языка/субъекта/культуры — 7, 15, 16, 17, 19, 29, 29n1, 38, 40—47, 44n27, 47, 47n32, 61, 65, 70, 79, 162, 213, 214, 221, 247, 254, 267, 270, 280, 289, 307, 472, 487, 488, 495, 507, 511, 548, 549, 554, 559, 565, 569, 570
социализм — см. «социализм»
биополитика — 489, 489n57, 500 (см. также «субъект вненаходимости — биополитической»)
«Битлз» — см. «Beatles»
блат — 307, 399n165
Блейк, Уильям — 256, 470
блоки (репрезентации, см. также «авторитетный язык»)
языковые, текстовые — 114—115, 141—143, 429
визуальные — 125, 132
ритуалов, практик — 133—135, 143
«Блэк Саббат» — см. «Black Sabbath»
Богораз, Лариса — 274n28
Бодрийяр, Жан (Baudrillard, Jean) — 486, 486n50
Бойм, Светлана (Boym, Svetlana) — 45n28, 85n73, 470n16
Боливия — 450
Болан, Марк — см. Bolan, Mark
Большой террор (см. также «Сталин») — 19, 52, 272

«Бони М» — см. «Boney M»
Бор, Нильс — 255
Ботвинник, Михаил — 271n22
Боуи, Дэвид — см. Bowie, David
Братья Маркс (Marx brothers; см. также «Маркс, Граучо») — 330, 554n107
Браун, Венди (Brown, Wendy) — 47n32
Брейденбах, Джоанна (Breidenbach, Joana) — 278, 280
Брежнев, Л.И. — 43, 43n25, 86, 92, 111, 112, 129, 130, 142, 157, 162, 176, 196, 201—203, 218, 222, 257, 336, 384, 392, 392n159, 397, 417, 417n19, 427, 500, 501, 510, 517, 539, 541, 542, 543, 545, 556
бренд (brand) — см. лейбл
Бреннан, Тимоти (Brennan, Timothy) — 46n31
«Бродвей» (см. также «Брод») — 336, 380, 380n143, 380n143, 585
Бродский, Иосиф (Brodsky, Joseph) — 219—220, 220n72, 220n73, 222, 255—257, 262, 269, 274n28, 288, 294, 301n91, 468—471, 470n16
будущее (коммунистическое, светлое) — 12, 19, 45, 96, 97, 156n115, 166, 192, 194, 333, 341, 404, 432, 440, 442, 444, 447—450, 454—459, 460n64, 3474n22, 570
Булгаков, Михаил — 288
Булгакова, Оксана (Bulgakowa, Oksana) — 157n117, 329n30
Бурдье, Пьер (Bourdieu, Pierre) — 67, 67n60, 68, 190, 190n33
Бурлацкий, Федор — 111, 111n47, 112n49, 113, 113n50, 114n55, 115, 122—123, 123n73, 247—248, 247n104, 248n106

ВАЗ (Волжский автомобильный завод) — см. комсомольские стройки
Вайль, Петр — 296—298, 296n78, 297, 298n82, 315n7, 362n100, 364, 364n103
Вайнштейн, Иосиф (дирижер, джаз-оркестр Иосифа Вайнштейна) — 326, 354
Валиева, Юлия — 283n46
Ваннер, Кэтрин (Wanner, Catherine) — 213, 213n56
Вдовин, Юрий — 351, 354—355
«великая кофейная революция» — 282
Великобритания (также «Британия», «британский») — 47, 293, 334, 335, 350, 351—352n77, 355, 361n99, 375, 416, 417, 417n17—n19, 445n45
Веллер, Михаил — 313, 314n53
Венгрия — 207, 329n30
Вензель, Евгений — 285
Вердери, Кэтрин (Verdery, Katherine) — 76n69, 307, 307n101, 541n127
«Веселые ребята» — см. «музыка — ВИА»
взносы (комсомольские) — см. ритуалы
ВИА («вокально-инструментальный ансамбль») — см. «музыка — ВИА»
Вивальди, Антонио — 456
Виленский, Дмитрий — 46n30
Виноградов, А. В. — 275

Вите, Олег — 252n113
ВЛКСМ (комсомол) — 6, 56, 57, 73, 73n67, 74, 80, 81, 110, 118, 133, 135, 142, 156, 156n115, 156, 166, 170—242, 250—254, 258, 259, 262, 264, 276n33, 295, 298, 299, 306, 307, 321—339, 377—379, 399, 407—437, 442—444, 450—455, 472, 493, 495, 503, 507—521, 538, 561—563, 571, 576, 579, 580
комсорг — 57, 81, 170—173, 177—183, 187, 193, 197—204, 211, 216—218, 221—225, 232, 235, 242, 254, 262—264, 307, 388, 425, 434, 576
райком комсомола — 81, 129, 129n83, 132, 172, 174—179, 193—199, 203, 206—212, 217, 223— 233, 236, 239, 241, 298, 414, 420—421, 425, 431, 512, 561, 576
инструктор райкома, горкома — 124, 129, 129n83, 132, 174—178, 208, 210, 229, 233, 239, 414, 421, 425, 561, 576
комитет комсомола — 17, 120, 121, 172, 174, 177—183, 187, 191—195, 201, 204—211, 216—218, 223—233, 236—241, 295, 298, 306, 327—328, 399, 414, 418, 421—428, 431, 434, 437, 450, 452, 455, 504—524, 531, 538, 571, 579
«вне» (*inside/outside*) — см. вненаходимость
вненаходимость/ти (также «inside/outside», «вне—принцип») — 7, 17, 20, 26, 49, 52, 58, 97, 165, 229, 248, 260—271, 276—303, 287, 289—311, 359, 360n97, 375, 383, 406, 435, 442, 457—458, 461—552, 563—571
политика (вненаходимости) — 7, 24, 270, 310, 472, 474, 491
свобода (вненаходимости) — 24, 26, 77, 469
политическая (в-сть) — 488
биополитическая (в-сть) — 489
субъект (в-сти) — 488
пространство/зона (в-сти) — 7, 17, 20, 300, 305—310, 314, 567
время/темпоральность (в-сти) — 299—300, 305—310
тематическая (в-сть) — 300—305
публики (в-сти) — 281, 289, 294, 295
ирония (в-сти; см. также «ирония» и «стеб») — 461—552, 570—572
«внешний редактор» дискурса — см. дискурс
военная подготовка (военка) — 521—523
война —
гражданская — 98, 98n19, 99, 537
вторая мировая (также «Великая Отечественная») — 33n13, 173, 195, 326, 329, 335, 348, 349n74, 355, 358, 426, 514, 518, 527n105
холодная — 14n5, 43—47, 54n39, 71n64, 373, 373n124, 407
психологическая — 349n74
СССР в Афганистане — 222, 222n76, 416, 417, 417n19, 549, 549n145, 566—567n9
США во Вьетнаме — 283n48, 382, 405
Великобритании с Аргентиной (Фолклендская) — 417, 417n19

Израиля с Ливаном — 417, 417n19
империалистическая (также «неоколониальная») — 283, 417, 417n19, 430
«с терроризмом» — 566n8
Войнович, Владимир — 33
Волошинов, Валентин — 63, 63n49, 63n51, 230n86
Воображаемый Запад — см. Запад
воображаемая частная сфера — см. частная сфера (также «публичная сфера» и «публики»)
«Вопросы языкознания» (журнал) — см. языкознание
Вольтская, Татьяна — 378n137
ВПШ (Высшая партийная школа) — 175—178
время (также «темпоральность»)
времяпровождение — 295, 298, 308—309, 485
вненаходимости — см. вненаходимость
свободное время — 299, 301—307, 308, 462, 468
темпоральность (временной режим) — 308
изменение времени (ускорение, замедление, сдвиг) — 307, 523
присвоение времени — 239, 241, 307
огосударствление (etatization) времени — 307, 462,
постсоветское — 30, 42, 45, 80, 200, 220, 289, 292n70, 296n77, 541
режим темпоральности — 308—310
Вторая мировая война — см. война
второй фронт (см. также «война») — 326
высказывания
констатирующее (constative) — 15, 63—64, 63n53, 64n54, 69—74, 558, 560
перформативное (performative) — 64, 64n53, 64n54, 558, 558n1, 560
истинное (true) — 61, 62, 65n55, 65—66, 558, 559
ложное (false) — 61, 62, 65n56, 65—66, 558, 559
успешное (felicitous) — 65—66, 65n56, 558, 559, 563
неуспешное (infelicitous) — 65—66, 65n56, 558, 559, 563
Высоцкий, Владимир — 246—248, 246n102, 258, 258n6, 275, 280

Гавел, Вацлав (Havel, Václav) — 60, 60n43, 91, 219—220, 220n72, 265, 301n91, 470n16
газеты и журналы —
периода перестройки:
«Аргументы и факты» (еженедельник) — 32
«Дружба народов» (журнал) — 32
«Новый мир» (журнал) — 32
«Огонек» (журнал) — 31, 32, 31n7, 31n9, 32, 541
советские, партийные:

«Правда» (газета) — 55, 55n41, 103, 104, 138—139, 153, 510, 510n90, 514, 531, 546
«Комсомольская права» — 407, 422
«Молодой коммунист» (журнал) — 413
«Коммунист» (журнал) — 113, 139n96
Гал, Сьюзан (Gal, Susan) — 43, 44, 61n44, 63n49
Галич, Александр — 258, 258n6, 275, 280, 288
Галтиери, Леопольдо (Galtieri, Leopoldo) — 416, 417, 417n19
Гваттари, Феликс (Guattari, Felix) — 29, 29n1, 234—235, 234n89, 235n89, 262
ГДР — см. Германия — Восточная
«гебист» — см. КГБ
Гегель — 438
Гейне, Генрих (Heine, Heinrich) — 332
Генеалогия, генеалогический анализ — 12n3, 36—37, 37n16, 317—319, 318n10, 468
Генис, Александр — 296—298, 296n78, 297, 298n82, 315, 317n7, 362n100, 364n103
Герасимов, Михаил — 529, 529n107
Германия
Восточная (ГДР) — 450, 523
Западная (ФРГ) — 384, 401, 423, 524
нацистская, фашистская, гитлеровская — 159n119, 327n27, 328n30, 527n105
геронтократия — 498—504
Гершвин, Джордж (Gershwin, George; см. также «музыка — джаз») — 449
гетеротопия — 316, 502
гетерохрония — 502
Гилрой, Пол (Gilroy, Paul) — 375n128 (см. также Культуральные Исследования)
Гимн СССР — 101, 101n2
Гинзбург, Александр — 274n28
Гинзбург, Евгения — 33, 33n12
гиперкогерентность (*hypercoherence*) — см. сверхидентификация
гипернормализация (см. «язык, авторитетный») — 7, 64n54, 92, 93, 108, 110, 113, 116, 122, 136, 137, 152, 153, 159, 161, 169, 191, 321, 399, 399n166, 492n64, 493, 495n73, 555, 556, 582
гиперреальность — 162
Гладарев, Борис — 275n31, 277n35—n36, 299n84, 299n86—n87, 300n88
гласность (см. также «перестройка») — 30, 30n5—n6, 43, 305, 410
Глебкин, В. — 133n89
глушение радио — см. радио
Говорухин, Станислав — 579n15
Голландия — 352n77
«Голос Америки» (VOA) — см. радио

«Голубые гитары» — см. «музыка — ВИА»
Гомо советикус (Homo Sovieticus) — 39, 48n31
Горбачев, М. С.— 30n5, 35, 43, 196n37, 541, 572, 573, 573n11, 581
горком (*городской комитете КПСС или ВЛКСМ*) — 101, 124, 132, 134, 172, 176, 197, 209—211, 414
города, советские (представленные в данном исследовании):
Ленинград — 31, 45, 90, 91, 124, 128—131, 133, 134, 174, 175, 177, 182, 183, 192, 197, 199, 200, 206, 209, 215, 221, 230, 237, 239, 241, 244, 258, 270, 271, 275, 276, 278, 280, 282—285, 288, 291, 293, 299, 300, 302, 304, 312, 326, 328, 329, 332, 333, 325, 337, 339, 340, 348, 354, 357—359, 365—367, 369—371, 377, 378, 380, 381, 385, 388, 390, 391, 397, 400, 409, 419—421, 433, 434, 437, 445, 455, 461, 473, 475, 476, 481, 483, 509, 512, 513, 521, 524, 528, 531, 536, 576, 579, 580, 584, 585, 587
Москва — 111, 131, 222, 243, 244, 248, 380, 381, 464, 505, 584
Баку — 380n143
Вильнюс — 380n143
Владивосток — 352—353, 365
Владимир — 384, 397
Запорожье — 380, 397
Киев — 81, 359n93, 380n143, 384, 385, 495
Новосибирск — 81, 390, 391, 433, 434, 436n38, 437, 444—446, 446n49, 450, 455, 533Одесса — 312n3, 365, 380n143
Пенза — 81, 337
Рига — 81, 312n3, 345n41, 357, 365, 366, 371, 371n118, 384
Савелово (Калининская область) — 531—532
Самарканд — 312n3
Смоленск — 81, 365, 366, 376, 381
Советск (Калининградская область) — 197, 200
Сочи — 81, 337
Таллин — 312n3, 354, 376, 420, 420n25
Тарту — 536
Таруса — 273, 273n28
Ташкент — 380n143
Фергана — 374
Чернобыль — 316
Якутск — 17, 81, 369—371, 389—390, 391, 409, 433, 434, 436, 437, 440, 443, 444, 455, 533, 534
Горький, Максим — 98, 98n19, 102
господствующая фигура (Master) идеологического дискурса — см. дискурс
государство/ва — 5, 7, 9, 12, 13, 17—19, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 38n17, 40, 41, 44, 45, 48—50, 50n35, 56, 57, 67, 72n64, 76—79, 83, 96

«вечное» — 29, 30
советское / социалистическое / большевистское / пролетарское — 34, 38, 38n17, 50, 54, 59, 83, 93, 100, 101, 125, 129, 133, 190, 194, 212—214, 222n76, 256, 276, 277, 287, 291, 305, 307, 307n101, 308, 312, 314, 320, 344, 349n74, 360, 471, 474, 498, 555, 561, 562, 565, 566
«тоталитарное»/ «авторитарное» — 13, 13n4, 58
постсоветское — 5, 567—568n10 (см. также «неолиберальные реформы»)
колониальное/постколониальное — 5, 8, 46, 46n31, 47, 59
либерально-демократические / «буржуазные» / «западные»
«империалистические» — 5, 118, 566
гражданское общество — 25, 307
граница — топографическая, политическая, символическая, социальная (см. также «заграница») — 86, 132, 137, 213, 214, 311—313, 317, 320, 359, 400, 400n167, 403, 441, 458, 467, 477, 487, 490
Гребенщиков, Борис (см. также «музыка — неформальные рок-музыканты») — 255, 285n52, 293, 303n93, 381n145
Греция — 33n14, 450, 547
Грибоедов, А.С. — 339
Григорьев В.П. — 95n7
Гройс, Борис (Groys, Boris) — 51n36, 98n18, 482n41, 491n63, 493n68
Гроссман, Василий — 33, 33n13
Группа по спасению памятников истории и культуры — 276n33
Гуантанамо (Guantanamo) — 566n8
Гудков, Лев — 265n14
Гумилев, Николай — 31, 31n9, 275, 288
Гусев, Николай — 460, 460n64

Дандес, Аллан (Dundes, Allan) — 496n74, 543, 543n134
Данхэм, Вера (Dunham, Vera) — 214n58, 330, 331n36
Данчев, Владимир — 222n76, 566—567n9
даосизм, даосисты — 472—474
Дворец пионеров (также «Дворец творчества юных») — 270—277, 279n19, 285
Дворец творчества юных — см. Дворец пионеров
дворник — 214, 301—303, 303n93, 462—463 (см. также «кочегар» и «котельная»)
двуличие / двуличность (см. также «притворство») — 16, 44, 62, 294, 411, 412, 426, 430
девиантная/ое
поведение / молодежь — 407, 408n6
Деготь, Екатерина — 401, 401n168, 493n68
деконтекстуализация (см. также «реконтекстуализация») — 490, 490n59, 505, 511, 531n109

Делез, Жиль (Deleuze, Gilles) — 29, 29n2, 234—235, 234—235n89, 262
Делюсин, Лев — 247
демократический централизм — 215, 215—216n62
демонстрации (первомайские; 7—го ноября) — см. ритуалы
деньги — 155, 277, 290, 366, 369, 370, 373, 373n125, 375, 390, 397, 411, 452, 464
«деревянный язык» — см. «язык — авторитетный язык; дубовый язык»
«Дерзание», литературный кружок (см. также Дворец пионеров) — 271—275, 285, 299, 300n89
Деррида, Жак (Derrida, Jacques) — 66—68, 66n57—59
детерриториализация — 233—241, 248—252, 268, 269, 307, 310, 317, 356, 400, 409, 472, 491, 551
джаз — см. музыка
«Джаз-квартет Чарльза Ллойда» («Charles Lloyd Quartet»; см. также «музыка — джаз») — 354, 354n84
джаз-клуб — см. «музыка — джаз»
джазовые музыканты — см. «музыка — джаз»
«Джетро Талл» — см. «Jethro Tull»
джинсы (также «jeans») — 384—390, 393—399, 410, 411, 453, 454
фирменные — 386—395
поддельные — 388—395
Джойс, Джеймс (Joyce, James) — 288
«Джунгли» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 460
Дзержинский, Феликс — 256, 391
диалогизм, диалогичность — 63, 88, 232, 233
Дилан, Боб (Dylan, Bob) — 405, 458n61
Диофант — 438
«Дип Перпл» — см. «Deep Purple»
диски, музыкальные — см. музыка
дискотеки (см. также «музыка») — 195, 364, 413, 414, 417, 420—430, 425n29, 446, 511, 514
дискурс
автор («дискурса») — 75, 88—90, 108, 109, 111—114, 113n52, 135, 136, 145, 146, 149—152, 160, 188, 189, 205, 267, 268, 556
авторитетный (также: «авторитетное слово», «авторитетный язык») — 14, 14—15, 26, 53—56, 53n39, 54n40, 73—78, 76n69, 86, 90—164, 167—254, 557—560
буржуазный, антисоветский — 97, 117, 411
«внешний редактор» дискурса — 51, 97, 98—102, 107—108, 111, 157—159, 161, 268, 321, 573—574
господствующая фигура (Master) идеологического дискурса — 49—52, 74, 75, 97, 98, 107, 108, 111, 128, 152—159, 186, 187n29, 245, 577—581

дискурсивный режим — 52, 54, 78, 79, 100, 108, 154, 219, 260, 261, 276n33, 289, 500—502, 546, 554, 565, 572—575
дискурсивная формация (см. также Фуко) — 318—319, 428
идеологический — 49—54, 92, 96, 98—102, 107—108, 118, 141, 153, 159, 160, 160n122, 174, 268, 511, 573
интер-дискурсивные отношения — 137, 143, 260, 261, 556
интра-дискурсивные отношения — 260, 261
метадискурс (идеологический) — 51—53, 100—103, 107, 108, 141, 154, 174n10, 176, 176n15, 414, 555, 573—577
перформативный сдвиг — 7, 24, 25, 71, 76, 76n69, 78, 79, 83, 86, 93, 100, 108, 121, 154, 161, 166, 169, 226, 234, 245, 251, 260, 264, 268, 303, 310, 471, 474n22, 498, 506, 507, 508, 515, 543, 559n2, 560—571, 575, 577
ретранслятор («авторитетного дискурса». См. также «автор») — 108, 109, 111, 136, 150, 160, 162, 188, 189, 556
«точка сшивки» (point de caption) идеологического дискурса — 154, 155n113
форма (авторитетного дискурса и авторитетных ритуалов) — 14, 53, 75, 77, 78, 83, 91—95, 110, 113, 115, 116, 119, 122, 135—137, 139, 143, 161, 167, 192, 229, 242, 246, 459, 500, 517, 530, 555, 556, 571
дискурсивная деконструкция — см. перестройка
дискурсивный режим — см. дискурс
дискурсивная формация — см. дискурс
Дисней, Уолт (Disney, Walt) — 330
диссидент — 9, 13, 16, 32, 35, 37, 40, 48, 60, 212—223, 222n76, 246n102, 252—254, 259—265, 259n8, 260—263, 286, 297, 470, 470n16, 472, 486, 487, 487n54, 488, 489n57, 548, 548n144, 549, 563
«диссидентствующий» — 221, 259n8
ДНД (Добровольная народная дружина) — 306, 306n98
Добренко, Евгений — 355, 355n86
Добротворский С.Н. — 483n43
«Добры молодцы» — см. «музыка — ВИА»
Довлатов, Сергей — 255, 255n2, 256, 256n3—n5, 261, 292, 470n15
Додин, Лев — 270n19
Достоевский, Ф. М. — 223, 300, 505, 523, 523n102
дружба — 45, 238, 274, 275, 279, 297, 312n3, 319, 403, 421, 433 (см. также «свои»)
«Дружба народов» — см. газеты и журналы
«дубовый язык» — см. «язык — авторитетный»
Дубин, Борис — 265n14
Дунаевский, Исаак — 271n22

Европа
Восточная — 39, 59, 312, 349, 350, 372, 535, 538, 540
Западная — 46, 47, 344, 344n69, 351—352n77, 400n167
Ерофеев, Венедикт — 464n5
Елисеев, Никита — 541, 542, 542n132
Ельцин Б. Н. — 541

Жанг, Киченг (Zhang, Qicheng) — 473n20, 474n21, 474
Жданов, Андрей — 106, 106n43, 322, 323
Жижек, Славой (Žižek, Slavoj) — 49n34, 59, 59n42, 60, 60n41, 155, 155n113—n114, 159n119, 165n1, 402n171, 471n17, 492n64—n65, 493n66, 544, 547n141, 551n149
Жилина, Наталья — 467n10
жуткое (unheimlich, uncanny) — 480, 497, 497n79

заграница — см. граница
закон — 25, 70—72, 72n64, 215, 249, 252n113, 303, 318, 343n68, 349n74, 400n167, 462, 565—566, 566n9, 567, 567n10
законодательство — см. закон
замкнутая логическая структура (дискурса) — см. «язык, авторитетный»
Запад
воображаемый — 7, 283n47, 311—403, 408, 409, 412, 418, 428, 430, 432, 442, 447, 454, 458, 460, 532n112, 568—569
реальный — 5, 38, 41, 43, 293, 314, 401—403
застой (период застоя) — 43, 43n25, 86, 493, 582
Здравомыслова, Елена — 289n63
«Зеленые муравьи» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 460
«Зеркало» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 460
Зимбабве — 450
зона —
вненаходимости — 238, 305, 311, 315—316, 402, 432
исключения (zone of exception) / неразличения (zone of indistinction) — 565, 565n7, 565—566n8
«Зоопарк» (см. также «музыка — неформальные рок группы») — 378n138, 381n145, 460
Зорин, Андрей — 504, 504n86

Иванов, Борис — 304n94
«Иглс» — см. «Eagles»
идеологический дискурс — см. дискурс

идеологический отчет — 74, 135, 193, 204—212, 226, 227, 233—236, 257, 421, 511, 523—528
идеология — 14, 15, 34, 50, 53, 58—60, 91, 45, 46n30, 48
советская — 41, 48, 59, 60, 571, 572
диссидентского движения — 40, 42
кризис идеологии — 49, 50, 159, 471
холодной войны — 43, 46, 47, 54n39 (см. также «холодная война»)
нового времени (см. также «Лефора, передокс») — 33n14, 49, 49n33, 50, 50n35
постмодернистская — 12, 58, 61, 162
коммунистическая — см. «идеология, советская»
нацистская — 159n119
«Кровь и почва» (Blut und Boden) — 492n65
Израиль — 417, 417n19
Иконникова, Светлана — 405, 405n3, 408n6
иллокутивное (illocutionary) высказывание — 558n1 (см. также «перлокутивное высказывание» и «перформативное высказывание»)
Институт русского языка АН СССР — см. «язык»
интердискурсивность — см. «язык, авторитетный»
интер-дискурсивные отношения — см. дискурс
интернационализм (см. также «космополитизм») — 112, 142, 180, 181, 312, 319,320—325, 330, 332, 342, 344, 355, 376, 422, 429, 450, 453, 492, 521, 568
интернет — 249, 342, 343n68
интерпелляция (interpellation) — 249, 250
интерсубъективность — см. субъект
интертекстуальность — см. «язык, авторитетный»
интра-дискурсивные отношения — см. дискурс
«Интурист» — 293, 354, 383, 524—528, 528n106
Ионеско, Эжен (Ionesco, Eugène) — 287
ионосфера — см. радио
ирония (см. также «стеб», «анекдоты») —
сверхидентификации (см. также «стеб») — 217n65
вненаходимости (см. также «стеб») — 461—552, 486, 489, 570—572
стишки-страшилки (см. также «ирония вненаходимости») — 496—498
политическая ирония — 546 (см. также «анекдот»)
подколки (см. также «стеб») — 571, 293
прикол (см. также «стеб») — 489n58
телега (см. также «стеб») — 489n58
шиза (см. также «стеб») — 489n58
клиника (см. также «стеб») — 489n58
государственный смех — 490
юмор, который перестал бороться (см. также «анекдот») — 542—552

юмор за железным занавесом (см. также «анекдот») — 543n134
юмор абсурда — 489
тенденционные остроты — 549
тоталитарный смех (см. также «анекдот») — 551
«Ирония судьбы или с легким паром» (фильм) — 90—91
исключение из комсомола — см. ритуалы
исключение (из нормы, правила; см. также «зоны исключения») — 61, 87, 88, 197, 200, 303, 305, 335, 408, 411, 431, 565, 569, 571
искусство (см. также «культура», «бинарная модель») — 98n18, 106, 112, 165, 321, 322, 331, 407, 439, 444, 449, 457, 487n54
неформальное — 7, 220, 229, 291, 291n66, 293, 298, 307, 307n103, 413, 474, 491n62, 491n63, 502, 503
псевдоискусство — 322, 325, 440
буржуазное — 217, 319—334, 342—350, 361, 369, 372, 393, 405—407, 412, 421—426, 429—431, 438, 440, 447, 451—456, 459, 511, 568—570
соц-арт — 491—492n63
авангарда (революционного периода) — 51, 93—98, 98n18, 105, 200, 315, 382, 458, 459n62, 460, 460n64, 468, 484n43, 493, 493n68
обэриуты — 95
футуристы — 95
русские — 95, 95n8, 105, 460, 468
итальянские — 95n8
Иссык-Куль — 312n3
истина/ны — 49—52, 96, 107, 255—261, 291, 292, 310, 406, 531
канон истины (марксистско—ленинской) — 51, 53, 75, 96—98, 100, 107, 108, 154—156, 320, 321, 323, 432, 438n41, 456
«объективная» (научная) — 52, 107, 156
глубокая — 255—261, 279, 292, 310, 406n4, 460
ясная — 255—261, 279, 292, 310, 406n4
правда — 4, 38, 248, 531
история (дисциплина), историк — 5, 8, 9, 9n2, 10, 13 13n4, 18, 19, 20, 24, 38, 42, 47, 215, 258, 271, 275, 288, 304, 308
антитоталитарная история/ревизионистская история — 13, 14, 18—20

«Йес» — см. «Yes»

Кабаков, Илья (Kabakov, Ilya) — 220—221, 221n74, 486n54, 491n63
Кавказ — 312n3
Калинин, М.И. — 102, 102n29
Калугин, Олег — 377n132
КАМАЗ (Камский автомобильный завод) — см. комсомольские стройки
Кан, Александр (Алик) — 293—295, 293n72

Кантор, П. — 361
карнавал (средневековый) — 490
«кассетный альбом» (также «магнитиздат») — см. музыка
КАТЕК (Камско-Ачинский топливно-энергетический комплекс) — см. комсомольские стройки
«Квадрат» (джаз клуб; см. также «музыка — джаз») — 332
КГБ — 286, 288, 377, 377n132, 378, 379, 481, 482, 524
гебист — 297
Керенский, Александр — 99
КЖОИ — см. агитация
«Кинг Кримсон» — см. «King Crimson»
кинизм — 546, 551
«Кинкс» — см. «Kinks»
«Кино» (см. также «музыка — неформальные рок группы») — 460, 469n13
кино —
трофейное (немецкое) — 328, 328n30
американское — 328—330, 335, 340
кинохроники — см. агитация
Кинчев, Константин (рок-группа «Алиса»; см. также «музыка — неформальные Рок-музыканты») — 378
«Кисс» — см. «Kiss»
Китай — 47, 473, 474, 474n22, 491n64, 582n24
Кларк, Катерина (Clark, Catherina) — 63n51, 95n8, 103n32, 106, 267n15
Клигман, Гейл (Kligman, Gail) — 43
Клиффорд Гирц (Geertz, Clifford) — 6
«Клэш» — см. «Clash»
Клямкин, Игорь — 108
клятва — см. ритуалы, советские; акт, перформативный
Князева, Марина — 85n72
Князева, Нина — 273
Колтрейн, Джон (Coltraine, John; см. также «музыка — джаз») — 379n139
коммунизм — 17, 52, 96, 155, 155n115, 156—158, 203, 426—428, 432, 433, 435, 438, 442—443, 447, 450, 453, 456, 454, 514, 522, 533, 561, 570
«Коммунист» — см. газеты и журналы
комсомол — см. ВЛКСМ
«Комсомольская правда» (газета) — 407, 422
комсомольская работа (см. также «ритуалы») — 182—195, 434—435
«работа со смыслом» — 192—201, 204—207, 421, 426, 435, 507, 562
«чистая проформа» — 192—201, 426, 435, 507, 562
«маленькие хитрости» — 205—208, 210—212
Комсомольские стройки — 410, 410n9
констатирующий/ее/ая

смысл — 64, 69—73, 76, 555, 558—561, 574
Конституция, советская
1936-го года — 99, 100
1977-го года — 139—141, 144, 226, 566n9
контекст — см. также: «деконтекстуализация», «реконтекстуализация»
Коновер, Уиллис (Conover, Willis; см. также «радио») — 353—355, 353n78, 353n81, 354, 354n81, 356
контрпублики (см. также «публики») — 251—252
конформизм (см. также «нонконформизм») — 7, 20, 38, 40, 60, 71, 204, 223, 554
конфуцианцы — 473 (см. также даосизм)
коротковолновое радио — см. радио
космополит, космополитизм (см. также «интернационализм») — 319—326, 333, 401, 432
Костелло, Элвис (Costello, Elvis; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 458n61
«Кот» — см. «музыка — рок-музыка — журналы»
котельная (также «кочегар») — 301—305, 304n94, 360n97, 462, 464
кочегар (см. также «котельная») — 303—304
коэффициент идеологической плотности — см. агитация
Краков — 326
Кривулин, Виктор — 282, 282n45, 284n49, 286, 287n56, 290, 290n65, 312, 380n142, 382n148
«Криденс» — см. «Creedence Clearwater Revival»
Кристи, Агата — 280
«Кровь и почва» (Blut und Boden) — см. идеология
«Крокодил» (журнал) — 339, 351, 362, 367, 395, 398, 410
Кроненберг, Дэвид (Cronenberg, David) — 485n48
Кротов, Яков — 296, 297
круговая порука — 225
«Кругозор» — см. «музыка — рок-музыка — журналы»
«Куин» — см. «Queen»
Куба — 450
культура — (понятие культуры вообще) — 37, 582n23
советская /позднесоветская / коммунистическая— 12n3, 40, 97, 312, 319, 322, 459, 510, 570
официальная / неофициальная (см. также «бинарная модель культуры») — 4, 12, 38, 40, 278, 554
альтернативная культура — 280
контркультура — 38, 292—294, 292n70
субкультура — 81, 291n66, 294, 334—335, 334n47, 413—414, 484n48
высокая — 330
музыкальная — 510

зарубежная / западная / буржуазная — 331, 407, 408, 412, 459, 320, 327, 329, 330—334, 341, 352n77, 353, 367, 395, 407, 411, 570, 412, 430, 431, 569 323, 342, 361, 393, 405—407, 411, 412, 422, 425, 426, 428—430, 452, 569
национальная — 322, 323
народная — 325, 361
массовая — 38, 330, 407, 451
подцензурная и неподцензурная — 40
андеграунд — 40
официоз — 40
Культуральные исследования (Cultural Studies) — 334n47
Бирмингемского Центра культуральных исследований (Birmingham Centre of Cultural Studies) — 334n47
(см. также: Уиллис, Пол; Холл, Стюарт; Хебдидж, Дик; Гилрой, Пол)
культурная политика — 276, 288, 314, 325n20, 325n22, 341, 348, 349, 355, 372, 414, 417, 440
культурное производство (см. также «политика, культурная») — 108, 280, 321, 343—344, 356, 377
Кумб, Роузмэри (Coombe, Rosemary) — 392, 392n160
Купер, Элис (Cooper, Alice; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 365, 369, 370, 370n116, 371, 446, 446n50
Курганов, Ефим — 541
Курехин, Сергей — 293, 295, 495n72, 579n16
Кустов, Владимир — 479, 479n29—n31, 480n34, 484, 484n44
кухонные разговоры — см. общение
Кушман, Томас (Cushman, Thomas) — 291, 291n67, 292, 292n68, 303n92, 305n96, 367n110, 377n134, 460n63
Кьеркегор, Серен (Kierkegaard, Søren) — 87, 87n78, 408n7

«Лайбах» — см. «Laibach»
Лакан, Жак (Lacan, Jacques) — 154—155, 155n113, 316n9, 549, 549n145
ЛГУ (Ленинградский университет) — см. университет
«Лед Зеппелин» — см. «Led Zeppelin»
лейбл (label) (также «бренд» и «фирма») — 386
Лейн, Кристал (Lane, Chrystal) — 133, 133n88
Лейтес, Натан — 332—333
Ленд-лиз (land-lease) (см. также «США» и «война») — 326, 326n23
легитимность/принцип легитимности (советской системы) — 10, 49, 50, 96, 157—159, 159n119, 163, 186, 196, 442, 577—579
кризис легитимности (см. также «парадокс Лефора») — 49, 50, 96, 157, 158, 578, 579
Ленин — 122, 123, 125—128, 130, 155—159, 156n115, 157n116—n117, 159n119, 185—187, 196, 202, 203, 215—216n62, 226n81, 242, 245—247, 245n101,

271, 392, 404, 427, 428, 438, 456, 510, 528, 529, 531, 536, 542, 577—581, 579n15—n16
господствующее означающее — 128, 155, 155n115, 186, 577, 581
образ Ленина (изображения, скульптура) — 126—128, 185—186
посмертная маска Ленина — 127, 156
телепередача «Ленин-гриб» (см. также «стеб» и «ирония вненаходимости») — 579
«Ленин—партия—коммунизм» — 155, 577, 581
«Ленинградская правда» — см.
«Ленинградский джаз-клуб» (также «музыка — джаз») — 354
«Ленинградский рок-клуб» (также «музыка — рок») — 373n123, 377—380, 377n132, 378n137
Ленинская премия — 325
«ленинский зачет» — см. ритуалы
Ленинизм — см. Марксизм-ленинизм
Леннон, Джон (Lennon, John; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 384, 392, 393n161, 429
Лермонтов, М. Ю. — 504
Лефор, Клод (Lefort, Claude) — см. парадокс Лефора
Ли, Андреа (Lee, Andrea) — 382, 398
либерализм, либеральное государство — 5, 12, 18, 18n7, 41, 44, 46, 47, 256, 273, 290, 469, 551, 565—567
Ливан — 417n19
Лисицкий, Эль — 460 (см. также «авангард»)
Лисовский, Владимир — 405
«Литературная газета» — 329, 330, 331, 362, 387
литование (текстов песен) — 376—379
Литл Ричард (Little Richard; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 359
Личачев, Дмитрий — 490
«Лицедеи» — 313, 313n4
ложное признание (misrecognition) — 17, 59
ложное сознание — см. сознание
ложь (см. также «истина», «притворство») — 4, 16, 38, 39, 44, 60, 62, 66, 219, 220, 248, 255, 294, 547
лозунги (идеологические) — см. агитация (см. также «авторитетный язык»)
Луман, Никлас (Luhmann, Niklas) — 36
Лурье, Лев — 85n72, 286n54, 288, 304n94, 333, 496n75
Лысенко, Трофим — 106, 320
Любимов, Юрий — 247

магнитиздат (кассетный альбом) — см. музыка

магнитофон — 248, 342, 360—371, 570, 387 (см. также «магнитофонные записи» и «обмен записями»)
магнитофикация — 360, 364
Мазин, Виктор — 316n9, 476n25, 479n35, 482n40—n41, 486n52, 496n75, 497n79
Майор Вихрь — 525—526
Макаревич, Андрей (см. также «музыка — рок») — 30, 30n3, 372, 371n120, 374, 374n126, 381, 381n146, 500, 501n80
Макарова, Наталья — 270n19
Маккарти, Джозеф — 373 (см. также «война, холодная»)
Маккартни, Пол (McCartney, Paul; см, также «музыка — западные рок-музыканты») — 369, 445n48, 456
Мандельштам, Осип — 275
Мандельштам, Надежда — 274, 280
Манн, Томас (Mann, Thomas) — 359n95
Маннгейм, Карл (Mannheim, Karl) — 84
Манукян, Сергей — 325n21, 379n139
Мао Цзедун — 491n64, 451
Маркс, Граучо (Marx, Groucho) — 544n137
Маркс, Карл (Marx, Karl) — 59, 155, 438
Марксизм-ленинизм (также «ленинизм») — 52, 53, 112, 117, 119, 122, 156, 158, 159, 170, 321, 404, 438n41, 439
Марр, Н. Я. — 94, 95n6, 97, 103, 103n31, 105
Маршак, Самуил — 270
математика — 436, 437, 438, 444
теория колец — 445, 450, 457
алгебра — 437, 445
материал (исследовательский) — 6, 8, 10, 11, 12, 36, 42, 80—82, 86, 88, 169, 171, 282n44
материалы-современники — 80—82
ретроспективные — 80—82
мафия — 542
Махмуд, Саба (Mahmood, Saba) — 78
«Машина времени» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 381, 460
МГУ (московский государственный университет) — см. университет
Медведев П. Н. — 63n49
Медведев, Рой — 103n32
«Международное канадское радио» — см. радио
«Мелодия» (государственная фирма звукозаписи; см. также «музыка») — 246n102, 359n93, 371, 372, 373, 376
Менделеев Д.И. — 339
менталитет — 37, 294, 295, 294—295n74

Меркулов, Сергей — 127, 127n79
«Мертвый» (Курмаярцев), Андрея — 484
место (*place*), см. также «пространство» — 308—309
метадискурс (идеологии) — см. дискурс
метанойя — см. сознания, перелом
методы (исследования) — 80
Мжаванадзе, В. П. — 256, 470
Микешина, Л.А. — 267n16
Миллер, Артур (Miller, Arthur) — 288
Миллер, Гленн (Miller, Glenn) — 328
милиция — 285, 287, 366, 476, 480—487, 502
мимикрия (см. также «притворство») — 29, 29n1, 58, 62n45
Митчелл, Джони (Mitchell, Joni; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 458n61
Митчелл, Тимоти (Mitchell, Timothy) — 39, 40n18, 61n44
«Митьки» — 375n129, 461—475, 463n3, 485, 488, 495
как модель перформативного сдвига —
художественная практика —
субъект (Митек как) — 486—488
«Мифы» (см. также «музыка — неформальные рок-музыканты») — 420, 460
Михайлов, Николай (см. также «музыка — Рок-клуб») — 378
Михалков, Сергей — 101, 101n26
Мичурин, И.В. — 339
многоступенчатая иерархия (nesting hierarchy) — 214
«Молодой коммунист» — см, газеты и журналы
Монголия — 512—513
Моцарт, А. — 445
музыка
легкая — 327, 449
эстрада — см. музыка, легкая
ВИА (Вокально-инструментальные ансамбли) — 328, 413, 414, 459, 570
джаз — 270, 293, 304, 315, 325, 325n21, 326—329, 332—334, 340, 341, 350—356, 351n77, 353n78, 354n84, 359—362, 360n97, 372, 373n123, 376, 379n139, 404, 405, 420n23, 432, 569, 375n138
джазовые оркестры/музыканты— 326, 328, 333, 340, 354, 354n84, 379
джаз-клуб — см. «Ленинградский джаз-клуб», «джаз-клуб Квадрат»
Хип-хоп — 375n128
Рок-музыка, рок-н-ролл — 291, 291n67, 303n92, 333, 351, 351—352n77, 360, 403—408, 418, 422—460, 569
Арт-рок / прогрессив-рок / Indorock — 352n77, 432, 445n45, 446, 454, 458, 458n61
Панк-рок (punk), панки — 335, 416, 458n61, 460, 493

Нью-вейф (new wave) — 458n61
«рок на костях» (также: «рок на ребрах» и «рентгениздат») — 356—360
Рок-тусовка — 291—295, 379
Рок-клуб (ленинградский) — см. «Ленинградский рок-клуб»
магнитиздат (кассетный альбом) — см. музыка 376
неформальные (советские) рок-группы/рок-музыканты — 30, 255, 285n52, 291, 293, 299, 303, 303n93, 305, 372—375, 377, 378, 378n138, 380, 381, 381n145, 420, 420n24—n25, 460, 469n13, 492, 493, 500
западные рок-группы/музыканты — 337, 352n77, 359, 365—375, 373n125, 391—393, 393n161, 404, 405, 416—419, 418n21, 423—425 429, 445, 445n48, 446, 447n52—n54, 456, 458n61, 516—517
Рок-фестиваль, таллинский — 420, 420n25
журналы (о рок музыке)
государственные 372n19, 418, 418n20, 418n21
неформальные — 413
западные — 423—424
пластинки, музыкальные (также «диски») — 365—368
диски, музыкальные — см. «музыка, пластинки»
обмен (музыкальными записями, дисками) — 246n102, 291, 299, 369, 386, 419, 420, 434, 444, 445, 452, 454, 458
магнитофонные записи — 246n102, 360—369, 375n128, 376, 384, 393, 413—414, 440
классическая музыка/композиторы — 370—371, 371n118, 391, 445, 449, 456
Музыкальные журналы — см. музыка

наркотики — 423—425, 430, 441
«насыщенное описание» (thick description) (см. также «Гирц, Клиффорд») — 6
насмешки — см. ирония
Натанс, Бенджамин (Nathans, Benjamin) — 12n3, 15, 15n6, 17, 269n17
Науменко, Михаил («Майк»); см. также «музыка — неформальные рок-группы»
«Зоопарк») — 378—379, 378n138, 381n145
«Наутилус-Помпилиус» (см. также «музыка — неформальные рок-группы») — 460
нацизм — 492
национализм — 322, 492
НГУ (Новосибирский университет) — 390, 433, 437, 444—446, 450
некролог — 502—507
некрореализм
как художественная практика — 482
как модель перформативного сдвига — 496, 497
«эксперименты» — 475—484, 503, 506, 520n101

фильмы (некро-фильмы) — 483n40, 482, 484n43, 485
некрореалисты — 11, 475, 480—491
субъект (некрореализма) — 486—491, 486n51
некрореалисты — см. некрореализм
некроэстетика (см. также «некрореализм») — 487, 490, 497, 498, 501
«Немецкая волна» — см. радио
«ненормальный» человек — см. субъект, ненормальный
«нетруп» (см. также «некрореалисты») — 479, 483, 483n42
неофициальная/ый (культура, язык и т.д.) — см. бинарная модель культуры
неолиберальные реформы — 474
несвои — см. «свои»
нетруп (см. также «труп» и «некрореализм») — 478, 482—489
неформальное искусство — см. искусство
неформальные художники/музыканты — см. искусство
нигилизм — см, политика
Нийри, Пол (Nyíri, Pál) — 278
Никарагуа — 379
Никсон, Ричард — 545—546
Ницше, Фридрих (Nietzsche, Friedrich) — 318n10, 461
Новак, Иван (Novak, Ivan) — 494
«новое учение» о языке — см. язык («новое учение»), см. также «Марр»
новосибирский государственный университет (НГУ) — см. «университет»
«новые русские» — 542
«Новый мир» — см. газеты и журналы
номинализация — см. «язык, авторитетный»
номинативные фразы — см. авторитетный язык
нонконформизм (см. также «конформизм») — 7, 19, 38—40, 48, 256, 491, 491n62, 554
нормальная жизнь — 237—238, 290—291
нормальные люди, нормальный человек — см. «свои»
ностальгия (постсоветская) — 45, 45n27, 165

обвал (советской системы) — 4, 8, 10, 19, 20, 30, 34—36, 46, 79, 82—87, 266, 310, 394, 553, 554, 572, 581, 582
«Обериуты» (см. также «искусство») — 95
Образцова, Елена — 270n19
общение — 287, 290, 295—301, 296n76, 297—300, 538
и свои — 296—297, 509, 538
практики общения — 296—297
«кухонные разговоры» — 298
«Огонек» — см. газеты и журналы
одежда — 334—337 (см. также «мода», «стиляги»)

Осборн, Оззи (Osbourne, Ozzy; см. также «музыка — западные рок-музыканты»; «Black Sabbath») — 365
октябренок — 182, 182n24
звеньевой — 182
октябрятская звездочка — 182
Окуджава, Булат — 247, 280
олимпиада школьная (по математике, иностранным языкам, литературе и т.д.) — 436, 437
Орбели, Иосиф — 271n22
Оруэлл, Джордж (Orwell, George) — 92n2
Останин, Борис — 304n94
Остин, Джон (Austin, John) — 63, 64n53, 64n54, 557, 558, 558n1, 559
остранение (см. также Шкловский) — 469—470, 470n16, 471
отгул — 306, 308
оттепель (период оттепели) — 43n24, 86, 272, 282

Палестина — 450
Паперно, Владимир (Paperno, Vladimir) — 42n22
парадокс Лефора (см. также «Лефор, Клод») — 49—54, 75, 96—98, 98n18, 108, 152, 500, 555, 567—569
Париж — 311, 313—314
партия
КПСС — 196—197, 271, 426—427, 474n22, 534, 579n14
ЦК (КПСС) — 122, 123, 125, 132, 13—135, 138—139, 159n119, 247, 256, 326, 333, 498—502, 572, 578
см. также «харизматический имперсонализм» (charismatic impersonalism)
аппарат, аппаратчики — 112, 196—197, 203, 266, 426—428, 442, 454, 561, 580
рядовые члены партии — 196,
Компартия Китая (КПП) — 474n22, 422
партийная конференция, XIX-ая — 32, 576
Парфенов, Леонид — 235n20
Патруль, комсомольский — 339
Паустовский, Константин — 274, 274n28
Пелевин, Виктор — 165, 233, 403, 404
Пельше, А.Я. — 501
передовица (газетная) (см. также «газета и журналы; «Правда») — 138—155
перелом сознания (также «метанойа») — см. сознание
перлокутивное (perlocutionary) высказывание — 558n1 (см. также «иллокутивное высказывание» и «перформативное высказывание»)
перформанс (художественный жанр) — 485
перформативный/ая/ое/ость

высказывание — 64, 64n53, 64n54
акт (см. советские ритуалы) — 65, 72, 74
сдвиг — 7, 24, 25, 71—77, 76—77n68, 83, 91, 93, 107—108, 121, 138, 167—168, 226, 251, 268, 303, 471, 498, 555, 559, 559—560n2, 560, 554, 555
смысл — 64, 69—71, 76, 121, 135, 163—164, 559
перформативный смысл — см. перформативный
Песмен, Дейл (Pesmen, Dale) — 213, 296n76, 297n81, 541n127
«Песняры» — см. «музыка — ВИА»
Петр Первый — 490n61
Петренко, Михаил — 284
Петровский, Мирон — 537, 541n127
Пешо, Мишель (Pecheux, Michel) — 543—544, 543n135, 544n137
Пикассо, Пабло (Picasso, Pablo) — 324—325, 325n20
«Пинк Флойд» — см. Pink Floyd
пионер — 182, 182n24
пионерская организация — 182
пионерский отряд — 182
пластинки, музыкальные — см. музыка
Платонов, Андрей — 288
Платт, Кевин (Platt, Kevin) — 12n3, 15, 15n6, 17, 269n17
ПНР — см. «Польша»
подколки — см. ирония
Подрабинек, Александр — 488n57
поздний социализм — см. социализм
позитивизм — 12, 41n21
поколение — 82—87
последнее советское — 83—86, 303
послевоенное — 333
шестидесятников — 84, 86, 255
как возрастная группа (cohort) — 84n71
как категория рода (lineage) — 84n71
«дети застоя» — 85n72
первых британских рок-групп — 352n77
«Полис» — см. «Police»
также «музыка — западные рок-группы») — 391, 458n61
политика — 8, 18
политическое (пространство) — 13, 16, 269, 310, 406
вненаходимости — 24, 26, 269—270, 564—565
аполитичность — 258, 269, 310, 471, 474, 564
нигилизм — 310
эскапизм — 564
апатия — 258, 269, 269n17, 564

культурная политика (государства) — 276, 288, 314, 325n20, 325n22, 341, 348—355, 414, 417, 568
политинформация — см. ритуалы, советские
«политическое» — см. политика
политология, политолог — 11, 13, 13n5, 39, 59
Польша (также «польский/ая»; «ПНР») — 353n81, 372, 387, 390, 450, 527n105, 538
Помелов, Иван — 113
Пономарев Б. Н. (секретарь ЦК КПСС) — 111
Понаровский, Виталий (дирижер; джаз-оркестр Понаровского) — 340—341
Попов, Валерий (писатель) — 340—341, 341n60
Португалия — 450, 451n59
Поселягин, Николай — 12n3
постколониальные исследования — 5, 46, 46n30, 47, 59
постмодернизм — 12, 59, 162
Потифорова, М. П. — 129, 129n83, 132
похороны вождей — см. ритуалы
Почетов, Г. — 137n92
поэзия — 31, 95, 273, 283, 287, 292, 300, 300n89, 301, 315, 442, 444, 450, 454, 458n61, 568
поэтическая функция (языка) — см. язык
«Поющие гитары» (см. также «музыка — ВИА») — 459
«Правда» — см. газеты и журналы
правда — см. истина
Прага — 326
«прайваси» (privacy) — 290, 296n74
Пресли, Элвис (Presley, Elvis; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 337, 359
пресуппозиция — см. «язык, авторитетный»
приватная сфера — см. частная сфера (см. также «публичная сфера» и «публики»)
Приватно-публичная сфера — см. «публичная сфера»
Пригов, Дмитрий — 502—507
приспособленец, приспособленчество — 7, 203, 409—411, 426, 430, 453, 454
притворство (см. также «dissimulation», «мимикрия») — 16, 58—59, 411
причинно-следственная связь — 10
принцип фюрера — см. Führerprinzip
Прокофьев, Сергей — 106, 322—323
пропаганда
антисоветская — 142, 319, 344—346, 405, 416
советская — 346, 569
просвещенное ложное сознание — см. сознание

пространство (*space*), см. также «место» — 308—309
воображаемое — 313, 316
Прохорова, Ирина — 12n3
Пруст, Марсель — 288
Психические отклонения, болезни, психиатрия — 222, 222n76, 223, 318, 440, 441, 488, 488n57, 489n58, 548, 549, 549n145, 566n9
публики (publics), (см. также «контрпублики», «свои») — 249—253, 290, 292, 294, 562
публики *своих* — 7, 20, 24—25, 248—253, 289, 294, 297, 360, 403, 467, 540, 562, 563
детерриториализованные публики — 252
публики вненаходимости — 281, 289, 294, 295
публичное пространство — см. публичная сфера
публичное обращение — 249
публичная сфера (см. также «публики») — 7, 214, 249, 252, 252n113, 289, 292n70
приватно-публичная сфера — 252n113
Пудовкина, Е. — 272n23
Пушкин, А.С. — 300, 455, 504

радио
транзистор — 345, 345n70, 351
коротковолновое — 341—356, 569
глушение — 344n68, 349—350, 349n74
радиоприемники — 341—356, 363, 376, 569
радиолюбители — 344n69, 348, 349, 355
«Радио» (журнал) — 348
ионосфера — 343, 343n66, 347n72
«Би-би-си» («BBC Russian Service», «BBC World Service») — 344n69, 350, 352—353, 355, 355n86
Радио «Свобода» и «Свободная Европа» — 349, 349n75, 350n75, 378n137
«Немецкая волна» (DW) — 350
«Голос Америки» (VOA) — 350, 350n75, 352—355, 353n80, 353—354n81, 355n86
«Радио Франс Интернасиональ» (RFI) — 350
«Радио Швеция» — 350
«Международное канадское радио» — 350
«Радио Москва» — 222n76
радиолюбители — 348, 349
«Armed Forces Network» (AFN) — 351—352n77
«Радио» (журнал) — см. радио
«Радио Москва» — см. радио

«Радио Свобода» — см. радио
«Радио Франс Интернасьональ» — см. радио
«Радио Швеция» — см. радио
радиолюбители — см. радио
радиоприемники — см. радио
Разгон, Лев — 31, 31n6
раздвоенное сознание — см. сознание
разноречие — 418, 430, 430n33
райком (*районный комитет КПСС или ВЛКСМ*) — 129, 132, 225, 239—240, 298, 425, 431
Рахманинов, Сергей — 456
ревизионистская (история) — см. история
революция
«Великая Октябрьская» — 33n13, 51, 55, 93, 98n18, 189, 242, 282n45, 420, 460, 513, 531, 537n119, 542
французская — 33n13, 93
Рёкк, Марикка (Rökk, Marika) — 329n30
«рентгениздат» — см. музыка
репрезентативная функция (языка) — см. язык
репрезентативность (материала, исследования, «выборки») — 10, 11, 14, 86, 88, 171, 253
ретроспективный анализ — см. генеалогия
референциальный/ая
смысл (языкового высказывания) — см. констатирующий смысл
функция (языка) — см. констатирующая составляющая
речевой акт — 63—64
Рижское взморье — 312n3
ризома (*rhizome*; см. также «Делез») — 234—235n89
Рис, Нэнси (Ries, Nancy) — 219, 298
ритуалы (советские); см. также «акт, перформативный»
демонстрация (первомайские, по случаю 7-го ноября) — 55—56, 134—135, 241—244, 259
собрание (комсомольское, партийное и т.д.) — 57, 135, 198, 205—206, 216, 225, 259, 434
комсомольская конференция — 211—212
комсомольские взносы — 221, 223—224
голосование — 56, 70—71, 74, 163—164, 198, 560
политинформация — 120, 207—208
похороны вождей — 123—124, 501—502
клятва — 65, 72, 73n65, 183—184
пионерская — 271, 271n21
стандартизация и нормализация советских ритуалов — 133—135

лекторская группа — 207—208
отчеты (об идеологической работе) — 236—237
см, также комсомольская работа
исключение из комсомола — 222, 230—233, 230n87
«ленинский зачет» — 225—226
вставание на учет/снятие с учета (в райкоме комсомола) — 228, 228n84
субботник — 306
ритуализация — см. ритуалы
Рогов, К. — 40, 40n20, 42, 43, 43n24
Рок-группы — см. музыка
Рок-клуб — см. музыка
Рок-музыканты — см. музыка
«рок на костях» — см. музыка
«рок на ребрах» — см. музыка
«Рокси» — см. «музыка — рок-музыка — журналы»
«Роллинг Стоунз» — см. «Rolling Stones»
Ромм, Михаил — 157n117
Румыния — 541n127

Савчук, Валерий — 45n28
«Сайгон» (кафе) — 281—291, 299, 301, 377n132, 379
Салазар, Антониу —451n59
«Самоцветы» — см. «музыка — ВИА»
сапоги (женские) — 388
Сахаров, А. Д. (академик) — 219, 219n71
сборка (*assemblage*; см. также «Делез») — 235n89
сверхидентификация (*overidentification*) (с идеологическим символом) — 217n65, 471, 471n17, 489
также:
гиперкогерентность (*hypercoherence*) — 471, 491n64
миметическая критика — 471
подрывающая поддержка (subversive affirmation) — 471
сверхсимуляция (over-simulation) — 471
«Свирепый» (Мортюков), Анатолий — 484, 484n48
«Свит» — см. «Sweet»
свобода — 8, 17, 18, 20, 77
негативная — 18—19, 468, 564, 564n4
позитивная — 18—19, 469, 564, 564n4
свобода вненаходимости — 24, 26, 190—191
абстрактная свобода — 248
практическая свобода — 248

Свои (см. также «субъект, нормальный», «нормальный люди», «публики») —7, 20, 24—25, 212, 224, 225, 227—229, 231—233, 237—238, 241—242, 246, 263, 276, 290, 296—298, 303, 364, 509, 513, 538, 540, 549, 563, 564
несвои — 213, 281, 282, 290, 292
сдвиг, перформативный — см. перформативный (сдвиг)
«Семнадцать мгновений весны» (телефильм; см. также «Штирлиц») — 537
Селищев, Афанасий — 94n4
Семиотические знаки
«пустые» символы — 383—386
индексы — 127, 382, 383, 386, 391
Сеннет, Мак — 483n43
Серио, Патрик (Seriot, Patrick) — 42, 97n14, 146, 146n103, 147, 159n121, 545n138
симптом (социальных, исторических изменений) — 8, 11, 19, 60n41, 223, 335, 489, 495, 506, 509
Синфилд, Пит — см. Sinfield, Pete
Синявский, Андрей — 537n119, 538, 540
система (советская) — 36—37, 292, 550
«Скорпионс» — см. «Scorpions»
Скотт, Джеймс (James Scott) — 59
Слезкин, Юрий (Slezkine, Yuri) — 103n32
Слотердайк, Петер (Peter Sloterdijk) — 58—59, 60n41, 546, 546n139, n142, 551
смысл
новый (производство новых смыслов) — 77—79, 560, 562
буквальный (высказывания, символа, практики) — 58
перформативный (см. перформативная составляющая смысла)
констативный (см. буквальный смысл; констативная составляющая смысла)
Соареш, Маруи — 451, 451n59
собрания (комсомольские, партийные) — см. ритуалы
сознание/я
раздвоенное — 58
ложное — 59
просвещенное ложное — 59
расщепленное — 62n45
перелом («метанойа») — 31, 580—581
Сократ — 438
сопротивление (*resistance*) — 4, 7, 13, 16, 17, 38, 41, 42, 46, 47, 67, 78, 78n69, 213, 223, 234, 258, 266, 280, 307, 310, 393—394, 472, 528, 549, 554
миметическое сопротивление — 261, 264
Соснора, Виктор — 300, 300n89
Солженицын, Александр — 32—33, 219, 263, 280
Солсбери, Харрисон (Solisbury, Harrison) — 356

социализм
бинарный — 38—43, 214, 221
поздний — 5, 29—89, 553, 574, 577, 581—583
социология, социолог — 11, 13, 34, 40, 13n5, 581n23, 72, 108, 291, 292, 294n74, 405—407, 408n6, 412, 422, 426, 444, 455, 573, 581, 582
социолингвистика, социолингвист — 39, 42, 67
Спасский, Борис — 270n19
спутниковое телевидение — см. телевидение — 342
Сорин-Чайков, Николай (Ssorin-Chaikov, Nikolai) — 517n99
Сталин, И.В. — 51, 64n53, 75, 95, 98—102, 103, 112, 156—158, 257, 268, 320—322, 353, 539, 427
см. также «внешний редактор» (дискурса) и «господствующая фигура» (дискурса)
культ личности — 157—159, 272
как «автор» идеологического сюжета — 268
как «господствующая фигура» — 49—52, 75, 97, 98—102, 107—108, 111, 157—159
Сталкер — 311, 315, 402
становление (франц. — *devenir*; англ. — *becoming*; см. также Делез) — 235
Старр, Фредрик (Starr, Frederick) — 357—358, 376
стеб (см. также «ирония вненаходимости») — 217n65, 380n140, 489—491n63, 570—572
стиляги — 334—341, 351, 362, 367, 380, 407, 411
стишки-страшилки — см. ирония
Стоун, Ирвинг — 280
Стравинский, Игорь — 449
Страда, Витторио (Strada, Vittorio) — 34, 86n74
«Странные Игры» (также «музыка — неформальные рок-группы») — 380, 460
Стратерн, Мерилин (Strathern, Marylin) — 299n85, 308—309, 309n105, n107
Струве, Василий — 271n22
Стругацкие А.Н. и Б.Н. — 315, 402
структурный функционализм — 551, 581, 581—582n23
субботник — см. ритуалы
субъект — 7, 10, 12, 13—18, 32, 38—39, 48, 59, 61, 63, 68—71, 69n61, 74, 78, 254, 262, 267—268, 290, 294, 295, 296, 316, 317, 386, 560
средний, усредненный — 10, 15
исключительный — 10
вненаходимости (политической, биополитической) — 484—488
трансформация (*transformation*) субъекта (см. также *метанойа*) — 33n13, 23n60
транспортация (*transportation*) субъекта —23n60
расщепленный субъект — 62n45, 63

бинарная модель (субъекта) — 59
субъектность — 9, 12, 38, 62, 76
советский / антисоветский — 7, 8, 39, 42, 44, 48, 78, 259, 276, 332, 349, 560
либеральный — 44
интерпелляция субъекта — 250
«нормальный» субъект — 16, 20, 221, 224, 237—238, 268, 277, 334, 549, 550, 562, 569
«ненормальный» субъект —222, 222n76, 223, 334, 488n57, 549n145, 566n9
психотический — 549, 566n9
интерсубъективность — 294n74, 295, 296, 298—300
аполитичный — 474
субъектная зона исключения — 565, 565n8
«истинное» лицо/я — 17, 38, 60, 62n45, 410, 411, 453, 543
перформативность (субъекта) — 68
субъектность — см. субъект
суверенитет — 565n8, 566
либерально-демократический — 566—567 (см. также Агамбен)
позднесоветский — 567
Суслов, М. А. — 112, 122—123, 156, 501
США — 5, 50n34, 71, 72, 72n63, 72n64, 325, 326, 329, 344n69, 345n70, 349n74, 350, 351—352n77, 354n81, 354, 358, 372, 379, 380n140, 393, 401, 566n8
Съезд КПСС —
XIII-й — 157n116
XX-й — 108, 158
XXV-й — 142
XXVII-й — 30n4, 130
XXVIII-й — 579n14

Таллинский рок-фестиваль — см. музыка
Тарковский, Андрей — 311, 311n1, 315
Тартуский университет — 536
Тауссиг, Майкл (Taussig, Michael) — 392n160
твист (twist), танец — 337—339
телевидение
спутниковое телевидение — 342, 343n68
эфирное телевидение — 342n63
кабельное телевидение — 343n64
тело — 127, 157, 478, 480
темпоральность — см. «язык, авторитетный» и «время»
тенденционные остроты — см. ирония
Тендряков, Владимир — 323—324
террор (также «террорист») — 19, 51, 101, 272, 566n8

см. также «Большой террор»
Терц, Абрам — см. Синявский, Андрей
товарный фетишизм — 155
Того — 450, 452
толкучка (также «толчок») — см. «черный рынок»
толчок (также «толкучка») — см. «черный рынок»
Толстой, Л.Н. — 178, 300, 449, 504—505
Том, Франсуаз (Thom, Francoise) — 39, 160n122
Топоров, Виктор — 285, 285n51, 286n55
тоталитаризм — 13, 13n4, 18n7, 38, 54n38, 280, 495, 551
тоталитарный смех — см. ирония
тоталитарный язык — см. язык
точка сшивки (point de caption) идеологического дискурса — см. дискурс
травить анекдоты — см. анекдоты
транзистор — см. радио
транспозиция (в шаманской практике) — 301
транспортация (*transportation*) субъекта — см. субъект
трансформация (*transformation*) субъекта — см. субъект
Третьяковская галерея — 330
Троицкий, Артемий (Troitsky, Artemy) — 334n45, 337n50, 357
труп (см. также «нетруп») — 478, 479n34, 487
Трэвис, Мерл (Travis, Merle; см. также «музыка — западные рок-музыканты») 373, 374, 373—374n125
Туровская, Майа (Turovskaya, Maya) — 326n23, 329n30, n32
тусовки — 282, 291—295, 299, 419
«Тхе Беатлез» (см. также «Митьки»; «Битлз»; «музыка — западные рок-группы») — 375
Тэтчер, Маргарет (Margaret Thatcher; Maggie) — 416, 417, 417n18, n19

Уидин, Лиза (Lisa Wedeen) — 59
Уиллис, Пол (Willis, Paul) — 334n47, 393, 393n162
«Уингс» — см. «Wings»
Узбекистан — 374
университет/ты
Ленинградский государственный (ЛГУ) — 31, 175, 215—217, 222, 230, 240, 241, 258, 259, 270, 271, 288, 308, 328, 339, 380, 382, 385, 391, 397, 521—523, 528, 536
Московский государственный (МГУ) — 382, 398
Новосибирский государственный (НГУ) — 433, 434, 436n37, 437, 444, 445, 446n49, 450
Тартуский — 536
американские — 71, 71n64, 72, 72n65, 89, 278, 354n81, 560n2

британские (Кембридж, Оксфорд) — 115n59
Уорнер, Майкл (Warner, Michael) — 249, 562
Урбан, Грег (Urban, Greg) — 137
Урбан, Майкл (Urban, Michael) — 151, 152, 489n59, 573n11
Уренгой (газопровод в Северо—Западной Сибири) — см. комсомольские стройки
Устинов, Д.Ф. — 501
«Ухо» — см. «музыка — рок-музыка — журналы»
Ушакин, Сергей (Oushakine, Serguei) — 19n9, 260—261

Фарадей, Джордж (Faraday, George) — 325n22
Фаркуа, Джудит (Farquhar, Judith) — 473n20, 474
фарцовщики — 277, 336, 337, 341, 397—399, 407
фашизм — 492, 493
Фейербах — 438
Фейертаг, Владимир — 326, 327n28, 328, 329n32, 333, 353—354, 372n122
Фейнман, Ричард (Richard Feynman) — 438
Фейрклаф, Норман (Fairclough, Norman) — 141
феноменологическая инверсия — 309
Ферри, Брайан (Ferry, Bryan; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 365
физики-теоретики — 278—281, 299
фирма — см. лейбл
Флоренский, Александр — 302, 463, 463n3
Фолклендские (Мальдивские) острова
Фон Гофман, Эдуард (Eduard von Hofmann) — 477—478
форма (идеологического высказывания, символа, ритуала) — 16, 20, 25, 50—55, 75, 76, 86, 91—95, 110, 111, 113, 115, 141—164, 560
см. также «гипернормализация формы»
экспериментальная (языка авангарда) — 93, 168—69
Франция — 12n3, 33n14, 287, 301, 313, 331, 332, 337, 372, 380, 381, 388, 465, 484n43
ФРГ — см. Германия — Западная
Фрейд, Зигмунд (Freud, Sigmund) — 496, 497n78—n79, 549, 551
Фрейзер, Нэнси (Fraser, Nancy) — 251
Фуко, Мишель (Foucault, Michel) — 33n13, 48, 68, 78, 316, 318, 318n11, 502, 502n83
футуризм, футуристы — см. искусство

Хабермас, Юрген (Habermas, Jürgen) — 289, 289n62
Хайкин, Борис (дирижер) — 326

Хамфри, Кэролайн (Humphrey, Caroline) — 14n5, 15, 17, 143, 214, 214n58, 244n99, 312n3, 366n106, 401n168
Хан-Пира, Эрик — 108n45, 123, 123n74
Хара, Виктор (Jara, Víctor) — 454
Харавэй, Донна (Haraway, Donna) — 41n21
«Харизматический имперсонализм» (charismatic impersonalism) — 159n119
Хармс, Даниил — 468
Хархордин, Олег (Kharkhordin, Oleg) — 60, 62n45, 214n58
Хебдидж, Дик (Hebdige, Dick) — 334—335
Хеллбек, Йохен (Hellbeck, Jochen) — 19n8
Хемингуэй, Эрнст (Hemingway, Ernest) — 450, 450n58
Хип-хоп — см. музыка
Хлебников, Велимир — 95, 95n9
Холквист, Майкл (Holquist, Michael) — 54n39, 63n51, 267n15
Холл, Стюарт (Hall, Stuart) — 318n11
Холливуд, Эми (Hollywood, Amy) — 69n61
холодная война — см. война
Хрущев Н.С. — 108, 111, 112, 158, 256, 257, 282, 324
Секретная речь на XX съезде — 158, 256, 350n76
«Ху» — см. «Who»

цензор, цензура — 377—379
ЦК (КПСС) — см. «партия»

Чайковский, Петр — 391, 456
Чакрабарти, Дипеш (Chakrabarty, Dipesh) — 46—47
Чапаев, Василий Иванович — 537, 538 (см. также «анекдоты»)
Чаплин, Чарли (Chaplin, Charlie) — 330
частная сфера (приватная сфера) (см. также «публичная сфера» и «публики») — 7, 214, 290
воображаемая частная сфера —15, 17

Чехословакия — 60, 86, 301n91, 350, 350n76, 372
Чередниченко, Татьяна — 364
Черненко К.У. — 151, 152, 501
Чернов, Сергей (Chernov, Sergey) — 326n24—25, 377n133
черный рынок (также «толкучка», «толчок», «барахолка», скуп») — 348, 359n93, 365, 366, 367, 387, 397, 445, 452
Чехов А.П. — 391, 455
Чили — 450, 452, 454
Чуковский, Корней — 271n22

Цветаева, Марина — 274
цинизм — 547, 551
цинический разум (cynical reason) — 547n141
цитатность языка — см. «язык, авторитетный»
Цой, Виктор (см. также «Кино»; «музыка — неформальные рок-музыканты») — 469n13
ЦРУ — 231, 232, 350n75

Шагин, Дмитрий — 375, 467, 467n10
Шагин, Владимир — 467n10
Шахназаров, Георгий — 247
Шевченко, Ольга (Shevchenko, Olga) — 45n27, 384 (рис. 26)
Шенкер, Микаель («Майкл») (Schenker, Michael; см. также «музыка — западные рок-музыканты»; «Scorpions») — 423, 424

Шехнер, Ричард (Schechner, Richard) — 69n60—n61
Шинкарев, Владимир — 462, 463, 463n3, 467, 469, 472, 475, 485
Шкловский, Виктор — 469
Шмитт, Карл (Schmitt, Karl) — 87, 408n7—n8, 565
Шостакович, Дмитрий — 106, 322—323
Штирлиц — 537 (см. также «анекдоты»)
Шульгин, Василий — 274

Щедрин, Родион — 456

Эйзенштейн, Сергей — 102n28
Эквадор — 450
экономика дефицита (economy of shortage) — 77n68
Эллингтон, Дюк (Ellington, Duke; см. также «музыка — джаз») — 340, 354
Эллис, Франк (Ellis, Frank) — 39
Эльба — 326
Энгельс — 438
«Энималс» — см. «Animals»
Эпштейн, Михаил (Epstein, Mikhail) — 92n2, 160n122, 162n123, 162—164, 356n87
Эренбург, Илья — 330
эскапизм — см. политика
эстетика — 459, 460, 466, 475, 476
Эстония — 354, 512
Эткинд, Александр (Etkind, Alexander) — 13n5, 19n10, 158n118
Эфрон, Ариадна — 274
«эффект Мюнхгаузена» — см. «анекдоты»

Югославия — 492n64, 493, 545n138
юмор — см. ирония (см. также «анекдот» и «стеб»)
юмор абсурда — см. ирония
юмор, который перестал бороться — см. ирония
«Юный техник» — 348
«Юрай Хип» — см. «Uriah Heep»
Юфит, Евгений — 477, 480—487, 480n35—n36, 481n37, 482n39, 485n46, 494n69

язык/а (см. также «дискурс »)
авторитетный 14, 14n37, 108, 135—164, 175—183
анонимность — 143—150
бинарная модель — 42, 47
газетный — 99, 181, 187, 244—246, 596
гипернормализация— 92, 93, 108, 110, 113, 116
господствующие означающие (master—signifiers) — 154—155
дубовый/деревянный — 75, 92, 556
замкнутая логическая структура (circularity) — 151—154, 572—573
иностранный — 331—332
Институт русского языка — 123
интердискурсивность — 143
интертекстуальность — 141—143
имитация (см. также «цитатность») — 108—114
коммунистический — 95
компартия Китая — 119
контрязык — 6
метод написания авторитетных текстов — 174—183, 187—192
моносемичный (однозначный) язык — 117
«новое учение» о языке (см. также Марр) — 94, 97, 103
номинализация, номинативные фразы — 116, 145—149, 150, 189, 429
прагматическая модель языка — 120—124
пресуппозиция — 143—145, 189—190
полисемичный (многозначный) язык — 117
поэтическая функция — 167—168
репрезентативная функция (языка) — 61
семантическая модель языка — 110—116, 121
скрытый (hidden transcript) — 59
сложные определения — 143—145
темпоральность (см. также «время» и «язык, темпоральность») — 136, 147—148, 189—190, 308, 556
тоталитарный — 6
цитатность — 115, 555, 556

экспериментальный (язык революционного авангарда) — 93—94
языкознание/ия
сталинская критика — 103 —
«Вопросы языкознания» (журнал) — 106, 117
Якобсон, Роман (Jacobson, Roman) — 95, 167—168, 256
Янг, Джон (Young, John) — 39

«Abba» («Абба»; см. также «западные рок-группы») — 367
Agamben, Girogio — см. Агамбен, Джирджио
Alaiz, Jose — 482n40
Althusser, Louis — см. Альтюссер, Луис
Anagnost, Ann — 491n64
«Animals» («Энималс», см. также «музыка — западные рок-группы») — 352n77, 419, 516
Apollonio, Umbro — 95n8
«Armed Forces Network» (AFN) — см. радио
assemblage — см. сборка
Austin, John — см. Остин, Джон

Baez, Joan (Баез, Джоан) — 405
Bakhtin, Mikhail — см. Бахтин, Михаил
Baudrillard, Jean — см. Бодрийяр, Жан
«Beatles» («Битлз»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 352n77, 365, 367, 369, 371, 372, 374, 375, 382, 391, 393n161, 445, 456
«Bee Gees» («Би Джис»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 369
Bell, Catherine — см. Белл, Кэтрин
Benjamin, Walter — см. Беньямин, Вальтер
Berlin, Isaiah — см. Берлин, Исайа
Berry, Ellen — 482n41
Bhabha, Homi — см. Баба, Хоми
«Black Sabbath» («Блэк Саббат»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 365, 458n61
Blank, Diana — 498n58
Bolan, Mark (Болан, Марк; см. также «музыка — западные музыканты») — 352n77
Bonnell, Victoria — 125n76
«Boney M» («Бони М»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 367
Borneman, John — 307n102
Bourdieu, Pierre — см. Бурдье, Пьер
Bowie, David (Боуи, Дэвид; см. также «музыка — западные музыканты») — 352n77, 458n61
Boyer, Dominic — 37n15, 141n98, 380n140, 471n17, 492n64

Boym, Svetlana — см. Бойм, Светлана
Brandenberger, David — 535n113
Breidenbach, Joana — см. Брейденбах, Джоанна
Brennan, Timothy — см. Бреннан, Тимоти
Brodsky, Joseph — см. Бродский, Иосиф
Brovkin, V. — 173n9
Brown, Wendy — см. Браун, Венди
Buck-Morss, Susan — 307n101
Bulgakowa, Oksana — см. Булгакова, Оксана
Burdon, Eric (Бердон, Эрик; см. также «Animals»; «музыка — западные рок-группы») — 516, 518
Burns, Robert — см. Бернс, Роберт
Butler, Judith — см. Батлер, Джудит
Burke, Peter — см. Берк, Питер

Calhoun, Craig — 249n107
Casey, E.S. — 309n107
Cavell, Stanley — 67n58
Chakrabarty, Dipesh — см. Чакрабарти, Дипеш
Chaplin, Charlie — см.Чаплин, Чарли
charismatic impersonalism — см. харизматический имперсонализм
Chernov, Sergey — см. Чернов, Сергей
Chomsky, Noam — 222n76, 567n9
Clark, Catherina — см. Кларк, Катерина
«Clash» (см. также «музыка — западные рок—группы») — 458n61
Coltraine, John — см. Колтрейн, Джон
Conover, Willis — см. Коновер, Уиллис
Coombe, Rosemary — см. Кумб, Роузмэри
Cooper, Alice — см. Купер, Элис
Costello, Elvis — см. Костелло, Элвис
«Creedence Clearwater Revival» («Криденс»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 366, 370, 370n114, 371
Cronenberg, David — см. Кроненберг, Дэвид
Culler, Jonathan — 67n58
Cultural Studies — см. Культуральные исследования
Cushman, Thomas — см. Кушман, Томас
Curco, C. — 544n136

De Certeau, Michel — 76n67, 93n3
«Deep Purple» (Дип Перпл; см. также «музыка — западные рок-группы») — 369, 370, 371, 375, 404, 419, 446, 447n54, 458n61
Deleuze, Gilles — см. Делез, Жиль

De Martini, J. R. — 84n71
Derrida, Jacques — см. Деррида, Жак
dissimulation — см. «притворство»
Dreyfus, Hubert — 318n11
Dundes, Allan — см. Дандес, Аллан
Dunham, Vera — см. Данхэм, Вера
Duranti, Alessandro — 63n48, 230n86
Dylan, Bob — см. Дилан, Боб (см. также «музыка — западные рок-музыканты)»

«Eagles» («Иглс»; см. также «западные рок-группы») — 367
economy of shortage — см. экономика дефицита
Ellington, Duke — см. Эллингтон, Дюк
Ellis, Frank — см. Эллис, Франк
Epstein, Mikhail — см. Эпштейн, Михаил
Erjavec, Ales — 492n66
Etkind, Alexander — см. Эткинд, Александр

Fabian, Johannes — 62n46
Fairclough, Fairclough — см. Фейрклаф, Норман
Faraday, George — см. Фарадей, Джордж
Farquhar, Judith — см. Фаркуа, Джудит
Ferry, Bryan — см. Ферри, Брайан
Foucault, Michel — см. Фуко, Мишель
Fowler, Roger — 159n121
Fraser, Nancy — см. Фрейзер, Нэнси
Freud, Sigmund — см. Фрейд, Зигмунд
Führerprinzip (принцип фюрера) — 159n119

Gal, Susan — см. Гал, Сьюзан
Galtieri, Leopoldo — см. Галтиери, Леопольдо
Geertz, Clifford — см. Клиффорд Гирц
Gershwin, George — см. Гершвин, Джордж
Gilroy, Paul — см. Гилрой, Пол
Goodwin, Charles — 230n86
Gorham, Michael — 95n11, 102n30, 103n32
Graham, Seth — 482n40, 535n113, 537n122, 541n127
Greenhouse, C. J. — 309n107
Groys, Boris — см. Гройс, Борис
Gržinić, Marina — 492n66
Guantanamo — см. Гуантанамо
Guattari, Felix — см. Гваттари, Феликс
Habermas, Jürgen — см. Хабермас, Юрген

Hall, Stuart — см. Холл, Стюарт
Hanks, Bill — 63n48, 301n91
Hanson, Stephen — 307n101
Haraway, Donna — см. Харавэй, Донна
Havel, Václav — см. Гавел, Вацлав
Hebdige, Dick — см. Хебдидж, Дик
Hellbeck, Jochen — см. Хеллбек, Йохен
Hemingway, Ernest — см. Хемингуэй, Эрнст
Hodge, Robert — 159n121
Hollywood, Amy — см. Холливуд, Эми
Holquist, Michael — см. Холквист, Майкл
Homo Sovieticus — см. Гомо советикус
HUAC (Комитет по антиамериканской деятельности), см. также «война, холодная» — 373n124
Humphrey, Caroline — см. Хамфри, Кэролайн

Ionesco, Eugène — см. Ионеско, Эжен

Jacobson, Roman — см. Якобсон, Роман
Jameson, Fredric — 95n8
Jara, Víctor — см. Хара, Виктор
«Jethro Tull» («Джетро Талл», см. также «музыка — западные рок-группы») — 458n61
Joravsky, D. — 106n41
Jowitt, Ken — 159n119, 216n62
Joyce, James — см. Джойс, Джеймс

Kabakov, Ilya — см. Кабаков, Илья
Kantorowicz, Ernst — 309n106
Kharkhordin, Oleg — см. Хархордин, Олег
Kierkegaard, Søren — см. Кьеркегор, Серен
«King Crimson» («Кинг Кримсон»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 404, 446, 447n52, 448, 454, 458n61
«Kinks» («Кинкс»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 352n77
«Kiss» («Кисс»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 367
Kligman, Gail — см. Клигман, Гейл
Kornai, János — 77n67
Kotkin, Stephen — 214n58
Kress, Gunther — 159n121

Lacan, Jacques — см. Лакан, Жак

«Laibach» («Лайбах»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 165, 165n1, 492—495, 493n66, 495n70

Lampland, Martha — 44n26, 77n68
Lane, Chrystal — см. Лейн, Кристал
«Led Zeppelin» («Лед Зеппелин»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 419, 428, 446, 458n61
Ledeneva, Alena — 214n58, 307n103, 399n165
Lee, Andrea — см. Ли, Андрея
Lefort, Claude — см. парадокс Лефора
Lennon, John — см. Леннон, Джон
Little Richard — см. Литл Ричард
Luhmann, Niklas — см. Луман, Никлас

«Madness» (см. также «музыка — западные рок-группы») — 391
Mahmood, Saba — см. Махмуд, Саба
Mann, Thomas — см. Манн, Томас
Mannheim, Karl — см. Маннгейм, Карл
Marcus, Greil — 459n62
Marx, Groucho — см. Маркс, Граучо
Marx, Karl — см. Маркс, Карл
Marx brothers — см. Братья Маркс (см. также «Маркс, Граучо»)
Massey, Doreen — 308n104
McCartney, Paul — см. Маккартни, Пол
Mertz, Elizabeth — 110n36, 122n72
Miller, Arthur — см. Миллер, Артур
Miller, Glenn — см. Миллер, Гленн (см. также «музыка — джаз»)
Miller—Pogacar, Anesa — 482n41
misrecognition — см. «ложное признание»
Mitchell, Joni — см. Митчелл, Джони
Mitchell, Timothy — см. Митчел, Тимоти
Monroe, Alexei — 165n1, 492n66
«Musik Express» — см. «музыка — рок-музыка — журналы»

Nadkarni, Maya — 45n27
Nathans, Benjamin — см. Натанс, Бенджамин
nesting hierarchy — см. многоступенчатая иерархия
«Neue Slowenische Kunst» (NSK) — 492n64
Nietzsche, Friedrich — см. Ницше, Фридрих
Novak, Ivan— см. Новак, Иван
Nyíri, Pál — см. Нийри, Пол
Nyomarkey, Joseph — 159n119

Orwell, George — см. Оруэлл, Джордж
Osbourne, Ozzy — см. Осборн, Оззи
Oushakine, Serguei — см. Ушакин, Сергей

Parsons, Talcot — 582n24
Paperno, Vladimir — см. Паперно, Владимир
Pecheux, Michel — см. Пешо, Мишель
performative utterance — см. перформативное высказывание
Pesmen, Dale — см. Песмен, Дейл
Picasso, Pablo — см. Пикассо, Пабло
«Pink Floyd» («Пинк Флойд»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 375, 404, 416, 417, 417n19, 446, 458n61
Platt, Kevin — см. Платт, Кевин
Pletsch C. — 14n5
point de caption — см. «дискурс, точка сшивки»
«Police» («Полис»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 391, 458n61
Pollock, Ethan — 106n40, 320n13
Presley, Elvis — см. Пресли, Элвис

«Queen» («Куин»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 446, 458n61

Rabinow, Paul — 318n11
Radcliffe—Brown, Alfred — 582n24
«Ramones» (см. также «музыка — западные рок-группы») — 458n61
resistance — см. сопротивление
Ries, Nancy — см. Рис, Нэнси
Riordan, Jim — 170n6
Rökk, Marika — см. Рёкк, Марикка
«Rolling Stones» («Роллинг Стоунз»; «Роллинги»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 352n77
Rosaldo, Renato — 299n85
Rossianov, K. — 106n41
Ryazanova-Clarke, Larissa — 94n4
Rudy, Stephen — 95n8, 95n10

Scott, James — см. Скотт, Джеймс
Schechner, Richard — см. Шехнер, Ричард
Schenker, Michael — см. Шенкер, Майкл
Schmitt, Karl — см. Шмитт, Карл
Schoenhals, Michael — 119, 474n22

«Scorpions» («Скорпионс»; см. также «музыка — западные рок-музыканты») — 423—425
Searle, John — 67n58
Seriot, Patrick — см. Серио, Патрик
«Sex Pistols» («Секс Пистолс», см. также «музыка — западные рок-группы») — 458n61
Shevchenko, Olga — см. Шевченко, Ольга
Sikimić B. — 496n74
Silverstein, Michael — 489n59
Sinfield, Pete (Синфилд, Пит; см. также «King Crimson» и «музыка — западные рок-музыканты») — 447n52

Solnick, Steven — 193n36
Ssorin-Chaikov, Nikolai — см. Ссорин-Чайков, Николай
Slezkine, Yuri — см. Слезкин, Юрий
Sloterdijk, Peter — см. Слотердайк, Петер
Solisbury, Harrison — см. Солсбери, Харрисон
Sosin, Gene — 349n75
Starr, Frederick — см. Старр, Фредрик
Stites, Richard — 125n76, 329n30, n31, 334n45
Strathern, Marylin — см. Стратерн, Мерилин
Strada, Vittorio — см. Страда, Витторио
«Sweet» («Свит»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 458n61

«Talking Heads» («Токинг Хедс»; см. также «рок-музыка») — 458n61
Tassi, Aldo — см. Тасси, Альдо
Taussig, Michael — см. Тауссиг, Майкл
Thom, Francoise — см. Том, Франсуаз
Thurston, R. — 535n113
Todorov, Tzvetan — 63n51
Travis, Merle — см. Трэвис, Мерл
Troitsky, Artemy — см. Троицкий, Артемий
Turovskaya, Maya — см. Туровская, Майа

Uncanny — см. жуткое
Unheimlich — см. жуткое
Urban, Greg — см. Урбан, Грег
Urban, Michael — см. Урбан, Майкл
«Uriah Heep» («Юрай Хип»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 370, 370n113, 445, 445n46, 446, 447n54, 458n61

Verdery, Katherine — см. Вердери, Кэтрин

VOA — см. «Голос Америки»
von Geldern, James — 334

«UFO» («УФО»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 424

Wade, Terence — 94n4
Wanner, Catherine — см. Ваннер, Кэтрин
Warner, Michael — см. Уорнер, Майкл
Wedeen, Lisa — см. Лиза Уидин
«Who» («Ху»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 352n77
Willis, Paul — см. Уиллис, Пол
«Wings» («Уингс»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 370, 446
«Yes» («Йес»; см. также «музыка — западные рок-группы») — 446, 449, 458n61
Young, John — см. Янг, Джон

Žižek, Slavoj — см. Славой Жижек
Zhang, Qicheng — см. Жанг, Киченг
zone of indistinction — см. зона исключения / неразличения
zone of exception — см. зона исключения / неразличения

Оглавление

Александр Беляев. Предисловие. Взгляд антрополога на книгу Алексея Юрчака 5

Вступление к русскому изданию 23
Благодарности 27

ГЛАВА 1. ПОЗДНИЙ СОЦИАЛИЗМ. *Советский субъект и неожиданность обвала системы* 29
Вечное государство 29
Бинарный социализм 38
Повседневность 44
Парадокс Лефора 48
Практики и ритуалы 55
«Гомо советикус», «раздвоенное сознание» и «притворщики в масках» 58
Перформативность 62
Речевые акты и ритуальные практики 68
Констатирующая и перформативная составляющие смысла 69
Перформативный сдвиг 71
Производство новых смыслов 77
Материалы и методы 80
Поздний социализм и последнее советское поколение 84

ГЛАВА 2. ГЕГЕМОНИЯ ФОРМЫ. *Неожиданная смена парадигм* 90
Авторитетный дискурс 90
Революционный язык 93
Сталин как редактор идеологического языка 95
Неожиданная смена парадигм 103
Нормализация языка 108
Моносемичный (однозначный) язык 117
Прагматическая модель языка 120

Дискурс наглядной агитации и политических ритуалов 125
Устранение «авторского голоса» 135
Передовица 138
Подчеркнутая интертекстуальность 141
Сложные определения и создание «пресуппозиций» 143
Номинализация и создание «пресуппозиций» 145
Сдвиг роли автора 149
Замкнутая логическая структура 151
Замкнутая нарративная структура 154
Перформативность идеологии и советская реальность 159

ГЛАВА 3. ИДЕОЛОГИЯ НАИЗНАНКУ. *Этика и поэтика* 165
Идеологическая поэтика 165
Воспроизводство идеологии в контексте комсомола 170
Освобожденный секретарь 174
Неосвобожденный секретарь 177
Школьные комсорги и секретари комитетов 182
«Чистая проформа» и «работа со смыслом» 192
Рядовые комсомольцы 201
«Маленькие хитрости» 203
Активисты, диссиденты и «свои» 212
Перформативность идеологических ритуалов 223
Детерриториализация 233
«Нормальная жизнь» 237
Демонстрации 241
Язык газет и референтов ЦК 244
Публики своих 248

ГЛАВА 4. ВНЕНАХОДИМОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 255
Модель Бродского 255
Инна и ее друзья 258
Автор и герой позднего социализма 263
Дворец пионеров 270
Литературный кружок «Дерзание» 271
Археологический кружок 275
Физики-теоретики 278
«Сайгон» 281
Музыкальная «тусовка» 291
Общение 295
Котельные 301
Пространство и время вненаходимости 305

ГЛАВА 5. ВООБРАЖАЕМЫЙ ЗАПАД. *Пространства вненаходимости позднего социализма* 311
Заграница 311
Пространства вненаходимости 314
Генеалогия воображаемого Запада 317
Космополитизм и интернационализм 320
Джаз 326
Кино 328
Противоречивый Запад 330
Стилизация 334
Коротковолновый радиоприем 341
Рок на костях 356
Магнитофикация 360
Переписка 369
Перевод 372
Имена и другие «пустые» символы 380
Смысл аутентичности: лейбл, бренд, фирма́ 386
Моральные дилеммы 395
Реальный Запад 400

ГЛАВА 6. РАЗНОЦВЕТНЫЙ КОММУНИЗМ. *King Crimson, Deep Purple, Pink Floyd* 404
Идеологическое оружие 404
Приспособленец 409
Примерный перечень 412
Комсомольское разноречие 418
Письма с полюса холода 431
Критический подход к рок-музыке 440
Эхо будущего 450

ГЛАВА 7. ИРОНИЯ ВНЕНАХОДИМОСТИ. *Некроэстетика, стёб, анекдот* 461
Митьки 461
Некрореалисты 475
Нетруп 482
Ирония вненаходимости 489
Стишки-страшилки 495
Геронтократия 498
Некрологи Пригова 502
«Указание» 507
«Личный листок» 515

«Военка» 521
«Идеологический отчет» 523
Письма Инне 528
Письма из Савелово 531
Анекдоты 534
Юмор, который перестал бороться 542

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 553

Список иллюстраций 584
Библиография 588
Указатель 615

Юрчак Алексей

ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ.
ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Дизайнер
А. Рыбаков
Редактор
И. Калинин
Корректоры
О. Семченко, М. Смирнова
Компьютерная верстка
Л. Ланцова

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 41,5. Тираж 1000. Заказ № 4764

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10